

ЕВТУШЕНКО



Илья
Фаликов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

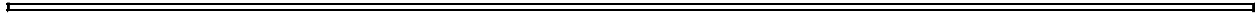
Annotation

Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший мировую известность полвека тому, равнодушием не обижен по сей день — одних восхищает, других изумляет, третьих раздражает: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе-и нецелесообразный...» Многие его строки вошли в поговорки («Поэт в России — больше, чем поэт», «Пришли иные времена. Взошли иные имена», «Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити...» и т. д. и т. д.), многие песни на его слова считаются народными («Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую...», «Бежит река, в тумане тает...»), по многим произведениям поставлены спектакли, фильмы, да и сам он не чужд кинематографу как сценарист, актер и режиссер. Илья Фаликов, известный поэт, прозаик, эссеист, представляет на суд читателей рискованный и увлекательнейший труд, в котором пытается разгадать феномен под названием «Евтушенко». Книга эта — не юбилейный панегирик, не памфлет, не сухо изложенная биография. Это — эпический взгляд на мятежный XX век, отраженный, может быть, наиболее полно, выразительно и спорно как в творчестве, так и в самой жизни Евг. Евтушенко. Словом, перед вами, читатель, поэт как он есть — с его небывалой славой и «одиначеством, всех верностей верней», со всеми дружбами и разрывами, любовями и изменами, брачными союзами и их распадами...

-
- [И. Фаликов](#)
 -
 -
 - [ДЛЯ НАЧАЛА](#)
 - [Лист ПЕРВЫЙ](#)
 - [1956: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ](#)
 - [ОТКУДА НОГИ РАСТУТ](#)
 - [ПОЕЗД «ЗИМА — МАРЬИНА РОЩА»](#)
 - [СЕРЕДИНА ВЕКА](#)
 - [НАКАНУНЕ](#)
 - [ИНТЕРМЕЦЦО](#)
 - [ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ](#)
 - [ДОЛГОТА РИФМЫ](#)

- [БЛУЖДАЯ В ЭЛЕГИЧЕСКОМ ТУМАНЕ](#)
- [ЛИСТ ВТОРОЙ](#)
 - [НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ](#)
 - [КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ](#)
 - [ДОЛГИЕ КРИКИ](#)
 - [РАЗРЕЗАННЫЙ АРБУЗ](#)
 - [ПУСТИТЕ К ЭСКИМОСАМ!](#)
 - [КТО ТАМ ЕВТУШЕНКО?](#)
 - [ГОД СТЫДА](#)
 - [БОТФОРТЫ СИРАНО](#)
 - [ТОЧКА НЕВОЗВРАТА](#)
 - [ЗАБЕГАННИЕ ВПЕРЕД](#)
 - [НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И ВОЛОВЬЕ](#)
 - [КОЛЫМА И ОКОЛО](#)
 - [ПОСЛЕ ДРАКИ](#)
 - [КОНЕЦ «КИНУ»?](#)
- [ЛИСТ ТРЕТИЙ](#)
 - [ЧТО ЖЕ С МАТУШКОЙ-РИФМОЙ?](#)
 - [ПРИШЛИ ИНЫЕ](#)
 - [ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА](#)
 - [МЕЛОДИЯ ЛАРЫ](#)
 - [...НАВРУТ!](#)
 - [ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ БЫЛО?](#)
 - [ДОРОГА ДОМОЙ](#)
 - [КТО ПЕРВЫЙ?](#)
 - [ХВАТИТ НА ИСКУПЛЕНИЕ](#)
 - [НОВОГОДНЕЕ](#)
 - [АПРЕЛЬ, МАЙ И ДАЛЕЕ](#)
- [НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е. А. ЕВТУШЕНКО](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ \[11\]](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [INFO](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)



ЖИЗНЬ[®] ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1858

(1658)

И. Фаликов

ЕВТУШЕНКО: Love story



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

*В оформлении переплета использованы фрагменты картин
Юрия Обуховского «Дворик на Тверском бульваре» и Александра
Семенова «Кировский проспект».*

© Фаликов И. З., 2017

© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2017

*И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.*

Белла Ахмадулина

ДЛЯ НАЧАЛА

Евгений Евтушенко — поэт. Евгений Евтушенко — поэт утопии. Речь о всемирном братстве.

Советская часть утопии рухнула. Антисоветская — тоже.

Поговорим о поэте.

«Меня не любят многие». Есть колоссальная гора предубеждений, которую ни обойти, ни объехать. В геологических причинах ее возникновения не разобраться. Лучше — махнуть рукой и пойти своей дорогой.

Жизнь Евтушенко пролитературена с самых первых его шагов. Просто человека, человека в чистом виде Евгения Александровича Евтушенко практически нет. Попав, допустим, в сосняк, он не может пройти от сосны до сосны без того, чтоб не сложить на этой дистанции стих.

Вокруг него сплелось безразмерное множество небылиц, чуть не львиная доля коих несет на себе авторский след его львиной лапы. Можно вполухутку, а лучше всерьез вспомнить великого предтечу:

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Человек-легенда, человек-эпоха, человек-артист, человек-феерия, человек-оркестр и так далее до бесконечности.

Евтушенковское чучело испепелили во дворе Дома Ростовых.

...В самолете, летящем через Атлантику в сторону Америки, встретились двое. Крепко обнялись, сели в кресла, потек разговор. Один вдруг вскинулся:

— Слушай, а ты ведь сжег меня!

— Да. Сжег.

Разговор продолжился как ни в чем не бывало.

Миф? Не исключено.

Был пепел, Ванька-встанька воспрял и из этого пепла: у него есть байка-сказка-баллада о Ваньке-встаньке. У него есть всё о себе. Но больше все-таки — о других. Собственно, обо всем земном шаре. Его всемирная отзывчивость великолепно сочетается с всемирной общительностью. Его

знают все, он знает всех.

«Я земной шар чуть не весь обошел», — сказал другой великий предтеча, мастер гипербол, и в данном случае, если соотносить с географическим багажом наследника, это действительно большое преувеличение.

Суперодаренность, суперслава, суперплодовитость — с одной стороны. Сюда бы надо добавить еще и суперзависть — с другой.

Он называет себя последним советским поэтом. Это, наверное, правда. Но с эпитетами тут всё же какая-то неполнота. Напрашивается — как минимум предварительно — *великий*. Это точнее.

Он называет себя шестидесятником (шести-десантником). Тоже верно. Но стоит ли замыкать себя в отрезке времени, если время все еще длится и ты в нем активно присутствуешь? Пожалуй, в такой самоаттестации есть изрядная доля скромности, и без того, как это ни странно, присущей неохватнобогатой натуре нашего героя. Резонней в его устах звучит: «Я не преподаю скромность, это не мой предмет».

Нам надо договориться, читатель. Изложение этой запредельной жизни во всех подробностях невозможно. Будем довольствоваться главным или существенным. С учетом того, что иные мелочи важнее чего-то глобального и без них не обойтись.

Однако нет резона, например, разыскивать прототип героини, вопрошающей «А что потом?», или указывать на тот исторический момент, когда наш герой стал делать прическу а-ля Титус — зачес от затылка ко лбу.

Нам не объять всего им написанного. Нам не объехать и даже не назвать всех стран, им посещенных. Кроме того, есть такие «места и главки жизни целой» (Пастернак), которые надо если не «отчеркивать на полях», то попросту не трогать. Мы не вуайеры, у нас другой интерес.

Евтушенко — понятие. Что это такое?

Кто такой Евтушенко? Как он стал понятием?

Есть подозрение, что на эти вопросы нет окончательных ответов.

Нам предстоит погрузиться на глубину исторического дыхания и обнаружить там любовь (и нелюбовь) нескольких поколений к нашему герою. Будет там и его любовь к нам.

Это и есть наша история любви, love story «по-ихнему».

Здесь будет очень много цитат из самого Евтушенко, поскольку лучше и полнее о нем не сказал никто. Возможно, это будет похоже на жизнь Евтушенко, рассказанную самим Евтушенко. Ссылок не предусмотрено — это не научный труд. Цитата веет, где хочет.

Цитатность не порок. Натуральный моветон — пересказывать своими

словами чужой текст, надувая первооткрывательские щеки. Это и легче всего.

И наконец. Без помощи Юрия Нехорошева, Леонида Шинкарева, Дмитрия Сухарева, Елены Евтушенко и Натальи Аришиной эта книга не состоялась бы. Спасибо им.

Лист ПЕРВЫЙ

1956: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Первые месяцы пятьдесят шестого года в сфере искусств были выдающимися. Разнообразие событий захватывало дух. У молодого человека кружилась голова. Он шатался в толкучке столичной. Телеграфный стиль новостей отдавал эпосом:

В самом начале года наградили орденом Ленина скульптора Сергея Коненкова, недавно отметившего восьмидесятилетний юбилей, а писателя Василия Гроссмана, на его пятидесятилетие, — орденом Трудового Красного Знамени. Отметила восьмидесятипятилетие актриса Варвара Николаевна Рыжова из династии Бороздиных-Музиль-Рыжовых. Художник Орест Верейский путешествовал с альбомом по берегам Нила. В Большом поставили оперу Дмитрия Кабалевского «Никита Вершинин» с Сергеем Лемешевым в роли китайца Син Би-у. Негритянские артисты Элен Тигпен и Эрл Джексон, граждане США, зарегистрировали брак в московском загсе, а затем венчались в церкви общины евангельских христиан-баптистов. Хореографу Игорю Моисееву стукнуло пятьдесят. Столько же — писателям Антанасу Венцлова и Вере Кетлинской.

Советский народ отметил семидесятипятилетие со дня смерти Достоевского.

Столетняя годовщина смерти объединила Гейне с Лобачевским.

На театре происходило репертуарное пиршество. Шли пьесы: «Цюй Юань» Го Можо, «Последняя сенсация» Себастьяна, «Такие времена» Юрандота, «Дармоеды» Чики, «Ученик дьявола» Шоу (большого друга СССР; его пьесу поставили в Рижском ТЮЗе), «Кремлевские куранты» Погодина с Ливановым в роли Забелина (о, как величественно он торговал серными спичками на ступенях Иверской часовни!), «Макбет» Шекспира, «Фома Гордеев» Горького, «Чудак» Хикмета; в Ленинграде на сцене БДТ Товстоногов соорудил «Оптимистическую трагедию» Вишневского.

Смешили до упаду всенародные любимцы Тарапунька и Штепсель. Рост имеет значение.

Блистали певицы Зара Долуханова и Лилита Берзинь.

Московская общественность почтила память скончавшегося пятьдесят лет назад осетинского поэта Косты Хетагурова.

Было не забыто семидесятипятилетие со дня смерти Мусоргского.

Коллегия Министерства культуры СССР во главе с министром Н. А. Михайловым утвердила кибальниковский проект памятника Маяковскому, похожему на знатного металлурга.

Это не всё, не всё. Время набирает новостные обороты.

Готовилось к печати собрание сочинений Ивана Бунина. Вышел шеститомник Вилиса Лациса. Шеститомник Ванды Василевской. На страницах всесоюзной печати зазвучали стихи Расула Гамзатова. Поэтесса Екатерина Шевелева прикрепила медаль международной Сталинской премии «За укрепление дружбы между народами» к груди госпожи Акико Сэки, японской певицы.

Отметили столетие Третьяковки.

Москва стала привыкать к появившемуся два года назад напротив Моссовета Юрию Долгорукому.

В Доме культуры издательства «Правда» прошел пленум правления Союза писателей СССР, работа которого была совмещена с Третьим Всесоюзным совещанием молодых писателей.

Двадцатидвухлетний поэт Евгений Евтушенко, уже издав две книжки и вступив в Союз писателей, хлещет информационный кипяток, как квас на жару, воображая поверх кружки родниковую воду. Красивым, в отличие от предшественника («иду красивый, двадцатидвухлетний»), он себя не считал и сильно переживал на сей счет. Широколиц, востронос, длиннорук, шея худая. Однако рост ему достался порядочный, под пару метров.

Для поэта год начался с большой удачи. Шестым января помечен «Глубокий снег».

По снегу белому на лыжах я бегу.

Бегу и думаю:

что в жизни я могу?

В себя гляжу,
тужу,
припоминаю.
Что знаю я?
Я ничего не знаю.
По снегу белому на лыжах я бегу.
В красивом городе есть площадь Ногина.
Она сейчас отсюда мне видна.
Там девушка живет одна.
Она
Мне не жена.
В меня не влюблена.
Чья в том вина?..
Ах, белое порханье!
Бегу.
Мне и тревожно и легко.
Глубокий снег.
Глубокое дыханье.
Над головою тоже глубоко.
Мне надо далеко...

Совершенно чистая лирика. По сути — романс, только спрятанный. Сюжет, встроенный в мелодический поток: некоторое раздвоение автогероя между той, что «не жена», и еще одной девушкой, которая «венком большие косы носит». Одна — «не влюблена», другая — «поцеловать себя попросит». Евтушенко с самого начала умел писать сюжет, а именно: самое трудное — сюжетную лирику. И — деталь. Что бы ни происходило с ним и с миром вообще, он *видит*— себя и этот мир:

Я закурить хочу.
Ломаю спички.
От самого себя устал бежать.
Домой поеду.
В жаркой электричке
кому-то буду лыжами мешать.

В этой вещи Евтушенко избег *евтушенковской рифмы*. Что это такое,

пока не совсем ясно, но к 1956 году она уже у него была, однако здесь, в январском повествовательном романсе, не понадобилась. Он близко дружит — среди значительных прочих поэтов, поголовно старших, — с Владимиром Соколовым. В «Глубоком снеге» очень ощутимо Соколовское присутствие — снег, Москва, романсовый напев, тонкий звук печали.

Далее.

Советское правительство, исходя из факта известной разрядки напряженности в международных отношениях и идя навстречу интересам Финляндии, отказалось на 40 лет раньше установленного срока от арендных прав на территорию Порккала-Удд на побережье Финского залива и решило вывести оттуда советские войска; Порккала-Удд — это уже вторая база, которую Советский Союз добровольно отдает владельцу, первой была — Порт-Артур; у Советского Союза больше не осталось военных баз на чужих территориях.

Учреждение в Праге Политического консультативного комитета Варшавского договора; в Китайской Народной Республике проходит преобразование частных промышленных и торговых предприятий в смешанные, государственно-частные, а кустарных предприятий в кооперативные; с территории Западной Германии в сторону Восточного блока запускаются целые стаи воздушных шаров с подвешенным к ним грузом листовок подстрекательского характера (250 миллионов листовок!); эти баллоны наполняются легковоспламеняющимся газом, при приземлении шара происходит взрыв, разрушаются дома, люди получают ожоги, при столкновении с шарами гибнут самолеты, для запуска шаров используются американские воинские части и их техника.

Ух. Так. Без передыху.

В Ереване закончено строительство первой очереди Политехнического института имени Карла Маркса; в Молдавии вступил в строй один из крупнейших в стране Гиндештский сахарный завод; начиная со второй половины 1956 года все жилые дома в наших городах должны строиться только по типовым проектам, индивидуальные проекты возможны только с разрешения правительственных органов.

Нас навещают главы братских партий Чжу Дэ, Б. Берут, А. Новотный, М. Торез, Г. Георгиу-Деж, Э. Ходжа, В. Ульбрихт, П. Тольятти, А. Алтонен, Г. Поллит, Ж. Дюкло, В. Пик, Долорес Ибаррури.

В прошлом году советская правительственная делегация побывала в Индии, Бирме и Афганистане. Алексей Сурков:

Общей ясной цели сила
Нашу дружбу окрылила.
Руку брату, брат, подай!
Хинди, руси, бхай, бхай!

По случаю тридцатипятилетия подписания Советско-афганского договора молодой советский востоковед Юлиан Семенов публикует статью в «Огоньке» с такой концовкой: «Во время пребывания в Афганистане Н. С. Хрущев в следующих словах охарактеризовал афгано-советскую дружбу: «Дружба между нашими странами имеет глубокие корни. Великий Ленин стоял у истоков нашей дружбы. Никогда она не омрачалась конфликтами или спорами, и мы глубоко уверены, что этого никогда не будет и впредь». Афганские стихи, в переводе Ю. Семенова:

Подари мне, крошка, сладкий поцелуй,
Ты со мною, крошка, нежно поворкуй.

В Третьяковке открылась «Выставка произведений советских художников 1917–1956 годов». Евтушенко приступил к постройке своей первой галереи — в стихах. Он пишет широкой быстрой кистью. Пошел портрет за портретом.

Александр Межиров в евтушенковском исполнении выглядит так:

Ты стал моей бедой
и дел ненужной уймой,
мой друг немолодой,
воспитанный и умный.

.....

Ты в юности моей,
далекий, — сам таишься.
Завидуешь ты ей
и за нее боишься.

(«Ты стал моей бедой...»)

Михаил Луконин:

Друг открывает дверь,
больной и сильный:
«Ух, молодцы какие,
что вдвоем!..
Шампанское?
А я уж лучше водки.
Оно полезней...»
Он на нас глядит,
глядит,
и знаю — думает о Волге,
которая зовет его,
гудит.

(«Обидели...»)

Павел Антокольский:

Но вышел зоркий, как ученый,
поэт с тетрадкою в руке,
без галстука, в рубашке черной
и мятом сером пиджаке.

И это было — боль о сыне,
и о других, и о себе,
стихи о горести и силе,
стихи о смерти и борьбе.

(«1944. Командитория МГУ»)

Наконец — Ярослав Смеляков:

Он вернулся из долгого
отлученья от нас,
и, затолканный толками,
пьет со мною сейчас.
Он отец мне по возрасту.
По призванию брат.
Невеселые волосы.
Пиджачок мешковат.
Вижу руки подробные,
все по ним узнаю,
и глаза исподлобные
смотрят в душу мою.
Нет покуда и комнаты,
и еда не жирна.
За жокея какого-то
замуж вышла жена.

(«Он вернулся из долгого...»)

Писано 15 февраля. Идет второй день XX съезда КПСС. Хрущев вещает. В Отчетном докладе еще вскользь, прикидочно-разведочно, но — как бы услышав это стихотворение и осмелев — через десять дней выдает на-гора тот, роковой доклад («О культе личности и его последствиях»). Ибо в той части общества, которую не надо просвещать с партийной трибуны, роковая тема давно в ходу. Они возвращаются — те, кто выжили, не замерзнув где-то в поле возле Магадана. Оратор ощущает почву под ногами, потому как тот же евтушенковский герой несет эту почву в самом себе:

Пусть обида и лютая,
пусть ему не везло,
верит он в Революцию
убежденно и зло.

Силовые линии слились, связь установлена, партия внимает

основному. Можно рубить правду-матку сплеча:

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. *(Шум возмущения в зале.)* <...>Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно больше половины — 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется, **большинству** участников XVII съезда партии. *(Шум возмущения в зале.)*

Зал возмущен. Но это — Колонный зал. Страна в общем и целом еще в неведении насчет этого самого культа личности и его последствий. Все только начинается. Пока в белоколонном зале кипят страсти, молодой поэт — будущий трибун и трубач — предается иным чувствам. По-настоящему молодым, почти детским.

Обидели.
Беспомощно мне, стыдно.
Растерянность в душе моей,
не злость.
Обидели усмешливо и сыто.
Задели за живое.
Удалось.

Хочу на воздух!
Гардеробщик сонный
дает пальто,
собрания браня.
Ко мне подходит та,
с которой в ссоре.
Как долго мы не виделись —
три дня!

Смыслозвуковой акцент на «бр»: *собрания браня*.

Через год его выбросят из Литинститута (и заодно из комсомола, но — временно) как раз после собрания, на котором он вступится за роман Дудинцева «Не хлебом единым». Да и с дисциплинкой неважно.

Какой год! Всё внавал, вперемешку. Телеграф стучит. В висках.

Сев идет — уже завершили сев яровых культур Крымская область, южные области Казахстана, посеяли хлопок киргизские хлопководы, в Кустанайской области нынешней весной колхозы и совхозы посеют четыре миллиона семьсот тысяч гектаров зерновых культур.

Мелькают американские звонкие имена. Художник Рокуэлл Кент (его девиз «Пусть голуби совьют гнездо в шлеме воина!»), певец Поль Робсон (замечательный лингвист к тому же).

Телевидение — в Угличе: 205 км от Москвы! Трансляция футбола — в Угличе!

Турнир в Гастингсе В. Корчной (СССР) — Ф. Олафссон (Исландия).

Директивы XX съезда по шестому пятилетнему плану, — шестую пятилетку выполним на базе преимущественного развития тяжелой промышленности, построим в течение 1956–1960 годов атомные электростанции общей мощностью 2–2,5 миллиона киловатт.

Десятилетие провозглашения Албанской Народной Республики, десятилетие провозглашения Венгерской Республики.

Поэт Евтушенко мается, сомневается, блуждает в тумане неопределенности.

И в давней, давней нерешенности,
где столько скомкано и спутано,
во всем — печаль незавершенности
и тяга к новому и смутному.

(«Работа давняя кончается...»)

Впрочем, тут же спохватывается, играет мускулами:

Все на свете я смею,
усмехаюсь врагу,
потому что умею,
потому что могу.

(«Я сибирской породы...»)

Между прочим, ему с самого ранья жизни мнится некий соперник, объект тревоги и открытой опаски:

Не знаю я, чего он хочет,
но знаю — он невдалеке.
Он где-то рядом, рядом ходит
и держит яблоко в руке.
.....
Но я робею перед мигом,
когда, поняв свои права,
он встанет, узнанный, над миром
и скажет новые слова.

(«Не знаю я, чего он хочет...»)

В том же духе годом раньше уже написано стихотворение «Зависть».

Завидую я. Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю, что живет мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Завидую тому, как он дерется, —
я не был так бесхитроsten и смел.
Завидую тому, как он смеется, —
я так смеяться в детстве не умел.
.....
Но сколько б ни внушал себе я это,

твердя:
«Судьба у каждого своя», —
мне не забыть, что есть мальчишка где-то,
что он добьется большего,
чем я.

Кто тот мальчишка? Имя, пароль, адреса, явки? Вознесенский? Высоцкий? Бродский? Чухонцев? Их еще нет.

По чести говоря, опасность миновала: на своем поле он остался тем, кем и был — первым. Более того. Евтушенко — может быть, единственный в многовековой мировой поэзии автор, чьи самые неумеренные чаяния обрели черты абсолютной достижимости.

Границы мне мешают...
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка.
Хочу шататься сколько надо Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
хочу проехать утренним Парижем!

Это в пятьдесят шестом-то году? Чего захотел! А ведь получилось — и очень скоро. Он добился небывалого.

Так что «Пролог» — а это строчки из «Пролога» («Я разный...») — оказался пророческим. Выброс энергии — колоссальной внерамочности его упований и самой его фигуры — был тектоническим. Возможно, он мог бы остаться великолепным — вполне чистым — лириком без поползновений в сторону пастьбы народов. Нота исповедальности держит большинство его стихов того года.

Но — время. Оно подогрело эту вспыльчивую натуру, вырвало его — одного из многих, не столь соответствующих, — из ряда взыскующих и подобных — наверх, на ту высоту, где сгорают мгновенно. Роль оказалась по нему. В нем нашлось то, что понадобилось времени, ибо оно, время, течет по жилам этого поэта.

Он выхватывал из воздуха то, что волновало если не всех, то многих.

Если не многих, то некоторых. Немногих. За год до «Пролога» Герман Плисецкий, ровесник, написал свой «Париж».

Мне подарили старый план Парижа.
Я город этот знаю, как Москву.
Настанет время — я его увижу:
мне эта мысль приставлена к виску.

Вы признавались в чувствах к городам?
Вы душу их почувствовать умели?
Косые тени бросил Notre-Dame на
узкие арбатские панели...

.....
Настанет время — я его увижу.
Я чемодан в дорогу уложу
и: «Сколько суток скорым до Парижа?» —
на Белорусском в справочной спрошу.

Сильная вещь. Но Евтушенко умел сказать так, что уже сказанное другими приобретало качество первозвучания.

Хрущев на трибуне саркастически юморил:

Мы знаем, что в Грузии, как и в некоторых других республиках, в свое время были проявления местного буржуазного национализма. Возникает вопрос: может быть, действительно в период, когда принимались упомянутые выше решения, националистические тенденции разрослись до таких размеров, что была угроза выхода Грузии из состава Советского Союза и перехода ее в состав турецкого государства? (*Оживление в зале, смех.*)

Им еще смешно, а ему покамест вообще не до того.

Я груши грыз,
шатался,
вольничал,
купался в море поутру,

в рубахе пестрой,
в шляпе войлочной
пил на базаре хванчкару.

Сугубо любовные стихи посвящены Белле Ахмадулиной по преимуществу. «Глубокий снег», «Обидели...», «Я груши грыз...» — безусловно она. Однако рядом с ней — другие. Их много, и они крайне симпатичны.

Босая женщина у речки
полощет синее белье,
и две тяжелые черешни
продеты в мочки у нее.
.....
Мелькает свет в окошках беглый.
И вот, с крылечка своего,
она бежит в косынке белой
и не боится ничего...

(«Босая женщина у речки...»)

В мае раздался выстрел в Переделкине. Стрелок оставил письмо, где, помимо прочего, были и такие слова:

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушиваются подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Французский еженедельник «Экспресс», автором которого в недалеком будущем станет Евтушенко, пишет:

Сейчас официально сообщают, что Фадеев покончил с собой во время приступа алкоголизма. Через ТАСС сверху добавлено, дабы все знали, что этот большой писатель был пьяницей... Александр Фадеев — первая жертва разоблачения культа личности.

Но у Жени еще раньше, на заре отрочества, был наставник, точнее — наставница. «Тетя Ра», родная сестра отца — Ирина Рудольфовна Козинцева, «...она была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин — убийца. <...> Тетя Ра знала, чем она рискует. По всем правилам моего пионерского воспитания я обязан был донести на нее. Но если мой отец был моим первым поэтическим учителем, тетя Ра стала моим учителем политическим».

Казалось бы, еще вчера — в сентябре прошлого года — Фадеев сказал в «Литературной газете»:

О целинных землях написано немало стихов. Среди них некоторые запоминаются, например цикл стихотворений А. Яшина, свежие голоса молодых поэтов Евгения Евтушенко, Р. Рождественского...

А новостей — с избытком.

Обмен студентами с Францией; извержение камчатского вулкана Безымянный, считавшегося потухшим; визит в СССР премьера Дании Х. К. Хансена; восстановление панорамы Ф. Рубо; визит премьера Швеции Т. Эрландера; извлечение из сердца девочки проглоченной ею иголки — хирург И. Ф. Лизко.

Молодой писатель Владимир Солоухин в чудесном огоньковском очерке о рязанских женщинах приводит новую народную частушку:

В нашей области немало
Достижений трудовых.
Наша область отставала,
А теперь в передовых.

Писатели осваивают мир. А. Софронов в Голливуде, В. Кочетов в Париже.

Артист Николай Черкасов в парижском ресторане на улице Франклина Рузвельта сказал: «Наши фильмы никогда не призывали к убийству, гангстерству и разврату. Я, советский актер, за миллионы рублей не согласился бы играть убийцу, образ которого развращал бы молодежь».

Кузнец Ушаков перековал за 20 лет 400 тысяч тонн металла.
Оглашение по радио Закона о государственных пенсиях.
Зарождение Куйбышевского моря.
Строительство в Лужниках Большого московского стадиона.
Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
В Антарктиде на Земле Королевы Мэри открыта советская
обсерватория «Мирный».

Булганин, Председатель Совета министров СССР, и Хрущев
в Англии на коронации юной королевы Елизаветы II; Антони
Иден, премьер Англии, наносит ответный визит в СССР.

В Москву из Америки пожаловал Давид Бурлюк. Приняли его пышно. Номер люкс в гостинице «Москва», правительственная машина, многочисленные приемы и рауты, публикации об учителе Маяковского в «Правде», «Огоньке», «Советской культуре». Семья Бурлюков посетила музей Маяковского и спектакли по его пьесам. На бурлюковской лекции в музее Маяковского слушатели стояли даже в проходах, среди них — Евтушенко. Побывал мэтр и в Литинституте.

Где-то рядом с шоссе Энтузиастов, за лесочком, заросла старая Владимирская дорога. С прошлого года у Евтушенко насобирались стихи для новой книжки, она готовится к выходу в свет и будет называться «Шоссе Энтузиастов». Кандальный звон над старой Владимиркой вымещен гулом огромной стройки.

В прошлом, 1955 году в журнале «Октябрь» разыгрался скандал. Был напечатан очерк писателя с героическим партизанским прошлым Петра Вершигоры о партизанском движении в Белоруссии, из которого можно было сделать вывод, что фашистам сопротивлялся сам народ, без руководящей роли партии. Аналогичный промах когда-то допустил Александр Фадеев в первоначальном варианте «Молодой гвардии», и его принудили к мучительной переработке своего детища. На сей раз пострадал главный редактор «Октября» Федор Панферов, во всем остальном абсолютно правильный проводник партийной линии. Его отстранили от должности. Правда, временно (получилось, на три года). В отсутствие железной панферовской руки на страницы «Октября» хлынули новые имена. Слуцкий, Межиров, Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко. Заболоцкий, Мартынов и Смеляков тоже появились там, зазвучав наново. За стихи в журнале отвечал Евгений Винокуров. То есть результатом репрессивной меры по закону парадокса стал позитив обновления. Пахнуло и впрямь оттепелью.

Поэтам показалось: жить можно. В секции поэзии Московского отделения Союза советских писателей порешили устроить праздник, назвать его Днем поэзии — и у поэтов получилось: 11 сентября 1955 года в книжные магазины явились служители муз, мэтры и молодежь, принялись торговать своими и чужими сборниками, давать автографы, читать стихи. Восторженный читатель толпами повалил к прилавкам. Большого коммерческого успеха книжная торговля Москвы отродясь не знала. В тот день Евтушенко впервые обнаружил себя у книжного прилавка в образе продавца и вспомнил об этом опыте через много-много лет.

Успех закрепили и развили.

Помолодевшему после XX съезда, оттаявшему от множества душевных травм Владимиру Луговскому пришла в голову идея: издать объемистый сборник московских поэтов, предъявить его читателю в следующий День поэзии, так и назвав — «День поэзии». Бюро секции поэзии приняло идею на ура. Началась подготовка торжества. Создав бригады, обошли книжные магазины на предмет поэзии. На полках было пусто, в складских подвалах пылились кое-какие книжки, торговля утверждала — поэзия «не идет». Виктор Боков, бригадир одной из таких групп, докладывал братьям-поэтам: директор магазина № 11 на улице Горького Д. Фраер, узнав о том, что в его подвале бесхозно валяются 45 поэтов, воскликнул:

— Вот что получается, когда сведущий человек спустится в недра!

Был возведен, наподобие высотного здания, нарядный фолиант в 25 печатных листов тиражом 50 тысяч. По обложке бежали автографы напечатанных там участников одного библиодействия. 30 сентября 1956 года более 120 московских поэтов в два часа дня стали у книжных прилавков. Студенты Литинститута и члены всяческих литературных объединений, которых в Москве было не счесть, присоединились к ним. В Книжной лавке писателей 450 экземпляров этой книги были сметены с прилавка за один день. В книжном магазине № 12 на улице Бакунинской Евтушенко трудился вместе с Михаилом Лукониным, Павлом Радимовым, Львом Озеровым и — Беллой Ахмадулиной. Народ требовал стихов:

— Читайте!

Читали.

Московскую инициативу поддержали ленинградцы, выпустив коллективный сборник «Стихи 1955 года». Именно в пятьдесят пятом им написана вещь «На велосипеде», стоящая, быть может, всего этого сборника:

Я небрежно сажусь —
вы посадки такой не видали!
Из ворот выезжаю
навстречу воскресному дню.
Я качу по асфальту.
Я весело жму на педали.
Я бесстрашно гоню,
и звоню,
и звоню,
и звоню...

Вот хвастун! Звонарь нашелся.

Фабрика «Красная швея», артель «Московский большевик», фабрика «Парижская коммуна» — законодатели советской моды; туфли из глянцевиной, частично матовой кожи; уходят в прошлое брюки клеш и пиджаки с ватными плечами и рукавами до ногтей.

Год назад воздвигнут и открыт Дворец культуры и науки имени Сталина в Варшаве.

Лев Ошанин и Серафим Туликов — песня «Ленин всегда с тобой».

Рейнгольд Глиэр, автор знаменитого марша Красной Армии, больше не пишет маршей; отсутствие новых песен Блантера, Дунаевского, Соловьева-Седого, Мокроусова, Милютин.

Ив Монтан, Лолита Торрес — наши друзья.

Одесса: возвращение на судне «Энтре риос» реэмигрантов из Аргентины, Парагвая и Уругвая; новый государственный заем развития народного хозяйства.

Визит в СССР Ги Молле, Председателя Совета министров Франции; визит югославского лидера Иосипа Броз Тито; его очаровательная супруга Иованка.

В то время Евтушенко с Ахмадулиной не расставались ни на минуту еще и как авторы. В начале того года они плечом к плечу напечатались в литинститутском сборнике «Первое слово». В паре их опубликовали «Новый мир» и «Октябрь».

Но чистой радости не бывает. «Первый удар по моему романтизму был нанесен, когда ЦК ВЛКСМ, возглавлявшийся будущим шефом КГБ

Александром Шелепиным по прозвищу Железный Шурик, разгромил и пытался выдрать из первого номера журнала «Молодая гвардия» в 1956 году цикл моих неореволюционных стихов, призывавших к очищению идеалов Октябрьской революции».

В конце сентября на Секретариате Союза писателей состоялось обсуждение первого номера нового журнала «Молодая гвардия», выросшего из одноименного альманаха, — журнал стал органом ЦК ВЛКСМ и Союза писателей СССР. Председательствовал Константин Симонов. Все шло как по маслу, в голос хвалили молодых, особенно Евтушенко, пока не получил слова заведомо агитации и пропаганды комсомольского ЦК Н. Н. Месяцев. Он не согласился с общей оценкой евтушенковских стихов.

— Евтушенко приписывает культу личности большее значение, чем он имел в действительности.

Маститый Симонов защитил Евтушенко.

— Чтобы журнал пользовался большой популярностью у молодежи, чтобы она любила его, надо полным голосом говорить о трудностях, о том, как мы преодолеваем эти трудности.

Молодой функционер мог и удивиться: еще недавно Симонов потерял место главного редактора «Литературной газеты» за публикацию пламенной просталинской статьи. Нарастало размежевание.

Ахмадулина поместила в «Молодой гвардии» свои переводы: стихи студентов Лейпцигского литературного института. (Был такой институт, аналог московского «лица», основан в 1955-м, через три года получил имя И. Р. Бехера, теперь — с 1995-го — он в составе Лейпцигского университета.)

Литинститутское общежитие располагалось в Переделкине. Рядом небедно жили советские классики и некоторые литераторы-эмигранты. Студенты видели многих, ехидничали. Ходила эпиграмма:

Вот идет великий Бехер.
А читать нехер.

Поэтическая молодежь ринулась в переводы — было интересно в смысле стихотворства и полезно насчет заработка. Евтушенко обильно переводил: азербайджанца Наби Бабаева, грузина Мухрана Мачавариани, армянина Паруйра Севака, еврея Арона Вергелиса.

В стихотворстве начиналось нечто новое, еще смутное и сумбурное.

Под понятие «молодой поэт» подпадали люди разных возрастов и опытов. Евтушенко через запятую шел в ряду таких поэтов, как фронтовики Винокуров и Поженян, сюда же включали Соколова, Рождественского или Кобзева — и все они назывались «талантливые». Диковато звучало: «молодой поэт Борис Слуцкий».

Что касается Н. Н. Месяцева, судьба не раз сведет его с Евтушенко, когда он на долгие годы возглавит Всесоюзное телерадиовещание. С этого стула он в итоге слетит, потом сгорит и на дипломатической службе в одной из стран Юго-Восточной Азии вплоть до изгона из партии по причине то ли аморалки, то ли замешанности в очередной властной интриге.

История продолжалась, и это была действительно другая история.

Преобладала лирика. Психология, разговор о душе и по душам. Евтушенковские стиховые хиты пятьдесят шестого облетели страну. Лет через десять почти любой стихолуб знал чуть не наизусть такие вещи, как «Глубокий снег», «Тревайтесь обо мне...», «Он вернулся...», «Обидели...», «Меня не любят многие...», «Я сибирской породы...», «Не понимаю, что со мною случилось...», «Пролог», «Идол», «А что поют артисты джазовые...», «Я у рудничной чайной...», «Сирень».

Основополагающей стала поэма «Станция Зима», начатая еще в 1953-м, когда он посетил свою Зиму и съездил в Иркутск на предмет издания книжки под названием «Родная Сибирь». С книжкой не получилось — еще не хватило имени, а поэма пошла своим ходом. Да, имени еще не хватило, но он уже — единственный из молодых — выступил в январе 1953-го на дискуссии по Маяковскому.

В «Станции Зима» было все, что потом разольется тысячами потоков. Это был исток, не ведающий об устье. Да, водянисто, многословно. Наивно. Слишком молодо. Веет смеляковской «Строгой любовью», ее интонацией и ее комсомольско-простодушной проблематикой.

Но подлинная проблема была другой: как уберечь струю поэзии в потоке моралистики и всяческого рассужданства на гражданские темы?

Иные строки поэмы стали благодарным материалом для трудов рьяных пародистов (друг Роберт повеселился: ««Иди ты!» — И я пошел. И я иду»). В будущем Евтушенко вынужденно разобрал поэму на части, печатал кусками — в частности, фрагмент, озаглавленный им «По ягоды», или «Шел я как-то дорогой-дороженькой...» («Встреча»). Но в историческом плане, пожалуй, она сейчас интересна целиком, ибо заложила в кладку стихотворства именно этот тип поэта — с его исповедью, обращенной к миллионам.

В октябре журнал «Октябрь» выстрелил «Станцией Зима». Эхо было

чрезвычайным, многих оглушило, и молодым энтузиастам страны восторженно подумалось: явился поэт-гражданин.

Жить не хотим мы так, как ветер дунет.
Мы разберемся в наших «почему».
Великое зовет.
Давайте думать.
Давайте будем равными ему!

Он впервые сделал шаг в сторону истории Отечества и своей семьи, достоверность предположений подкрепляя точной изобразительностью:

Крыл унтер у огня червей крестями,
а прадед мой в раздумье до утра
брал пальцами, как могут лишь крестьяне,
прикуривая, угли из костра.

Стих совпадал с широким шагом молодого зоркого человека, дышащего полной грудью:

Я шел вдоль черных пашен, желтых ульев,
смотрел, как, шевелясь еще слегка,
за горизонтом полузатонули
наполненные светом облака.

Ошеломительно смело говорил о самом-самом, доселе не выговариваемом вслух, и что интересно — изнутри женщины, став ею в эту минуту, и речь шла — о душе:

А в ней какой-то холод, лютый холод...
Вот говорит мне мать:
«Чем плох твой Петр?
Он бить не бьет,
на сторону не ходит,
конечно, пьет,
а кто сейчас не пьет?»
Ах, Лиза!

Вот придет он пьяный ночью,
рычит, неужто я ему навек,
и грубо повернет,
и — молча, молча,
как будто вовсе я не человек.

«Когда я начал писать свою поэму «Станция Зима» — правдоискательскую поэму после стольких лет официальной лжи, то еще не было ни Солженицына, ни Сахарова, ни романов Пастернака, Гроссмана, Дудинцева, не было никаких диссидентов. Никаких художников-абстракционистов, ни фильма «Покаяние». Еще не начали печатать свои стихи ни Ахмадулина, ни Вознесенский, и слово «джаз» было запрещено, и еще не было никаких частных поездок советских граждан за рубеж. В 1953 году я один был сразу всеми диссидентами». Это — так. Или очень похоже.

Не забывай, брат, это ты написал стихи с такими названиями: «Партия нас к победам ведет», «Шаг к коммунизму», «Весна коммунизма», «Маршруты коммунизма», «Наследнику Октября», «Славный путь Октября», «У Мавзолея».

«Ленин» («Я родился в тридцатых в Советской стране...»), например, был напечатан в восьмом номере журнала «Смена» за 1952 год, за полшага до перрона «Станции Зима».

Опытные люди помогали. «В 1950 году литконсультант газеты «Труд» Лев Озеров вписал в мое стихотворение, напечатанное в подборке «Творчество трудящихся», следующие строки: «Знаем, верим — будет сделано, здание коммуны будет поставлено, то, что строилось нашим Лениным, то, что строится нашим Сталиным». <...> Было три типа цензуры — цензура непечатанием, цензура вычеркиванием и цензура вписыванием».

Но подзаголовок прошлогодней книги «Третий снег» таков: «Книга лирики».

Глухой гул шел из Венгрии. Москвичи этого не видели, но в Будапеште на трамвайной линии позднеосенней площади Луизы Блахи стояла крупногабаритная чугунная голова Сталина, оторванная от разрушенного туловища, как будто Сталин потерял голову, попав под трамвай. Мятеж венгров подавили советские танки. Писатель Говард Фаст вышел из Компартии США.

В 1956 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза

татарский поэт Муса Джалиль. Предыстория награждения драматична. С сорок первого отвоевав на фронтах Ленинградском и Волховском, в июне 1942-го он раненым попал в плен. Немцы казнили его на гильотине в августе 1944-го за организацию антифашистского подполья в рядах татарско-чувашского легиона «Идель-Урал», ими сколоченного. После войны советской госбезопасностью было заведено разыскное дело, Джалиля обвинили в измене. В 1947-м имя его включили в список особо опасных преступников. Однако начиная с сорок шестого в Москву стали поступать тетради Мусы со стихами и сведения о его деятельности в легионе «Идель-Урал» и в тюрьме Моабит после провала его подпольной организации. В застенке поэт писал стихи. Моабитская тетрадь попала в руки Константина Симонова, который проследил судьбу Джалиля, организовал перевод стихов на русский язык и напечатал статью о нем. Поступок Симонова увенчался награждением Джалиля Звездой Героя.

Четвертого декабря московские поэты предложили выдвинуть на Ленинскую премию Леонида Мартынова и Ярослава Смелякова. Видимо, в спорах на бюро поэтической секции или решением правления московской писательской организации кандидатура Мартынова отпала, остался Смеляков, вчерашний зэк, с его книгой «Строгая любовь». Одновременно решено было обратиться в Комитет по Ленинским премиям с предложением удостоить звания лауреата Мусу Джалиля.

В том ристалище двух узников победил Муса Джалиль.

1956-й. Пришли иные времена. Лирик Евтушенко еще не знал своей судьбы.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Говорят, человек состоит из воды, которой в нем от 75 до 90 процентов. В Евтушенко воды много, по максимуму. А, допустим, у лапидарного Геннадия Айги (царствие ему небесное) — всего ничего. Евтушенко любит его, помнит семнадцатилетним, симпатичным чувашом Геной Лисиным, в пятьдесят первом году приходившим к нему общаться еще в Марьину Рощу. Сидели на крылечке, читая стихи. Писал Айги тогда в рифму, под Маяковского, по образцу убийственной метафорики типа «Я одинок, как единственный глаз у идущего к слепым человека». Где-то в восьмидесятых они на пару ездили по Германии с выступлениями, очень хорошо общались, как некогда в Роще, и никакой ревности не было, а могла бы и случиться.

Первую книгу Айги в России «Здесь» (1991) Евтушенко снабдил своим предисловием.

Двадцать второго июля 1991 года Айги напишет письмо:

Женечка, дорогой!

Раз навсегда очарованный тобою 40 лет (!) тому назад (будет ровно — в следующем году), я всегда оставался верным тебе.

Многие твои мысли-высказывания (которые вспыхивали — словно — на ходу, словно — на ветру) навсегда вошли в мою жизнь.

Еще раз: Спасибо-Рэхмет тебе за здешнее Слово!

Привет от меня Гале, кланяюсь Маше, целую детишек.

Крепко, горячо тебя обнимаю.

Твой —

Любящий:

Гена.

У Сергея Аверинцева есть формула: «словесность слова». В рассуждении о Мандельштаме это звучит так:

«Блаженное, бессмысленное слово» — оно как раз достаточно бессмысленно, чтобы на слове невозможно было словить, однако и достаточно небессмысленно, чтобы хранить неостывшую память о словесности слова, о Логосе.

Слово — словесно. Семантически. Музыкально. Поэзия состоит из слов. Как сказал Пастернак: «В слово сплочены слова».

Еще одна мысль Аверинцева о Мандельштаме: «На первый план для него, как для его современников и соотечественников, выходят политические темы».

Политика, по слову нашего героя, — «привилегия всех». То есть куда от нее денешься!

Ему пеняют на самопиар сих строк:

Моя фамилия — Россия,
а Евтушенко — псевдоним.

А между тем мы имеем дело со вторым пластом смысла, не явленного миру, поскольку автор и сам не догадывался о таковом.

Надо верить поэту: фактически «Евтушенко» — псевдоним. Почти. У сибирско-московского мальчика Жени исходно было другое родовое имя.

«Во время войны, как множество других советских детей, я, конечно же, ненавидел немцев, однако моя не совсем благозвучная фамилия «Гангнус» порождала не только шутки, но и немало недобрых подозрений — не немец ли я сам.

Эту фамилию я считал латышской, поскольку дедушка родился в Латвии. После того как учительница физкультуры на станции Зима посоветовала другим детям не дружить со мной, потому что я немец, моя бабушка Мария Иосифовна переменила мне отцовскую фамилию на материнскую, заодно изменив мне год рождения с 1932 на 1933, чтобы в сорок четвертом я мог вернуться из эвакуации в Москву без пропуска.

Ни за границей, ни в СССР я ни разу не встречал фамилии «Гангнус». Кроме отца ее носили только мои братья по отцу — Саша и Володя.

Однако в 1985 году, в Дюссельдорфе, после моего поэтического вечера ко мне подошел человек с рулоном плотной бумаги и, ошарашив меня, с улыбкой сказал:

— Я прочел вашу поэму «Мама и нейтронная бомба»... Вы знаете, учительница физкультуры на станции Зима была недалеко от истины. Разрешите представиться — преподаватель географии и латыни дортмундской гимназии, ваш родственник — Густав Гангнус...»

На минуту прервав прозаический мемуар евтушенковского «Волчьего паспорта», напомнив соответствующие строки «Мамы и нейтронной бомбы»:

До войны я носил фамилию Гангнус.
На станции Зима
учительница физкультуры
с младенчески ясными спортивными глазами,
с белыми бровями
и белой щетиной на розовых гладких щеках,
похожая на переодетого женщиной хряка,
сказала Карякину,
моему соседу по парте:
«Как можешь ты с Гангнусом этим дружить,
пока другие гнусавые гансы
стреляют на фронте в отца твоего?!»
Я, рыдая, пришел домой и спросил:
«Бабушка,
разве я немец?»
Бабушка,
урожденная пани Байковска,
ответила «нет»,
но взяла свою скалку,
осыпанную мукой от пельменей,
и ринулась в кабинет физкультуры,
откуда,
как мне потом рассказали,
слышался тонкий учительшин писк
и бабушкин бас:
«Пся крев,
ну а если б он даже был немцем?
Бетховен, по-твоему, кто — узбек?!»
Но с тех пор появилась в метриках у меня
фамилия моего белорусского деда.

Продолжим чтение «Волчьего паспорта».

«Затем он деловито раскатал рулон и показал мне мое генеалогическое древо по отцовской линии.

Самым дальним моим найденным пращуром оказался уроженец Хагенау (около Страсбурга) Якоб Гангнус — во время Тридцатилетней войны ротмистр императорской армии, женившийся в 1640 году в Зинцхейме на крестьянке Анне из Вимпфенталя. Его дети, внуки и

правнуки были пастухами, земледельцами, скитались из города в город, из страны в страну, и, судя по всему, им не очень-то везло.

В 1767 году правнук Ханса Якоба — бедствовавший многодетный немецкий крестьянин Георг Гангнус, до этого безуспешно искавший счастья в Дании и разочарованно вернувшийся оттуда, решил податься на заработки в Россию вместе с семьей — авось повезет. В Германии в этот год была эпидемия какой-то странной болезни, и Георг, ожидая корабля, скончался в Любеке, оставив жену Анну Маргарету с восемью детьми — мал мала меньше. Но она была женщиной сильной воли и, похоронив мужа, отплыла с детьми в Кронштадт, куда не добрался он сам, потом оказалась в лифляндском селе Хиршенхофе (ныне Ирши).

Анна Маргарета не гнушалась никакой черной работы, пахала, чистила коровники, стирала, шила и порой от отчаяния и женского одиночества запивала так, что однажды ее морально осудил сельский сход. Но в конце концов она поставила на ноги всех восьмерых детей. Им удалось выбиться из нищеты, но не из бедности. Все были крестьянами, мелкими ремесленниками, — никто не получил высшего образования, никто не разбогател.

Но внук Анны Маргареты — мой прадед Вильгельм — стал знаменитым стеклодувом на стекольном заводе Мордангена и женился на вдове своего старшего брата — Каролине Луизе Каннберг. В 1883 году у них родился сын Рудольф — будущий отец моего отца. <...>

Однако Рудольф не захотел стать стеклодувом, как его отец, и в девятнадцатилетнем возрасте, блистательно сдав экзамены, поступил на математический факультет Московского университета. Он сам начал зарабатывать на жизнь уроками алгебры и геометрии. <...>

Если бы еще тогда Рудольф Гангнус внимательно взгляделся в хрустальный шар, выдутый для него его отцом, Вильгельмом, возможно, он увидел бы сани с гробом, медленно ползущие по заснеженным улицам незнакомого ему сибирского города Тобольска, идущую вслед огромную толпу со слезами, полузамерзающими на щеках, и в этой толпе осиротевшую девочку Аню Плотникову, его будущую жену и мою будущую бабушку.

Она и подарила моему отцу неотразимые карие глаза и обезоруживающую мягкость. <...>

Рудольф Вильгельмович прекрасно говорил по-русски, по-немецки и по-латышски, но, конечно же, был немцем. <...>

Через дортмундского Гангнуса я узнал, что есть и другие, австрийские Гангнусы — потомки родного брата моего дедушки

Рудольфа, банковского служащего Зигфрида, сразу после начала войны перебравшегося из Риги на родину «Сказок венского леса».

Произошла, как видим, двойная мистификация — и с фамилией, и с годом рождения. Это не могло не повлиять на самосознание человека, рожденного к тому же поэтом. Даже если ты по предкам латыш, то некоторая инакость все равно имеет место. Обвинение в немецкости, когда идет война с немцами, может сломать навсегда. Это в пушкинские времена, во время войны с французами, в прозвище «Француз», кажется, не вкладывалось никакого негатива, все лицеисты по воспитанию были немножко парижанами. Другое дело у нас — СССР, Сибирь, глухомань, закон-тайга.

Исступленная русскость Евтушенко, вплоть до выбора совсем новой, небывалой «фамилии» — Россия — берет начало не только в его несомненном праве на именно такую национально-культурную самоидентификацию, но и в тех подводных камнях, в тех перекатах, которые столь сильно изображены им в романе «Ягодные места». Мальчик Женя не мог знать — и не думал о том, что носители таких фамилий, как Фет или Блок, тоже претерпели некоторые, мягко говоря, неудобства в этой связи. Блок мог бы стать, например, Бекетовым, но он сам высказался в свое время на сей счет: «Под псевдонимом я никогда не печатался, изредка подписывался только инициалами» (Автобиография). Хотя о его немецкости — и в человеческом, и в творческом плане — не без оснований судачили всю его жизнь. Русская судьба и русское слово определяют русского поэта.

Рудольф Вильгельмович Гангнус, дед поэта по отцу, учитель московской средней школы, был автором широко известных пособий и учебников по математике, вышедших в 1930-е годы. В январе 1938-го посажен «за шпионаж в пользу буржуазной Латвии». Освобожден в 1943-м и выслан в Муром, где жил под надзором до 1948-го. Восстановлен в правах и получил разрешение вернуться в Москву, где вскоре умер.

Дед поэта по матери, Ермолай Наумович Евтушенко, участник Первой мировой и Гражданской войн, служил в Приуральском военном округе, командовал артиллерией в Приволжском (Самара) и Московском военных округах, был заместителем начальника артиллерии РСФСР, инспектором Артиллерийского управления РККА. Имел воинское звание бригадинтенданта. В конце 1930-х по службе был связан с репертуаром столичных театров, ставящих пьесы, близкие оборонной теме. Расстрелян в августе 1938-го — по обвинению в участии в террористической организации.

Все это пребывало до поры в глубокой тайне — и от Жени, и от всех на свете. Понадобилось время, оно прошло, и пришло другое: свою родословную Евтушенко открывал не урывками, а рывками, не от него зависящими. Когда писалась «Мама и нейтронная бомба» (1982), он полагал, что знает все об истории, семьи и крайне подробно, балансируя над полем прозы, отбросив рифму и стройный размер, развернул пространное полотно повествования. На сей раз он оказался недостаточно глубок не по своей вине.

Лишь через восемь лет, уезжая в Харьков на предвыборную гонку за место в союзном парламенте, он внезапно узнает от матери, что в Харькове, возможно, еще существует четырехэтажный особняк, хозяйкой которого была в оны времена его двоюродная прабабка. Она когда-то жила там совсем одна с двумя сотнями кошек...

«— Постой, мама... Ты же сама рассказывала, что твои предки в конце девятнадцатого века были сосланы из Житомирской губернии в Сибирь, на станцию Зима, за крестьянский бунт... Откуда же у простой крестьянки четырехэтажный особняк, да еще и две сотни кошек? Зачем же ты мне сказки сказывала и про «красного петуха», подпущенного помещику, и про то, как до станции Зима наши предки добирались пешком в кандалах? — растерянно, оторопело бормотал я.

— Все правда — и «красный петух», и кандалы... — частично успокоила меня мама. — Только прапрадед твой, Иосиф Байковский, никакой не крестьянин. Он был польский шляхтич, управляющий помещичьим имением, но возглавил крестьянский бунт. Голубая кровь ему не помогала — кандалы на всех были одинаковые.

Итак, легенда о моем рабоче-крестьянском происхождении с треском разваливалась. Оказалось, что я и со стороны моего прадедушки Василия Плотникова, и со стороны прадедушки Иосифа Байковского — дворянин. Вот уж не думал не гадал...»

Жена пана Иосифа была украинка. Их дочери — ласковая Ядвига и крутая Мария — воспитывали внука в соответствии со своим внутренним устройством.

«Ядвига Иосифовна, вышедшая замуж за русского сибиряка слесаря Ивана Дубинина, была небольшого роста, с почти неслышной походкой и всегда защищала меня в детстве от справедливой, но безжалостной палки своей суровой могучей сестры, от которой я спасался, забираясь на самую верхушку столба ворот нашего дома.

Высокая, прямая, не улыбкающая Мария Иосифовна — будущая мать моей матери — стала женой белоруса Ермолая Наумовича Евтушенко,

сначала дважды Георгиевского кавалера, затем красного командира с двумя ромбами, затем «врага народа».

Родители Жени расстались по причине, ему неведомой. Есть нехорошая версия, что отец ушел от матери из-за ареста тестя, дабы не попортить свою карьеру. Но мы ее отметем. Правоподобнее другая: «Она нашла в его портфеле дамские чулки, но не ее размера».

Позже окажется, что они так и не развелись официально.

Евтушенковское детство проходило попеременно то в Сибири, то в Москве. Запечатленного на фотографии четырехлетнего малыша с белым бантиком, в коротких штанишках и скрипачкой в руках, скажем прямо, трудно счесть первородным таежником. Некоторая межеумочность имела место, и она тайно отложилась на дальнейшем творческом существовании. «Я сибирской породы», — между тем утверждал он с полным правом.

Мать не препятствовала общению отца с сыном. Который любил, по его признанию, своего прекрасного отца со всеми его другими женщинами в придачу — и женами, и не-женами. Мать ревновала, но что было ей делать с таким щедрым на сердце сыном? «Вылитый отец!» — говорила она в сердцах. Отец разводил руками в свою очередь: «Вылитый мама!»

Поэтому,
если я окажусь гениальным,
не надо меня отливать из бронзы,
а пусть отольют
моих папу и маму —
и это буду
вылитый я...

Родители были ровесниками, им было по двадцать два, когда у них появился сын. Они были геологами, работали как раз в тех местах, где потом произросла Братская ГЭС. Сохранилась фотография, датированная 1932 годом. Зина спрыгивает с коня, Александр придерживает стремя, рядом горит костер. Мать потом смущенно призналась, что в палатке около этого костра он и был «начат».

Рождался он тоже не рядовым образом. Об этом есть проза «Почему я не играю в карты. Рассказ по рассказу моего отца». В карты играл его будущий отец — накануне рождения сына — на Нижнеудинской железнодорожной станции с начальником этой станции. Окно начальника кабинета смотрело на роддом, где лежала Зина Евтушенко. Молодому

Александру Рудольфовичу жутко, беззастенчиво везло, его партнер продулся вчистую, спустив и казенные деньги. Он был бывшим белым офицером, ничего хорошего не ждал, но остатки чести в нем еще теплились, и в тот момент, когда молодые родители повезли свое новоявленное сокровище домой, в затхлом кабинете раздался выстрел. Смит-вессон, припрятанный бывшим «контриком», оборвал эту проигранную жизнь.

Отдает фантаσμαгорией. Но это — правда. Надо верить поэту.

Веет и Гумилёвым. Да, видимо, так. Отец, собственно, был первым учителем стихотворства. Александр Гангнус писал стихи. Хорошие.

Вы прятались в трюме толпою безгласной
И прятали душу, дрожащую в теле,
И ветер подумал: «Вы мне неопасны...»,
И море сказала: «Вы мне надоели...»

Теперь, позабыв про весну и про смелость,
Про трусость, про душные сумерки трюма,
Вы стали другими, вы переоделись,
Вы носите из коверкота костюмы.

И вы позабыли, как где-то, когда-то,
Хватаясь за небо, за солнце, за воздух,
Вы мчались вперед на корвете крылатом,
Дорогу ища в очарованных звездах.

Похоже на Багрицкого, на его «Контрабандистов», и даже на светловскую «Гренаду», что совершенно естественно для юноши, полюбившего стихи в 1920-х и тогда же начавшего писать, но в истоке-то того и другого — он, Гумилёв, его «Капитаны», его повадка, его романтический раскат, шкиперский жест и штормовая ритмика, ностальгия по героике и обличение тех, кто переоделся в коверкот, потеряв розоватые брабантские манжеты.

Удивительно ли, что сын Александра Рудольфовича сочинит в пятилетнем возрасте восхитительный стишок:

Я проснулся рано-рано
и подумал, кем мне быть.

Захотел я стать пиратом,
грабить корабли.

На дворе 1937 год, папа ходит по Сибири с геологическим молотком, сын воспаряет в иные пределы, и парение не кончается, причем все в том же направлении, вплоть до 1948 года, когда шестнадцатилетний подросток уточнит свою отправную точку:

Когда-нибудь по-гумилёвски
сын поплывет в простор морской
и с пристани, где сгнили доски,
отец махнет ему рукой.

(«Заря. Лимоны и лиманы...»)

Через десять лет (в 1958-м) он что-то поправит в этой вещи, но такая подробность, как сгнившие доски пристани, — это уже вполне Евтушенко, его деталь, как оказалось, фамильная. Готовый учитель был рядом и проник во всё, не исключая лексической почвы. Стоит всмотреться в последнюю строчку отцовского катрена (курсив мой. — И. Ф.):

Мы с вами такие чужие,
А было когда-то — и нас
Смертельные бури кружили,
Но кто-то нас подленько спас.

И это «подленько» с уменьшительным суффиксом, и сам оксюморон спасения, и смысловой удар на конце строфы — так писал и пишет Евтушенко до сих пор. Есть в этом стихотворении и еще одна строфа, которую, пожалуй, Евтушенко мог бы воспроизвести от собственного лица в данную секунду истории:

Неслышно скользя по поэме
Холодным мерцанием глаз,
Вы — знаю я — меряли время,
Шагнувшее через нас.

Кстати говоря, именно рифмой «поэме — время» он заканчивает свою первую книжку «Разведчики грядущего».

«Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать и в восемь лет залпом читал без разбора — Дюма, Флобера, Шиллера, Бальзака, Данте, Мопассана, Толстого, Боккаччо, Шекспира, Гайдара, Лондона, Сервантеса и Уэллса. В моей голове был невообразимый винегрет. Я жил в иллюзорном мире, не замечая никого и ничего вокруг».

У отца-воспитателя в свой час — Жене 16 лет — появился соперник, впрочем, не оппонирующий первому. Обожатель футбола и сам футболист марьиноорощинских пустырей, в выцветшей майке, в спортивных шароварах и рваных тапочках, Женя стал бегать со стихами и заметками в газету «Советский спорт», размещавшуюся в доме аккурат напротив грозно-грандиозного здания на Лубянке. Ровно на том месте сейчас стоит соловецкий валун. Этот памятник открывал Евтушенко намного позже (в 1990-м). В какой-то мере он открывал памятник началу своего творческого пути.

В нагусто прокуренном пространстве спортивного издания, умещавшегося в одной большой комнате, под стрекот пишмашинки и скрип авторучек, обретался «черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами», с олимпийским спокойствием занимавшийся суетной спортивной журналистикой.

Николай Тарасов.

«Он любил и Маяковского, и Есенина, и Пастернака, и Цветаеву, но защищал и Кирсанова, когда того обзывали так: «У Кирсанова три качества: трюкачество, трюкачество и еще раз трюкачество». Тарасов открыл мне не произносившиеся тогда имена Павла Васильева, Бориса Корнилова. (В 1976 году, когда писались эти строки — эссе «Благородство однолюба», был не назван Гумилёв. А Тарасов говорил о нем часто. — И. Ф.) Он при первых публикациях сразу угадал сильный талант Вознесенского и впоследствии, будучи редактором журнала «Физкультура и спорт», напечатал там его поэму, имевшую к спорту весьма косвенное отношение. Мы стали друзьями на всю жизнь. Но в дружбе двух людей, пишущих стихи, иногда бывает так, что один из них относится к стихам другого с покровительственной снисходительностью. Такое отношение могло быть у Тарасова ко мне, но получилось, к сожалению, наоборот. Молодости свойственна переоценка себя и недооценка других. Я очень любил Тарасова, но к стихам его относился как к любительству, хотя многое мне в них нравилось. <...> Первые профессиональные поэты, высоко оценившие стихи Тарасова, были Антокольский и Межиров, а я к

их числу не принадлежал». Тем не менее стихотворению «Валентиновка» (1952) он дает подзаголовок: «Подражание Тарасову».

Тарасов писал стихи, далекие от редакционной повседневности, от перенапряга строчкогонства и вообще всяческого пота, в том числе спортивного, уклоняясь в сторону, допустим, Древнего Египта (стихотворение «Тия — соперница Нефертити»), по гумилёвскому следу и звуку:

Горит закат сквозяще и обманно,
никто другой не помнит и не ждет,
но по тяжелым плитам Эльаварна
она в одеждах каменных идет.

Или — совсем чистая лирика:

Та смотрит вдаль, та поджигает губы,
той серьги бирюзовые к лицу,
и молча умирают однолюбы
на подступах к Бульварному кольцу.

Бирюзовые серьги — из усвоенных Женей деталей на потом, да и умирание от любви на подступах ко всем бульварам земшара стало свойством неистребимым.

Второго июня 1949 года Тарасов напечатал у себя в газете «очень смешное, разоблачавшее «их нравы» стихотворение, подписанное *Евг. Евтушенко*.

Первая публикация.

Автор попросил машинистку Т. С. Малиновскую поставить «Евг.», и это осталось навсегда. Что это означало? Боязнь слипшегося «ЕЕ»? Или в этом «Евг.» было подсознательно закодировано родовое имя Ган гнус? Так или иначе, мы имеем дело с практически новым парапсевдонимом.

Евг. Евтушенко существует в русской поэзии шестьдесят пятый год.

Ну а что до Гумилёва, не напрасно именно его имя стало чуть не эмблемой перестройки — так произошло оттого, что среди своих сверстников-современников он был первый, кто отметил столетие в 1986 году, и о нем заговорили захлеб на волне дарованных свобод, старательно отмывая от участия в «заговоре Таганцева». Кроме того, этим неофитским

восторгам содействовала уже устоявшаяся разрешенность Ахматовой. А главное — субстрат романтизма: эпоху страна переживала романтическую. Евтушенко печатает в ЛГ статью «Возвращение стихов Гумилёва», по существу начиная его возвращение. Гумилёвские подборки помещают «Литературная Россия» (№ 15) и «Огонек» (№ 17).

В юности Евтушенко был поражен прежде всего фактом самой публикации расстрелянного Гумилёва, когда ему в руки попала уникальная книга И. С. Ежова и Е. И. Шамурина «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней» с вводной статьей Валерьяна Полянского (М.: Новая Москва, 1925). В своей будущей работе над антологией «Строфы века» Евтушенко во многом ориентировался на ежовско-шамуринскую.

ПОЕЗД «ЗИМА — МАРЬИНА РОЩА»

Евтушенко — почетный гражданин городов Атланта, Варна, Зима, Нью-Орлеан, Оклахома, Петрозаводск, Талса.

Нас интересует Зима.

Зима — солидный град районный,
а никакое не село.
В ней ресторанчик станционный
и даже местное ситро.

Есть хлебосдаточных три пункта,
есть банк, есть клуб в полтыщи мест
и деревянная трибунка
у горсовета для торжеств.

А все же тянет чем-то сельским
от огородов и дворов,
от лужиц с плавающим сеном,
от царской поступи коров.

Журчали голуби на балках.
У отворенного окна
лоснилась дробь в стеклянных банках,
как бы зернистая икра.

Купались девочки нагие.
Дышали сено и смола,
а в доме бабочка на гире
цветастых ходиков спала.

Я помню маленький мой город
в тот год усталым от всего,
и амнистированный гогот
в буфете станции его.

Глядели хмуро горожане

на бритых наголо кутил,
кому убийства с грабежами
святой Лаврентий отпустил.

И не могли принять на веру
еще ни я и ни страна,
что мы вошли в другую эру
без Сталина, без Сталина...

(Из поэмы «Откуда вы?»)

А рос он там еще при Сталине, и на земном шаре шла страшная война. Зиминских картин у Евтушенко в стихах, не говоря о прозе, — не счесть, его Зима на редкость достоверна и подробна. Так может видеть только детский глаз, но поразительнее всего — долгосрочная памятьливость его зрения.

«Амнистированный гогот», «святой Лаврентий» — точное указание на время действия: 1953 год, бериевская амнистия (1,2 миллиона человек, не представляющих угрозы для государственной безопасности), на волю выпущена тьма уголовников. Евгению двадцать — двадцать один. Все остальные детали — вплоть до бабочки на гире ходиков — из предыдущей жизни, из самого раннего детства. В некотором смысле он и сам — такая бабочка. Знак времени.

А в музыкальной ткани стиха — отдаленный призыв народно-каторжанской песни с рефреном «Бежал бродяга с Сахалина». Навзрыдные ноты его стихов имеют определенное происхождение. Осторожных песен без слезы не бывает.

Поселение Зима появилось в первой половине XVIII века. На Большой Московской дороге, по которой в середине XVIII века гнали заключенных, возникла «станца» Зима. Название Зима — от бурятского «зэмэ», то есть «вина» или «проступок». Не надо приуменьшать значение таких — скрытых — вещей. Вина, проступок — постоянные, если не сказать врожденные мотивы евтушенковского творчества.

Первым жителем поселения был ямщик Никифор Матвеев. «В прошлом 1743 году по Указу Иркутской канцелярии из Братского острога он (Матвеев) приписан на Зиминский станец в ямщики для содержания подвальной гоньбы... в семигривенном окладе» (запись в «Ревизских сказках»). Первые зиминцы обзаводились хозяйством, пасли скот,

выращивали зерновые. В 1772 году началась прокладка Московского гужевого тракта, а затем и устройство паромной переправы через Оку. На протяжении второй половины XVIII века и всего XIX века Зима — притрактовая деревня, большинство жителей — пашенные крестьяне. В 1891 году пошло сооружение Транссибирской железной дороги, в 1898 году образовалась железнодорожная станция Зима, где со временем были построены локомотивное депо, железнодорожные мастерские, жилой поселок.

Вокруг были глина да песок, месторождения поваренной соли. Во время Столыпинских реформ — 1906–1913 годы — в Зиму и ее окрестности прикатила волна переселенцев, завязалась торговля хлебом и лесом. Жили тут вольные крестьяне, ссыльные и заключенные, строившие железную дорогу. Было много лесопилен. Неподалеку располагались Хулгунуйская заимка и деревня Ухтуй. В тридцатых-сороковых годах, когда там произрастал Евтушенко, зиминцев было около тридцати тысяч. Мясокомбинат, маслозавод, хлебозавод, «Заготзерно» — все было как положено, и кое-что из этих учреждений и названий попало в его стихи.

Родители Жени здесь оказались не случайно: Зинаида Ермолаевна — уроженка сих мест. Летом 1932-го студентка 4-го курса Московского геологоразведочного института Зинаида Евтушенко, работавшая в экспедициях в бассейне Ангары, приехала к своей матери, Марии Иосифовне, проживавшей тогда в Нижнеудинске, и родила первенца. Вскоре Зинаида с ребенком переехала в Зиму, в дом родни — Дубининых. Муж вернулся из экспедиции, забрал жену с младенцем и привез в московский дом своего отца на Четвертой Мещанской улице.

Еще учась на последнем курсе, она выиграла на конкурсе самодеятельного творчества столичных вузов первую премию и поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова, в 1939-м окончила его, уже работая солисткой Московского театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, с 1938 по 1941 год. Грянула война, с начала которой по декабрь 1943-го Зинаида Евтушенко выступает на фронтах в составе концертных бригад, которые состояли из артистов и писателей, — бывало, что и вместе с литературными знаменитостями: Симоновым, Фадеевым, Алигер.

Удалось выехать на гастроли в тыл, в Читинскую область, ей дружно аплодировали хлеборобы, пока она не слегла с тифом на несколько месяцев в читинской больнице. По выздоровлении, поначалу с обритой головой, — заведование зиминским Домом культуры железнодорожников, где начинала в детском секторе — с трудными подростками. Но характера ей было не

занимать стать, она была дочерью своей непреклонной матери, ее прямоту Женя познал вполне с течением жизни.

В июле 1944-го с сыном вернулась в Москву. Вызвав в столицу свою мать, опять — на фронт, с поездками в концертной бригаде своего театра, почти до самой победы, до апреля сорок пятого. Голос был потерян, сын обретен. И не только сын: через 3 месяца у Жени появилась единоутробная сестра Елена, по-домашнему — Лёля. Которая станет актрисой, чтицей стихов — все правильно: это — фамильное.

Никто не гнал Зинаиду Ермолаевну на фронт с концертами. Как скажет потом сестра Лёля, Женя — в мать: перпетуум-мобиле.

Человек устроен сложно. По природе Женя был мамин сын и от матери был неотрывен до конца ее долгой жизни, однако где-то глубоко внутри оставался кусочек вакуумной паузы в их отношениях военной поры. Мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург через много лет добродушно говорила:

— Женю я очень люблю. Он такой большой ребенок. Искренний до наивности. Передо мной вдруг упал на колени: «Я хочу, чтобы вы были моей мамой, считайте меня сыном». Ну, совершеннейший мальчишка.

Он и к Африке потом обратится: «О мама черная моя!»

Ему лишь слегка понадобился его артистический дар, когда он спервоначалу лепил образ автогероя — сибирского мальчишки, выросшего в тайге. Так оно и было. Он прекрасно знал «родной сибирский говорок» с этими «чо» вместо «что» и множеством пряных словечек, бытующих только в родных местах. Жил в семье дяди Андрея Ивановича Дубинина, учился у Сусанны Иосифовны Коношенко. Детство было как детство, с проделками и неприятностями (однажды шайка шпаны ограбила его в центре Зимы), он носился по Телефонной улице, стоял в нудных очередях за хлебом, выступал в госпиталях перед ранеными с песнями и стихами, трудился на овощных базах и в полях; в клубе он смотрел кино, где пел Марк Бернес про темную ночь и детскую кроватку точно так же, как потом — о том, хотят ли русские войны, но отсутствие родителей компенсировалось вольностями ненавязчивого воспитания и роскошью природы, заглушая тоску по родителям.

Он везде выглядел иначе, по-другому, не таким, как все, в силу хотя бы своего буратинистого носа и ранней долговязости. Конечно же в Зиме — по крайней мере поначалу — он был столичной штучкой, бравировал тем, что уже глаза в глаза видел войну: пацан, приехавший в Зиму из Москвы, хвастался перед новыми друзьями тем, как он дежурил ночами на крыше и самолично тушил зажигательные бомбы.

В другом тысячелетии, уже в американской Талсе, он почти нечаянно обронил («Мелодия Лары», 2002):

Я щелкунчик из сказки немецкой,
из музыки русской,
но давно не бродил
по таежной тропинке,
от игл и мягкой, и хрусткой.

«Я еще в детстве видел американцев, летчиков. На нашей станции Зима был малюсенький аэродром. И я никогда не забуду одну женщину, американку с длинным носом, которая целовалась с русским штурманом прямо на дороге. Там был перевалочный пункт «Дугласов», летавших с Аляски. Ну а мы, дети, конечно, подсматривали.

И вот когда я приехал в Штаты, меня спросили: кто был первый американец, которого я видел. Я поправил, что это была американка, и рассказал о том поцелуе. И тогда сидевшая рядом знаменитая писательница, автор великой пьесы «Лисички» Лиллиан Хелман, расплакалась и сказала: «Это была я!».

В 1944-м, став окончательно столичным горожанином, одной ногой он был еще в таежной чаще, другой — в Марьиной Роще, тоже по существу месте поселковом, переходном, как его возраст. Он шатался в толкучке столичной, как провинциальный пацан с вокзала, с незримым огромным чемоданом, набитым колоссальными впечатлениями детства.

Наделили меня богатством.
Не сказали, что делать с ним.

Он сам распорядился своим багажом. Станция Зима, слава Богу, не была транзитным пунктом его биографии. Распахивая чемодан, он жадно вдыхал запах тайги, перебирал цветы и ягоды, всматривался в лица сибирской родни, глядящие из зеркал таежных родников.

Откуда родом я? Я с некой
сибирской станции Зима.

Это правда, он оттуда. Экзотические наряды его будущего непрерывного костюмированного бала, фестивальная фейерверочность, игра в заморского гуся, драгметаллы и камни браслетов, перстней и колец — плод тех вкусов, что образовались на железнодорожной платформе, где стоял в черной телогрейке зиминский полусирота при живых родителях, глядя с тоской на проходящие куда-то вдаль поезда.

Кроме того, на том же вокзале он изображал в видах милостыни — полного сироту, распевая что-нибудь жалостное. Успешно. В вокзальном буфете розовый, как пупс, недоросток милиционер тащил на себе опухшего инвалида, деревянная нога которого задевала стулья.

Крупнозернистая икра дробы в стеклянных банках, бабочка на гире цветастых ходиков. Это на всю жизнь.

Его уличают в раздвоенности — почти не без оснований, поскольку и детство его на первый взгляд выглядит чем-то двойным, как будто два похожих человека выросли в двух разных местах. Но многоликость, многоипостасность, многоперсонажность — свойство этой натуры, единой по сути. Он таков. Он разный. Собственно, он единолично, в самом себе, осуществил известный тезис Маяковского о поэтах хороших и разных, сведенных в одного самобытного поэта уникальной личностью и мгновенно узнаваемой интонацией. Стиль — это человек? Человек — это интонация.

Но это произойдет и станет ясно потом.

А дальнейшее детство было — такое: «Я рос в деревянной Москве — в маленьком двухэтажном домике, спрятанном в деревьях. Отапливался он дровами. Ни ванны, ни душа у нас не было, и, как большинство тогдашних москвичей, мы по субботам торжественно ходили в баню, совершая старинный обряд хлестания друг друга по бокам и спине березовыми вениками. <...> Мама, бывшая певица, потерявшая голос на фронте, бабушка, моя сестренка и я жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В сатирических произведениях тех лет весьма ядовито описаны эти коммунальные кухни, где разъяренные соседки плюют друг другу в борщи и жильцы устраивают общественную порку тому, кто не гасит свет в туалете. Однако в нашей коммунальной квартире такого не было и в помине. Наоборот, общая кухня была чем-то вроде маленького парламента, где обсуждались все дела — и семейные, и политические, а большим залом этого парламента был весь двор, где на деревянных скамеечках в тени деревьев шли долгие заседания всех жильцов и равными в спорах были и водопроводчик, и профессор, и писатель».

В каждом городе, особенно крупном, не говоря уж о столице,

обязательно есть район наиболее криминальный. Долгое время, начиная с позапрошлого века, Марьяна Роцца славилась наиболее выдающимися достижениями в этой области, и самое имя ее внушало трепет. Может быть, продуктом бандитской славы была такая версия происхождения имени: в незапамятные времена в сих дикорастущих местах лютовала страшная шайка, и возглавляла ее лихая атаманша Марья. Русские люди верят в страшные сказки, тем более что прецеденты были не только в фольклоре, но и в анналах истории, а один из прекрасных поэтов, высоко ценимых Евтушенко, Дмитрий Кедрин написал «Песню про Алену-старицу» как раз на эту тему. Это были, как правило, робингуды в юбке. «И вождь наш — женщина!», как будет сказано потом в «Женщине и море».

XX век многое забыл. В послевоенные годы повседневно царила уголовщина. Вопросы решались финским ножом.

Параллельное существование уголовного и законопослушного миров составляло даже некую гармонию: каждый знал свой жизненный участок, и понятия соблюдались неукоснительно. Миры переплетались, будучи отдельными. Каждый подросток мог попасть в сети криминала независимо от рода занятий его родителей.

«...мне было двенадцать лет. Мама — эстрадная певица — была на фронте, отец, разведенный с нею, где-то в Сибири, и я жил один в коммунальной квартире внутри деревянного ветхого домика, окруженного черемуховыми деревьями и тополями. Как и многие дети той поры, я был предоставлен самому себе. Моей нянькой была улица. Улица научила меня драться, воровать и ничего не бояться. Но одного страха улица у меня не смогла отобрать — это был страх потерять хлебные карточки. Я носил их в холщовом мешочке на ботиночном шнурке вокруг шеи. Однажды после драки этот мешочек исчез. Старуха, стоявшая в очереди, отдала мне карточки скончавшегося мужа, сказав: «Хоть за мертвого поешь...»

В сорок пятом году мне отоварили все карточки, оставленные мамой, бывшей тогда на фронте, сгущенным молоком. Был целый бидон — литров пять. Я пригласил всех дворовых мальчишек на этот пир Лукулла. Мы вылили сгущенку в таз посреди стола и начали черпать ее ложками, намазывая на хлеб, или просто хлебали. После этого я видеть не могу сгущенного молока. Все детство я провел в очередях, как и почти все дети нашего поколения, записывая порядковые номера химическим карандашом на ладони».

Когда Женю Евтушенко вышибли из одиозной (для «неисправимых») 607-й школы, ему грозил преступный жребий многих сверстников и соседей. Участь сия миновала его, а в школу эту он перелетел из другой —

254-й. Паренек был озорной, кроме того — беззаветно любил футбол и безнаказанно прогуливал уроки. Однокашники однажды ухохотались, когда бабушка Мария Иосифовна привела его в школу на веревке, как теленка. Школьное начальство терпело мелкие прегрешения, но случилось худшее.

В школу пришел инструктор из комсомольского райкома разьяснять доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Женя вооружился томом «Литературной энциклопедии» тридцатых годов и на глазах у всех предложил инструктору сличить соответствующие статьи энциклопедии и ждановской брошюры. Оказалось — плагиат. Секретарь ЦК ВКП(б) — литературный вор?..

Женю отправили в «школу неисправимых», 607-ю. Там произошло следующее: кто-то похитил из учительской все классные журналы, сжег их, и обгоревшие остатки были найдены на свалке. Директор школы, в общем-то человек хороший, наугад выбрал виновника ЧП и наказал — его, Евтушенко, никак не виноватого, выгнав из школы и выписав ему «волчий паспорт», то есть отрицательную характеристику, с которой у человека не остается ни малейшей перспективы.

Жизнь Жени состояла из всяческих околошкольных недоразумений, дворово-уличных приключений, прогулов-прогулок по Москве и усиленного, безостановочного стихописания. На письменном столе перед собой он раскладывал школьные тетрадки — для мамы, на самом деле вдохновенно гоня строчки в рифму. «Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала». Выходило штук по десять-двенадцать стихотворений в день. Он тогда решил зарифмовать весь «Словарь» Ожегова и обязательно новыми, небывалыми рифмами, и пытался составить, помимо прочего, словарь рифм, которых еще не бывало, таких нашлось до 10 тысяч, — увы, он утерян.

В одном размашистом тексте он сообщил: «Моя мать рвала тетради моих стихов в мелкие клочья», поскольку она якобы страшилась традиционно трагической судьбы русского поэта, — может, так и случалось, однако в действительности Зинаида Ермолаевна до глубокой старости хранила его потайные тетрадки и листки.

Стараниями матери сбережены подростковые дневники Евтушенко с перечнем прочитанных книг, увиденных фильмов и спектаклей. Став взрослым, Евтушенко все дневниковое — сокровенное, ежедневное, сиюсекундное — вливал в стихи. Дневник как жанр отсутствует в его арсенале. Он вел записные книжки, но они — нечто функциональное, опять-таки в пользу стихов.

С давними дневниковыми записями работал Юрий Нехорошев — по

евтушенковской характеристике «Евтушенковед Номер Один», и это истинная правда: нет лучшего знатока евтушенковской темы.

«А Евтушенковед Номер Один стал моим близким другом, хотя я часто искренне поражался тому, как такой серьезный человек может тратить столько времени и к тому же столько денег на вырезки и прочую бумажную канитель.

Он появился в моей жизни лет двадцать назад (в 1965 году. — И. Ф.), когда еще был глубоко засекреченным специалистом, работающим над совершенствованием подводных лодок.

Однажды утром ко мне явился незнакомец в черной с золотом флотской форме и положил на жалобно заскрипевший письменный стол штук десять внушительных по размеру томов в ледериновых переплетах. Все эти тома были перепечатаны им на машинке собственноручно.

Я открыл первый из них и увидел на первой странице именно то, о чем нескромно мечтал с моего литературного отрочества: *ЕВГ. ЕВТУШЕНКО. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ*».

Судя по списку в его записях, поэтов, прочитанных в доинститутские годы, — немного: Симонов, Кирсанов, Сурков, Алигер. Но общий список усвоенного в 1940-е годы — необозрим. Толстой, Тургенев, Чехов, Горький («Жизнь Клима Самгина»), Достоевский («Белые ночи»), Чернышевский («Что делать?»). Из переводной литературы — Бальзак, Гюго, Дюма, Диккенс, Лондон, Цвейг, Гашек, Фейхтвангер, Ремарк, Хемингуэй. Из советских новинок — «Студенты» Трифонова, «Молодая гвардия» Фадеева, «Два капитана» Каверина.

Но он еще в Зиме читал много.

Иркутянин Виталий Комин, тоже евтушенковед, опубликовал (в 1957-м) запись своей беседы со школьной библиотекарьшей зиминской железнодорожной школы № 26 Конкордией Назаровной Черкасовой о Евтушенко-читателе:

Во время войны он жил в Зиме, брал у меня книги. Да все толстые! Однажды, помню, взял роман «Пугачев». Ну, думаю, хочет выглядеть, как взрослые читатели — солидно. Решила устроить ему экзамен. Возвращает он книгу, а я спрашиваю: кто были сподвижники Пугачева?

— Салават Юлаев, Хлопуша...

Всех назвал! Только вот фамилия у этого мальчика была другой.

Он не только читал. «Я стащил у бабушки два тома К. Маркса и за год исписал в них белые промежутки. Я пробовал написать роман».

У него появился герой — джеклондоновский Мартин Иден. Уж если говорить об «американизме» Евтушенко, то надо начинать именно с него, с Мартина Идена.

Было на кого равняться — стихи летели во все редакции всех изданий, какие ни есть в Москве, в ответ — неизбежные отказы. Собрав стихи в большую тетрадь, он отправил ее в издательство «Молодая гвардия». Через какое-то время он был зван туда письмом, встретил его сухощавый человек, похожий на пирата — с повязкой на глазу. Андрей Досталь, редактор издательства и поэт, написавший много песен.

— Вы к кому, мальчик?

Женя показал письмо.

— А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти?

— Это я написал, а не мой папа.

Досталь недоуменно посмотрел на долговязого паренька со школьным портфелем в руке. Потом расхохотался.

— Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убитенного сединой мужчину, прошедшего огонь и воду и медные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания. И любовные трагедии...

Присутствующие, как показалось визитеру, потешались над ним, ибо странно улыбались.

Досталь вел в «Молодой гвардии» литконсультацию, куда Женя ходил более трех лет. Параллельно он занимался в поэтической студии Дворца пионеров Дзержинского района, куда иногда приходили взрослые гости, и однажды пожаловали входящие в известность поэты, литинститутские студенты-фронтовики — сбитый, аккуратненький в лейтенантском кительке Винокуров, буйно-кудрявый рыжеватый Ваншенкин, былинно могучий блондин Солоухин.

Занятия студии проходили в уютном «Уголке Дурова», что располагался на улице Дурова, неподалеку от евтушенковского дома. Учила студийцев поэтскому уму-разуму молоденькая руководительница Люся Попова, с хрупким изяществом сочетавшая неколебимую верность Пастернаку и вообще поэзии первой четверти века (Ахматова, Хлебников, потихонечку Мандельштам), среди технических средств которой не последнее место занимала такая важная вещь, как непростая рифма.

Фронтовики почитали свое, и оно больше чем понравилось, ибо было о войне и не пахло казенщиной. «Второе военное поколение, которое они представляли, внесло много нового в нашу поэзию и отстояло лиризм, от

которого некоторые более старшие поэты начали уходить в сторону риторики. Написанные впоследствии негромкие лирические стихи «Мальчики» Ваншенкина и «Гамлет» Винокурова произвели на меня впечатление разорвавшейся бомбы».

Женя с дружкой ответили своими стишатами, которые для этого отобрала Люся. Женина рифма «в апреле стих — прелести» произвела определенное впечатление, хотя она была явно содрана с оригинала: «прелесть — апрель есть» Маяковского.

Винокуров спросил почему-то:

— Багрицкого любишь?

— Люблю.

— А что именно?

— «Мы — ржавые листья на ржавых дубах...»

Левая бровь Винокурова удивленно поползла вверх: не рано ли?..

А как было не любить и не знать Багрицкого, когда он с детства был накачан им: отец — верный приверженец той школы стиха.

Завязалась дружба пятнадцатилетнего бойкого рифмача с людьми, познавшими окопы и пороховую гарь. Так, по цепочке фронтовой близости старших, появились в его судьбе Луконин и Межиров.

Круг общения стремительно расширился. Женя хотел объять необъятное. Он и в «Новый мир» носился — там в отделе поэзии работала красавица Ольга Ивинская, Люсина подруга. Она кутала круглые плечи в белый пуховый платок, кружа головы поэтам всех возрастов.

Твардовский, возглавлявший «Новый мир», был в курсе всех дел своей редакции, стихи Жени ему были знакомы, и одно из стихотворений он даже подписал в набор, но передумал и задробил — может быть, потому, что слишком уж ловко и быстро строчил этот непоседа, печатаясь во всех праздничных номерах московских газет.

А живых классиков Женя уже видел задолго до того. В Библиотеке им. Тургенева он — пионер — попал на читательскую конференцию по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия». Красивый белоголовый автор напряженно слушал мальчиков и девочек. Они проявляли готовность повторить подвиг молодогвардейцев. Женя встал и сказал:

— Ребята, как я завидую вам, потому что вы так уверены в себе. А вот у меня есть серьезный недостаток. Я не выношу физической боли. Я боюсь шприцев, прививочных игл и бормашин. Недавно, когда мне выдирали полипы из носа, я страшно орал и даже укусил врача за руку. Поэтому я не знаю, как бы я вел себя во время гестаповских пыток. Я торжественно обещаю всему собранию и вам, товарищ Фадеев, по-пионерски бороться с

этим своим недостатком.

Последовало коллективное возмущение. Женю спас Фадеев.

— А вы знаете, мне понравилось выступление Жени. Очень легко — бить себя в грудь и заявлять, что выдержишь все пытки. А вот Женя искренне признался, что боится шприцев. Я, например, тоже боюсь...

Жене понравился Фадеев всем, кроме, может быть, высокого тонкого голоса.

Когда выяснилось (для мамы), что Женя изгнан из школы, после многих сложных разговоров с ней о необходимости восстановления и связанных с этим хождений по разному начальству, он уехал в Казахстан: там отец возглавлял геологическую партию.

— Никому не говори, что ты мой сын.

И новый рабочий стал вкалывать как все. Орудовать киркой и молотком, разводить костер во время дождя, расщеплять ножом лучину на три части и пр.

Деньги, привезенные из Средней Азии, мама предложила употребить на ремонт жилья.

— Нет, мама, — сказал он твердо. — На эти деньги я куплю себе пишущую машинку.

— Какой ты стал жадный.

— Подожди немного, мама. Эта машинка отремонтирует нам квартиру.

Начались самые первые литературные знакомства.

Николай Тарасов в 1949 году свел его с Владимиром Барласом, своим школьным другом.

«— Вы куда-нибудь торопитесь? Я хочу познакомить вас с одним моим другом, физиком.

Тарасов позвонил куда-то. Через некоторое время в редакцию пришел бледный человек тоже лет тридцати, с огромным лбом, судорожными движениями. Под мышкой он держал шахматную доску.

— Это мой друг — физик Володя Барлас, — сказал Тарасов. — А это поэт Евгений Евтушенко...

Тарасов был первым человеком, который назвал меня поэтом.

— Поэт? — недоверчиво поднял брови Барлас. — Это, знаете, многое...

И недоверчиво хмыкнул.

Мне он сначала почему-то показался ненормальным. Мы вышли втроем из редакции в шумящую молодой июньской листвой Москву 1949 года».

Физик Барлас глубоко знал поэзию, умел о ней говорить. Он потом уйдет в литературу, станет критиком и напишет лучшую статью о раннем Евтушенко, которого, собственно, вырастил совместно с Тарасовым и Львом Филатовым, спортивным обозревателем, бывшим футболистом и тоже ценителем поэзии. Евтушенко позже удивлялся: как им было не лень возиться с этим подростком, достаточно трудным?

«Барлас был для меня живой библиотекой. Он открыл мне первоосновы современной философии. Он открыл мне, что существует Хемингуэй. Это только сейчас Хемингуэй издается в России миллионными тиражами. Тогда его книги были библиографической редкостью. «Прощай, оружие!», «Фиеста», «Иметь и не иметь», «Снега Килиманджаро» потрясли меня своей предельной сжатостью, концентрированной мужественностью. Позднее моей любимой книгой Хемингуэя стал роман «По ком звонит колокол». На Западе некоторые считают, что этот роман второстепенен. Может быть, я слишком пристрастен, но образы старухи и девушки мне кажутся до сих пор одними из самых пронзительных образов в мировой литературе. А образ Марти, гениально ставящий проблему того, что фанатики, даже при всей их объективной честности, часто становятся преступниками! В этом образе предугадано многое, что случилось потом в истории...

Барлас открыл мне бывшие тогда тоже библиографической редкостью книги таких разных писателей, как Гамсун, Джойс, Пруст, Стейнбек, Фолкнер, Экзюпери... Я был зачарован почти библейской метафоричностью Ницше «Так говорил Заратустра» и был потрясен, когда узнал, что книгами Ницше пользовались как идейным оружием фашисты.

Я был подавлен духовной высотой «Волшебной горы» Томаса Манна, сложенной, как из камней, из страданий человечества. Упивался размахом Уитмена, буйством Рембо, сочностью Верхарна, обнаженным трагизмом Бодлера, колдовством Верлена, утонченностью Рильке, жуткими видениями Элиота... Пастернака я тогда не понимал. Он был для меня чересчур усложненным, и я терял нить мысли в хаосе его образов. Барлас по несколько раз читал мне его стихи, с огромным терпением объясняя, растолковывая. Я необыкновенно переживал, что ничего не понимаю».

А сама по себе Марьяна Роцца, при всем при том, местечком была уютным и по-своему живописным. Дом, в котором жили Евтушенко, стоял по адресу Четвертая Мещанская, 7. Что-то по-хорошему обывательское — основательное, неторопливое, стародавнее — было разлито по всей округе: маленькие дома, тихие улицы, много зелени (остатки вырубленной древней

рощи), отсутствие транспорта, кроме гужевого.

С течением времени в евтушенковский дом стали вхожи, дневали там и ночевали Владимир Соколов, Евгений Винокуров, Роберт Рождественский, Григорий Поженян, Михаил Луконин, Юрий Казаков, Михаил Рощин, Владимир Барлас, художники Юрий Васильев и Олег Целков, актеры Борис Моргунов и Евгений Урбанский, само собой — Белла Ахмадулина, студенты Литинститута.

Евтушенко пожизненно любит свой дом: «Дом наш был маленький, двухэтажный, с деревенским деревянным крылечком, выходившим во двор. Дом давно не ремонтировался, штукатурка с него обсыпалась, и мальчишки, когда собирались клеить нового бумажного змея, выдирали из его облупленных боков пожелтевшие дранки. Но для нас здесь все было полно необъяснимого значения: и таинственный запах сырых сараев, и такой неожиданный на крыше крыльца маленький подсолнух с серебристым пушком на жесткой зеленой коже, и длинный стол, вкопанный под тополями, на котором по вечерам раздавался стук деревянных бочонков лото с полустершимися цифрами на крошечных днищах, и мерцающие под водосточной трубой отшлифованные и закругленные водой розовые кусочки кирпича, и темно-зеленые осколки бутылочного стекла — «морские камешки» Четвертой Мещанской. <...> На Четвертой Мещанской жили самые разные люди: водопроводчики и парикмахеры, официантки и грузчики, часовых дел мастера и фрезеровщицы, банщики и инженеры. Они одалживали друг у друга стулья и рюмки, бельевые прищепки и галстуки, ходили друг к другу позвонить по телефону, посмотреть телевизор или набрать в ведро воды, когда в одном из домов портился водопровод. По утрам они встречались в магазине, подставляя «авоськи» под картошку, глухо стучавшую по наклонному деревянному лотку; а вечерами — на лавочках во дворах и на родительских комитетах в красно-кирпичной школе, где они неловко сидели за партами, изрезанными нашими перочинными ножами, и говорили о нас, детях Четвертой Мещанской».

Это кусок ранней, дебютной прозы, рассказ «Четвертая Мещанская», но были, разумеется, и стихи — «Марьяна Роща» (1972):

Марьяна-шмарьяна Роща.
Улицы, словно овраги.
Синяя мятая рожа
ханурика-доходяги.

Здесь у любого мильтона
снижен свисток на полтона,
а кобура пустая —
стырит блатная стая.

Нет разделений, — кроме
тех, кто стоит на стреме,
и прахаристых паханов —
нашенских Чингисханов.

Финка в кармане подростка,
и под Боброва прическа,
а на ботинке — зоска,
ну а в зубах — папироска.

.....
Норовы наши седлая,
нас приняла, как родимых,
школа шестьсот седьмая —
школа неисправимых.

Жили мы там не мрачно —
классные жгли журналы
и ликовали, как смачно
пламя их пожирало.

Плакали горько училки,
нас подчинить не в силе, —
помощи скорой носилки
заврайоно выносили.

.....
Милая Марьяна Роща,
в нас ты себя воплотила,
ну а сама, как нарочно,
канула, как Атлантида.

Нет, мы не стали ворами
нашей Москвы престольной,
стали директорами
школ, но — увы! — пристойней.

Даже в ученые вышли,
даже летим к созвездьям,
даже кропаем вирши,
даже в Америки ездим.

Но не закормит слава,
словно блинами теща, —
ты не даешь нам права
скурвиться, Марьяна Роща.

.....
Поняли мы в твоей школе
цену и хлеба и соли
и научились у голи
гордости вольной воли.

И не ходить в хороших
ученичках любимых
тем, кто из Марьиной Рощи —
школы неисправимых.

Первый свой любовно-мужской опыт он получил вдалеке, на лоне —
вот именно — природы, в тайге.

«Это было сталинское время, 48-й год, и папа, который с нами не жил, но всегда в трудные минуты мне помогал, написал своим друзьям-геологам рекомендательное письмо. Так я уехал в алтайскую экспедицию, а что тогда были там за деревни? Сплошные солдатки. Из мужчин только старики, дети или покалеченные войной инвалиды. Одна из вдов, пасечница, и стала моей первой женщиной.

...Она была на 12 лет меня старше и одиноко жила на отшибе села. Все, что между нами произошло, считалось тогда уголовным преступлением, ведь мне было только 15 лет — я даже паспорта не имел. Ростом был такой же, как и сейчас, но тоненький, словно тростиночка, и врал, прибавляя к своему возрасту пару лет. Вдова, когда это поняла, была просто убита, раздавлена — женщина религиозная, она сочла свой поступок страшным грехом.

Между нами была не любовь: сначала мною двигало любопытство, но потом пасечница очень понравилась мне по-человечески. Она была

поразительно чистым существом, благодаря ей я открыл доброту и чистоту женской души, что для мужчины в первом опыте очень важно. Может, не будь ее в моей жизни, я и не стал бы поэтом...»

По евтушенковской прозе — романной, мемуарной, эссеистической и прочей — рассыпано бессчетное количество сюжетов из собственной жизни — в лаконичном новеллистическом исполнении.

Вот новелла о томлении плоти.

«В свои тринадцать лет я был готов для любви. К ровесницам-девочкам меня не тянуло: они казались мне скучными. Меня притягивали жрицы любви, утешительницы отпускных офицеров — с ярко намазанными губами, с лакированными ридикюлями, с прическами под модную тогда у нас американскую кинозвезду Дину Дурбин, стоявшие кучками у гостиницы «Метрополь» и у Большого театра. Одна из них жила как раз в нашем районе, около тогдашнего крошечного стадиона «Буревестник» — нынешнего грандиозного олимпийского стадиона. Если в этот район и заходили милиционеры, то всегда с пустыми кобурами — чтобы безотцовные мальчишки не отняли у них револьверов. Здесь были свои особые законы, где правили несколько враждовавших друг с другом подростковых мафий. Вышеупомянутой жрице было тогда лет восемнадцать, и она казалась мне зрелой таинственной женщиной. Продав в букинистический магазин «Историю XIX века» Лависса и Рамбо, я выждал ее однажды у пропахшего кошками и портвейном подъезда, когда она возвращалась поздно вечером, пошатываясь от клиентов и алкоголя, и плакала, размазывая кулаками черную ресничную тушь по лицу. Ни слова не говоря, я протянул ей сжатую в моей ладони потную красную тридцатку... Она отняла кулак от лица, и я увидел под ее глазом огромный синяк, что сделало ее еще таинственней и притягательней в моих глазах.

— Ты же еще маленький, — со вздохом сказала она. — За это в тюрьму сажают...

— Мне уже шестнадцать, — выпалил я, прибавляя себе три года.

— Зачем я тебе такая? — покачала она головой.

— Мне только поцеловаться... — торопливо пояснил я.

— Поцеловаться? Таких, как я, не целуют, дурень... — усмехнулась она и еще сильнее заплакала. — Да я сама не умею целоваться... — Потом неожиданно сказала: — Ладно... Подожди меня... — и исчезла в провале подъезда. Ждал я ее не меньше получаса и уже думал, что она не придет. Но она вышла — совсем другая — без драной лисы на шее, без лакированного ридикюльчика, без следов краски на лице, прическа под Дину Дурбин была накрыта белым пуховым платком, а на плечах был зеленый

солдатский ватник — только синяк напоминал про нее другую.

— Ну, куда пойдём? — спросила она трезвым, решительным голосом».

По контрасту — другой случай, также новеллистический, связанный с Марьиной Рощей.

«Когда я приехал вместе с Джиной Лоллобриджидой на Четвертую Мещанскую, наш домик еще был на месте, но уже пустой, без жильцов, а рядом стояли бульдозеры, готовые к тому, чтобы его снести. Ибо он попал в беспощадный план реконструкции для предстоящих Олимпийских игр. Около дома маячили двое моих бывших соседей, отхлебывая из горлышка водку и наблюдая за его гибелью. Отхлебнул и я, и Джина, не узнанная ими. Мы поехали посмотреть другие деревянные улицы. Но, к моему печальному удивлению, там сутились киногруппы, поспешно снимавшие последние кусочки исчезающей старой Москвы. Я бродил с Джиной Лоллобриджидой — со странной гостьей из другого мира — по кладбищу воспоминаний моего детства. Привыкшая избегать узнавания, Джина на сей раз, как мне показалось, растерялась от катастрофического неузнавания и даже сняла дымчатые очки. Но ее все равно не узнавали. Может быть, она была последним фотографом (Лоллобриджида занималась фотожурналистикой. — И. Ф.), которому удалось сфотографировать старомосковские сельские дворики с георгинами и ромашками, окна с деревянными ставнями и наличниками, где на подоконниках стояли традиционная алая герань (торжествующий символ так называемого мещанства, который был не раз атакован комсомольскими поэтами двадцатых годов, но все-таки выжил), зеленые рога алоэ — растения, по московским суевериям, предохраняющего от всех болезней, а также пузатые четверти с темной наливкой, где плавали разбухшие пьяные вишни».

А потом они танцевали до упаду в кафе «Лира», и когда ехали после того в его стареньких «Жигулях», между ними было почему-то байдарочное весло, которое некуда было больше деть, и она ему погрозила пальчиком: «Это ваш Тристанов меч?»

При советской власти это был Дзержинский район, ныне Мещанский. Он появился в 1930-х годах, а потом существовал в границах 1977 года. Тот кавардак перед Олимпиадой-80, на который Евтушенко приводил Лоллобриджиду, был в рамках тогдашнего Генерального плана развития Москвы, в том числе и «реконструкция» бывших Мещанских улиц. Они стали улицами Гиляровского, Щепкина и Мещанской. Тот, в границах 1977 года, район шел от площади Дзержинского не сильно расширяющимся сегментом и кончался в районе Останкинской улицы, она шла поперек

сегмента, а за ней территория уступами внедрялась в Бабушкинский район, который начинался перед Яузой и кончался уже перед Кольцевой автодорогой. Перед самым большим уступом Дзержинского района, похожим в плане на пустой постамент, со стороны Бабушкинского района красовались металлические «Рабочий и Колхозница», а за их спинами, не доходя до Яузы, функционировали Киностудия им. М. Горького и ВГИК. Если посмотреть на евтушенковский ареал в границах 1977 года с очень птичьего полета, то получается, что он расположен по направлению к Кольцевой автодороге так, что железный Феликс смотрел на Рабочего и Колхозницу.

Словом, предолимпиадный евтушенковский ареал вмещал памятник Феликсу, магазин «Детский мир», Центральный дом работников искусств, Странноприимный дом (бывший, конечно), Центральный театр и Дом Советской армии, Центральный музей Вооруженных сил СССР, готовые или еще недоделанные стадион и бассейн «Олимпийские», Мемориальный кабинет Брюсова (ныне Музей Серебряного века), телебашню, кинотеатр «Космос», обелиск «Покорителям космоса», памятник Циолковскому, Музей космонавтики, Аллею космонавтов и гостиницу «Космос».

Мама и сестра Лёля, с тех пор как перебрались с Четвертой Мещанской, так и жили в Переяславском переулке. Отсюда и маму Лёля отвезла в последний раз в больницу. Маме было 92 года. С диагнозом «рак желудка» она прожила полгода. Болей особых у нее, слава Богу, не было. Женя и Лёля тогда находились в крупной ссоре. Мама, лежа в больнице, обещала Лёле дожить до ста лет. Лёля знала диагноз. Знала ли его мама? Может быть, и знала, но помалкивала. Но Лёле сказала: «Не бросай Женю».

Много чего было в Марьиной Роще.

Бывают странные сближения.

Его первый настоящий любовный опыт, как это ни странно, чем-то напоминает блоковский, у Блока случившийся на исторической прародине — в Германии, в тихом курортном городке Бад-Наугейм. Ему неполных семнадцать, она в два раза старше. Та незаконная связь разных возрастов и опытов, о которой Блок создаст превосходный цикл «Через двенадцать лет».

Синеокая, Бог тебя создал такой.

Гений первой любви надо мной.

У Евтушенко было совсем по-другому, особенно в возрастном плане,

но все-таки чем-то похоже. Или это оттенок некоего старшелюбия?..

«Когда я жил в Москве на 4-й Мещанской улице в маленьком деревянном домике, у меня была книжка Блока, дореволюционное издание. Я очень любил ее перелистывать, наслаждаться правописанием с ятями, впитывать невиданный мною мир, в котором жили великие Блок, Ахматова, Пастернак... Это издание лежало на моей тумбочке рядом с постелью: мне было 20 лет, и у меня впервые случился роман с замужней женщиной.

Она была всего на три года старше, но уже имела ребенка, и это делало ее гораздо более взрослой. Я ее очень любил, но она так странно себя вела — не разрешала сентиментальничать, запрещала говорить о любви. Я не понимал, обижался, считал это цинизмом: был тогда просто мальчишкой и в женщинах не разбирался. Вдруг, в один прекрасный день, моя любовь исчезла. Насовсем, причем никто даже не знал куда.

Шли годы, и вот через — страшно даже сказать! — 50 лет, перебирая чулан, я случайно наткнулся на дореволюционную книжку Блока. Такое испытал наслаждение от соприкосновения с этими, столь любимыми мною страницами, и вдруг из книги выпала ее фотография. На обороте оказалось письмо — я прочитал и понял...

Это было признание в любви — невероятно сентиментальное, немного горькое и, может, с надеждой, что, когда я его найду, мы снова окажемся вместе. (Когдато я написал «...но женщины надеются всегда, особенно когда все безнадежно».) Наконец, до меня дошло, как она разрывалась между любовью ко мне и своему ребенку, как тяжело сделала выбор, надеясь, что я обязательно ее отыщу. А я, мальчишка, не предпринял даже попытки, будто наши отношения ничего не значили. Господи, как это страшно!

Об этом я написал стихотворение «Старое фото» и пришел с ним в издательство, где готовилось мое собрание сочинений, посоветоваться: стоит его публиковать или нет. Они сказали: «Надо напечатать с фотографией». Я сомневался — все-таки роман был с замужней женщиной, но меня утешили: «Женечка, сколько уже лет прошло. Может, она давным-давно не живет со своим мужем, а даже если семья не распалась, он, если не дурак, конечно, должен гордиться, что его жена вдохновила когдато такого поэта!» В общем, уговорили, после чего газета «Известия» опубликовала и стихотворение, и фото (естественно, без фамилии).

Я уехал преподавать в Оклахому, и вдруг через две недели звонок: «Евгений Саньч, здравствуйте! Не узнаете? Помните, вы качали меня в

коляске, когда мне был ровно годик?» Это оказался ее сын... «Не беспокойтесь, — сказал он, — я все понял: вас жгло, вы стыдились, что не искали тогда маму, но этим стихотворением вы помогли ей понять, что не забыли ее. Она плакала счастливыми слезами и, хотя ничего мне о вас не рассказывала, я сам обо всем догадывался, потому что мама часто читала мне ваши стихи. Она давно развелась с моим папой, живет одна. Позвоните ей, только не говорите, что это я дал вам номер». Я немедленно набрал ее телефон... Наверное, это был самый долгий разговор между американским городом Талса и Москвой...»

Оставаясь всегда молчаливой,
в домик наш на Четвертой Мещанской
ты вбегала поспешно счастливой,
убегала поспешно несчастной.

.....

И ныряла ты в наши клоаки,
то в автобус, то в чрево вокзала,
но не мог я прочесть эти знаки,
когда ты второпях исчезала.

Еще чуть оставался твой запах —
свежесломленной белой сирени,
но навек ты исчезла внезапно,
мы полвека отдельно старели.

И случилось нечаянно что-то.
Я наказан был жизнью жестоко:
я нашел твое старое фото,
то, что тайно вложила ты в Блока.

.....

Слава Богу, что спрятала книжка
голос, близкий до дрожи по коже.
Был я грешный небрежный мальчишка,
а сейчас разве я не такой же?

И чего я мечусь в исступление
по морям и по всем побережьям?
Запах сломленной в прошлом сирени
остается несломленно свежим.

...Ну а история про классные журналы кончилась вот именно классно. Через много лет на встрече однокашников в содеянном зле признался некогда безупречный мальчик-отличник, который накануне того злополучного дня получил 5 с минусом, но к минусам он не привык, обиделся.

А предпоследний катрен своего стихотворения «Марьина Роща» Евтушенко случайно обнаружил, блуждая по Ваганьковскому кладбищу, высеченным на могильном камне Исаака Борисовича Пирятинского — того самого директора школы № 607.

Это рядом с могилой отца.

СЕРЕДИНА ВЕКА

Обыкновенное сочетание слов *середина века* стало поэтической формулой благодаря Владимиру Луговскому. «Передо мною середина века» — так он начал свой свод двадцати пяти поэм, так и названный — «Середина века». Как всегда в поэзии, формула становится метафорой и не совсем соответствует исходному понятию, в данном случае — календарному времени. В принципе, это пятидесятые годы. По слову Слуцкого:

В пятидесятых годах столетья,
Самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
Головы подняли отчасти.

Но середина века раньше началась и позже кончилась. Даже сам Луговской в стихах еще тридцатых годов уже заговорил о середине века.

Стишок про мечту стать пиратом (1937) — вот уж поистине начало большого пути. Мальчик Женя — мальчик старательный, когда пишет стихи, а пишет он много и упорно. Он живет в первозданной природе, где приусадебный огород смотрит на синюю стену тайги и где-то там вдалеке просматривается дымчатый Хинган.

Он пишет с натуры. Воробышек-хворобышек, бабушкины оладушки, тетя Лужа, ставшая толстым дядей Льдом, — все под рукой и на виду. А где-то за Уралом, если смотреть с востока, идет война, о ней говорят взрослые и черная тарелка радио, в клубе показывают фронтовую кинохронику и фильмы о войне.

Время летит крайне быстро, возникает домодельная натурфилософия патристически настроенного двенадцатилетнего таежника:

Чеснок, чесночок,
дай свой беленький бочок.
У тебя, голубчика,
сто четыре зубчика.
И хотя мне рано в бой,
буду пахнуть я тобой.

Буду пахнуть за Урал,
чтоб ты Гитлера пробрал!

Написано не без сатирического уклона. Пахнет частушкой, хореическим озорством — когда-нибудь это ему пригодится. Но война войной, а наступает переломный возраст, самый натуральный пубертат. Рост гортани, ломка голоса, головокружительный полет фантазии до изнеможения, воображаемый донжуанский список, равный списку кораблей на реке Оке, — в Сибири тоже есть такая река, и на месте впадения в нее речки Зимы стоит город Зима. Вот как опытен сей витязь любви, ему уже шестнадцать:

Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
чтоб позабыть на следующий день.

Я вас не упрекал в такой забывчивости —
ведь я и сам вас часто забывал.
Лишь только ночь уюта и отзывчивости —
я больше ничего от вас не ждал.

Между прочим, этот тематический мотив останется у него навсегда. И эти первые многослоговые рифмы, еще точные. Да и полет фантазии — тоже. Тем более что юный поэт уже понял, как и чем надо укреплять нас возвышающую ложь: деталью, предметом, убедительным реалистическим рисунком.

Нож забыл я перочинный —
финка стала мне под стать.
Лет в четырнадцать мужчиной
суждено мне было стать.

Хорошо любить на свете,
на траве и на песке,
и в сарае в Джеламбете,
и в кладовке в Степняке.

Хорошо грешить прилежно!
Пишет лучше та рука,
что дремала ночью нежно
на пупырышках соска.

(«Казахстан»)

Кроме того, что к той поре Евтушенко явно читал Пушкина («Дорожные жалобы»), Твардовского («Василий Теркин») и Есенина («Саданул под сердце финский нож»), на самых ранних его стихах лежит нулевой интерес к Маяковскому вплоть до 1947 года (стихотворение «Футуристы» и другие фрагменты на ту же тему). Он пишет ямбы-хореи, рифмует чистенько, хотя порой и возникает рифма, позже отданная ему критикой как евтушенковская: «оделся — одесский», «полюбив — голубых», «молока бы — Малапаги».

Последняя рифма, весьма щеголеватая, — из стишка «У стен Малапаги», по названию упоительного франко-итальянского фильма с Жаном Габеном и Изой Марандой, триумфально прошедшего в СССР на рубеже сороковых — пятидесятих. Как раз в это время Евтушенко помимо личных подробностей впускает в стихи биографию времени.

В процитированных выше строчках про то, что «хорошо грешить прилежно», непросто распознать, так сказать, идею произведения: оно называется «Казахстан», там промелькнут геологи, но дело сводится к ощущению свободы на степном ветру любви. «У стен Малапаги» — это новый этап: под эгидой Маяковского. Резко меняется поэтика, пошел ударник, ужесточается ритмика, стих набирает скорость.

«Мне показалось, что я продолжаю Маяковского. Но это мне только казалось. На самом деле я учился не у Маяковского, а у Семена Кирсанова, удивительно талантливого поэта-экспериментатора, у которого были и настоящие вещи, но который тогда печатал в газетах массу эффектных, хотя и пустоватых стихов...

— Женя, вы уже научились тому, как писать, — сказал мне как-то Тарасов, — теперь нужно думать о том, что писать.

Барлас неодобрительно покачивал головой:

— Женя, хватит баловаться. Неужели я вам зря давал все эти книги?

Тогда я решил пойти к моему тогдашнему кумиру — Кирсанову, надеясь получить у него внутреннюю поддержку.

Уже седеющий поэт грустно посмотрел на меня:

— Вы думали, наверно, что мне понравятся ваши стихи, потому что они похожи на мои? — спросил он. — Но именно поэтому они мне и не нравятся. Я, старый формалист, говорю вам: бросьте формализм. У поэта должно быть одно неперменное качество: он может быть простой или усложненный, но он должен быть необходим людям... Настоящая поэзия — это не бессмысленно мчащийся по замкнутому кругу автомобиль, а автомобиль «скорой помощи», который несется, чтобы кого-то спасти...»

Заметим попутно: «Уже седеющий поэт» — цитата. Гумилёв об Иннокентии Анненском: «Слегка седеющий поэт».

Евтушенко уже сознательно соревновался с Кирсановым. В каком-то году Кирсанов в гонке на «датские» (то есть к датам) стихи, помещенные в газетах без разбора, проиграл ему со счетом 4:5. Однажды, теперь сам по себе, он тиснул семь «датских» штук.

Уже седеющим поэтом, блестящим человеком, воином, героем советско-светских и народных пересудов был Константин Симонов. На нем возлежала масса регалий и обязанностей, общественных и государственных. Он будет стоять в центре всех социально-политических событий, пронизавших литературную жизнь той эпохи, и вести себя будет по-разному, в соответствии со своим миропониманием, претерпевшим тернистую эволюцию.

У Евтушенко был свой, «домашний» Симонов:

«Я научился читать в четыре года. До войны я прочел уже всю западную классику. Мои любимые писатели были французы. Анатоль Франс, «Боги жаждут», — я обожал эту книгу! «Милый друг» Мопассана... Это все были книги из шкафчика, который мама, уезжая на фронт, закрыла на ключик. Сказала: «Тут для взрослых». Естественно, я вооружился волнистым ножом, открыл шкафчик... Потом мама вернулась с фронта, пришла домой с Костей Симоновым — он тогда был в расцвете, только что написал «Жди меня». И вот сидел Константин Михайлович в очень красивой военной форме... И я спросил: «Мама, скажи, пожалуйста, а почему, когда Жорж Дюруа и госпожа де Марель вошли в меблированную комнату, вышли через полтора часа? Что они там делали?» Мама заплакала: «Вот до чего нельзя оставлять детей одних!»».

Что-то тут не сходится. В том своем возрасте Женя, дитя улицы, уже прекрасно понимал, что делали Жорж Дюруа и госпожа де Марель в меблированной комнате. Видимо, подросток захотел — может быть, из ревности — эпатировать красивого знаменитого гостя, да и маме показать,

кто в доме хозяин.

Наверно, Евтушенко было лестно в скором будущем ознакомиться с параллелью, проведенной В. Друзиным в статье «О современной молодой поэзии» (Нева. 1961. № 5): «Еще удивительней и непонятней возникновение время от времени модных поэтических фигур, неожиданно концентрирующих на себе всеобщее внимание. В конце двадцатых годов таким поэтом, «любимцем публики», оказался Иосиф Уткин. <...> Лет пятнадцать назад история повторилась. На этот раз «модным» стал Константин Симонов... <...> Была «мода» на поэзию Симонова. Была она, как всякая мода, шумна и распространенна, и — как всякая мода — прошла. Наступила пора строгой и точной оценки.

Но вот на наших глазах, на рубеже двух очередных десятилетий XX века, на горизонте советской поэзии внезапно заблистало новое модное имя: Евгений Евтушенко. И опять — знакомая картина: шумиха, эстрадные успехи, лихорадочно раскупаемые сборники стихов...»

Скорее всего, в авторитетном критике Друзине, писавшем стихи в общей с другом своим Уткиным иркутской молодости, шевельнулось незабытое чувство недоумения: почему он, а не я? Такое чувство остается навсегда, иногда спит, но пробуждается от очередного раздражителя: то Симонов, то вот Евтушенко — почему он?

А Евтушенко... да не о том ли, собственно говоря, ему мечталось?

Евтушенко потом включит Симонова в число великих русских поэтов чуть не за одно-единственное стихотворение — «Жди меня». О величии судить не будем, но не менее значительна симоновская вещь, написанная в начале войны:

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Симонов повлиял на стихотворство фронтового и послевоенного поколений сильно. А тема русской женской жалостливости — это было уже настолько свое, ентушенковское.

Но идеалом был, однако, Маяковский.

Наверно, это было неизбежно в его случае. В нем нарастало желание ораторства, публичности, прямо сказать — славы. По жизни он движется реактивно, в 20 лет издается первой книжкой — «Разведчики грядущего» — и тут же пулей влетает в Союз писателей СССР. «Самый молодой из молодых», — как позже скажет Межиров.

Та книжка написана бесшабашно, беспрепятственно, ловко и легко. Основами стиха он вполне овладел. Труба Маяковского звала, и отзвуки ее открыто демонстрируются в тех ученических стишках. Тем не менее автор провел определенную работу, решительно отсекал лишнее, в частности эротику, да ему бы и не позволили таких вольностей. В книжке есть, например, «Пьяный порог» — абсолютно другой, нежели «Пьяный порог», оставшийся в столе по причине изображаемого соития между Пьяным порогом и Ангарой. И вообще — он теперь геолог, мечтатель-публицист.

Между тем чуть не лучшей, подкупающе обаятельной вещью ранней поры — до первой книжки — представляется все-таки стихотворение о любви, верней — о ее жажде, с большой дозой самолюбования, как водится:

Мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи, и дня.
Меня ненасытность вскормила,
и жажда вспоила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,
и всюду — опять и опять

хочу я всем девушкам сниться,
всех женщин хочу целовать!

Эти строки остались от более длинного стихотворения 1951 года «Не верящий легким победам...», подвергнутого позднему сокращению. Ольга Ивинская спустя многие годы свидетельствовала: Пастернак помнил эти стихи наизусть и на случайной встрече в Московской консерватории (1960) первый катрен прочел изумленному автору.

Похоже, Евтушенко уже читал Цветаеву («Ненасытностью своею перекармливаю всех»), не исключено, что и в Бальмонта заглянул («Хочу быть дерзким, хочу быть смелым»), и в сочетании с некрасовско-смеляковским амфибрахией у Евтушенко получился свежий выдох, достойный нового поэта невиданной для 1951 года искренности.

О первой книжке сказать практически нечего. Слабая книжка. Масса влияний — Маяковского, Луговского, Смелякова, Межирова, Соколова, Симонова. Возможно, ее зримый потенциал — именно во множестве образцов, исходно плодотворных. В 1-м томе Первого собрания сочинений в восьми томах (1997) он напечатал разрозненные куски стихотворений из этой книжки.

Но у него уже были стихи другого ряда. «Певица» (1952) — это уже серьезно. Первое — их будет много — стихотворение о матери.

Маленький занавес поднят.
В зале движение и шум.
Ты выступаешь сегодня
в кинотеатре «Форум».

Выглядишь раненой птицей,
в перышках пули тая.
Стать вестибюльной певицей —
это Победа твоя?

Здесь фронтовые песни
слушают невсерьез.
Самое страшное, если
даже не будет слез.

Хочешь растрогать? Не пробуй.
Здесь кинопублика вся
с пивом жует бутерброды,
ждет, чтоб сеанс начался.

Публика не понимает,
что ты поешь, почему,
и заодно принимает
музыку и ветчину.

А на экране фраки,
сытых красоток страна,
будто победа — враки,
или не наша она.

Эти трофейные фильмы
сверзшиеся, как с небес,
так же смотрели умильно
дяденьки из СС.

Нас не освободили.
Преподнесли урок.
В этой войне победили
ноги Марики Рокк.

Марика Рокк — умопомрачительная певица и плясунья, венгерка, известное время процветавшая в искусстве Третьего рейха. Трофейный фильм «Девушка моей мечты» ослепительно пропел-протанцевал по советским киноэкранам в сорок седьмом году.

В 1995-м он чуть-чуть поправит это стихотворение, вряд ли улучшит, но нам важнее увидеть поэта в его исторической достоверности. Опять-таки на этом угловатом дольнике стоит печать Смелякова, в частности «Кладбища паровозов» (1946).

Стали чугунным прахом
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.

Остальное — свое: мать, подробности, свой лад речи, своя боль, свой вызов человеческой бесчувственности. Ощущение поражения в Победе.

Это шло уже в пику официозу. Начинаешь понимать, что это не какая-то там описка, а нечто более существенное чуть ли не случайно проблеснуло в раннем стишке (1948–1958):

Я пел всегда, к несчастью, скверно,
но вовсе не зубцы Кремля,
а песня русская, наверно, —
Россия первая моя.

(«Плыла орлино, соколино...»)

Выглядит как смелость задним числом. Но поэту надо верить. Да и мало ли о чем они там в своей Сибири думали про себя? Впрочем, он живет уже в Москве, в разбойничьей Роще, сравнимой с каторжанской тайгой.

У Василия Андреевича Жуковского есть повесть «Марьяна Роща». Там действует герой — певец Улад. С ним происходят разные вещи, но главное: он — Улад. Как сказано в стихах Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Ни о чем подобном Евг. Евтушенко и не помышляет. Он видит реальную цель, ставит задачи и решает их. Жуковский свой альманах назвал «Для немногих». Вектор Евтушенко диаметрально противоположен: он — для всех.

Не Жуковский, а Маяковский. Передача лиры виртуально состоялась. Она, как известно, отдается атакующему классу. В его мозгу гнездится весь социум, со всеми слоями, прослойками, этажами, подвалами и чердаками.

Маяковский читал стихи в Политехническом — кому? В основном — учащейся молодежи. Про атакующий класс. Евтушенко, собственно, выбрал ту же аудиторию. С заданием — объять всех, в том числе атакующий класс.

Народ получал стихи, прошедшие экспертизу по преимуществу студенческую. Повторялась история, начатая Некрасовым и Надсоном.

Он уже видит аудиторию, ее ожидания и вкусы. Она любит что-нибудь со слезой. «Письмо в Черновцы», повесть о неверной жене и о себе, ее мгновенном единственном любовнике, — это оно, то самое. Даже «Мать Маяковского» — чувствительная история об одинокой старушке и ее

несчастливым сыне:

...ей в колени упав головою остриженной,
он дышал тяжело
со стиснутым ртом.

О том же самом — «Я комнату снимаю на Суцневской...»:

Но если побежден, как на беду,
уже взаправду,
но не чьей-то смелостью,
а чьей-то просто тупостью и мелкостью,
куда иду?
Я к матери иду.

Все пишется с себя, примеряется на себя. Никакой лжи, все так и есть в его мире. «Я» в стихах — то же самое «я», что и в жизни. Оно доминирует.

Но появляется «мы». Что за «мы»? Мы с тобой? Ты да я? Круг друзей? Поколение? Все мы? Народ? Трудно сказать. Каждый раз по-разному. Чаще всего — как у Надсона, взволнованно повествующего:

Мы спорили долго — до слез напряженья...
Мы были все в сборе и были одни,
А тяжкие думы, тоска и сомненья
Измучили всех нас в последние дни...
Здесь, в нашем кругу, на свободное слово
Никто самовластно цепей не ковал,
И слово лилось, и звучало сурово,
И каждый из нас, говоря, отдыхал...

Надсон честен:

Но странно — собратья по общим стремленьям,
И спутники в жизни на общем пути —
С каким недоверьем, с каким озлобленьем
Друг в друге врага мы старались найти!

По ходу стихотворения этих полемистов примирила музыка:

И молча тогда подошла ты к роялю...

В принципе же все это — картина почти подполья, эхо взрыва, унесшего жизнь Александра II (писано в 1883 году), отблеск раскольниковского топора — годом раньше Надсон создал «Из тьмы времен», стихи о Герострате, сочувственные поджигателю, а еще годом раньше посвятил стихотворение памяти Достоевского.

Евтушенко напишет «О, нашей молодости споры...», где не будет этих крайностей — недоверья, озлобленья и проч., а ровно наоборот: дружба да любовь, а кстати, и «песни под рояль поются».

Пока он становится на ноги как поэт, в нем происходит невидимая миру борьба Некрасова с Надсоном, или наоборот. Оба искренни и чисты. Оба не против слезы. Дело в дозе ее. В ее объективной необходимости на тот или иной случай.

Некрасов проделал ту же работу, что и будущие акмеисты: опредметил абстракции, спустил поэзию с неба на землю. Эстетизм Серебряного века впитал некрасовские достижения вполне осознанно. Некрасовская Муза была чем-то вроде кормилицы, о которой необязательно рассказывать, но которую помнят все ее выкормыши. Тем не менее Андрей Белый, посвятив книгу «Пепел» памяти Некрасова, совершил дерзость. Привел в салон дебелую девку с улицы, попросив обнажить грудь. Многим понравилось.

«Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную...» А ведь на Сенной били кнутом — гулящих. Некрасовская Муза — проститутка? Выходит так. Ни в средней, ни в высшей школе нам об этом не рассказывали.

Некрасовская тоска по Лермонтову неуголима. В молодости — «Колыбельная», в зрелости — «Элегия», то и другое — «Подражание Лермонтову». Да, не Пушкин даже, а Лермонтов был тем идеалом высокого поэта, которого он не достиг, и всю жизнь мучился по этому поводу: Лермонтов — в очень разных пропорциях — сочетал «тенденцию» и «чистую поэзию», те две струи, на которые в ту пору расслоился общий поток стихотворства. Однако и «чистый» Тютчев чуть не наполовину состоит из «тенденции» на свой лад: целый блок, условно говоря, геополитики. Обыкновенно эти тексты в рассмотрении тютчевской лирики

не принимаются в расчет. Надо ли так? Стоит напомнить, что самое последнее стихотворение Тютчева — обращение к государю.

Может быть, Некрасов открыл третий путь — чистая поэзия на службе тенденции.

О нем можно сказать то, что Солженицын сказал о Ельцине: «Слишком русский». Переизбыток исповедальности, слезы в три ручья, много-много слов. Лобовой поэт, слишком прямой, слишком пафосный. Но другого Некрасова у нас нет.

Некрасов требует суровости, за душевным отдохновением и высшей правдой уходит в народ, куда Надсон попросту не дошел по причине раннего угасания, оставив море слез со стороны своих поклонников.

Евтушенко стремится туда же. Его народ — его Сибирь. Его станция Зима. Он пишет эту дорогу так:

Даль проштопорена дымом торопливым.
Пыл у поезда от пыли не упал.
Как пришпоренный, он шпарит по наплывам
паровозами ошпаренных шпал.

Это эхо футуристов. «Шп» торчит, поэт увлекся. Среди здравствовавших корифеев футуризма — Асеев, Кирсанов, Каменский, Крученых. Да и Пастернак каким-то боком примыкал к ЛЕФу. Ему посвящается чуть позже стихотворение «Последний мамонт» — со значением. Все они увлекались подобным письмом. Но это было давно. Так давно, что хорошо забытое старое выглядит как новинка. Немного погодя, в конце 1950-х, явится Вознесенский и напрочь ошарашит публику звоном аллитераций и блеском метафор.

Но Евтушенко навел на родину не затем. Вот зачем:

Наши мысли вслед за поездом стремятся.
Вслед гляжу и наглядеться не могу.
Сорок пятый год.
Нам по тринадцать.
Мы идем за синей ягодой в тайгу.
Что нам дома, где и тесно, и неловко,
где изучено до мелочи жилье?
Где прихвачено во двориках к веревкам
деревянными прищепками белье?

Где на улицах полно соломы колкой,
где все лето, под прохожими бугрясь,
только сверху засыхая черствой коркой,
прогибается, покачиваясь, грязь?
В свежем сене под навесом только душно.
Что с того, что в дряхлой крыше синь видна,
где июльский месяц тонок, словно дужка
у опущенного в озеро ведра!

Художник — налицо и то, что хорошо видит, пишет хорошо, хотя строчка «Что с того, что в дряхлой крыше синь видна» — не из удач, конечно. К слову, это написано 19–20 июля 1953-го, ему только что стукнуло двадцать по паспорту, двадцать один фактически, и нет никакого сомнения в том, что «мы» тут — это зиминские пацаны, сверстники, им по тринадцать.

Правда, под конец стихотворения, довольно длинного, проявилась она — поэтика намека, социально-политического подтекста в духе тех лет:

Собирались мы по ягоды другие,
а на волчьи невзначайно нарвались.

Это тоже нравилось его публике и ему самому. Подтекст — синоним намека. Это было своеобразным открытием: сверхобильный многословный текст по существу, в сухом остатке, был подтекстом, во имя которого стихотворение затевалось. Текст прослаивался подтекстом. Иногда намек возникал случайно, по ходу говорения. Многие стихи писались как аллегория, некая притча («Третий снег», «Глубина», «Крылья»).

Но на дворе — 1953-й, год смерти вождя. Стихотворение «Похороны Сталина». Вот заключительный катрен (их три), без намека, напрямую, со следами именно того времени:

Напраслиной вождя не обессудим,
но суд произошел в день похорон,
когда шли люди к Сталину по людям,
а их учил идти по людям он.

Первая строка — несомненно, из той эпохи, остальное, возможно, дописано в восемьдесят восьмом, и надо сказать, по стиху, по слову — как-то вязковато, неуклюже, хлесткого афоризма не получилось. В любом случае перед нами — набросок будущих чрезвычайных стихов и кинофильма с тем же названием.

У него набросков — море. Подобных набросков. То есть не достигших собственной планки вещей. Он полагает, что сильных стихов без плохих — не бывает, что плохие стихи необходимы как трамплин для взлета.

Не все так думают. Мусор лучше сметать в корзину.

Фантастическая судьба талантливого паренька из Марьиной Рощи сложилась так, будто кто-то незримый с самого начала вышиб ногой дверь перед ним (или это был он сам?), и он влетел в жизнь победителем, пробивая насквозь все преграды, всюду подстерегающие его. Ему неимоверно везло. Стихи били фонтаном. Печаталось почти все, что считалось по своему счету готовым. Книги выходили одна за другой. Москву он обчитывал стихами, она узнавала его в лицо. Рослый и голосистый, он был рожден для сцены, он взаимно любил ее. Выступление становилось концертом. Старшие поэты приняли, обласкали, благословили. Жизнь удалась, едва начавшись.

Ходили слухи: за этим удачником стоит сам Сталин, решивший вырастить собственного Маяковского.

Первое упоминание его имени в печати — 9 октября 1949 года, «Московский комсомолец», в обзоре стихов, присланных в редакцию. «Евгений Евтушенко тепло рассказывает о комсомольце-агитаторе (цитату опустим. — И. Ф.)».

Тринадцатого августа 1950 года «Комсомолка» в статье об альманахе «Молодая гвардия», который до войны был журналом и скоро станет им опять, идет похвала того же ряда: «Студент Евгений Евтушенко пишет о пафосе труда, о том, что города «строятся из камня и мечты» <...> Он говорит о трудностях: людей сечет осколками града, земля упорна и неподатлива, скрежещет железо, хмурится тайга. Но человек преодолевает все».

Кстати, откуда — «студент»? В пятидесятом он еще никто, ни то ни се, внештатный сотрудник спортивной газеты.

Комсомольская печать наперебой хвалит книжку «Разведчики грядущего». 14 января 1953 года — «Комсомолка» (Б. Соловьев), 19 мая — «Московский комсомолец» (Вл. Любовцев). А. Досталь — в «Октябре», № 12: «Первая книга вышла — счастливого пути!» Недостатки отмечаются,

но они простительны и преодолимы.

Правда, Межиров в «Литературной газете» весной 1953-го отругал стихотворение «Признание», но зато в почтенном ряду неприкасаемых — Сергея Острового, Николая Грибачева (большой литсановник), Сергея Смирнова.

В следующем, 1954 году, 5 и 6 января, на расширенном заседании Президиума Союза писателей СССР подводят итоги прошедшего года. В основном превозносят Твардовского — за новые главы поэмы «За далью — даль». Но вот — Илья Сельвинский, матерый мастер, бывший оппонент Маяковского, в свое время унижительно — и не раз — высказавшегося о нем, безоглядно идет в бой. Для начала ставит на место молодых. Самый упоминаемый из молодых — Евтушенко, но Сельвинский его не называет. Мысль его такова: печатаются в журналах не маститые авторы, а в основном молодые, но «хор из одних теноров — не хор». Сельвинский производит некий ретроанализ недавнего прошлого советской поэзии: одно время было ее «одемянивание» (Демьян Бедный), потом насаждали «принудительный авторитет» Маяковского (вот уже и антисталинский намек), а теперь «забрел новый идол — Твардовский», тогда как других мастеров не печатают, таким образом устанавливая диктат одного лишь стихового направления в ущерб всему остальному, не менее состоятельному. Имеется в виду, разумеется, он сам с его объемистым эпосом: к тому времени он закончил эпопею «Россия», которую писал много лет. Кроме того, была уже готова его «Студия стиха», руководство по стихописанию другого толка, нежели стих Твардовского — Исаковского.

В пандан экс-конструктивисту выступает экс-футурист Семен Кирсанов. Он — за новую форму, отвечающую новым временам. Закругляет фронду Павел Антокольский, заговорив о поддержке молодых, не в последнюю очередь — Евтушенко, которого высокого ценит. Дали слово и Евтушенко. Он ограничился критикой поэмы Василия Федорова «Любовь моя».

Евтушенко быстро становится медийной фигурой, попадает в газетные отчеты и репортажи, поскольку участвует практически во всех литературных мероприятиях. На полосе «Литературной газеты» появляется парный снимок самого старого члена Союза писателей Н. Телешова и самого молодого — Е. Евтушенко.

У него белокурая копна волос, зачесанная назад, он самый рослый на групповых фотографиях, в строгом костюме, а однажды даже — в эффектной длинной шубе, среди молодых поэтов из братских республик, на

фоне высотного здания МГУ, чуть не равный этому зданию-гиганту, оный новый Маяковский. Через несколько лет и это обстоятельство ему поставит в минус народный поэт Чувашии П. Хузангай: «...на заре своей юности Евгений Евтушенко подарил мне свою книжку «Третий снег». Был короткий, но веселый и непринужденный разговор. Поэт меня уверял, что он ростом только на один сантиметр ниже Маяковского. Оказывается, об этом ему сказал портной Маяковского, которому (портному) и он заказал костюм...»

В четверг 1 апреля 1954 года на Новодевичьем кладбище, рядом с сыном, похоронили мать Маяковского — Александру Алексеевну. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Вел ее почему-то Анатолий Софронов, совершенно чуждый Маяковскому и всему, что с ним связано. Евтушенко прочел стихотворение, написанное год назад, — «Мать Маяковского», оказавшееся стихами ее памяти. Выступил и директор музея Маяковского на родине поэта, в Багдади, Н. Патаридзе, и похоже, что этот факт — существование музея поэта на его малой родине — отложился в сознании Евтушенко на будущее, став некоторым образцом.

Летом комсомол командировал его на целину — на Алтай, и он шлет оттуда бойкие материалы в рифму.

Под конец 1954 года «Новый мир» (№ 12) в разделе «Трибуна читателя» дал подборку писем читателей под общей шапкой «Слово к писателю». Сделанные какой-то одной невидимой рукой, это были рецензии-требования-благодарности-наказы по поводу тех или иных произведений, недавно опубликованных. Под письмом в адрес Евтушенко стояла подпись: Н. Черных, преподаватель литературы, ст. Курганная. Образованный станичник подверг острой критике стихотворение «Любимой», напечатанное в позапрошлом году в журнале «Октябрь» (№ 6), — вероятно, были трудности с доставкой почты. Многолетняя полемика двух журналов не мешала Евтушенко печататься в обоих изданиях.

В 1955 году на пути Евтушенко обозначился критик солидный, основательный, обитающий в Ленинграде, — Вадим Назаренко. В двенадцатом номере журнала «Звезда» он придирчиво прошелся по стихотворению «У Днепра», довольно безобидному, однако с элементом адюльтера или чего-то вроде того — поэт умолчал о том, что произошло в ночном саду у его автогероя с хозяйкой дома, где он гостил, а муж «помалкивал». Это стало началом длительно-отрицательного романа критика с поэтом, впрочем, одностороннего, — поэт не отвечал.

В журнале «Нева» (1957. № 12) Назаренко назвал свою статью «Просто так», исходя из строки молодой Натальи Астафьевой: «А эти

стихи я пишу просто так». Достаточно для самовозгорания критического пафоса. Но кое-что критик все-таки предвидел. В 2011 году Астафьева напишет стихотворение «Поэтический вечер», дав портрет поэта, похожего на себя молодого:

Опять в невиданной рубашке,
все те же детские замашки —
мальчишка, выскочка, актер.
Поэт — в любой естествен позе.
Стоит, улыбчив, но серьезен,
быстр и находчив, и остер.

У Евтушенко всегда были сторонники. И тогда, в пятидесятых. Приветствуется его вторая книга — «Третий снег» (1955). Благожелательным критикам В. Тельпугову и Ю. Суровцеву были по душе строки, подобные этим: «Значит, это и есть призвание, / если Партия призвала!» Влиятельный А. Тарасенков, признавая за молодым поэтом определенные способности, тем не менее отмечал: «В Евтушенко мало сердечной теплоты».

Между тем даже неполные — серединка на половинку — доброжелатели порой нечаянно попадали в точку, как это сделал вроде бы критикующий Евтушенко Лев Ошанин: «Не знаю, замечал ли сам Евтушенко это, но, перечитав его стихи о любви, я с удивлением увидел, что он очень часто как бы становится в позицию женщины...» Именно так. Позже Евтушенко скажет: «Нюшка — это я».

Еще в 1952-м он написал «Море». Там сказано:

И вот — рывок,
и поезд — на просторе,
и сразу в мире нету ничего:
исчезло все вокруг —
и только море,
затихло все,
и только шум его...

Он умел слышать тишину, ультразвук времени ложился на его голос, переходя в категорию общедоступной правды. «На просторе — море»,

«ничего — его». Практически это не рифма.

Это — о себе: затихло все, и только шум его.

Но затихло не все. Рядом шумели другие, их было много, он был громче всех. Перед ним был пример Маяковского и Есенина, разных во всем, кроме общего опыта полногласной исповеди на людях. Он и в партию не вступал, исходя из их биографий.

Он *делал* стихи, как учил его Маяковский («Как делать стихи?»), сам учившийся этому делу у таких теоретиков и практиков стиходелания, как Брюсов и Гумилёв. Ангела не ждал, в перст Божий не верил. Всю свою советскую эпоху Евтушенко в лучшем случае сторонился Бога, когда не отвергал. О церкви говорил дурно или использовал ее в целях подтекста («Монолог бывшего попа», 1967):

О, лишь от страха монолитны
они, прогнившие давно.
Меняются митрополиты,
но вечно среднее звено.

И понял я — ложь исходила
не от ошибок испокон,
а от хоругвей, из кадила,
из глубины самих икон.

Всяческая онтология, основы бытия, природа человека, гипотеза Бога — всего этого для советского юноши пятидесятых годов всерьез не существовало, если не считать подрифмовочных строк типа «В раздумиях о вечности и смерти» или наивного, физического по природе философствования.

Витьке я сказал:
«Не нуди!
Да полюбишь еще ты,
Витька...»
А из Млечного,
из Пути
в степь не все еще млеко вытекло.
И глядели мы в облака
среди звездного этого млека,

два несчастнейших человека,
два счастливейших дурака.

(«В Кулундинской степи»)

Несколько позже критика, вспоминая вторую половину пятидесятых, заговорит об эпохе *par excellence* [\[1\]](#) вечного юноши, юношеского стиля, а-ля автогерой К. Батюшкова или, того больше, Н. Языкова.

Лев Аннинский (Молодая гвардия. 1964. № 2) в этой связи вспомнит старого советского критика И. Лежнева, толковавшего в этом плане о поэте Иосифе Уткине, которого еще раньше назовет В. Друзин. Но, честно говоря, почти ничего общего, кроме касательства к еврейской теме (уткинская «Повесть о рыжем Мотэле»), у поэта Евтушенко с поэтом Уткиным нет. Более того. Кудрявый обаяшка Уткин — антипод неприкаянного, мечущегося Евтушенко.

Впрочем, в мелодическом ключе можно отыскать общий исток, и у Уткина есть стихотворение, легко исполненное, в какой-то мере классическое, помещенное в «Строфах века», несмотря на устарелую идеологическую начинку, — «Комсомольская песня»:

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы
У него.

Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он все время улыбался:
Мол, ничего «не понимэ».

К нему водили мать из дому.
Водили раз.
Водили пять.
А он: «Мы вовсе незнакомы!...»
И улыбается опять.

Ему японская «микада»

Грозит, кричит: «Признайся сам!..»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.

.....

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

Такая вот песня — смесь уголовного надрыва с идейной героикой, подспудно близкая Евтушенко. Мать-старушка, измывательства врага и т. п.

Кроме того, они с Евтушенко — земляки: Уткин родился неподалеку (по сибирским масштабам) от Зимы, на станции Хинган, детство и юность провел в Иркутске. Зима входит в Иркутскую область.

И еще. Уткинская репутация «любимца публики» далеко не исчерпывает облик этого человека. Он воевал с сорок первого года, ему оторвало четыре пальца правой руки, он добился новой отправки на фронт и погиб в авиакатастрофе, возвращаясь из партизанского отряда. Когда тело его нашли, в руках у него оказался томик Лермонтова, вечного юноши.

Фигура вечного юноши — архетип старого, как мир, романтизма. Блок назвал Тютчева «неисправимым романтиком». Независимо от возраста.

Так что, была ли эпоха юношеского стиля — бабушка надвое сказала, а вот юность у поэта Евтушенко — была, и он говорил в соответствии с ней. Возможно, она подзатянулась.

Евтушенко пробует медитировать в небольших стихотворениях-фрагментах о том о сем, в основном на темы социальной морали: «Не надо говорить неправду детям...», «При каждом деле есть случайный мальчик...», «С усмешкой о тебе иные судят...» — в таких стихах нет крика, их тоже слушают и запоминают. Начинается нравоучительная линия, протянувшаяся поднесь.

Целая полоса тоже коротких и столь же искренних стихотворений о любви: «Пришло без спросу...», «Среди любовью слывшего...», «Не разглядывать в лупу...» и самое знаменитое: «Ты большая в любви...», с концовкой, ставшей пословицей:

Ты большая в любви.
Ты смелая.

Я — робею на каждом шагу.
Я плохого тебе не сделаю,
а хорошее вряд ли смогу.
Все мне кажется,
будто бы по лесу
без тропинки ведешь меня ты.
Мы в дремучих цветах до пояса.
Не пойму я —
что за цветы.
Не годятся все прежние навыки.
Я не знаю,
что делать и как.
Ты устала.
Ты просишься на руки.
Ты уже у меня на руках.
«Видишь,
небо какое синее?
Слышишь,
птицы какие в лесу?
Ну так что же ты?
Ну?
Неси меня!»
А куда я тебя понесу?

Ему внимали в основном сверстники. Чуть позже он напишет
(посвящено Вл. Барласу):

Не важно —
есть ли у тебя преследователи,
а важно —
есть ли у тебя последователи.

Таковые находились. Вот «Родина» («Была ты — сказка о Садко...»),
где говорится о многом, а разговор о женщинах на рынке заканчивается
так:

...где перед гомоном людским

у старого точила
морская свинка
судьбы им
в пакетиках тащила.
И я —
на взмыленном горбу
картошку пер,
ликуя,
что предсказали мне судьбу, —
я не скажу —
какую.

Это написано в 1954-м, а через много лет — где-то в шестидесятых, скорее всего (не датировано), — Евгений Рейн вторит ему, может быть, и не помня первоначального импульса:

Помню я, что навсегда приметил
Эту свинку и ее совет.
Никогда никто мне не ответил,
Угадала свинка или нет.
Кто помог мне в бедный, пылкий, трудный
В три десятилетия долгий час?
Может быть, от свинки безрассудной
Вся моя удача началась?

Впрочем, предшественник был и пораньше — Валерий Брюсов:

Зеленый шарик, зеленый шарик,
Земля, гордиться тебе не будет ли?
Морей бродяги, те, что в Плюшаре,
Покрой простора давно обузили.

Каламбур Колумба: «Il mondo poso» [\[2\]](#) —
Из скобок вскрыли, ах, Скотт ли, Пири ли!
Кто в звезды око вонзал глубоко,
Те лишь ладони рук окрапивили.

Все в той же клетке морская свинка,
Все новый опыт с курами, с гадами...
Но, пред Эдипом загадка Сфинкса,
Простые числа все не разгаданы.

(«Загадка Сфинкса»)

Кстати, в те годы, которыми датировано это стихотворение: 1921–1922, Брюсов в поисках нового стихового языка и рифмует, можно сказать, вполне по-евтушенковски: «шаре — Плюшаре», «будет ли — обузили», «Пири ли — окрапиви́ли», «свинка — Сфинкса».

Мог ли знать молодой Евтушенко, что когда-нибудь его немолодое одиночество чем-то напомнит участь послереволюционного Брюсова, бывшего властителя дум, отвергаемого новым поколением стихотворцев? Поэт всю жизнь пишет одно и то же стихотворение — «Одиночество».

Жадный глотатель русских стихов, Евтушенко еще не знал иностранных языков, переводная поэзия его интересовала косвенно: надо было охватить отечественную, прежде всего — ближайшую по времени, ему не до Державина или, скажем, Катенина, а Пушкин и Лермонтов усвоены по школьной программе, но уже рвутся оттуда. Красивый Блок стоял особняком. Хлебников и Пастернак волновали и заряжали, но его практике нужны были постольку-поскольку: как носители формы. Моральное ядро Пастернака ему открылось потом.

Вот «На велосипеде», чудная вещь: молодая, скоростная, с перспективой на будущее, но и с оглядкой, может быть неосознанной, на животворные образцы — евтушенковское «Я бужу на заре / своего двухколесного друга» по размеру (пятистопный анапест) и юношескому жесту похоже на смеляковское «Если я заболею, к врачам обращаться не стану», в свою очередь идущее от Пастернака: «Мне четырнадцать лет. ВХУТЕМАС / Еще школа ваянья» («Девятьсот пятый год»). Неплохая почва для судьбоносного велопробега.

Важно и то, что впервые в поэзии Евтушенко возникают эти имена: «До свидания, Галя и Миша...(курсив мой. — И. Ф.)». Обладатели этих имен глубоко и надолго войдут в его жизнь. Но об этом — дальше.

«Свадьбы» Евтушенко посвятит Александру Межирову.

О, свадьбы в дни военные!

Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют...
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу,
плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
взволнованный,
среди друзей,
родных,
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит
с невестой — Верою.
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землей чужой,
не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулю немецкою,
быть может, упадет.
В стакане брага пенная,
но пить ее невмочь.
Быть может, ночь их первая —
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и — болью всей души
мне через стол отчаянно:
«А ну давай, пляши!»
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,
и вот иду я с вывертом,

подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу
носки проволоку.
Свищу,
в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Летят по стенкам лозунги,
что Гитлеру капут,
а у невесты
слезыньки
горючие
текут.
Уже я измочаленный,
уже едва дышу...
«Пляши!...» —
кричат отчаянно,
и я опять пляшу...
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы
пьяные
являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
Мне не пляшется,
но не плясать —
нельзя.

Надо запомнить эту дату: 2 октября 1955 года. В России было написано эпохально этапное стихотворение. Веха поколения.

Небезынтересно, что к нему остался равнодушным Пастернак, когда Евтушенко их очное знакомство начал с чтения этой вещи. Возможно, мэтр

седьмым чувством уловил в «Свадьбах» возможность эстрадного успеха, чего он не приветствовал.

В залах, где Евтушенко читал стихи, из рядов зрителей громко требовали:

— «На велосипеде»!

— «Свадьбы»!

По-другому отнесся к «Свадьбам» другой опальный литератор. Вспоминал Владимир Лифшиц: «...у нас он (М. М. Зощенко) впервые прочитал стихи молодого Евтушенко. Они его очень заинтересовали, хотя вообще-то над стихами Зощенко любил чуть подтрунивать. Когдато не пощадил даже Есенина, в одном из рассказов вставив в есенинскую строку, на первый взгляд, невинное «говорит»: «Жизнь моя, говорит, иль ты приснилась мне?..» Прочитав сборник Евтушенко, он то и дело повторял строки из стихотворения «Военные свадьбы»: «Походочкой расслабленной, / с челочкой на лбу, вхожу — *плясун прославленный* — в гудящую избу...»

— Этот мальчик далеко пойдет! Обратили внимание, какую он цезурочку подпустил?..»

Не исключено, что при этом разговоре присутствовал будущий Лев Лосев — сын Вл. Лифшица.

НАКАНУНЕ

Исподволь назревала эпоха реабилитанса по всем направлениям. Возвращались не только просто эки. Поэты — тоже. Живые и мертвые. Их тексты. Иногда поэты возвращались из лагеря или из ссылки, или из забвения, или из полунебытия. Из полуподвала переводчества и непечатаемости вернулся оригинальный Леонид Мартынов, молодежь потянулась к нему, Евтушенко — тем более: свой брат сибиряк.

Евтушенко:

«Опубликованная после длительного перерыва книга Мартынова («Стихи», 1955. — И. Ф.) была, если разобраться, флейтой. Но молодежь услышала в ее звуках голос боевой трубы, ибо страстно хотела это слышать. Усложненные гиперболы и метафоры Мартынова давали возможность предполагать в них, может быть, гораздо большее, чем в них содержалось. И неожиданно для самого себя лирик Мартынов прозвучал как гражданский поэт, поднятый на волнах вспененного времени. По его собственным словам, «Удивительно мощное эхо — очевидно, такая эпоха!»

Действительно, даже тихо произнесенная правда приобретала мощь и грохот политического эха».

Почему — флейта? Это — из гениального мартыновского «Прохожего» («Замечали, по городу ходит прохожий...»):

— Погодите — в соседях играют на флейте!
Флейта, флейта!
Охотно я брал тебя в руки.
Дети, севши у ног моих, делали луки,
Но, нахмурившись, их отбирали мамыши:
— Ваши сказки, а дети-то все-таки наши!
Вот сначала своих воспитать вы сумеите,
А потом в Лукоморье зовите на флейте!

Евтушенковское стихотворение «Окно выходит в белые деревья...» (1955) посвящено Мартынову, у которого еще в 1932 году незабываемо прозвучала удвоенная строка («Подсолнух»):

— Вы ночевали на цветочных клумбах?
Вы ночевали на цветочных клумбах? —
Я спрашиваю. —
Если ночевали,
Какие сны вам видеть удалось?

Наверно, это была первая вершина молодого Евтушенко в пятидесятых годах, точнее — в середине века. Более строгого, собранного, законченного стихотворения у него и не было на ту пору.

Окно выходит в белые деревья.
Профессор долго смотрит на деревья.
Он очень долго смотрит на деревья
и очень долго мел крошит в руке.
Ведь это просто —
правила деления!
А он забыл их —
правила деления!
Забыл —
подумать —
правила деления!
Ошибка!
Да!
Ошибка на доске!
Мы все сидим сегодня по-другому,
и слушаем и смотрим по-другому,
да и нельзя сейчас не по-другому,
и нам подсказка в этом не нужна.
Ушла жена профессора из дому.
Не знаем мы,
куда ушла из дому,
не знаем,
отчего ушла из дому,
а знаем только, что ушла она.

В костюме и немодном и неновом, —
как и всегда, немодном и неновом, —
да, как всегда, немодном и неновом, —

спускается профессор в гардероб.
Он долго по карманам ищет номер:
«Ну что такое?
Где же этот номер?
А может быть,
не брал у вас я номер?
Куда он делся? —
Трет рукою лоб. —
Ах, вот он!..
Что ж,
как видно, я старею,
Не спорьте, тетя Маша,
я старею.
И что уж тут поделаешь
старею...»
Мы слышим —
дверь внизу скрипит за ним.
Окно выходит в белые деревья,
в большие и красивые деревья,
но мы сейчас глядим не на деревья,
мы молча на профессора глядим.
Уходит он,
сутулый,
неумелый,
какой-то беззащитно неумелый,
я бы сказал —
устало неумелый,
под снегом,
мягко падающим в тишь.
Уже и сам он,
как деревья,
белый,
да,
как деревья,
совершенно белый,
еще немного —
и настолько белый,
что среди них
его не разглядишь.

Мелодрама, и плакать хочется, однако — вот тот случай, когда артист сыграл без наигрыша и пережима.

Игровая компонента выступала на первый план. Евтушенко меняет маски и костюмы. В те годы его сценическая униформа — проста: ковбойка, свитер, пиджачок, а то и строгий костюм, с галстуком. Это потом у него появятся немыслимые наряды, изготовленные по собственному разумению, — эдакое модернизированно-расписное эхо футуристической желтой кофты. Плюс впечатления ранней юности: «...я в 1940–1950 годах захаживал в коктейль-холл на улице Горького и помню одного американца — в ярких желтых ботинках, с каким-то немыслимым галстуком, похожим на хвост павлина, — кажется, этот американец был из посольства. Да откуда же он еще мог быть, ведь тогда у нас не было иностранных туристов. Американец сидел всегда один за столиком, попыхивал трубкой и насмешливо наблюдал, как, несмотря на очередь у дверей, никто не решался подсесть к нему за столик. Теперь мы уже не подбрасывали союзников в воздух. Казалось, что самого воздуха не было».

Соответственно и стилистика стихов прирастает новыми объемами и красками. Частушка и вообще русская песня включена в арсенал средств. Во «Дворце» (1954) стилизуется русский стих, что-то вроде камаринской, развернутый до шести стоп хорей, уже опробованный в стихотворении «Даль проштопорена дымом торопливым...» (1953). Значит, то была репетиция. Теперь он пляшет на русский лад, исполняя историю про добра молодца от первого лица. Сказка. Царь-батюшка повелел:

Посади мне на воде дворцы зеленые
и дворец мне белокаменный построй!

Происходит чудо:

Вдруг я вижу, что Премудрой Василисою
появляешься ты прямо из воды!

В общем, заказ царя выполнен — по волшебству, девичьими руками. Однако есть одна совестная закавыка, и отсюда — печаль:

И не знают люди, чудом ослепленные,
что не я — его действительный творец,
что не мной сады посажены зеленые
и построен белокаменный дворец...

Евтушенко читал Дмитрия Кедрина. Поэмы «Зодчие», «Федор Конь», многое другое. Кедрин прожил тридцативосьмилетнюю жизнь в тени, непризнанным и неопубликованным. Погиб страшным, поныне неразгаданным образом, где-то на железной дороге, будучи выброшен из тамбура электрички, в 1945 году. Стихи, законсервированные в столе, в свой час вышли к читателю. Русской теме, поданной в баснословно-историческом плане, соответствовал отменный русский язык, настоящий на первородном слове, в истоке народном.

И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!» —
Мастера Христа ради
Просили на хлеб и вино.

(«Зодчие»)

Заметим попутно, что и здесь слышен ритмико-мелодический отзвук пастернаковского «Девятьсот пятого года». Но Пастернак никогда не прибегал к политическим аллюзиям, как это делал Кедрин:

Все звери спят. Все люди спят.
Одни дьяки людей казнят.

(«Песня про Алену-старицу»)

К тому же оказалось, что у Кедрина имеется особая для Евтушенко вещь, прямой подарок — «Станция Зима» (1941).

Говорят, что есть в глухой Сибири
Маленькая станция Зима.
Там сугробы метра в три-четыре
Заметают низкие дома.

В ту лесную глушь еще ни разу
Не летал немецкий самолет.
Там лишь сторож ночью у лабазов
Костылем в сухую доску бьет.

Там порой увидишь, как морошку
Из-под снега выкопал медведь.
У незатемненного окошка
Можно от чайку осоловеть.

Там судьба людская, точно нитка,
Не спеша бежит с веретена.
Ни одна тяжелая зенитка
В том краю далеко не слышна.

Там крепки бревенчатые срубы,
Тяжелы дубовые кряжи.
Сибирячек розовые губы
В том краю по-прежнему свежи.

В старых дуплах тьму лесных орехов
Белки запасают до весны...
Я б на эту станцию поехал
Отдохнуть от грохота войны.

Евтушенко вживается-выигрывается и в чужие роли, в чужие обстоятельства, тот же сорок первый год подавая как время, пережитое в качестве беженца: стихотворение «Земляника».

Побрел я, маленький, усталый,
до удивленья невысок,
и ночью дымной, ночью алой
пристал к бредущим на восток.

Законный прием. Тот же Багрицкий, написавший «Нас водила молодость / В сабельный поход...», ни в какие сабельные походы по кронштадтскому льду не хаживал.

Таким образом, Евтушенко постепенно создает обобщенного автогероя, полномочного представителя, певца и, может быть, лидера своей генерации. Начав 1955 год с элегического «Окно выходит в белые деревья...», через полтора года он воззовет:

Лучшие из поколения,
возьмите меня трубачом!

(«Лучшим из поколения»)

Однако этот персонаж жизнью своей глубоко недоволен, доверительно сетует на то, что мечтает он растрепанно, живет рассыпанно, что наделили его богатством, не сказали, что делать с ним, но ему хочется удивляться, хочется удивлять, и он обязательно будет сильным.

Евтушенко рассказывает истории про себя. Из детства. И про то, как он был талантливым завхозом геологической партии («Продукты»), и про то, как у него в поезде украли сапоги и ему самому стало жалко вора, плачущего и босого («Сапоги»), и про то, что он был страшно неправ, когда мать усаживала его за рояль, он упирался, играть не научился, и теперь всем от этого плохо («Рояль»), и про то, как ему, мальчишке одиннадцати лет, дали книжку Хлебникова, и он, проталкиваясь сквозь магазин, базар и вокзал, эту книжку к сердцу прижимал («Ошеломив меня, мальчишку...»), и про то, как нехорошо вел себя напивающийся фронтовик, приехавший на побывку в родную Зиму («Фронтовик»), — все эти вещи он привез из осенней поездки 1955 года на родину, из города Зимы.

Эти истории, стихи-сюжеты, сделанные пластично, в естественном повествовательном темпе, с массой житейских подробностей и бытовых реалий, нравились старшим братьям, писавшим в том же направлении, и он эти стихи посвящал им — Е. Винокурову, К. Ваншенкину, А. Межирову, С. Щипачеву.

Степан Щипачев писал коротко, его можно счесть первым «тихим» советским поэтом (если, конечно, принять термин «тихая поэзия», довольно сомнительный). Вокруг гремели фанфары и барабаны —

Щипачев почти шептал: «Любовью дорожить умеете...» Но «тихоня» этот — председатель секции поэзии Московского отделения Союза писателей СССР, рулит мягко, без диктаторских замашек, а молодых — обожает, и в середине пятидесятых по собственной инициативе он принимает в Союз писателей целую ораву дерзких талантов разом («щипачевский набор»). Были недовольства, склоки, ругань со стороны по-настоящему ответственных товарищей, но Щипачев отстоял своих подопечных. В конце концов его уволят, но пока был у власти, он поддерживал, помогал, выручал, опекал. «Это было в 1960 году, после того, как в который уже раз меня сняли с поезда, идущего за границу (два раза и с самолета снимали). Спас Степан Петрович Щипачев — этот тихий, застенчивый поэт, написавший «Любовью дорожить умеете», пришел в ЦК партии, бросил свой, полученный еще в 1918 году, партбилет и воскликнул: «Что же вы с нашей молодежью делаете, почему крадете у них мир, который они должны и имеют право увидеть?! Если Евтушенко не выпустят за границу, я выйду из партии». Правда, статью о «литературном власовце» Солженицыне Щипачев — ударит час — напишет-таки.

Свою генерацию Евтушенко в то время называл «детьми XX съезда». Намного позже он дополнил это положение: шестидесятники *выдышали из себя*, подготовили новое время России. «Выпала карта, не выпала карта — а мы эту карту сами нарисовали, своими руками».

Литературный институт...

Казалось бы, он там только числился, играл в футбол, баскетбол и волейбол, витийствовал в коридорах, держал речи на собраниях, прогуливал занятия и заваливал экзамены, задира нос.

Приведем пару документов внутренней литинститутской жизни, довольно бурной. Первый из них — свидетельство нелицеприятной демократии в среде будущих столпов соцреализма. Это — памфлет из вузовской стенгазеты, сентябрьский номер, 1955 год.

Горе, но не от ума

Студент Евтушенко зазнался до такого невежества (так! — И. Ф.), что три раза пересдавал профессору Г. Н. Пospelову «Горе от ума». Последний раз он не смог назвать дату образования общества карбонариев, а ведь это очень важно для понимания образа Чацкого, которого столпы самодержавия издевательски называли именно «карбонарием». Стыдно советскому комсомольцу не знать истории международных революционных

движений. Евтушенко полностью игнорирует замечания по своим стихам руководителя творческого семинара В. Захарченко, во время семинарского занятия пренебрежительно назвал поэзию А. Суркова «сурковой массой». Вместо того чтобы повышать свой политический и художественный уровень, Евтушенко не только ходит сам, но и затягивает всех морально неустойчивых студентов в пресловутый коктейль-холл — гнездо стиляг. Евтушенко сочинил бестактную эпиграмму на своего сокурсника, бакинца: «Стихи Мамедова Рамиса напоминают плов без риса», что показывает его несерьезное отношение к ленинской национальной политике. Может ли стать большим поэтом такой горе-студент, как Евтушенко? Ему надо посмотреть на себя со стороны, если, конечно, он на это способен.

Подпись: Немолчалин.

Предыстория второго документа такова. В марте 1957-го в Центральном доме литераторов прошла дискуссия о романе Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», вызвавшем шумный спор в советском обществе и в писательской корпорации. Консервативным большинством героическая борьба новатора-изобретателя с подлецами и приспособленцами расценивалась как очернение советской действительности.

Вел разговор К. Симонов — в обличительном ключе. Дисциплинированный, убежденный коммунист, он не врал — он так думал. Евтушенко бросил гранату — взял роман под защиту. Об этом есть свидетельство очевидицы, Любви Кабо:

...Напоминаю, что все это происходило в марте 1957 года <...> И тут вдруг, вслед за товарищем из знойной республики, слово взял Евтушенко, — именно так звали молодого поэта, — и говорить начал так яростно, так воинственно, что все невольно приподняли головы. Откинув все, что было заготовлено раньше, — очевидно, так, — отважно импровизируя на ходу, он наскakивал на высочайше инструктированного Симонова разъяренным щенком, гневно вцеплялся в каждое его заключение, не упускал ни одного только что отзвучавшего слова.

Мы под Колпином скопом стоим,

Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет, перелет, недолет, —
По своим артиллерия бьет...

Ах, как они прозвучали кстати, эти стихи Александра Межирова, — словно для подобного случая и были написаны.

Заметим, Евтушенко тогда сказал собравшимся, что эти стихи написаны неизвестным солдатом, погибшим на войне. Москва шумела, администрация Союза писателей пришла в замешательство. С Евтушенко надо было что-то делать.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

им. А. М. ГОРЬКОГО

Москва, Тверской бульвар, 25.

Телефон: Б 8-61-80, Б 8-61-79, К 5-30-85.

9 апреля 1957 г.

№ 443

Товарищ ЕВТУШЕНКО!

Странно, что до сих пор Вы делаете вид будто Вас отчислили из института "за неуспеваемость". В приказе, который Вам известен, сказано: "За систематическое непосещение занятий, неявку на симпозиальную сессию и несдачу экзаменов в дополнительно установленный срок", т.е. за систематические нарушения учебной дисциплины. В соответствии с элементарными обязательствами для всех нормами дисциплины Вас обвиняли давно и в многочисленных приказах дирекции института и в постановлениях студенческих собраний и в постановлениях Секретариата Союза писателей; от 27 апреля 1956г., но Вы не сделали для себя необходимых выводов и продолжали нарушать учебную дисциплину. Вы стали одиозной фигурой в студенческом коллективе и сами себя поставили вне его, а приказ только оформил созданное Вами самим положение. Если Вы этого не понимаете, то обращайтесь на себя.

В своем письме Вы признаете, что не выполняли даже своего последнего обязательства /а их было много!/ погасить задолженность за 4 курса. Кстати говоря, Вы не сдали еще два экзамена и два зачета /а не "один лишь предмет"/ и чистейшим вымыслом является утверждение будто бы в прошлом году не было зачета по русской литературе. Но Вы до сих пор не выполняли и еще одного своего обязательства - сдать экзамены за аттестат зрелости и представить аттестат зрелости, ибо без него Вы не имеете права учиться в вузе. Вас принимал в институт с условием представить в течение года аттестат зрелости, но прошло четыре года и несмотря на устные и письменные напоминания Вы до сих пор не представляли. Чего же Вы хотите? Люди верили Вам, а Вы сами подорвали в них веру в себя и требуете, чтобы Вам снова поверили на слово? Нет уж, извините, нема дурных!

По поручению тов. Озерова отвечаю Вам, что о восстановлении Вас в число студентов сейчас не может быть и речи.

Зам. директора
по научно-учебной работе  /И. СЕРЕГИН/

ИР
Зам. 18-700 Тел. 89040

**Письмо заместителя директора Литературного института И.
Серегина студенту Евтушенко от 9 апреля 1957 года**

Итак, второй документ (сохраняем его первичную пунктуацию и замечательную стилистику):

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ им. А. М. ГОРЬКОГО
Москва, Тверской бульвар, 25. Телефон: Б 8-61-80, Б 8-51-79, К 5-30-85

9 апреля 1957 г.

№ 443

Товарищ ЕВТУШЕНКО!

Странно, что до сих пор Вы делаете вид будто Вас отчислили из института «за неуспеваемость». В приказе, который Вам известен, сказано: «За систематическое непосещение занятий, неявку на зимнюю экзаменационную сессию и несдачу экзаменов в дополнительно установленный срок», т. е. за систематические нарушения учебной дисциплины. В нежелании считаться с элементарными обязательными для всех нормами дисциплины Вас обвиняли давно и в многочисленных приказах дирекции института и в постановлениях студенческих собраний и в постановлении Секретариата Союза писателей от 27 апреля 1956 г., но Вы не сделали для себя необходимых выводов и продолжали нарушать учебную дисциплину. Вы стали одиозной фигурой в студенческом коллективе и сами себя поставили вне его, а приказ только оформил созданное Вами самим положение. Если Вы этого не понимаете, то обижайтесь на себя.

В своем письме (на имя ректора В. Озерова. — И. Ф.) Вы признаете, что не выполнили даже своего последнего обязательства /а их было много/ погасить задолженность за 4 курс. Кстати говоря, Вы не сдали еще два экзамена и два зачета *а не «один лишь предмет»* и чистейшим вымыслом является утверждение будто бы в прошлом году не было зачета по русской литературе. Но Вы до сих пор не выполнили и еще одного своего обязательства — сдать экзамены за аттестат зрелости и представить аттестат зрелости, ибо без него Вы не имеете права учиться в вузе. Вас приняли в институт с условием представить в течение года аттестат зрелости, но прошло четыре года и несмотря на устные и письменные напоминания Вы до сих пор не представили. Чего же Вы хотите? Люди верили Вам, а Вы сами подорвали в них веру в себя и требуете, чтобы Вам снова поверили на слово? Нет уж, извините, нема дурных!

По поручению тов. Озерова отвечаю Вам, что о восстановлении Вас в числе студентов сейчас не может быть и речи.

Зам. директора по научно-учебной работе

И. СЕРЕГИН

«Нема дурных!» Изысканно сказано. В официальной бумаге. Пахнет высоким творчеством, а не бюрократизмом. Правда, инцидент с евтушенковским поступком на мартовской дискуссии о дудинцевском романе не упомянут и замят, а дело-то было как раз в этом. Хотя и того, что перечисляет Серегин, достаточно для отчисления, скажем прямо.

Почти тотчас, 9 мая, за Евтушенко строго, но справедливо вступается в «Литературной газете» Владимир Луговской (статья «Поэзия — душа народа»):

Наш «нигилизм» в поэзии — это мода, естественно, преходящая, но мода. Когда талантливый и страстный поэт Е. Евтушенко в своей небольшой поэме «Станция Зима» подвергает все и вся критическому подозрению, — это все очень юношески. Если из него получится мужчина-поэт, он будет писать по-другому.

В свете воинских подвигов («медвежья болезнь») «дяди Володи» это звучит особенно убедительно.

На Москву надвинулся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва преобразилась. Столько другого она не видела давно, а может быть, и никогда, «...в один день в Москве оказалось столько иностранцев, сколько не было примерно за двадцать пять предшествующих лет. Однако осколки железного занавеса крепко застряли в глазах некоторых людей». Евтушенко со товарищи читают стихи охмелевшей от всемирного восторга всемирной молодежи. Фестиваль прогремел и схлынул, наступило похмелье, произошли неизлечимые перемены в сознании советской молодежи, и за нее взялись по новой.

Ругали молодых огулом. Руководитель поэтического семинара Литинститута Василий Журавлев напечатал в «Известиях» от 3 сентября 1957 года статью «Никудыки»: Мориц, Ахмадулина, Евтушенко и некоторые другие — это они и есть ни к селу ни к городу, никудыки.

Стихи Беллы Ахмадулиной выглядят всего лишь невинными цветочками в сопоставлении с ягодами, так щедро рассыпанными в поэзии Евтушенко...

Через восемь лет славный пиита Василий Журавлев отметится превосходной публикацией — под его именем в «Октябре» (1965. № 4) народу явилось ахматовское стихотворение «Перед весной бывают дни

такие...», чуть-чуть подправленное рукой мастера, Василия Журавлева. Литинститутский Песталоцци кое-как отбился от обвинений в плагиате, объяснив все это дело забывчивостью, поэтической рассеянностью: мол, записал для себя понравившиеся строки, а потом взял да позабыл, чьи они, принял за свои и предложил в печать.

Литучеба продолжалась.

Иногда «никудыкам» давали голос, разрешали высказаться. Алла Киреева, юная жена юного Роберта Рождественского и будущий критик, говорит со страницы «Литературной газеты» от 7 февраля 1957 года в заметке «Трудно молодым издаваться в «Молодой гвардии»:

Одна, пять, десять бесед с молодыми поэтами, и все они с обидой и горечью говорят об издательстве «Молодая гвардия»... «Молодая гвардия» больше «закрывает» молодых, нежели «открывает» их. Можно было бы перечислить много интересных книжек... поэтов, забракованных издательством... четырежды браковались книги Евгения Евтушенко.

Как бы то ни было, Евтушенко не скупится на теплые воспоминания:

«Литинститут сбил с меня мое мальчишеское зазнайство. Эпоха была скверная, а вот среда была талантливая. Лекции читали Шкловский, Асмус, Светлов, Металлов, Былинский — люди, преподававшие нам совсем не то, что было написано в официальных учебниках. Ни от одного из них я не слышал ни одного подхалимского слова о Сталине, ни одного восторженного слова о докладе Жданова, посвященном журналам «Звезда» и «Ленинград».

К тому же среди тех студентов были фронтовики, просто старшие, хлебнувшие своего. Разговоры, учеба вживую, дружбы и любви.

Он адекватно отреагировал на «апрельские тезисы» институтского (читай — союзписательского) руководства: мощным потоком стихов. Похоже, порка была ему полезна. 1957 год — чуть не ежедневное возникновение вещей, тут же становящихся классикой момента. Это относится не только к заведомо программным стихам-декларациям типа «Безденежные мастера» — посвящено Юрию Васильеву и Эрнсту Неизвестному, или «Будем великими!» — посвящено Эрнсту Неизвестному, или «Карьера», посвященная опять-таки Васильеву.

Он обзавелся дружбами художников, с некоторыми — на всю жизнь. С Юрием Васильевым он и Белла познакомились во время московского фестиваля. Васильев написал их портреты.

— Я познакомился с новым Есениным!

Евтушенко влюбился в Васильевскую мастерскую, практически жильё. Подушка лежака упиралась в токарный станок, над которым висели множество разных инструментов и белые слепки рук друзей. Красный бочонок, запорошенный гипсом, при надобности превращался в стол — на этот бочонок ставился маленький овал. Был там еще и гончарный круг, на котором катались ребятишки художника.

У Эрнста Неизвестного мастерская была полем холостячества. Толпы народа проходили под ее подвальными сводами, подпираемыми могучими фигурами из камня и гипса. Евтушенко приходил туда в любое время суток, ибо там так было принято. Бывало, мастер давал ему ключ от мастерской, точнее — показал то место, где лежал тот ключ. В один из таких визитов на поэта и его временную музу рухнуло одно из изделий скульптора, не нанеся, слава те Господи, особых повреждений. Вероятно, после этого случая у него родились строчки с не совсем понятной гендерной самоидентификацией:

Мы с вами из ребра Гомерова,
мы — из Рембрандтова ребра.

(«Безденежные мастера»)

Библейская аллюзия на происхождение Евы, пожалуй, слишком смела. Но это не так уж и существенно, поскольку сам процесс стихотворства набрал скорость невиданную, не говоря о внестиховой жизнедеятельности.

Борис Слуцкий, друг и опекун левых московских и питерских художников, в основном молодых, сводит Евтушенко с Олегом Целковым — оказалось, на всю жизнь.

Круг его общений выходит на международную орбиту. Ему звонит Семен Кирсанов: «Приехал Неруда... Устраиваю в его честь ужин... Раздобыл по этому случаю седло горного барана... А Неруда обещал сделать какой-то замечательный коктейль...» С великолепным Пабло Нерудой — этим «великим плохим поэтом» — он задружится надолго, они будут встречаться в Латинской Америке, разговаривать, вместе выступать. Поразительно, но отчетливо демократический Нобелевский комитет в 1971-м выбрал лауреатом премии Пабло Неруду, на весь мир известного коммуниста. Впрочем, это было время детанта (разрядки международной напряженности).

На этих скоростях Евтушенко умел совмещать разные темпы стиха, разную тематику, отнюдь не всегда нуждающуюся в динамизме.

Еще январское стихотворение 1957 года «Дорога в дождь — она не сладость...» задало тон элегии и впервые напрямую посвящено *Гале*.

На первый план выходит элегическая лирика. Ямб — в четыре стопы или в пять — звучит столь естественно, что о другой форме и думать не надо, по крайней мере в таких вещах, как «Патриаршие пруды» или «Сквер величаво листья осыпал...»:

Сквер величаво листья осыпал.
Светало. Было холодно и трезво.
У двери с черной вывескою треста,
нахохлившись, на стуле сторож спал.
Шла, распушивши белые усы,
пузатая машина поливная.
Я вышел, смутно мир воспринимая,
и, воротник устало поднимая,
рукою вспомнил, что забыл часы.

Возвращение за часами, разговор с женщиной в халатике японском, артистическая обстановка ее жилья, сознание неприкаянности и необязательности этой связи, расставание и короткая встреча с похожим на себя попутчиком — весь сюжет о том, что «немолодость угрюмо наступает, и молодость не хочет отступать». Это понятно многим, сотням тысячам, и как раз тем, кто умеет читать или слушать стихи.

Он говорит просто и предметно, и тем, кто ему внимает, по большому счету все равно, откуда берется новое говорение, а оно — плод настойчивых поисков иной ритмики, иной рифмовки, иных размеров и комбинаций речи. Повествовательный ямб чередуется с песенным хореем или ударником, полнокровная строка — с оборванной фразой, пропуском стопы или непредусмотренным ударением. За его поиском стоит все тот же Кирсанов или ранний Асеев, а то и Каменский — футуризм певучего лада, который, пожалуй, по природе ближе ему, чем громоносность Маяковского.

В тайге для охотников
домик стоит.
На гирьке ходиков
бабочка спит...

(«В тайге для охотников...»)

О, эта бабочка нам знакома. Евтушенко не боится повторяться.

Каждый раз, говоря о Сибири, он находит множество новых красок
вдобавок к тому, что уже сказано до того.

И горы Урала
стояли, мертвы и тверды,
и дрожь пробирала
гусиную кожу воды.

(«В тайге для охотников...»)

Писано 1 августа 1957-го.

Олег Чухонцев напишет в 1964-м:

Мы срослись. Как река к берегам
примерзает гусиною кожей,
так земля примерзает к ногам
и душа — к пустырям бездорожий.

Через почти тридцать лет (1984) Сергей Гандлевский скажет:

Пруд, покрытый гусиною кожей...

Мы помним евтушенковский «Казахстан» с упоминанием топонима
Джеламбет. Вот как теперь звучит это слово и то, что за ним стоит, в новом
стихотворении:

Заснул поселок Джеламбет,
в степи темнеющей затерянный,
и раздается лай затейливый,
неясно на какой предмет.
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,

и я строчу,
строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к граненому карандашу.
Огни далекие дрожат...
Под закопченными овчинами
в обнимку с дюжими дивчинами
чернорабочие лежат.
Застыли тени рябоватые,
и, прислоненные к стене,
лопаты,
чуть голубоватые,
устало дремлют в тишине.
О лампу бабочка колотится.
В окно глядит журавль колодезный,
и петухов я слышу пение
и выбегаю на крыльцо,
и, прыгая,
собака пегая
мне носом тычется в лицо.
И голоса,
и ночи таянье,
и звоны ведер,
и заря,
и вера сладкая и тайная,
что это все со мной не зря.

Все, совершенно все, названное поэтом, освещено лучом поразительной точности, а само ощущение переходности, некоторой грани, возрастной и душевной, передано на изумление тонко. Может быть, это было состязанием с пастернаковским: «Мне четырнадцать лет...» Кстати говоря, это стихотворение написано тотчас следом за более чем известным «Со мною вот что происходит...». Возможно, в воспоминании о Джеламбете поэт попытался найти некую точку опоры в дни сердечного раздора.

Ничего странного не было в том, что несколько позже, в Париже, Георгий Адамович восхитился абсолютной новизной этой речи:

Играла девка на гармошке.
Она была пьяна слегка,
и корка черная горбушки
лоснилась вся от чеснока.

И безо всяческой героики,
в избе устроив пир горой,
мои товарищи-геологи,
обнявшись, пели под гармонь.

.....

Играла девка, пела девка,
и потихоньку до утра
по-бабьи плакала студентка —
ее ученая сестра.

(«Играла девка на гармошке...»)

Такого действительно еще не было в русской поэзии. Ни символисты, ни футуристы, ни акмеисты, ни постакмеисты, к которым относился Адамович, ни советские поэты, хорошо известные ему, в частности Багрицкий, *такне* говорили.

Не было ни этих рифм, ни этих героев, ни такого автора — плоть от плоти своих героев, умеющего между тем быть незаметно изощренным, вполне искусным.

Диаспора лелеяла традицию. Ходасевич, Георгий Иванов, сам Адамович — хранители золотого запаса русского стиха, отнюдь не чахнувшие над сокровищем, как тот Кощей. Новации вполне допускались, но умеренные. Адамович, по-видимому, непредубежденными глазами обнаружил в Евтушенко известную меру *консерватизма*, то его свойство, о котором не догадывались многие, особенно заведомые ругатели. Само имя Зимы воспринималось как в лучшем случае прием автора, рядящегося в нового народника.

Евтушенко — человек песни. Больше ста песен на его слова будет выполнено профессиональными композиторами, еще больше его текстов мелодизировал сам народ, который чаще, чем под рояль, пел под гитару. Но уже запели Галич, Визбор, время ждало Высоцкого. Евтушенко это предчувствовал: «Он встанет, узанный, над миром / и скажет новые слова»...

На склоне пятидесятих он написал много певучих вещей, так и не достигших песни как жанра, и несколько стихотворений — о песне как таковой. Два стихотворения интересно сравнить.

Плыла орлино, соколино
сыздетства песня надо мной:
«Бежал бродяга с Сахалина
сибирской дальней стороной».

Он производит, можно сказать, стиховедческое исследование:

Томила песня, окружала,
и столкновение двух «эс»
меня ничуть не раздражало —
я в школьный хор бочком пролез...

Другое стихотворение:

Интеллигенция поет
блатные песни.
Поет она
не песни Красной Пресни.
Дает под водку
и сухие вина
про ту же Мурку
и про Енту и раввина.

Кабы Евтушенко внимательней присмотрелся к этим двум видам песни — народно-каторжанской и тюремно-уличной — их несомненную взаимосвязь не увидеть было бы невозможно. Не на Сахалине ли началась Колыма?

Сверхнасыщенное лето 1957 года пролетело. Стремительный, изгнанный из вуза Евтушенко пишет «О, нашей молодости споры...» ровно 1 сентября 1957-го — школьники и студенты празднуют начало учебного года. В литинститутских коридорах — гвалт: те самые споры.

Всё так, но есть и другие воспоминания о той поре московского

«лица». Тогда началась эпоха освоения целинных и залежных земель, молодежь подалась на восток Отечества, тянуло на подвиги настоящие. «Даешь целину!» Целина целиной, но были еще и сибирские новостройки, «Все в Сибирь!», молодой прозаик Анатолий Кузнецов потрудился разнорабочим на Иркутской ГЭС, молодой поэт Анатолий Приставкин (в те годы и Василий Белов ходил в поэтах) бетонщиком — на Братской ГЭС. Литинститут ковал кадры — певцов эпохи. Приставкин показывает изнанку энтузиазма:

Конечно, дальние дороги не пугали, вслед за первопроходцами ехали студенты на целину (Белла Ахмадулина была поварихой), на Ангару <...> в геологические партии, в другие места, а вот атмосфера в институте пугала не на шутку. Ректор Серегин Иван Николаевич (исполнял обязанности ректора в 1954–1955 годах. — И. Ф.) огнем выжигает инакомыслие, это был 56 год, и первыми уходят Евтушенко (неудовлетворительные оценки), за ним Юнна Мориц (дурно выразилась о газете «Правда»), преследуют якобы за непосещаемость Юрия Казакова, некоторых других. Спасительно возникает катаевский журнал «Юность», который объединяет молодой подрост...

Евтушенко не столь суров к той атмосфере, уж не говоря о тех дружбах:

«У Вознесенского есть такая метафора, в какой-то степени правильная, хоть и не абсолютно точная. Он говорил, что шестидесятники похожи на совершенно разных людей, которые шли разными дорогами, и вот их схватили разбойники и привязали одними и теми же веревками к одному и тому же дереву.

Может быть, в моем случае с Вознесенским это правда. Но у нас с Робертом (Рождественским. — И. Ф.) не так. Я не думаю, что мы шли очень уж разными дорогами. Во-первых, у нас были одни и те же любимые поэты. В Литинституте была такая «проверка на вшивость»: знание чужих стихов. Мы проверяли таким образом друг друга. И с Робертом мы подружились сразу. Абсолютно. На стихах. Я помню точно: это стихи Корнилова «Качка в море берет начало». Роберт его знал наизусть. И я его знал наизусть. В то время это было как обмен паролями. Как будто в лагере встретились два специалиста по санскриту. Корнилов ведь был тогда запрещен, изъят... Это был пароль наш — любовь к поэзии.

И вообще, мы посвящали огромную часть нашего общения разговору о

стихах. Мы делились друг с другом нашей любовью к стихам и часто очень соглашались друг с другом. <...> Я ж был еще очень молодой тогда, 19 лет, вышибленный из школы мальчишка, у меня аттестата зрелости не было. И как раз тогда, в Литературном институте, у меня был период самовлюбленности. Но меня быстро от этого излечили. Может быть, это и не заметно до сих пор, но, действительно, я от этого излечился.

И тогда в институте <...> мы дружили, но были беспощадны друг к другу. Мы не занимались раздариванием комплиментов. Подразумевалось, что мы друзья, что мы любим наше общее дело, и это означает, что мы можем говорить друг другу очень резкие слова. Сейчас это почти не принято. И каждый из нас был очень жестким критиком, и никогда не было взаимных обид. Это была наша привычная среда обитания. Здоровый воздух. Я начал писать свои серьезные, самые лучшие стихи в то время. Это было сталинское время, но тогда и было мое настоящее начало, благодаря литературной среде <...> мы вместе развивались, очень часто выступали вместе, зарабатывали какие-то баснословно маленькие деньги, но нам было просто приятно ездить друг с другом. Мы никогда не пьянствовали, но умели долго сидеть за столами с одной-двумя бутылками вина. Спорили, говорили... <...> В нашей среде алкоголиков не было, кроме бедного Володи Морозова, — он сошел с круга...»

Владимир Морозов.

Учились и жили бок о бок, вели себя без оглядки, порой вне рамок и правил, — Володю погнали с третьего курса «за недостойное поведение», проще говоря — за пьянство, он перевелся на заочное отделение, загремел в армию, откуда вернулся не в Москву, а в свой Петрозаводск, а там — те же страсти и те же привычки, усугубленные отрывом от столицы, к которой успел привязаться и где уже печатался и даже выпустил книжку — «Стихи».

Морозов покончил с собой 11 февраля 1959-го, двадцати шести лет от роду. Остались стихи. «Лисица»:

Из кустарника вышла,
от лютого холода зла.
Вскинув острую мордочку,
жадно понюхала воздух...
Красноватую змейкой
по льду к полынье поползла...
Было небо над ней

в посиневших от холода звездах.

.....

По-собачьи присела
и, лапкой слегка почесав
Белый клинышек шеи,
на детский нагрудник похожий,
Замерла в ожиданьи:
в каких-нибудь четверть часа
Зарастет полынья
ледяною добротною кожей.

.....

А мороз, наступая,
над ней запаял полынью,
Ветер снегом засыпал...
Как холодно, пусто и немо!..
И лиса, пробираясь
в лесную чащобу свою,
По-собачьи облаяла
звезды далекого неба.

Евтушенко, нынешний почетный гражданин Петрозаводска, написал о забубенном друге стихи — «Посвящение Владимиру Морозову»:

Как я помню Володю Морозова?
Как амура,
кудрявого,
розового,
с голубой алкоголинкой глаз.
Он кудрями,
как стружками,
тряс.
Сам себя доконал он,
угробил,
и о нем не тоскует Москва,
— разве только Марат, или Роберт,
или мать,
если только жива.

.....

Мне на кладбище в Петрозаводске,
где Володя, —
никто не сказал.
Думал —
может, он сам отзовется.
Ну а он промолчал.
Наказал.

Роберт Рождественский — тоже из Петрозаводска. Алла Киреева хорошо помнит и говорит о том, что было тогда:

С Робертом мы познакомились в Литинституте, где было 120 юношей и пять-шесть девочек, так что на каждую приходилось достаточно кавалеров. Ребята были самые разные, в том числе и очень смешные. Были среди них и абсолютно неграмотные: учиться «на писателя» их посылали потому, что республике выделяли в институте сколько-то мест. Но конкурс, тем не менее, был огромный. Уже на следующий год после прихода в Литинститут я работала в приемной комиссии: принимали Юнну Мориц, Беллу Ахмадулину...

Жизнь в Литинституте кипела. На лестнице читали друг другу стихи, тут же оценивали все тем же: «Старик, ты гений». Особенно выделялся Евтушенко — он носил длиннющие сумасшедших расцветок галстуки. Они болтались у него между колен. Замечательный — уже тогда — поэт Володя Соколов привлекал своим удивительно интеллигентным обликом, чувством собственного достоинства, доброжелательностью. <...> Роберт дружил с Женей Евтушенко. Отношения у них выстраивались очень ревнивые. Они как петухи были, им хотелось показать себя друг перед другом. Однажды Роба послал Жене новую книжку, написанную после двухмесячной командировки на Северный полюс. Е. А. ответил ему ужасным письмом (сейчас его смешно читать): ты ударник при джазе ЦК комсомола; ты не умеешь писать; такое ощущение, что ты не читал ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова, ни Гоголя. В доме был траур — слово Жени много значило для нас. Пришел Назым Хикмет (мы с ним дружили). Я ему говорю: Назым, вот такая вещь... Посмотри это письмо. Как Робку вытащить из

депрессии? Прочитала ему письмо. Он говорит: это нормально, просто Женя хочет внушить ему творческую импотенцию. Назым, он называл Роберта братом, поговорил с ним, тот немножко попил, обошелся и стал писать дальше.

После этого у них с Женей некоторое время были напряженные отношения, но их всегда тянуло друг к другу.

Евтушенко сделал много хорошего. И для поэзии, и для многих людей — не говоря уж о том, сколько он сделал для нашей семьи после ухода Роберта. Он замечательно писал о нем. Поехал с нами — со мной, дочерью и двумя внуками — в Петрозаводск открывать мемориальную доску на доме, где жил Роберт. В цикле передач «Поэт в России больше, чем поэт» сделал программу о поэте Рождественском, которую невозможно смотреть без слез.

Недавно он позвонил из Америки:

— Я посмотрел передачу о Робке, очень плакал и решил позвонить...

А бои местного — литинститутского — значения постепенно утихли, вернее — стали глуше, уйдя в подпочву на фоне приближающегося звука громких шестидесятых. У Евтушенко вышла в том же 1957-м книжка «Обещание», ее восприняли по-разному, но в основном так, как написал в «Литературной газете» от 8 апреля 1958 года Владимир Солоухин в статье «Без четких позиций». Солоухин цитирует «Все на свете я смею, / усмехаюсь врагу...», комментируя от себя (ничего подобного в стихотворении Евтушенко нет):

Подумаешь, подвиг, усмехнуться в лицо сидящему против тебя в писательском ресторане человеку, ругающему твои стихи и по одному тому причисленному к стану врагов! <...> А какое до этого дело забойщику из Донбасса, строителю Куйбышевской ГЭС, создателям спутника Земли и крестьянину Кузьме Бакланихину из нашей деревни?

Цитируя «Пролог», Солоухин настаивает на необходимости четких коммунистических позиций в духе Маяковского (о заграничных вояжах, пока еще розовых мечтах «разного» поэта). На свой лад проницательно: скоро вояжи начнутся.

А покуда Евтушенко разъезжает по стране. От Дальнего Востока до

Грузии. 2 июля он пишет из Владивостока — в Тбилиси, художнику Ладо Гудиашвили: «Живу сейчас на берегу Тихого океана — брожу тайгой, обросший бородою, плаваю на краболовных судах... У меня сейчас такое же чистое и хорошее настроение, прозрачное настроение, как на Вашей картине «Всевидящее око». Чувствую, что могу сделать что-то очень большое, особенно здесь, у Океана, на берегу которого я живу <...> мы еще побродим по Грузии, как Тили Уленшпигели, и еще попьем вина из фонтанчиков на выставках. Мы ведь с Вами ровесники...»

Ладо было шестьдесят два. В прошлом году, вдвоем гуляя по сельхозвыставке в Сигнахи, они так наугощались белым вином из фонтанчиков, что их нашли спящими в клетке с волкодавами на сене. Волкодавы испуганно забились в угол.

Евтушенко обожал грузинскую живопись. Не только Ладо. Было дело, однажды в мастерскую своего друга Васильева Евтушенко принес холст Пиросмани «Олень», завернутый в связанную большим узлом скатерть. Там же были осыпавшиеся при случайном падении картины куски краски и грунта. Васильев все восстановил.

В Приморье, побывав на тигриной охоте, на холодном ветру с моря, поэт несколько приболел, трудно осилил недуг в горах Сихотэ-Алиня, стихов Владивостоку не оставил, но с лихвой компенсировал это в пути по Японскому морю на Камчатку: один только «Вальс на палубе» чего стоит.

Курилы за бортом плывут...
В их складках
снег
вечный.
А там, в Москве, — зеленый парк,
пруд,
лодка.
С тобой катается мой друг,
друг
верный.
Он грустно и красиво врет,
врет
ловко.
Он заикается умело.
Он
молит.
Он так богато врет тебе

и так
бедно!
И ты не знаешь, что вдали,
там,
в море,
с тобой танцую я сейчас
вальс,
Белла.

Тут легко разглядеть «друга верного» Межирова, и почва для ревности есть, и вера в дружбу и любовь звучит двояко, с преобладанием надежды на все хорошее — комок чувств, на волне музыкального размера $\frac{3}{4}$ поднятый до звука чистого и молодого.

Тогда же он начал (дописал в 1996-м) «О, сколько стран у нас в стране!..», с такой концовкой:

Нельзя быть крошечным поэтом
в такой громадине-стране!

Мы сказали: стихов Владивостоку не оставил. Это не совсем так. 21 июня 1958 года в «Литературной газете» был напечатан материал ее спецкора О. Опарина.

«Витязь» вернулся во Владивосток

Сегодня из своего 27-го рейса возвратилось во Владивосток экспедиционное судно «Витязь» Института океанологии Академии наук СССР. Возвращение это было вынужденным — в той части Тихого океана, где находился «Витязь», в конце мая появились признаки повышенной радиоактивности дождевой воды, вызванные испытательными взрывами атомных бомб, которые американцы проводят в районе Маршалловых островов. <...> В полдень красивый белый корабль появился в бухте Золотой Рог. Но он не встал, как всегда, у причала рядом с другими судами, не бросил якоря на рейде. К нему устремился катер с врачами: судно сперва должно быть тщательно исследовано и, если нужно, продизенфицировано, а люди — осмотрены.

Первым с катера на палубу «Витязя» поднимается дозиметрист со специальным прибором, фиксирующим интенсивность радиоактивных продуктов.

— Судно безопасно! — докладывает он через некоторое время. После этого мы вместе с врачами поднимаемся на палубу. Пока идет медицинский осмотр, мы попросили начальника экспедиции, кандидата географических наук В. Петелькина рассказать о плавании «Витязя».

— В экспедиционное плавание наше судно отправилось 20 марта. Весь комплекс исследований в Тихом океане по программе Международного геофизического года мы должны были завершить этим летом. К сожалению, как вы уже знаете, сделать это мы не смогли, нам помешали. 23 мая мы впервые обнаружили в дождевой воде признаки повышенной радиоактивности. 28 мая приборы зарегистрировали в воде чрезмерно высокую радиоактивность. Это нас насторожило. 29 мая от Каролинских островов в нашу сторону двигался тайфун. Он прошел недалеко от нас. В тот день было зафиксировано максимальное количество радиоактивных веществ в дождевой воде.

Большое количество радиоактивных осадков, в сотни раз превышающее норму, угрожало здоровью экипажа. Мы были вынуждены срочно покинуть зараженную зону, прекратив исследования.

Во время плавания в опасной зоне нами были приняты профилактические меры. Все члены экипажа проходили специальную санитарную обработку, палуба и надстройки несколько раз тщательно промывались.

Возвращаясь домой, мы зашли в порт Нагасаки, на который, как известно, в 1945 году американцы сбросили атомную бомбу. Следы колоссальных разрушений видны до сих пор. В городе, недалеко от эпицентра атомного взрыва, находится музей, где собраны материалы об атомном нападении на город. Экспонаты этого музея вызывают возмущение, гнев против тех, кто мешает людям мирно трудиться, растить детей, кто вынашивает людоедские планы истребительной атомной войны.

Несмотря на то что некоторые работы не были осуществлены, советские ученые проделали важные исследования по метеорологии, гидробиологии, геологии, успешно провели глубоководные траления, изучали фауну океана.

Ценные данные получены об океанических течениях в районе экватора.

Ниже следуют стихи.

НА КОРАБЛЕ

Мы видели на подошедшем «Витязе»:
Стояли жены на причале, ждали —
Им с мужьями видеться
Пока не разрешали.

Тревожные и оробелые,
Глядели через волны пенные,
А там — врачи, халаты белые,
Корреспонденты и военные.

Мы говорили с кочегарами,
Простыми, свойскими ребятами,
С географами кучерявыми,
С геологами бородатыми.

Они держались, парни русские,
От нашей Родины вдали,
Когда на головы их русые
Дожди отравленные шли.

Они все ясно понимали
И паники не поднимали,
И драили на совесть палубу —
С нее смывали эту пагубу...

О, те дожди, дожди проклятые!
Их слишком много в эти дни,
И веют не простой прохладой, —
Прохладой смертной они.

Но мы хотим спокойной гордости,

Чтоб, нас плодами оделя,
Умылась не дождями горести, —
Дождями радости земля!

Евгений ЕВТУШЕНКО Борт «Витязя», 20 июня 1958 г.

Вряд ли все географы, упомянутые поэтом, были кучерявые, но срифмовано здорово, а сам факт нахождения на борту судна и быстрота реакции — узнаваемо евтушенковские. Стихотворение не перепечатывалось.

Он привозит стихи отовсюду, где бывает. Многописание — вторая натура, он просто не может не писать. Это тот художнический организм, которому необходима подпитка извне. Еще были живы Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани — «классики не только поэзии, но классики грузинского характера». Это была любовь на всю жизнь, он щедро писал о Грузии и переводил ее поэтов: сборники «Лук и лира» (Тбилиси, 1959), «Тяжелее земли» (Тбилиси, 1979), «Два города: Стихи. Переводы» (Тбилиси, 1985), «Зеленая калитка» (Тбилиси, 1990).

И в снах твоих медленных, Грузия,
сплошной вереницей даров
плывут виноградные гроздья,
как связки воздушных шаров...

(«Ты вечером с гор взгляни!...»)

О том же — его спутница и муза Белла Ахмадулина:

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.

«О, институт, спасибо, друг, тебе»... — стихотворение благодарности своей alma mater, но не только: там появляется ценнейший плод — яблоко, которое значит больше, чем фрукт, оно — эмблема слова в другом его стихотворении: «Не важно — есть ли у тебя преследователи...»:

Да будет слово явлено,
простое и великое,
как яблоко
с началом яблонь будущих внутри!

Это будет написано позже, в 1959-м, и тогда же ему ответит гипотетическая героиня того институтского стихотворения:

Так и сижу — царица Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат...

(«Несмеяна»)

Сравним. Ахматова:

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...

(«Привольем пахнет дикий мед...»)

Как раз в те годы в советскую поэтическую действительность придет эта пара — Ахматова и Цветаева. На Руси поэты ходят почему-то парами. Пушкин — Лермонтов, Тютчев — Фет, (кто помнит) Цыбин — Поперечный...

Сначала внутри Литинститута, а потом и шире, выйдя далеко за ограду литинститутского сквера, происходило еще одно, в клубке общего ристалища, творческое соревнование — Юнны с Беллой. Долгие годы эти две поэтессы были в глазах читателя неразлучны как сверстницы и соперницы. Юнна Мориц не была звездой Политехнического. Но Москва в 1958-м узнала ее «Кулачный бой», ходящий из уст в уста:

Мне, узкоглазой и ширококостной,
Февральским утром в год бы високосный,
Когда по небу мечется заря
В тулупе красном, речью бы несносной
На Лобном месте мне б гневить царя
И крикнуть: — Царь! Ты много войска маешь,
Но ни черта в стихах не понимаешь,
Черства твоя порода и глуха...
Опричнина — жестокая затея,
Кровопролитье — до-о-о-лгая затея,
Опричник зря кровавый бой затеял
Со мной на понимание стиха.

Тут подтекст так гол, что это уже не подтекст, а текст как таковой. Там же сказано: «И головы, как яблоки, слетают...». Через несколько лет «Кулачный бой» ухитрится под шумок напечатать в «Молодой гвардии» ведавший там поэзией Владимир Цыбин, прежний товарищ по Литинституту, — благородство наказуемо: поднимется шум, его тотчас уволят. Сам он был поэт почвеннического склада, оппонировал евтушенковской плеяде много лет с молодых ногтей. Да и в тех литинститутских стенах на Тверском бульваре, в доме, где родился Герцен, в сени памятника Герцену «деревенские» сражались с «городскими», хотя сам Цыбин — из семиреченских станичников, земляк и адепт Павла Васильева.

На каком тяжелом перегоне
зном мои вены перервут?
Подставляю жесткие ладони яблоням —
пусть яблоки кладут.

(В. Цыбин «Если»)

Дались им эти яблоки...

Юнну все-таки восстановят в институте, и она окончит его в 1961-м, одновременно с выходом ее первой книжки «Мыс Желания», предисловие Николая Тихонова. Опека влиятельного литчиновника не была унижительной, поскольку Тихонов когда-то был поэтом большой силы и

свежести, и это помнили многие.

А Павла Васильева, вместе с Борисом Корниловым, Евтушенко любил и читал наизусть на всех литинститутских лестницах. Кстати, вот и еще одна инерционная пара: Павел Васильев — Борис Корнилов.

ИНТЕРМЕЦЦО

Дмитрий Сухарев в интересах нашей книги углубился в свой архив, в результате чего мы имеем возможность посмотреть на то время и его особенности — воочию, без литературных наслоений. Это запись в пять страниц, сделанная единым махом для самого себя. Почерк, вначале убогий, постепенно обретает размашистость. На самом деле получилось эссе, достоинства которого — элегантность и достоверность. Автор — аспирант МГУ Дмитрий Сахаров, пишущий стихи. Дмитрием Сухаревым он станет чуть позже, в 1957 году. Еще не было книг Сухарева, но были биофаковские песни. И музыкальный термин в названии этой главки уместен, поскольку музыка уже существовала и даже превалировала в Сухаревском мире.

Предыстория записи такова. В Центральном доме литераторов функционировала секция поэзии московской писательской организации, на заседаниях которой стихотворцы, в том числе молодые и не члены Союза писателей СССР, имели возможность поговорить друг о друге в процессе перекрестного чтения стихов. Как-то Д. Сахаров высказался о стихах Евтушенко, которому это показалось интересно, но знакомы они были лишь на уровне кивков. В свою очередь Евтушенко ознакомился со стихами Сахарова, предложившего их руководителю секции Л. Ошанину для сборника «День поэзии» 1957 года.

Дальнейшее — ниже.

5 сентября 56

Третьего дня — неожиданная история.

В пять утра я ездил встречать Жанку (Джанна, двоюродная сестра из Ташкента. — Д. С., 2013) и, вернувшись, блаженствовал в постели. Около одиннадцати — звонок. «Митенька — тебя!» Я долго **(нрзб)**:меня нет, спроси, кто звонит, итп. Алуня (Алла, молодая супруга Д. С. — Д. С., 2013) все мягко излагает и вдруг испуганно: «Я его сейчас разбуджу!» Видимо, в трубке энергично протестуют, и разговор заканчивается.

Оказывается — Евтушенко. Я говорю **(нрзб)**: «Дура ты, дура — разве же можно так непосредственно проявлять свои чувства!» «Но ты ведь так хотел с ним познакомиться!» Объясняю в популярном виде законы дипломатии.

Позавтракав, звоню по оставленному телефону. Слышу короткое и злое: «Да!» Отвечаю таким же низким, отрывистым и неприязненным голосом: «Это Сахаров». В трубке более мягко: «Здравствуйте, Дима. Ну, как поживаете?» Вопрос этот явно неуместен по причине полного отсутствия взаимного знакомства, и я отвечаю неопределенным междометием. Начинается небольшой монолог: «Я — ммм — смотрел ваши стихи у — ммм...» Я помогаю: у Ошанина. «Вот — ммм — кое-что понравилось, кое-что не понравилось, хотел с вами поговорить, уехал на два месяца в Грузию — сейчас вернулся и, видите, сразу вам звоню. Вы как — сегодня свободны?» Я отвечаю, что занят только вечером, и мы назначаем свидание сейчас же. Я говорю, что должен буду ехать с пустыми руками. «Ну, в голове стихи есть? И все в порядке». Потом он объясняет, как найти его жилище. «Четвертая Мещанская — напротив «Форума». Дом 7, квартира два. Вы так — войдете во двор и там увидите маленький двухэтажный домик. Такой весь облупившийся, старенький. Посередине крыльцо — осторожней, не обвалите его. Звоните в левую дверь». Я перед этим сказал, что мне ехать от Никитских ворот — то есть из довольно аристократического района. Поэтому его шуточные извинения по поводу своего жилища сразу заставили меня подумать — горд, самолюбив, раним. Ну, посмотрим.

Дверь его дома оказалась открытой, но я все же позвонил и услышал его голос. Мы прошли через маленькую, всю чем-то заставленную кухоньку или прихожую. Я спросил — сюда? Да, сюда. Такого я все же не ожидал. Комната, проходная со всех сторон. Как у большинства москвичей — это комната общего назначения. И спальня, и столовая, и гостиная. Тут же в углу — письменный стол с ворохом бумаг. Книг мало. Небогато ты живешь, поэт! Трудно тебе в такой обстановке работать. Тут же за дверью — голоса соседей. За окном — двор и галдящие дети. Мне это слишком знакомо. Из своего опыта мне трудно было бы ожидать что-то иное, но Женин блестящий вид, стильная одежда и спокойная независимость (то, что я видел в нем раньше) как-то настроили меня на ожидание иной домашней обстановки.

Впрочем, сегодня у него был обычный вид простого парня, который вечерами усталый приходит с работы и не может жить в иных апартаментах, кроме тех, которые я увидел. Он был в какой-

то выцветшей фуфаячке, поверх — еще одна куртка. Лицо желтоватое и утомленное. Но этот простой вид держался в нем в течение первой минуты, а потом он приступил к тяжелой должности литературного мэтра.

Он сел на диване, брови поднялись и придали лбу выражение высокого раздумья. «На днях приехал из Грузии — чертовски много работал. Чувствую себя совершенно иссушенным — перевел целую книгу стихов одного грузинского поэта — превосходные стихи! — писал много своих — сейчас моя книга выходит из печати — третья книга! — а следующую я уже в готовом виде сдал в издательство — собираются издать избранное — надо много думать: что отобрать? — устал, работать не могу — вот, вам позвонил — сегодня вырвался свободный час — смотрел ваши стихи — кое-что хорошо, кое-что плохо — ваше выступление в Доме литераторов мне понравилось — знаете, чувствуется то, чего сейчас так не хватает: интеллигентность...»

Я впервые вставил слово: «Кажется, это сейчас не очень ценится». Он тут же развил свою точку зрения, которую было очень приятно услышать. О том, что — по его мнению — писать может тот, в ком сочетается настоящий взгляд на жизнь с интеллигентностью, с культурой. «У нас в Литинституте фамилию Пастернака вообще не услышите. Даже наиболее талантливые ребята — например, Рождественский — настолько беспомощны в знании предыстории русской поэтики!»

Вначале говорил почти все время он. Я взял со стола яблоко и громко его грыз, пытаясь сбить с него мэтрский тон. Постепенно разговор стал проще — перешли на «ты», стали говорить оба. Женя рассказывал много интересного — о Грузии, о себе. Обсуждали все, что приходило на ум и к чему кидал разговор. Прошло часа два, и он вспомнил, что я должен читать стихи. Оказалось, что все лучшие (на мой взгляд) он помнил по ошанинским экземплярам. Я прочел несколько других, которые и сам люблю меньше, — и он был явно разочарован. Позже я его спросил об этом, и он подтвердил мое впечатление. Но как-то это стало второстепенным, потому что само чтение мной стихов стало только выполнением первоначальной программы, которая практически показалась ненужной. Потом он читал «Станцию Зиму» — начал с одного отрывка и так, постепенно увлекаясь, прочел по отрывкам почти всю поэму. Относительно некоторых

отрывков, которые он называл «социальными», сказал: «Смотри! — тебе первому читаю. После Беллочки».

О Беллочке разговор был уже до этого. На столе, среди бумаг, были рассованы ее фотографии. Одна стояла на полке. Я был страшно рад, что она такая, потому что стихи ее — теплые и талантливые — мне нравились. Рад был, что ей только девятнадцать, что Женя ее, видимо, любит, что она с ним жила летом как жена в Грузии, рад был слышать, как он о ней говорит. Только испугался, что ее яркие рифмы — не свои. Я вспомнил, что когда прочел впервые ее стихи, закричал: «Ого! У Евтушенко появляется своя школа в советской поэзии!» Я спросил его об этом, и в ответ он только очень радостно рассмеялся. Именно радостно — никаким другим этот смех назвать было нельзя. Потом я еще несколько раз видел, как он так смеялся. Он становился совсем похож на простого уличного мальчишку.

«А ты спешишь?» — спросил он. «Давай поедем пообедаем вместе». Мы вышли из дома и пошли к Садовой. Теперь на Жене был яркий пиджак, и модные брюки, и нестандартная, вроде заграничной сорочка, и яркий-яркий галстук: осенние кленовые листья на голубом фоне. И желтые ботинки. Все это он достал из шкафа, где оно висело отутюженное, готовое к эксплуатации. С комнатной эта одежда не гармонировала, и в этом была, видимо, часть ее происхождения. На улице Женя несколько раз здоровался со встречными людьми. «Меня здесь все знают, — сказал он. — Я был первый хулиган. Меня из школы исключили. Знаешь, — я ведь 10 классов не кончил!»

В такси он неожиданно начал хвалиться. Наверно, причиной было появление третьего человека — шофера. Снова посыпались цифры: третья книга, сотни стихотворений, тысячи аванса. Он рассказывал, как 15-летним мальчишкой отнес в редакцию книгу стихов, лирическим героем которой был выдавший виды человек — солдат, прошедший всю войну. «А вы совсем Жюль Верн», — неожиданно сказал шофер. И, улыбаясь, добавил: «Он тоже писал, не выходя из кабинета».

Оказалось, что мы ехали в румынский ресторан в Парке Культуры. Румынский оркестр, сухое вино. «А ты сухое вино любишь? — спросил он. — А то, может, сладкое?» В этом вопросе сквозило презрение. Я успокоил его. Я действительно люблю сухое, но румынского вина я не знал. В румынский

ресторан стояла очередь, и мы заняли хвост. Обычно в таком положении трудно разговаривать, но мы не томились молчанием. Женя рассказывал о своих друзьях: Саша Межиров, Миша Луконин, Смеляков. И Слуцкий. Он вообще часто говорил фразы вроде: «Приехали туда: я, Симонов, Твардовский и Кирсанов». Ему нравилось чувствовать себя очень большим, прекрасным и привлекательным. Он говорил: «Я люблю, чтобы все было здорово, крупно, сочно: и вино пить, и женщины, и стихи, и одежда». В этом была какая-то литературность, но он был действительно высокий и приятный, и ярко одет, и стихи писал превосходные. Он много говорил о благодарности своим друзьям — Саше, и Мише, и Слуцкому. Но ни разу не упомянул ни об одном своем сверстнике. Он все время был среди старших, жил среди старших. Но ему хотелось быть поэтом своего поколения, и он четко называл эту цель, называя наше поколение «обманутым». Поколение Гудзенко — Луконина он отделял от себя. Но в своем поколении чувствовал себя одиноким. «Скажи, — говорил он, — а вот у вас, в МГУ, студенты — знают, что сейчас делается в поэзии?» Я твердо отвечал «нет». За исключением единиц. В лучшем случае девочки знают стихи вроде «Над черным носом нашей субмарины» (стихотворение К. Симонова. — И. Ф.).

Мы прошли в ресторан и сели. Он наклонился и шепнул: «О литературе давай не говорить. Сзади сидит некто Алексеев — автор романа «Солдаты» — дикая сволочь. Все-таки это несправедливо, — добавил он с грустью, — что у антисемитов рождаются дети». Действительно, вокруг Алексеева сидел выводок детей, а напротив восседала пышущая здоровьем жена. Это было процветающее семейство.

Ненависть к антисемитизму в нем вышла наружу в этот день не впервые. Еще дома он скрежетал зубами по поводу кочетовской травли Слуцкого (реакция на опубликованную в редактируемой В. Кочетовым «Литературной газете» от 28 июля 1956 года, в его отсутствие, статью И. Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого». — И. Ф.). По-видимому, это было не просто влияние его литературной среды, а глубокое убеждение. Не то что сухое вино.

С сухим вином получилось хуже. Женя долго и мастито заказывал, являя бывалость. Нам принесли крупную бутылку

румынского вина. Я опаснулся, что много, но он на меня презрительно цыкнул. Но пил он — господи! Как он пил превосходное сухое вино! Он зажмурился и опрокидывал фужер в глотку, морщась как от сивухи. Я привык сухое вино попивать степенно, смакуя, но мне пришлось уступить. У Жени была твердая система: тост — и сразу обязательно до дна.

Он очень быстро опьянел, чего я совсем не ожидал. Опьянел и стал похож на Юраню Каменского (однокурсник. — Д. С., 2013). Посмотрел на проходящую мимо женщину и сказал с растекшейся пьяной улыбкой: «Смотри — ничего». Почему-то он считал, что так надо делать, хотя это вовсе не было необходимо. Алексеев ушел, и нас снова понесло на литературу. Он читал какие-то стихи, и я читал. Я спросил: «У тебя хорошая память?» «Говорят, феноменальная, — сказал он кротко. — Я «Волны» (стихи Б. Пастернака, 284 строки. — И. Ф.) на память знаю». «Ну и что же? — сказал я не менее кротко и внутренне ликуя. — «Волны» я тоже знаю». Потом прошла пора взаимного бахвальства, и я приступил к «Станции Зиме», о которой до этого молчал, выразив свое восхищение лишь в целом. У меня были замечания, часть из них — существенные, и я начал их выкладывать. Мне показалось, что он отнесся к ним серьезно.

Мы допили, но он заказал еще. Допили вторично и ушли покачиваясь. Перед этим он орал на меня и пытался заплатить один. Мы долго обвиняли друг друга в пьяном «ты меня обижаешь», но в конце концов оказались на улице. Приближалось время, когда я должен был очутиться на Манежной площади. Я сказал: «Поехали со мной. Я тебя познакомлю с чудесными ребятами». И мы опять в такси.

На Манежной был назначен сбор агитбригады, вернувшейся вчера из Сибири. Я был приглашен как свой человек. Брать с собой Женьку было нетактично по отношению к остальным, но я начал входить в бурлюковское амплуа, остро ощущая необходимость сблизить пиита с его поколением.

Возле университета уже собирались ребята. Мы целовались и кричали, а потом я отвел в сторону Оленьку и Нинку и приказал окружить моего спутника заботой во имя всех моих прежних и будущих заслуг перед факультетом. Это надо, сказал я, и прошу поверить на слово.

Девочки, надо воздать им должное, выполняли эту функцию

честно и бескорыстно в течение всего последующего вечера. В голове у меня был веселый пьяный шум, и я не помню в подробностях — как мы снова оказались на такси и помчались на Казанский вокзал. Там уже пришел поезд из Казахстана и на нем наши «целинники» со второго курса. (Нам, встречавшим, приехавшие были как бы детьми, они окончили первый курс и перешли на второй. На целину студентов, как правило, возили товарными теплушками. Через год мы с Евтушенко где-то на задворках Ржевского / Рижского вокзала провожали такой же, теплушками, отряд Литинститута, в нем на целину отправлялась Белла Ахмадулина. — Д. С., 2013.) Мы с кем-то обнимались, и кричали, и вручали цветы. Я увидел в проходящей толпе девочку, похожую на Эльку из «Комариков» (спектакль биофака. — Д. С., 2013), и побежал с ней целоваться, но это оказалась совсем другая девочка, тоже с нашего факультета, и она очень смеялась. Потом я поцеловал в горячую и душистую щеку Галю Черноусову — это был первый поцелуй, но я только ненадолго вспомнил, как я думал о нем в те месяцы, когда был безнадежно влюблен в Галю. А тут все прошло в толпе и суматохе, и как-то незаметно.

Потом мы почему-то ехали на грузовике, который шел на Ленинские горы, сибирская бригада вылезла на Калужской, где у Сережки Васецкого готовился выпивон, а целинников повезли в МГУ. Я заметил, что ребята — Остап, Мишаня, Женька Дмитриев — обижены на меня за то, что я тащу с собой долговязого пижона, такого не похожего на них. Я же мыслил государственными масштабами и мудро гнул свое, невзирая на обиду ребят.

На вечере было как всегда, и ребята были как всегда, и это только идиот мог бы не заметить. Это было то, чего нет даже в самых лучших книжках — настоящие комсомольцы, после настоящего дела, но не литературные, а живые — с песнями, с поцелуями, с влюбленностями, с хохмами. Мне удалось то, на чем я сорвался раньше: Женька снял галстук. В самый разгар шума он зашипел мне на ухо: «Не представляешь себе, как обидно. Ведь для них пишу». А еще минут через двадцать сказал твердо: «Я хочу читать стихи». Я просил немного подождать — до более удобного момента — и через несколько минут Нинка заорала: «Тише, ребята! А сейчас Женя нам почитает свои

стихи». Нинка была пьяная и все время лезла к Жене целоваться.

Женя прочел несколько стихотворений. «На демонстрации», еще что-то. Я, должно быть, уже порядком опьянел, потому что не помню, какие он еще читал стихи. Боюсь поэтому говорить о том, как они были встречены. Помню только, что я боялся — слишком неприязненно были настроены некоторые ребята. Слушали тихо и потом немного хлопали — это то, что вошло в мои пьяные уши. О настоящем впечатлении сказать ничего не могу.

В разгар вечера приехала Алуна, и я познакомил ее с Женей, когда они уже танцевали вдвоем. Через некоторое время мы уехали — был уже час ночи, и Женя боялся проспать в институт. Мы опять мчались в такси, и помню, он говорил: «Замечательные ребята. Вы меня когда-нибудь пригласите в общежитие стихи читать. Замечательные ребята. Но один — ты его берегись: продаст и предаст. Гарантирую. Кажется, Шангин его фамилия». Я долго смеялся и думал: почему он так сразу угадал? И мы попрощались.

Прошли века, не менее того. У Дмитрия Сухарева написались стихи про Евтушенко (не названного) «Когда его бранят» (1986), исполненные благородной ярости по адресу евтушенковских злопыхателей и неомраченной ясности в понимании его роли:

Да, чувством меры он не наделен;
Да, хвастуном зовется поделом.
Да, он стихи читает, будто чтец,
А это глупо;
Да, он раб приема.
Но ведь не раб приемных, не подлец,
Не льстец! Он был плечом подъема
Поэзии, он был подъемный кран
Поэзии — и был повернут к нам.
И мы учились —
рабски! —
у него!
Мы все на нем вскормились, лицемеры!
Беспамятство страшней, чем хвастовство.
А чувство меры...

Ах, было бы просто чувство.
Но с ним-то у нас негусто,
И слюна это просто месть
Тому,
У кого оно просто есть.

Когда его бранят (а все кому не лень
Его бранят), когда его бранят,
Я вспоминаю давние слова
О *просто чувстве*. И квартиру два.
Люблю его и тридцать лет спустя,
Люблю его — без всяческих «хотя»
И давних адресов не забывая.
Он — век мой, постаревшее дитя,
Дом семь, квартира два,
Душа живая.

С той поры тоже прошли века. Однажды раздался звонок: — Митя,
звоню тебе прямо из машины. Еду по Оклахоме, слушаю твои песни и
плачу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Что евтушенковского ходило в самиздате? Ну, «Автобиография», «Письмо к Есенину», «Баллада о штрафном батальоне», много чего. Это уже шестидесятые. А в пятидесятых, некоторое время — даже невинное «О чем поют артисты джазовые...».

Ему (или Слуцкому) приписывалось «Памяти Пастернака» («Их с черного хода всегда выносили. / Поэты — побочные дети России...»), написанное Г. Плисецким.

Евтушенко работал в подцензурной печати. Собственно, как и почти все русские поэты в течение трех веков существования отечественной поэзии.

Вот его поздний счет к цензуре:

«Заглавие стихотворения «Одиночество» на несколько лет превратилось в «Верность». Наш любимый народом поэт не может быть одиноким! А вот верным должен быть всегда. Многие годы не удавалось включить в стихотворение «С усмешкой о тебе иные судят...» (1955) строчки: «Ты погляди — вот Николай Матвееч. А он всего трудом, трудом достиг...» Нежелательный намек на Грибачева. Мне пришлось поменять Грибачеву отчество. В стихотворении «Мед», чтобы никто не усмотрел намека на историю, произошедшую с Леонидом Леоновым, строчку «сошел с них столп российской прозы» приходилось много лет заменять на другую: «сошел с них некто грузный, рослый». Мой собственный монолог «Мне говорят — ты смелый человек» (1961) во множестве изданий проходил под заглавием «Разговор с американским писателем». Архиепископ Иоанн Сан-Францисский однажды с улыбкой заметил мне: «Женя, а если бы не было американского империализма, как бы вы пробивали сквозь цензуру столькие ваши стихи?» Я спасительно придумал название для «непроходимой» песни Окуджавы — «Песенка американского солдата», и она сразу легализовалась. Написанное в том же году в Киеве стихотворение «Ирпень» я даже не предлагал в печать — настолько это было бессмысленно. Оно было напечатано спустя 27 лет, да и то журнал «Знамя» при всей его прогрессивности попросил меня смягчить строчку:

*Голодает Россия, нища и боса,
Но зато космонавты летят в небеса.*

У меня старинный опыт «смягчать», я и «пожалел» редакцию:

Голодает Россия, редуют леса.

Вот перечень только некоторых стихов из тех, что долгое время вообще не могли пройти цензуру: «Письмо одному писателю» — о гражданской непоследовательности Симонова после того, как он признал напечатание романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» ошибкой, «Опять прошедшее собрание», «Вы, которые каетесь» — об осуждении Дудинцева писательским собранием были написаны в 1957-м, а напечатаны лишь в 1988 году; «Мертвая рука» (1963) — о трупе сталинизма, который все еще может задушить мертвой рукой, «Самокрутки» (1963) — о том, как лживые газеты идут на раскурку, «Особая душа» (1963) — о бывшем охраннике лагерей, тешащемся тем, что он накрывает граненым стаканом на столе таракана, ждали напечатания 25 лет; «Вологодские колокола» (1964) — об издевательствах над фронтовой шинелкой Александра Яшина — 24 года; «Письмо к Есенину» с прямой критикой диктатуры не только партии, но и комсомола, «Письмо в Париж» — о неразрывности эмигрантской культуры с русской землей; «В ста верстах» — об ужасе и абсурде коллективизации — написаны в 1965-м, напечатаны через 23 года; «Баллада о большой печати» (1966) — политический памфлет под видом озорной шуточки о скопцах — через 22 года; «Елабужский гвоздь» (1967) — о самоубийстве Марины Цветаевой — через 21 год; «Русское чудо» — о старушке, зашедшей в валютный магазин, «Танки идут по Праге» (1968) — через 21 год; «Возрождение» (1972) — о неминуемом развале имперских структур — через 17 лет; «Афганский муравей» (1983) — о бессмысленной гибели наших солдат в Афганистане — через 6 лет».

Мы не забегаем вперед. Это единая история, сплошной поток, в истоке — послевоенная кампания по ленинградским журналам и прочая. Литература советской эпохи стала социально поэтажной вместе со своим подвалом, и в подвале было много помещений. Андеграунд 1950-х. В Лианозове вокруг художника Е. Кропивницкого сплотились несколько человек, художников и поэтов, певцов барака, среди которых — И. Холин, Г. Сапгир, Вс. Некрасов, Я. Сатуновский. Образовалась «группа Черткова», из которой впоследствии вышли на свет Божий А. Сергеев, Ст. Красовицкий. Особь статья — переводчики. А. Тарковский, С. Липкин, А. Штейнберг — далеко не полный перечень, поскольку уход в переводчество

стал чем-то совершенно уникальным, нигде в мире не принятым способом существования поэзии. С этим феноменом может сравниться только эмиграция литературно одаренных грамотных людей — в литературоведение.

Евгений Винокуров в 1953-м пришел в Литинститут с пустым ведром, грохоча по нему кулаком с криком: «Умер тиран!» Правда, про него сплетничали, что он учился в школе для дефективных и пил чернила из чернильницы...

В 1956-м на волю выпустили мученика Даниила Андреева, и через 23 месяца он умер в только что полученной квартирке. Наум Коржавин («Эмка» Мандель) пришел издалека в непотребной шинелке, его гнали из приличных компаний за дух, источаемый одежкой. Аркадий Белинков пришел оттуда же, его устроили в Литинститут читать лекции, но быстро уволили — по доносу студентов.

По Арбату ходил ушастый юрод богатырского телосложения Николай Глазков:

Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз.
Но это — не поэзия...

Игорь Холин, сидя в лианозовском бараке, посвящает стихи Ю. Васильеву:

Рыба. Икра. Вина.
За витриной продавец Инна.
Вечером иная картина:
Комната, стол, диван.
Муж пьян.
Мычит: Мы-бля-я...
Хрюкает, как свинья,
Храпит.
Инна не спит...
Утром снова витрина.
Рыба. Икра. Вина.

Наум Коржавин, «Вариации из Некрасова»:

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони — все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Борис Чичибабин по следам антипастернаковского действия (1959)
говорит, в чем-то опережая стремительного Евтушенко:

Пока во лжи неукротимы
Сидят холеные, как ханы,
Антисемитские кретины
И государственные хамы,
Покуда взяточник заносчив
И волокитчик беспечален,
Пока добычи ждет доносчик, —
Не умер Сталин.

Ему полемически отвечает неизвестный автор, уже в начале
шестидесятых:

Мы шли на эшафоты ротами,
И если шли, а не восстали,
И страшное реле сработало,
При чем тут Сталин?..

В 1958-м бдительное издание «На рубеже» пишет:

Кто же позволил поэту проповедовать столь безысходный
пессимизм, кто дал право клеветать на нашу действительность?
...сборник Евтушенко «Шоссе Энтузиастов»... это поклеп на
наших замечательных советских юношей и девушек,

воспитанных нашей партией и комсомолом и идущих в первых рядах строителей коммунизма.

В 1958-м на бывшей Триумфальной площади воздвигли бронзовое многопудье Маяковского. Почти одновременно вспыхнул нобелевский скандал Пастернака. Можно сказать, оба дождались своего часа. Государство сталкивало их лбами. В долговременной перспективе живой лоб оказался целей медно-оловянного.

Площадь Триумфальную переименовали в площадь Маяковского — в принципе это синонимы. В старину здесь поставили в ознаменование победы Петра в Северной войне «врата Триумфальные», через которые император въехал в Москву, и, кстати, внешне они определенно смахивали — царь и поэт, а в Грузии, например, этих обоих великанов считают грузинами. Мифы бессмертны.

Цена поэтского триумфа чудовищно велика.

В том же 1958-м 31 октября в Доме кино на улице Воровского собрались писатели. Перед этим прошла череда мероприятий и событий. 25 октября — партийное собрание в Союзе писателей. 26 октября «Литературная газета» публикует письмо редколлегии «Нового мира» об отклонении романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». 27 октября президиум правления Союза писателей обсуждает факт публикации романа Пастернака за рубежом. 29 октября Пастернак вынужденно отправляет в Стокгольм телеграмму с отказом от Нобелевской премии, а первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. Семичастный на торжественном заседании по случаю 40-летия комсомола заявляет о готовности советского правительства выслать Пастернака из страны. В ночь на 31 октября Пастернак пишет письмо Хрущеву с просьбой не лишать его советского гражданства.

Кто чего говорил на том толковище, — практически все равно, потому как почти все говорили одно и то же. Выделялись — поэты, потому что это были выдающиеся поэты — Слуцкий и Мартынов. В дурном спектакле акцент пришелся на поэтический цех, надписательские структуры перевели стрелку инициативы на стихотворцев — со стороны дело выглядело так, что это именно они затеяли акцию осуждения члена секции поэзии Пастернака, намахавшего посредственный роман, и первым после вводного слова С. С. Смирнова, главы московской писательской организации, выступил Л. Ошанин, председатель бюро поэтической секции, — должность техническая, но Ошанин старался. Поэтам поручили это дело, по-видимому, потому, что свое решение по Пастернаку Нобелевский

комитет сформулировал так: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».

Потом пошел поток заурядных (не считая К. Федина) прозаиков, критиков, журналюг (А. Софронов, якобы поэт) с речами бесцветными и полуграмотными, талантливый Солоухин (а ведь тоже поэт) привел три цитаты из пастернаковских стихов и во всех трех грубо ошибся, только два больших поэта-эрудита поддержали марку, подняв говорильню на относительно приемлемый интеллектуальный уровень. Увы.

Оказался прав нетрезвый арбатец Глазков, с удовольствием рубящий во дворе своего дома дрова и с каждым ударом топора отчетливо выдыхающий стих о спорте:

Команды мастеров гоняли мяч.
Мяч бешено взлетал, о ноги тычась.
Смотрела на футбольный этот матч
Толпа людей примерно в двадцать тысяч.

Они болели. Я болеть не мог
И оставался их восторгам чуждым.
Я был на стадионе одинок,
И не был я охвачен стадным чувством!

Писатели исключили Пастернака из своего Союза, а также попросили правительство лишить его советского гражданства. Проголосовали. Почти единодушно.

Евтушенко не голосовал. Его, комсорга московской писательской организации, еще до собрания вызвали в райком, обязывая выступить, — уклонился. Когда в зале поднялся лес рук, его там не было.

В начале 1958-го умерла Ксения Некрасова. Это было ходячее несчастье, пронизанное солнечным дарованием. О ней написали многие. Хлеще и горше всех, наверно, — Смеляков:

Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?
Ксения Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.

Но Смеляков высказался через много лет — в 1964-м, Евтушенко — сразу же, над свежей могилой.

Мы лимонада ей, в общем, давали,
ну а вот доброй улыбки —
едва ли.
Даже давали ей малые прибыли,
только в писатели Ксюшу не приняли,
ибо блюстители наши моральные
определили:
«Она ненормальная».
Так и в гробу наша Ксюша лежала —
на животе она руки держала,
будто она охраняла негромко
в нем находящегося ребенка.

(«Памяти Ксении Некрасовой»)

Говорили: отцом того ребенка был человек, когда-то зорко подметивший, что Евтушенко, когда он пишет о женщинах, сам становится женщиной. Он еще и Пастернака обличал в первых рядах.

У Льва Лосева в книге «Тайный советник» (1987) есть стихотворение «31 октября 1958»:

Операция продолжалась не более минуты.
Леонид Николаевич и Борис Абрамович
трусят по улице Воровского,
не испытывая ни боли,
ни стыда,
ни сожаления при виде стайки муз,
рыдая удаляющихся за здание МИДа.

Не лучшие и не точные (МИДа там нет, там другая высотка) стихи Лосева, и вот их концовка:

Если кто знает настоящие молитвы,

помолитесь за них.

Итак, пастернаковская история, участие Леонида Мартынова и Бориса Слуцкого в том действе. Известна страшная реакция Слуцкого на все это: многолетняя неизлечимая депрессия. Что же Мартынов?

Мартынов на весь тот ужас ответил поэмой — это его жанр — «Иванов», никем, пожалуй, не замеченной. Ее сюжет таков. Речь идет об Александре Иванове, историческом живописце.

Он в Риме оставался неспроста:
В родные не стремился он места,
Где Кукольник резвился на афише.
Нет, не манила под родные крыши
Родная полосатая верста.

Это писано в 1960-м. Изображается Иванов, изображающий «крещение людей *На отдаленном Иордане*». *На холсте художника «Едва лишь отличимый от земли, Определялся истинный Спаситель»*. Хор похвал в адрес Иванова смущает его. «Картину обнарудовал он рано — *Она не та!*» *О написанных им фигурах он думает с досадой: «Над ними гром небесный не гремел, И молнии не лопались над ними»*. Иванов решает: «Необходимо ехать в Палестину / И мастерскую там обосновать». Едет. Куда? В Париж! Там гостит недолго, является в Лондон, к Герцену.

— Вот, Александр Иванович, в чем дело.
Я, собственно, указок не ищу.
Но раз уж говорим о красоте мы,
Я лишь одно спросить у вас хочу:
Писать ли на евангельские темы?

Вот истинный спор Мартынова с Пастернаком.

Он, Мартынов, апеллирует к Герцену, революционный «Колокол» предпочитая церковному. Точнее, — пытается соотнести эти колокола. Превыше всего он ставит над собой суд истории. К слову, фон мучений его Иванова — Крымская кампания 1853–1856 годов, смерть императора Николая I в 1855-м, строительство железных дорог, тому подобное. Автор

думает о взаимоотношениях красоты и божественной истины.

По-видимому, он считает «Доктора Живаго», Юрия Живаго и его стихотворения пастернаковской жертвой эстетизму, далекой от живой жизни. Но какая тяжелая боль таится за эпически ровным тоном. Наверно, это стыд. На дворе 1960 год. Пастернак похоронен.

Есть и еще одна сторона сей поэтической тяжбы. Мы, ныне живущие, попросту не знаем, поскольку мало что помним, той конъюнктуры, той иерархии поэтов, которая исподволь выстраивалась еще на рубеже 1940–1950-х. Первым поэтом — во мнении самих поэтов, тогда относительно молодых, или нестарых, — считался Мартынов. Слуцкий называл себя вторым. Пастернак, как бы уйдя в предание, сидел на даче, в тиши, в тени, над переводами, во всеуслышание отрицая сам себя. Его новое появление — со стихами и романом — путало карты, портило картину, меняло ландшафт. Конфликт назревал со всех сторон.

В мемуарной книге Вяч. Вс. Иванова «Голубой зверь» автор вкратце рассказал о том, как в новогоднюю ночь 1960 года Давид Самойлов, находясь у него на даче, надерзил Пастернаку: вас, дескать, не поймешь, за красных вы или за белых. Слуцкий, когда Пастернак предложил выпить его здоровье, сказал:

— Я уже здоров.

Так начинались шестидесятые.

Евтушенко не бегал к Пастернаку на переделкинскую дачу, как это делали литинститутские однокорытники Ю. Панкратов и И. Харабаров. В пору погрома 1958 года эти ребята предали учителя с потрохами.

Они рассказывали о своем закадычном přátельстве с Пастернаком, именуя его Борисом, даже Борей, и говорили той же Белле Ахмадулиной, что Боря зовет ее и Женю к себе. Она же терпеть не могла амикошонства, а на Пастернака смотрела настолько издали, что однажды, заметив его на общей для них обеих лесной тропе, стушевалась и прошла мимо потупив очи.

Бывали на той даче юные Вознесенский, Айги, но не Евтушенко с Ахмадулиной.

Впервые Евтушенко, начинающий автор семнадцати лет, увидел близко Пастернака, когда Пастернак пришел читать перевод «Фауста» в Центральный дом литераторов, и в вестибюле был ошеломлен его простецкой одеждой (так себе пальто, общемосковская кепка) и вопросом, нараспев обращенным к потерявшему дар речи юнцу:

— Скажите, пожалуйста, где тут состоится вечер Пастернака? Я, кажется, опоздал...

Читал Пастернак без актерства, быстро устал и сказал наподобие хлебниковского «и так далее»:

— Извините, ради Бога, я совсем не могу читать. Все это глупость какая-то...

В зале, кутая плечи в белый пуховый платок, сидела Ольга Ивинская. Но о той любви Женя узнал гораздо позднее.

Прошли годы, состоялось настоящее первое знакомство. Во всю первую полосу книги «Сестра моя — жизнь» Пастернак написал (художнический почерк, по-пушкински летящие линии с несоразмерными удлинениями, берущими начало полутора веками раньше):

Е. А. Евдокимов

Дорогой Женя Евдокимов Алек-
сандрович, Вы всегда были
и у нас и у многих людей
и великих соотечественников
своих предков, своим своим
материалом. Я уверен в Ва-
шем светлом будущем. Не-
давно Ваш в газетном
статье не устал, потому за-
думавшись выключился
у Вас в окошке, а вы
попробуйте думать
и побороть себя для
некоторых замечательных
идей и размышлений.

Маси Ермаков
Первого 3 мая 1959.

Дарственная надпись Б. Л. Пастернака на книге «Сестра моя — жизнь». Переделкино. 3 мая 1959 г.

Дорогой Женя, Евгений Александрович, Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательством своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем.

Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных исчерпывающих формах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б. Пастернак

Переделкино, 3 мая 1959 г.

Здесь Пастернак многозначительно перефразировал самого себя — стихотворение «После грозы», написанное в июле минувшего 1958 года:

Не подавая виду, без протеста,
Как бы совсем не трогая основ,
В столетии освободилось место
Для новых дел, для новых чувств и слов.

А само знакомство было забавным. Евтушенко обязали в Иностранной комиссии Союза писателей сопровождать на дачу Пастернака итальянского профессора Анджело Мария Риппелино. Пастернак встретил их в саду, смуглый, седой, в белом холщовом пиджаке, был чрезвычайно прост и открыт, волнуемому Евтушенко с ходу сказал, что он его знает, а итальянца принял за грузина, но итальянцы тоже молодцы, и все прошли в дом, там были уже люди, и был разговор, ели цыпленка и пили вино, Женю Евтушенко попросили прочесть стихи.

«Свадьбы» на Пастернака не подействовали, но «Пролог» вызвал восторг, объятие и поцелуй.

— Сколько в вас силы, энергии, молодости!

А «Одиночество» вызвало слезы и комментарий:

— А вот это от Пушкина — он тоже сумел поблагодарить женщину в час расставания. Женечка, думаете, вы написали это про себя? Нет, и про меня, и про всех мужчин. Это про всех нас — и про вас, и про меня...

Гости разошлись, разговор продолжился наедине и сильно затянулся, хотя Евтушенко надо было утром улетать в Тбилиси, где Пастернак гостил недавно — ранней весной, и Пастернак загорелся, страшно захотел туда же, и дело почти сладилось...

«Но тут появилась уже, казалось, ушедшая спать Зинаида Николаевна и грозно сказала:

— Вы — убийца Бориса Леонидовича. Мало того, что Вы его спаиваете целую ночь. Вы еще хотите его умыкнуть... Не забывайте того, сколько ему лет и сколько вам.

Я потихоньку смылся от ее справедливого гнева, неожиданно для себя самого проведя в доме великого поэта время с 11 часов утра до 5 часов утра следующего дня — 18 часов!»

Через год, в начале июня, Пастернака навсегда проводили из этого дома.

Евтушенко напишет «Ограду», для публикации используя имя покойного Луговского в качестве посвящения и прикрытия. Но некая тайная, закономерная связь во всем этом все-таки была.

Эпоссередины века создал Луговской, лирикадосталась Евтушенко. При этом середина века по Луговскому состояла из многих исторических пластов первой половины столетия, в то время как Евтушенко принародно стенографировал происходящую на глазах историю, текущий день, летящее время.

Он так начал 1959 год:
Свежести!
Свежести!
Хочется свежести!
Свадебной снежности
и незаслеженности,
свежести мускулов,
мозга,
мазка,
свежести музыки
и языка!

(«Свежести!...»)

Он так кончил 1959 год:

О, дух дегтярный,
дух рутины!
Висят телеги —
не картины,
и грохоча, как бы таран,
телеги лезут на экран.

О вы, кто так телегам рады, —
у вас тележный интеллект.
Вам не ракет в искусстве надо —
телег вам хочется, телег.

Искусство ваше и прилежно,
и в звания облачено,
но все равно оно — тележно
и в век ракет обречено!

(«Ракеты и телеги»)

Случись ужасное — уйди он, допустим, в 1959-м, тем более как-нибудь трагически, та чемпионская дистанция, которую он проделал в середине века на одном дыхании, тем не менее осталась бы в русской поэзии незабываемой золотой милей, нежной памятью поколения и, возможно, термина *шестидесятники* попросту не появилось бы: без Евтушенко это пустой звук.

ДОЛГОТА РИФМЫ

Геолог и спелеолог Виктор Сербский жил в Братске. Он собирал книги. Очень много — современных поэтов. Евгения Евтушенко — более шестидесяти книг. Когда Евтушенко, приглашенный в дом Сербского, увидел все это, ему — в восхищении библиофильским подвигом — захотелось надписать каждое издание. Листая книжку «Я сибирской породы», на странице 54-й, где был «Вальс на палубе», он наткнулся на следующую запись: «Виктору Сербскому с любовью к поэту Евгению Евтушенко — Белла Ахмадулина». Свой автограф она оставила 25 марта 1974 года на вечере Окуджавы в Центральном доме литераторов.

Евтушенко откликнулся эмоциональным автографом: «Глубочайше тронут тем, что рукой Беллы — ее драгоценными пальчиками подтверждено то, что хотя бы когда-то она любила меня. Евг. Евтушенко. 2.06.1994».

Голос высокой миссии. Белла Ахмадулина — второй, после Маяковского, русский поэт, в *такой мере* физически зависящий от своего голоса. Больше, чем Высоцкий («Самый любимый поэт: Ахмадулина», — из его анкеты), которому помогала гитара. Стихи Ахмадулиной написаны для голоса без какого-либо хора и оркестра. Божественный голос, без преувеличения, хотя Ахмадулина — поэт преувеличений. Ее слышание голоса таково:

...и слышно, как невесть откуда,
из недр стесненных, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа,
исторгнут, близится, и вот
донесся бас земли и вод...

Сей бас принадлежит Ахматовой. Невесть откуда. Больше от земли, чем от Бога.

В Ахматовой Ахмадулину навсегда пленила «Дорога не скажу куда» и желание всего на свете «быть воспетым голосом моим». В следующий раз она говорит о том же: о «вулканном выдохе глубины земной», в ключе самоумаления, столь ей свойственного:

Речей и пеня на высоких нотах
не слышу: как-то мелко и мало.

Ее путь — повышение нот. Возвышенная тональность первых стихов еще допускала нефорсированный звук, но уже тогда ее перо поспешало

к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой.

Все дальнейшее происходит почти исключительно на высоких нотах. Очевидна двойственность ее сверхзадачи, чисто сценическая: невероятность поэтической речи в ту же секунду донести до зрителя. Она выбрала сцену.

Сцена потребовала принесения в жертву неупрощаемой сложности и лаконизма. Понадобилось сюжетное мышление. Каждое стихотворение стало действием, спектаклем, в центре которого страдающая героиня. Ахмадулинский жест, ее судьба — поступок розы. Она уверяет: «я розе не чета», невольно имея в виду, что это не так, ибо говорится о «гении розы», о том, что «в уме моем сверкнул случайный гений», о драме «избранника-ошибки», которому «все было дано, а судьбы не хватило». Вычуры и кружева ее речи выглядят как преодоление косноязычия, данного Моисею, но без участия Аарона. Ее жажда простоты вне подозрений. Потому что она лучше, чем кто-либо, осознает, в каком собственноручно взлелеянном лесу она заплутала.

Традиционный для русских поэтесс, с оттенком хищного присвоения, пушкиноцентризм, переходящий в прогрессирующую пушкинофилию, то есть род некоей болезни, высокой впрочем, сказался на Ахмадулиной так, что она, хватив через край, оказалась в как бы допушкинском веке — как будто она впервые встретила с задачей писать стихи по-русски. У нее, точнее говоря, не лес, а сад, и он не всегда натурален. Мед названий покрывает живую природу. На фоне изысканностей силой откровения веет простейшее сообщение: «В коридоре больничном поставили елку». Тонкий

яд иронии дозируется в меру: «Все прозорливее, чем гений».

Никто яснее Ахмадулиной не понимает Ахмадулину. Вот пример лирической трезвости и здравости ее образа:

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он все ж не счел достоинством своим.

И до чего же прекрасно она порой говорит:

Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.

И тем не менее ее декламационный излом в стихах о Бунине «Тому назад два года, но в июне...» — как раз то, чего адресат не выносил:

Я там была, где зыбко и неверно
паломник робкий усложняет смерть:
о, есть! — но, как святая Женевьева,
ведь не вполне же, не воочью есть?

Ахмадулину влечет иное, обратное ей, но ощущаемое как родное. Ярчайшими событиями ее бессобытийной лирики становятся факты общения с представителями пьющего народонаселения: у нее немало сюжетов о встречах с таковыми. Но назвать ее лирику бессобытийной — все-таки не точно.

«Буря мглою...» и «баюшки-баю»,
я повадилась жить, но, увы, —
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.

Ненавязчивая гражданская нота.

Общенародное вторгается в ее сад, откуда в былые времена исчезали — как казалось, безвозвратно — отъезжающие друзья («Друг-столб», посвящено Г. Владимову в 1983-м). За подпись под письмом в защиту Бориса Пастернака ее когда-то (1959) исключили из Литинститута (восстановлена). Потом она вступалась за Л. Копелева, В. Войновича, А. Солженицына, С. Параджанова, А. Синявского и Ю. Даниэля, А. Гинзбурга и В. Галанскова, Л. Чуковскую и А. Сахарова. К Сахарову она приезжала в город ссылки, решительным проходом легкокрыло протаранив оторопевшую охрану у его дверей.

Она не бахвалится, ей действительно было дано «детское зрение провидца». Так увидено, например, и так сказано:

Вдруг — что-то живое ползет меж щекой и рукой.
Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.

У нее и рифма, условно говоря, дадаистская («детский лепет»): словно она сглатывает большинство согласных, не выговаривает их, сближая слова в чистой певучести гласных, и при этом уснащает стихи множеством внутренних точнейших созвучий. Ее рифма действительно — краесогласие. Ее фирменная строфа — катрен. Метафору Ахмадулина разматывает до бесконечности, долготерпеливо умножает подробности, меняя ракурс, подцветку, освещение, — пока не выдыхается, ставя круглую точку.

Настоящий основоположник куртуазного маньеризма — она, Ахмадулина: просто перстом показала ребятам, где им следует порезвиться.

Ахмадулиной был наработан огромный арсенал средств, приходящих в действие по первому мановению ее натруженного перста. Была бы воля автора. Белла Ахмадулина — один из самых, если не самый волевой поэт своего времени. Но слово слушается ее лукаво. Она без конца повторяет: хочу писать попроще.

Тень Пушкина в ахмадулинской поэзии, возможно, устала от самой себя, тем более что здесь действительно живое ощущение его личности вдруг оборачивается детским, школьным проколом: «жены непорочны» почему-то пишутся как «девы» — по логике невольной рационалистической редакции. Дело не в мелочах. Здесь веет драмой истории, игрой времен, сквозняком из межвременной щели. Может быть, стилистическим одиночеством. Может быть, поражением в прежних правах. Ее поэзия, самосохраняясь, оказалась непроницаемой для

плодоносных вихрей нового языкового времени.

Сама пекусь о сдвиге с места, срыве
с откоса, хоть удобна для похвал
ко мне привыкшей, поредевшей свиты.

Перед нами крупнейший поэт своей эпохи, и суть не в частностях, а в том межэпохальном зиянии, безадресным голосом которого говорила на закате ахмадулинская муза.

При всех жесточайших зияниях из ее поэзии не изъять уникального существа, названного Беллой Ахмадулиной. Очарования Ахмадулиной никогда не поймет тот, кому не довелось испытать озноб на ее концерте. Пастернак гневался на «разврат эстрадных читок», и он же сказал:

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.

Дар Ахмадулиной ставит в тупик. Прав Андрей Битов, когда констатировавший: «Критикам — совсем нечего сказать».

Есть определенное сходство, как это ни парадоксально, поэтик Ахмадулиной и Евтушенко. Не только упор на самоновейшую рифмовку, но и предметная живопись с тончайшей детализацией, эмоциональный нарратив, сюжетность многих вещей, установка на зрительный зал, требующий доступно-развернутого повествования, — отсюда многословие, тоже общее. Размежевание, разделение ролей произошло согласно природе каждого. Ее тяга к изящному равна его трибунности, каждому свое, но варились эти поэты поначалу в одном котле, хотя ее читательские предпочтения его отторгали: Пруст, всякое такое.

Евтушенко писал в первом варианте нашумевшей «Автобиографии»:

«...поэтесса тонкого таланта и безграничного очарования. Это под взглядами ее прекрасных глаз я объяснял, что надо спасти молодежь от безверия и цинизма, очистив наш революционный идеал. Наш долг, долг поэтов, состоял в том, чтобы дать всей этой молодежи идеологическое оружие, чтобы она могла пользоваться им в предстоящих боях. Глаза Беллы поняли меня, она согласилась со мной... Это было доказательство, что я на верном пути. Это было ободрение идти дальше».

Мама Беллы работала в КГБ переводчицей. Может быть, Белла и

впрямь была такой идейной девушкой. Двоюродный ее дед, революционер Александр Стопани, дружил с Лениным, прах его лежит у Кремлевской стены. Между прочим, он родился в Усолье-Сибирском, это не так уж и далеко от станции Зима. О Белле можно было бы сказать, что она из «хорошего дома», но дома как чего-то целокупного не было: отец, таможенный чиновник, ушел из семьи. Некоторое время она, еще школьницей, вне штата сотрудничала в многотиражке «Метростроевец», студенткой выезжала в Сибирь и восхитилась ударниками комтруда: «Мне нравятся эти ребята...»

Работа мне нравится эта,
в которой превыше всего —
идти, удаляясь от света,
чтоб снова достигнуть его.

Встать в ряд певцов комтруда ей удалось лишь на крайне краткое время. Евтушенко выдавал желаемое за действительное. С ним это бывало часто, потому как это и есть романтика. Великие сибирские стройки и освоение целины сопровождались не ее песнями.

Евтушенко был старше на пять лет, когда судьба свела их, в сущности детей: ему двадцать два, ей — соответственно семнадцать. Эта — семейная — рифма не слишком долго существовала, но о рифме как таковой — стиховой — стоит подумать, глядя издали на эту пару: не естественно ли предположить, что способ рифмовки подсказал Ахмадулиной по праву старшего — Евтушенко?

Этой гипотезе есть подтверждение — интервью Ахмадулиной, затерявшееся в новосибирской периодике (газета «Молодость Сибири») 1976 года:

Вообще у меня много посвящений, есть несколько Жене Евтушенко. <...> Когда я появилась со своими первыми стихами, многие отметили в них свежесть, но в них была и какая-то расплывчатость формы, которую я всю жизнь презираю. Я люблю и уважаю мастерство безукоризненное, знаю, что это тяжело...

У меня была очень расслабленная строка, длинная, и Евтушенко очень много мне помог уроком творчества, просто влиянием. Он убедил меня, что это тяжелейшая работа, что формула строки — это не просто слово, слово, слово. В

молодости я как-то сковала себя, и мне нужно было выправиться, и я много сил отдала всяким играм с рифмой, в общем, всему, что касается внешней стороны стиха.

В юности пять лет разницы — не пустяки. Быстроногий Женя к поре их встречи обежал многое и многих: вечера поэзии, библиотеки, книжные магазины, жилища взрослых поэтов.

Позже Евтушенко скажет в эссе «Любви и печали порыв центробежный» (1970):

«И Белла Ахмадулина одна из немногих женщин, имеющая полное право на звание поэта, а не поэтессы.

Белла Ахмадулина начала печататься в 53-м году, еще школьницей, когда занималась в литературном кружке при Автозаводе имени Лихачева под руководством Евгения Винокурова. Ей повезло — на редкость поэтически образованный человек, Винокуров сумел привить ей тонкую восприимчивость к слову. <...>

Конечно же она кое-что инстинктивно чувствовала в мире, но это еще не сливалось в ней с собственными интимными переживаниями глазастой девочки с комсомольским значком и школьными косичками.

Зато она начала всерьез заниматься формой. В зыбкости талантливых, но еще сентиментальных строчек стали проступать определенность, четкость. Одаренная удивительным слухом, Ахмадулина молниеносно уловила внутренние законы свежести рифмы, упругости ритма и восприняла законы тонкости эпитета, что является одним из важнейших слагаемых истинной поэзии. Она усвоила очарование стилистических неправильностей, создающих особый воздух стиха».

Так или иначе, оба они к рифме как таковой и вообще к стихотворству отнеслись намного глубже, нежели к собственному союзу. Он берет вину на себя, объясняя разрыв принуждением ее к нерождению ребенка и «любопытством» к другим женщинам.

Что осталось? Стихи. Обмен стихами. Недолгая легенда о новых Сапфо и Алкее — литературно-музыкальная композиция шестидесятых, начатая в пятидесятых. Спектакль посвящений. Двух соловьев поединок.

В результате все ее посвящения ему — исчезли. Его посвящения ей — на месте. Но посвящениями невозможно покрыть все происходящее в лирике. Во многих его стихах, не отмеченных посвящениями, несомненно действует невыдуманная героиня — она, и никто иной.

Сначала было так. Вся книга «Шоссе Энтузиастов» в теме любви, по некоторым свидетельствам, посвящена Наталье Апрелевой.

Лариса Румарчук, однокашница Евтушенко по Литинституту, дает такой ее портрет:

Она стояла в вестибюле в толпе студентов, зажатая этой толпой в угол и весьма смущенная. Во всяком случае, вид у нее был испуганный. Но я-то сразу заметила, как она хороша. Было в ней что-то от породистой сибирской кошки: милая куцая мордашка, точеный, чуть вздернутый носик, большие светло-серые глаза под густыми темными бровями и пышные каштановые волосы. Она показалась мне похожей на Володю Соколова, и я подумала: а не Марина ли это, Володина сестра? <...> Незнакомка танцевала не так, как остальные, а с какой-то кошачьей грацией, с вдохновенным лицом, словно бы переживала танец, как стихи. При этом она слегка прижималась к партнеру, что нам тогда казалось верхом неприличия. Но у нее это не выглядело вызывающе, а было естественно и красиво. И одета она была особенно: глухое черное платье, подчеркивающее бледность щек, черные замшевые босоножки на высоком каблуке... Но, что самое потрясающее, на пальце у нее поблескивало тонюсенькое, как проволочное, золотое колечко с фиолетовым камушком. Это колечко окончательно сразило меня. Никто из нас колец не носил. Время было такое, строгое время.

Не помню, чтобы Женя появлялся на подобных вечерах. Но в этот раз, видно, «небеса» ему подсказали, что грядет судьбоносная встреча. Потом я случайно увидела их вдвоем, уединившихся в конце коридора, где было пусто и полутемно. Она сидела на подоконнике в этом безлюдном тупичке, уже не бледная, а пылающая. Рядом стоял Женя со смущенным лицом и, наклонившись, что-то говорил ей глухим, словно охрипшим голосом. Но она смотрела не на него, а куда-то в сторону. И лицо у нее дрожало.

«Дворец» (1954) посвящен Н. Апрелевой.

Стихотворение «Пришло без спроса...» от 19 апреля 1954-го — о ней:

Я до беспомощности нежен
в рассветном скверике пустом
перед прекрасным, побледневшим,
полуоткинутым лицом.

Именно в этом стихотворении есть строки, долгие годы бесившие критиков — пуристов и скромников:

Припав ко мне,
рукой моею
счастливо гладишь ты себя.

Это был трудный роман, трудно оборванный. На сцену евтушенковской жизни явилась Белла Ахмадулина, первокурсница того же вуза. По отцу татарка, по матери русская с не очень дальними итальянскими призвуками, девушка неожиданной внешности, с ореолом нездешности, с «чертами гениальности», о чем напрямую черным по белому ей написал в личном письме сам Илья Сельвинский, Белла стала угрозой абсолютизму Апрелевой в сердце Евтушенко. Завязался непростой треугольник.

Так или иначе, ближайший Новый год они с Беллой встретили вместе в Дубовом зале ЦДЛ. Там благовоспитанная Белла была поражена тем, как ведут себя пьяные песнопевцы эпохи, и ошеломленно ушла в ночь, в метель, в легких китайских туфельках, и он не пошел ее провожать.

«Мы часто ссорились, но быстро и мирились. Мы любили и друг друга, и стихи друг друга. Одно новое стихотворение, посвященное ей, я надел на весеннюю ветку, обсыпанную чуть проклюнувшимися почками, и дерево на Тверском бульваре долго махало нам тетрадным, трепещущим на ветру листком, покрытым лиловыми, постепенно размокающими буквами.

Взявшись за руки, мы часами бродили по Москве, и я забежал вперед и заглядывал в ее бахчисарайские глаза, потому что сбоку была видна только одна щека, только один глаз, а мне не хотелось потерять глазами ни кусочка любимого и потому самого прекрасного в мире лица. Прохожие на нас оглядывались, ибо мы были похожи на то, что им самим не удалось».

Беллу, восемнадцатилетнюю, Женя привел к маме на смотрины на Четвертую Мещанскую. Возлюбленная сына была белокожая, с веснушками, толстушка, очень полногруда и с косой — русо-рыжей. На пряменьких зыбких ножках и с тонкими ручонками. Сестра Жени — Лёля — за глаза прозвала ее Бельчонком. «Бельчонок» потом переключался в прозу Жени. Мама благословила его выбор. Спросила только:

— Что же она у тебя такая толстая?..

Пожились они в 1955-м, долго не тянули. Пара перебралась в квартиру Беллиной мамы на Старой площади. Комнат было две. В одной жили мама и тетя Беллы — Надежда Макаровна и Кристина (или Христина) Макаровна, а в другой — молодожены. Но вскоре Надежда Макаровна выхлопотала себе комнату в коммуналке у метро «Войковская», на улице Зои и Шуры Космодемьянских. Сестры остались на Старой площади, а Белла и Женя съехали по новому адресу. Это был длинный «пенал» в коммуналке.

Дом сталинского ампира стоял перед Тимирязевским парком. Женя бегал в парке по утрам. Ноги его очень любили бегать: даже в Париже, ненадолго поселившись возле Пер-Лашез, он бегал трусцой по кладбищенским аллеям, немного совестясь за свое вторжение, но другого места для бега поблизости не было.

Нельзя сказать, что бедствовали. Надежда Макаровна на два года уехала в НьюЙорк — кажется, в переводческое подразделение ООН. Молодым была оставлена доверенность на получение части ее зарплаты. Женя, взяв это дело на себя, смело ходил в укромный особнячок на Лубянке, в бухгалтерию Конторы. Его там заметили недобрым глазом со стороны, и когда пошли определенные слухи, было не до шуток. У Соколова точно сказано: «Потому что не до шуток в пятьдесят шестом году». Но, вообще говоря, интересно: сексоты — они ходят на виду у всех за материальным вознаграждением?..

Было весело и высоко. Луговской в ту пору восклицал: «Выходи на балкон. Слышишь — гуси летят». У нашей молодой четы был свой балконный вариант, далекий от реврамантизма. На московском балконе соседа содержалась коза, и Белла скармливала парнокопытной красавице щедрые букеты роз, преподносимые ее бесчисленными поклонниками. Ну а с третьего этажа дома в Сухуми, где они отдыхали у моря в квартире отъехавшего друга, они опускали вниз на веревке авоську с пустыми бутылками, в горлышко одной из которых была воткнута пятерка, и получали назад сосуды с ледяным боржомом и пламенеющим александреули — привет от Гоги, торгующего под домом.

В тех отношениях и в тех стихах было всякое. Было такое:

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешевая.

Было и так:

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

.....

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

Он все чаще стал возвращаться домой поздно. Ответом были ее поздние возвращения. Она переменила прическу, обратилась к сигаретам и коньяку.

В «пенале» стал появляться Юрий Маркович Нагибин, давний знакомец Жениной мамы Зинаиды Ермолаевны. Седоголовый плейбой, богач и сердцеед. Лет ему было прилично — ближе к маме, чем к Белле, но глаз он однозначно положил на Беллу.

В «пенале» праздновали очередной день рождения Жени. Он свои праздники любил. С утра Зинаида Ермолаевна и Лёля жарили и парили. Белла не участвовала — по непригодности, даром что на целине была поварихой. Стол поставили во всю длину «пенала». Гости собрались, маленькая Лёля незаметно исчезла. К вечеру дома, на Четвертой Мещанской, появилась возбужденная Зинаида Ермолаевна. Произошло пренеприятное: подвыпивший Юрий Маркович открытым текстом предлагал Белле руку и сердце — под тем предлогом, что Женя ей изменяет и вообще не пара. Женя схватил огромное майоликовое блюдо — подарок пожилого селадона, вывезенный из Африки, — и метнул в обидчика. Блюдо, по счастью, пролетело мимо, ударилось о стену и разлетелось на мелкие кусочки, как зеркало тролля из андерсеновской сказки.

Шло время, Белла все же ушла к Нагину, а Женя покинул комнату тещи и, претерпев непрерывную карусель женских статей в съемном пристанище над «Елисеевским» гастрономом, нашел тихий приют на Сущевской.

Я комнату снимаю на Сущевской.
Успел я одиночеством пресытиться,
и перемены никакой существенной
в квартирном положении не предвидится.

Нагибин вел дневник. Что это такое? Опасный опыт беспощадной исповеди, без утаек и умолчаний, с вытряхиванием интимных подробностей, крайне похожий на бредовый самодиагноз в пух и прах проигравшегося бонвивана, написанный как курица лапой. Беллетрист вторгся в поэзию, породив скверную рифму Белла — Гелла. Плоский намек на булгаковский первоисточник. Жалкого портретиста порочной Геллы даже не жаль, настолько он ничтожен. Масштаб личности, объем человеческой души по всем меркам — христианским или каким-то другим — определяется фактором любви и забвением обид. Ничего подобного у Нагибина нет. Когда портретист скандально расстался с Геллой, Евтушенко купил Белле кооперативную квартиру возле метро «Аэропорт».

Отчетливо первое евтушенковское посвящение Б. Ахмадулиной — «Обидели...» (1956), затем — «Моя любимая приедет...» (1956).

У нее он остался в таких вещах: «Невеста» (1956), «Влечет меня старинный слог...» (1957), «Я думала, что ты мой враг...» (1957), «Жилось мне веселой шибко...» (1957), «О, еще с тобой случится...» (1957), «Не уделяй мне много времени...» (1957), «Живут на улице Песчаной...» (1958), «Август» (1958), «По улице моей который год...» (1959), «Апрель» (1959), «Нежность» (1959), «Несмеяна» (1959), «Мы расстаемся — и одновременно...» (1960), «Сказка о Дожде» (1962), «Прощай! Прощай! Со лба сотру...» (1968), «Я думала, как я была глупа...» (1970), «Сон» (без даты).

Чем дело кончилось? Вот он — недатированный «Сон»:

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чем, бишь? Да о друге знаменитом.
Свирипей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем, и все в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветанья щек.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страшись. Дурная весть.

— О нем? — О нем. — И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты держись. Иди к его жене. —

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознесся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!

Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

И точка. С ее стороны.

Все, что происходило потом, — нравственное и гражданское отторжение, холодная попытка закрыть тему, конструкция нового дружеского синодика, другие предпочтения и привязанности, перегруппировка равных ей задним числом — уже не имеет отношения к тому, что состоялось в слове и вошло в историю русского стихотворства.

У него о ней — не меньше. «Глубокий снег» (без посвящения, 1956), «Обидели...» (1956), «Моя любимая приедет...» (1956), «Со мною вот что происходит...» (1957), «Вальс на палубе» (1957), «Лед» (1957), «Она все больше курит...» (1957), «Одиночество» (без посвящения, 1959), «Я комнату снимаю на Суцеской...» (1959), «Поэзия чадит...» (1966), «Прошлое» (1976) и проч. Кроме того, она возникает в его прозе — в романе «Не умирай прежде смерти», в эссеистике о поэзии, в мемуарах.

В русских стихах о женщине было много шуб(ок).

Владимиром Соловьевом: «Вся ты закуталась шубой пушистой» («На Сайме зимой», декабрь 1894).

Блоковская: «Звонят над шубкой меховой, / В которой ты была в ту ночь» («Не спят, не помнят, не торгуют...», март 1909).

Мандельштамовская: «И пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою душой напоминают мне — явление Авроры, / но с русским именем и в шубке меховой» («В разноголосице девического хора...», февраль 1916).

А вот такой — не было:

Моя любимая приедет,
меня руками обоймет,
все изменения приметит,
все опасения поймет.

Из черных струй, из мглы крошечной,
забыв захлопнуть дверь такси,

взбежит по ветхому крылечку
в жару от счастья и тоски.

Вбежит промокшая, без стука,
руками голову возьмет,
и шубка синяя со стула
счастливого на пол соскользнет.

(«Моя любимая приедет...»)

Редчайший случай: стихи о счастливой любви. Чем жесточе love story в стихах, тем больше осчастливлен читатель, неведомый друг.

Они сумели зафиксировать в раннем диалоге вот эту молодую сумятицу, бестолковщину любящих, телячьи нежности и щенячьи радости, ссоры, разрывы, примирения, высокотемпературные инвективы и клятвы до гроба — о, благословенная неразбериха первого чувства, начала судьбы, ничегонезнание и пророческое предвидение будущего. Великое благо — это сделали талантливые люди, истинные поэты. Аналогов нет.

Есть обмен стихами между Ахматовой и Гумилёвым (с большим преобладанием его текстов), между не-супругами Мандельштамом и Цветаевой (тут намного щедрее была она), но там и там — в стихах — не было истории любви со всеми нюансами, животрепещущими болями, эпизодическим катарсисом и печально-благодарным финалом. Лирика на грани эпоса, с выходом на картину жизни всего поколения.

Так им написано «Одиночество», по всем статьям — маленькая поэма:

Как стыдно одному ходить в кинотеатры
без друга, без подруги, без жены,
где так сеансы все коротковаты
и так их ожидания длинны!
Как стыдно —
в нервной замкнутой войне
с насмешливостью парочек в фойе
жевать, краснея, в уголке пирожное,
как будто что-то в этом есть порочное...
Мы,
одиночества стесняясь,
от тоски

бросаемся в какие-то компании,
и дружб никчемных обязательства кабальные
преследуют до гробовой доски.
Компании нелепо образуются —
в одних все пьют да пьют,
не образумятся.
В других все заняты лишь тряпками и девками,
а в третьих —
вроде спорами идейными,
но приглядишься —
те же в них черты...
Разнообразные формы суеты!
То та,
то эта шумная компания...
Из скольких я успел удрать —
не счесть!
Уже как будто в новом был капкане я,
но вырвался,
на нем оставив шерсть.
Я вырвался!
Ты впереди, пустынная
свобода...
А на черта ты нужна!
Ты милая,
но ты же и постылая,
как нелюбимая и верная жена.
А ты, любимая?
Как поживаешь ты?
Избавилась ли ты от суеты?
И чьи сейчас глаза твои раскосые
и плечи твои белые роскошные?
Ты думаешь, что я, наверно, мщу,
что я сейчас в такси куда-то мчу,
но если я и мчу,
то где мне высадиться?
Ведь все равно мне от тебя не высвободиться!
Со мною женщины в себя уходят,
чувствуя,
что мне они сейчас такие чуждые.

На их коленях головой лежу,
но я не им —
тебе принадлежу...
А вот недавно был я у одной
в невзрачном домике на улице Сенной.
Пальто повесил я на жалкие рога.
Под однобокой елкой
с лампочками тускленькими,
посвечивая беленькими туфельками,
сидела женщина,
как девочка, строга.
Мне было так легко разрешено
приехать,
что я был самоуверен
и слишком упоенно современен —
я не цветы привез ей,
а вино.
Но оказалось все —
куда сложнее...
Она молчала,
и совсем сиротски
две капельки прозрачных —
две сережки
мерцали в мочках розовых у ней.
И, как больная, глядя так невнятно,
поднявши тело детское свое,
сказала глухо:
«Уходи...
Не надо...
Я вижу —
ты не мой,
а ты — ее...»
Меня любила девочка одна
с повадками мальчишескими дикими,
с летящей челкой
и глазами-льдинками,
от страха
и от нежности бледна.
В Крыму мы были.

Ночью шла гроза,
и девочка
под молниєю магнийной
шептала мне:
«Мой маленький!
Мой маленький!» —
ладонью закрывая мне глаза.
Вокруг все было жутко
и торжественно,
и гром,
и моря стон глухонемой,
и вдруг она,
полна прозренья женского,
мне закричала:
«Ты не мой!
Не мой!»
Прощай, любимая!
Я твой
угрюмо,
верно,
и одиночество —
всех верностей верней.
Пусть на губах моих не тает вечно
прощальный снег от варежки твоей.
Спасибо женщинам,
прекрасным и неверным,
за то,
что это было все мгновенным,
за то,
что их «прощай!» —
не «до свиданья!»,
за то,
что, в лживости так царственно горды,
даруют нам блаженные страдания
и одиночества прекрасные плоды.

Наверно, надо было бы остановиться на варежке. Но это был бы не совсем Евтушенко.

Это было бы ближе к сдержанному Межирову:

Одиночество гонит меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радует радость чужая
Одинокую душу мою.

Но это уже другая история.

БЛУЖДАЯ В ЭЛЕГИЧЕСКОМ ТУМАНЕ

1952 год. Типографский станок гонит поточную продукцию советского стихотворства. Среди прочего — «Разведчики грядущего» Евг. Евтушенко и «Коммунисты, вперед!» Александра Межирова. Потом Евтушенко открестится от этой книжки: мол, был молод, мало понимал. А в 1952-м он — ученик Межирова. «Первую книгу «Дорога далека» (1947) я, еще мальчишкой, почти всю знал наизусть».

Ученик:

Я верю:
здесь расцветут цветы,
сады
наполнятся светом.
Ведь об этом
мечтаем
и я
и ты,
значит
думает Сталин
об этом!

(«Здесь будет канал»)

Учитель дает ему фору, потому как — намного художественнее:

На бруствере с товарищами стоя,
Мао Цзе-дун
глядит из-под руки,
Как сходятся над мгливой высотой
Безлистных сучьев черные штыки.

Глазами полководца и поэта
Туда глядит,
где снег и тишина,
Где высота прославленная эта
Меридианом пересечена.

Эти «глаза полководца» Евтушенко через десять лет использует в своем эмблематичном стихотворении «Поэзия — не мирная молебен...».

Непосредственно о Сталине у Межирова тоже есть, и вполне крепко сколочено:

Эта речь в ноябре не умолкнет червонном
И во веки веков.
Это Сталин приветствует башенным звоном
Дорогих земляков.

Уверенная рука опытного стихотворца. Называется «Горийцы слушают Москву», похоже на «Горийскую симфонию» Заболоцкого. В книге 1952 года найдем и его клеймо, проклятие и мучение, экспресс успеха, двусмысленно-знаменитый шедевр «Коммунисты, вперед!».

Так это было на земле. Потом — 1953-й, 1956-й, обвал, сход лавин, многих погребло, некоторые уцелели, большинство — искалеченные, единицы прошли все и обрели новое качество.

Межиров никогда не был на авансцене. Это была слава особого свойства — едва ли не внутрицеховая. Однако в конце шестидесятых студенты под гитару пели «Артиллерия бьет по своим». Двадцатилетним поэтам тогда было известно, что Евтушенко взлетел с ладони Межирова, — это не совсем или совсем не отвечало действительности, но такова была легенда. Легенда — житейский жанр Межирова.

Мастера — особая
Поросль. Мастера!
Мастером попробую
Сделаться. Пора!

Многие клюнули на межировскую мнимую самоаттестацию. Ему и его недоброжелатели охотно уступили титул мастера, ибо версификационное мастерство считается чем-то второстепенным относительно боговдохновенности. Звук смастерить невозможно. В заповеднике мастерства — в переводах — именно там властвует межировский звук. Межировский Ираклий Абашидзе — «Голос из белой кельи» — образчик

поэтической первоначальности.

Говорят, в свое время Шеварднадзе предложил Межирову перевести Руставели — и Межиров не взялся за эту работу. У него был свой порог. Роковое чувство меры. Трагедия вкуса, обуздавшего безумную прихоть певца. Его выбор.

Он сказал:

Одиночество гонит меня
От порога к порогу...

Евтушенко: «Так ли уж одиноко одиночество поэта, если в нем живет и девчонка, выносящая его из войны, как медсестра из-под огня; и угрюмый, убежденный гуманист отец, перед которым сыну страшно оказаться «горсткой пепла мудрой и бесполой»; и тишайший снегопад, ходящий по земле, как кот в пуховых сапогах; и чьи-то ресницы, жесткие от соли; и улица, по левой стороне которой, как революция, идет «всклокоченный и бледный некто»; и женщина, идущая по той же улице «своих прекрасных ног во имя»; и тягучая нить молока из продавленной консервной банки, колеблющаяся вдоль эшелона; и Лебяжий переулок, дом 1; и саратовские хмурые крестьяне; и добрый молодец русской эстрады Алеша Фатьянов, и жонглер Ольховиков, и Катулл, и Тулуз-Лотрек, и Дега; и шуба Станиславы; и хирург Людмила Сергеевна, чьи «руки ежедневно по локоть в трагедии — в нашем теле»; и молодой шофер, от чьего дыхания сразу запотевают стекло в кабине; и няня Дуня; и пары, с вечеринки в доме куда-то исчезнувшего замнаркома вальсирующие прямо на фронт; и цеховое остаточное братство тбилисских шоферов; и водопроводные слесари, пьющие водку в подвале на Солянке... Много из этого вроде бы ушло, растворилось во времени, но искусство есть великое счастье воскрешения, казалось бы, потерянных людей, потерянных мгновений. Конечно, и люди, и мгновения есть такие, что «тоска по ним лютее, чем припадки ностальгии на чужбине у людей». Но эти припадки ностальгии, превращающие кажущееся бесплотным в плоть искусства, и есть творчество».

Существует дистанция между полем действительности и полем поэзии. На войне был московский мальчик, вчерашний школьник, — в поэзию же вошла коллизия «интеллигенция и война», а точнее — «поэт и война». И вина. Много вины. Сквозная вина. Евтушенко: «Мне пришлось прочитать его потрясающее стихотворение «Артиллерия бьет по своим» в

1957-м на дискуссии о романе Дудинцева, как анонимные стихи убитого на войне поэта. Межиров горько улыбнулся: «А знаешь, это ведь правда».

И правда, в Синявинских болотах Межирова мерз и погибал совсем не Вася Теркин, а «фантазер и мечтатель, его называли лгунишкой». Теркин не тонул в воде и не горел в огне — межировский автоперсонаж признается:

Ты пришла смотреть на меня,
А такого нету в помине.

Он неслыханным образом в разгар милитаризма и едва поугасшей борьбы с космополитизмом вторит голосу с Запада: «Прощай, оружие!» (роман Хемингуэя).

Он отказывается от войны. Не в пацифистской полуслепоте — напротив:

О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она —
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна.

Он продолжал числиться в поэтах фронтового поколения, совершенно перевернув тему, и тут было не стихийное или продуманное нищестанство — опять-таки напротив: у Межирова нет героя-победителя, нет апофеоза воинской славы, грохота триумфаторской колесницы. Он переводит войну в плоскость бытийственной игры: цирка, балета, бильярда, ипподрома, ринга, в область Человеческой Комедии, где «все приходит слишком поздно». Старые свои стихи, перемешав с новыми, он собирает в поэму «Alter ego». Многим показалось: это — антиевтушенковский пасквиль. Изначально модель была другой, но кое-что как бы списано с натуры:

На одной руке уже имея
Два разэкзотических кольца,
Ты
уже
идешь,
уже наглея,

Но пока
еще не до конца.

.....

Преисполнен гонора и спеси,
Человеком не был, сразу сверх —
человеком стал в эпоху пепси, —
Энциклопедистов опроверг.

.....

Не жалей, отслеживай, аукай —
Сдвоенными в челюсть и под дых.
Ты рожден тоской моей и скукой,
Самый молодой из молодых.

В 2006 году вышла межировская книга «Артиллерия бьет по своим». Выхлопотал издание, составил и написал предисловие — Евтушенко, и «Alter ego» там стоит на своем месте.

Есть апокриф. Евтушенко привез Межирова в Братск на чтение своей «Братской ГЭС». Собралось бесчисленное количество слушателей. Женщины — с детьми. После «Нюшки» женщины, встав, тянули детей в сторону озаренного нездешним светом пророка-заступника. Он читал поэму четыре с половиной часа без перерыва.

Когда Евтушенко, закончив чтение, ушел за кулисы, находящийся там Межиров спросил, непревзойденно заикаясь:

— Т-т-теперь т-т-ты понимаешь, что т-т-ты не поэт?

Евтушенко утверждает: этого не было. Это чужая фантазия. Было другое.

Был ночной звонок Межирова: я тебе по-черному завидую и порой даже ненавижу.

В той поездке их пригласили выступить на иркутском телевидении. Межиров импровизировал на голубом глазу, что он — из семьи циркачей, мать его — мотогонщица по вертикальной стене, отец — акробат, работал с першем, а Евтушенко изумленно-хитро поглядывал на учителя — фантазера и мечтателя, его называли лгунишкой, — вместо циркача с першем ясно видя перед собой старого московского бухгалтера с черными нарукавниками, не снимающего их и дома.

Про Межирова говорили: мистификатор. Всякое говорили. Межировская правда — его преданность поэзии и его стихи:

Был русским плоть от плоти
По мыслям, по словам —
Когда стихи прочтете,
Понятней станет вам.

Вряд ли только склонность к парадоксу понудила его когда-то сказать: «Стихотворцы обоймы военной / Не писали стихов о войне». Поэт войны, не писавший о войне? Так. Да не так. Межиров всегда шел на сознательную аберрацию зрения, на перемену его угла, и предмет рассмотрения — в данном случае война — менялся, переходя из эмпирики в онтологию. У Межирова была книга «Проза в стихах». Название книги — намек на строчки Ходасевича:

С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах.

Проза в стихах, как принцип этой поэзии, закономерно и неуклонно из быта ушла в бытие. Поскольку быта нет, а жизнь еще жива. Проза в мире, лишенном быта. Это и есть проза в стихах. Межиров не зря вступает за Маяковского: «...на русскую и мировую поэзию оказала влияние исключительная глубина ритмического дыхания Маяковского...» Автогерой раннего Маяковского — Раскольников начала XX века — на исходе столетия трансформируется в межировского игрока. Маяковский искал выход в самогероизации. Межиров ищет самооправдания. Но ведь кто-то виноват? Виноват. ТОЛПА. Сквозит романтический праисточник его поэзии. Его большой игры.

Все круче возраст забирает,
Блажными мыслями бедней
От года к году забавляет.
Но и на самом склоне дней

И, при таком солидном стаже,
Когда одуматься пора,
Все для меня игра и даже
То, что и вовсе не игра.

И даже, крадучись по краю,
В невозвращенца, в беглеца
И в эмиграцию играю,
И доиграю до конца.

Об игре сказал Пастернак:

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,

Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено...

Или — Мандельштам: «Играй же на разрыв аорты...» Или — Давид Самойлов: «Я превратил поэзию в игру / В своем кругу...»

Евтушенко брал уроки игры у старших.

Игра, авантюра, запах опасности, риск из любви к риску. Евтушенко было 17 лет, когда, выйдя из окна на девятом этаже, он пошел по тоненькому ржавому карнизу со стопкой водки, разыгрывая Долохова из «Войны и мира», чтобы доказать собственное бесстрашие. Это описано в поздних стихах («Прогулка по карнизу», 2004).

Как в годы сталинские я выжил?
А потому что когда-то вышел
в окно девятого этажа.
Карнизом межировского дома
я шел, неведомо кем ведомый
и стопку водки в руке держа.

Я, улыбаясь, шел по карнизу,
и, улыбаясь, глядели снизу
старушки, шлюшки, а с крыш — коты,
ибо я был молодой да ранний,

как исполнение их желаний —
на мир поплевывать с высоты.

Я неизвестен был, неиконен,
и Саша Межиров и Луконин
в окно глазели, как беззаконен,
под чьи-то аханья и галдеж,
как будто кто-то меня направил,
я шел спасительно против правил.
Лишь не по правилам — не упадешь.

Авангард как поэтика и как миропонимание — то, чему Межиров возражает всем составом своего некогда заявленного им консерватизма: «Ну да, конечно, я консервативен». На взгляд Межирова, авангард «не хорош и не плох», но он — усталость человеческого духа, «лес поваленный, непрореженный, — / Ни лесничества, ни топора, ни пилы...». Более того:

Нет, недаром из Геббельса
наш «Броненосец» исторг
Настоящий восторг.

Еще более того:

Жаль, конечно, что я с человечеством спорю.

Если прислушаться, спорит Межиров не слишком. Стиховые достижения модерна хорошо им усвоены. Он не избежал ни одного из нерадикалистских приемов прежних поэтик, предшествующих ему, но — сокровенно, в бунинской дозе. В ранних своих вещах, как кажется, он связан больше всего с конструктивистами, в частности с Луговским и с Пастернаком эпохи «Лейтенанта Шмидта». Этот источник пробивал и ямбическую почву «Баллады о цирке» — в «грубом монологе» якобы порывающего с поэзией автоперсонажа:

Вопрос пробуждения совести

заслуживает романа.
Но я ни романа, ни повести
об этом не напишу.

Мнима его защищенность аскетизмом стиля. Он открыт как мало кто. Страшное свойство лирики. Его легко обвинить, уязвить. Ничегошеньки он не упрятал за туманами недоговоренностей. Он наиболее силен в лиризме малого эпоса. «Баллада о цирке», «Серпухов», «Календарь», «Прощание с Юшиным» — его вершины. Но и сам жанр маленьких поэм он ужимает до стихотворения, стирая межжанровую грань. Кабы существовала антология великих стихотворений XX века, там среди таких шедевров, как блоковская «Незнакомка», пастернаковский «Август», «Враги сожгли родную хату» Исаковского, мартыновский «Прохожий», стоял бы и «Серпухов», самые русские стихи Межирова.

А на Сретенке в клетушке,
В полутемной мастерской,
Где на каменной подушке
Спит Владимир Луговской,
Знаменитый скульптор Эрнст
Неизвестный глину месит,
Весь в поту, не спит, не ест,
Руководство МОСХа бесит.
Не дает скучать Москве,
Не дает засохнуть глине.
По какой-то там из линий,
Славу богу, мы в родстве.

Он прервет свои исканья,
Когда я к нему приду,
И могильную плиту
Няне вырубит из камня.

Ближе к пасхе дождь заладит,
Снег сойдет, земля осядет —
Подмосковный чернозем.
По весенней глине свежей,
По дороге непроезжей,

Мы надгробье повезем.

Родина моя, Россия...

Няня... Дуня... Евдокия...

На подлинную трагедию Межиров выходит в Иерусалиме:

Стену Плача
обнять не смогу,
даже и прислониться
К ней лицом
на одно, на единственное мгновенье,
Даже просто войти
в раскаленную тень
от ее холодящей тени.

Поклон Бунину, его стене («У ворот Сиона, над Кедром, *На бугре, ветрами обожженном*, Там, где тень бывает у стены, *Сел я как-то рядом с прокаженным*, Евшим зерна спелой белены»).

Вот сиротство. Его не может успокоить Стена Плача. Он там чужой. Ему душно в «горах Манхэттена». Он не в силах вернуться на родину (с непрописной), которую можно возненавидеть — невозможно разлюбить. Его наиболее сердитые, взрывные стихи созданы здесь, в советское время, и здесь опубликованы. Американские (зарубежные) стихи — взгляд с горы, ходьба по кругу альпийского луга, среди каменных ущелий мирового мегаполиса. Возможно, наивысшее достижение Межирова до отъезда — «Прощание с Юшиным». Загадка: откуда лиризм в поэме, полной яда, ненависти, отчаяния? Каким образом мясник — объект вдохновения, если не обожания? Оттого ли, что тот мясник писал стихи? В «Юшине» автор — поэт у трона материализма.

Это прощение лютному врагу. Тщета вражды. Бессмыслица сущего.

У него была книга «Бормотуха», а могла бы написаться и «Бытовуха». Ведь и тайну Ахматовой он видит как «результат совмещенного взгляда / Изнутри и откуда-то со стороны». Это прежде всего самохарактеристика. Межиров — внучатый символист на акмеистическом субстрате.

Я люблю

черный хлеб,
деревянные ложки,
и миски из глины,
И леса под Рязанью,
где косами косят грибы.

Тут что ни слово — символ.

В 1988 году произошло несчастье: за полночь под колеса межировской машины попал человек, через некоторое время скончавшийся. Это был известный актер Юрий Гребенщиков. Общественность возмутилась: Межиров уехал с места ДТП. Подробности никого не интересовали. Обструкция достигла предела, оставаться в стране было трудно — через четыре года он уехал в Штаты.

Существует мнение: Межиров после отъезда замолк, выдохся, исчез как поэт. Ошибка. Недавнее высказывание Сергея Гандлевского: «Я к этому поэту всегда относился хорошо, а одно время даже любил. Я не верю, что «Коммунисты, вперед!» — просто паровоз. Все горькое, что можно Межирову сказать, он и сам знает и сказал о себе, а от недавних строчек про американскую негритянскую церковь я завистливо облизнулся...» Это стихотворение называется «Благодаренье». Правда, написано оно еще до отъезда, но предваряет много поздних вещей.

Вашингтон
даже в пору зимы
почему-то купается в зное,
Даже в самом разгаре зимы
на прямых авеню
почему-то печет,
И огромный костел
уместился в окошке слепом,
небольшое
Уместило оконце мое —
пламенеющей готики взлет.
Далеко от Христа
этот белый костел,
этот черный
Негритянский, высокий, просторный,
Тесный от небывалого столпотворенья

Перед праздником Благодаренья.

Нынче службу впервые отслужит веселый
Черный ксендз.

Многонациональны костелы...

Слышу голос, усиленный в меру
Микрофоном.

Повсюду слышна

Речь ксендза —

и меня удивляет она:

Не царя, не отечество славит,
не веру,

А условия парковки машин у костела,
которая категорически запрещена.

.....

Что вздыхаешь, пришелец, за все благодарный
равнинной степной стороне,

За которую кровь проливал на войне,
на полынной стерне,

Той, которую даже и в самом глубоком унынье,
как запах горчайшей полыни,

Разлюбить и забыть не умеешь поныне.

Говорок воспаленный Вадима,

Татьяны покатые плечи.

Так зачем же, пришлец, душегубки мерещатся,
печи?

На груди у орла

геральдический

с изображением Георгия

щит,

Но помилуй мя, Боже,

как в горле

опять

от полыни горчит!

Плач младенческий

в пенье врывается нежно,

Потому что в костеле избыток тепла.

Между тем
на прямых авеню
неожиданно-снежно,
Пелена голубая бела
И на зелень газонов
не сразу,
но все же легла.
Наркоман обливается потом,
Но со всеми поет, пританцовывая, —
Жизнь погибла земная... Да что там...
Обязательно будет иная. И Новая.

Ксендз кончает пастьбу,
и счастливое стадо
Возвращается с неба на землю,
испытывая торжество.
Все встают,
как у нас в СССР, говорят
и поют,
что бояться не надо
Ничего... ничего...

Надо сказать, в этой вещи странным образом проглядывает нечто евтушенковское: сюжетика прежде всего. Поэтика зарифмованного рассказа.

В общей легенде о Межирове есть эпизод, известный нам в подаче Евтушенко («Александр Межиров», 2010):

Потерялся во Нью-Йорке Саша Межиров.
Он свой адрес,
имя позабыл.
Только слово у него в бреду пробрезживало:
«Евтушенко».
Ну а я не пособил.
И когда медсестры иззвонились,
спрашивая,
что за слово
и какой это язык,

не нью-йоркская,
а лондонская справочная
догадалась —
русский! —
в тот же миг.
И дежурной русской трубку передали —
и она сквозь бред по слогу первому
заиканье Саши поняла, —
слава богу, девочка московская,
поэтесса Катенька Горбовская,
на дежурстве в Лондоне была,
через спутник в звездной высоте
еле разгадав звук:
«евт-т-т».
Помогло и то, что в мире мешаном
так мог заикаться
только Межиров.
Жаль, что главную напасть мы не сломили —
все спасенья —
временные в мире.

Пароль? Евтушенко. Единственная зацепка в пропасти немоты.
В письме Дмитрию Сухареву (сентябрь 2009-го) Екатерина Горбовская
этот случай описывает несколько иначе:

Одно время здесь, в Англии, я занималась телефонными переводами. Это такая синекура, когда ты сидишь дома, а тебе идут звонки — со всего мира, самые непредсказуемые: от спасения тонущих в море кораблей до «ваша жена не проснулась после наркоза, мы очень сожалеем». Звонки идут сплошным потоком. Одновременно на линии сидят сотни русских переводчиков. Шанс прямого попадания — один на не знаю сколько тысяч. Но на то оно и прямое попадание, чтобы иногда срабатывать.

Снимаю трубку, на линии Нью-Йоркский госпиталь: у нас русскоговорящий пациент, нам нужно задать ему несколько вопросов. Начали с дежурных вопросов:

— Ваше имя?

— Александр.

— Фамилия?

— Межиров...

Я теряю дар речи — как русской, так и английской.

— Простите, — говорю. — Вы Александр ПЕТРОВИЧ Межиров?

— Да, да, — говорит, — Александр Петрович...

Ощущение нереальности происходящего. Вместо того чтобы переводить вопрос «Ваше вероисповедание?», спрашиваю:

— Вы тот А. П. Межиров, который «Артиллерия бьет по своим?»

— Да, да, это я...

А потом, по ходу разговора: «Вот чего они меня все бросили? Хорошо бы, если бы Женя Евтушенко ко мне заехал, а то ведь он и не знает, что я здесь...»

Естественно, что через секунду после этого разговора я уже набирала номер Е. А. Е....

О своем истолковании этого эпизода Е. Горбовская сообщает и автору данной книги:

Александр Петрович НЕ ПОТЕРЯЛСЯ в городе, а был госпитализирован для прохождения курса лечения, будучи в полной памяти и трезвом уме — я понятия не имею, откуда ЕАЕ взял мысль о том, что Межиров «потерялся» — видимо, это лучше вписывалось в сюжет.

Евтушенко — ученик Межирова и в области мифотворчества тоже. Однако госпитализация «для прохождения курса лечения» явно не срастается с телефонно-международным опознанием «брошенного» пациента: зачем его искать на другом конце света, если он благополучно зарегистрирован в больнице и совершенно здравомыслящ и если персоналу известно, что он «русскоговорящий»? Во всей Америке не нашлось переводчика? Почему его «все бросили»? Ясно одно: ему нужен Евтушенко. Остальное действительно похоже на бред, да и семья Межирова — в частности его дочь Зоя — не отрицает евтушенковского сюжета.

Уместно к этому добавить и отрывок из письма Зои Межировой автору:

Женя в Портленд неоднократно приезжал и много раз встречался там с Межировым, они как всегда плотно общались, как и в Нью-Йорке, — Евтушенко часто приходил к маме и отцу в гости, когда там бывал, а уже в 2006-м — *за несколько дней* — героическими усилиями в их манхэттенской квартире составил избранное Межирова, из той бездны рукописей, которые в квартире были. Но и Межиров когда-то составил его избранное и написал предисловие. Так что обоюдное, взаимное.

Межиров когда-то написал:

Ах, можно быть поэтом
Не зная языка,
Но говорить об этом
Еще нельзя пока.

Это сказано в плоскости вавилонского столпотворения по поводу Останкинской башни.

Полжизни положив на полемику с плеядой поколения, «лишенного величины», то есть с Евтушенко, Межиров снабжал его своим опытом и через обратную связь одалживался вплоть до формул типа «комсомольский вождь».

Бывал и прямой спор.
Евтушенко:

Поэзия —
не мирная молельня.
Поэзия —
жестокая война.
В ней есть свои, обманные маневры.
Война —
она войною быть должна.

Война — межировский конек, его тема и жребий. Он отвечает со знанием дела:

Согласен,

что поэзия должна
Оружьем быть. И всякое такое.
Согласен,
что поэзия —
война,
А не обитель мирного покоя.
Согласен,
что поэзия не скит,
Не лягушачья заводь, не болотце...
Но за существование бороться
Совсем иным оружием надлежит.

Как бы отвлёкшись от оппонента, он обращается непосредственно к поэзии:

Спасибо,
что возможности дала,
Блуждая в элегическом тумане,
Не впутываться в грязные дела
И не бороться за существованье.

Такая позиция, что и говорить, этически предпочтительней. Но ведь и она — сплошь риторика.

По ходу соперничества с учеником Межиров воздавал ему должное:

Как все должно было совпасть — голос, рост, артистизм для огромных аудиторий, маниакальные приступы трудоспособности, умение расчетливо, а иногда и храбро рисковать. Врожденная житейская мудрость, простодушие, нечто вроде апостольской болезни и, конечно же, незаурядный, очень сильный талант. <...> Наибольшую известность получили, полагаю, никак не лучшие стихи поэта. «Бабий Яр» написан грубо, громко, элементарно. В «Наследниках Сталина» есть поэтическое вдохновенье, но есть, как бы это сказать, какое-то преувеличенное чувство социальной справедливости, достигнутой не без помощи заднего ума. <...> В конце пятидесятых Е. Евтушенко создал целый ряд упоительных, редкостно оживленных, навсегда драгоценных стихотворений

(например, «На велосипеде», «Окно выходит в белые деревья...», «Я у рудничной чайной...», «К добру ты или худу...», «Я шатаюсь в толкучке столичной...», «Свадьбы», «Не разглядывать в лупу...»). Позже произошло нечто вроде разветвления, и ветвь от раннего периода протянулась в более поздние годы. Ветвь эта не то чтобы засыхала, но плодов на ней было меньше, чем на других, что естественно, так как «лирический период короток» (кажется, это слова Ахматовой). <...> В действительности Е. Евтушенко прежде всего лирик, подлинный лирик по преимуществу, а может быть, всецелый. Не ритор, не публицист, а именно лирик, что не помешало бы ему, будь он Некрасовым, сказать:

Зачем меня на части рвете,
Клеймите именем раба?
Я от костей твоих и плоти,
Остервенелая толпа.

За 15 лет до смерти Межирова, случившейся в 2009 году, Евтушенко создает громоздкое, по лобовой прямоте напоминающее оды-инвективы шестидесятых годов, почти языком газетной прозы, пронзительное стихотворение:

Автор стихотворения «Коммунисты, вперед!»
расплатился за детство с оладушками и ладушками —
примерзала буханка к буханке
в раздрызганном кузове на ходу,
когда хлеб Ленинграду
возил посиневший от стужи солдатик
по ладожскому,
не ломавшемуся
от сострадания
льду.

Автор стихотворения «Коммунисты, вперед!»
не учил меня быть коммунистом —
он учил меня Блоку и женщинам,
картам, бильярду, бегам.
Он учил не трясти

пустозвонным стихом, как монистом,
но ценил, как Глазков,
звон стаканов по сталинским кабакам.
Так случилось когда-то,
что он уродился евреем
в нашей издавна нежной к евреям стране.
Не один черносотенец будущий
был им неосторожно лелеем,
как в пеленках,
в страницах,
где были погромы в набросках, вчерне.
И когда с ним случилось несчастье,
которое может случиться
с каждым, кто за рулем
(упаси нас, Господь!),
то московская чернь —
многомордая алчущая волчица
истерзала клыками
пробитую пулями Гитлера плоть.
Няня Дуня — Россия,
твой мальчик,
седой фантазер невезучий,
подцепляет пластмассовой вилкой в Нью-Йорке
«fast food».
Он в блокаде опять.
Он английский никак не изучит,
и во сне его снова
фашистские танки ползут.
Неподдельные люди
погибали в боях за поддельные истины.
Оказалось, что смертно бессмертие ваше,
Владимир Ильич.
Коммунисты-начальники
стали начальниками-антикоммунистами,
а просто коммунисты подымают
в Рязани или на Брайтон-бич.
Что же делаешь ты,
мать-и-мачеха Родина,
с нами со всеми?

От словесной войны
только шаг до гражданской войны.
«Россияне»
сегодня звучит как «рассеяние».
Мы —
осколки разломанной нами самими страны.
Автор стихотворения «Коммунисты, вперед!»,
мой бесценный учитель,
раскрывает —
простите за рифму плохую —
английский самоучитель.
Он «Green card» получил,
да вот адреса нет,
и за письмами ходит на почту.
Лечит в Бронксе
на ладожском льду перемерзшую почку.
А вы знаете —
он никогда не умрет,
автор стихотворения «Коммунисты, вперед!».
Умирает политика.
Не умирают поэзия, проза.
Вот что, а не политику,
мы называем «Россия», «народ».
В переулок Лебяжий
вернется когда-нибудь в бронзе из Бронкса
автор стихотворения «Коммунисты, вперед!».

ЛИСТ ВТОРОЙ

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

Феномен той — рубежа 1950–1960-х годов — литературно-бытовой ситуации: наличие живых классиков, отцов-основателей советской поэзии, наставников во плоти. Начинающие поэты толпились под их домами, ловили на улицах и в коридорах Литинститута. Существовал жанр напутствий. Антокольский, Асеев, Тихонов, Кирсанов, Мартынов, Сергей Марков, Светлов, Твардовский, Исаковский, Смеляков, уж не говоря об Ахматовой. Еще ощущалось живое дыхание Пастернака, Заболоцкого, Луговского. Заматерели новые мэтры — Слуцкий, Межиров, Самойлов, Окуджава, Винокуров. Отдельно шел Тряпкин. Как-то внезапно возникли, выйдя из переводческой тени, Тарковский, Липкин. Стала явью Мария Петровых.

Соколов как бы увенчивал — находясь в некой дымке тихой славы — плеяду громокипящих имен авансцены: Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский, Рождественский. Увенчивал, предваряя.

Надо учитывать, что живой коловорот стихотворства той поры происходил в контексте большого возвращения. Маяковского надо в первую голову отнести к возвращенцам тех лет. Одно только «Облако в штанах» пролило живительную влагу на нивы стиха. Возвращались: Блок, вообще символисты, молодая Ахматова, Мандельштам, Хлебников, Пастернак, Есенин, молодой Заболоцкий, обэриуты, П. Васильев, Б. Корнилов, Кедрин. Ливнем обрушилась Цветаева. Читали Гумилёва, Нарбута, слышали о Г. Иванове. Приходил Ходасевич.

О чем нам не забыть? О переводах? О Бёрнсе и Шекспире (сонеты) Маршака? О Незвале? О Неруде? Аполлинере? Элиоте? Хикмете? Фросте? О вагантах? О Бараташвили? Петёфи? Бодлер, Верлен, Рембо, Гейне, старые китайцы и японцы читались запоем. Культовым героем стал Лорка.

Возвращался, между прочим, и Пушкин. Но не в роли абсолютного монарха. Рядом встали Боратынский, Тютчев, А. К. Толстой. Фет зашумел знаменем. Открылся XIX век, за ним — осьмнадцатый, стали заглядывать в Державина.

Сонеты писали чуть не все.

Шестидесятые начались для Евтушенко с напутственной статьи Вл. Барласа «Всегда ли верить вдохновенью?» («Литературная газета» от 9 января 1960 года). В вопросе, разумеется, заключался ответ. Это было предупреждение. Да, евтушенковское «На велосипеде» — настоящие

стихи. Но:

Как он торопится! Как будто только что первый он ощутил... ну, хоть ясную тишину летнего воскресенья в Подмосковье. Как будто всё, что он видит, он видит впервые и навсегда, и только он один сейчас может открыть людям радость этого раннего летнего утра. И нужно успеть первым... И ничего не скажешь — это заражает. Мокрая мелочь на ладони, пропылившийся ездок, привалившийся к теплой квасной цистерне, «какие вы хитрые...» — все это, конечно, пустяки, подробности. Но они уверенно отделены от сотен на вид таких же пустяковых подробностей, точно подогнаны к раскатистому, четкому ритму — и шуршат по шоссе шины, бегут, щелкая в такт педалям, строчки... Короче говоря, настоящие стихи...

Барлас озабочен судьбой этого поэта, хорошо ему известного. «Складывается она на удивление шумно». Впервые применительно к Евтушенко всплывает имя Игоря Северянина и пойдет кочевать по множеству разговоров о нем, печатных и устных. Справедливо ли? Не очень. Ибо речь шла исключительно о сердечестве.

Как поэт великолепно-музыкальный, Северянин вряд ли принял прямое участие в формировании евтушенковского стиха. Ни мелодика, ни ритмика, ни система рифмовки, ни россыпь неологизмов — ничего сугубо северянинского у Евтушенко не наблюдалось, да и резко негативное отношение к Северянину-поэту в ту пору было во многом несправедливым, отрицательным по инерции, идущей от Маяковского, живого соперника «короля поэтов» на арене борьбы за давным-давно потускневшую корону.



Владимир Барлас. Портрет работы Ю. Васильева. 1959 г.



Здравствуй милая бабушка!
Добрый день тебе и здоровья
Бабуля сегодня я получил
от тебя бандероль и письмо
в котором ты пишешь что
я мол лишняя вам и без
меня хорошо но милая бабуля
поверь это не так ты
меня неверно поняла бабуля
если с домом дела плохи
брось его достань тысячи 3
на дорогу продли пропуск
и езжай сюда деньги
наживем не беда
а ведь с каждым днем
прожитом тобой в зиме
твое здоровье ухудшается
а зимы и жары
да зимы не купим
и без тебя о тебе
доседаю все угнетены
скоро буду учиться
успеет милая маляго бумагу
челую тебе всего
любимый внук

Открытка из Москвы бабушке Марии Иосифовне в город Зима от 28 августа 1944 года (сохраняем правописание двенадцатилетнего автора):

«Здравствуй милая бабушка! Добрый день тебе и здоровья Бабуля сегодня я получил от тебя бандероль и письмо в котором ты пишешь что я мол лишняя вам и без меня хорошо но милая бабуля поверь это не так ты меня неверно поняла бабуля если с домом дела плохи брось его достань тысячи 3 на дорогу продли пропуск и езжай сюда деньги наживем не беда а ведь с каждым днем прожитом тобой в зиме твое здоровье ухудшается

а жизнь и здоровье за деньги не купишь Я без тебя очень скучаю Достал все учебники скоро буду учиться Сегодня уедет мама мараю бумагу целую жду твоего приезда внук Женя».

Другое дело, что опосредованно — через Пастернака, того же Кирсанова, да и, между прочим, самого Маяковского, — Северянин пропитал русский стих, доставшийся новым поэтам. Впрочем, каким-то странным образом Северянин предугадал роль, внешний вид, вкусы и модус вивенди нашего героя:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо, остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
.....
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!

Именно ананасы. Именно шампанское. И, в сногсшибательном прикиде, из Москвы — в Нагасаки. Словно кто-то заказал Северянину эту эпиграмматическую пародию.

Обращаясь к Евтушенко непосредственно, Барлас призывает-таки поэта сбросить с себя «побрякушки самолюбования». Справедливо. Но тщетно. Евтушенко не может не любоваться собой — чем он хуже в этом смысле своих читателей, полюбивших его? Барлас спрашивает: «О каждом ли чувстве стоит писать?» В том-то и дело. Не в теории, а на практике Евтушенко уверен: о каждом.

Он ловит порой даже не чувство, а предчувствие или после-чувствие, малейшее движение души, почище не слишком жалуемого им Фета. Это переносится и на отношение ко времени. Он схватывает минуту, секунду, мгновение, неуследимый момент. Он — хронометр, барометр и сейсмограф. Он сам наделен невероятной сейсмической активностью.

В социально-политическом аспекте это выглядит журналистикой. В любовном — донжуанством. Численность его персонажей составит какой-нибудь немалый народ. У его тематики нет рамок. И все это уже наличествовало к началу шестидесятых.

Литкритика и весь народ начиная с 1957-го захлеб склоняют

евтушенковское откровение:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растеряна...

«Читатель теперь знает, в скольких спальнях побывал лирический герой Евтушенко, расставшись с единственной любимой женщиной. И хочется вместе с испуганной жалкой жертвой спросить молодого человека, ищущего рассеяния: «А что потом?..» Но сказать о тревожных срывах в его поэзии самое время, пока талантливый поэт не стал окончательно кумиром юных балбесов, охотников до скандальных происшествий и «репортажей» из спальни» (*Урбан А. Мысли о поэзии // Звезда. 1960. № 2*).

Торопливость, самолюбование, позерство, поза, беспринципность, безыдейность, спекулятивность, погоня за дешевой популярностью, потребительское отношение к женщинам — с таким набором негатива, в общем-то неизменного и не очень-то разнообразного, в дверях шестидесятых его встретили зоилы с именами и без, но воздадим им хотя бы частично некоторым упоминанием. Д. Заславский, Арк. Эльяшевич, А. Елкин, В. Друзин, Б. Соловьев, Б. Сарнов, Д. Стариков и многие другие.

Ау, Вадим Назаренко.

В благожелателях — молодые Л. Аннинский, Ст. Лесневский, А. Марченко, А. Меньшутин, Ст. Рассадин, Е. Сидоров, А. Синявский, опытный Б. Рунин.

У Рунина (*Новый мир. 1960. № 11: статья «Спор необходимо продолжить»*) можно отметить пару интересных пунктов в его разговоре о поэзии вообще, включая Евтушенко. Рунин поднимает тему о праве поэта на речь от первого лица (это поныне на изумление актуально), уместно помянув стихи Маяковского:

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультиста
все равно что неприличность.

Стоит всмотреться в имена, приводимые Руниным: «Самовыражением поэта являются стихи Пушкина и Бенедиктова, Некрасова и Майкова, Демьяна Бедного и Ходасевича, Уитмена и Киплинга».

Ходасевич! Эмигрант!

Это же прямая идеологическая контрабанда, если не диверсия. На смех курам прикрытая бедным брюхатым Демьяном. Смешно, — Ходасевича блюстители идейной чистоты молча проглотили, накинувшись, в одном из отзывов на рунинский перечень, — на имя Киплинга, певца колониализма.

Уровень непримиримой критической мысли выглядел так: «Никто не назовет Хлебникова или Сальвадора Дали бездарностями, но раскрыли ли они горизонты искусства? Нет!» (А. Елкин).

Но и сторонники не дают спуска. Суровый друг Луконин имеет достаточно весомые личные основания для таких слов: «...Перед Евтушенко стоит выбор — или его захлопнут, как бабочку, ладони восторженных девиц, или он соберется к подвигу большой глубинной поэзии... А у этого поэта было и есть тяготение к темам большого гражданского накала — вот его настоящий путь!»

В 1960-м Евтушенко окончательно расстается с Беллой. Его женой становится Галина Сокол-Луконина. «До свидания, Миша и Галя». К тому времени она 16 лет была за Лукониным.

Еще в 1957-м Евтушенко написал:

Я товарища хороню.
Эту тайну я хмуро храню.
Для других он еще живой.
Для других он еще с женой,
для других еще с ним дружу,
ибо с ним в рестораны хожу.
Никому я не расскажу, никому —
что с мертвым дружу.

(«Я товарища хороню...»)

Это — либо о Луконине, либо о Межирове, но в данном случае это все равно, поскольку все они были увязаны в происходившей драме.

Галя была кремень. Максималистка. На роль жены подходила стопроцентно. Ум и образованность вписывались в общий облик. Была красива. Особенные глаза, воспетые как минимум тремя поэтами. Чуть заметный шрам над губой, тоже воспетый, хотя был получен в результате супружеских трудностей.

Галя умела вить гнездо. Евтушенко с удивлением обнаруживал в собственной квартире антикварную мебель. Ему и в голову не приходило, что дом может быть таким. У мамы с сестрой, в Переяславском переулке, на этом не заикливались, собственностью не дорожили. А тут пришли «красивые уюты». Галя была писательская жена. Может быть, с большой буквы. Они прожили 17 лет.

Американка Ольга Карлайл (Андреева-Карлайл) — человек России не чужой: внучка Леонида Андреева. Это она содействовала перевозке за границу (1967) и публикации «В круге первом» Солженицына (потом их отношения сильно осложнились). В 1965-м в литературном журнале «Paris Review» она напечатала статью «Искусство поэзии». Герой статьи — Евтушенко.

Я впервые познакомилась с Евгением Евтушенко зимой 1960 года, когда многие новые поэтические голоса были услышаны в Москве. В то время Евгений Евтушенко был уже хорошо известен в московских литературных кругах, но его лицо и позиции еще не были знакомы миллионам людей в СССР и на Западе. Незадолго до моей поездки я читала некоторые его стихи в советских литературных журналах. Они были откровенны и обладали особой аурой молодости — что-то вроде качелей, радостной поэтической журналистики, совершенно бескорыстной подачи основных клише советской жизни.

Однажды днем я пригласила его к себе на чай, также упомянув, что мой отец (Вадим Андреев, поэт и прозаик, брат Даниила Андреева; жил тогда в Париже. — И. Ф.) попросил у него том его стихов с дарственной надписью. Евтушенко принял мое приглашение и был очень дружелюбен по телефону, но я поняла, что он нашел просьбу отца наивной.

— Ольга Вадимовна, — сказал он, — вы явно новичок в Москве. Тиражи поэзии распродаются в нашей стране мгновенно. Двадцать тысяч экземпляров моей последней книги избранных стихотворений разошлись в два дня. Но я могу прочесть

некоторые из моих новых стихов для вас, — добавил он с теплотой.

В мрачном, огромном отеле «Метрополь» я занимала несколько комнат, оформленных в викторианском стиле. Стены были отделаны панелями, и тяжелые шторы идеально подходили для «Метрополя», имевшего многолетнюю репутацию учреждения, где за иностранцами и их гостями внимательно наблюдал персонал отеля и, возможно, даже следил. Но в конце дня Евтушенко, как только приехал, снял пальто, отряхнул хлопья снега с серой астраханской меховой шапки и преподнес мне большой букет тепличной сирени...

Евтушенко очень высокий, пепельно-русый молодой человек с маленькой головой на длинном мускулистом теле, с бледно-голубыми, с чувством юмора, глазами, тонким носом на круглом лице и открытой манерой поведения, что было поразительным в Москве тех дней. Не обращая внимания на гнетущую обстановку, он сел и без предисловий заговорил о русской поэзии. Он говорил о себе, вспоминая великого поэта двадцатых годов Маяковского и, наконец, современных советских поэтов. Его щедрость к своим товарищам поэтам поразила меня сразу; он назвал многих, цитируя целые строфы некоторых. «Вознесенский и Ахмадулина являются нашими наиболее перспективными поэтами, — сказал он. — Ахмадулина наследует великую русскую традицию женщин-поэтов Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Это традиция высокая, полная лиризма. Она моя жена, — сказал он, улыбаясь, — и вы должны познакомиться с ней. Увы, я сам принадлежу к менее возвышенной поэтической традиции. Мои стихи, как правило, продиктованы современными событиями, с внезапными эмоциями, но такова природа моего таланта...»

Он прочитал по памяти длинный отрывок из стихотворения, которое особенно любил, называется «Некрасивая девочка», старшего поэта — Заболоцкого... Евтушенко сел, воцарилось молчание, затем он снова заговорил, в страстном крещендо утверждая: «Необходимо восстановление тепла, ибо жизнь людей является нашим самым важным императивом. Только это может нас спасти, спасти всю планету. Русские люди многое испытали, слишком многое и так долго. Для создания атмосферы доброты, чтобы дать людям раскрыться, как цветы, снова. Как мы сможем загладить несправедливость, глупость и кровь, если мы не начнем

сейчас? Нет ничего в нашем коммунистическом обществе для предотвращения этого цветения, совсем даже напротив; но сначала мы должны победить наши внутренние страхи. Сейчас нет ничего блокирующего вдохновение поэтов: все великие темы нашего времени есть у них. В прозе — труднее. Русская проза много лет страдала от удушающей цензуры, которая повлияла на стихи меньше, поскольку поэзия циркулирует еще и в устной форме. Однако есть несколько перспективных прозаиков в моем поколении: Дудинцев, его «Новогодняя сказка» ясно показывает, что он еще больше вырос с тех пор, когда написал «Не хлебом единым». Юрий Казаков — на мой взгляд лучший прозаик нового поколения. Он пишет в обновленных, но глубоко русских традициях, в духе Антона Чехова: сострадание — его тема...»

Казалось, Евтушенко одержим желанием заполучить непосредственно истину, и в этом он напомнил мне НьюЙорк битников. «Мы вступили в новую эпоху. Во имя коммунизма мы ищем истину в себе, в других. Мы часто находим ее в простых людях. Истина как нежный цветок. Она пережила суровую зиму и теперь будет расти».

Евтушенко очарован идеей старой русской интеллигенции, особенно ее духом универсальности. «Этот дух, — сказал он, — мир должен отстоять, если он хочет выжить». Он говорил о надежде новой интеллигенции в СССР. «Это как пытаться поймать поток воды в ладони, — сказал он. — В основном вода из них вытекает, но немного сохраняется, попадая в чашку из рук. Это происходит сейчас. Мы и наши дети в конечном счете сохраним это небольшое количество воды...»

У меня было ощущение, что от меня Евтушенко хотел услышать о западных интеллектуалах. Он был ужасно любопытен, выпрашивая о западной интеллектуальной жизни, последних течениях в живописи и задал много вопросов о поэтах-битниках и художниках Нью-Йорка.

Принесли чай, и наш разговор перешел на особую роль поэзии в современной России. Евтушенко говорил об огромной аудитории, слушающей молодых поэтов, о пятидесятитысячных экземплярах их произведений. Евтушенко был в процессе становления как национальный символ: разоблачение сталинизма было начато на уровне поэзии.

Год спустя, в Нью-Йорке, я видела его на академическом

приеме, где, после прочтения его жизнерадостного, оптимистичного стихотворения «На велосипеде», с обворожительной пронизательностью он ответил на много сложных политических вопросов довольно враждебной, активно антисоветской аудитории...

Первый раз Евтушенко посетил Америку в том же 1960 году — туристом, с 33 долларами в кармане и тремя словами в языковом багаже, а именно: Where is striptease?

«В США я захватил значок с фотографией Фиделя Кастро — молодой очаровательный революционер, скинувший кровавого диктатора Батисту, был одновременно идолом советской и американской молодежи. Каково же было мое удивление, когда в Канзас-Сити ко мне подошли две девушки, и у одной из них на груди я увидел точно такой же значок, как у меня. Девушка попыталась заговорить со мной по-английски — я ответил: «Ай не спикаю». Она поняла и поинтересовалась, как у меня с испанским, а я, как и многие молодые люди того времени, этот язык учил. Она спросила: «Скажите, вас можно потрогать? Нам говорили, что в Советском Союзе все люди — роботы». В общем, Фидель нас сосватал. Красавица мне сказала: «Слушай, ты можешь на пару дней отлучиться из группы? Я тоже удеру от мамы с папой, и мы махнем с тобой в самый красивый город Америки — Сан-Франциско. Напиши записку своим, чтобы не беспокоились». Так я и сделал... Эти два-три дня были сказкой. Шутливо я называл ее «гринга», хотя в женском роде этого слова не существует (американцы зовут так испанцев). Утром, когда она сладко спала, а мне не хотелось ее будить, я ушел — нужно было возвращаться...»

Недаром Контора долго стояла поперек его пути на Запад. У него к той поре был, можно сказать, богатый опыт общения с Лубянкой. Ну, во-первых, он там получал в свое время тещины деньги. А во-вторых, был как-то прошен и на особую встречу. После очередного дня рождения, в 1957 году, его пробудили коротким звонком в дверь. К нему явилась Контора в образе крайне вежливого человечка, предложившего пожаловать к ним на Лубянку. Башка трещала, ему было дано время на ее лечение. Оздоровлялся он в обществе могучего друга, заночевавшего у него, автора стихов про пустой рукав.

В этом зареве ветровом
Выбор был небольшой, —
Но лучше прийти

с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

Луконин (он самый) сказал: не бойсь, нас всех туда вербуют, иди и постарайся выскользнуть.

У Евтушенко получилось. В большом кабинете он познакомился с большим человеком — с 1956 года начальник отдела в 4-м управлении КГБ (идеологическая контрразведка), потом он возглавит 5-е управление, того же профиля. Ф. Д. Бобков. Поражало сочетание стальных глаз с известной приветливостью. В результате диалога, в котором были обещания дальних заморских дорог и номера в гостинице «Центральная» для сердечных встреч с лирическими героинями, Бобков отступил, поскольку проинструктированный старшим товарищем хитрец валял ваныку в том смысле, что ему ничего нельзя доверять и он находка для шпионов.

Интересно было услышать в таком кабинете от собеседника цитату из себя — «Границы мне мешают...». Были перепутаны страны, о которых мечтает автор «Пролога», но дело не в этом. Хозяин кабинета в те годы растил малолетнего сына, уже готового насмерть влюбиться в евтушенковские стихи.

В двенадцатом номере «Юности» за 1960 год Евтушенко печатает стихотворение «Ограда», как уже говорилось, лукаво посвящая его якобы памяти Луговского, о чем договаривается с его вдовой. На самом деле речь о Пастернаке:

Он шел, другим оставив суесться.
Крепка была походка и легка
серебряноголового артиста
со смуглыми щеками рыбака.

Пушкинианец, вольно и велико
он и у тяжких горестей в кольце
был как большая детская улыбка
у мученика века на лице.

Тотчас следом идет «Москва и Куба», вещь, с которой начнется триумфально-обвальный кубинский цикл.

Фидель,
возьми меня к себе
солдатом Армии Свободы!

Те стихи ушли, как ушла та Куба.
В начале XX века Маяковский произносил слово «поэт» уничижительно, попирая эстетизм, салон, ликерную изысканность. Он предрекал:

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут Богу в свое оправдание.

Во второй половине века (октябрь, 1960) поэта несли на руках студенты к памятнику Маяковскому.

— Женья! Читай о Кубе!

Он читал. Толпа затопила площадь и улицу Горького, транспорт остановился. Милиция втащила поэта в свою машину, «Победу». Пытались качать «Победу» с поэтом. Долго еще потом по площади девушки искали свои туфельки.

Евтушенко стал бурно осуществлять программу «Пролога», глотая страну за страной от Кубы до Франции, Германии и далее по карте мира: США, Англия, Испания, Дания, Болгария, Того, Либерия, Гана.

На какие деньги разъезжает советский литератор? На разные. Во-первых, богат родной Союз писателей, при котором есть еще и Литературный фонд: командировки обеспечены как внутри, так и вне страны. Существует также Иностранная комиссия при Союзе писателей, регулирующая все эти вопросы. Кроме того, писателя может отправить в поездку какая-нибудь редакция. Его могут пригласить в далекий край — и нередко за счет принимающей стороны. В общем, остается только расписываться в ведомости и, для порядка, представлять отчет о командировке, иногда в форме художественного произведения.

Для этого надо быть членом Союза. Неплохо, если у тебя есть имя, с поездками нет проблем. Если же еще не дорос, достань турпутевку в какую-нибудь соцстрану или даже в капстрану и поезжай на свои. Но и тут — очередь. Уж не говоря о том, что ты должен пройти рассмотрение

коллектива, профкома-парткома и райкома партии, даже не состоя в рядах.

В ведомственной, сугубо писательской, газете «Московский литератор» от 12 января 1961 года была напечатана информация о заседании президиума Московского отделения Союза писателей РСФСР: «На очередном рабочем заседании президиума звучали стихи. Евгений Евтушенко, Евгений Долматовский и Виталий Василевский отчитывались о своих поездках в Африку и страны Европы.

— Поездка в Африку стала для меня одним из главных событий в жизни, — говорит Е. Евтушенко. — Я, как и Долматовский, «заболел» Африкой и сейчас полон впечатлений, не дающих мне покоя. Очень много работаю. Мечтаю снова поехать в Африку. Очень хочется увидеть Кубу. Именно в этих странах сейчас — место поэта.

Евтушенко читает новые стихи об Африке, Париже, Мадриде. Особенно понравились слушателям «Стихи о Гане», «Булыжники Парижа», «Рыбаки».

Парижские стихи — целая книга. Гимн, хвала, восторг, захлеб и чуть менее сильные чувства: восхищение, изумление, влюбленность.

Какие девочки в Париже,
черт возьми!
И черт —
он с удовольствием их взял бы!
Они так ослепительны,
как залпы
среди фейерверка уличной войны.
Война за то, чтоб, царственно курсируя,
всем телом ощущать, как ты царишь.
Война за то, чтоб самой быть красивой,
за то, чтоб стать «мадмуазель Париж»!
Вон та —
та с голубыми волосами,
в ковбойских брючках там на мостовой!
В окно автобуса по пояс вылезаем,
да так, что гид качает головой.
Стиляжек наших платья —
дилетантские.
Тут черт те что!
Тут все наоборот!
И кое-кто из членов делегации,

про «бдительность» забыв, разинул рот.
Покачивая мастерски боками,
они плывут,
загадочны, как Будды,
и, будто бы соломинки в бокалах,
стоят в прозрачных телефонных будках.
Вон та идет —
на голове папах.
Из-под папачки чуб
лилово рыж.
Откуда эта?
Кто ее папаша?
Ее папаша — это сам Париж.
Но что это за женщина вон там
по замершему движется Монмартру?
Всей Франции
она не по карману.
Эй, улицы, —
понятно это вам?!

Ты, не считаясь ни чуть-чуть с границами,
идешь Парижем, ставшая судьбой,
с глазами красноярскими гранитными
и шрамом, чуть заметным над губой.
Вся строгая, идешь средь гама яркого,
и, если бы я был сейчас Париж,
тебе я, как Парис,
поднес бы яблоко,
хотя я, к сожаленью, не Парис.
Какие девочки в Париже —
ай-ай-ай!

Какие девочки в Париже —
просто жарко!
Но ты не хмурься на меня
и знай:
ты — лучшая в Париже
парижанка!

(«Парижские девочки»)

Строчка «Какие девочки в Париже, черт возьми!» тут же становится поговорочной.

Воспетый булыжник воспет давно.

Осип Мандельштам:

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома — как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские — событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки —
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох...

Вряд ли составит конкуренцию фригийской бабушке Мандельштама — речь о фригийском колпаке коммунаров — этот евтушенковский бравурный пассаж, тематически родственный:

Булыжники Парижа,
вас пою!
Вы были —
коммунарское оружие,
когда вздымались улицы орущие
в неравном,
но восторженном бою.

Но это — несомненная аллюзия, перифраз, почти цитата:

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая —
Армения. Армения!

Это из другой мандельштамовской оперы — цикла «Армения».

Но у Мандельштама нам, пожалуй, будет любопытнее в свете нашего разговора найти другое сходство:

Большеголовые — там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу, — я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу.
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора...

Нет резона утверждать, что Евтушенко похитил свое многозначное яблоко у Мандельштама, но метафорическая близость — налицо.

Словом, как сказано у С. Гандлевского в известной вещи «Самосуд неожиданной зрелости...» (1982):

Это облако? Нет, это яблоко...

Никакие декларации и заверения, вполне искренние, не упасают Евтушенко от потока обвинений, идущих уже автоматом. Ни один из уважающих себя критиков — в ту пору критики себя уважали особенно глубоко — не мог себе позволить попущения евтушенковскому неформату. А тут еще и шутка истории — возник второй, почти такой же, зовут его Андрей Вознесенский. С некоторых пор Евтушенко уже не появлялся в критических статьях без этого прицепа, оскорбительного для второго члена дуумвирата.

Этой дикости положили конец Н. Асеев и С. Наровчатов, выступив со статьями, соответственно — «Как быть с Вознесенским?» («Литературная газета» от 4 августа 1962 года) и «Разговор начистоту» («Литературная газета» от 12 декабря 1964 года). Позиции мэтров были противоположными: Асеев — всецело за, Наровчатов — против (с оговорками). Назвал Наровчатов новых ребят «радиоловыми поэтами». В промежутке между этими выступлениями о поэте Вознесенском высказывались Б. Сарнов, Ст. Рассадин и другие, в разных тональностях. Было такое ощущение, что некоторые умные люди слушают стихи — заткнув уши.

Но речь пошла уже об отдельном явлении.

Какое-то время Евтушенко с Вознесенским и сами работали на эту парность. Посвящали друг другу стихи, вместе ездили. В «Литературной

газете» от 15 июня 1961 года Вознесенский поместил отчет о их совместной поездке в Америку под названием «15 000 вопросов»: два стриженных «Фауста с фотоаппаратом» 15 дней бродили по чужой земле, где ужасны эти очереди голодных людей за супом и серый безработный стоит в прострации, прислонясь к стене, а власти Нью-Йорка запретили ребятам-битникам, этим бородатым стилигам, петь на улицах, но те поют, бузят, выкрикивают что-то протестное — и что? «Нам неудобно присутствовать при оскорблении власти. Мы удаляемся». Вывод? «Так внешнее — бороды, значки, хламиды — уводит молодежь от сущности ее недовольства, ее протеста».

Но посланцам нашей страны все же повезло: они пообщались с поэтом Лероем Джонсом (потом он принял мусульманство и печатался под именем Амири Барака), который сказал: «Мы хотим демократизации искусства. Музы — массам». Подружились и с Алленом Гинсбергом. «Как он близок раннему Маяковскому! Его «антиэстетичности». Его горластой глотке». Патриотизм Вознесенского предельно: оказалось, в Америке сирень — не пахнет. Не то что у нас, в России.

Первого августа 1961 года Константин Симонов пишет письмо режиссеру Михаилу Калатозову по поводу предполагаемого проекта советско-кубинского фильма:

Я еще раз подумал над Вашими возможными помощниками в этой работе, и мне хочется еще раз посоветовать Вам (особенно учитывая, что Вы хотите делать фильм-поэму) взять в коллектив Евтушенко... Он — человек, способный написать сценарий такой вещи, я почему-то убежден в этом...

Начинается роман Евтушенко с кино. Еще в 1959-м он поместил в журнале «Искусство кино», № 5, статью «Поэзия и кино» — о все большем взаимопроникновении этих двух видов творчества на примере кинопоэмы Сергея Герасимова по поэме Рождественского «Моя любовь». Калатозов, автор таких насыщенных лиризмом вещей, как «Летят журавли» и «Неотправленное письмо», думал точно так же.

В номере шестом журнала «Советский экран» за 1961 год прошла информация о готовящемся фильме. Режиссер М. Калатозов, оператор С. Урусевский, авторы сценария Е. Евтушенко и Э. П. Барнет, кубинский поэт.

Евтушенко берет командировку в «Правде» и в качестве специального корреспондента отправляется на Кубу. Он живет там полгода, путешествует пешком по пути повстанцев в горах Сьерра-Маэстра, встречается с людьми,

в том числе с вождем революции — Фиделем Кастро. Это был молодой харизматик, сын испанского эмигранта, ставшего богатым землевладельцем, юрист по образованию, отважный и неотразимый: огромен, строен, яркоглаз, огненно-речист, чернобород, — повстанцы называли себя *барбудос* как раз по признаку ношения бороды. Неожиданно для себя этот интеллеktуал и борец за независимость принял коммунистическую религию, оказавшись в клещах противоборства идеологий и чудовищной мощи оружия двух сверхдержав, с противоположных сторон планеты перекрестно нависающего над его крошечным островом. Фидель выбрал СССР и попал в горячие объятия Хрущева, на пару с которым сходил на охоту в белых русских снегах. Фидель дружил со стариком Хемингуэем, жившим на Кубе и одобрявшим действия молодых кубинцев, поднявших с оружием в руках против порядков, установленных на острове Америкой, откуда он уехал по причине нелюбви к порядкам, установленным там, в Америке. Куба как курортный бордель Америки претила старику Хему. Он надеялся, что Куба станет другой.

Там же, на Кубе, Евтушенко сошелся с кубинскими поэтами Р. Ф. Ретамаром, Н. Гильеном, Э. Падильей, Х. Бараганьо, их лирику переводя на русский язык.

Молодой русский поэт пришелся ко двору, влюбился в остров, и это было взаимно. В 1962-м он вместе с другими авторами будущего фильма колесит по всей Кубе, и это продолжается три месяца. Они встречались с тысячами людей, записали разговоры на магнитофонную пленку и стали снимать. Пару раз их принимал Фидель.

Там же, на Кубе, Евтушенко впервые пересекается с Юрием Гагариным, навестившим Кубу, и знакомится с Че Геварой, уже почти легендой. «Разговор происходил в 1963 году, когда окаймленное бородкой трагическое лицо команданте еще не штамповали на майках, с империалистической гибкостью учитывая антиимпериалистические вкусы левой молодежи. Команданте был рядом. Пил кофе, говорил, постукивая пальцами по книге о партизанской войне в Китае, наверно, не случайно находившейся на его столе. Но еще до Боливии он был живой легендой, а на живой легенде всегда есть отблеск смерти. Он сам ее искал. Согласно одной из легенд, команданте неожиданно для всех вылетел вместе с горсткой соратников во Вьетнам и предложил Хо Ши Мину сражаться на его стороне, но Хо Ши Мин вежливо отказался. Команданте продолжал искать смерть, продираясь, облепленный москитами, сквозь боливийскую сельву, и его предали те самые голодные, во имя которых он сражался,

потому что по его пятам вместо обещанной им свободы шли каратели, убивая каждого, кто давал ему кров».

Фильм родился (1964) в яростных спорах единомышленников. Работали так: собирались вчетвером, обговаривали каждый эпизод, сценаристы расходились по разным комнатам, готовили свои варианты и затем находили общее решение. Двухсерийный фильм «Я — Куба» состоял из четырех новелл о недавней истории острова, о неизбежности революции. Свой вариант сценария Евтушенко перевел в жанр поэмы в прозе и назвал его «Я — Куба».

Это было экспериментальное кино (с подачи Фрэнсиса Форда Coppola и Мартина Скорсезе его используют как учебное пособие во многих киношколах мира), в котором снимался лишь один актер-профессионал, все остальные исполнители — обычные люди. Даром, что ли, кубинцы — народ-артист, свою революцию исполнивший как карнавал. Страдания, кровь, мужество, любовь, музыка, танцы, стихи Николаса Гильена. Для начала кино показали самой Кубе, в Сантьяго-де-Куба, и многотысячному зрителю на главной площади Гаваны, после пылкой речи Фиделя.

В августе 1961-го Евтушенко заглянул в Киев. Литинститутский приятель, уроженец Киева, мальчишкой прошедший 1941–1943 годы в оккупации, Анатолий Кузнецов показал ему Бабий Яр. В этом овраге фашисты расстреливали гуртом евреев, партизан, военнопленных, заложников.

В 1950 году по распоряжению киевских городских властей Бабий Яр, огороженный валом, был залит жидкими отходами соседних кирпичных заводов, чудовищная масса которых через десять лет при весеннем снеготаянии прорвала ограждение, хлынув в сторону окрестных селений и уничтожив множество жилья и кладбище. Жертв было до полутора тысяч человек. Это называли Курневской трагедией, по имени пострадавшего городка. Евтушенко стоял над знойным расплавом окаменевших старых нечистот.

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —

я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —
это я.
Мещанство —
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется —
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!» —
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! —
Я знаю —
ты
по сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется —
я —
это Анна Франк,

прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся — это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет —
это ледоход...
Над Бабым Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»

пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскоруждой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому —
я настоящий русский!

Когда Евтушенко прочел «Бабий Яр» Межирову, тот — после глубокой паузы — сказал:

— С-с-спрячь это и н-н-никому не показывай.

Дело пахло грандиозным резонансом. Так оно и случилось.

Евтушенко впервые прочел на публике новонаписанный «Бабий Яр» — в Киеве. Номер «Литературки» от 19 сентября 1961 года с «Бабьим Яром» изъяли из библиотек. Кстати, это стихотворение было предварено в подборке двумя стишками на тему кубинской революции, их никто не заметил.

Главный редактор «Литературной газеты» Валерий Алексеевич Косолапов получил трепку в ЦК, выговор и в итоге был уволен. Напечатать «Бабий Яр» он решился лишь после разговора с женой, бывшей фронтовой медсестрой. Они оба знали, на что он шел.

«Он не раз мне помогал в жизни и не в связи с «Бабьим Яром». Именно он посоветовал мне сходить со стихотворением «Наследники Сталина» к помощнику Хрущева Владимиру Семеновичу Лебедеву. Когда я к тому заявился, он принял меня с распростертыми объятиями, восторгаясь моим дедушкой Рудольфом Вильгельмовичем Гангнусом. Оказывается, Лебедев был в той самой школе НКВД, куда на уроки возили моего деда из мест заключения. «Мы все так любили его, так любили!..» — повторял Владимир Семенович».

Скандал рос.

Особенно разъярилась литературная шатия.

Критик Д. Стариков — на страницах «Литературки» — кроет Евтушенко таким макаром: «Мне гораздо ближе сегодня стихи Ильи Эренбурга 1944 года. Они тоже называются «Бабий Яр»...» Осмысленных, полномасштабных аргументов у Старикова, как, впрочем, и у других евтушенковских ругателей, нет. Ход его доводов таков:

Зачем сейчас, в 1961 году Евгений Евтушенко вернулся к этой теме? Может быть, он вспомнил о Бабьем Яре, чтобы предостеречь мир от фашизма? Может быть, он не мог молчать, услышав истеричные вопли западногерманских реваншистских ублюдков? А может быть, он хочет напомнить некоторым своим сверстникам и сверстницам о доблестях, о подвиге, о славе и о великих жертвах отцов?.. Ничего подобного. Стоя над крутым обрывом Бабьего Яра, молодой советский литератор нашел здесь лишь тему для стихов об антисемитизме! И думая сегодня о погибших людях — «расстрелянный старик», «расстрелянный ребенок» — он думал лишь о том, что они — евреи. Это для него оказалось самым важным, самым главным, самым животрепещущим!..<...> Сейчас дружба наших народов крепка и монолитна как никогда. Почему же сейчас редколлегия всесоюзной писательской газеты позволяет Евтушенко оскорблять торжество ленинской национальной политики такими сопоставлениями и «напоминаниями», которые иначе как провокационные расценить невозможно? Во имя чего надрывается сейчас Евтушенко, силясь перекричать победный гул нашей трудовой жизни?.. «Бабий Яр» — очевидное отступление от коммунистической идеологии на позиции идеологии буржуазного толка.

Эренбург отзывается коротким письмом в газету: «Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим».

Вот «Бабий Яр» Эренбурга 1944 года, целиком, а не в обрывке.

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.

Я этой женщины любимой
Когдато руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

Особь статья — сам Илья Эренбург, его фигура на фоне того времени. Его мемуары «Люди, годы, жизнь» печатались в «Новом мире» пять лет начиная с 1960 года, и эта книга стала интеллигентской библией шестидесятых. Партия насторожилась и ошечинилась, хрущевские спичрайтеры подыскивали насколько можно интеллигентные слова обвинений (долгая оторванность от Родины, бесклассовый подход к творчеству и проч.) в сторону старого писателя, легендарного публициста Великой Отечественной войны и известного борца за мир во всем мире, — это была фигура мирового масштаба, приходилось действовать с оглядкой.

Но объективно, если исходить из партийной критики, выходило, что именно Эренбург, написав повесть «Оттепель» (1954), стал не только автором имени происходящей эпохи — *оттепель*, но и духовным отцом «звездных мальчиков», поэтов и прозаиков. Это он ностальгировал по той русской литературе, что не ведала о соцреализме, по тем именам и лицам, что были его молодостью, и это были Цветаева и Мандельштам, Модильяни и Пикассо, весь цвет мировой культуры, тоска по которой не заглохла в эфемерных манифестах акмеизма, была мотором нового исторического оптимизма и находила бесчисленных врагов и в исполнителях власти, и в рядах самой интеллигенции.

Эренбург напечатал в «Литературной газете» статью о Борисе Слуцком, ставя в заслугу поэту-фронтовику наследование некрасовской линии, и в книге «Люди, годы, жизнь» сказал о Слуцком: «Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет

моложе меня, как со сверстником; оказалось, что это возможно». При этом Слуцкий не стоял перед Эренбургом по стойке смирно, порой спорил с ним, и однажды на внезапный эренбурговский вопрос о том, кто первый ввел в обиход выражение «справедливые войны», Слуцкий предположил: Сталин, наверно.

— Фридрих Второй, — победно усмехнулся Эренбург.

Заметим эту сталиноцентричность Слуцкого. А почему не Ленин или Маркс, например? В мозгу сидел Сталин.

В 1956-м Эренбург прогнозировал «новый подъем поэзии» (прогноз оправдался), особо отметил «едкую и своеобразную прозу» Слуцкого, был поражен стихотворением «Кельнская яма», вставленным Слуцким в свою военную прозу как образец «анонимного солдатского творчества».

Д. Самойлов, друг и соперник Слуцкого, ревновал:

Эренбург — старый метрдотель в правительственном ресторане — был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Лакейские упования многим казались тогда пророчеством. Слуцкого тянуло к Эренбургу. Эренбург нашел Слуцкого. И назвал его. Оттепели полагалась поэтическая капель. Эренбургу казалось, что он нашел подходящего поэта.

Слуцкий знал, разумеется, о неоднозначности Эренбурга, но оправдывал его так: «Конечно, Эренбургу приходилось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог! А кое-кого так даже и вытащил с того света...»

Эта позиция многое объясняет в мировоззрении, творчестве и поведении Евтушенко.

Мы ухитрились брать заказы,
а делать все наоборот.

(«В церкви Кошуэты»)

В октябре собралось Всероссийское совещание молодых поэтов. Критика «Бабьего Яра», аналогичная старикинской, прозвучала в выступлении первого секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова. Павлов протестовал против публикаций «жалкой группки морально уродливых авторов» на страницах молодежного журнала «Юность».

По ходу дела случился прецедент, косвенно имеющий отношение к нашей теме. Речь о Ленинской премии. Ее не выдают в паре, но эту награду за шестьдесят первый год получают два Александра — Твардовский (поэма «За далью — даль») и Прокофьев (книга «Приглашение к путешествию»). В их лице торжествует сам народ, а не горстка отщепенцев. Исключение подтверждает правило. Однако ясно — под ковром схватка за лавры шла неистовая.

Летом 1962-го Евтушенко выпустил в издательстве «Молодая гвардия» книгу «Взмах руки» — первое издание поэта за всю историю мировой поэзии, вышедшее *стотысячным* тиражом.

В октябре Москву посещает генеральный секретарь Французской компартии Жак Дюкло. В интервью «Литературной газете» от 18-го числа он тепло говорит о пребывании Евтушенко в Париже, добавляя: кстати, в Англии, говорят, у него был большой успех. Еще в апреле 1962-го на обложке журнала «Time» был напечатан портрет Евтушенко работы Бориса Шаляпина, сына великого певца.

В ноябре Евтушенко — в составе все той же звездной плеяды — снимается в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Тонкие шеи, горящие глаза, высокие голоса, вольная жестикуляция. Большая аудитория, ухо Политехнического.

В ноябрьском номере «Юности» помещена официальная информация: «Секретариат Правления Союза писателей СССР удовлетворил просьбу И. Л. Андроникова и Н. Н. Носова об освобождении их от обязанностей членов редакционной коллегии журнала «Юность». В состав редакционной коллегии журнала «Юность» введены В. П. Аксенов и Е. А. Евтушенко».

В том же ноябре — пленум ЦК ВЛКСМ. Первый секретарь С. Павлов говорит о задачах комсомола, одной из которых является решительное неприятие таких поэтов, как Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и подобные им.

Пятого декабря в ленинградской газете «Смена» — статья «О цене «шумного успеха». Автор ее Н. Лисочкин поражается давке у дверей Дворца искусств им. К. С. Станиславского, девичьим стоном «Ой, мамочка!», нехватке пропусков на вечер «довольно молодого темноволосого человека с блестящими глазами».

Булат Окуджава.

Откуда сие?!

Окуджава, недавний калужский учитель, познакомился с кругом звездных молодых ребят в 1957 году. Еще до того, как он познакомился и сошелся с ними, произошла мизансцена, связанная с Сергеем

Наровчатовым, к которому калужский учитель явился как фронтовик к фронтовику, будучи с ним немного знаком. Тот повел его в Дом литераторов:

— Со мной, — сказал Наровчатов дежурной у входа, и меня пропустили! Впервые!

В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. У меня кружилась голова, и даже не столько от выпитого, сколько от сознания причастности. Я хорошо различал лица, слова, я наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. Теперь на этом месте — бар, теперь это проходной коридор, это всего лишь предбанник бывшего ресторана. А тогда это было главное помещение. Пять-шесть столиков... За дальним из них я увидел Михаила Светлова! За соседним столиком справа — Семена Кирсанова. Слева, Господи Боже мой, сидел совсем еще юный Евтушенко в компании неизвестных счастливиц. Рядом с ним — совсем уж юная скуластенькая красотка с челочкой на лбу. Сидели те, чьи стихи залетали в калужские дали, о ком доносились отрывочные известия, слухи, сплетни. Сидели живые. Рядом. Можно было прикоснуться!..

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня четырнадцать тысяч... Давай сейчас махнем в Тбилиси, а?

«Че-тыр-надцать ты-сяч! — поразился я. — Четырнадцать тысяч!»

Эта сумма казалась мне недостижимой. «Четырнадцать тысяч!» — подумал я, трезвея.

Наровчатов тем временем допивал очередной стакан. И непрерывно курил. Он начал было читать мне свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.

— Чего же ты, брат, не пьешь? — спросил он с усилием.

— Я пью, — пролепетал я, пытаюсь осознать свалившееся на меня внезапно: как, должно быть, замечательно, имея четырнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть уже у моря, а после — в Тбилиси, а после — во Львов, к примеру, и снова в Москву, и ввалиться сюда, в дом на Воровского...

...Я шел по поздней Москве и повторял с ужасом и восхищением: «Четырнадцать тысяч!.. Четырнадцать тысяч!..»

Этот богач, этот волшебник Евтушенко, когда они познакомились (1957), чуть не сразу стал хлопотать о книжке Окуджавы, и она вышла, книжка «Острова».

«В 1962 году Булат, Роберт, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации — бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то «наверху вычеркнули» из списка. Мы единодушно, и Куняев в том числе, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно — он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось — это мы за границей первый раз, а он там — частый, слегка скучающий гость».

Под занавес 1961 года — 25 декабря партия идет в наступление: секретарь по идеологии ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев на всесоюзном совещании по идеологии произносит соответствующую речь. Академик АН СССР по Отделению экономических, философских и правовых наук (философия), партийный мыслитель выстраивает ряд основных приоритетов в государственной идеологии, как то: формирование научного, марксистско-ленинского мировоззрения, преодоление последствий культа личности в идеологии, воспитание трудящихся в духе коммунистической морали и борьба с пережитками в сознании людей, решительная борьба против влияния буржуазной идеологии. Советский народ с энтузиазмом выполняет предначертания партии, однако художественная интеллигенция, особенно ее молодой отряд, подвержена заразе капиталистической пропаганды.

Но пути нашей творческой молодежи не перекрыты намертво: вскоре тем же стотысячным тиражом в издательстве «Советский писатель» выходит «Нежность», девятая (!) книга Евтушенко, о которой много и хорошо пишут в 1962-м: Ст. Лесневский в «Известиях» от 3 октября, С. Чудаков в «Огоньке», № 44.

Эпистолярный Евтушенко разбросан и, кажется, не слишком велик. Прочтем одно из писем молодого поэта. К солидному редактору: В. А. Косолапову.

*«HOTEL CURACAO
Intercontinental
plaza piar, Willemstad,
Curacao, Netherlands*

*Antilles
Tel. 12 500 cable address
inhotelcor Curacao*

Дорогой Валерий Алексеевич!

Посылаю Вам новые стихи. Прошу к ним отнестись с нежностью — то есть напечатать.

Ежели они будут быстро напечатаны, и Вы сообщите мне об этом телеграммой, то я буду периодически Вам высылать новые стихи о Кубе, т. к. ясно представляю, что «Правда» будет еще долгое время перегружена послесъездовскими материалами.

Я не случайно посылаю эти стихи именно Вам, т. к. думаю, что опубликовать их было бы хорошо после всей глупой шумихи. Но — как говорил Сергей Александрович Есенин, «Все пройдет, как с белых яблонь дым». И как многократно подтверждает история, он был удивительно прав.

Теперь одна просьба. Если эти стихи Вы опубликуете и другие присылаемые мной стихи будете тоже публиковать, очень прошу каким-либо образом без задержки выплачивать гонорар моей жене Галине Семеновне Евтушенко. Ее телефоны И-19318 или В-74593.

А то, как я подозреваю, она без копейки денег. Я знаю, что Вы добрый, хороший человек и только поэтому обременяю Вас этой прозаической просьбой.

Итак, я жду Вашей телеграммы относительно этих стихов и будущих.

Крепко жму руку Вам и всем друзьям.

Привет также друзьям из газеты «Литература и жизнь» — кажется, так она называется.

Ваш, иногда без умысла подводящий Вас Евг. Евтушенко.

Мой адрес: CUBA HABANA

HOTEL HABANA LIBRE 1726».

Писано 31 января 1962 года.

В конце марта 1962 года Дмитрий Шостакович звонит Евтушенко. Жена Галя не верит телефонному голосу, представляющемуся композитором, и бросает трубку.

— Звонил какой-то странный кадр и представился Шостаковичем...

Шостакович перезванивает, поэт подходит к телефону. Шостакович просит разрешения написать музыку на «Бабий Яр», и тут оказывается, что «одна штука» уже готова. Евтушенко с женой приезжают к Шостаковичу

домой. Он играет на рояле и поет «одну штуку» — вокально-симфоническую поэму «Бабий Яр».

«...пел он тоже гениально — голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу. Судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: «Ну как?»

Затем начинается и идет работа над Тринадцатой симфонией: последовали другие части разрастающегося сочинения — «Юмор», «В магазине», «Страхи» и «Карьера», стихи того же автора. Вещь стала пятичастной.

Восьмого июня Шостакович пишет Евтушенко: «Все стихи прекрасны... Когда завершу 13 симфонию, буду кланяться Вам в ноги за то, что Вы помогли мне «отобразить» в музыке проблему совести...»

Восемнадцатого декабря 1962 года состоялась премьера в Московской консерватории, играл филармонический оркестр под управлением Кирилла Кондрашина, певец Виталий Громадский. Когда музыка замолкла, зал загремел овацией и встал.

«И вдруг он (Шостакович. — И. Ф.) ступил на самый край сцены и кому-то зааплодировал сам, а вот кому — я не мог сначала понять. Люди в первых рядах обернулись, тоже аплодируя. Обернулся и я, ища глазами того, кому эти аплодисменты были адресованы. Но меня кто-то тронул за плечо — это был директор Консерватории Марк Борисович Векслер, сияющий и одновременно сердитый: «Ну что же вы не идете на сцену?! Это же вас вызывают...» Хотите — верьте, хотите — нет, но, слушая симфонию, я почти забыл, что слова были мои — настолько меня захватила мощь оркестра и хора, да и действительно, главное в этой симфонии — конечно, музыка.

А когда я оказался на сцене рядом с гением и Шостакович взял мою руку в свою — сухую, горячую, — я все еще не мог осознать, что это реальность...»

Сохранились фотографии: то самое рукопожатие, а также снимок, где всю руку Шостаковича от локтевого сгиба вниз обняла рука Евтушенко.

Идеологический отдел ЦК КПСС внес предложение в Секретариат ЦК КПСС: «Ограничить исполнение 13-й симфонии Шостаковича». Ограничили.

В июле — августе 1962 года прошел Всемирный фестиваль молодежи в Хельсинки.

«Это были очаровательные и сумасшедшие дни, упоительно зараженные разрушительными микробами наивной веры в революционное всемирное братство, когда молодой, еще малоизвестный Жак Брель, ставший потом моим другом, пел на советском пароходе; когда попавший, кажется, впервые за границу Муслим Магомаев, обсыпанный юношескими прыщиками, в чем-то одолженном концертном пиджаке с явно короткими рукавами, исполнял мою только что запевшуюся песню «Хотят ли русские войны?» в финской школе, превращенной в общежитие французской делегации; когда по улицам в обнимку ходили израильтяне и арабы; когда кубинцы и американцы хором вместе кричали «Куба — си, янки — си!», а у меня была любовь с одной юной, очень левой калифорниечкой, как и я только что возвратившейся с Кубы в полном восторге.

Мы с ней были влюблены не только друг в друга, но за компанию и в Фиделя Кастро и могли общаться лишь на третьем языке — испанском. Это, впрочем, не помешало нам однажды ночью любить друг друга на траве какого-то незнакомого нам хельсинкского парка, а проснувшись утром, мы весело расхохотались, зажимая рты, потому что, оказывается, провели ночь прямехонько напротив очень важного дворца, где, как истуканы, застыли двое солдат. Меня поразило то, что у моей левой калифорниечки на черном чулке была обыкновенная дырка, в которую выглядывал розовый веселый глаз ее пятки, словно у какой-нибудь московской девчонки из Марьиной Рощи. <...>

Московской девушке-балерине, танцевавшей на открытой эстраде в парке, разбили колено бутылкой из-под кока-колы, а в ночь перед открытием фестиваля хулиганы подожгли русский клуб. От пристани, где мы жили на теплоходе «Грузия», в пахнущую пожаром ночь то и дело уносились советские автомобили, набитые спортсменами и агентами КГБ.

Покидать борт теплохода было строжайше запрещено, однако мне удалось улизнуть. На берегу меня ждала моя калифорниечка, на сей раз заштопавшая дырку на своем чулке. И это меня тоже поразило, ибо я был тогда уверен в том, что американки чулки не штопают, а просто их выбрасывают.

...я впервые лицом к лицу столкнулся с политическим расизмом в действии, когда фашиствующие молодчики пытались разгромить советский клуб».

В результате разнообразных страстей появилось стихотворение «Сопливый фашизм», тотчас напечатанное в «Правде» и зарубежных

изданиях и таким образом облетевшее весь глобус.

Кубинская болезнь Евтушенко переходит в звездную.

В родной «Юности» веселая Галка Галкина (Виктор Славкин) тиснула эпigramму:

То бьют его статьею строгой,
То хвалят двести раз в году,
А он идет своей дорогой
И... бронзовеет на ходу.

К нему испытывают интерес в обеих Германиях. Весной в Кельне он познакомился с Генрихом Бёллем, и на память осталось фото, где будущий нобелевский лауреат (1972) держит зажженную спичку перед сигаретой прикуривающего Евтушенко. Бёлль симпатизирует России, прошел войну, много видел и не имеет шор при взгляде на СССР, ему близок Солженицын, и через 12 лет он будет первым европейцем, встретившим изгнанника в Европе, и поселит его у себя в имении в деревне Лангенбройх, расположенной на изумрудном холме неподалеку от Кельна.

Летом 1962 года в ГДР вышла первая зарубежная книжка Евтушенко: «Со мною вот что происходит», издательство «Фольк унд вельт» (Mit mir ist folgendes geschehen. Russisch/ Deutsch. Übers.: Franz Leschnitzer. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1962, 166 S).

В предисловии Франца Лешницера говорилось: «Одни считают его новым Маяковским, другие — фрондером, крикуном. В Москве дерутся за входные билеты на выступления Евтушенко... Когда Евгений Евтушенко читает свои стихи, самый большой зал бывает переполнен друзьями и противниками молодого лирика. Тогда идет такая борьба за сидячие места, что приходится нередко вмешиваться милиции. Давно уже его имя стало понятием и за пределами Советского Союза, его стихи переведены на многие языки. Настоящее издание включает избранное <...> этого неистового поэта советской молодежи».

Но он и там заварил кашу, хотя и не своими руками.

В газете «Нойес Дойчланд» появилась статья Гюнтера Кертишера «Святая простота, или Философия Евтушенко. Об идеологическом сосуществовании». На родине Маркса автор статьи следует установке, спущенной с самого верха, то есть из Москвы, где утверждали, что при просто мирном сосуществовании двух систем не может быть сосуществования идеологического. «По Евтушенко получается: на одной

стороне находятся добрые люди всех государственных систем. Это не имеет ничего общего с марксизмом. Это, вероятно, можно назвать анархизмом».

Можно.

Можно сказать — можно всё. За рубежом на него смотрят как на облеченного некими государственными полномочиями посланца Кремля. Он и сам ощущает нарастание в себе сей державной воли.

«В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив ей все принадлежавшие ему картины, — лишь бы ему дали скромный домик в родном Витебске. Шагал передал мне свою монографию с таким автографом для Хрущева: «Дорогому Никите Сергеевичу с любовью к нему и нашей Родине». (Первоначально на моих глазах Шагал сделал опisku — вместо «к нему» стояло «к небу».) Помощник Хрущева В. С. Лебедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел передать эту книгу Хрущеву. «Евреи, да еще летают...» — раздраженно прокомментировал он репродукцию, где двое влюбленных целовались, паря под потолком».

Двадцать девятого августа 1962 года в СССР приехал Роберт Фрост — по приглашению Хрущева: уровень приглашения соответствовал статусу восьмидесятивосьмилетнего поэта, увенчанного всеми литературными и государственными лаврами США, принимаемого в Белом доме. Мировые и советские СМИ обошел фотоснимок: американского патриарха подпирают с боков Твардовский и Евтушенко. Встреча на вокзале. Символизм по-советски: единение поколений. Кстати, три года назад (в 1959-м) доклад памяти Лермонтова в Колонном зале делал двадцатисемилетний Евтушенко.

Это интересно в свете фростовского самоистолкования: «Я не могу согласиться с теми, кто считает меня символистом, особенно таким, который занимается символизмом предумышленно...<...> Символизм вполне способен закупорить стих и уничтожить его. Символизм может быть так же опасен, как эмболия. Если нужно как-то окрестить мою поэзию, я предпочел бы называть ее эмблематизмом. Живая эмблема явлений — вот предмет моих поисков».

Фрост попросил о встрече с Ахматовой, ему пошли навстречу: классики пообщались 4 сентября. Ахматова вспоминала:

Не у меня же в будке его принимать. Потемкинскую деревню заменила дача академика Алексеева. Не знаю уж, где достали такую скатерть, хрусталь. Меня причесали парадно, нарядили,

все мои старались. Потом приехал за мной красавец Рив, молодой американский славист. Привез меня заблаговременно. Там уже все волнуются, суетятся. И я жду, какое это диво прибудет — национальный поэт. И вот приходит старичок. Американский дедушка, но уже такой, знаете, когда дедушка постепенно становится бабушкой. Краснолицый, седенький, бодренький. Сидим мы с ним рядом в плетеных креслах, всякую снедь нам подкладывают, вина подливают. Разговариваем не спеша. А я все думаю: «Вот ты, милый мой, национальный поэт, каждый год твои книги издают, и уж, конечно, нет стихов, написанных «в стол», во всех газетах и журналах тебя славят, в школах учат, президент как почетного гостя принимает. А на меня каких только собак не вешали! В какую грязь не втапывали! Все было — и нищета, и тюремные очереди, и страх, и стихи, которые только наизусть, и сожженные стихи. И унижение, и горе. И ничего ты этого не знаешь и понять не мог бы, если бы рассказать... Но вот сидим мы рядом, два старичка, в плетеных креслах. И словно бы никакой разницы. И конец нам предстоит один. А может быть, и впрямь разница не так уж велика?»

Ахматова прочла ему «Последнюю розу» с эпиграфом из неизвестного поэта И. Б.: «Вы напишете о нас наискосок».

У Евтушенко с Ахматовой — не сложилось, а однажды был такой случай:

«...на дне рождения вдовы расстрелянного еврейского поэта Маркиша — Фиры я целый вечер сидел рядом с молчаливой, одетой во все черное старухой, пил и болтал пошлости, будучи уверен, что это какая-нибудь провинциальная еврейская родственница. Помню, эта старуха, видимо, не выдержав моей болтовни, встала и ушла.

— О чем вы говорили с Анной Андреевной? Я ведь вас нарочно посадила рядом... — спросила Фира.

— С какой Анной Андреевной? — начиная холодеть и бледнеть, спросил я, все еще не веря тому, что произошло.

— Как с какой? С Ахматовой... — сказала Фира».

У Лидии Корнеевны Чуковской, в знаменитых «Записках об Анне Ахматовой» скрупулезно фиксирующей ее настроения, заметно, что сквозь ахматовские реплики просвечивает озабоченность собственной славой.

И слава лебедем плыла

Сквозь золотистый дым...

Чуковская записывает:

29 октября 1960

29 октября 60 ЛГ опубликовала 4 стихотворения Ахматовой: «Музу» («Как и жить мне с этой обузой»), «И в памяти черной пошарив, найдешь», «Эпиграмму» и «Тень».

...Мы выпили по бокалу шампанского в честь ЛГ. Да, «Литературной газеты»! Гослит не осмеливается печатать ненапечатанные стихотворения Ахматовой — ну так вот, накося выкуси, они теперь напечатаны.

...Выглядит Анна Андреевна дурно, движется неловко: тучна. Пока сидит — плечи, профиль, серебро волос и рука у щеки — она прекрасна и никакой ей младости не надо, но встает из-за стола по-стариковски, с трудом пробираясь между столом и диваном, большая, широкая.

Стихи имеют успех. Звонил с восторгом Евтушенко и еще кто-то.

1 июля 1961

Я спросила, читала ли она в «Литературной газете» статью Сарнова об Евтушенко и Вознесенском. Она статьи не читала, а о Евтушенко и Вознесенском отозвалась неблагоприятно и как о личностях и как о поэтах.

Я спорить не собираюсь: ни Вознесенского, ни Евтушенко вообще никогда и в глаза не видывала. Стихи Вознесенского не воспринимаю, а в Евтушенко — «в этом теплится что-то». Писать стихи он не умеет, но что-то живое есть... А впрочем, я не вчитывалась.

— Начальство их недолюбливает, — сказала я.

— Вздор! Их посылают на Кубу! И каждый день делают им рекламу в газетах. Так ли у нас поступают с поэтами, когда начальство не жалуется на них в самом деле!..

Евтушенко напишет в эссе «...И голубь тюремный пусть гулит вдали» (1988):

«Я не стремился познакомиться с Ахматовой — для меня это было так же странно, как оказаться в машине времени, которая перенесла бы

меня в дореволюционную Россию. Мне было достаточно нескольких случаев, когда я наблюдал Ахматову издали, без аффектированного благоговения, но с безмерным почтением, как случайно уцелевшую реликвию. Однажды, правда, я не удержался и все-таки позвонил ей, на квартиру Ардову, когда ее публикация в «Литературной газете» потрясла меня такими простыми, волшебными строками о Пушкине:

*Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножской называть?..*

Анна Андреевна охладила своей снисходительной королевской высокомерностью мои неумеренные восторги: «Ну что вы, право, теряете ваше драгоценное время, отрывая себя от ваших столь популярных выступлений и даря внимание старой одинокой женищине...» Что-то в этом роде незлобиво язвительное, а точнее говоря, вежливо уничтожающее. Но я на нее не обиделся — мне было довольно и того, что я говорил с Ахматовой. Георгий Адамович мне впоследствии рассказал, что, когда он спросил в Париже мнение Ахматовой о моих стихах, она слегка поморщилась: «А, это что-то связанное со стадионами...» Тогда Адамович ее попытался смягчить: «Анна Андреевна, ну он же все-таки талантлив...» Королева русской поэзии резко бросила: «Ну если бы совсем не был талантлив, неужели вы думаете, что я бы помнила его имя...».

Некоторые люди считают, что Евтушенко в разговорах о себе — как бы это сказать — привирает в сторону самопреувеличения. Наверно, не без того, но далеко не всегда. Слово Георгию Адамовичу («Воспоминания»):

В разговоре я назвал имя Евтушенко. Анна Андреевна не без пренебрежения отозвалась об его эстрадных триумфах. Мне это пренебрежение показалось несправедливым: эстрада эстрадой, но не все же ею исчерпывается! Ахматова слегка пожала плечами, стала возражать и наконец, будто желая прекратить спор, сказала: — Вы напрасно стараетесь убедить меня, что Евтушенко очень талантлив. Это я знаю сама.

Очень талантлив. Слово сказано. Можно даже сказать, что Евтушенко несколько умерил ахматовскую оценку его таланта.

Двадцать первого октября 1962 года «Правда» печатает «Наследники Сталина». Как и в случае с «Бабьим Яром», эта вещь была подстрахована подушками безопасности, на сей раз так: впереди — перевод с таджикского Мирсаида Миршакара «Программа нашей партии ясна», а с тылу — «Винтик» Ярослава Смелякова. Со смеляковской выстраданной вещью редакции не стоило бы так цинично поступать.

Год назад, в ночь на 31 октября, сталинский гроб вынесли из мавзолея.

«В 1962 году, после выноса тела Сталина из мавзолея, я написал стихотворение «Наследники Сталина». Напечатать его было почти безнадежно. Когда я показал его Твардовскому, он сказал с мрачноватой иронией: «Спрячьте-ка лучше вашу антисоветчину в дальний ящик стола и никому не показывайте...»

...Я работал на Кубе вместе с Калатозовым и Урусевским, когда разразился Карибский кризис. Прилетевший для переговоров с Фиделем Микоян на официальном приеме вынул из кармана привезенную им свежую «Правду»:

— Вот как меняются времена, товарищ Фидель. Раньше бы за такие стихи этого молодого поэта посадили бы...

Это было мое стихотворение «Наследники Сталина», напечатанное ровно за день до Карибского кризиса».

Безмолвствовал мрамор.
Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул,
на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился.
Дыханье из гроба текло,
когда выносили его
из дверей Мавзолея.
Гроб медленно плыл,
задевая краями штыки.
Он тоже безмолвным был —
тоже!
но грозно безмолвным.
Угрюмо сжимая набальзамированные кулаки,
в нем к щели глазами преник

человек, притворившийся мертвым.
Хотел он запомнить
всех тех, кто его выносил, —
рязанских и курских молоденьких новобранцев,
чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил,
и встать из земли,
и до них, неразумных, добраться.
Он что-то задумал.
Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить,
утроить у этой плиты караул,
чтоб Сталин не встал
и со Сталиным — прошлое.
Мы сеяли честно.
Мы честно варили металл,
и честно шагали мы,
строясь в солдатские цепи.
А он нас боялся.
Он, верящий в цель, не считал,
что средства должны быть достойными цели.
Он был дальновиден.
В законах борьбы умудрен,
наследников многих
на шаре земном он оставил.
Мне чудится —
будто поставлен в гробу телефон.
Энверу Ходжа
сообщает свои указания Сталин.
Куда еще тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не умер.
Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли
из Мавзолея
его.
Но как из наследников Сталина
Сталина вынести?
Иные наследники розы в отставке стригут,
но втайне считают,

что временна эта отставка.
Иные
и Сталина даже ругают с трибун,
а сами
ночами
тоскуют о времени старом.
Наследников Сталина,
видно, сегодня, не зря
хватают инфаркты.
Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время,
в котором пусты лагеря,
а залы,
где слушают люди стихи,
переполнены.
Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся!» —
спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина живы еще на земле,
мне будет казаться,
что Сталин — еще в Мавзолее.

Стихи пафосно юношеские, далекие от совершенства, риторика в духе лермонтовской оды-инвективы «Смерть поэта», — да, и в 30 лет Евтушенко оставался юношей. Но образ телефонирующего упыря вытесан мощно.

Разразились шум и ярость в параметрах Вселенной.

Сюжет появления «Наследников» в печати довольно конспирологичен. Евтушенко передал стихотворение помощнику Хрущева В. Лебедеву, тот потребовал некоторой правки, на которую автор пошел, после чего Лебедев, на выезде в Абхазию, вовремя показал текст шефу — и «Наследники» полетели на военном самолете в Москву и приземлились на странице «Правды».

Первые последствия — самые смешные: группа партийных товарищей, не ведая об абхазской подробности, написала Хрущеву жалобу на главреда «Правды» П. Сатюкова (благородная седина, хороший костюм, галстук-бабочка), на предмет сомнительной публикации.

Так или иначе, ходил апокриф — Хрущев на цеховском сборище сказал:

— Если Солженицын и Евтушенко — антисоветчина, то я — антисоветчик.

Время уплотнилось, события нарастают. В «Новом мире» (1962. № 11) напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это публикации было беспримерным.

В декабре 1962 года Евтушенко знакомится в Доме приемов с Хрущевым и Солженицыным.

«...в правительственном Доме приемов я видел, как познакомились два героя двадцатого века.

Первый из них был Хрущев и второй — Солженицын.

Это произошло на мраморной лестнице, застеленной красным ковром, похожим на подобострастный вариант красного знамени, распростершегося под мокасынами фирмы «Балли» с прорисовывавшимися сквозь их нежную перчаточную кожу подагрическими буграми ног членов Политбюро.

— Никита Сергеевич, это тот самый Солженицын... — сиял от гордости хрущевский помощник Лебедев, как будто он сам носил писателя девять месяцев в своем материнском лоне и самолично родил его на свет Божий. Ни отцом, ни матерью Солженицына на самом деле он не был, тем не менее сыграл роль повивальной бабки в судьбе его первой повести «Один день Ивана Денисовича».

Я уловил, что Хрущев, пожимая руку Солженицыну, вглядывался в его лицо с некоторой опаской.

Солженицын, против моих ожиданий, вел себя с Хрущевым вовсе не как барачный гордец-одиночка с лагерным начальником.

— Спасибо, Никита Сергеевич, от имени всех реабилитированных... — сказал он торопливо, как будто боясь, что ему не дадут говорить.

— Ну, ну, это ведь не моя заслуга, а всей партии... — с трудно дававшейся ему скромностью пожал плечами Хрущев, на самом деле так и маслясь от удовольствия. Он полюблял Солженицына и повел его по лестнице вверх, показывая всем это «полуобъятие» как якобы символ братания власти и свободомыслящей интеллигенции».

Сделаем отступление, вот именно лирическое. Ровно в то же время другой поэт высказался о том, что тревожит всех.

Так мстят разоблаченные кумиры.

...Еще толпясь, еще благоговей,

курсанты, и они же конвоиры,

державный прах несли из мавзолея.

Тяжелый прах! Ломала строй охрана.
Карболкой пахла ссыльная могила.
Как говорили некогда, тирана
земля не носит. А земля носила!

В последний путь шагал он к свежей яме,
шагал, как ходят в гости на погосте,
шагал вперед ногами — сапогами,
надетыми на две берцовых кости.

А город спал, не зная, что в закладе
держало время камень за душою.
И опустили. И на циферблате
сомкнулись стрелки — малая с большою.

Так замыкался круг: и день вчерашний,
и завтрашний. И поминальным громом
куранты били с полунощной башни —
над городом, над площадью, над гробом...

Олег Чухонцев.

Он был моложе на шесть лет, по-другому понимал роль поэта, заранее уйдя в тень, вне света юпитеров. Возможно, это было полемикой с автором «Наследников Сталина».

Есть как минимум два типа литературного поведения поэта — евтушенковский и чухонцевский. Сопоставление обоих стихотворений свидетельствует о том, что одно не исключает другого.

Дуумвират Евтушенко — Вознесенский выделился из группы, достаточно стойкой в глазах критики, да и самих поэтов, относящихся и не относящихся к этой группе: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, Окуджава. Последнее имя еще колебалось, мерцало, не устоялось.

Двадцатичетырехлетний Чухонцев поднимается на статью, чуть не манифестационную (Юность. 1962. № 12). Он рисует — статья называлась громко: «Это мы!» — несколько иную конфигурацию:

Лет пять-шесть назад еще могли объединять Евтушенко, Рождественского, Ахмадулину, Панкратова в отдельное поэтическое направление. Сегодня такое объединение было бы смешно. Квартет распался. Выиграла от этого поэзия? Безусловно.

Чухонцев был одним из консультантов (их было четверо) в отделе поэзии «Юности». Бок о бок с ним в той же должности трудился Юрий Ряшенцев. На его памяти это было так:

Трудно представить себе популярность журнала «Юность» в шестидесятые — семидесятые годы. Мы получали, в среднем, двести писем в день только в отдел поэзии. Ни Маяковский, ни Симонов не имели такой почты. Каждое десятое письмо было Евгению Евтушенко или Андрею Вознесенскому.

В своей статье Чухонцев неназойливо упирает на творческую независимость. Образец Чухонцева — Леонид Мартынов. Аналогию этому единственному, отдельному пути Чухонцев видит в новых лицах — в Фазиле Искандере, Науме Коржавине, Леониде Завальнюке. Незаметно для себя Чухонцев мысленно создал другую группу.

Причина была. Поистине массовый наплыв поэтической молодежи, который надо было хоть как-то структурировать. Евтушенко неумолимо вырвался вперед, с него и начинали. Место Ю. Панкратова в том пресловутом списке мог занять то В. Цыбин, то С. Поликарпов, то еще кто-то, но впереди был все равно он, Евтушенко. Все ругатели сошлись на евтушенковском «Нигилисте», вещице не ахти какой, но содержащей портретный эскиз нового героя времени:

Носил он брюки узкие,
читал Хемингуэя.
«Вкусы, брат, нерусские...» —
внушал отец мрачней.

Спорил он горласто,
споров не пугался.
Низвергал Герасимова,
утверждал Пикассо.

И так далее, то есть парень был почти плохой, не совсем наш, но случилось так, что он погиб, товарища спасая. Ревнителям советского образа жизни такой типаж не понравился, его создатель — тоже. Мнилась апологетика нигилизма.

Евтушенко и сам испытывает к новому герою чувство неоднородное, можно сказать — классовое, что-то такое зиминско-марьинорощинское, еще с послевоенных времен, с конца сороковых — начала пятидесятых, когда в Москве начали появляться первые богатые дети.

«Это была узкая каста сыновей академиков, известных композиторов. Они одевались только во все заграничное: длинные, похожие на полупальто пиджаки с могучими ватными плечами, яркие попугайские галстуки, вишневые ботинки на белой каучуковой подошве. Длинные волосы были густо смазаны бриолином. Они разъезжали на отцовских машинах и развлекались в обществе манекениц. Этот клан получил впоследствии хлесткое прозвище «стиляги». Их манера одеваться, танцевать была своего рода протестом против стандартизации, но протестом карикатурным. Пристанищем «стиляг» был коктейль-холл на улице Горького. В 1954 году после кровавого преступления в клане «стиляг» коктейль-холл был объявлен «рассадником буржуазного образа жизни» и закрыт. Дружинники вылавливали оставшихся «стиляг» на танцплощадках и сражались при помощи ножниц со слишком длинными волосами и слишком узкими брюками и строго следили за идеологической выдержанностью танцев. «Стиляги» исчезли. Но падекатр и краковяк не привились на танцплощадках. Молодежь упрямо танцевала рок-н-ролл.

Окончательный перелом во вкусах произошел в 1957 году во время фестиваля молодежи, когда многотысячные толпы иностранцев впервые хлынули на улицы Москвы, смешиваясь с молодыми москвичами. Когдато в сатирическом журнале «Крокодил» кока-кола и пепси изображались как «буржуазный яд»...

Нет, евтушенковский нигилист — не стиляга, не послевоенный барчук, не золотая молодежь и не сливки общества. Обычный парень, но уже такой, каких раньше не было. В какой-то мере это, конечно, автопортрет.

Каким должен быть джентльмен, он увидит позже: «Сегодня, в день своего рождения, сенатор (Роберт Кеннеди. — И. Ф.) был в ярко-зеленом пиджаке, малиновом галстуке-бабочке, веселеньких клетчатых брюках и легких замшевых башмаках».

Пока идут шумные баталии вокруг шумных поэтов, в издательстве «Советский писатель» выходит небольшая (142 странички, тираж 6 тысяч

экземпляров) книжка Арсения Тарковского «Перед снегом», и еще мало кто догадывается, что в русской поэзии советского периода исподволь начинается новая эпоха.

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил морскую синь
И суп варил из мидий.

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют, как Мариула.

И потому семья
У нас не без уroda,
И хороша моя
Дунайская свобода.

Где грел он в холода
Лепешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

Строгий стих, кровно связанный с Серебряным веком, становится убедительной очевидностью, идя по своей отчетливой линии мимо эстрады, громоносных оваций, рекордных тиражей. Нет, Арсений Тарковский не прячется в башне из слоновой кости, он вполне публичен — ведет свою поэтическую студию в ЦДЛ, выступает на сцене, и не Евтушенко ему соперник, но — собственный сын Андрей, в августе того же года получивший Главный приз на Венецианском кинофестивале за «Иваново детство», и вот это был натуральный пир успеха на весь мир. Выход Тарковского к широкому — все-таки шесть тысяч человек — читателю стал материализацией чухонцевской мысли о независимой стезе поэта. Сам возраст автора первой книги — 55 лет — свидетельствовал о зрелости, необходимой текущему стихотворству.

Кстати, тиражи Тарковского резко увеличились в ближайшие годы, достигли 20 тысяч и выше, а книга 1987 года «От юности до старости» и

вообще вышла на, можно сказать, евтушенковский показатель: 50 тысяч! Это означало нового читателя. Не факт, что все эти 50 тысяч ушли от Евтушенко. Скорее всего, да. Но всяческая арифметика относительно поэзии — вещь зыбкая.

Через много лет, 23 августа 1996-го, Чухонцев оставит запись на предназначенной для помет странице одного из томов критических статей о Евтушенко за долгие десятилетия (собственноручно собранных, отпечатанных на пишмашинке и переплетенных Ю. С. Нехорошевым): «Есть цветы весенние, есть осенние. Евг. Евтушенко — весенний цветок нашей литературы, подснежник. Таким он для меня и останется».

Эти тома — их восемь, крупных и тяжелых, — делались даже не в подполье, но — глубоко под водой, в Мировом океане, в каюте без иллюминатора, в гудящей тишине, рядом с атомным реактором и оружием массового поражения. На той подлодке, где служил Нехорошев. Евтушенко был погружен в морские пучины, вокруг него кипели критические страсти.

Ну, раз уж мы заглянули в нехорошевскую кладовую, там найдем и такой автограф:

«Поэтов много, хороших людей куда как меньше, а Евтушенко — один из них — и перед Богом будет оправдан. И «Строфами века», которых без него *уж точно* не было бы. Ну, а также и стихами.

Но нехорошо свое место рождения скрывать: в Нижнеудинске чехи арестовали Колчака, это место для русского человека — священо.

Вот и все грехи Евтушенко.

25. VI. 1997 г. Е. Витковский».

Там же, рядом:

«Я счастлива, что мне довелось жить в эпоху поэта Евтушенко. 12 августа 1997. И. Лиснянская».

Общий привет цветов осенних — весеннему.

Но вернемся в шестидесятые.

Группа товарищей во главе с секретарем по идеологии ЦК Л. Ф. Ильичевым, настропаемым серым парткардиналом, негибачаемым

сталинистом М. А. Сусловым, готовит акцию, которая убедила бы Хрущева в серьезности антисоветских процессов, происходящих в среде художественной интеллигенции, тем более что Хрущев уже вроде бы настроился и цензуру отменить. Состоялось его посещение выставки в Манеже 1 декабря 1962 года. Хрущев смотрел на вещи новых художников, как на новые ворота, и кричал о «пидорасах». Всего этого показалось мало.

Собрали интеллигенцию 14 декабря. Солженицын незаметно, на коленях, записал фрагменты хрущевской речи-импровизации: «Сионисты облепили товарища Евтушенко, использовали его неопытность... Анекдот: великий поэт, как ваше здоровье? Лесть — самое ядовитое оружие...»

1963 год стал первым пиком «чрезмерного» успеха Евтушенко. Хронология этого года достойна подробного цитирования.

Год начался для Евтушенко с публикации его прозы — журнал «Молодая гвардия», № 1, рассказ «Куриный бог». Это его вторая проза — четыре года назад «Юность» поместила рассказ «Четвертая Мещанская», о котором в превосходных степенях отзывался классик советской прозы Валентин Катаев в речи на 3-м съезде писателей СССР:

Совсем недавно уже достаточно известный и, по-моему, выдающийся молодой поэт Евгений Евтушенко выступил у нас (в журнале «Юность». — И. Ф.) со своим первым рассказом «Четвертая Мещанская», — рассказ на редкость хорош как по форме, так и по содержанию. Всего несколько страничек, а такое впечатление, что прочел повесть, даже небольшой роман...

Василий Аксенов — это сегодня звучит как минимум экзотично — истолковывал успех поэтов с колокольни прозаика.

Я часто думал: почему так получилось в конце концов, что прозаики были всегда во втором эшелоне? А потом произошло нечто парадоксальное: поэты были ассимилированы в конце концов властью. А прозаики вступили в полный и непримиримый конфликт с соцреализмом, стало быть, и с правящей идеологией. И я пришел к выводу, что такая ситуация возникла в результате жанровой специфики. Поэзия, все-таки, это монолог. Монолог этой властью принимался гораздо легче, чем полифония. А роман, к которому мы приближались, роман — это полифония. И это категорически не воспринималось соцреализмом. Подспудно,

подсознательно не воспринималось и отвергалось. Они уже привыкли, что Ахмадулина вот так вот говорит. И это ее голос. Но привыкнуть к роману, где все говорят на разные лады, — это невозможно.

А не ревность ли это? Элементарная. А ревновать — почвы для этого, в общем-то, не было. Юрий Ряшенцев вспоминает:

Василий Аксенов рассказывал: однажды, по каким-то своим литературным делам, он оказался в одной среднеазиатской столице, на аэродроме, где ждал самолета в Москву. В ожидании зашел в ресторан. Ресторан был полон. Официант пристроил его к какому-то столу, за которым царил лейтенант, москвич или выдававший себя за москвича, — в ту пору это вызывало у провинциалов интерес, а не ненависть. Лейтенант, между тостами, увлекал присутствующих эпизодами из жизни своего двора, «в самом центре Москвы, на Стромынке» (!). По его словам, там жили и Евтушенко, и Окуджава, большие алкаши, которых хлебом не корми — дай выпить с автором этих баек.

Аксенов слушал, слушал и наконец не выдержал.

— Что ты все врешь?

За столом затихли, впервые обратив внимание на какого-то подсаженного к ним и при этом так нагло заявившего о себе пассажира. Лейтенант привстал.

— А ты кто сам-то будешь? — поинтересовался он у незнакомца.

Запахло дракой.

— Я сам буду Василий Аксенов.

Долгая пауза. Затем совершенно неожиданно:

— Над чем сейчас работаешь, Вася?

Конфликт погас, едва начавшись. Читатель в советское время — святой персонаж. Его бить никак нельзя!

«Куриный бог» — трогательная вещица, со всеми чертами евтушенковских стихов той же поры: слезная исповедь, безутешная страсть к далекой женщине, любовь к себе (в образе восьмилетней девочки-подруги), надежда на счастье, трепет пред грубой реальностью существования на фоне неправдоподобно прекрасного мира, схваченного острым фотографическим глазом.

«Море темнело и темнело. Облака то судорожно сжимались, то устало вытягивались, то набегали одно на другое, делаясь одним гигантским облаком, то распадалось. И внезапно среди этого непрерывного объединения и распада я увидел мужское незнакомое и в то же время очень знакомое лицо с умными страдающими глазами. Это лицо тоже все понимало. Я глядел на него, словно загипнотизированный, вцепившись пальцами в траву, пробивавшуюся из расщелин скалы.

Лицо вдруг исчезло.

Я долго искал его взглядом, и снова из витиеватого движения облаков возникло лицо — на этот раз женское, но с такими же точно глазами.

Оно тоже все понимало.

Потом лицо стало мужским, потом снова женским, но это было одно и то же лицо — лицо великой двуединой человеческой доброты, которая всегда все понимает.

Мне было и страшно, и хорошо.

Это страшно и хорошо еще долго продолжалось во мне и после того, когда вокруг стало настолько темно, что в колышущихся очертаниях облаков ничего невозможно стало различить, даже если что-то и было».

Хорошая проза. Рука поэта.

В рассказе произошло то, что станет навсегда одной из существеннейших характеристик Евтушенко-художника: отсутствие жесткой работы с композиционными акцентами, их сдвиги и смещения, невольные скорее всего. На первый план вышел невинный курортный роман с нимфеткой. Некая помесь Гайдара с Набоковым, в пользу первого.

В подсюжете рассказа — мужнин мордобой возлюбленной героя и подоплека всего этого. Узнаются конкретные прототипы и одного мужа, и любовника жены — известные советские поэты М. Л. и А. М.

Среди стихотворений 1957 года есть «Маша». Прототипу героини, дочери Маргариты Алигер от Александра Фадеева, 13–14 лет, но без особой натяжки эту девочку можно увидеть и в «Курином боге». Такие стихи:

И у меня пересыхает нёбо,
когда, забыв про чей-то взрослый суд,
мальчишеские тоненькие ноги
ее ко мне беспомощно несут...

В раздумиях о вечности и смерти,
охваченный надеждой и тоской,

гляжу сквозь твое тоненькое сердце,
как сквозь прозрачный камушек морской.

Реальная Мария Алигер-Энценсбергер покончила с собой в октябре 1991 года после того, как вернулась в Лондон, где она жила, из посещенной ею Москвы августовского путча.

В евтушенковской жизни был еще один отголосок «Куриного бога», страшно кончившийся, но начавшийся так:

На перроне, в нестертых следах Пастернака
оставляя свой след,
ты со мной на прощанье чуть-чуть постояла,
восьмилетний поэт.

Я никак не пойму — ну откуда возникла,
из какого дождя,
ты, почти в пустоте сотворенная Ника,
взглядом дождь разведа?

(«Восьмилетний поэт»)

Это будет намного позже (в 1983-м). Евтушенко играл на грани возможного. Ника Турбина. Он сотворил ее почти в пустоте. Она поверила ему, написав позже:

Вы — поводырь,
А я — слепой старик.
Вы — проводник.
Я — еду без билета.
И мой вопрос
Остался без ответа,
И втоптан в землю
Прах друзей моих.
Вы — глас людской.
Я — позабытый стих.

Все кончилось ее гибелью.

Грех — на всех, на нем тоже, и не в последнюю очередь.

Не он начал раскрутку ялтинского вундеркинда, болезненной девочки, в бессонные ночи диктовавшей стихи маме и бабушке. Открыл Нику Юлиан Семенов, отнюдь не поэт. Но это был евтушенковский сюжет, он вошел в игру, написал предисловие к ее первой книжке, вывез Нику на биеннале в Венецию, где она получила главный приз — «Золотого льва», последовало мировое турне, съемка в его фильме «Детский сад», суперпиар СМИ, переезд в Москву, а потом все оборвалось, стихи кончились, начались алкоголь, взросление и безумие, бред заблудившегося ребенка, выходящего с балкона или подоконника в пространство смерти. Каждый раз, летя вниз, она успевала зацепиться — то за дерево, то за тот подоконник.

Ей было 27, лермонтовский возраст, но стихов — давно не было.

Та часть интеллигенции, которую не зовут пред светлы очи государя, перемывает косточки всем участникам государственного перформанса. Лидия Корнеевна Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» прилежно фиксирует то, что происходит при дворе императрицы:

26 января 63

...Сегодня Анна Андреевна плохо слышит. Это бывает с ней — то лучше, то хуже. Сейчас — не из-за гриппа ли? Произнесла следующий монолог.

— Мне кажется, я разгадала загадку Вознесенского. Его бешеного успеха в Париже. Ведь не из-за стихов же! Французы стихов не любят, не то что иностранных — родных, французских. Там стихи печатаются в восьмистах экземплярах. Если успех — еще восемьсот. И вдруг — триумф! Русских, непонятных... Я догадалась. Вознесенский наверное объявил себя искателем новых форм в искусстве — ну, скажем, защитником абстракционистов, как Евтушенко защитник угнетенных. Может быть, и защитник, но не поэт. Эстрадники!

А меня их поэзия — или их эстрада? — как-то не занимает. Конечно, причину успеха интересно было бы исследовать. С социально-исторической точки. На Западе, говорит Анна Андреевна, не понимают по-русски, а стихов вообще не ценят. Пусть так! А в России понимают? По-русски? И ломаются на вечера Вознесенского и Евтушенко... В чем дело?

А в Питере ведь есть и свои поэты гражданской проповеди. Бродский вспоминал, что первым импульсом к его собственному стихописанию стало чтение стихов Владимира Британишского. Молодой читающий Питер знал дословно «Смерть поэта» (1956) Британишского:

Когда страна вступала в свой позор,
как люди входят в воду, — постепенно
(по щиколотку, по колено,
по этим пор...
по пояс, до груди, до самых глаз...),
ты вместе с нами шел,
но ты был выше нас.
Обманутый
своим высоким ростом
(или — своим высоким благородством?),
ты лужицей считал
гнилое море лжи.
Казались так близки
былые рубежи,
знамена —
так свежи!..
Но запах гнилости
в твои ударил ноздри.
Ты ощутил чутьем —
так зрение обостри!
И вот в глаза твои,
как в шлюзы,
ворвалась
вся наша будущность,
где кровь
и грязь
и власть —
все эти три — как названные сестры!
Твой выстрел —
словно звук захлопнутых дверей!
Хоть на пороге, но — остановиться,
не жить,
не мучиться проклятьем ясновидца!
Закрой глаза, поэт!

Захлопни их скорей!
Ты заслужил и жизнь и гибель сложную.
Собой ли, временем ли был обманут,
не сжился с ложью —
вымирай как мамонт!
Огромный, обреченный, честный мамонт.
Непоправимо честный.
Неуместный.

Британишский протягивает руку тени Маяковского при помощи Маяковского стиха, что не очень-то свойственно общеленинградской поэтической стилистике. Слышна и нота Слуцкого. Новый поэт в открытую идет на порядок вещей. И такие-то безобразия происходят под боком Большого дома на Литейном. Куда смотрят товарищи? Чего они медлят? Какая-то в державе датской гниль.

Восьмого марта 1963 года Хрущев выступает на кремлевской встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Похвалив Евтушенко за хорошее поведение в Париже, он пожурил его за неправильную информацию, данную им западной публике насчет «Бабьего Яра»: мол, «его стихотворение принято народом, а критиковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворение тов. Евтушенко критиковали коммунисты».

Евтушенко запомнилось другое.

«Когда в 1983 году в Георгиевском зале ^[3]—мне вручали Государственную премию за поэму «Мама и нейтронная бомба», которую Главлит (ведомство цензуры. — И. Ф.) безуспешно пытался запретить, я не слышал никаких поздравлений — мои барабанные перепонки, казалось, разрывались от эха улюлюканья, которое сотрясало этот зал в марте 1963 года».

На той встрече волосатый кулак побагровевшего Хрущева вознесся над головой бледного Вознесенского, вросшего в трибуну, речистый лидер поносил Аксенова с Неизвестным, и всем недовольным предлагалось покинуть территорию СССР.

Улюлюканье, о котором говорит Евтушенко, произошло накануне — 7 марта, когда Хрущев, открывая встречу, симпровизировал: на простом разговорном языке, в присущем ему народном регистре, налаживал контакт с залом в духе нешуточной партийной взыскательности. Он полагал, что

это и есть необходимая тональность общения с творцами.

Аксенов вспоминал:

63-й год стал переломным. Вот тогда они впервые нас всех разбросали. И очень успешно. Разбросали, расшвыряли, запугали хрущевскими встречами... И они требовали отречений... Вот тут и началось расслоение...

Вместе с новой женой, Галей, Евтушенко посещает Францию и ФРГ. Встречается с Пабло Пикассо, шансонье Жаком Брелем. Его принимают, помимо прочего, еще и как автора песни «Хотят ли русские войны», только что написанной совместно с Эдуардом Колмановским под непосредственным, можно сказать, руководством Марка Бернеса и в исполнении военного Ансамбля им. Александра мгновенно облетевшей земной шар.

Однако началось весеннее обострение. В середине марта западногерманский журнал «Штерн» и парижский еженедельник «Экспресс» почти одновременно напечатали евтушенковскую эссеистическую прозу — «Преждевременную автобиографию» (это название и нижеследующие цитаты — результат позднейшей авторской редакции; в «Экспрессе» публикация называлась «Автобиография рано созревшего человека». — И. Ф.).

Поднялась буря.

Отчего же?

Вот основные поводы к вселенскому возмущению.

«В 1954 году я был в одном московском доме, среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка голосом шестидесятилетней чревоушательницы сказала:

— Революция сдохла, и труп ее смердит.

И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула:

— Как тебе не стыдно! Революция не умерла. Революция больна. Революции надо помочь.

Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой.
<...>

Я давно хотел написать стихи об антисемитизме. Но эта тема нашла свое поэтическое решение только тогда, когда я побывал в Киеве и

воочию увидел это страшное место, Бабий Яр.

Я отнес стихотворение в редакцию «Литературной газеты» и прочитал его своему приятелю, работавшему там. Он немедленно побежал в соседние комнаты и привел коллег и заставил меня еще раз прочитать его вслух. Затем спросил:

— Нельзя ли было бы копию сделать? Я хотел бы, чтобы у меня было это стихотворение.

— И нам, и нам копии, — стали просить коллеги.

— То есть как копии? — недоуменно спросил я. — Я же принес его печатать...

Все молча переглянулись. Никому это даже в голову не приходило. Потом один из журналистов, горько усмехнувшись, сказал:

— Вот он, проклятый Сталин, как в нас еще сидит...

И подписал стихи в номер. <...>

Через несколько дней газета «Литература и жизнь» опубликовала стихи Алексея Маркова, написанные в ответ на «Бабий Яр», где я назывался пигмеем, забывшим про свой народ, а еще через три дня та же газета в обширной статье обвинила меня в том, что я попираю ленинскую интернациональную политику и возбуждаю вражду между народами. Обвинение чудовищнее и нелепее этого трудно было представить! И стихи А. Маркова, и статья вызвали огромную волну общественного возмущения. Я был завален письмами, идущими со всей страны.

Однажды утром ко мне пришли два молодых человека, роста примерно метр девяносто каждый, со значками «Мастер спорта» на пиджаках, и объяснили, что их прислала меня охранять комсомольская организация их института.

— Охранять? От кого? — удивился я.

Молодые люди смущенно пояснили мне, что, конечно, народ очень хорошо принял мое стихотворение, но у нас и сволочи тоже попадают. Так они сопровождали меня, как тени, несколько дней. Я потом поближе познакомился с ними, и выяснилось, что они сами вовсе не являются большими знатоками поэзии. Комсомольская организация выделила их по принципу физической силы — один из них был боксером, второй — борцом».

Девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого марта в Минске исполняли Тринадцатую симфонию. Пошли доносы в ЦК, им же организованные. «У нас нет еврейского вопроса, но его могут создать люди вроде Е. Евтушенко, И. Эренбурга, Д. Шостаковича».

Двадцать второго марта в «Известиях» С. Михалков пишет инвективу «Молодому дарованию» («Ты говорил, что ты опальный...»), а затем еще и

басню про Синицу: «Бездумной легкомысленной Синице Однажды удалось порхать по загранице. <...> Пожалуй за границу не стоит посылать Синицу!», — 4 июня в «Правде». Витальный, неутомимый был человек. Через некоторое время он публично — на сцене Большого зала ЦДЛ — спросит у Евтушенко, за сколько тот продался.

Запад реагировал по-своему. Газета «Vinduet», Осло (1963. № 2): «Евгений Евтушенко положил к ногам весь мир, стал популярен, как футболист, он — баловень счастья». Как они там в Норвегии угадали, что он футбольный фанат?

На родине создавался евтушенковский миф — он же, миф, сотворялся и на Западе. Пожалуй, наиболее сконцентрированно это происходит весной 1963-го в журнале «Time», США, статья «Литература правды»:

Это уже десятая весна с тех пор, как в марте 1953 года умер Сталин. После кончины тирана в стране началась социально-политическая «оттепель»: жизнь в СССР по-прежнему регламентирована, но наиболее жесткие формы террора исчезли почти без следа — как снег под солнцем. Сегодня для 100 миллионов русских моложе 25 лет — а они составляют почти половину населения Советского Союза — сталинизм превратился по сути в мрачные, но смутные детские воспоминания. Их мышление не искажено страхом, который до сих пор преследует поколение отцов, или слепой верой, что двигала их дедами-большевиками. Эту молодежь называют «потерянным поколением», но ей больше подошло бы другое определение — ищущее поколение.

Советская Россия — все еще Спарта, а не Афины. Свободы в западном понимании этого слова там нет, но недовольство выражается открыто, как никогда раньше. <...> Биография «Жени» — как все называют двадцативосьмилетнего красавца Евтушенко — началась там, где закончился жизненный путь многих других русских поэтов: в Сибири. В жилах этого светловолосого, высокого (6 футов 3 дюйма) и худощавого человека течет украинская, татарская и латышская кровь (про латвийские корни он говорит: «там коллективизации не было»). Хотя ему нравится выставить себя пареньком из провинции, по воспитанию и даже акценту Евтушенко — типичный москвич; это ярко проявляется и в его стихах, утонченных по форме, но зачастую разговорных по языку. Секрет его популярности связан

с редкой способностью улавливать — и передавать читателям — сомнения и стремления поколения, уже утратившего иллюзии, но только начинающего обретать собственный голос. Евтушенко — его знаменосец, смелый, но отнюдь не жаждущий мученического венца. <...> В прошлом «поэзия протеста», к которой несомненно относится творчество Евтушенко, не доходила до подавляющего большинства населения России из-за его неграмотности. Сегодня благодаря поездкам поэтов по стране и большим тиражам книг их стихи достигают практически всего общества — а уровень образования в России сейчас выше, чем когда-либо. Результатом стал настоящий «поэтический ренессанс». По всей огромной стране — от Белоруссии до Средней Азии — в переполненных театральных залах и студенческих общежитиях толпы людей внимают поэтам с почти религиозным трепетом. Летом, воскресными вечерами, на площадях больших городов отдаются гулким эхом певучие строфы Пушкина, Лермонтова и — нередко — Жени Евтушенко. <...> У Евтушенко есть влиятельные друзья «при дворе», прежде всего это член редколлегии «Правды» Воронов, а через него и главный редактор «Известий» Алексей Аджубей — зять Хрущева. Еще один его видный сторонник — семидесятилетний писатель Илья Эренбург, чей роман «Оттепель», вышедший в 1954 году, дал название всей эпохе десталинизации. В 1960 году Евтушенко получил загранпаспорт и с тех пор немало поездил по Западной Европе, Африке и другим регионам мира. Он дважды побывал на Кубе, собирая материал для киносценария; посетил и дом, где Хемингуэй написал «Старик и море».

В прошлом году, во время поездки в США, Женя отведал в Гарварде сухого martini, послушал джаз в Гринвич-Виллидж и пришел к выводу, что из всех городов, где он побывал, «НьюЙорк, если честно, самый лучший». Евтушенко женат вторым браком. Его первой супругой была красавица Белла Ахмадулина, одна из самых одаренных поэтесс молодого поколения. Прожив два года в крохотной комнате в коммуналке, они расстались в 1959 году; жилищные условия — одна из главных причин разводов у молодых русских. Годом позже Женя снова женился — на спокойной привлекательной брюнетке по имени Галя, отличной переводчице (она познакомила русских читателей с Моэмом и Сэлинджером). Надо полагать, успеху их

брака способствует и то, что у них теперь есть отдельная двухкомнатная квартира в новостройке на окраине Москвы. Она обставлена стильной скандинавской мебелью, стены увешаны абстрактными картинами друзей Жени и стеллажами, забитыми книгами, которые он привез из поездок.

Сейчас Евтушенко заканчивает киносценарий; съемки фильма начнутся на Кубе этой весной. Скоро в свет выходят два новых сборника его стихов; Женя также — впервые с детских лет — работает над романом. Его рабочее название «Закон больших чисел»: по словам Жени, речь идет о «попытке применить математические уравнения к новому поколению русской интеллигенции».

В конце марта проходит IV пленум правления Союза писателей СССР. Писатели хором упиваются недавней встречей с руководством партии, речью Н. С. Хрущева, единодушно одобряют политику партии, клянутся ей в верности, бичуют империализм и его прихвостней, в данном случае Евтушенко с Вознесенским. А. Софронов в сердцах вспоминает, что он когда-то вручал Евтушенко билет кандидата в члены Союза писателей СССР. (Заметим в скобках. Главный редактор «Огонька», дважды лауреат Сталинской премии, твердокаменный сталинист, А. Софронов стал со временем знаменосцем отечественного национализма на казачьей закваске и одновременно — коммерческого успеха: его пьесы — небесталанные, особенно про стряпуху — и песни на его слова — почти народная «Шумел сурово брянский лес» — приносят баснословный доход. Между тем матерью его была Аделия Федоровна, в девичестве Гримм, полунемка-полуполька.)

Все это печатается в «Литературной газете», излагается в других центральных изданиях. Евтушенко получает слово, но речь его не печатают. Зато обнародовано выступление Александра Чаковского, сменщика В. Косолапова в «Литературной газете»:

Вообще, когда читаешь некоторые вещи, опубликованные несколько месяцев назад, то остаешься в полном недоумении относительно того, как все это могло выйти на страницы печати. Например: «Вместе с тем работы таких талантливых молодых скульпторов и живописцев, как Э. Неизвестный, Ю. Васильев, В. Лемпорт, В. Сидур, Р. Силис, В. Вейсберг, М. Никонов, Г. Коржев, О. Целков, Н. Андронов, И. Глазунов и многих других, мы еще

очень скупно выставляем за рубежом. Мы — по отношению к своей живописи и скульптуре — иногда похожи на человека, который, отправляясь в гости, не надевает своих лучших украшений. Могут подумать, что этот человек беден. А дома-то его сундуки набиты подлинными драгоценностями». Это из статьи Евтушенко «18 дней в Англии».

Тридцатого марта — в день, когда публикуется верноподданническое обращение писательского пленума к ЦК Коммунистической партии СССР, в «Комсомольской правде» выходит фельетон-памфлет Г. Оганова, Б. Панкина и В. Чикина «Куда ведет хлестаковщина». Повод — появление «Автобиографии» в «Экспрессе» и «Штерне». Ответная бомба. Страна — не только читающая публика — оглушена.

Пора ему наконец посмотреть правде в глаза и увидеть, как выглядит в действительности все его поведение. Ведь это — вихляние легкомысленной рыбки, уже клюнувшей на червячка западной пропаганды, но еще не почувствовавшей острия, и воображающей, что она изумляет обитателей океана грациозной смелостью телодвижений.

Пишут профессионалы, мастера пера.

«Комсомолка» от 23 мая 1963 года. На первой полосе — начало публикации, на 2-й полосе — подвал. И вся третья полоса занята письмами читателей. Называется все это ВО ВСЕГДА ГОЛОС. 1200 откликов на одну статью. Подписано все это той же тройкой: Г. Оганов, Б. Панкин, В. Чикин.

Начало публикации пафосное:

Извечно стремление человека к истине. На пути к ней непрерывная работа мысли рождает могучие горные массивы познания, с его солнечными вершинами и скрытыми сумеречной дымкой пропастями заблуждений. Процесс этот непрерывен. Но как в природе, так и в жизни общества периоды относительного спокойствия сменяются вдруг бурным горообразованием.

Такой взлет мыслей и чувств происходит сейчас, когда с особой остротой партия ставит вопросы развития литературы и искусства, всей духовной жизни нашего общества. Эти вопросы занимают умы всех, и взволнованная мысль каждого — крупницы, из которых составляются горы.

Вот и на редакционном столе растет и растет гора читательских писем. И, может быть, только по внешнему признаку их следует считать откликами на статью «Куда ведет хлестаковщина»...

...Они легли перед нами на тот же редакционный стол — глянцеви́тые обложки «Лайфа», «Эко», «Темпо», страницы «НьюЙорк геральд трибюн»... Тот, кто еще недавно скорбел, что «некогда беспокойный индивидуалист стал певцом кастровской Кубы и пишет гражданские стихи», сегодня оплакивает «судьбу Евтушенко». Но почему? Да потому, оказывается, что критика его зарубежных исповедей... ослабляет позиции коммунизма. Нам еще придется говорить об этих заклинаниях и зазываниях. Но отнюдь не полемика с ними составляет цель этой статьи. ГЛАВНОЕ — ПЕРЕДАТЬ ВЫСОКИЙ НАКАЛ БОРЬБЫ, КОТОРАЯ ЕЖЕДНЕВНО И ЕЖЕЧАСНО ИДЕТ НА БАРРИКАДАХ ИДЕЙ — ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Дыханием этой борьбы наполнены сотни и сотни писем — откликов, лежащих на столе.

1200 откликов, собранных в брошюру «Во весь голос», тогда же выскочившую в свет. Фронтовик, медработник, учительница, офицер, люди всех возрастов и многих профессий — все возмущены, негодуют.

Сам Евтушенко недоумевал, о чем вспоминал позже:

«Моя автобиография, напечатанная в западногерманском «Штерне» и во французском «Экспрессе», вызвала всплеск новой надежды левых сил в Европе после депрессии, вдавленной в души гусеницами наших танков в Будапеште 1956 года. Жак Дюкло, секретарь ФКП, на приеме в мою честь говорил, что после моей автобиографии многие французские коммунисты, сдавшие свои билеты в 1956-м, снова вступают в партию. Посол СССР во Франции Виноградов в своем тосте за меня сказал, что я заслуживаю за свою поездку звания Героя Советского Союза. Во франкистской Испании моя автобиография была запрещена как коммунистическая пропаганда. Правые круги ФРГ критиковали «Штерн» за эту публикацию. Я, по наивности своей, думал, что меня в Москве встретят чуть ли не оркестрами».

Кроме того, в той поездке 1963 года, будучи в Западной Германии, он высказал уверенность в скором грядущем объединении Германии: это будет прежде чем мой старший сын женится (сына еще не было). Глава ГДР Вальтер Ульбрихт звонил по этому поводу Хрущеву в негодовании.

Не был Евтушенко политиком. Никогда. Если он думает иначе, это — иллюзия. Одна из многих.

Старший друг Луконин пошутил: «Раньше всегда советская власть вела по отношению к поэтам политику кнута и пряника. Евтушенко стал первым поэтом, кто начал вести политику кнута и пряника по отношению к советской власти». Красиво. Но вряд ли.

Евтушенко еще был во Франции, когда к его матери Зинаиде Ермолаевне пришел заместитель главного редактора «Юности» С. Преображенский, в общем-то человек славный. Он принес письмо тогдашнего главного редактора журнала (Катаев освободил это место в 61-м) Бориса Полевого, в котором автор «Повести о настоящем человеке» просил ее, мать поэта, чтобы она уговорила сына подать заявление о выходе из состава редколлегии «Юности». С Преображенским Зинаида Ермолаевна была знакома давно, с военной поры, и сказала прямо, что они обойдутся в этом деле без нее.

— И вообще, вы Женю ввели в редколлегию, когда он был с Калатозовым на Кубе. Вы же не спрашивали его согласия на это. Вот и выводите, не спрашивая.

Потом раздался звонок из ЦК КПСС, от товарища Черноуцана, тоже неплохого человека, фронтовика, литератора, да к тому же мужа Маргариты Алигер, удивившего Зинаиду Ермолаевну суждением о том, что на Евтушенко плохо влияет его жена Галина.

— Вы как партийный человек должны бороться за своего сына.

— Мой сын — взрослый человек. Пусть сам решает.

Вернувшись в Москву, Евтушенко сказал матери, что его текст при публикации исказили, что он попросил, чтобы ему из-за границы вернули рукопись «Автобиографии».

— Когда я ее получу, ты прочтешь, и мы поговорим.

Получив рукопись, он отнес ее помощнику Хрущева (приложив свое письмо на имя Никиты Сергеевича), дабы правитель смог сам во всем разобраться. Через несколько дней Хрущев при случае сказал Евтушенко:

— А я, собственно, не знаю, Евгений Александрович, что тут такого особенного.

Но было поздно, процесс уже пошел.

Март выдался тяжелейшим. Евтушенко честили на все корки. Травлей занимались, помимо прочих, некоторые из его недавних друзей. Домашний телефон не умолкал, звонили все, в основном — сочувствующие. Евтушенко переселился на новую квартиру в Амбулаторном переулке и несколько недель не выходил из дому. Мать носила ему еду. Он обитал на

шестом этаже, и в первый свой приход к нему она обнаружила, что вся лестница с первого этажа до шестого забита людьми.

— Что вы тут делаете?

— Охраняем Евтушенко.

Много было иногородних. Опасались, что его, бесперебойно клеймимого во всех газетах предателем, неминуемо арестуют.

В начале апреля собирается пленум Союза писателей РСФСР. Он бурлит. Бичуют чохом виднейших авторов журнала «Юность». Аксеновский роман «Звездный билет» порождает негативный термин «звездные мальчики», относящийся к этим авторам.

Окуджава как в воду глядел:

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звезды и круглее, и добрее...

— Мама, мама, это я дежурю,

я — дежурный

по апрелю!

Звезды, правда, были другими или отсутствовали вовсе.

Третьего апреля в «Правде» напечатана статья Василия Аксенова «Ответственность», которую лучше было бы назвать «Допекли». Блестящий автор пластичен, прекрасно владеет необходимой моменту стилистикой. Это похоже на тонкую пародию покаяния:

Наше слово — оружие в нашей борьбе, каждое слово — как патрон. Легкомыслие для писателя просто-напросто аморально... На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной. Я считаю, что критика была правильной... Но еще легкомысленней было бы думать, что сейчас можно ограничиться одним признанием своих ошибок. Это было бы и не по-коммунистически и не по-писательски. Я никогда не забуду обращенных ко мне во время кремлевской встречи суровых, но вместе с тем добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: «Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!»

Накануне создания этого перла прозы Аксенов, вечером после утреннего мероприятия в Екатерининском зале Кремля, сказал:

— Ты что, не понимаешь, что наше правительство — это банда, готовая на все?

В принципе, это было тем, о чем сказал Мандельштам: «Двурушник я, с двойной душой». В более или менее талантливом исполнении. Опасные вещи происходили в жанре буффонады, абсурда, анекдота, самопародирования. «Звездных мальчиков» полоскали во всех идеологических прачечных СССР.

Евтушенко пишет 5 апреля, сбежав в Коктебель:

Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.

.....

Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали,
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.

(«Смеялись люди за стеной...»)

Подозревали. Но процесс пошел.

Процесс пошел, как водится, по всей стране. Первым делом поддакнул Москве — Ленинград. В молодежной газете «Смена» (9 апреля) пара местных поэтов отметилась статьей «Известность — достойным».

...всегда следует помнить, что десять статей, написанных, скажем, о Евтушенко, это не просто десять статей. Это одна статья об одном поэте и девять ненаписанных о других, не менее достойных внимания и критического анализа...

Очень скоро известность придет к одному из питерских поэтов, да не к той парочке.

В СССР был один по праву самый прославленный на весь мир человек. Юрий Гагарин. 12 апреля 1963 года, в День космонавтики, он воскликнул, имея в виду евтушенковский поступок с «Автобиографией»: «Позор! Непростительная безответственность!» Немного погодя ему написали текст, он зачитал (на Всесоюзном совещании молодых писателей,

7 мая): «...в своей недоброй памяти «Автобиографии» Евгений Евтушенко хвастается тем, что он, дескать, ничего не знает об электричестве. Нашел чем хвастаться! С каких это пор невежество порою возводится в степень некой добродетели!»

Опять символизм: Гагарин символизировал само государство, сам СССР.

Евтушенко был сражен. Они с Гагариным быстро, на ходу подружились еще на Кубе, встречались в Хельсинки, на Всемирном фестивале молодежи. Это были люди одного поколения (Гагарин на пару лет младше), фигуры нового человеческого набора, по ним судили и у нас, и на Западе о том, что происходит в СССР. Через год, в День космонавтики, Гагарин пригласил Евтушенко в Звездный городок — выступить в сборном концерте, однако некий суровый генерал грозно спросил:

— Кто пригласил Евтушенку?

Гагарин ответил:

— Я.

— По какому праву?

— Как командир отряда космонавтов.

— Ты хозяин в космосе, а не на земле.

Слова поэту не дали, и он в умопомрачении погнал на своем заезженном «москвиче» сквозь дождь и ветер с бешеной скоростью, Гагарин метнулся за ним, не догнал, а Евтушенко достиг Дома литераторов, где его и отыскивали посланцы Гагарина из Звездного, напуганные стремительным отъездом поэта. Они нашли его — в слезах и со стаканом водки в руке.

Это будет через год, в 1964-м, а пока что по Москве поползли темные слухи, распространяясь на всю страну. «Голос Америки» сообщил о самоубийстве поэта. Участковый милиционер просит Евтушенко показаться на балконе своего дома, когда под ним собирается несметная толпа после информации «Голоса Америки», — пришлось выходить несколько раз.

В тот же День космонавтики, 12 апреля 1963 года, Корней Чуковский записывает в дневнике:

Все разговоры о литературе страшны: вчера разнесся слух, что Евтушенко застрелился. А почему бы и нет? Система, убившая Мандельштама, Гумилёва, Короленко, Добычина, Маяковского, Мирского, Марину Цветаеву, Бенедикта Лившица, — замучившая Белинкова, и т. д. и т. д. очень легко может

довести Евтушенко до самоубийства...

Можно сказать: *список Чуковского*. Точная оценка евтушенковского места в литературной иерархии на тот час исторического времени.

И он был не один, кто так думал. Из письма знаменитой пианистки Марии Юдиной Чуковскому (Москва, 19 июня 1963 года):

О Евтушенко: как было бы хорошо, если бы Вы приблизили его к себе, именно Вы. Мне кажется, он сильно нуждается в опоре и поддержке — духовной... Я помчалась к нему — это было полтора месяца тому назад; случилось так, что именно в сей день и час он уезжал в Архангельск; он восклицал, что чрезвычайно рад мне, однако встреча была молниеносная; но я себе ничего не приписываю (я знаю его давно, проводя с ним — было много народу — почти целый день у дорогого Бориса Леонидовича 4 года назад!), я сказала его матери (в поисках адреса), что «хочу сказать ему доброе слово», но, возможно, не сумела сего; не знаю — где он сейчас, но пока я отклика не имею; простите меня, м. б., я вмешиваюсь тоже не в свое дело... Но он меня волнует, тревожит, его душа, его судьба... Не оставляйте его, дорогой Корней Иванович!

В Архангельск Евтушенко уезжал на пару с Юрием Казаковым. Они были близки с литинститутских времен, Казаков по праву входил в могучую кучку их компании. Он был лириком, пишущим прозу. Он поступал на сценарное отделение. Прочитав его вступительный сценарий, по коридорам института бегал в его поисках уже не человек, а легенда Виктор Шкловский, такой же гологоловый, каким довольно скоро станет загадочный искомый абитуриент. Он был парень с Арбата, из коммуналки, в предках — смоленские мужики, закончил по щедрости отпущенных ему свыше даров Гнесинку — по классу виолончели, но смычковой музыке предавался лишь на предмет заработка где-нибудь в точках культуры и отдыха, рукой его водила другая воля. Редкостное письмо Казакова восхищенно ценил Константин Паустовский, старый писатель, знавший, что такое стиль.

У Казакова было два изъяна — выпивал и заикался. На это были противоупоры — он был трудягой и молчуном. Охота и рыбалка, природа и русская провинция наполняли эту одинокую жизнь глубоким смыслом, побуждая к творчеству уединенному, вне стай и всеобщих страстей.

Евтушенко он нарек «моим гениальным другом», без всякой иронии.

На титуле своей скромно изданной книжки 1961 года «По дороге домой» он начертал с юморком: «Евгению Евтушенко — поэту, красавцу, счастливому обладателю квартиры, жены и машины от человека, всего этого лишенного с любовью и завистью Ю. Казаков 18 февр. 1962». Прислониться к такому человеку в минуту жизни трудную было спасением.

С Севера Евтушенко привез большой цикл действительно новых стихов. Это не оговорка: привез (в себе) с Севера, но писал на Юге — в Гульрипше, в июне — июле. Кажется, такое с ним произошло впервые — обычно запись стихов шла на месте действия. Все они пронизаны одним вопросом:

Какая чертовая сила,
какая чертовая страсть
меня несла и возносила,
и не давала мне упасть?

Такой момент. На подходе к сугубо северным стихам он, прячась в апрельском Коктебеле 1963 года перед броском на Север, пишет «Балладу о штрафном батальоне». Баллада вписалась, не став диссонансом, в ряд несколько экзотических стихов печорского происхождения, потому что весь тот ряд — единая реакция на происходящее с поэтом и со страной. Сказано выпренье, но этому веришь:

И я себе шептал: «Я не убит,
и как бы рупора ни голосили,
не буду я в обиде на Россию —
она превыше всех моих обид.

И виноват ли я, не виноват, —
в атаку тело бросив окрыленно,
умру, солдат штрафного батальона,
за Родину, как гвардии солдат».

Почему же этому веришь? Он говорит без дураков — с самой Россией, а не с партаппаратчиком либо литкритиком, увеличивает масштаб разговора, рискуя задеть патриотические струны не только оппонентов, но

и сторонников. Получается — он гоним самой Родиной? Получается так. В самом понимании Родины появляется особый штрих — она не всегда права. Хотя и превыше всех моих обид.

В архиве М. Юдиной сохранился черновик пространного письма к Евтушенко от 1 мая 1963 года:

Дорогой Евгений Александрович!

Я последнее время много о Вас думаю. Сейчас ведь многие о Вас говорят, пишут, волнуются, спорят, ненавидят или обожают. И я в том числе. Но я человек старый, многое видевший, имеющий некие воззрения на Божий мир и на человеческие пути.

Это не значит, разумеется, что я претендую на обладание некоей истиной. Единственная данная нам бесспорная истина — это любовь — «и люди те, кого любить должны мы» (я чутьчку видоизменяю слова Хлебникова из «Слово об Эль») и самый верный метод поисков — это сознание Божьего водительства каждым из нас.

Самое главное: в Вас есть масштаб, он и определяет Ваше избранничество.

Я познакомилась с Вами — как Вы помните — у Па...

Слово оборвано: имелся в виду Пастернак, у которого Юдина познакомилась с Евтушенко 3 мая 1959 года.

Чуковский — Юдиной, 28 июня 1963 года:

Я всегда глубоко уважал Евтушенко — но по своей застенчивости — до сих пор не познакомился с ним... Я всегда робел перед большими поэтами: хотя Блок был очень снисходителен ко мне — особенно в последнее время, — в разговоре с ним я становился косноязычен и глуп. С Пастернаком было то же самое. На днях был у меня Солженицын — я еле мог выговорить слово от волнения. При жизни Толстого меня дважды звали в Ясную Поляну: ему говорили обо мне Леонид Андреев и Короленко — я поехал, но не доехал — от той же проклятой застенчивости.

Нет, недаром женщины, самых разных возрастов, сопровождали Евтушенко, опекали, рвались взять под крыло. «Смеялись люди за стеной...» он посвятил Евгении Ласкиной, бывшей жене Симонова, матери

его сына Алеши. Она ведала стихами в журнале «Москва», у нее в доме на кухне собиралась молодежь, непутевая, беспорточная, исходящая стихами. Нет, не даром. Женщины недрами чувствовали: он — свой. Он чувствовал их. С Севера привез стихотворение «Оленины ноги». О бабушке Олёне. Вариация на тему песни «Мыла Марусенька белые ноги», однако ноги его героини ослабели, он утешает ее и себя, поскольку они, собственно говоря, уже одно целое, по-мальчишески хорохорится:

Не привык я горбиться —
гордость уберег.
И меня
горести
не собьют с ног.
Сдюжу несклоненно
в любые бои...
У меня,
Олёна,
ноги твои!

Осталось полшага до Нюшки из «Братской ГЭС». Но покуда происходит нечто иное, отчасти инерционное, отчасти неожиданное.

Десятого мая первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов на Всесоюзном совещании молодых писателей произносит речь. «Во всяком поколенье есть пена. Она присутствовала и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы...» Хорошенькое дело: Окуджава — участник войны — пристегнут к прочей молодой пене.

Одновременно муссируется тема «отцов и детей». Ее поднимают литераторы — официальные лица дезавуируют: у нас все в порядке, проблемы нет.

В рядах обличителей образовалось смешение самых несопоставимых имен и величин.

Александр Твардовский уже печатал Евтушенко у себя в «Новом мире». В 1955 году он дал евтушенковские стихи довольно щедро — в трех номерах: 7, 10, 12-м. На известном фотоснимке с Фростом Твардовский заметно недоволен. У него свой счет к «звездным мальчикам». 12 мая 1963 года он высказывается в «Правде»:

Буржуазная печать проявляет явную невзыскательность к

глубине содержания и художественному качеству стихов и наших «детей», как, например, Евтушенко и Вознесенский. <...> У поэта, говорил, помнится, Александр Блок, должна быть судьба, а не карьера.

Блок не был идеалом поэта в глазах Твардовского, и почему именно это имя — как противовес «детям» и знак качества — употребил народный поэт, остается загадкой.

Имя Евтушенко упорно сводят с именами Солженицына и Пастернака. Завуч 109-й школы рабочей молодежи Г. Яковлев 17 мая в «Московском комсомольце» недоумевает:

Едваходишь в класс, как тебя буквально осаждают вопросами:

— А что вы думаете о Евтушенко?

— А нравится вам «Один день Ивана Денисовича»?

В майском номере журнальчика «Пограничник» говорят по-другому:

Подобно автору «Доктора Живаго», Евтушенко оплевывает Великую Октябрьскую социалистическую революцию, заявляя, что она не принесла народу ничего, кроме страданий. <...> Пресмыкаясь перед заправками реакционной прессы, Евтушенко искажает историю советского общества, клеветает на советский народ, бросает тень на советский строй.

Граница на замке.

Летом все это продолжалось. Ко всему прочему прибавилась личная потеря — 3 июня ушел Назым Хикмет: на ходу, выйдя из квартиры, упал на лестничной площадке. Имя Назыма гремело в Союзе и во всем мире. Он отсидел в турецких тюрьмах множество лет, был освобожден под давлением мировой общественности, приехал жить в Москву, город своей романтической юности, следа которой там не оказалось. Но — жил, работал, нравился людям, многих защищал, не берегся. Верлибр Хикмета мощно повлиял на русских поэтов.

А в далекой Сибири возник *эпизод Леоновича*. Речь о поэте Владимире Леоновиче, тогда трудившемся скромным литсотрудником многотиражки «Металлургстрой» в Новокузнецке. Он напечатал в своей газете материал «Живого, а не мумию» в связи с семидесятилетним юбилеем Маяковского,

торжественно отмечавшимся по всей стране. «19 июля 1963 года Маяковскому было бы 70 лет, если бы... он не был затравлен, оклеветан и расстрелян (так! — И. Ф.) врагами коммунизма... Пример Маяковского — увы, не единственный! — учит нас вовремя быть чуткими к нашим пророкам (поэт постольку поэт, поскольку пророк)». Леонович цитирует Евтушенко: «Я не сдаюсь, но все-таки сдаю...», комментируя: «Такие стихи не может написать дурной человек, в противном случае можно было бы говорить о конце мира, а это нелепость». На Леоновича накинудись скопом, сперва со страниц городской газеты, а затем уже с трибуны горкома КПСС, нарисовав постановление «Об ошибках, допущенных в многотиражной газете «Металлургстрой». Последовали оргвыводы. Кого-то сняли с работы, с кого-то взыскали по партийной линии. Леоновичу указали на дверь.

Пока идет свалка в Сибири, в знойно-июльской Москве происходит великий праздник. Московский кинофестиваль. Тут, правда, своя свалка, только уровень повыше будет. Федерико Феллини привез фильм «8½», большинство членов жюри во главе с Григорием Чухраем — за то, чтобы Главный приз дать этой ленте, но наверху, то бишь на Старой площади, возражают. Член жюри Стэнли Крамер уже в сердцах пакует чемодан, индус Сатьяджит Рей возмущен:

— Я никогда не пришлю своего фильма на Московский фестиваль. Если он окажется лучше других, скажут, что он непонятен народу...

Рей решил последовать за Крамером. За ним — Жан Маре, японец Кейхико Усихара и египтянин Мохаммед Керим. Но дело уладилось, победило Кино.

Евтушенко знакомится с Феллини. Который позже, когда Евтушенко обратится к нему с письмом-просьбой поговорить о феллиниевской книге «Делать фильм», скажет:

Я рад, что ты решил взять у меня интервью, и все же у меня какое-то странное чувство растерянности. Словно все это просто забава, — так бывает, когда школьные товарищи задают друг другу вопросы, чтобы проверить, хорошо ли выучен урок, и один из них берет на себя роль учителя, а второй выступает в роли ученика.

Говорю тебе чистую правду: всегда, с самого начала, мне казалось, что мы с тобой друзья со школьной скамьи. Я почувствовал это, увидев тебя впервые, когда в Москве мне

вручали приз за «8½». Нас кто-то представил друг другу, и вокруг сгруппировались журналисты и фоторепортеры: все ждали каких-то публичных заявлений, переводчики смотрели нам в рот, но мы не знали, что бы такое сказать исторически важное, веское, кроме того, пожалуй, что мы просто симпатичны друг другу.

В августе — сентябре 1963-го Евтушенко посетил Зиму, махнул в Братск, провел несколько выступлений — в том числе на пленуме Зиминского горкома комсомола. В сентябрьском номере «Юности» прошла его подборка: северный цикл по частям пошел к читателю, «Невеста» и «Оленины ноги» были напечатаны там. «Русская игрушка» — в городской газете Братска «Красное знамя» от 5 октября.

На Ангаре, по пути из Иркутска в Братск, ветром принесло опять-таки песню:

Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары...
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня...»

(«Граждане, послушайте меня»)

Бочкотара? Аксенов? Его «Затоваренная бочкотара», веселая вещь. Через пару месяцев он напишет и посвятит Аксенову «Два города»:

Я, как поезд,
что мечется столько уже лет
между городом Да
и городом Нет.

Аксенов считал, что 1963-й — год их разброса, расшвыривания друг от друга, и, может быть, Евтушенко чувствовал это не менее остро.

Он понимал:

Пришли иные времена.
Взошли иные имена.

Писано 10 октября 1963-го. Через 13 лет Александр Кушнер из Питера отзовется, как эхо:

Времена не выбирают.
В них живут и умирают.

Оба двестишестидесяти станут пословицами.
Туда же, в родной язык, вошел и этот дистих, рожденный Евтушенко той же осенью 1963-го:

Как ни крутите, ни вертите,
но существует Нефертити.

Нет, ему положительно впрок невыносимые передраги. Ведь в те же осенние дни появилось и «Любимая, спи...». Галя была рядом.

Тогда же он начал строить «Братскую ЕЭС».

Через много лет он судит поэму, говоря его словом, *самобезжалостно*:
««Братская ЕЭС» не стала серьезным философским обобщением исторических фактов, но зато осталась историческим фактом сама — памятником несбывшихся надежд шестидесятников.

А ее главы «Казнь Стеньки Разина», «Ярмарка в Симбирске», «Диспетчер света», «Нюшка» остаются моими личными, не превзойденными мною самим вершинами.

Поэму в четыре с половиной тысячи строк я написал поразительно быстро — начал в сентябре 1963-го, закончил в апреле 1964-го».

В Москве на вечерах поэзии он читает «Балладу о штрафном батальоне», «На Печоре», монолог Стеньки Разина из пишущейся «Братской ГЭС», где сформулировано его отношение ко всему, что происходило с ним в кончающемся 1963 году.

*Стенька, Стенька,
ты как ветка,
потерявшая листву.
Как хотел в Москву ты въехать!
Вот и въехал ты в Москву...*

События исторического измерения происходят чуть не ежедневно, чаще всего не предупреждая о своем возникновении.

«29 ноября 1963 года я читал в ВТО отрывки из еще не законченной поэмы «Братская ГЭС». Кажется, особенно вдохновенно я читал главу «Револьвер Маяковского». Она заканчивалась такими строчками:

*Пусть до конца тот выстрел не разгадан,
в себя ли он стрелять нам дал пример?
Стреляет снова,
рокоча раскатом,
подъятый над эпохой револьвер.
Он учит против лжи,
все так же косной,
за дело революции стоять.
В нем нам оставил пули Маяковский,
чтобы стрелять,
стрелять,
стрелять...*

Едва я завершил читать эту главу, как в зал вбежала девушка и закричала: «Убили Джона Кеннеди!».

Четырнадцатого декабря Евтушенко триумфально участвует в вечере поэзии, прошедшем в зале Консерватории им. Чайковского, куда народ ломился свыше нормы, сдерживаемый милицией. На празднование Нового года он зван с женой в Кремль, Хрущев держится отцом.

«...Хрущев позвонил как-то ночью и пригласил на новогодний банкет в Кремль: «Мы там обнимемся, и от тебя отстанут». На кремлевском вечере он прилично выпил: «Я вот думаю часто: как раз и навсегда избавиться от бюрократии? Столько к партии прилипло карьеристов, и я их всех ненавижу. У меня есть идея, не знаю, как к ней отнесутся Политбюро и мои товарищи. Может, отменить Коммунистическую партию и просто объявить весь наш народ народом коммунистов? А теперь я хочу услышать мою любимую песню «Хотят ли русские войны».

Это была прелюдия к нашему объятию. И действительно, ко мне сразу же подкрался его советник: «Будьте готовы, сейчас к вам

подойдут». Хрущев подошел и обнял: «Давай пройдемся, чтобы они видели, чтобы тебя не трогали...» Едва отошел, подбежали Брежнев, Ильичев, Косыгин. Юра Гагарин шепотом говорит: «Надо выпить». Тихо принесли водочку, тихо налили, тихо опрокинули...»

Что тут, собственно, нового? Феофан Прокопович превозносит Петра Великого, Ломоносов поет Елисавету Петровну, Державин — Фелицу, Николай I рецензирует Пушкина, Ленин строго хвалит Демьяна, Сталин звонит Пастернаку. Все это было, было, было. Никакого эксклюзива в паре Хрущев — Евтушенко нет.

Двадцать восьмого декабря 1963 года «Новый мир» и Центральный государственный архив литературы и искусства выдвинули повесть «Один день Ивана Денисовича» на соискание Ленинской премии за 1964 год. Комитет по премиям проголосовал против.

Лютый друг художественной интеллигенции Ильичев о евтушенковских триумфах оповещает коллег по ЦК, его «Записка» от 3 марта 1964 года с перечислением названий и цитированием крамолы рассматривается на заседании Президиума ЦК КПСС 12 марта. Как потом скажет Хрущев, уже отставник: «Ему нужен был пропуск в Политбюро».

С 18 февраля по 14 марта прошел периферийный черный спектакль суда над Иосифом Бродским. Это было обезьянство: партийно-гэбэшному Ленинграду понадобился свой антигерой. Работали топором, провинциально. Эхо оказалось глобальным. «Рыжему» сделали карьеру. Свой камень в ее фундамент непредумышленно вложил Евтушенко, сам того не ведая. С него началось.

Но какова амплитуда уровней: Президиум ЦК КПСС — и районный суд деградирующего города. Это был промежуточный результат. Подлинный финал этой истории состоялся в октябре 1964 года: сняли Хрущева.

КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Евтушенко говорит в эссе «Смеяков — классик советской поэзии» (1977):

«Памятника Смеякову еще нет. Но ощущение этого памятника нарастает. <...> Первый раз я увидел Смеякова, если не ошибаюсь, в 1950 году, на обсуждении литинститутских поэтов — Ваншенкина, Солоухина, Федорова. Ему было всего тридцать семь, а выглядел он лет на пятьдесят: главное, что запомнилось, — мрачноватая сутулость. Он выступал на обсуждении, держа в руке коробок спичек, с маленьким, но жестким грохотом постукивая им по краю трибуны. Обращаясь к Солоухину, читавшему стихи о Марсе, он сказал с невеселой усмешкой: «Я тоже писал о Марсе, и мне за это здорово досталось от жителей Земли...».

Смеяков отсидел несколько сроков, побывал в финском плену, лучшие его годы повисли на колючей проволоке зоны.

Евтушенко продолжает:

«Возвращающегося (из лагеря. — И. Ф.) Смеякова, еще даже не зная, что он написал «Строгую любовь», на перроне встречают поэты уже не как равного, а как учителя. Его поэзия не была в отсутствии, ее цена выросла... На вокзале Луконин снимает с него ватник, надевает на него черную кожанку, с которой Смеяков потом никогда не расстанется. В квартире у Луконина он, тощий, остролицый, безостановочно пьет и ест и то и дело ходит в кухню, проверяя, есть ли что-нибудь в холодильнике, хотя стол ломится от еды. Его отяжелевший взгляд падает на двадцатидвухлетнего поэта, глядящего на него с ужасом и обожанием. «Ну, прочтите что-нибудь...» — неласково, с каким-то жадным страхом говорит ему Смеяков. Молодой поэт читает ему «О, свадьбы в дни военные...» Смеяков выпивает стакан водки, уходит в другую комнату, там ложится прямо с ногами в грубых рабочих ботинках, смазанных солидолом, на кровать, и долго лежит и курит. Молодого поэта посылают за ним, укоряя в том, что он «расстроил Яру». Молодой поэт входит в комнату, где, судорожно пуская дым в потолок, лежит и думает о чем-то человек, почти все стихи которого он знает наизусть. «Вам не понравилось?» — спрашивает молодой поэт. «Дурак...» — в сердцах говорит ему учитель, с какой-то только ему принадлежащей, неласковой нежностью.

— *Пойдем водки выпьем. А закуска еще есть?».*

Шестидесятник — это тот, кто пришел в шестидесятые, а точнее — в пятидесятые, заговорил их голосом и стал их голосом. Смеляков пришел тридцатью годами раньше, всю жизнь считал себя поэтом именно той поры, когда у него и у его страны все только начиналось. Другое дело, что две трети из этих тридцати было выбито и изуродовано и его триумф пришелся на закатную пору, исполненную лихорадки стихописания со вспышками озарений и волчьими ямами провалов. Он вписался в новое время — его читали и слушали почти как никого.

В шестидесятых уже не было нужды на каждом шагу клясться в верности партии и пролетариату. Он клялся. Это походило на похмельный синдром, исполненный страхов и вспоминаемых кошмаров. Это было болезнью. В лучшем случае это было анахронизмом. Можно было на это закрыть глаза... Можно было и посмеяться над таким зачином стишка:

Пролетарии всех стран,
бейте в красный барабан!

Все его раннее творчество — откровенная учеба у мастеров, явственно видимых: Маяковский, Багрицкий, Тихонов, Заболоцкий. Это был левый спектр русского стихотворства той поры (на правом крыле начинали Исаковский, Твардовский и др.). Беспокойная ритмика, не всегда точная рифма, экспрессивность стиля, буйная метафорика, многоплановая композиция, пугающая самого автора тематика:

А подушка у изголовья
чуть примята —
скрипит кровать.
Что мне делать
с такой любовью?
Я боюсь ее рифмовать.

Форма его зрелых стихов — забвенье левых увлечений его ранней молодости. Уже где-то к сороковым годам он испытал вкус к классической просодии, еще не отказываясь от неформатной свободы. Возможно, в этом помог ему Заболоцкий времен «Торжества Земледелия».

В испареньях розового цвета,
в облаках парного молока
светится, как новая планета,
медленное тулово быка.

Это «Бык» Смелякова (1939). В его «Классическом стихотворении» (1940 или 1941) финальная строфа выглядит уже как образчик будущего Заболоцкого, взгляд из космической бездны:

Тогда, обет молчания наруша,
я ринусь вниз, на родину свою,
и грешную томящуюся душу
об острые каменья разобью.

Стихотворение «Если я заболею...» (1940) стало молодежно-народной песней, ее пели в основном барды, в том числе Высоцкий. На которого Смеляков безусловно повлиял грубой безоговорочностью своей речи или по крайней мере пафосной нотой военной риторики:

Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным —
даже окиси привкус во рту.

Это — «Земля» (1945). См. «Землю» Высоцкого в трех вариациях. Там и размер тот же: «Кто сказал, что Земля умерла?..», «От границы мы Землю вертели назад...». А строчки «Вот ты сквозь дымчатый Млечный Путь / Снова уходишь дальше» фактически обращены к смеляковскому автогерою, поющему:

Не больничным от вас ухожу коридором,

А Млечным Путем.

Эхо этого звука идет по множеству песен Высоцкого:

Я из дела ушел, из такого хорошего дела!
Ничего не унес — отвалился, в чем мать родила, —
Не затем, что приспичило мне — просто время пришло,
Из-за синей горы понагнало другие дела.

Лирика! Удивительно, но смеляковская «Манон Леско» сложилась в 1945 году, победно-пафосном. Вещица эта — о представительнице весьма свободной любви, о свободе вообще в таком вот ее изводе. Он томится в заключении, многое приходит на ум.

Это было десять лет назад.
По широким улицам Москвы
десять лет кружился снегопад
над зеленым празднеством листвы.

Десять раз по десять лет пройдет.
Снова вьюга заметет страну.
Звездной ночью юноша придет
к твоему замерзшему окну.

Изморозью тонкою обвит,
до утра он ходит под окном.
Как русалка, девушка лежит
на диване кожаном твоём.

Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре.
И услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.

Получилась песнь о вечной любви.
Когда-то рассказывали: молодой Смеляков, добиваясь взаимности, трое

суток просидел на взгорке перед окном возлюбленной.

Итоговая книга первоклассного Смелякова — вещь реальная. Тут всяческая арифметика не проходит. Евтушенко полагает, что отличных вещей у Смелякова больше, чем у Гумилёва. Смеляков отчеканил: «Приснилось мне, что я чугунным стал».

К слову, что касается памятника, Смеляков сам когда-то (в 1962-м) сказал:

В нашей литературной среде есть немало людей, готовых чуть ли не поставить памятник Евтушенко, и есть немало людей, которые готовы сбросить со счетов советской поэзии все, что сделано им. И те и другие ошибаются... В книгах Евтушенко есть много хороших, интересных и нужных стихов. Все это мы берем в свой актив. В его стихах есть много ложного, фальшивого, кокетливого. Это мы решительно отвергаем... По правде говоря, уже надоело критиковать и воспитывать его. Писатели сами должны воспитывать читателей.

В журнале «Юность» (1965. № 4) была напечатана евтушенковская «Братская ГЭС». Публикация предварялась сообщением, крупным шрифтом: «Под редакцией Ярослава Смелякова».

«Редактура происходила в атмосфере сплошного смеляковского мата. Предлагая мне новые поправки, сокращения, вырезания, Смеляков бесился, злился не только на меня, но и на самого себя. И на весь свет Божий. Если бы не моя любовь к Смелякову, если бы не годы, проведенные им в лагерях, я бы, наверное, поссорился с ним. Кроме того, я не сразу, но постепенно начал догадываться, что Смеляков просто служит мне передатчиком чьих-то других замечаний. Однажды он вдруг потребовал, чтобы я полностью снял главу «Нюшка».

— Нет, — на этот раз твердо сказал я. — Без этой главы поэмы нет. Тогда он закричал на меня. Затопал ногами:

— Но с этой главой они твою поэму не напечатают! Никогда не напечатают! Ты сам не понимаешь, что ты в ней написал. Это же образ России! Обманутой, всю жизнь унижаемой России, да еще с чужим дитем! Это же страшно читать, какую картину нашей жизни ты разворачиваешь в своей «Нюшке»: «Телефоны везде, телефоны. И гробы, и гробы, и гробы». Слушай, у меня вся юность прошла в лагерях. Если ты будешь продолжать писать так, ты тоже можешь в конце концов оказаться за решеткой. Пусть хоть у тебя будет то, что недополучил я в

юности. Я хочу, чтобы хоть ты был счастлив, чтобы ты ездил по своим дурацким заграницам и пил свое любимое шампанское...

Он судорожно схватил бутылку и выпил прямо из горла. В его бешеных глазах были слезы.

— Нет, Ярослав Васильевич... — сказал я. — «Нюшку» я не сниму. <...>

После нашего разговора о «Нюшке» Смеляков поехал в ЦК, потом позвонил мне — уже с дачи.

— Приезжай, но только с поллитрой. С тебя причитается. Отстоял я твою Нюшку. Поэма идет в набор.

Я приехал, и мы зверски напились».

Таким образом, невидимый и неназываемый Редактор сидел где-то на белом облаке Старой площади, и надо сказать, он был достаточно либерален, позволяя такие штуки, как «задастость баб» или «фараон» (в России). Больше мешал себе автор сам. Формула «как бы шая, глаголом жечь» в молитве Пушкину не срабатывала. Бойкий рифмач книжки «Разведчики грядущего» неожиданно воскрес и пошел как бы шалить, но получалось натужно: египетская пирамида и Братская ГЭС вступили в совершенно искусственный диалог, являя собой натуральные архитектурные излишества, с которыми в ту пору как раз боролась хрущевская партия. Спор субъектов выдохся почти сразу, но автор еще тянул с ним, а потом враз остыл и потерял его по дороге к настоящим стихам. Он совершенно прав, назвав их: «Казнь Стеньки Разина», «Ярмарка в Симбирске», «Диспетчер света», «Нюшка». Можно добавить: «Жаркий». По обыкновению среди водных потоков лишнего сверкали самородки:

Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.

Лучше не скажешь. Это из «Пролога», но не того, где поэт — разный.

Трудно забыть и ковбойский шнурок на груди играющего на гитаре строителя Марчука, из пижонского аксессуара ставший производственной необходимостью на отваливающейся подошве. Такого немало, даже много. Целые строфы неудачных глав звучат поныне здорово:

Летел мой чалый, шею выгибая,

с церковей кресты подковами сшибая,
и попусту, зазывно-веселы,
толпясь, трясли монистами девахи,
когда в ремнях, гранатах и папахе
я шашку вытирал о васильки.

И снились мне индусы на тачанках,
и перуанцы в шлемах и кожанках,
восставшие Берлин, Париж и Рим,
весь шар земной, Россией пробужденный,
и скачущий по Африке Буденный,
и я, конечно, — скачущий за ним.

И я, готовый шашкой бесшабашно
срубить с оттягом Эйфелеву башню,
лимонками разбить витрины вдрызг
в зажравшихся колбасами нью-йорках, —
пришел на комсомольский съезд в опорках,
зато в портянках из поповских риз.

Глава «Большевик». Таков герой. Лихой человек. Это по адресу ему подобных говорил по-тихому некий снохач Зыбнов, казачина при царском режиме (глава «Бетон социализма»):

«Попляшите, попляшите —
вы допляшетесь еще!»

И оказался прав. По отношению к поэту — тоже. В том споре Братская ГЭС посулила пирамиде: «Тебе я отвечу Лениным!» Будет потом «Казанский университет», не самый убедительный ответ.

В «Братской ГЭС» Евтушенко цитирует целиком строфу Винокурова (о Радищеве) и куплет Окуджавы (о комиссарах в пыльных шлемах), но абсолютный пример — даже и для подражания — Смеляков.

И, платком лицо закутав,
вся в снегу, белым-бела,
Сонька вышла в ночь за хутор,

и пошла она, пошла.

В той степи, насквозь продутой,
что без края и конца,
атаман казацкий Дутов
расстрелял ее отца.

.....

Прут машины озверенно,
тачек стук и звяк лопат,
и замерзлые знамена
красным льдом своим гремят.

И хотя земля чугуна,
тыщи Сонек землю бьют,
тыщи Сонек про Коммуну
песню звонкую поют.

(«Бетон социализма»)

Ни дать ни взять Ярослав Васильевич. За это редактор готов биться и с Редактором. А вот с «Нюшкой» неувязочка. Не оттого ли, что сам Смеляков на *такое* был уже неспособен? «Нюшка» вещь гениальная. Там есть все благоглупости времени, там дано совершенно девственное сознание естественного человечка первобытного коммунизма, слезная тоска по народному коллективизму, триумф добра, золото, золото — сердце народное. Некрасов, Пиросмани, таможенник Руссо — их наив, их ликование перед великим примитивом природы.

Сюжет ленивого соблазнения невинной девушки бессердечным умником будет целиком перенесен поэтом в роман «Ягодные места». Нюшка выживет, а вот Рива («Диспетчер света») — погибнет, и такой мотив тоже станет привычным в его будущих трудах (кино, проза).

«Нюшка — это я». Но у Нюшки в поэме есть конкурентка — учительница Элькина, обучающая красных бойцов азбуке революции: «Маша ела кашу» трансформируется в «Мы не рабы». Это — центральная идея всей «Братской ГЭС». Братская ГЭС стала первой стройкой в СССР такого масштаба, где не использовалась рабская сила заключенных. Первостроителям пришлось растаскивать крючьями колючую проволоку бывших лагерей. Евтушенко и есть учительница Элькина. На каждом шагу,

все время, непрерывно — мы не рабы. Благородно. Но слишком много, слишком часто, на грани срыва.

Была ли «Братская ГЭС» его «Облаком в штанах» — визитной карточкой? Многие так думают. Это ошибка. Штамп и клише. Эта вещь была вершиной определенного этапа, запавшей в память современников по причине ее громкого социального резонанса. Она не стала сгустком гения, приходом нового поэта. Тот поэт уже существовал. Это тот случай, когда величие замысла не потянуло за собой качества работы. «Облако в штанах» — это то, чего не ожидают. Евтушенко был поэтом ожиданий.

Чудесна евтушенковская строка «как по нитке скользя» («Идут белые снеги...»). А ведь она списана со смеляковского оригинала:

Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожно гудя,
за белую ниткою снега
весенняя нитка дождя.

(«Пряха»)

Да и Нюшка — прямая родственница смеляковских Лизок, Зинок и Нюрок.

Попал Евтушенко и в смеляковские стихи. Так это выглядит в «Собаке»:

Он (джейран. — И. Ф.), умея просить без слов,
ноги мило сгибал в коленках.
Гладил спину его Светлов,
и снимался с ним Евтушенко.

Без порции сарказма, как видим, не обошлось: старый поэт гладит животное, молодой желает увековечиться. Смеляков ревновал. Это ровно 1960 год, оттепель вот-вот пойдет на спад, Хрущев придет в Манеж, но взлет евтушенковской плеяды стал фактом, для многих тревожным. Смеляков лишь раз срифмовал в евтушенковском духе: «делегаты — деликатно». Мог — не хотел.

В Смелякове сосуществовало несколько натур. Был там и середняк, был там и старовер. Средняк отписывался командировочными

впечатлениями и слал поклоны высшему руководству. Ему нравилось стоять на Красной площади, принимая первомайскую демонстрацию. Старовер хранил верность идеалам и стоял на страже классики. Таково было его околешестидесятничество. Он сам избрал эту роль. Приветствуя одаренную молодежь, он учил ее не растрачиваться на интим, начисто забыв о том, что ему самому некогда досталось на орехи как раз по части недопустимой чувствительности. Но чувствительным он остался навсегда. Количество уменьшительных суффиксов зашкаливает. Всякие там «хозяечки», «платьишки» и «кулечки» пестрят у него, засахаривая самую чистую струю лирики. Евтушенко набрался этих суффиксов у Смелякова. К слову говоря, Чуковский полагал, что эти суффиксы в русском стихе — от Некрасова.

В советскую пору стихотворцы строчили высокоидейные спецстишки для проходимости книги в печати. Их называли «паровозами». Наследие Смелякова во многом кладбище этих «паровозов».

Но само стихотворение «Кладбище паровозов» — одно из лучших у него. Это реквием о своем времени, о всем том, чему он отдал светлейшие порывы души. По существу, Смеляков засвидетельствовал крах своего поколения:

Словно распад сознания —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Надо не забывать: Смеляков — сын железнодорожника, так что это стихотворение — его кровное переживание во всю длину существования от колыбели до грозных топок смерти. Ему снились сны такого рода: «Приснилось мне, что я чугунным стал...» Не был он чугунным. Поэтическое чутье выводило его на истинные высоты порой без контроля рации.

Он пишет протопопа Аввакума в озарении, падающем на героический образ мятежного русского человека, не вполне понимая историческую роль этой фигуры. Державник Смеляков в Аввакуме не узнал оппозицию державе, вызов государю — это был вызов справа, род фундаментализма, камень на пути преобразований в Церкви и государстве.

А может, узнал? Намеренно занял позицию хранителя и охранителя пламенной идеологии в ее первичном блеске? Может быть, и так. Но свет

дело к самому главному для себя:

Ведь он оставил русской речи
и прямоту, и срамоту,
язык мятежного предтечи,
светившийся, как уголь во рту.

Он испытывает трепет пред сильными мира сего — Иван Грозный и Петр Великий двигают горами и ведут народ к сияющим вершинам, однако в процессе одного движения много жертв, от царевича Алексея до князя Меншикова.

В лице Смелякова наглядно подтвердилась мысль Мандельштама о том, что большевики приняли поэтическую иерархию из рук символистов. Блока Смеляков обожает. Свидетельств много. Еще в 1938-м, в «Лирическом отступлении», — прямая реминисценция:

Валентина Аркадьевна,
Валенька,
Валя.
Как поют,
как сияют
твои соловьи!

Правда, в данном случае кажется, что Блока Смелякову, стоя за его спиной, подсказывает — Багрицкий, со своей Вале-Валентиной («Смерть пионерки»).

Причудливы пути стиха. Вот «Петр и Алексей», начато Смеляковым в 1945-м, завершено и опубликовано в 1959-м.

День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, слезах, ожогах
императорская рука.

В 1961-м молодой Вознесенский говорит в «Лобной балладе» (поэма «Треугольная груша»):

...перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй
как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя —
царуй!..

Читал Смелякова.

У Владимира Соколова, тесно и очень непросто связанного со Смеляковым стихами и по жизни, есть вещь, неявно посвященная Смелякову:

Если песенку не затевать,
Не искать у нее утешений,
То куда мне, живому, девать
Груз невыясненных отношений?

Концовка такая:

Засвидетельствуй, не утай,
Дай словесный портрет идеала.

Торжество песенки, интимной по сути. Программа для себя, соотнесенная с адресатом поверх грубой реальности. Абсолютно родственна этому стихотворению другая соколовская вещь — «Упаси меня от серебра...», они музыкально и по духу слиты, образуя единый текст. Общий финал:

Это страшно — всю жизнь ускользать,
Уходить, убегать от ответа.
Быть единственным — а написать
совершенно другого поэта.

Написал ли Смеляков совершенно другого Смелякова? И да — и нет.

Надо дать себе труд вчитаться, не отмахнуться, переварить несъедобное, не забыть драгоценного.

Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Последние месяцы жизни он тяжело болел, Евтушенко привозил ему из-за границы лекарства. Ушел Смеляков, месяца не дотянув до шестидесяти. Евтушенко пишет скорбно-гневное стихотворение «Похороны Смелякова».

Рядом с человеческой бедой,
глядя вновь на свежую могилу,
как сдержать отчаянной уздой
пошлость — эту жирную кобылу?

О, как демагогия страшна
в речи на гражданской панихиде!
Хочется не спьяну, а стрезва
закричать кому-то: «Помогите!»

Вот, очки пристроив не спеша
на лице, похожем на мошонку,
произносит: «Как болит душа!» —
кто-то, глядя важно в бумажонку.

А другой орет на весь погост,
ищет рюмку дланью — не находит.
Речь его надгробная на тост
слишком подозрительно походит.

Я не говорю — они ханжи.
Мертвого, наверное, им жалко,
но тупое пьянство — пьянство лжи,
словно рюмку, требует шпаргалку.

Мертвый мертв. Речей не слышит он.
Но живые слышат — им тошнее.
Бюрократида похорон —
есть ли что действительно страшнее?..

Под подушкой покойного нашли евтушенковскую книгу.

ДОЛГИЕ КРИКИ

По существу, шестидесятые — послесловие середины века. Всякое послесловие — или постскрипtum — жанр короткий. Лаконизм шестидесятых был предопределен. Более того. Шестидесятые закончились на середине своего календарного срока. В 1965 год вошла другая страна, без Хрущева. Слащаво-героических, плакатных, бравурных, величественных шестидесятых быстро не стало.

У Слуцкого было словцо *послевойна*.

Оно отошло давным-давно,
время,
выраженное мною,
с его войною и послевойною.

Оно означало все произошедшее со страной после войны.

Послехрущевский откат — *послеоттепель*. Эпоха реакции. «Гражданские сумерки» — так называлась сценическая композиция по «Казанскому университету» (1970) Евтушенко: общий финал шестидесятых.

П. Вайль и А. Генис написали правдивую книгу «60-е. Мир советского человека». Без нашего героя не обошлось, разумеется. Сделаем выборки.

Это была слава.

В отличие от Есенина, который хотел «задрать штаны бежать за комсомолом», Евтушенко сам вел комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было бы задрать штаны: тогда поэты были во всем первыми — брюки у них были самые узкие, идеи самые прогрессивные, слова самые смелые. Один западный корреспондент, замороженный трибунным чтением Евтушенко, сказал, что он мог бы возглавить временное правительство. Наверное, это так — но лишь по форме, не по содержанию. По содержанию Евтушенко преобразователем и революционером не был. Он шел в фарватере эпохи, которая требовала лозунга. И толпа, которая всегда слышит громогласный призыв, а не отданный вполголоса приказ,

смотрела снизу вверх на своего лидера — поэта.

И лидер так же нуждался в аудитории, как и она в нем. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Это ораторские речи, слегка зарифмованные — благо процветала ассонансная рифма. Сам Евтушенко считал, что изобрел что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то «евтушенковской» рифме. Но все это неверно, да и неважно, потому что при чтении на стадионе ветер относит окончания слов. <...>

Евтушенко принес в жертву своей праведной борьбе самое важное и дорогое — талант и поэтическое мастерство. Он не создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики. Хотя и мог. По своей поэтической потенции — несомненно, мог. Но он был лишь соавтором эпохи.

Они были соратники и соавторы — поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатай Евтушенко. <...>

Кипение мощной натуры не дало поэту перейти из революционеров в бюрократы, что обычно происходит. Евтушенко остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений:

Мне страшно, мне не пляшется.
Но не плясать — нельзя. <...>

В Большой Советской Энциклопедии про Евгения Евтушенко сказано: «В лучших стихах и поэмах Е. с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности».

Это правда. Слишком безусловна была зависимость поэта от эпохи.

Общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась.

Много точного, и все было бы ничего, кабы не судейская тональность с нотками прокурорскими. На почти любую посылку отыщется антипосылка. Никакой комсомол поэт Евтушенко никуда не вел:

...и мне не хочется,
поверь,

задрал штаны,
бежать вослед за этим комсомолом.

За хождение в фарватере шею не мылят и предателем не кличут.
Имя рифмы придумал не он.

Окончания слов ветер относит лишь в том случае, если поэта слушать исключительно на стадионе. То есть Вайль и Генис говорят — не заглядывая в евтушенковский *текст*. Они создают литературный образ, оперируют готовым мифом. Их персонаж — «поэт-глашатай» — дни и ночи проводит на подиуме, стихов он, похоже, даже не пишет, а выкрикивает в воздух то, что ему приносит ветер. В такой — зрительской, дистанционной — позиции невозможно различить ни метафорической системы, ни своего ритма, ни своей строфы, ни своей тематики. Не слышно шелеста страниц.

В общем, это та же пробежка на высокой скорости мимо крупного явления, которой был не чужд их «поэт-глашатай». Надо ли так уж соответствовать? Правдивость не есть правда.

Был артист Борис Бабочкин. Евтушенко посвятил ему известные стихи:

Твои силы, Чапай, убывали,
но на стольких экранах земли
убивали тебя, убивали,
а убить до конца не смогли.

.....

И мне стыдно спасать свою шкуру
и дрожать, словно крысий хвост...
За винтовкой, брошенной сдуру,
я бросаюсь с тебя, Крымский мост!

(«Новый вариант «Чапаева»)

Бабочкин сыграл в кино Чапаева и в глазах миллионов уже никем другим не был. Может быть, это была его лучшая роль.

Была ли лучшей ролью Евтушенко его ораторская ипостась? Многие миллионы в глаза не видели этого артиста в Лужниках, а стих «Весенней ночью думай обо мне...» читали по книжке и наизусть, а потом и пели.

Вернемся к началу 1964-го.

До октября хрущевской катастрофы и далеко, и близко.

В феврале на берегах Невы арестован молодой, не известный Евтушенко поэт Иосиф Бродский: 13 марта его приговаривают к пяти годам принудительных работ на Севере, 22 марта этапируют на Север в тюремном вагоне, день 25 марта он проводит в Архангельской пересыльной тюрьме. В апреле селится в деревне Норенской.

У Евтушенко в апреле — случай в Звездном городке.

В апреле — последняя точка в «Братской ГЭС». Он мог отправляться на все четыре стороны. Его потянуло на Юг.

Он сидит в Коктебеле, южная весна пошла миндалем, маками, тюльпанами — не рвануть ли на Север? Но для начала — в Братск (Иркутск, Шелехово, Зима, Красноярск, Дивногорск). Галя остается в Коктебеле, ее навещает Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина, певица и переводчица. Вот наугад некоторые страницы жизни эмигрантки-возвращенки Лещенко-Сухомлиной: 30 сентября 1947 года ее арестовывают, приговор — 8 лет исправительно-трудовых лагерей, 58-я статья; в Воркуте как актриса она попадает в лагерный театр; весной 1952-го ее переводят в лагерь-совхоз «Горняк» на должность ассенизатора; в 1953-м она получает инвалидность по болезни и этапируется вместе с другими инвалидами по пересыльным тюрьмам.

Двадцать третьего апреля она пишет в дневнике:

Навстречу нам вышла невысокая молодая женщина с большими «лаными» глазами, закивала мне, я сначала ее не узнала. «Галя?» — спросила я. То была Галя Евтушенко. Худое, резко очерченное лицо с большими зелено-серыми глазами. «Женя в Братске. Его все время мордой об стол, а он по-прежнему фанатик. Я ему говорила, что Павлов сволочь, а он все не верил — теперь поверит... За Женю кто бы сейчас ни «заступился», все равно не поможет... Его печатают по капельке время от времени, нарочно выбирают самые плохие стихи, чтобы видимость была! В Братске его любят. Он поехал туда новые свои стихи читать...»

Я послала Жене Евтуше самый сердечный привет... и сказала: «Берегите его, Галя. Будьте с ним *легковейной!..Нежной!..*»

За день до того Лидия Корнеевна Чуковская вносит в свои «Записки» новую информацию.

22 апреля 64

...а вот герой наш (Бродский. — И. Ф.) ведет себя не совсем хорошо, — сказала она (Ахматова. — И. Ф.), помолчав. — Даже совсем не.

Оказывается, был у нее Миша Мейлах, навещавший Иосифа в ссылке (один из преданнейших Бродскому молодых ленинградцев).

— Вообразите, Иосиф говорит: «Никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если б они хотели, они освободили бы меня в два дня».

(«Они» — это мы!)

Взрыв. Образчик ахматовской неистовой речи.

— За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека из всех восемнадцати миллионов репрессированных! И Фрида, и я, и вы. И Твардовский. И Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич. И Копелевы... У него типичный лагерный психоз — это мне знакомо — Лева говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу в лагере...

Я подумала: Лева пробыл в тюрьмах и лагерях лет двадцать без малого, а Иосиф — без малого три недели. Да и не в тюрьме, не в лагере, а всего лишь в ссылке.

...Отдышавшись после неистовой речи, Анна Андреевна с полным спокойствием объяснила причину, по какой «Литературная Россия» все откладывает и откладывает из номера в номер печатанье ее стихов.

...Теперь она решила взять свои стихи из «Литературной России» и разделить их на две части: одни отдать в «Новый Мир», где предисловие напишет критик Андрей Синявский. А другие — еще не обдумала, куда.

А происшествию с «Литературной Россией» и «Неделей», в сущности, дивиться нечего. Административно-судебными делами в ЦК партии ведает Миронов, административно-литературными — он же. Литература как орган администрации!

Я рассказала Анне Андреевне эпизод, бродящий в виде очередной легенды по городу. 12 апреля, на празднование третьей годовщины со дня полета в космос, космонавты пригласили к

себе в поселок, в клуб, знаменитого Евгения Евтушенко. Выступать. Читать стихи. Евтушенко приехал. Гагарин, Николаев, Терешкова — словом, герои космоса — встретили его радушно. Он готов был уже взойти на трибуну. Но тут подошел к нему некий молодой человек и передал совет т. Миронова: не выступать. Герои космоса его не удерживали. В самом деле, что такое для Юрия Гагарина невесомость по сравнению с неудовольствием товарища Миронова? (А полуправоверный Евтушенко опять, кажется, в полуопале.)

Двадцатого мая 1964 года составлена «Информация КГБ при СМ СССР об обсуждении творческой интеллигенцией судебного процесса над И. Бродским». «Информация» подписана В. Семичастным, сменившим А. Шелепина (Железный Шурик) на посту председателя КГБ.

Осуждение Бродского вызвало различные кривотолки в среде творческой интеллигенции. <...> Поэт Евтушенко, прочитав материалы Вигдоровой, заявил, что процесс над Бродским пахнет фашизмом, нарушается законность...

Следует отметить, что наиболее активно муссируются слухи вокруг дела в кругах творческих интеллигентов еврейской национальности.

Вследствие достаточно широкого распространения материалов Вигдоровой, они стали достоянием буржуазной прессы. Об этом свидетельствует тот факт, что 13 мая 1964 года в английской газете «Гардиан» опубликована клеветническая статья некоего В. Зорза, в которой излагаются, а в некоторых случаях дословно цитируются выдержки из собранных Вигдоровой материалов. Комитет госбезопасности принимает меры к розыску лиц, способствовавших передаче тенденциозной информации по делу Бродского за границу.

Бывают странные сближения.

Архангельск?

Успех северного цикла-63 поднял Евтушенко на новый бросок на Север. Может быть, дело было и не в успехе как таковом. Та земля, то море, те реки и озера уже притягивали сами по себе, тем более что напарник был тем же и он тоже хотел отправиться в ту же сторону.

Между тем популярность Евтушенко растет как на дрожжах. Сборники

стихов выходят во Франции, Чехословакии, США, Англии. Читатели уже знают его облик по фотографиям в журналах и книгах, особенно эту — анфас: открытое лицо, короткая стрижка, голова слегка склонена вправо.

Отход в Белое море из Архангельска летом 1964 года был традиционным. Имя зверобойной шхуны было замечательным — «Моряна», команда была дружной, спаянной, маршрут звучал как песня: от Архангельска к Новой Земле, потом проливом Югорский Шар в Карское море. В вечернем ресторане гостиницы пара литераторов-москвичей органично вливается в экипаж, поэт неотразим, у него шикарный заморский галстук, он разливает всем шампанское, стоит шум застолья, ему говорят:

— Женя, дай стихи списать.

Он говорит:

— А вот мы с Юрой скоро в Америку поедem, к Джону Стейнбеку в гости. Поедем, Юра?

Старик Джон — свой парень, на встрече минувшей осенью с писательской молодежью в журнале «Юность» он сказал: «Покажите зубы, волчата!», а потом пошел по Москве в одиночку, дабы с простым народом успешно сообразить на троих. В тот миг самобытного русского гостеприимства Стейнбек забудет многое, в том числе тот факт, что он — *почтивыпускник* (бросил учебу!) Стэнфорда, а тот университет заканчивал единственный русский — некто Керенский, и вряд ли об этом знал старик Джон и уж по крайней мере никогда не узнал о том, что Евтушенко станет там временным профессором и поместит в Стэнфорде свой архив, и не помнил старик Джон ни о чем плохом в ласковом обществе двух новых корешей-собутельников, найденных где-то на улице.

Впрочем, все это — сказка, молва московская. На самом деле старик Джон провел тогда вечер у Евтушенко, сильно задружился с сибирским дядей Андреем, внезапно оказавшимся у племянника, смычка произошла весьма тесная, ну а потом, наутро, действительно было что-то похожее на *polli tra na troikh*, или это было галлюцинацией впечатлительного поэта.

Юра почти молча ответил Жене:

— Париж, НьюЙорк... джинфиз и стриптиз... аэропорты-автопортреты... а вот поедem-ка на Канин Нос и проснемся однажды... в старой избе среди всхрапывающих рыбаков.

Почти все это — кроме Джона и чего-то еще — описано Казаковым в рассказе «Отход».

Но все было круче. В Архангельске, когда они туда явились и оформились в рейс, им были сделаны противотифозные уколы: на

«Моряне» накануне отхода кок заболел брюшным тифом, и уколы были болезненные, под лопатку. Казаков потом вспоминал:

«Целый месяц я не мог лежать на спине, было больно, как будто гвоздь там торчит. И вот мы целый месяц с ними (командой «Моряны». — И. Ф.) ходили, а потом нам это дело поднадоело. Каждый день одно и то же, уж насмотрелись. Тогда они нас подвезли к Амдерме, мы высадились, и в тот же день мы взяли билет на самолет. И тогда я первый раз увидел военные наши реактивные самолеты. <...> Еще я увидел, как в Амдерме пьют одеколон. Раньше я видел, ну, как разбавляют. Но тут, честное слово, я вообще... А там было только шампанское и цимлянское, и больше ничего не было: ни водки, ни спирту, ни коньяку, ни портвейна, ничего. Так ребята, съехавшие с нами на берег, отправились в аптеку или в какой-то хозяйственный магазин и принесли «Тройной» одеколон, самый дешевый, а он бултыхается долго, там дырочка маленькая, по капельке бежит, пока стакан нальется... Потом мы полетели в Архангельск, и вдруг все летчики, пилоты и стюардессы узнали Женю, ну и меня заодно, и прижали нас — брать автографы. И все это в воздухе! Самолет с перепугу чуть не врезался в землю...»

Именно на той путине «Моряны», пробивающейся сквозь льды к острову Диксон, экипаж в порядке обмена получил от встречного траулера новое кино — «Ночи Кабирии» Феллини. Фильм крутили на камбузе, повесив простыню на переборке. Сначала похохатывали, потом прониклись, и когда обаятельный жулик обобрал влюбленную в него крохотную женщину, пудовые кулачищи загрохотали по столу.

Вот все это и вошло в те северные стихи Евтушенко. Разумеется, самой популярной стала «Баллада о выпивке».

Уже висело над аптекой
«Тройного нету!» с грустью некой,
а восемь нас, волков морских,
рыдали — аж на всю Россию!
И мы, рыдая, так разили,
как восемь парикмахерских.

При всем при том, несмотря на специфический аромат некоторых мест этого цикла, Евтушенко выдал целый ряд совершенно серьезных, трезвых, ни в глазу, вещей: записанные на «Моряне» — «Самокрутки», «Тяга вальдшнепов», «Катер связи», «Зачем ты так?», «Белые ночи в Архангельске» плюс написанные уже в Москве и Коктебеле «Береговой припай», «Качка», «Прохиндей», «Баллада о нерпах», «Баллада о стерве» — список неполон, Евтушенко посвятил Ю. Казакову «Долгие крики».

Дремлет избушка на том берегу.
Лошадь белеет на темном лугу.
Криком кричу и стреляю, стреляю,
а разбудить никого не могу.

Хоть бы им выстрелы ветер донес,
хоть бы услышал какой-нибудь пес!
Спят как убитые... «Долгие крики» —
так называется перевоз.

Голос мой в залах гремел, как набат,
площади тряс его мощный раскат,
а дотянуться до этой избушки
и пробудить ее — он слабоват.

И для крестьян, что, устало дыша,
спят, словно пашут, спят не спеша,
так же неслышен мой голос, как будто
шелесты сосен и шум камыша.

Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк?
Ты растерялся, промок и продрог.
Кончились пули. Сорван твой голос.
Дождь заливает твой костерок.

Но не тужи, что обидно до слез.
Можно о стольком подумать всерьез.
Времени много... «Долгие крики» —
так называется перевоз.

Долгие крики — Россия, конечно.

Казаков написал свои «Долгие крики» через почти десять лет:

Рассказывал он (некий П. — И. Ф.) нам об одном озере, как он там жил и охотился и какая была там тишина, какой покой. О деревянной тропе рассказывал, которая ведет через гиблые болота, и что идти по ней нужно двадцать километров, а потом уже и озеро выглянет, на другой стороне которого стояла когда-то обитель, а теперь ничего нет, только один дом, в котором живет старик со старухой.

Деревянная тропа приводит к берегу и обрывается, а на берегу стол и лавки в землю врыты, и висит на елке обрезок железной трубы. В эту трубу и нужно колотить и кричать, чтобы старик приехал и забрал к себе. Это и будет пристань, конец всего сущего, начало иного мира, а называется пристань — «Долгие крики».

Так и сказал нам П. в Вологде, сидя под своими книгами, под ружьем, висящим на стене, сказал тихо и нежно:

— Долгие крики...

Стихов было в то северное лето у Евтушенко много, очень много, но, скорее всего, самым устойчивым во времени оказался не нашумевший памфлет «Баллада о браконьерстве», в адресатах которого видели первое лицо партии, но этот негромкий памятник дружбе:

Комаров по лысине размазав,
попадая в топи там и сям,
автор нежных дымчатых рассказов
шпарил из двустволки по гусям.

И, грузинским тостам не обучен,
речь свою за водкой и чайком
уснащал великим и могучим
русским нецензурным языком.

В темноте залузганной хибары
он ворчал, мрачнее сатаны,
по ночам — какие суки бабы,
по утрам — какие суки мы.

А когда храпел, ужасно громок,
думал я тихонько про себя:
за него, наверно, тайный гномик
пишет, тихо перышком скрипя.

Но однажды, ночью темной-темной
при собачьем лае и дожде
(не скажу, что с радостью огромной)
на зады мы вышли по нужде.

Совершая там обряд законный,
мой товарищ, спрятанный в тени,
вдруг сказал мне с дрожью незнакомой:
«Посмотри-ка, светятся они!»

Били прямо в нос навоз и силос.
Было сыро, гнусно и темно.
Ничего как будто не светилося
и светиться не было должно.

Но внезапно я увидел, словно
на минуту раньше был я слеп,
как свежеотесанные бревна
испускали ровный-ровный свет.

И была в них лунная дремота,
запах dalej северных лесных
и еще особенное что-то
выше нас и выше их самих.

И товарищ тихо и блаженно
выдохнул из мрака:
«Благодать...
Светятся-то, светятся как, Женька!» —
и добавил грустно:
«Так их мать!..»

«Долгие крики» Евтушенко написал 7 июля 1964-го, а 6 июля председатель КГБ Семичастный докладывает ЦК партии:

При встрече с французским певцом Азнавуром он (Евтушенко. — И. Ф.) сетует на отсутствие в нашей стране «свободы творчества»: «К сожалению, Чехов, Достоевский, Гоголь больше говорят правды про сегодняшнюю Россию, чем мы, нынешние русские писатели».

Уходило свое время, надвигалось иное. Конец всего сущего, начало иного мира.

Самый проникновенный, может быть, рассказ русского писателя Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал» назван по строчке немецкого поэта Генриха Гейне: о самоубийстве русского поэта Дмитрия Голубкова, друга, соседа по даче.

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Время смурнело, тяжелело, человек терялся, растрчивался, уничтожал себя, дружба становилась дороже золота, но и она рушилась, оставались лишь отдельные нити прежнего клубка. Белое море накрывала черная туча ненастья.

Качка!

Обалдевшие инструкции срываются с гвоздей,
о башку «Спидола» стучается
вместе с Дорис Дей.

Борщ, на камбузе томящийся,
взвивается плеща, —
к потолку прилип дымящийся

лист лавровый из борща.
Качка!
Все инструкции разбиты,
все портреты тоже — вдрызг.
Лица мертвенны, испиты,
под кормой — крысиный визг,
а вокруг сплошная каша,
только крики на ветру,
только качка, качка, качка,
только мерзостно во рту.

(«Качка. Баллада о бочке»)

В конце 1964 года портреты действительно сменили в советских учреждениях. Хрущевский шарообразный лик разбился вдребезги.

Ярослав Голованов передает устный рассказ Юрия Казакова:

— Женька — замечательный человек! Если вы с ним вдвоем, ну, где-нибудь в лесу, или если вокруг люди, которые его не знают и для которых он не интересен, какие-нибудь лесорубы, сплавщики, рыбаки, он — самый лучший товарищ! Предупредительный, внимательный, и воды принесет, и сготовит, разбудит тебя: «Самовар готов...» Всегда не ты о нем будешь заботиться, а он о тебе. Но если вокруг «читатели», шепоток шуршит, оглядываются со вниманием, — он невозможен совершенно!

Пришли мы в Архангельск. Он в рюкзак — нырь! Достает американское барахлишко, пачку «Кента» и — в ресторан! Сидит, глазами зыркает влево-вправо, и тут — есть ты, нет тебя — ему все равно, он ничего не замечает...

...Мы тогда путешествовали с ним по всему Белому морю. На Новой Земле были. Потом в Грузии он врал, что нас на Новую Землю с парашютом выбрасывали. Грузины сидят, слушают, не шелохнутся, а он врет...

Женя очень странный. Однажды поздно вечером звонок. Женя. «Юра, ты мне очень нужен! Немедленно приезжай в ЦДЛ!» Я говорю, что уже сплю. «Нет, ты должен, понимаешь, это очень важно...» Я поднимаюсь, еду. Женя меня встречает,

усаживает за столик, заказывает мне коньяка, себе шампанского. В эту минуту увидел какую-то девку. «Извини, я сейчас, на минутку только отойду...» Стоит, треплется с этой девкой. Наконец вернулся, сел. Подходит к нам Белла Ахмадулина, дарит ему грузинский журнал, в котором были напечатаны ее чудесные стихи о Пастернаке. Он поблагодарил и тут увидел еще какую-то девку, опять говорит: «Я сейчас...» Я сидел, сидел, коньяк весь выпил, вижу такое дело, взял журнал и ушел... Вот скажи, зачем он меня звал?

Зачем-то.

Казаков прощал ему чудачества и глупости, потому что, помимо прочего, помнил их тот в «шестьдесят вроде третьем году» приезд в Вологду, когда при осмотре краеведческого музея обнаружилось, что шинелку писателя Александра Яшина, с тремя пулевыми дырками, сняли по приказу партийного начальства с экспозиции (с вешалки) за честный рассказ «Вологодская свадьба». Вот когда понадобилась некрасовская нота:

Мы взбирались на дряхлые звонницы
и глядели, угрюмо куря,
на предмет утешения вольницы —
запыленные колокола.

Они были все так же опасными.
Мы молчали, темны и тяжки,
и толкали неловкими пальцами
их подвязанные языки.

Это стихотворение — «Вологодские колокола» — Евтушенко тоже посвятил Казакову.

Ему же — написанное в 1972-м «Чертовое болото».

В ноябре 1982-го Юрия Казакова не стало. Сердце.

Евтушенко вошел в комиссию по его наследию. Дикая, неумопостигаемая битва за установку памятной доски по адресу Арбат, 30. Евтушенко выступал на собраниях, заседаниях, писал письма, общался с людьми, которые тупо бравируют: «Я вообще не читал Казакова!», обращался непосредственно к мэру Ю. Лужкову, это длилось долго, с 1997 года. Доску открыли 5 февраля 2008 года, Евтушенко сказал речь.

— Юрий Казаков принадлежал к тем, кто всегда учил людей свободе, совести и любви к Родине.

Банально, конечно. Но что еще скажешь на открытии мемориала друга?

Рядом стоял Валентин Распутин.

Семь лет назад, 2 августа 2001 года, Евтушенко говорил в интервью питерской газете «Смена»:

«Я любил и люблю его прозу, особенно «Деньги для Марии», «Последний срок», с удовольствием писал предисловие для «Живи и помни»... Когда мы оказались в Кельне с писательской делегацией, он был единственный, кто пошел со мной к диссиденту Льву Копелеву. По-моему, нас связывала дружба... Помню, я попал в очередную опалу, а Распутин, к которому бонзы вдруг подобрали, меня защитил — написал предисловие к моему роману «Ягодные места». Без его рекомендации роман бы ни за что не прошел цензуру...

Зачем он подписал позорное «Слово к народу» [\[4\]](#), вышедшее накануне путча? Я сожалел, наблюдая эти непонятные поступки, но нигде — ни в печати, ни устно — его не трогал. И вдруг он публикует статью, в которой моя фамилия набрана с маленькой буквы, во множественном числе. Не скрою, меня здорово задело... Потому что среди книг, которые у меня всегда под рукой, — его сборник с дарственной надписью: «Дорогому Евгению Александровичу Евтушенко с огромной благодарностью за Евгения Александровича Евтушенко, который столько открыл, помог познакомиться мне и Саше Вампилову с Платоновым» (Я давал им читать «Чевенгур», «Котлован»)).

Накануне открытия казаковской доски Евтушенко написал, не ведая о встрече с Распутиным:

В притворном примиренье нету смысла,
но будет участь родины горька,
когда в промозглом воздухе повисла
рукою не согретая рука...

Впервые с 1991 года они подали друг другу руку.

РАЗРЕЗАННЫЙ АРБУЗ

Дмитрий Алексеевич Поликарпов был заведующий отделом культуры ЦК КПСС. Основным его карьерным достижением была антипастернаковская кампания 1958 года. К евтушенковской жизни он тоже руку приложил.

«Братская ГЭС» на пути к читателю претерпела свои немалые приключения. Уже пройдя жесткую редактуру Смелякова, которого самого — как редактора — редактировали в ЦК, поэма должна была открыть 1964 год в «Юности», она уже стояла в первом номере. Внезапно в декабре 1963-го главному редактору журнала Б. Полевому позвонил Л. Ильичев: поэму — снять.

— Это что — совет или приказание?

— Если вам советует секретарь Центрального комитета, то это приказание.

Ход конем изобрел С. Преображенский, зам Полевого, а в прошлом — личный помощник А. Фадеева, тертый калач. В «Юности» он возглавлял партячейку. На общее собрание собрались человек двадцать и вынесли резолюцию: обязать коммуниста Полевого обратиться в Политбюро ЦК КПСС с жалобой на действия секретаря ЦК.

Через неделю Поликарпов запросил 15 оттисков поэмы для членов и кандидатов в члены Политбюро. Спустя две недели Преображенский кричал в трубку Евтушенко:

— Победа!

Дело было за малым. Надо было явиться к Поликарпову в таком составе: Полевой, Преображенский, Смеляков, Евтушенко. Поликарпов зачитал бумажку. Смысл такой. Поэма — важное произведение для всей советской литературы, Политбюро — рекомендует. Все с глубоким облегчением вздохнули. Поликарпов вынул другую бумажку, дополнительную. Там были четыре пункта необходимых дополнений.

1. Отразить индустриализацию нашей страны и энтузиазм первых пятилеток.
2. Воспеть подвиг советского народа во время Великой Отечественной и его многомиллионные жертвы ради мира в мире.
3. В главе «Нюшка» подчеркнуть, что тяжкая жизнь в

послевоенной деревне была не только следствием бюрократического пренебрежения, но прежде всего последствием самой войны.

4. Написать гимн Партии, как вдохновляющей и организующей силе нашего народа.

Смеляков проворчал:

— Вы что от него хотите, чтобы он вам новый Краткий курс ВКП(б) написал?

Преображенский покачал головой:

— Тут месяца на три работы.

Евтушенко сказал: хватит трех дней.

Через три дня собрались в том же составе. Все было сделано. Поликарпов зачитал вслух все новонаписанное.

— Кажется, неплохо. Но вот о партии как-то уж очень мало. Может быть, ты еще бы поработал — гроханул бы этак строк семьсот, а то и тысячу?

Смеляков не выдержал:

— Да вы что! Маяковский и то за всю жизнь только десять строк о партии написал. А я вот, например, ни одной...

«Братская ГЭС» вышла в четвертом номере. Строчечных поправок было 593.

«Когда в 1964 году в мастерской художника Олега Целкова я показал Артуру Миллеру верстку поэмы, испещренную красными карандашами, он был потрясен:

— Как вы можете писать в таких условиях? Что за люди вас так мучают?

Я показал ему на картину Целкова, где самодовольные уроды кромсали ножами живое тело разрезанного арбуза».

Когда сняли Хрущева, ничего внятного народу не было сказано. У Евтушенко в те октябрьские дни намечался отъезд в Италию, накануне которого его вызвал Поликарпов.

— Есть такое мнение. Надо отложить твою поездку. И вообще, чего ты там не видел, в этой Италии? Я вот, например, даже в Крыму ни разу не был. В общем, пиши телеграмму, что ты болен.

— Не буду писать никакой телеграммы. Я уже писал одну такую в Америку — стыдно потом было. Да и разве можно начинать новому первому секретарю партии свою деятельность с запрещения поездок писателей? Ведь именно так это будет интерпретировать реакционная

пресса...

Поликарпов задумался.

— Обожди меня здесь, — сказал он и вышел.

Вернулся он через полчаса.

— Политическая ситуация с поездкой изменилась. Есть такое мнение — тебе надо ехать в Италию.

Он тут же позвонил в Союз писателей по вертушке.

— Отправляйте товарища Евтушенко завтра в Рим.

— Дмитрий Алексеевич, а как же мне отвечать на пресс-конференциях, если меня спросят, в чем все-таки причина снятия Хрущева?

Поликарпов задумался.

— В общем, так. Давай увидимся сегодня в семь вечера у Суркова.

Алексей Сурков был важным литсановником.

Ровно в семь за окнами сурковского кабинета появилось огромное черное тело «Чайки», оттуда вышел Поликарпов в традиционной серой велюровой шляпе, в таком же сером габардиновом плаще и с ярко-оранжевой клеенчатой папкой под мышкой. Разговор неожиданно оказался коротким.

— Значит, едешь?

— Еду...

— В Италию?

— В Италию, в Италию, — заверил его Сурков.

Поликарпов положил на стол оранжевую папку.

— Тут все, что надо. Держись в этом направлении. Но откроешь папку лишь в воздухе.

Папку открыли сразу же по уходе Поликарпова. Там лежали пустые бумажки — вырезки из «Правды», тассовские информации, брошюра Политиздата об октябрьском пленуме.

Суркова прорвало. Содрогаясь от нервного хохота, он в ярости затряс этими бумажками.

— И вот так всю жизнь! Всю жизнь!

Все-таки это он написал «Бьется в тесной печурке огонь...».

В октябре 1964-го журнал «Современник» представил стихи Джемса Клиффорда, английского поэта, погибшего на Второй мировой в 1944-м, перевел Владимир Лифшиц. Стихотворение «Квадраты» в балладном ритме содержало мысли, очень близкие Евтушенко.

И все же порядок вещей нелеп.
Люди, плавящие металл,
Ткущие ткани, пекущие хлеб, —
Кто-то бессовестно вас обокрал.

Не только ваш труд, любовь, досуг —
Украли пытливість открытых глаз;
Набором истин кормя из рук,
Уменье мыслить украли у вас.

Джемса Клиффорда не было. Его изобрел Лифшиц.

Мистификатор писал сыну Алеше (будущему Льву Лосеву) из Москвы в Питер 6 октября 1964-го: «О Клиффорде тут много и очень хорошо говорят. Евг. Евтушенко даже хочет написать о нем статью — на тему о поколениях и т. п. Он же <рассказал мне, что> говорил о нем с Элиотом, и тот подтвердил, что Клиффорд — отличный поэт, известный в Англии. <...> Поэты меня поздравляют с прекрасными переводами. В общем, Клиффорд материализуется на всех парах. Не вздумай кому-нибудь открыть мою маленькую красивую тайну!...»

А не произошло ли удвоение мистификации? Разговор Евтушенко с Элиотом не есть ли тот же розыгрыш? На первый взгляд — Евтушенко попал впросак, как Пушкин с проделкой Мериме: «Песни западных славян». Но не имеем ли мы право на второй взгляд? Вдруг он — понял? Почуял?

Более того. Если, допустим, Евтушенко действительно говорил с Элиотом о Клиффорде, не сыграл ли в эту игру и сам нобелевский лауреат? Мог. За модернистами не заржавеет.

Элиот — сплошь проглоченные-пропущенные звенья. Иные свои вещи он объясняет задним числом, но и комментарии мистифицирует. Игра в кошки-мышки, издевательство, провокация.

Элиот родился в 1888-м. В 60 лет получил «нобелевку». У нас в это время — 1948 год — кампания по безродным космополитам. В мировой поэзии — торжество поколения Элиота, то есть Пастернака — Ахматовой — Цветаевой — Мандельштама.

Андрей Сергеев издал переведенную им книгу избранного Элиота «Бесплодная земля» в 1971-м. М. Зенкевич и И. Кашкин в своей «великой антологии» (эпитет Сергеева) — «Поэты Америки» (1939) впервые представили Томаса Стернза Элиота и Эзры Паунда по-русски. Потом

Паунд пал, кончив психушкой, молчанием собственным и вокруг себя. Элиота у нас разрешили раньше, чем Паунда, который попал в примечания сергеевского издания, сделанные В. Муравьевым, и в один из выпусков сборника «Восток — Запад» (1982).

Сергеевский перевод отчетливей звучит сейчас: после публикации оригинальных стихов Сергеева. Оказалось — там много своего: интонация, ход стиха.

Самоизоляция поэзии, что на Западе, что на Востоке, не мешала таким явлениям — на грани масскульта, — как Есенин, Маяковский или, позже, Аллен Гинсберг (и вообще битники, хиппи). Здесь же — наши шестидесятники.

Сюиты Элиота — монтаж главок, собранных по скрытому смыслу, заведомо дробных. «Бесплодная земля» была поначалу конгломератом разношерстных частей, при помощи Паунда организованных в поэму — за счет отсеечения лишнего. Многие поэмы Евтушенко — то же самое. Но в основном, если не помогала цензура-редактура, он все делал сам. Смелякова трудно счесть Паундом.

Не исключено, что Пастернак знал «Паломничество волхвов» Элиота (1927). Речь о «Рождественской звезде» прежде всего. Там и там дышит ужас вселенской катастрофы, холод смерти. Элиот не входил в переводческий круг Пастернака. Но Стокгольм-48 — получение Элиотом Нобелевской премии — не прошел мимо внимания ни Пастернака, ни Ахматовой.

Ахматовские записные книжки пестрят именем Элиота, она не раз цитирует его строку «В моем начале мой конец» (In my beginning is my end), которую сделала эпиграфом ко Второй части «Поэмы без героя», благодарит Бродского за «На смерть Т. С. Элиота» и за сам факт приобщения к Элиоту (и Дж. Донну), хвалит Наймана за элиотовские переводы. Элиотовская подпитка шла к ней от молодых, но интересно, что впервые имя Элиота и та самая цитата возникли у нее — в размышлениях о Гумилёве. Кстати, она постоянно поругивала Элиота за его верлибр, считая, что именно от него пошла эта мода на слишком свободный стих.

Опасная проделка В. Лифшица в любом случае выявила две неотменимые черты Евтушенко — доверчивость и отзывчивость. А если верна гипотеза «второго взгляда», то и известную авантюристность. По крайней мере с определенного времени Евтушенко, как и Вознесенский, стал прибегать к прозрачно-эзоповским названиям стихотворений типа «Монолог американского писателя». По-видимому, признаки такого приема надо искать еще в давней-давней уловке Пушкина: «Из Пиндемонти». В

рукописи было и так: «Из Alfred Musset» (Из Альфреда Мюссе). Поэта Пиндемонти не было. Был Пиндемонте, но он вряд ли сочинил что-либо подобное пушкинскому «Не дорого ценю я громкие права...»: речь о правах демократических.

Лев Лосев в книге «Меандр» (2010) отсылает к беседе с Виктором Астафьевым, напечатанной в газете «Вечерний клуб» (13 марта 1997 года):

Когдато, не так уж и давно — годов двадцать-тридцать назад, завел я объемистый блокнот и переписывал в него стихи, редко встречающиеся, забытые или не печатающиеся по причине их «крамольности» — Гумилёв, Клюев, Набоков, Вяч. Иванов, лагерные стихи Смелякова, «Жидовка» и «Голубой Дунай» его же, Корнилова, Ручьева, Португалова, «Памяти Есенина» (так! — И. Ф.)Евтушенко, «Журавли» Полторацкого. Стихи Прасолова, Рубцова и многие, многие другие угодили в мой блокнот, который я возил с собою, читал, и не только сам себе, но и друзьям и компаниям близких людей, чувствующих слово и жаждущих услышать то, что от них спрятано и почему-то запрещено.

Астафьев рассказывает, что он решил распечатать эти вещи в газете «Красноярский рабочий», когда представилась такая возможность — с наступлением новых времен. Начал он с... Клиффорда. Более того, он сам, уже от себя, придумал ему биографию, добавив к вымыслу Лифшица необходимые подробности — место гибели (под Арденнами), способ творчества (в солдатской казарме и на фронте) и пр. Прозаик знает свое дело.

Астафьевский перечень имен — нормальная картина интересов современника, включенного в исторический процесс, происходящий на глазах. Этой картине присущ и авантюрно-фантазийный элемент, без которого история не существует. В этом плане Евтушенко равен Клиффорду. Они — другая реальность. Более насущная, чем та, что на дворе и за окном.

1965 год. Грань времен. Под внешним покровом преемственности КПСС на ходу меняет курс. Евтушенко встречает этот год в предельном смятении.

А может быть, он прав, говоря, что без плохих (средних) стихов не возникнет хороших?

1965 год, 18 января, он начнет с «Идут белые снега...», стихов на все

времена, а ведь за несколько дней до того — 11–12 января — пишется «Отходная», на тот же размер-мотив:

Что ж, не вышло мессии,
не удался пророк.
Не помог я России
и себе не помог.

Я любил еще Галю,
как на стебле росу
среди горестной гари
в черном чадном лесу.

.....
Но закрылись границы
для меня навсегда,
и Париж только снится,
словно песня дрозда.

Все слова опоздали,
но, Россия, услышь.
До свидания, Галя!
До свиданья, Париж!

То же, да не то. Похоже на заготовку чего-то существенного.
Нет, чуда поэзии не объяснить.

Строчка «До свидания, Галя!», разумеется, красноречива. Веет прощанием. Это уже раз и навсегда не «До свидания, Галя и Миша» из давнего велопробега, когда свидания были чисто дружескими и конца им не предвиделось.

Правда, причиной обоих стихотворений, которые по существу — одна вещь из двух неравнозначных частей, был этот минувший тяжелый год, кончившийся падением Хрущева, тяжелый год, от которого осталось тяжелейшее ощущение:

Свою душу врачую,
замыкаясь в уют,
но я чую, я чую —
меня скоро убьют.

Так что «Идут белые снеги...» — это уже катарсис, финал переживания, преодоление исходного кризиса, панического ужаса, предельного страха.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

В идеале таким и должно быть стихотворение, оставляя за порогом неоднозначный позыв к своему возникновению. Такой вещью была «Вакханалия» Пастернака, слышимая в евтушенковском шедевре:

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.
.....
А на улице вьюга
Все смешало в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

Похоже, из пастернаковского лирического нарратива Евтушенко извлек песню. А строчкой «Быть бессмертным не в силе» он вспомнил себя раннего:

Видеть это не в силе.
Стиснув зубы, молчу.
«Человека убили!» —
я вот-вот закричу.

«Человека убили», 1957 год.

В том же 1957-м написана и «Вакханалия». Свою вещь в рукописи Пастернак разослал лишь близким людям, опубликована она была только в

1965-м, в первом номере «Нового мира».

Так было ли заимствование?..

Заметим попутно, 12 же января Бродский написал «На смерть Т. С. Элиота»: 4 января Элиот умер.

В «Записных книжках» Ахматовой две записи касаются Евтушенко, причем незадолго до ее смерти.

5 января 1966

Сейчас была горькая радость: слушала Перселла, вспомнила Будку, мою пластинку «Дидоны» и мою Дидону. Вот в чем сила Иосифа: он несет то, чего никто не знал — Т. Элиота, Джона Донна, Перселла — этих мощных великолепных англичан! Кого, спрашивается, несет Евтушенко? Себя, себя. Еще раз себя.

7 февраля 1966

Сейчас прочла стихи Евтушенки в «Юности» (№ 1). Почему никто не видит, что это просто очень плохой Маяковский?

Лидия Корнеевна Чуковская продолжала свои «Записки».

28 мая 65

...Возник обычный общий разговор о Евтушенко, Вознесенском и Ахмадулиной. О Евтушенко и Ахмадулиной говорили по-разному, о Вознесенском же все с неприятием.

— Мальчик «Андрюшечка», как называли его у Пастернаков, — сказала Анна Андреевна. — Вчера он мне позвонил. «Я лечу в Лондон... огорчительно, что у нас с вами разные маршруты... Я хотел бы присутствовать на церемонии в Оксфорде». Вовсе незачем, ответила я. На этой церемонии должен присутствовать один-единственный человек: я. Свиданий ему не назначила: ни у Большого Бена, ни у Анти-Бена...

Разговор впал в обычную колею: вот мы сидим, недоумеваем, бранимся, а Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина имеют бешеный успех.

— Надо признать, — сказала Анна Андреевна, — что все трое — виртуозные эстрадники. Мы судим их меркой поэзии. Между тем эстрадничество тоже искусство, но другое, к поэзии прямого отношения не имеющее. Они держат аудиторию вот так — ни на секунду не отпуская. (Она туго сжала руку и поставила кулак на стол.) А поэзия — поэзией. Другой жанр. Меня

принудили прочесть «Озу» Вознесенского, какое это кощунство, какие выкрутасы...

Анна Андреевна ни разу не слышала чтение Евтушенко или Ахмадулиной — ни в компании, ни в концерте. Не слышала и в глаза не видела.

Молодые друзья Анны Андреевны были неотлучны от нее. Анна Андреевна находилась под постоянным облучением их обаяния — обаяния интеллектуального прежде всего. Приносили книги, пластинки, новости, слушали музыку, вместе переводили, пили водочку, злословили, возникали имена Элиота, Донна или Перселла, вырабатывались чаще всего единое мнение и общий взгляд на вещи.

Она как-то сказала Бродскому:

— Иосиф, а ведь вы не должны любить мои стихи.

Она ясно видела: он иной во всем.

Очень может быть, что, сведи Ахматову судьба с евтушенковской плеядой, точнее — с ним самим, у нее не нашлось бы оснований для слов о нелюбви к ее стихам, потому что в Евтушенко было то, что в нем заметил Адамович: новизна и консерватизм в одном флаконе. Ее фраза о Бродском «В его стихах есть песня!» на равных или с более полным правом может быть переадресована Евтушенко. По исходной, глубинной сути своей Евтушенко намного ближе к ахматовской линии стихотворства, нежели тот «волшебный хор». По стиху, по вектору поиска «ахматовские сироты» достаточно далеко отстоят от Ахматовой как поэта.

Евтушенко вполне мог бы написать в таком — ахматовском — духе и даже такими словами, включая ее рифмовку:

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Не случилось. На слуху был другой Евтушенко. Который больше, чем поэт.

Надо учитывать, что *песня* в ахматовском понимании скорее всего не ограничивается чем-то песенно-фольклорным. Это даже не просто мелодичность. Речь — о музыке. В высшем смысле. Ахматова в восхищении слушает Перселла, в «Поэме без героя» превозносит

«Седьмую» Шостаковича, не придавая ни малейшего значения «Тринадцатой» или тому, что в конце 1964-го Шостакович закончил «Казнь Степана Разина».

Ну а исключительное раздражение Вознесенским было перефокусированной ревностью — к Цветаевой, поскольку более ревностным цветаевцем был только Бродский, трогать которого — не могли.

Евтушенко говорит:

«Во время моей итальянской поездки 1964 года меня спросили о нем (Бродском. — И. Ф.) всего пару раз. Однако я написал письмо в ЦК, красочно расписывая то, как буквально чуть ли не вся итальянская интеллигенция не ест своих «fiori dei zucchini» ^[5], не пьет своего «Barollo» и ничего другого, а только страдает и мучается из-за того, что такой талантливый поэт пребывает где-то в северном колхозе, ворочая вилами коровий навоз. Я попросил нашего посла в Италии — Козырева, друга скульптора Манцу и художника Ренато Гуттузо, почитателя моих стихов, отправить это мое письмо как зашифрованную телеграмму из Рима. Я знал, что в центре (вечет Штирлицем. — И. Ф.) зашифровкам придадут особое значение.

Козырев прекрасно знал, что мое письмо — липа, но благородная. Он отправил мою телеграмму шифром, да еще присовокупил мнение руководства итальянской компартии о том, что освобождение молодого поэта выбьет крупный идеологический козырь из рук врагов социализма».

Этот ход Евтушенко был если не решающим, то достаточно серьезным в ряду поступков подобного рода со стороны Дмитрия Шостаковича, Корнея Чуковского, Константина Паустовского, Александра Твардовского и Юрия Германа, писавших письма в защиту Бродского. Так или иначе, уже 4 сентября 1965 года Верховный Совет СССР принял постановление об изменении срока Бродского, выпустив поэта на свободу.

Евтушенко опять едет на Апеннины. Стихи идут лавиной. Везувий и Колизей стоят на месте. Нет, с Бродским Евтушенко отродясь не конкурировал. Он же был еще и старше. Он был первым даже в том, что бросил школу. Образец, с которым стоит соперничать, — Блок, его «Итальянские стихи». Предшественник был тоже восхищен божественными красотами сих мест и одновременно уязвлен смрадом современной цивилизации. В целом ритмы Рима, включая стихотворение «Ритмы Рима», больше напоминают ритмы Вознесенского: Евтушенко захватывает территорию реального соперника. Возникает некое сотворчество соперников. Возможно, такие жанры, как молитва или баллада, вырабатываются совместно и в некотором смысле сходно.

Это его общая стратегия — хороших и разных, вбирая, перемалывать в себе. Он теперь умеет все, что задумал. Его итальянские стихи 1965-го — отповедь скверной цивилизации, репортажная стенография ее пакостей, фотографизм редкостного зрения. 2 июня в газете «Унита» Ренато Гуттузо высказался о госте из России: «О Евтушенко часто спорят. Он человек мужества, мятежник против бюрократии. Для такой ежедневной борьбы нужно больше отваги, чем просто умереть на баррикадах».

Чего-то похожего на блоковскую «Девушку из Spoleto» («Строен твой стан, как высокие свечи...») у Евтушенко нет, на высокую ноту его не тянет. Он видит иное.

Там, где пахнет убийствами,
где в земле —
мои белые косточки,
проститутка по-быстрому
деловито присела на корточки.

(«Колизей»)

Вознесенский: «как чисто у речки бисерной дочурка твоя трехлетняя пишет по биссектриске».

В будущем, 1966-м, прямо перед тем, как написать «Памяти Ахматовой», Евтушенко из воображаемой канавы, выменянной на славу («Меняю славу на бесславье...»), сообщит читателю (человечеству):

...Швырнет курильщик со скамейки
в канаву смятый коробок,
и мне углами губ с наклейки
печально улыбнется Блок.

Италия! Рим, Неаполь, Таормина. Он не мог не вспомнить о том, что в этом маленьком сицилийском городке в декабре прошлого года произошло великое — для русской поэзии — событие. Ахматову увенчали лаврами премии Этна-Таормина. Ну, не «нобеля». Однако.

Это событие, несомненно, брезжило в его сознании, когда он писал «Процессию с мадонной», несколько напоминающую «Соррентинские фотографии» Ходасевича, о существовании которых Евтушенко наверняка

знал, но вряд ли сознательно соревновался.

Сравним.

Евтушенко:

В городишке тихом Таормина
стройно шла процессия с мадонной.
Дым от свеч всходил и таял мирно,
невесомый, словно тайна мига.

Впереди шли девочки — все в белом,
и держали свечи крепко-крепко.
Шли они с восторгом оробелым,
полные собой и миром целым.

И глядели девочки на свечи,
и в неверном пламени дрожащем
видели загадочные встречи,
слышали заманчивые речи.

Девочкам надеяться пристало.
Время обмануться не настало,
но, как будто их судьба, за ними
позади шли женщины устало.

Позади шли женщины — все в черном,
и держали свечи тоже крепко.
Шли тяжелым шагом удрученным,
полные обманом уличенным.

И глядели женщины на свечи
и в неверном пламени дрожащем
видели детей худые плечи,
слышали мужей тупые речи.

Шли все вместе, улицы минуя,
матерью мадонну именуя,
и несли мадонну на носилках,
будто бы стоячую больную.

И мадонна, видимо, болела
равно и за девочек и женщин,
но мадонна, видимо, велела,
чтобы был такой порядок вечен.

Я смотрел, идя с мадонной рядом,
ни светло, ни горестно на свечи,
а каким-то двуединым взглядом,
полным и надеждою, и ядом.

Так вот и живу — необрученным
и уже навеки обреченным
где-то между девочками в белом
и седыми женщинами в черном.

Межиров через много лет вспомнит эпитет «двуединый» (взгляд) —
говоря о «тайне Ахматовой», которая есть «результат совмещенного взгляда
/ изнутри и откуда-то со стороны».

Ходасевич (отрывок):

А между тем уже с окраин
Глухое пение летит,
И озаряется свечами
Кривая улица вдали;
Как черный парус, меж домами
Большое знамя пронесли
С тяжеловесными кистями;
И чтобы видеть мы могли
Воочию всю ту седмицу,
Проносят плетъ и багряницу,
Терновый скорченный венок,
Гвоздей заржавленных пучок,
И лестницу, и молоток.

Но пенье ближе и слышнее.
Толпа колышется, чернея,
А над толпою лишь Она,

Кольцом огней озарена,
В шелках и розах утопая,
С недвижной благостью в лице,
В недостижимом венце,
Плывет, высокая, прямая,
Ладонь к ладони прижимая,
И держит ручкой восковой
Для слез платочек кружевной.

Но жалкою людского дрожью
Не дрогнут ясные черты.
Не оттого ль к Ее подножью
Летят молитвы и мечты,
Любви кощунственные розы
И от великой полноты —
Сладчайшие людские слезы?
К порогу вышел своему
Седой хозяин остерии.
Он улыбается Марии.
Мария! Улыбнись ему!

В чем разница, если по существу? Евтушенковская картинка — взгляд безбожника. Дело не в таких частностях, как внутрехристианские противоречия: его не заботят чистота православия или заблуждения католицизма. В глаза ему бьет религиозность как таковая, разлитая в воздухе Италии, на каждом шагу. В «Исповедальне» он формулирует прямо:

Но верить вере я не вправе,
хоть лоб о плиты размозжи,
когда, почти как правда правде,
ложь исповедуется лжи.

Это уже ближе к блоковскому неприятию церковности в католической одежке, в частности — в монашеском облачении. В цикле «Итальянские стихи» у Блока есть стихотворение «Глаза, опущенные скромно...»: о статуе Девы Марии, упрятанной монахами в укромную нишу храма.

Нелишне будет сейчас воспроизвести строфу, которую Блок написал, но не печатал:

Однако братьям надоело
(И не хватило больше сил)
Хранить нетронутое тело.
Один из них его растлил...

Блок давно носил в себе антиклерикальную ненависть. 15 апреля 1908 года он пишет матери: «Эти два больших христианских праздника (Рождество и Пасха) все больше унижают меня; как будто и в самом деле происходит что-то такое, чему я глубоко враждебен».

Монах монахом, а Евтушенко чуть не стал — Христом. Виной тому был бы Пазолини. Этот испитой, бледный, скуластый, тощий, жилистый, с печатью всех немыслимых пороков на лице человек попался на глаза гостю из России — в римском ресторане. Он его сразу узнал.

Это лицо невозможно было не запомнить. Впервые Евтушенко увидел его в Москве 1957 года, летом, когда в рамках Фестиваля молодежи и студентов проходил писательский симпозиум, где они общались накоротке, но этот нервный итальянец вел себя как-то неуравновешенно, ему что-то явно не нравилось, и он покинул Москву раньше времени и не в духе.

Но он слышал евтушенковское чтение стихов.

Тогда Пазолини был еще просто поэтом, впрочем, не совсем просто — он был поэтом-коммунистом, а в общем и целом — прирожденным протестантом, даже внутри итальянской версии еврокоммунизма. Пазолини исчез из Москвы не без следа — стали доходить известия о его кинематографических успехах, а также идеологических, моральных, эстетических и сексуальных аномалиях. Гомосексуалист в коммунистической среде не такая уж невидаль, прецеденты были и есть, но он был еще и атеистом странного толка: его не отпускала мысль о Христе.

Евтушенко полагал, что Пазолини был из той человеческой породы, что обитала в катакомбах раннего христианства. В 1963 году, когда Евтушенко песочили за «Бабий Яр», в Москву пришла телеграмма: «Я знаю, что ты сейчас в самом центре критических атак. Когда-нибудь ты поймешь, что это твои не худшие, а лучшие дни. Ты добился поэзией того, что заставил даже правительство спорить с тобой. Здесь я могу залезть голый в фонтан на Пьяцца ди Еспанья и орать сплошные «против», но никто даже внимания на меня не обратит. Завидую. Поздравляю. Твой Пьер

Паоло Пазолини».

Евтушенко был гоним, нов и неожидан, и этого было достаточно для того, чтобы в задуманном Пазолини фильме на евангельскую тему этот русский бунтарь изобразил Христа. На имя Хрущева пришло письмо, украшенное именами Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Франческо Рози, с заверениями в марксистском истолковании роли Христа. Номер не прошел.

В 1964-м «Евангелие от Матфея» было готово. Без Евтушенко.

В том году в римском ресторане они увиделись случайно, Евтушенко послал ему с официантом записку на итальянском языке, которым стал потихоньку заниматься: «Sono cui. Tuo Cristo mancato...» ^[6] Пазолини подбежал мгновенно, предложив показать ночной Рим. Искатели приключений шатались по римским трущобам с не меньшим риском напороться на нож, нежели в марьянорощинских закоулках.

Прогулки такого рода для Пазолини кончатся плохо. Его убьют.

Италия! Где, как не здесь, подумать о внучке итальянца Стопани?..

Ровно десять лет назад Белла показала ему некое письмо к ней, исполненное лиризма. Писал эпик.

Милая Изабелла Ахмадулина!

Пишу Вам под впечатлением Ваших стихов, присланных мне на отзыв из Лит. института.

Я совершенно потрясён огромной чистотой Вашей души, которая объясняется не только Вашей юностью, могучим совершенно мужским дарованием, пронизанным чувственностью и даже детскостью, остротой ума и яркостью поэтического, да и просто человеческого чувства.

Как это все Вам сохранить на будущее? Хватит ли у Вас воли не споткнуться о быт? Женщине-поэту труднее, чем поэту-мужчине...

Как бы там ни было, что бы в Вашей жизни ни произошло, помните, что у Вас дарование с чертами гениальности и не жертвуйте им никому и ничему!

До свидания, чудесное Вы существо, будьте радостны и счастливы, а если и случится какая беда — поэт от этого становится только чище и выше.

Илья Сельвинский

21. III.55.

А на Родине — перманентная жарница похлеще средиземноморской. Идет сеча вокруг новой евтушенковской поэмы.

В «Литературной газете» от 22 июля 1965 года Сельвинский говорит в несколько иной тональности и не о том:

...приходит интерес к отстоявшемуся, попытка обобщить историю, а значит, снова должна возникнуть большая форма. В этом отношении симптоматично появление работы Е. Евтушенко «Братская ГЭС». В ней еще нет сквозного действия главных персонажей, как, впрочем, нет и самих персонажей. Евтушенко расправляется со своим талантом, как с кашей: он размазал свое произведение на четыре тысячи строк, которые не сплавливаются в монолитное единство, — распадаются на сборник стихотворений. Но в них уже прорезываются, как молочные зубы, эскизы отдельных характеров, написанных сочно и выпукло.

Спасибо и на том.

Нет, действительно спасибо, хотя старик Сельвинский похвалил через губу, а в принципе — разругал, это булыжник в мягкой упаковке. Спасибо потому, что другие выражаются без обиняков.

Например, товарищ М. Лобанов в «Дне поэзии»:

Евтушенко разговаривает с историей, как с какой-нибудь поклонницей стихов на читательской конференции. Один из авторов в восторге от главки «Стенька Разин», тут сплошные восклицательные знаки: «Этого Стеньку забыть нельзя!», «Это зрело!» и проч. А чем восхищаться? Один выдавливая прыщ, другой прет, треща с гороху, девки под хмельком «шпарят рысью — в ляжках зуд». Автору кажется, что это хорошо, а это отвратительно...

Подключается город на Неве, «Вечерний Ленинград» от 24 декабря 1965-го, реплика литераторов П. Журбы и А. Чуркина «Евгению Евтушенко премию? Возражаем!»:

Несколько дней назад обнародован список кандидатов на соискание Ленинских премий 1966 года в области литературы и искусства... Мы, признаться, не без удивления прочли, что редколлегия «Юности» выдвинула поэму «Братская ГЭС»

Евтушенко... Ограниченность мировоззрения автора «Братской ГЭС» состоит в том, что он видит в истории революционной России не движение масс, а подвиги одиночек. Творчество Евтушенко слабо, а порой неверно отражает нашу советскую действительность. Творчество его не заслуживает такой высокой оценки. Оно недостойно Ленинской премии.

Обсуждение поэмы идет широкошумно, воинственно. Эта война для автора поэмы кончится ничем, то есть поражением. Премию дадут Сергею Сергеевичу Смирнову за «Брестскую крепость». Слава Богу, книга достойная. Не то что поведение ее автора в 1958-м.

Древние ножницы между творцом и его созданием в советском варианте выглядят угнетающе. Не в этом ли один из резонансов Евтушенко к тому, чтобы стать больше, чем поэт?

Да. О премиях. Нобелевскую этого года получил — Шолохов. «Тихий Дон» — слов нет, вещь грандиозная.

В 1961 году Евтушенко посетил Вёшенскую. Михаил Александрович принял его тепло и разговаривал самобытно.

— Хорошо, что приехал. Михаил Александрович давно за тобой следит. Ты у нас талантище. Бывает, конечно, тебя заносит. Ну, да это дело молодое. Что, брат, заели тебя наши гужееды за «Бабий Яр»? Михаил Александрович все знает. Ты не беспокойся — Михаил Александрович сам черносотенцев не любит...

Затем он внезапно спросил: а зачем ты напечатал «Бабий Яр»? Постучал по рабочему столу:

— Знаешь, что лежит в ящиках этого стола? Новые главы «Они сражались за Родину», да такие, что взрыву подобны! Но Михаил Александрович умен и никогда не даст в руки своих врагов оружие против себя.

Урок великого писателя был таков: не подставляйся.

Впрочем, Шолохов еще в 1954-м, на 2-м съезде писателей, высказался определенно насчет климата в стране и литературе:

Кстати, тут не раз говорили о «литературной обойме» — о пятерке или десятке ведущих писателей. А не пора ли, товарищи, нам рачительно, как бывалым солдатам, пересмотреть свой боеприпас? Кому не известно, что от длительного пребывания в обойме, особенно в дождь или слякотную погоду, именуемую оттепелью, патроны в обойме окисляются и ржавеют? Так вот, не

пора ли нам освободить обойму от залежавшихся там патронов, а на смену им вставить новые патроны, посвежее? Слов нет, не стоит выбрасывать старые патроны, они еще пригодятся, но необходимо по-хозяйски протереть их щелочью, а если надо, то и песчанкой.

Военная терминология вполне уместна.

Родина не забывает о том, что гражданин Евтушенко Е. А. — лицо военное. Значит — ему предстоят военные сборы как минимум. С ним не миндальничают, но все-таки идут навстречу. В ПУРе (Политическое управление вооруженных сил СССР), запрещавшем исполнению военными людьми песни «Хотят ли русские войны» (пока ее не похвалил Хрущев), у него спрашивают: где хотите служить? Он отвечает: где угодно, только не на Кавказе. Его посылают в Тбилиси. Что и требовалось доказать.

Радиостанция «Голос Америки» всплашивает мировую общественность, не сильно ориентируясь в российской истории: вслед за Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым на Кавказ — с целью расправы — выслан поэт Евгений Евтушенко.

Там ему встречается хороший человек, настоящий полковник М. Головастикив, редактор армейской газеты «Ленинское знамя». Первым делом он повез рядового Евтушенко на Пушкинский перевал и получил в подарок посвящение одноименного стихотворения. Остальные дары судьбы были жестче: за то, что полковник представил этого рядового к званию, да еще майора, ему вскоре пришлось покинуть ряды родной армии. А в дни совместной службы они разъезжали по гарнизонам — Евтушенко читал стихи. Было дело — и с танков. Доходило до смешного. Однажды в редакцию позвонили из штаба Закавказского военного округа:

— Командующий округом генерал армии Стученко интересуется, не может ли рядовой Евтушенко прийти к нему сегодня на день рождения?

В военном округе сплошной День поэзии. Рассерженный нештатной ситуацией министр обороны Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский издал приказ об окончании сборов для поэта.

В общем, вернулся он оттуда живым-здоровым. Но случился очередной пленум ЦК ВЛКСМ. С. Павлов произвел филиппику:

— Еще неизвестно, в какую сторону повернут танки, с которых читал стихи Евтушенко!

Атмосфера сгущалась. Однако на дворе стоял золотой октябрь, 3-го числа — день рождения Есенина, всего-навсего его семидесятилетие, такой молодой. В Колонном зале собирается партийный актив города Москвы.

Есенин уже разрешен — народной любви к поэту противостоять все-таки не по силам даже такой несокрушимой цитадели, как коммунистический Кремль. Тем более что фигурой Есенина норовят пользоваться в военных играх новейших западников и славянофилов.

Евтушенко является в Колонный зал с уже начатым текстом выступления, и оно было в рифму. Пока исходили красноречием другие ораторы, он дописывал свою речь на коленке, сидя на стуле у стола президиума.

Речь оказалась «Письмом Есенину» — стихотворением, из-за которого Всесоюзное телевидение впервые за всю свою историю прервало прямую трансляцию, изобразив на телеэкранах всего СССР: «Передача прервана по техническим причинам». После этого все литературные передачи в прямом эфире были отменены.

Говорили, что Павлов планировался на должность секретаря ЦК по идеологии после Ильичева, но Суслов якобы сказал: «Человек с такой пощечиной, как стихотворение Евтушенко, не может быть секретарем по идеологии».

Когда румяный комсомольский вождь
на нас,
поэтов,
кулаком грохочет
и хочет наши души мять, как воск,
и вылепить свое подобье хочет,
его слова, Есенин, не страшны,
но тяжело быть от этого веселым,
и мне не хочется,
поверь,
задрать штаны,
бежать вослед за этим комсомолом.

Это знала наизусть вся страна. Уже завтра машинопись «Письма Есенину» на Кузнецком Мосту продавалась за трешку. Самиздат не дремал.

Москва шумит, везде говорят о Евтушенко, тревожатся за него.

29 октября 1965 года Шостакович пишет своему аспиранту и confidentу, молодому композитору Б. Тищенко: «Каждое утро вместо утренней молитвы я перечитываю, вернее, произношу наизусть два стихотворения Евтушенко: «Сапоги» и «Карьера». «Сапоги» — совесть,

«Карьера» — мораль».

Главный комсомолец и его обличитель. Павлов и Евтушенко были почти ровесниками и думали на одном языке. «Думали» не означает «говорили».

Однажды они пересеклись на праздновании Нового года в ЦДЛ, где не чуждый искусству Павлов (родители — музыканты) был в обществе миловидной певицы Майи Кристалинской (вскоре она замечательно споет песню на евтушенковские стихи «В нашем городе дождь»), держался настороженно-напряженно, а в курилке наедине с Евтушенко признал, что поэт в том стихотворении был прав.

Собственно, открытая сатира по адресу румяного вождя мало чем отличалась от голого намека на Хрущева в «Сказке о русской игрушке». Жирный хан — много ли надо было проницательности, дабы расцелкать незатейливый код сказки?

Горбачев тоже относит себя к шестидесятникам, и в этом есть своя правда.

В конце 1960-х относительно молодые люди, состоящие во власти, скучковались в протестную группу — это была «комсомольская фронда»: Шелепин, Семичастный, Павлов и др. Брежнев нетравматично разогнал их. Павлова в 1968-м бросили на спорт («министр спорта»), а потом в десятиразрядные дипломаты.

Было дело, Евтушенко прилетел в Рангун. В аэропорту его ожидал человек с букетом цветов. Это был Павлов, советский посол в Бирме. Бирманские власти не давали визу поэту — посол пригласил его лично: в таких случаях отказов не бывает. Они обнялись. За ужином Евтушенко спросил, кто его заставил тиснуть в «Комсомолке» ту дрянь о хлестаковщине. Никто. Сам. Ошалел от власти.

За «Письмом Есенину» органически неизбежно последовало стихотворение «В ста верстах», посвященное опять прозаику — Георгию Семенову, близкому другу Юрия Казакова. Евтушенко как-то высказался в том смысле, что деление прозы на «городскую» и «деревенскую» искусственно в стране той классики, что создавалась дворянами, интеллигентами. Проблемы общие. «В ста верстах» как раз об одной из этих проблем. О том страшном человеческом одиночестве, когда души людские, брошенные в немереном пространстве, где «есть село без женихов и невест — *три избышки-развалюхи*, в трех избышках три старухи», блуждают в непонимании: где они? У себя на родине? В плену? Последствия коллективизации невытравимы.

Евтушенко вспоминает тот, камаринский, размер, с которым уже работал когда-то — «Дворец», «Стенька Разин».

Свищут косы, подсекая без труда
за одной волной травы еще волну.
«Ну а где ты помирала и когда?»
«У плену, касатик милый, у плену».

И во взмахах то ли радость, то ли боль,
ну а, может быть, и то и то, вдвоем.
«А в каком плену, бабусь, в германском, что ль?»
«У своем, касатик милый, у своем».

...И летели мимо, боже их спаси! —
самолеты, что родились на Руси,
и безглаголиво поджимали шасси
над травой зацвельных крыш на небеси...

Нет, работа поэта, как она ни одинока, не бывает абсолютно отдельной, вне контекста. Те же размеры, те же заботы — у совсем иных авторов с совсем иными судьбами. Был Станислав Красовицкий. Он примыкал к «группе Черткова». Сам Леонид Чертков отсидел свое в 1957–1962 годах за «антисоветскую пропаганду», в 1974-м эмигрировал во Францию. Красовицкий в начале шестидесятых ушел из стихотворчества в священники, уничтожил все написанное, но в памяти поколения осталось то, что очень похоже на евтушенковский «Дворец» и тогда же было написано:

А летят в небе гуси да кричат,
В красном небе гуси дикие кричат,
Сами розовые, красные до пят,
А одна так не гусыня — белоснежный сад...
А в окошке от Москвы до Костромы
Все меняется — меняемся и мы.

Еще 24 сентября 1965-го в Москву явился освобожденный из ссылки Бродский, несколько недель живет у Андрея Сергеева. В октябре

Евтушенко позвал Бродского читать стихи в МГУ вместе с Ахмадулиной и Окуджавой.

«Я с ходу пригласил Бродского без всякого разрешения властей почитать стихи на моем авторском вечере в Коммунистической аудитории МГУ. Это было его первое публичное выступление перед несколькими сотнями слушателей, но он тоже нигде не упоминал об этом — по-видимому, чтобы у его западных издателей даже мысль не возникла, что их диссидент-автор морально мог позволить себе выступать в аудитории с таким именем».

Евгений Рейн рассказывает:

Когда он (Бродский. — И. Ф.)освободился из ссылки, он не в Ленинград приехал, а в Москву. Он пришел ко мне и говорит, что три месяца не мылся. Я позвонил Аксенову — тот говорит: «Приезжайте немедленно ко мне». Мы приехали. Иосиф пошел принимать ванну, а мы не знаем, что делать дальше. Я говорю: надо позвонить Евтушенко. Тот случайно снял трубку. Я все рассказал. Евтушенко в ответ: «Немедленно встречаемся. Я позвоню в «Арагви», и нам дадут место». Приехали в «Арагви» — стоит огромная очередь, хвост человек на двести. Но вышел директор, и нас во главе с Евтушенко провели в отдельный зал. Сели. Но безумный Евтушенко говорит: «Поэт не должен сидеть отдельно от своего народа». Потасил нас в общий зал, где нет ни единого свободного места, но директор попросил — и все потеснились. Нам поставили столик «среди народа». Бродский был печальный, усталый и через час ушел. Понятно? В Ленинград он уехал через пятнадцать дней и все эти две недели постоянно встречался с Евтушенко. Тот и дома устроил банкет в его честь!.. Думаю, что Бродский Евтушенко не мог простить... За что?.. У Евтуха была изумительная библиотека по искусству, и там были очень дорогие и редчайшие книги. А любимый художник Бродского был тогда Брак, кубист. Он как-то пришел и сразу схватился за альбом Брака. Женя говорит: «Ты любишь Брака? Я тебе дарю», — и Бродский взял. Другой раз Женя ему говорит: «Ты очень плохо одет, у меня есть английский костюм, который я почти не носил, он на тебя...» Этого Бродский ему не простил.

Рейн — поэт, у него своя песня.

Евтушенко уточняет: «Мы встретились в грузинском ресторане «Арагви». Любимец Ахматовой был одет слишком легко, поеживался от холода, и я инстинктивно снял пиджак и предложил ему. Он вдруг нервно залился краской: «Я не нуждаюсь в пиджаках с чужого плеча».

Эта деталь — «залился краской» — совершенно достоверна для тех, кто видел лицо Бродского. Что не отменяет песни Рейна.

Евтушенко и Аксенов надумали помочь Бродскому напечататься у них в «Юности». Ведь членство в редколлегии давало возможность делать добрые дела. Так, в 1964 году Евтушенко, узнав о том, что юного Леню Губанова заточили в психушку, навестил его, и в «Юности» (№ 6) появился отрывок из поэмы «Полина» под названием «Художник», единственная прижизненная публикация Губанова в родном отечестве:

Холст 37 на 37,
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
и не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,
и тянут краски теплой плотью,
уходят в ночь от жен и денег
на полнолуние полотен.

Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!
Забыв измены, сны, обеты.
И умирать из века в век
на голубых руках мольберта.

Публикация Бродского не произошла, чему есть разные объяснения. По версии Бродского:

Когда я только освободился, интеллигентные люди меня всячески, что называется, на щите носили. И Евтушенко выразил готовность поспособствовать моей публикации в «Юности», что в тот момент давало поэту как бы «зеленую улицу». Евтушенко попросил, чтобы я принес ему стихи. И я принес стихотворений 15–20, из которых он в итоге выбрал, по-моему, шесть или семь. Но поскольку я находился в это время в Ленинграде, то не знал,

какие именно. Вдруг звонит мне из Москвы заведующий отделом поэзии «Юности» — как же его звали? А, черт с ним! Это не важно, потому что все равно пришлось бы сказать о нем, что подонок. Так зачем же по фамилии называть... Ну вот: звонит он и говорит, что, дескать, Женя Евтушенко выбрал для них шесть стихотворений. И перечисляет их.

Надо сказать, подборка такого объема — вещь в те годы очень видная и почетная. Евтушенко опять-таки уточняет: «Аксенов и я — оба тогда члены редколлегии «Юности» — заявили редактору журнала Б. Полевому, что мы выйдем из редколлегии, если не будет напечатана составленная нами подборка из восьми стихов Бродского. Полевой поупирался, но согласился, попросив убрать одну строку из всех этих стихов, — по тем тяжким цензурным временам это было по-божески. Строка была такая: «мой веселый, мой пьющий народ».

Бродский завершает свою версию:

А я ему в ответ говорю: «Вы знаете, все это очень мило, но меня такая подборка не устраивает, потому что уж больно «овца» получается». И попросил его вставить хотя бы еще одно стихотворение, — как сейчас помню, это было «Пророчество». Он чего-то там заверещал — дескать, мы не можем, это выбор Евгения Александровича. Я говорю: «Ну это же мои стихи, а не Евгения Александровича!» Но он уперся. Тогда я говорю: «А идите вы с Евгением Александровичем... по такому-то адресу». Тем дело и кончилось.

Существует свидетельство Юрия Ряшенцева:

С Бродским я провел сорок минут. За это время мы сказали друг другу по три слова. <...> Иосиф принес стихи в журнал. Стихов было много. Надо было отобрать из них возможную подборку.

Мы сидели в пустом зале. Я читал. Он оглядывал стены с какой-то дежурной выставкой.

Чем дольше я читал, тем яснее мне становилось, что эти стихи у нас никогда не пойдут.

В них не было ничего антисоветского. Просто это была поэзия, отрицающая жизнь, которой жил журнал, да и все

советские журналы того времени.

Мне, до неприличия, нравилось то, что я читал.

Я отобрал какие-то стихи, безо всякой надежды на то, что они пройдут редакционное сито.

Так я и предупредил Иосифа. Он посмотрел отобранное, улыбнулся, сказал, что хорошо бы, конечно, чтобы стихи появились в печати в таком составе. И на этом мы расстались.

Стихи, конечно, не прошли.

Первого ноября 1965 года скончался Дмитрий Алексеевич Поликарпов. Накануне Евтушенко по какому-то делу звонил ему. Секретарша пустила слезу:

— А вы еще ничего не знаете, Евгений Александрович? Дмитрий Алексеевич вчера как раз отошли. Когда я последний раз его навестила, он так мне и сказал: «Видно, отхожу. Передай жене, чтоб за эту неделю паек в распределителе не брала — не отработал».

Евтушенко пришел на похороны, писателей почти не было. Покойный был непрост. Это ему Сталин когда-то сказал: у меня нет для тебя других писателей. Это он, временно проводя некоторую опалу в ректорском кресле Литинститута, сильно хотел выгнать студента Евтушенко, но не выгнал. Это у него в служебном цеховском сейфе рядом с бутылкой водки стояла старая виктрола (заводной, с ручкой, граммофон), на которой в редчайшие минуты расслабления он крутил пластинку Вертинского.

Пятого ноября погиб Урбанский, закадычный друг евтушенковской молодости. Евгений Урбанский был пластически совершенным образцом героя, атлетическим выходцем из революционного мифа, наглядной фигурой воплощения русской мечты о всеобщем счастье. Одухотворенная громадина. Аналог Маяковского, схожий и внешне с юношеским идеалом поколения. Кибальниковский памятник поэту-главарю не выдерживал сравнения. На него бы оглядывались на улице безотносительно к актерской славе. Гибель его была нелепой, но вряд ли случайной: он работал без каскадера. Он погиб за рулем летящего автомобиля, рухнувшего в песчаных барханах.

Урбанский Женька, черт зубастый,
меня ручищами сграбастай,
подняв, похмельного, с утра,
весь напряженный, исподлобный,

весь и горящий, и спаленный
уже до самого нутра.

.....

Так ты упал в пустыне, Женька,
как победитель, а не жертва,
и так же вдаль — наискосок —
тянулись руки к совершенству —
к недостижимому блаженству,
хватая пальцами песок...

(«Памяти Урбанского»)

Евтушенко всегда писал — о себе. Это прочитывалось и в «Казни Стеньки Разина»: «Стенька, Стенька...» Ну а здесь, с Урбанским, сам Бог велел: и имя одно.

Кто-то уходил насовсем, кто-то оставался — надолго или ненадолго, здесь или уже там, то есть не здесь, то есть не в своей стране. Олег Целков уедет через 11 лет, а пока он — здесь.

После нескольких изгонов из разных вузов в разных городах его взял в театральный институт на свой курс Николай Акимов, но Целков не задержался в Питере, вернулся в Москву.

Его уже успели оценить поэты — Назым Хикмет и Семен Кирсанов, которых привел к нему Евтушенко.

«Назым любил и поддерживал молодых, официально непризнанных художников <...> однажды, году в 55-м, они сидели на берегу канала Москва — Волга в Тушине, и Назым иронически показал ему глазами на две тени, маячившие в некотором вежливом отдалении.

— Кто это? — непонимающе спросил Целков.

— Следят, брат... — пожал плечами Назым.

— За вами — за лауреатом Премии Мира? Почему? — был ошеломлен Целков.

— Один следит за тем, чтобы меня никто не обидел... А второй за тем, чтобы я не обидел никого... Так-то, брат...»

Неприкасаемых воистину нет.

Целков показался Ренато Гуттузо и Давиду Сикейросу, Луи Арагон дал сюрреалистический для СССР совет: «Скажите этому парню, что ему следует ехать в Париж», Пабло Неруда прислал восклицательное письмо. Имя разрасталось в сторону Запада, оставаясь неподвижно-невеликим на

родине. Художник стал попивать.

В 1956-м два его маленьких натюрморта попали в Москве на выставку молодых художников. В газетах их отругали. Через девять лет, на склоне 1965-го, его поклонники и друзья — физики-атомщики — предложили сделать персональную выставку в Доме культуры института им. Курчатова. Через несколько дней ее враз прихлопнули откуда-то сверху. Художника пригласили на обсуждение, где устроители матерью клялись больше никогда этого формалиста не выставлять. Его они заранее предупредили не обращать никакого внимания на то, что они там несут.

Целков потом рассказывал:

— Мой отец, рядовой член партии, очень верил во все коммунистические идеи, он был замечательным, чистым человеком. За свой партбилет жизнь бы отдал. Так вот, приходит к нему однажды милиционер и спрашивает: «Где работает ваш сын?» — «А что, мой сын ларек обокрал?» — «Нет, не обокрал, — говорит милиционер, — но у нас все работают». — «Так мой сын, — объясняет отец, — работает с утра до вечера». — «Но ведь он должен на что-то жить», — не отступает настырный страж порядка. «А я его кормлю», — не сдается отец. Такой между ними вышел разговор.

А однажды Евгений Евтушенко приехал ко мне с двумя друзьями, знакомит отца: «Николай Иванович, это члены ЦК Итальянской компартии». Мой папа привык видеть членов ЦК только на гигантских фотографиях, как богов, а тут вошли два скромных человека, один смущенно достал из кармана бутылку водки. Я принес из кухни селедку, мы разлили водку, выпили. Показалось мало, и навеселе мы двинулись уже в ресторан. Возвращаясь домой, а отец говорит: «Слушай, сынок, ты знаешь, где я был? В КГБ! Только вы захлопнули дверь, звонок. Кто был у вас, Николай Иванович? Не знаю, говорю, друг моего сына Евтушенко привел двух членов ЦК. А что, это не члены ЦК? Да нет, говорят, члены, члены. А часто такие к вам ходят? Да, частенько бывают, отвечаю. А те: но ведь здесь Тушино, военные заводы. Отец возразил: так что же теперь моему сыну делать, если вы тут военных заводов понастроили?

ПУСТИТЕ К ЭСКИМОСАМ!

Председатель КГБ В. Семичастный становится летописцем-биографом Евтушенко. 15 января 1966 года он пишет «Записку» в ЦК КПСС под грифом «Секретно».

Комитет госбезопасности докладывает, что 12 января сего года были получены сигналы о готовившейся демонстрации политического характера на площади Маяковского в Москве в защиту поэта Евтушенко, который, по мнению автора, якобы сослан в армию на Кавказ за стихотворение «Письмо Есенину». В этих целях от имени Общества Защиты Передовой Русской Литературы (ОЗПРЛ) были изготовлены и приняты меры к распространению свыше 400 листовок с призывом принять участие в демонстрации с требованием возвращения Е. Евтушенко в Москву. Принятыми мерами установлено, что автором текста упомянутых листовок, призывавших по существу к массовым беспорядкам, является Титков Ю. Н., 1943 года рождения, член ВЛКСМ, студент Ветеринарной Академии в Москве. Листовки изготовлялись на квартире Шорникова А. В., 1947 года рождения, члена ВЛКСМ, рабочего типографии МГУ им. Ломоносова. При обыске на квартире у Шорникова 13 января обнаружены и изъяты: 418 листовок, пишущая машинка, на которой они печатались, и краски, похищенные Шорниковым в типографии МГУ и предназначенные для изготовления листовок аналогичного содержания; 26 плакатов на ватманской бумаге со строчками Евтушенко: «Еще будут баррикады, а пока что эшафот», «Россию Пушкина, Россию Герцена не втопчут в грязь», «В мире есть палачи и жертвы, но и есть еще третьи — борцы!», «Проклятье черной прессе и цензуре!» При обыске также изъят текст речи, подготовленный Титковым для произнесения на собрании нелегального кружка «Защита литературы». В этой речи, в частности, говорится о ссылке «великого поэта» (Евтушенко), упоминается о том, что нельзя «молчать и прощать самодурство румяных вождей, желающих мять души великих людей».

Текст листовки таков:

Товарищи! Все мы помним, каким нападкам всегда подвергалась современная литература: застрелился Фадеев, был подвергнут литературной казни В. Дудинцев, в нищете и безвестности умер Зощенко, в таком же положении оказался Пастернак, литературному гонению подвергался Аксенов.

Такая же участь постигла и Евтушенко. За смелое прекрасное стихотворение он, как Лермонтов, выслан в армию, на Кавказ со Дня Поэзии и других больших событий ближайшего времени.

Товарищи! Правда, с таким трудом нашедшая себе прибежище, вновь изгоняется из нас. Литература в опасности! Молчать больше нельзя! Выразим свое возмущение и потребуем возвращения Евтушенко в Москву. Сбор — 16 января в 12 часов на площади Маяковского, у памятника. Просьба не делать резких и необоснованных выпадов и нарушений и считать таковые провокационными.

ОЗПРЛ. Прочти и передай другому!

Конечно же все это наивно и отдает фарсом, и ребята предлимоновского запала явно не владеют слогом той литературы, во имя которой готовы взойти на эшафот. Тем более что сам Евтушенко давно сидит в Москве, склоняясь над рабочим столом.

Написалось стихотворение «Эстрада».

Проклятие мое,
души моей растрата —
эстрада.
Я молод был,
хотел на пьедестал,
хотел аплодисментов и букетов,
когда я вышел
и неловко встал
на тальке,
что остался от балеток.
Мне было еще нечего сказать,
а были только звон внутри и горло,
но что-то сквозь меня такое перло,
что невозможно сценою сковать.

И голосом ломавшимся моим
ломавшееся время закричало,
и время было мной,
и я был им,
и что за важность:
кто был кем сначала.
И на эстрадной огненной черте
вошла в меня невысказанность залов,
как будто бы невысказанность зарев,
которые таятся в темноте.
Эстрадный жанр перерастал в призыв,
и оказалась чем-то третьим слава.
Как в Библии,
вначале было Слово,
ну а потом —
сокрытый в слове взрыв.
Какой я Северянин,
дураки!
Слабы, конечно, были мои кости,
но на лице моем сквозь желваки
прорезывался грозно Маяковский.
И, золотая вся от удалства,
дыша пшеничной ширью полевою,
Есенина шальная голова
всходила над моею головою.
Учителя,
я вас не посрамил,
и вам я тайно все букеты отдал.
Нам вместе аплодировал весь мир:
Париж, и Гамбург,
и Мельбурн, и Лондон.
Но что со мной ты сделала —
ты рада,
эстрада?
Мой стих не распустился,
не размяк,
но стал грубей и темой,
и отделкой.
Эстрада,

ты давала мне размах
и отбирала таинство оттенков.
Я слишком от натуги багровел.
В плакаты влез
при хитрой отговорке,
что из большого зала акварель
не разглядишь —
особенно с галерки.
Я верить стал не в тишину —
в раскат,
но так собою можно пробросаться.
Я научился вмазывать,
врезать,
но разучился тихо прикасаться.
И было кое-что еще страшней:
когда в пальтишки публика влезала,
разбросанный по тысячам людей,
сам от себя я уходил из зала.
А мой двойник,
от пота весь рябой,
стоял в примерной,
конченный волшебник,
тысячелик от лиц, в него вошедших,
и переставший быть самим собой.
За что такая страшная награда,
эстрада?
«Прощай, эстрада...» —
хрипло прошепчу,
хотя забыл я, что такое шепот.
Уйду от шума в шелесты и шорох,
прижмусь березке к слабому плечу.
Но, помощи потребовав моей,
как требует предгрозы взрыва,
взлома,
невысказанность далее и полей
подступит к горлу,
сплавливаясь в слово.
Униженность и мертвых и живых
на свете,

что еще далек до рая,
потребуется,
из связок горловых
мой воспаленный голос выдирая.
Я вас к другим поэтам не ревную.
Не надо ничего —
я все отдам:
и славу,
да и голову шальную,
лишь только б лучше в жизни было вам.
Конечно, будет ясно для потомков,
что я — увы! — совсем не идеал,
а все-таки —
пусть грубо или тонко —
но чувства добрые
я лирой пробуждал.
И прохриплю,
когда иссякших сил,
наверно, и для шепота не будет:
«Простите,
я уж был, какой я был,
а так ли жил —
пусть бог меня рассудит».
И я сойду во мглу с тебя без страха,
эстрада...

Вещь этапная, голос не мальчика, но мужа. Помимо четкого самосознания и всегдашнего чутья здесь даже просматривается космогоническая интуиция Большого взрыва в увязке с собственным пониманием Слова. Впрочем, наречие «вначале» выдает иночтение библейского «в начале». «Бог» осознается и пишется со строчной. Но торжественность тона и надрыв, сочетаясь, дают поразительный эффект. Автору можно поверить. Сойдет со сцены. Но он — обманет. Он все равно прикован к этой тачке. До конца.

В сентябре прошлого, 1965 года вышел «синий» Пастернак — однотомник синего цвета в большой серии Библиотеки поэта, и одновременно с выходом долгожданной книги был арестован автор предисловия к ней Андрей Синявский. Взяли и Юрия Даниэля. Их

сочинения, нелегально уходя за кордон, публиковались на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. На советско-юридическом языке это называлось «антисоветская агитация и пропаганда».

К началу процесса над ними Евтушенко только и знал, что эту статью-предисловие да некоторые переводы Даниэля. Суд был открытым, проверенным людям выдавались дефицитные контрамарки, Евтушенко непросто добыл таковую в писательском парткоме, попал на второе заседание, с некоторым опозданием, и как только уселся — в ряду, близком к судье, тот тут же, глядя почему-то в лицо поэта, стал говорить о том, что подсудимый Синявский незаслуженно обидел Евтушенко, поэта уважаемого, выступив против него в своей последней статье, вынуженной в дни ареста из верстки «Нового мира». Синявский, глядя в то же лицо, опроверг судью: против поэта он ничего не имеет, за исключением некоторых частных. Лицо поэта было белым. Даниэль в предсмертном интервью, через много лет, сказал: «Помню отчаянное лицо Евтушенко...»

Евтушенко еще до суда, уже предвосхищаемого в обществе, пошел к секретарю ЦК П. Демичеву, который развел руками: он тоже не хотел бы этого процесса и обращался на сей счет к Брежневу, и Брежнев разговаривал с Фединым, первым секретарем Союза писателей СССР: не возьмете ли, писатели, это дело на себя? Федин отшатнулся, замахал руками: это — предательство государства, уголовщина, пускай разбирается с изменниками Родины само государство. Были всяческие письма в поддержку подсудимых, и одно из писем подписал Евтушенко. Аксенов впоследствии рассказывал, что письмо это он предложил подписать нескольким коллегам, близким по взглядам, и все подписывали без уговоров, один только Евтушенко поначалу заартачился. Дело было в том, что письмо это задумывалось послать во Францию, Луи Арагону, литератору именитому и члену Французской компартии, авторитетному для советских руководителей. Но Евтушенко сказал, что Арагон уже обращался в Кремль и получил от ворот поворот. Резоннее было адресоваться напрямую к нашему руководству без какого-либо посредничества. Кое-что поправив в тексте эпistolы, он поставил свою подпись. Ответа не было никакого, если не считать того, что Синявскому и Даниэлю в феврале 1966-го дали нешуточные сроки: Синявскому — семь, Даниэлю — пять лет заключения в лагере строгого режима.

В тринадцатую годовщину смерти Сталина умирает Ахматова.

Однажды в гостях у вдовы Маркиша Евтушенко неловко повел себя с одной из седых женщин в черном. Это было одной из мук совести, о которых он написал в стихотворении, посвященном Шостаковичу.

В «Памяти Ахматовой» взгляд его будет «двуединым»:

Ахматова двувременной была.
О ней и плакать как-то не пристало.
Не верилось, когда она жила,
не верилось, когда ее не стало.

.....

Ну а в другом гробу, невдалеке,
как будто рядом с Библией частушка,
лежала в белом простеньком платке
ахматовского возраста старушка.

.....

Никто о той старушке не скорбел.
Никто ее в бессмертие не прочил,
и был над нею отстраненно бел
Ахматовой патрицианский профиль.

В том марте Евтушенко улетел на самый загадочный материк в мире, в Австралию, где проходил фестиваль искусств. И с кем он туда прилетел? С Софроновым Анатолием. Эти отношения были, условно говоря, пилотной моделью множества подобных им: ничего окончательно враждебного, возможны варианты. Беспринципно? А хоть бы и так. Зовите это как хотите. Большой источник недовольства жены Гали. Она была кремень.

В прошлом, 1965 году старые оппоненты уже навели мосты меж собой, и Софронов напечатал в «Огоньке» евтушенковские переводы стихов австралийского поэта Джеффри Даттона. В 1966-м Евтушенко дал в Мельбурне, Аделаиде и Сиднее несколько авторских концертов.

В Сиднее он собрал зал на 12 тысяч человек — тот зал, где до того произошел практически провал битлов: на их концерт пришла пара тысяч зрителей.

В газете *Australian* от 26 марта критик Роберт Бриссенден писал:

Поэты, которых он напоминает мне, — это Водсворт, Байрон и Уитмен, но Уитмен с сатирическим лезвием. Евтушенко разделяет с Уитменом его способность отождествлять себя со всеми другими существами. Это дает ему такую горькую силу, как в «Картинке детства», где так пронзительна память о толпе, забивающей насмерть человека, как в «Балладе о нерпах».

В апреле разразилось катастрофическое землетрясение в Ташкенте, туда в тот же день вылетели Брежнев и Косыгин, древний город был разрушен, Вознесенский отозвался репортажем «Помогите Ташкенту!», не то чтобы закрыв тему, но упредив необходимость в срочной реакции на то же самое.

Но планетарный марафон Евтушенко продолжается, в мае он уже смотрит на Испанию. *«Над севильским кафедральным собором, где — по испанской версии — покоились кости адмирала (Колумба. — И. Ф.), реял привязанный к шпилю огромный воздушный шар, на котором было написано: «Вива генералиссимус Франко — Колумб демократии!» Над головами многотысячной толпы, встречавшей генералиссимуса, прибывшего в Севилью на открытие фиесты 1966 года, реяли обескуражившие меня лозунги: «Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности трудящихся!», «Прочь руки британских империалистов от исконной испанской территории — Гибралтара!», и на ожидавшуюся мной антиправительственную демонстрацию не было и намека. <...> На просьбе министра информации и туризма Испании разрешить мне выступить со стихами в Мадриде Франко осмотрительно написал круглым школьным почерком: «Надо подумать». Поверх стояла резолюция министра внутренних дел: «Только через мой труп». Выступление не состоялось, но генералиссимуса как будто не в чем обвинить». Стихов о том посещении Испании, написанных на месте, в Испании, не осталось, что для Евтушенко более чем странно. Но Евтушенко ничего не сказал в стихах и о другом своем впечатлении: «В 1966 году я был в Бейруте... Меня вместе с другими иностранцами возили на туристском автобусе посмотреть на палестинское гетто, состоящее из глинобитных домиков, где воздух кишел микробами и где угрюмый блеск голода светился в глазах женщин и детишек. А напротив гетто, через дорогу, стоял мраморный шикарный туалет для туристов, которым показывали этих несчастных людей, вместо того чтобы им помочь». Зато в Гонолулу и в Сенегале (он и туда заглянул) были рождены пространные стихи, органичные для чтения со сцены.*

В любом случае он ощущал себя связующим звеном культур, людей, идей, социально-политических систем. Книга, вышедшая у него в том году, называлась «Катер связи».

В нашей книге можно усмотреть дифирамбический уклон, и в некоторых головах может возникнуть вопрос: а не много ли мы цитируем похвал (равно как и брани) по адресу нашего героя? А что, *история славы*

— пустяк? Ее развитие, ее кривая, резкие взлеты и обрушения, условия ее зарождения и сохранения — тема капитальная и может существовать отдельно. Но в нашем случае слава персонифицирована: Евтушенко есть слава.

Говорят, артист полжизни работает на имя, а потом имя работает на него. Так-то оно так, да не только так или не совсем так. Имя имеет свойство существовать отдельно от имяносца, а порой и работать против него. По крайней мере, имя может повлиять не только на жизнь артиста, но и на характер его творчества. Мало того что публичный человек не может утаить глубоко личных своих дел, он — волею имени — демонстрирует их миру, придавая истинной боли свойства, присущие лишь художеству, лишь сцене, лишь печатной странице.

После «Эстрады» Евтушенко действительно выбрал тон доверительности без расчета на немедленное возвратное эхо: «Муки совести», «Женщина расчесывала косу...», «Старухи», «Мы быть молодыми вовсю норовим...», «Меняю славу на бесславье...» и наконец «Памяти Ахматовой». Однако к середине 1966 года появились вещи — в том же, интимном, тоне, но — с повышением ноты, с некоторым пафосом, и вызвано это было, как это ни парадоксально, глубочайше сокровенными причинами. В отношениях с Галей нарастал кризис. Его сумасшедшая жизнь, а может стать, жизнь его безумного имени не оставляла шанса для ровных связей двух сердец.

Быт его заметно благоустраивался, и Евтушенко был вовсе не против прочных знаков уюта и некоторых эффектов интерьера, тем более что он сам привозил из поездок экзотические сувениры и не был равнодушен ко всяким там штучкам и вещичкам. На его рабочем столе рядом с пишмашинкой стоял плюшевый кенгуренок. Он лишь в 1969-м переберется в элитную высотку на Котельнической набережной, куда ему на новоселье авантажный Бернес принесет голубой унитаза.

В июне 1966-го у него гостил Бродский, приехав в обществе Аксенова. Это было неспроста: Аксенов полюбил стихи Бродского и его самого. Случайным соглядатаем знаменательного события был молодой Виктор Ерофеев:

...неслыханный джин с тоником потек в четыре горла...
Евтушенко открыл ящик письменного стола... там валялись невиданные зеленые деньги... курили только Winston... тут Бродский вставил, что ему в деревенскую ссылку слали Kent... ящиками... он обклеил Kent'ом стены... это тоже произвело

впечатление... хотелось быть тоже сосланным в ссылку... под утро для меня нашлась работа... с грехом пополам я переводил им лестные американские статьи о них же самих из толстого профферского *три-квотерного* журнала... некоторые лестные эпитеты я на ходу придумывал сам, из чистого умиления... меня удивило, как плохо все трое знали английский...

В общем, хорошо посидели, и было это с вечера всю ночь до самого утра. Кто бы знал, что через 15 лет аксеновский роман «Ожог» будет встречен, уже в Америке, убийственной внутрииздательской рецензией Бродского?

Но мы говорили об имени. О том, что оно — влияет. Разлад между Евгением и Галей был виден и со стороны. Надо оговориться: мы прибегаем к имени *Галяне* из фамильярности: Галя в поэзии Евтушенко — имя, которое больше, чем имя. «До свидания, Галя и Миша», «До свидания, Галя!», «Я ехал по России вместе с Галей», посвящения «Гале». Это — знак. Но она была живой человек, и человек непростой. Его измены были частью его имени, и оно разбухало еще и от этого.

Все вело к стихам, которые не могли быть сугубым фактом взаимоотношений двух сердец. Евтушенко со сцены оповестил не столько Галю, живую или литературную, сколько свою бесчисленную аудиторию, и, кстати говоря, при желании эти стихи можно было истолковывать как разбирательство с читателем:

Я разлюбил тебя... Банальная развязка.
Банальная, как жизнь, банальная, как смерть!
Я оборву струну жестокого романа,
гитару пополам — к чему ломать комедь!

(«Я разлюбил тебя... Банальная развязка...»)

Десять лет прошло с его «Глубокого снега», ровно десять лет, а евтушенковский романс никуда не уходит и только ужесточается.

Нет, это сказано не в разговоре тет-а-тет:

Тебя я крестом
осеню в твои беды
и лягу мостом

через все твои бездны.

(«Любимая, больно...»)

Высокопарность чуть не ахмадулинская. Но для евтушенковской лирики — давняя, традиционная. Он ведь с молодых ногтей исповедуется перед миллионами. Имя растет, имидж укрупняется, метафора обретает планетарный масштаб. Однако же заметим, что этот подход к решению сокровенной тематики вменен ему не только лишь гигантизмом Маяковского. Пастернак — да, самый не эстрадный поэт века, столь у него долгого, — в молодости, словно идя по следам обожаемого им Маяковского, восклицает:

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Евтушенко неоднократно отмечал пастернаковский артистизм, даже некоторое кокетство, причем по большей части — в поведенческой повседневности.

Он остро чувствует новый возраст. Тридцать три, фактически полных, не фунт изюма. К этому числу он, невер, относится сакрально. Было стихотворение «Я старше себя на твои тридцать три...» (1961), кончающееся патетически:

И чтобы убить меня, нужно две пули:
Две жизни во мне — и моя, и твоя.

Критик Сарнов прочел мораль (Вопросы литературы. 1962. № 10):

И сразу хочется оборвать, как обрывал Станиславский актера, почувствовав фальшь и наигрыш: «Не верю!» — Не верю потому, что если ты на самом деле чувствуешь, что в тебе совместились две жизни, ты скажешь: достаточно одной пули, чтоб убить нас обоих.

Критик Сарнов, патетику перепутав с арифметикой, по существу предложил поэту в целях правильного счета поменять мозги да и сами глазные яблоки, то есть зрение: нужна-де одна пуля на двоих. Как будто речь не о внутреннем мире (две жизни во мне), а о тире. Натура Евтушенко выстроена на умножении, а не на вычитании.

Новое прощание — с молодостью: его «А снег повалится, повалится...» вслед за Клавдией Шульженко запоем народ, и это не совсем эстрада, это напеваётся наедине с собой. Зато читается всенародно — вся интимная лирика напечатана в многотиражном «Огоньке».

У Евтушенко было отчаянное лицо, когда начались новые проблемы. Его ждали в Америке на концерты и встречи, однако с визой соответствующие органы заволокнули, В. Семичастный совершенно логично утверждал, что недопустимо одних судить, а других отправлять на зарубежные гастроли — фигуранты-то одни и те же.

Решение было, однако, положительным, и уже в ноябре Евтушенко зван к сенатору Роберту Кеннеди, принявшему его в своей нью-йоркской штаб-квартире. Младший брат убитого президента, как две капли воды похожий на старшего, в свои 40 лет был старожилем американской политики, и ему можно было верить, когда в многочасовом общении он привел гостя в ванную комнату, включил шумный душ на предмет прослушки и сообщил под большим секретом, что псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты КГБ коллегами из ЦРУ для того, чтобы американская общественность перекинула свое гражданское негодование с американских бомбежек во Вьетнаме на преследование Советами инакомыслящих. Кроме того, это была якобы интрига КГБ против «мягкого» Брежнева, которого США хотели бы сохранить.

Евтушенко заинтересовался, может ли он эту информацию довести до сведения советского правительства. Да, разумеется. Без упоминания имени источника. Евтушенко отнес новость одному из сотрудников советского посольства, прозванному им Б. Д. (Благородный Дипломат). Условились так, что поэт сочинит телеграмму-шифровку (Штирлиц бессмертен), и она пойдет куда надо. Без упоминания имени, конечно же.

Внезапно дохнуло шпионским кино, но — на самом деле, в грубой реальности. На завтра рано поутру Евтушенко из своего номера был вызван телефонным звонком в вестибюль отеля, сказал взволновавшейся Гале, что если он не вернется и не позвонит до часу дня, то пусть она созывает пресс-конференцию, а в вестибюле был подхвачен с боков двумя молодыми одноликими парнями и на машине доставлен в нашу миссию, в некую пустую комнату, где ему показали класс допроса по-голливудски. Один

сидел на столе близко напротив, другой дышал в затылок. Требовали имя источника. По какому-то промаху со стороны этих парней — они куда-то вышли, а поэт сумел удрать — дело не выгорело. Евтушенко опять оказался наедине с Б. Д. и получил спокойный совет срочно связаться со своим американским другом Альбертом Тоддом, университетским профессором, и скрыться с глаз любых соотечественников как можно подальше и подольше.

Они познакомились еще в 1960-м, в Гарварде, где Альберт был аспирантом и устроил первую встречу русского поэта с американской публикой, в университетской аудитории, — Евтушенко читал, естественно, по-русски, перед ним сидели не больше двадцати человек, и раскрепостившийся поэт заявил, что он желал бы более крупной площадки, например Медисон-сквер-гарден. Альберт Тодд, величавый красавец, похожий на великого Гэтсби, уверенно пообещал это дело организовать, и поэт ему сразу поверил. Вскоре Альберт приехал в Москву и привез контракт с 28 колледжами США на 1964 год. Евтушенко познакомил его с Аксеновым, Окуджавой, Вознесенским и Ахмадулиной, первую книгу которой в переводе на английский вскоре блестяще исполнил Тодд. Но произошли «Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Автобиография», шум и ярость 1963-го, иностранный паспорт поэту не был выдан, но был дан совет телеграфировать в Штаты о своей болезни. Тодд тогда позвонил:

— Женя, не расстраивайся, все равно ты будешь выступать в Медисон-сквер-гарден.

В 1966-м все те 28 колледжей были охвачены. Правда, в Квинс Колледже во время церемонии вручения «Honoris causa» первую профессорскую мантию поэта неуравновешенные сопляки разорвали в клочки. В Карнеги-холле чтение Евтушенко сопровождалось метанием *stinking bombs* (химические шашки). Незадолго до того в Нью-Йорке был взорван офис Сола Юрока, устроителя гастролей советских музыкантов и артистов.

Альберт Тодд чувствовал русский стих: на выступлениях Евтушенко он параллельно читал его стихи по-английски, и оказалось, что делает он это лучше, чем потом задействованные на евтушенковских концертах профессионалы с великолепными именами — Роберт Де Ниро, Энтони Хопкинс и даже Ванесса Редгрейв.

Западных красавиц русский певец женской красоты не мог оставить без внимания. Посетил Жаклин Кеннеди, вдову президента, в ее нью-йоркской квартире и был покорен не столько легендарной внешностью, сколько ее простотой в обхождении и в быту вообще: сунул свой

буратинский нос в открытую дверь ванной комнаты и, заметив на отопительной батарее сушившиеся чулки, с варварской непосредственностью заговорил на чулочную тему — мол, неужели сами стираете? А что же, выбрасывать их в мусоропровод, что ли? Недавняя первая леди оказалась еще непосредственнее. А на прощанье, уже сама нарушив этикет и ориентируясь на происхождение и профессию гостя, призналась, что в те роковые минуты далласской трагедии ощутила себя в положении Анны Карениной на гибельном перроне.

По совету Б. Д. улизнув из американского Большого Яблока, друзья махнули действительно далеко — на Аляску и в Гонолулу. Их турне затянулось на месяц.

Удивительно схожи климат, флора и фауна Чукотки и Аляски. В Пойнт-Хопе Евтушенко посещает йглу (юрта) одинокой старухи-эскимоски. Там горит свеча, вставленная в пустую бутылку с ресторанным штампиком «Петропавловск-Камчатский» на этикетке. В Фербанксе он встречается с местными университетскими поэтами. В те времена жители Фербанкса могли попасть в бухту Провидения, до которой 20 минут лёта, — лишь через НьюЙорк и Москву, затратив 30 часов на перелет. (Солженицын вернулся в Россию через Аляску.)

На Аляске Евтушенко и Тодд арендовали на пару дней частный самолет у бывшего военного летчика, который во время войны эскортировал транспорты с продовольствием к Мурманску. Однажды над Беринговым проливом пожилой пилот расчувствовался:

— Слушай, Юджин, я так соскучился по вашим русским парням. Мы с ними в Мурманске водку пили цистернами. Давай слетаем в гости к вашим пограничникам, на пару часиков...

Он не шутил.

Корреспондент АПН Генрих Боровик сообщал:

...число желающих попасть на вечер советского поэта было беспрецедентным за всю 30-летнюю историю центра (Поэтический Центр Нью-Йорка). У входа в здание постоянно висел плакат: «Нет билетов на Евтушенко»... Советского гостя представляли крупнейшие американские писатели и поэты Артур Миллер, Роберт Лоуэлл, Джон Апдайк. На первом выступлении присутствовал Джон Стейнбек. Мэри Хемингуэй, вдова замечательного американского писателя, специально ездившая в Принстон, чтобы послушать советского поэта, в беседе с вашим корреспондентом высоко оценила мастерство, искренность и

гражданственность поэзии Евгения Евтушенко... Его принимали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций У Тан, а также сенатор Роберт Кеннеди — брат покойного президента США.

А на том приеме у Роберта Кеннеди помимо получения поэтом эксклюзивной информации произошел эпизод, ставший потом чуть не легендой. По крайней мере сам Евтушенко придал тусовочно-светской сцене, в общем-то действительно не рядовой, вполне художественный характер, не раз о нем вспоминая, в частности — в будущей поэме «Под кожей статуи Свободы» (1968):

«У сенатора Роберта Кеннеди были странные глаза.

Они всегда были напряжены.

Голубыми лезвиями они пронизывали собеседника насквозь, как будто за его спиной мог скрываться кто-то опасный.

Они обитали на лице как два не причастных к общему веселью существа.

Внутри глаз шла изнурительная скрытая работа.

— Запомните мои слова — этот человек будет президентом Соединенных Штатов, — сказал, наклоняясь ко мне, Аверелл Гарриман (влиятельный американский дипломат. — И. Ф.). <...>

Когда праздник уже захлебывался сам в себе, мы стояли с Робертом Кеннеди одни в коридоре. У нас в руках были старинные хрустальные бокалы, в которых плясали зеленые искорки шампанского.

— Скажите, а вам действительно хочется стать президентом? — спросил я. — По-моему, это довольно неблагодарная должность.

— Я знаю, — усмехнулся он. Потом посерьезнел. — Но я хотел бы продолжить дело брата.

— Тогда давайте выпьем за это, — сказал я. — Но чтобы это исполнилось, по старому русскому обычаю: бокалы до дна, а потом об пол...

Роберт Кеннеди неожиданно смутился, взглянув на бокалы.

— Хорошо, только я должен спросить разрешения у Этель. Это фамильные, из ее приданого...

Он исчез с хрустальными бокалами, а затем появился, еще более смущенный: «Жены есть жены... Я взял на кухне другие бокалы, какие попались...»

Меня несколько удивило, как можно думать о каких-то бокалах, когда произносится такой тост, но, действительно, жены есть жены.

Мы выпили и одновременно швырнули опустошенные бокалы. Но они не разбились, а мягко стукнувшись, покатились по красному ворсистому коврику.

Работа в глазах сенатора прекратилась. Они застыли, уставившись на неразбившиеся бокалы.

Роберт Кеннеди поднял один из них и постучал пальцем по стеклу. Звук получился глухой, невнятный.

Бокалы были из прозрачного пластика».

А стихи американского цикла верны — эстраде, той самой, с которой он так широковещательно хотел расстаться в начале года. Золотую грудку метафор поэт высыпал в подарок Альберту Тодду, посвятив ему «Балладу о самородках». Намечалась некоторая инерция стиля. Аудитория требовала именно этого — яркости и хлесткости прозрачного обличительства («Кладбище китов»):

Эх, эскимос-горбун, —
у белых свой обычай:
сперва всадив гарпун,
поплакать над добычей.
Скорбят смиренней дев,
сосут в слезах пиллюли
убийцы, креп надев,
в почетном карауле.
И промысловики,
которым здесь не место,
несут китам венки
от Главгарпунотреста.
Но скручены цветы
стальным гарпунным тросом.
Довольно доброты!
Пустите к эскимосам!

Однако, сказав о признаках инерции, с другой стороны, надо отметить редкостную цельность Евтушенко как художника. Испытывая град обвинений в расхристанности и непоследовательности, Евтушенко твердо держался первоначальных принципов и намерений. Исповедь в разных регистрах.

В 1966-м вся страна по-восточному пышно отмечает 800-летие Шота

Руставели. Евтушенко любит Грузию, дружит с ее поэтами, называет ее второй родиной русской поэзии, много переводит, и его переложение «Завещания Автандила царю Ростевану» из «Витязя в тигровой шкуре» было естественным движением души. Это — личное высказывание:

Царь, ты убей меня, если хочешь, только обидой не рань.
Царь, ты ведь знаешь, что значит дружба, — мной на мгновенье стань.
Как я могу обманывать друга, словно ничтожный трус?!
Если он, встретившись в мире загробном, плюнет в лицо — утрусь.

В Боржоми под чонгури, таблаки и дудуки руставелиевского пиршества прошла дискуссия по вопросам перевода. Были приглашены литераторы отовсюду, в том числе — Пьер Гамарра, вице-президент французского ПЕН-клуба. 27 сентября он говорил:

Конечно, я не считаю, что поэт — это шаман. Не следует возводить его на пьедестал или возлагать на него венок. Это не обязательно. Евтушенко сказал, что поэт, вовсе не насилуя себя, может подчиниться долгу, откликаться на взрывы и потрясения. Может быть, необязательно иметь в виду баррикады... Парижская работница, напевающая дурацкую песенку, по-своему выражает свою потребность в поэзии. Только поэт не должен приносить ей дурацкие песенки...

В ноябре 1966-го произошло большое событие — хлопотами Евгении Ласкиной, Константина Симонова и главного редактора журнала «Москва» Михаила Алексеева вышел одиннадцатый номер этого журнала с булгаковским романом «Мастер и Маргарита». Купюры были угнетающими, но Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя, все сохранила и восстановила со временем. Это был урок — можно писать в стол, не светясь на виду. Для себя Евтушенко извлек урок другой: за помощью в трудные минуты разумнее обратиться к людям консервативным (каков был Алексеев), нежели шумно свободомыслящим, — этому его научил отец в одном из давних разговоров.

1966 год был безуспешной попыткой прощания с эстрадой, больше похожей на самооправдание. Не естественно ли было завершить этот год

обращением к поэту иных предпочтений, сумевшему различить в новой русской знаменитости нечто существенное и многообещающее?

«Письмо в Париж»:

Нас не спасает крест одиночеств.

Дух несвободы непобедим.

Георгий Викторович Адамович,

а вы свободны, когда один?

КТО ТАМ ЕВТУШЕНКО?

Пятидесятилетие Великого Октября, имеющее быть в 1967 году, требует всенародного подъема на новые подвиги. Народ по этому поводу веселится, травит анекдоты, пьет без удержу, интеллигенция не отстает. Застой? Кажется, его канун. Может, оно и так, да время летит бешено.

Последним романтиком Октября на территории СССР был, возможно, рыжий великан с голубыми глазами — турок Назым Хикмет. Три года назад его не стало, в январе ему ударило бы 65.

Поэзия для некоторых —
роль,
для некоторых —
лавочка, нажива,
а для таких, как он, —
не роль,
а боль —
вот и болело сердце у Назыма.

(«Сердце Хикмета»)

Евтушенко, слава Богу, здоров и в ожидании нового старта наверстывает упущенное. Уже не впервые он отписывается по впечатлениям поездок — на дому спустя некоторое, чаще всего недолгое, время. Поэму «Коррида» Евтушенко пометил: «Апрель — июнь 1967, Севилья — Москва». Но Испании как таковой — первооткрывательской, евтушенковской — там немного. Атрибутика боя быков, монологи быка, бандериллий, песка, лошади пикадора, крови, публики и проч. — прием проверен и отработан еще с юношеского «Я кошелек. Лежу я на дороге...»: все на свете умеет говорить от первого лица. Для этого не надо ехать в Севилью. Маяковский и Хемингуэй были там первей.

Все это, несомненно, о вечных вещах: «Я, публика, создана зрелищами, и зрелища созданы мной», о себе: «Знаю — старость будет страшной, угрюмой, в ней славы уже не предвидится». Он напрямую говорит:

Сколько лет

убирают арены так хитро и ловко —
не подточит и носа комар!
Но, предчувствием душу щемя,
проступают на ней
и убитый фашистами Лорка,
и убитый фашистами в будущем я.

И о старости, и о гибели от рук фашистов — в каком-то смысле точное предвосхищение того, что произойдет в реальности. Он здоров, но дышит тяжело, пишет очень длинные строки о наблевшем задолго до Испании:

Знаю я
цену образа,
цену мазка,
цену звука,
но — хочу не хочу —
проступает наплывами кровь между строк,
а твои лицемерные грабли,
фашистка-цензура,
мои мысли хотят причесать,
словно после корриды песок.

(«Барселонские улочки»)

Или — столь же многостопно и, что характерно, уже из другого цикла, но о том же самом, и это лишний раз подчеркивает несущественность географической привязки:

Здесь плюнешь —
залепит глаза хоть на время в Испании цензору,
а может, другому —
как братец, похожему — церберу.

(«Присяга простору»)

Евтушенко сам себе оппонент и владеет аргументами противников

значительно лучше, чем сами они. Он видит себя насквозь. Какой-то очередной круг замкнут, жизненный цикл завершен, дистанция пройдена, надо делать что-то новое. Хорошо, если новое — не очень хорошо забытое старое.

В «Юности» (1966. № 5) появилась его новая проза — повесть «Пирл-Харбор» ^[7], привезенная — как замысел и впечатление — из поездки 1966 года по Гавайям. Позже он ее переименует: «Мы стараемся сильнее» — повесть начинается с этой фразы, потом она много раз повторяется в разных ситуациях, становясь рефреном:

««Мы стараемся сильнее» — было кокетливо написано на эмалированном жетоне, приколотом к лацкану представительницы компании по аренде автомобилей «Авиз».

В своей изящной красной униформе девушка походила на тоненькую струйку томатного сока. С ее мандаринно-просвечивающих мочек свешивались на длинных нитках два позолоченных шарика...»

Бывший военный моряк Гривс, несостоявшийся художник, любит холодное шампанское. Персонажи ентушенковской прозы имеют слабость к пузырькам этого напитка не меньше автора.

«Гривс разлил по бокалам шампанское.

— Кипяченое, — сказал он, попробовав. — Ваш тост, мисс Мы Стараемся Сильнее!»

После инцидента в баре (дал в морду типу в тирольской шляпе, который нахамил глухому бармену с разбитым слуховым аппаратом) Гривс, в недопитии, оказывается на борту самолета, берущего курс на Гавайи. Требуется у стюардессы шампанского, но она просит подождать до набора высоты. Сосед, немолодой японец, предлагает ему втихаря выпить по баночке саке. Гривс одним глотком опорожнил свою и погрузился в воспоминания о Пирл-Харборе. Сначала возникла девушка-аборигенка с родинкой на щиколотке, которую он заметил в баре и повел на пляж. А потом — бомбежка, та самая, которую японцы обрушили 7 декабря 1941 года на гавайскую гавань Пирл-Харбор (Жемчужная гавань), где находилась американская военная база, погибло около трех тысяч янки.

Японец тоже предался воспоминаниям, менее романтическим — о том, как его предавали позору (он не выполнил свой долг камикадзе), а потом посадили в тюрьму. Воспоминаниями своими ветераны не делились.

Пирлхарборский ретро-коллаж завершился новой встречей «паломников»:

««Все-таки зря мы бросили на них бомбу в Хиросиме», — подумал Гривс и вспомнил вслух:

*Все в лунном серебре...
О, если б вновь родиться
Сосною на горе!*

— Закурим? — спросил Гривс и щелкнул зажигалкой, купленной в «Хилтоне».

Евтушенковская вариация в стихах некой древней японской поэзии напоминает о том, что эта проза — лирика.

«Протягивая ровный язычок газового пламени к сигарете японца, Гривс вдруг заметил, что на зажигалке было выгравировано: «Помни Пирл-Харбор!»

— У меня тоже есть такая зажигалка, — сказал японец.

На этом повествование заканчивается.

Лирик Евтушенко не мог не написать самого себя среди своих персонажей.

«...русский, который сидел в первом классе воздушного лайнера Сан-Франциско — Гонолулу, не был похож на тех солдат. Ботинки у него были замшевые. Одет он был вполне по-европейски, точнее сказать, по-американски, учитывая не слишком выдержанное сочетание галстука и пиджака.

Русский был худощав, длиннонос, как Пиноккио из итальянской сказки, в его нервно-самоуверенных глазах было что-то еще совсем мальчишеское. Он чувствовал себя на американском самолете, как рыба в воде. Он курил «Кент» и весьма вольно шутил со стюардессой на чудовищном английском языке.

— Он еще мальчишка, — сказал Гривс японцу. — Что он знает о войне!

— Они потеряли двадцать миллионов, — сказал японец. — Даже дети в их стране знают о войне больше, чем многие взрослые в Америке.

Гривсу не особенно понравилось то, что японец задел Америку, но в то же время он подумал, что японец был в чем-то прав. Пирл-Харбор видели своими глазами немногие американцы. В сущности, война не побывала у американцев дома. Может быть, поэтому кое-кто в Америке не понимает, как опасно играть с войной.

— Вы правы, — нехотя признался Гривс. — Мир спасли русские. Но мы все-таки тоже кое-что сделали.

Гривсу вдруг страшно захотелось поговорить с русским. Конечно, он

был мальчишка. Но все-таки русский.

Гривс взял бокал с шампанским и подошел к русскому.

Русский дружелюбно вскинул на него быстрые голубые глаза.

«Наверно, думает, что я сейчас буду рассыпаться в комплиментах и просить автограф, — подумал Гривс. — А я даже фамилии его не помню. Ну да, в общем, это неважно...»

— За Эльбу! — сказал Гривс, протягивая бокал.

— Давайте! — сказал русский. — Мы помним Эльбу.

Это «Мы помним Эльбу» показалось Гривсу несколько высокопарным. Что он может помнить, этот мальчишка, не нюхавший порошу? На Эльбе были другие люди, годящиеся ему в отцы. Но молодость все же сама по себе — не вина. Гривс чокнулся с русским и спросил, злясь на себя за тупость своего вопроса:

— А что вы думаете о нас, об американцах?

Русский улыбнулся. Наверно, он много раз слышал этот вопрос.

— В детстве ненавидел американцев.

«Ага... — про себя отметил Гривс. — Их приучали к этому, как с некоторых пор нас приучали ненавидеть русских. Все стараются сильнее».

— Я жил во время войны в Сибири, — сказал русский. — Из Америки присылали тушенку и бекон, а с нашего фронта — похоронки. Все ждали второго фронта, а он не открывался. Получалось так: американские консервы и русская кровь...

Гривс мог напомнить ему про Пирл-Харбор. Гривс мог возразить ему, что американцы воевали на других фронтах. Гривс мог рассказать, как погиб рыжий О'Келли, делая одного из своих самых великолепных бумажных змеев. Гривс мог добавить, как гибли американские транспорты, шедшие к Мурманску. Но всего этого Гривс не сказал, а вспомнил, как во время войны пошло в гору консервное дело его отца. И Гривс почувствовал себя виноватым. Нет, не перед этим мальчишкой, а перед тем старшиной в кирзовых сапогах, обмотанных проволокой.

— Да, второй фронт мы могли открыть раньше, — сказал Гривс. — У нас многие так думали. — А сейчас я понимаю, что нет вообще американцев и вообще русских или, скажем, вообще японцев; ваш сосед, кажется, японец? — продолжал русский. — Если я знаю, что кто-то сволочь, какая мне разница, какой он национальности? Мы только думаем, что живем в разных странах. На самом деле границы проходят не между странами, а между людьми...

«Проклятый английский! — подумал русский. Но, может быть, дело не в английском, а я просто слишком наболтался на пресс-конференциях? С

какой стати я читаю ему лекции? Он, наверное, воевал и все сам прекрасно понимает лучше меня...»

Но глаза русского сохраняли самоуверенность».

Аксенов говорил о «хемингуэевщине» как стиле писаний и самой жизни их поколения, но Евтушенко-прозаик, пожалуй, ближе к Ремарку. Речь о лирической влаге. Сам тип этого героя — хмурого нестарого ветерана войн XX века — был един в западной литературе: что у Ремарка, что у Хемингуэя, что у Бёлля. Евтушенко вынул его из их прозы. Получилось по-своему. Не откровение, но подтверждение принципа Ходасевича: «Поэт должен быть литератором».

Надо идти вперед, искать другого, нового Евтушенко.

У него за плечами зверобойная шхуна «Моряна». Почему бы не появиться карбасу «Микешкину»?

Что такое карбас? Это судно, не позднее XVI века пришедшее в Сибирь из Беломорья, среднего размера, парусно-гребное, промысловое и транспортное. На «Моряне» они с Казаковым внедрились в среду поморов, профессиональных рыбаков, морских охотников. На сей раз, в 1967-м, собрался экипаж довольно оригинальный.

Леонид Шинкарев — собственный корреспондент «Известий» по Восточной Сибири (начальник экспедиции), которого Евтушенко признает своим единственным «любимым начальником», Арнольд Андреев — инженер из Братска, Теофиль Коржановский — режиссер Иркутской студии телевидения, Эдуард Зоммер — кинооператор, Евгений Евтушенко — поэт. Сюда можно приплюсовать — Пастернака: «...я взял с собой иностранное издание «Доктора Живаго» в путешествие по сибирской реке Лене и впервые его прочитал. Я лежал на узкой матросской койке, и когда я переводил глаза со страниц на медленно плывущую в окне сибирскую природу и снова с природы на книгу, между книгой и природой не было границы». Их рейс по сибирской реке Лене — от порта Осетрово (Усть-Кут) до Тикси. Предстояло за 45 дней преодолеть около четырех тысяч километров вниз по реке, через различные географические зоны — от прибайкальской тайги до тундры Якутии и снежных гор за полярным кругом.

Потом вышла дваавторская книжка: Л. Шинкарев ««Микешкин» идет в Арктику»; Евг. Евтушенко «Стихи из бортжурнала» (М.: Известия, 1970). Выход ее мурыжили три года из-за присутствия в ней героя по имени Евтушенко и его стихов, разумеется. Имя поэта на обложке набрано карликовыми буквами. Под занавес шестидесятых над головой поэта то и дело сгущались тучи.

Предпоходные хлопоты:

Я заказал телефонный разговор с Ригой. Там гастрوليрует Московский драматический театр на Малой Бронной с новым спектаклем «Братская ГЭС» по поэме Евгения Евтушенко. Поэт недавно вернулся из поездки в Соединенные Штаты Америки, Испанию и Португалию и уже не раз напоминал мне о давнем желании побродить по дальним сибирским углам, по земле якутов и эвенков. Он ходил на зверобойной шхуне «Моряна» в Ледовитом океане, мы бывали вместе в поездках по Сибири, и я знал — матрос он что надо.

Кстати говоря, у других участников экспедиции тоже был мореходный опыт — Зоммер в прошлом ходил на судах по Балтике, Коржановский — по Байкалу, Андреев — по Братскому морю. Мне пришлось бывать на сельдяной путине в Охотском море и четыре месяца работать на тунцеловном клипере «Нора» в Индийском океане. Ну как было договориться о типе судна, когда у каждого свои привязанности?

...Лесное ведомство пообещало бесплатно отпустить сосновые бревна; геологи выписали энцефалитки и ведро диметилфтолата — от мошкар; спортивные организации предлагали тренировочные костюмы и спальные мешки напрокат, речники дарили спасательные жилеты...

С собою решили брать такое снаряжение: две кинокамеры «Конвас» и одну «Адмиру-8»; пять фотоаппаратов — два «Киева», два «Зенита» и один «ФЭД»; магнитофон «Репортер-5» и диктофон «Филипс-рекордер»; радиоприемник «Спидола» и японский радиотелефон «Сони», позволяющий вести двухсторонние переговоры в зоне пяти километров. Рацию договорились ни при каком варианте не устанавливать по соображениям чисто субъективного толка. <...>

— Я бы на вашем месте предпочел, знаете, какое судно? — говорит Керосинский (директор Качугской судовой верфи. — И. Ф.), сняв роговые очки и протирая их носовым платком.

— Быстрый танкер? — спрашиваю я.

— Нет.

— Самоходный сухогруз?

— Не угадали.

— Уж не плавучий ли кран?

— Карбас!

Мне это и в голову не приходило. За шесть лет странствий по Ангаре, Енисею, Лене я никогда не встречал этой легендарной сибирской посуды. Но изредка на ленских берегах можно было видеть занесенные песком почерневшие развалины карбаса да дырчатые тротуары и заборы из его плах по улицам приленских поселений. А в полном виде карбас сохранился на фотографиях — они попали ко мне однажды в фондах Иркутского краеведческого музея. Запомнился их тупой нос, покрытые брезентом товары да будка для лоцмана и завсвязкой — так называли старшего, вроде шкипера, который отвечал за товары на связке из нескольких карбасов.

— Вы помните хоть одного лоцмана?

— Ну как же... Самым знаменитым был, пожалуй, Микешкин. Не скажу имени-отчества, откуда он родом — тоже не припомню, но не из наших, не из ленских (позднее они узнали о Микешкине намного больше. — *И. Ф.*).

...Керосинский весь ушел в воспоминания:

— Микешкин был рослый, здоровый, костлявый, голова огненно-рыжая, нос с горбинкой. По внешности напоминал горьковского Челкаша. Подлинный самородок, на редкость талантливый лоцман и страшный пьяница. <...>

В четверг 22 июня из Риги прилетел в Иркутск Евтушенко — пятый участник нашей экспедиции.

— Не опоздал?

— Самолет на Усть-Кут уходит через 15 минут. Бежим!

За полтора часа полета на тряском ИЛ-14 успеваю рассказать наши новости. Нам отвели площадку на территории Осетровской судовой верфи. Директор Горбачевский и главный инженер Исаев согласились быть консультантами небывалого в их долгой практике «объекта» — деревянного карбаса «Микешкин». <...>

— Слушай, ружье взяли? — спросил Евтушенко.

— Целых три...

Уже сколотили палубу, продолжаю я, подняли борта. На палубе соорудили рулевую рубку, кубрик с койками в два яруса, камбуз с железной печкой, кают-компанию, — экономя время и строительные материалы, перегородки между этими помещениями устраивать не стали. Андреев раздобыл аккумулятор и обещает даже светильники над койками...

Путешествие началось:

«Декрет № 1 по экспедиции «Известий».

Принять у корабельных дел мастера А. Андреева плавучее сооружение, согласно ГОСТу определить его карбасом и наречь «Микешкиным».

Вся власть на «Микешкине» безраздельно и на все времена до Тикси (включительно) принадлежит начальнику экспедиции.

Заместителями начальника экспедиции назначаю:

А. Андреева — по корабельной и судоводной части, а также по навигационному делу.

Э. Зоммера — по двигателям и по всем узлам, кои крутятся и вертятся. Ему же крутиться и вертеться с ними вместе.

Т. Коржановского — по хозяйственному обеспечению, а также по руководству всеми интендантскими службами и общественным питанием.

Е. Евтушенко — по боцманской части и столярному делу. Ему же с высоты 185 сантиметров отдавать концы и якоря.

Отменить распоряжение заместителя начальника экспедиции может только сам начальник экспедиции.

Вахты у руля и по палубе несут все члены экипажа согласно приложению № 1.

Начальник экспедиции Л. Шинкарев».

...Евтушенко взобрался на верхнюю койку и мастерит полочку для любимых книг, которые взял с собою в плавание.

...На четвертый день плавания, когда команда с восторгом вылизала миски с геркулесовой кашей на сгущенном молоке, я окончательно убедился в поварских способностях Коржановского. Тут нам повезло, и каждый старался взять на себя подсобные работы по кухне, чтобы освободить дежурного на камбузе для главных дел. Евтушенко предложил и испробовал механизированный способ комплексного мытья посуды: грязная посуда помещается в рыболовную сеть и выбрасывается за борт до полного погружения в бурлящую воду — через семь минут сеть выбирается из воды со стерильной кухонной утварью. По-видимому, изобретатель допустил в расчетах ошибку. Во всяком случае, количество поднятой на борт посуды ни разу не соответствовало опущенной в воду. Не в моем характере глушить инициативу, но исчезновение посуды заставило писать в

бортжурнал декрет № 3:

«В последнее время участились случаи, как теперь установлено, неумышленного выбрасывания за борт кухонной посуды во время мойки и чистки. В первые три дня потеряны вилки, кружки и стаканы. Заместителю начальника экспедиции Коржановскому за слабый инструктаж команды и отсутствие контроля делаю замечание. Приказываю впредь посуду не терять, а если терять, то в меньших объемах и не всю сразу. В целях сохранности вилок запрещаю пользоваться ими для откупоривания бутылок...»

Коржановский угрюмо прочитал и написал «Объяснительную записку»: «Посуду мыть — это не стихи писать, как думают некоторые. Иначе что мы имеем:

стаканы граненые по плану 24, фактически 7,
кружки эмалированные по плану 7, фактически 5,
вилки разные по плану 7, фактически 3.

Что дальше будет?»

Сибирь не шутит, Лена сердится.

К ночи 6 июля над Леной поднялся такой густой туман, что «Микешкин» выглядел желтком посреди вареного яйца...

— Сели! — Андреев поднял из воды шест.

— А что я говорил? — сказал Коржановский, пожимая плечами.

Зоммер натянул болотные сапоги, спустился в воду и побрел с якорем в руках к берегу. Хлюпанье сапог еще резче подчеркнуло первозданную тишь окрестных мест.

...Меня разбудили странные звуки... Я открыл глаза и почувствовал, что койка подо мной слегка дрожит... стал лихорадочно нащупывать под столом сухие шерстяные носки. Вышел на корму, поеживаясь от холода.

...Глядя под ноги, чтобы не загреметь посудой, я перешел на правый борт и замер: из воды торчала желтая худая голова с оскаленными зубами. Если когда-нибудь со мной случится инфаркт, то я буду считать его вторым... Длинные посиневшие руки толкали карбас, плеч было не видно, только напряженная улыбка перекосила странно знакомое лицо.

— Кто тут? — спросил я, перегнувшись через борт.

— Погоди, — ответило привидение голосом Евтушенко, — не разбуди ребят.

— Что ты тут делаешь? — не выдержал я, слыша доносящийся из воды лязг зубов.

— Хотел, чтоб все проснулись, а мы плывем... «Микешкин», как видно, не знал, что уже битый час изо всех сил его толкает Евтушенко, и упрямо не двигался с места, больше того — на этот всплеск незапланированной романтики карбас ответил обрывом рулевого троса и выходом из строя штурвального управления. Но это мы выяснили потом, когда поднялась вся команда и стала шестью отталкиваться от галечной мели.

...Евтушенко лежал на койке в спальном мешке, укрытый разным тряпьем, каждые два часа глотая антибиотики. Поскольку не было уверенности, что его ночной инициативе однажды не последует кто-нибудь еще, я записал в бортжурнал строгий приказ. Отметил безответственное погружение в холодную воду по грудь и предписал «...Впредь выше пупа не погружаться». Все прочитали и расписались.

Евтушенко перевернулся на другой бок.

А тут и пошли стихи.

Шла к концу вторая неделя плавания. Евтушенко вышел из фотолаборатории, сел за стол, поднял листки бумаги, исписанные куриным почерком...

— Про Киренск написал, слушайте...

...Голос его то крепчал, становился резким и жестким, то переходил в шепот, в самую нежность и грусть, и снова вспыхивали чертики в глазах, и голос колокольню звенел сарказмом и ненавистью...

Нас бросает в туманах проклятых.
Океан еще где-то вдали,
но у бакенов на перекатах
декабристские свечи внутри...

...Прочитана последняя строка.

Евтушенко оскалил в улыбке до скрежета стиснутые зубы — эта его сатанинская улыбка выражает сложный комплекс чувств: он доволен собой, он не знает, до всех ли дошел глубинный

смысл, он ждет, требует, умоляет — здорово, а?

Мы молчали.

Первым отозвался Андреев.

Он снял очки и смотрел на Евтушенко влюбленными и преданными глазами.

— Женечка, а можно я перепишу их в свою тетрадку?

Всяко было в пути. И курьезно, и не очень. В поселке Олекма, в разгар путешествия, — почти несчастье: сойдя на берег, Евтушенко сверзился в яму, ногу обложил гипс. Перелом. Не было печали, черти накачали. Но стихам это не мешает.

В стихах микешкинского периода много формального поиска. Поле поиска — в основном строфика и ритмика. Строфы строги, продуманы, не без изыска, хотя предмет вдохновения — низовая житуха северян:

Алмазницы
толкуются в мирненском продмаге — пиво выкинули!
Нет разницы,
копать картошку иль брильянты — попривыкнули!
Но уважают глубоко
мужья холодное пиво,
а здесь найти алмазы более легко.

(«Алмазницы»)

Слышна песенка военных лет из кинофильма «Небесный тихоход» (1944), при безусловной разнице ритмических рисунков:

Дождливым вечером,
Вечером, вечером,
Когда пилотам, скажем прямо,
Делать нечего,
Мы приземлимся за столом,
Поговорим о том о сем
И нашу песенку любимую споем.

Пастернак сравнивал поэзию с губкой, и мы уже не раз отмечали это

евтушенковское обыкновение — впитывать все на свете, включая поэтику самых разных песен или соседей по цеху. В этом можно убедиться — далеко не уходя.

Сысоеву паршиво было, муторно.
Он Гамлету себя уподоблял,
в зубах фиксатых мучил «беломорину»
и выраженья вновь употреблял.

«Баллада о ласточке». Чем не Высоцкий? Сантимент о влюбленном крановщике. Однако Евтушенко делал такие вещи еще до возникновения Высоцкого. То есть в этом случае он возвращал свое. Опробованное другими.

Неоклассика закрытых строф и вольница ритмических перебоев. Мелодическое смешение разных размеров в одном стихотворении («Баллада о темах», «За молочком»). Прорывных выбросов за рамки уже наработанной поэтики нет, но чувствуется недовольство найденным прежде. Акцент на тематике. Все вокруг говорит: я — тема.

«Эй, на этажерке!
Не дрейфьте — бортом не задену.
Кто там Евтушенко?
Ты слухай — я дам тебе тему!»

(«Баллада о темах»)

В общем и целом материал ему знаком — родная Сибирь, родные люди: сибиряки. Но река, особенно такая могучая, как Лена, это особый мир с особыми людьми. Новые герои напоминают прежних: это русские люди с их традиционными ценностями и поступками. Крутизна и сентиментальность, чудачества и непохожесть. Скажем, тот самый Микешкин Петр Иванович поступал так:

А он презирал их пузатое племя
и бросил однажды три сотенных в Лену
и крикнул купцу:
«Если прыгнешь и выловишь,

но только зубами — твои они, Нилович!»

(«Баллада о ленском подарке»)

Забавно-колоритный вариант Настасьи Филипповны, достоевщина по-сибирски. Это смахивало на то, как в марте 1963-го поэт, будучи гостем Пикассо в его мастерской, отказался принять картину мэтра, вызвав сардоническое восхищение: нет, Достоевский жив, Настасья Филипповна реальна, Россия есть, и они выпили шампанского по этому поводу. Любая пикассовская почеркушка стоила тыщи зеленых.

Но этого мало. Наш лоцман бескорыстен до конца.

Жандармы ему обещали полтыщи,
но он отвечал:
«Не вожу политичских».

Вообще говоря, это романтика. Узнаваем амфибрахий Багрицкого: «По рыбам, по звездам проносит шаланду». Но евтушенковская романтика похожа на романтику того же Багрицкого, как слово «карбас» на слово «баркас». Почти то же, да не то. Похоже, но почти наоборот. У Багрицкого (раннего) — авантюристы, воры, перекасти-поле, разбойники, в идеале — Тиль Уленшпигель. У Евтушенко — коренной народ, основательный, работающий. Что же тут романтического? Личность автора. Он непрерывно восхищен. Скопление закатных облаков — ворота золотые, не менее того. Якутия — великолепно.

Я люблю чистоту и печальность
чуть расплющенных лиц якутят,
будто к окнам носами прижались
и на елку чужую глядят.

(«Алмазы и слезы»)

Евтушенко восхищенно-исправно писал стихи, Шинкарев отчитывался бортовым журналом (путевым дневником), «Известия» и «Неделя» (приложение к «Известиям») их тут же печатали, читатели следили за успехами экспедиции, всем было интересно.

Однако печатали не всё. Аллегория про советскую интеллигенцию «Карликовые березы» лишь через четыре года проскочила на страницу евтушенковской книжки «Я сибирской породы», изданной в Иркутске, за что главред издательства схлопотал выговор от руководства Главлита, — там среди катренов по крайней мере один отмечен настоящим предвидением:

Но если изменится климат,
то вдруг наши ветви не примут
иных очертаний — свободных?
Ведь мы же привыкли — в уродах.

А на том этапе — победа: борт «Микешкина» коснулся причальной стенки порта Тикси, под ногами земля, масса встречающих, много незнакомых, чьи-то объятия, узнавания.

У Евтушенко в руках появляется ведро краски и длинная кисть — наверно, принесли маляры, они шумят у бровки причала. Чего они хотят: автограф, что ли?

Я не угадал — маляры показывают на фанерный щит, который еще в Усть-Куте был приколот к корме и честно прошел с нами весь путь. Щит был, как всегда, мокр — вода стекала по строчкам:

Не на ТУ и не в такси,
Но дотянем до Тикси!

Вот оно что... Ай да маляры, ай да люди! По их просьбе Евтушенко перегнулся через борт и поправил надпись на щите, вторая строчка стала читаться по-новому:

Дотянули до Тикси!

На моей памяти это был единственный случай, когда поэт внес исправления в свои стихи безропотно, даже с явным удовольствием.

После могучей Лены, алмазных снегов Якутии и белого панциря Ледовитого океана — Черное море, Гульрипш, рай и ад в одном сосуде: душно и нескушно в сердечном плане. Очередная драма, все на грани разрыва и распада, поток стихов, в том числе «Краденые яблоки», новая любовь. Наталья Никонова, актриса. Ей, пляшущей на сцене босиком, соперница — другая актриса подкинула толченное стекло и гвозди. В Москве ходят слухи о евтушенковских страстях. Эхо молвы попадает в дневник поэта Дмитрия Голубкова.

Евтушенко: полон политикой, съездовской мизерностью (IV съезд писателей СССР. — И. Ф.), жаждой написать эпохальные вещи. Галя <его жена> уехала; репетиции «Братской ГЭС»; он влюбился в актрису — снял зал ресторана. Свадьба — с фатой, с кликами «Горько!»; переезд к новой жене. Вернулась Галя. Он — заметался, из дома в дом. Два отравления: Галя и новая. Но обе (как почти все женщины) не досыпали порции «до нормы» — и остались живы. Почерневший Евт<ушенко> возвратился восвояси.

В Московском драматическом театре на Малой Бронной идет спектакль, поставленный Александром Паламишевым по «Братской ГЭС». В роли Пирамиды — Лидия Сухаревская.

Журнал «Театральная жизнь» в первом номере за 1968 год писал:

...последняя из известных нам отрицательных женщин Сухаревской — Египетская пирамида в спектакле по поэме Е. Евтушенко «Братская ГЭС». <...>... самым удивительным было то, что... появление такого персонажа-символа в спектакле, где действуют только люди, буквально никому не показалось странным и слабо обоснованным... никакую пирамиду Сухаревская не играла, но и абстрактным ведущим, персонажем от театра она тоже не была... <...> ...короткая стрижка, волевой, строгий профиль, черный свитер, облегающий фигуру, прямая юбка чуть ниже колен... и только массивная золотая цепь через всю грудь напоминала о других цепях — тех, какими тогда, во времена пирамид, была скована большая часть человечества.

В дни премьеры писали, что Пирамида Сухаревской — это «философское выражение зла и насилия, цинизма и неверия». <...>

> В силу игры Сухаревской, взявшей на себя всю тяжесть контрдействия, спектакль превратился в философский диспут о том, искоренимо ли зло, о противоборстве добрых и дурных начал в современном мире, о шансах на победу реакции и прогресса, о том, наконец, «рабы ли мы» или «рабы не мы»; последнее и утверждалось в спектакле. Не случайно в финале спектакля звучал специально написанный для него автором монолог, где среди прочего были и такие слова, напрямую «лежащие» на созданный актрисой характер:

Гори, светильник разума, гори,
веди сквозь неуспехи и обиды,
когда нас осаждают изнутри
сидящие в нас где-то пирамиды.
Они сильны, но не сдадимся им,
помогут нам великие примеры.
И логику сомнений победим
всей выстраданной логикой веры.

Искусство требует жертв. Это похоже на сочинение текста песни по «рыбе».

Но Евтушенко, вновь перелетев в два конца через Атлантику и пройдя сквозь преувеличенно интенсивные «Твист на гвоздях», «Смог», «Монолог бродвейской актрисы» и «Монолог американского поэта» (эпитеты монологов — для блезира), опять показывает свой лучший лирический уровень — «Нью-Йоркская элегия», «Елабужский гвоздь». Некрасовская нота, отзвук «Железной дороги» в стихах памяти Цветаевой. Неожиданно, безошибочно точно и достойно.

Ну а старуха, что выжила впроголодь,
мне говорит,
словно важный я гость:
«Как мне с гвоздем-то?
Все смотрят и трогают.
Может, возьмете себе этот гвоздь?»

Не взял.

1967 год оставил нам и такой документ. Короткая записка:

«Дорогой Валерий Алексеевич!

Оставляю Вам стихотворения Бродского, отобранные мною. Думаю, что при самом строгом следующем отборе можно взять 3–4 стихотворения.

С приветом

Ваш Евг. Евтушенко».

Адресовано В. Косолапову, в то время директору издательства «Художественная литература».

Публикуется впервые — Евтушенко случайно наткнулся на эту бумажку среди прочих артефактов на стенде выставки «Шестидесятники» в Литературном музее в Трубниках в январе 2013 года.

Он об этом и забыл.

ГОД СТЫДА

Весенний Париж 1968 года бурлит. Началось в университетах, сперва в Нантере, затем в Сорбонне. Шумней всех среди коноводов двадцатитрехлетний Даниэль Кон-Бендит (столько стукнет Жене Евтушенко в 1956-м). Лозунг молодежи «Запрещать запрещается». Марксизм-ленинизм, троцкизм, маоизм, анархизм — все это вперемешку называется «гошизм» (фр. *gauchisme*), то есть левизна по-ленински: «Детская болезнь левизны в коммунизме». *Новые левые*. Преобладали анархисты. Митинги, беспорядки. Особенно бушевали в Нантере. Зрелые интеллектуалы — Жан Поль Сартр, Мишель Фуко — на их стороне. Постепенно их сторону заняли профсоюзы, объявив забастовку, ставшую бессрочной. Студенты, рабочие и служащие — все вместе вышли с конкретикой политических требований — отставка де Голля плюс формула «40–60–1000»: 40-часовая рабочая неделя, пенсия в 60 лет, минимальный оклад в 1000 франков.

Евтушенко взглянул на майский Париж несколько по-олимпийски: «За послевоенной порой с ее духовной и экономической мерцательной аритмией последовал спазм мая 1968 года с его полуопереточными баррикадами». Ахматова в таких случаях любила говорить:

— Меня там не стояло.

Он — далеко. В Мексике.

«Весной 1968 года Сикейрос писал мой портрет.

Между нами на забрызганном красками табурете стояла бутылка вина, к горлышку которой припадали то он, то я, потому что мы оба измучились.

Холст был повернут ко мне обратной стороной, и что на нем происходило, я не видел.

У Сикейроса было лицо Мефистофеля.

Через два часа, как мы и договорились, Сикейрос сунул кисть в уже пустую бутылку и резко повернул ко мне холст лицевой стороной.

— Ну как? — спросил он торжествующе.

Я подавленно молчал, глядя на нечто сплюснутое, твердо-каменно-бездущное.

Но что я мог сказать человеку, который воевал сначала против Панчо Вильи (герой Мексиканской революции 1910–1917 годов. — И. Ф.), потом вместе с ним и участвовал в покушении на Троцкого? Наши масштабы

были несоизмеримы.

Однако я все-таки застенчиво пролепетал:

— Мне кажется, чего-то не хватает...

— Чего? — властно спросил Сикейрос, как будто его грудь снова перекрестили пулеметные ленты.

— Сердца... — выдавил я.

— Сделаем, — сказал он голосом человека, готового на экспроприацию банка.

Он вынул кисть из бутылки, обмакнул в ярко-красную краску и молниеносно вывел у меня на груди сердце, похожее на червовый туз.

Затем он подмигнул мне и приписал этой же краской в углу портрета:

«Одно из тысяч лиц Евтушенко. Потом нарисую остальные 999, которых не хватает».

Надо же, это почти совпало с портретом Евтушенко работы Владимира Соколова:

Я люблю твои лица. В каждом
Есть от сутолоки столетья.

Евтушенко поинтересовался у Сикейроса: правда ли, что у Маяковского в Мексике есть сын?

— Не трать время на долгие поиски... Завтра утром, когда будешь бриться, взгляни в зеркало.

Огнепоклонник коммунизма Сикейрос сидел уже не в узилище (где провел 1600 дней начиная с августа 1960-го), а на стадионе *Arene del Mexico* неподалеку от президента Мексики, в числе 22 тысяч зрителей, которым Евтушенко по-испански читал свои «Шахматы Мексики», написанные в конце марта на мексиканском Острове женщин.

Пеон — по-испански крестьянин.
Второе значение — пешка,
а жертвовать пешкой безгласной —
всех шахматных партий закон,
и, грустные шахматы Мексики,
это над вами насмешка,
и первый пеон,
и второй пеон,
и третий пеон.

.....
Когда мы изменим правила?
Ответ словно в ножнах мачете.
Молчат, оцетинясь, кактусы.
Молчит, накалясь, небосклон.
Когда мы изменим правила?
Ответьте — что ж вы молчите,
и первый пеон,
и второй пеон,
и третий пеон,
и четвертый пеон?
...Да здравствует пятый пеон!

Мексиканцам не надо объяснять семантику слова «пеон». 22 тысячи испаноязычных зрителей и без русского поэта знают, что это такое. Евтушенко нацелен на все группы мирового народонаселения, в том числе и на своего брата поэта. Подобно Маяковскому, который, обращаясь к пролетариату, там и сям говорит о тонкостях поэзии как таковой, Евтушенко — ну какое дело, например, рыбакам Лены до цензуры? — ставит задачи еще и внутрицеховые. Не каждый смекнет, что *пеон*, к тому же, — термин стиховой (сложная стопа из трех неударных и одного ударного слога). Еще символисты бились над проблемой пеона: гипотетически в русском стихосложении есть четыре типа пеона. Евтушенко же славит аж пятый. То есть нечто небывалое. То есть недостижимое.

На первый взгляд это игра слов, да и пустая, ибо практически безадресная: советская поэзия не интересовалась пеонами. Гурманы стиха не интересовались мексиканским крестьянством. Однако. Прежде всего: на что надеется поэт, вещающий во весь голос на весь мир? Есть ли в этом прок?

Это отдаленно напоминает богослужение по-латыни или по-арабски. Ничтожная часть богомольцев знает язык, на котором говорит пастор или мулла. У Евтушенко будет потом случай взойти на подиум настоящего храма. Это будет Кентерберийская кафедра кафедрального собора Святых Петра и Павла в Вашингтоне.

Но аудитория поэта не храм и не мечеть. Лужники, Медисон-сквер-гарден, *Arene del Mexico* — весь мир, он верит поэту, или поэт верит в его веру.

В тот раз он объехал всю Латинскую Америку, 12 стран. Это продолжалось полгода. Повидал многих, прежде всего — Пабло Неруду, который, собственно, и организовал тот вызов. К себе. Не так давно он воскликнул: ««Евтушенко рехнулся; он просто паяц» — так цедят сквозь зубы... Вперед, Евтушенко!»

Среди чилийских друзей — член ЦК Мексиканской компартии Володя Тейтельбойм (а ведь неплохо порой сочетаются слова). Он-то и рассказывает:

Новый поэтический год начинается уже 10 января 1968 года встречей со «звездами» на стадионе «Натаниэль» в Сантьяго... Неруда говорит: «Евгений, я приглашал тебя не на рыцарский турнир, но я стану твоим оруженосцем — я стану переводить твои стихи». Евтушенко читает первое стихотворение, переведенное Нерудой, — «Море». Евтушенко и актер-декламатор, и мим, его чтение — целый спектакль; к такому мы еще не привыкли, и публика приходит в полный восторг... Он читает «Людей неинтересных в мире нет», «Нежность», «Бабий Яр», «Ярмарка в Симбирске», другие стихи. И заканчивает «Градом в Харькове».

Сальвадор Альенде еще не президент и, грассируя, учит русские стихи: «В граде Харькове — град, град». Пабло был тоже выдвинут в президенты, но партия сняла его кандидатуру в пользу Сальвадора.

Чилийский Джек Лондон — Франсиско Колоане; с ним Евтушенко побывал на Огненной Земле, в городке Пунта-Аренас, где у Франсиско произошла история, равная сентиментальной саге о публичном доме, о чистой любви к девушке из этого дома и честных его работницах.

В Мексике — Луи Армстронг, золотая труба первородного джаза, головокружительный звук московской молодости. Обнялись, как братья. Они были знакомы с 1961 года, когда жили по соседству в лондонском отеле и Евтушенко был зван на его концерт в кабаре, где по распоряжению джазмена поставили дополнительный стол для Евтушенко, и в его честь Армстронг импровизировал на тему русских песен. «Полюшко-поле»...

Патагония, Амазония, охотники на анаконд, глава поэтов надаистов (ничевоков) Гонсало Аранго, колумбийская фотомодел ь Дора Франко, званная вечеринка в Сантьяго, устроенная одним из руководителей аэрокомпании «Лан-Чили», после которой в евтушенковской записной книжке появляется запись: «Ген. Пиночет. Провинц. Рука холоди., влажн.».

Замечательную историю Евтушенко рассказал Николаю Зимину (Итоги. 2012. 21 мая. № 21):

«...это был 1968 год. А Пабло (Неруда. — И. Ф.) между тем заявляет, что у него есть потрясающий план. «Только я тебе его излагать не буду, — говорит он. — Мы завтра в авиакомпанию ‘ЛАН Чили’ идем ужинать, там все поймешь. Сиди и только поддакивай». Пришли. Собрался весь директорат. Пабло меня представляет: «Это мой друг великий русский поэт Евтушенко. У товарища Евтушенко (он так все время и говорил «камарада») есть план кругосветного путешествия (я, понятно, сам про это первый раз слышу). Какой маршрут, представляете! Отсюда, из Сантьяго, — на остров Пасхи, потом на Таити, с Таити в Японию и оттуда на родину Евгения — в Сибирь, на Байкал, на Урал и в Москву, потом в Париж и так далее. Только до Пасхи тащиться по морю очень долго, а мы заняты, выступлений много. У вас, кажется, какие-то полеты туда есть, к американцам». Те кивают: летаем иногда.

— Уговорил?

— Конечно, они смекнули, что под имя Пабло тоже смогут на таинственный остров полететь. И человек шесть из совета директоров быстро собрались, даже знакомых и девушек прихватили. От меня потребовали только одного: чтобы я ни в коем случае не говорил, что я русский, чтобы сидел и помалкивал, а объяснялся только по-испански — американцы все равно акцента не услышат. Полет был потрясающий. Полсамолета загружено ящиками с шампанским. За счет компании. На острове встречает нас рыжий майор-американец с краснокирпичным лицом, обожженным солнцем, — начальник авиабазы. Говорит, что ужин уже заказан. Видно, что рад возможности развлечься. Правда, сам чего-то ко мне приглядывается. Потом вытаскивает из кармана ламинированный листок из «Плейбоя», а там стихотворение и фотопортретик: «Что-то вы похожи». «А зачем вам эта вырезка?» — «Стихи понравились: «А снег повалится, повалится...» «В общем, я понял, что мое инкогнито раскрыто. Но он ни слова другим своим офицерам, и я молчу.

— Вы серьезно? Это ж прямо как сказка какая-то...

— А мы рождены, чтоб сказку сделать былью. То ли еще будет!.. Выпиваем, гуляем, просто не разлей вода, американцы за стюардессой нашей ухлестывают. Чилийцы про мой «план» рассказывают. А майор и говорит, что у него на Таити хороший знакомый тоже на базе служит. Не рвануть ли туда? Все переглянулись, потом решили: подумаешь, всего две тысячи километров, для самолета пустяк. По острову мгновенно слух

прошел, что полет на Таити готовится. Какие-то женщины местные пришли, говорят, что у них там родственники, просят подарки передать, одна корзину с яйцами, другая живого петуха. Такая кутерьма! Полетели. Петух по самолету носится и орет «кукареку». Приземляемся.

— Но это ведь уже совсем другая страна...

— И я про это. Я же вообще без документов, без паспорта. Немного трушу. Встречает также американец. Без проблем. Документов никто не спрашивает. Уже кабана на вертеле жарят, бусы из ракушек на шею надевают. На следующий день губернатор принимает. Имя мое, конечно, открылось. На приеме подходит ко мне женщина, эмигрантка, бывшая знаменитая харбинская певица и поэтесса Ларисса Андерсен, хоть и в возрасте, но красавица все равно невозможная, узнала меня. Она вышла замуж за французского таможенника и жила на Таити. Пока с ней говорили, подходит еще один гость, поляк Леонид Телига, и тоже меня узнает. Вся конспирация летит к черту. И какая может быть конспирация на Таити, когда, как мне Леня шепнул, здесь еще до сих пор гостей женами угощают. Родился он, правда, в Вязьме. На своей крошечной шхуне «Опти» пришел на Таити из Гданьска один, совершая кругосветное путешествие. Он знаменитый человек. Под Сталинградом с немцами сражался, был пилотом. Мне говорит, что тоже стихи пишет, даже на эсперанто, и книжка моя на борту есть, показать может. Мы берем эту эмигрантку, заодно якобы местного сына Гогена, который мне свой рисунок продал за 25 долларов, кого-то из чилийцев и едем к Лене. Действительно, среди других книжек есть и моя «Взмах руки». Я обнял его и даже расплакался от чувств. Утром он ко мне приходит, говорит, что я ему понравился и стихи мои тоже. Давай, предлагает, пересаживайся ко мне, вместе дальше поплывем. Через полинезийский архипелаг пойдем... Красота! «Леонид, ты что, — отвечаю. — У меня даже паспорта с собой нет». «Да брось ты, кто документы спрашивает в океане». Я лопочу, что от меня пользы никакой, парус ставить не умею. А он говорит: научу. Я последний аргумент привожу: «У нас же с Пабло через два дня большое выступление в Сантьяго!» «Так, позвони ему, он же поэт, все поймет. Через шесть месяцев доберемся до Касабланки». И тут я представил себе рожки в Союзе писателей, как они меня ищут, как потом прорабатывать будут. В общем, дал слабину. Отказался. Возвращаюсь из поездки в Москву, а там телеграмма: «Женя, я в Касабланке. Твой Леня».

Рисковые ребята, безоблачное веселье.

Тем временем началось в Чехословакии. Еще в январе 1968-го президент Антонин Новотный ушел с поста первого секретаря ЦК КПЧ.

Его сместили более продвинутые люди. Москва не вмешивалась. Брежнев недолюбливал Новотного: тот когда-то не принял способ снятия Хрущева. Первым секретарем ЦК КПЧ стал Александр Дубчек. Москву это не встревожило. Дубчек был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Двадцать третьего марта в Дрездене собрались руководители партий и правительств шести социалистических стран — СССР, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и ЧССР. Там Дубчеку сделали внушение: де в Праге разгуливает контрреволюция. У лидеров Польши и Венгрии были плохие воспоминания о 1956 годе.

Чехословацкие события становятся стержнем и фоном всего года.

Жизнь идет своим чередом, неотделимая от смерти.

Двадцать восьмого марта погибает Юрий Гагарин.

Весть из-за океана: 4 апреля убит Мартин Лютер Кинг.

Поэт откликнется, но не сразу.

В начале апреля советские послы проинформировали высших партийно-государственных руководителей ГДР, ПНР, ВНР, НРБ о том, что в Чехословакии действует антигосударственная группа, в которую входят помимо профессиональных политиков писатели и публицисты Павел Когоут, Людвик Вацулик, Милан Кундера, Вацлав Гавел и др. В апреле развернулись дискуссии. Ослабла цензура, возникли новые органы печати и «КАН» — Клуб беспартийных, другие общественные структуры. Обо всем заговорили открыто. Составленную в феврале «Программу действий КПЧ» приняли только в апреле. Поздно.

В конце апреля в Прагу прибыл маршал И. Якубовский, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами стран — участниц Варшавского договора. Он привез тему «о подготовке маневров» на территории Чехословакии.

Евтушенко зашел к Шостаковичу. Заговорили о «пражской весне». В советских газетах писали о «предательстве социализма». Шостакович вел себя беспокойно, судорожно хватался за рюмку, показал открытое письмо деятелей советской культуры.

— А я вот подпишу. Да, подпишу. Мало ли что я подписывал в своей жизни... Я человек сломанный, конченный...

Евтушенко умолял не делать этого.

Шостакович смял письмо, убежал в соседнюю комнату, его не было пять минут, а когда вернулся, лицо его было пепельное, неподвижное, как маска.

В тот вечер он не сказал больше ни единого слова.

Новая весть из-за океана: убит Роберт Кеннеди. 6–7 июня Евтушенко пишет стихи:

И звезды, словно пуль прострелы рваные,
Америка, на знамени твоём, —

и тогда же знакомит с ними Бродского, вместе с Рейном гостившего у него дома. Бродский предложил пойти в американское посольство — расписаться в книге соболезнований. Евтушенко посмотрел на часы, было 22.45, и сказал:

— Поздновато.

Иосиф ответил:

— Ничего, с тобой нас пропустят.

Евтушенко позвонил атташе по культуре посольства США и сообщил, что хочет зайти, расписаться в книге. Тот уточнил:

— Вы будете один?

— Со мной будет Бродский.

Их приняли.

Стихи на убийство Роберта Кеннеди были мгновенно и одновременно напечатаны в «Правде» и «НьюЙорк таймс».

У Евтушенко новые поездки. Наконец-то — стихи о Бейруте («Петух в Бейруте»), но не о том мраморном туалете, напротив — это любовная лирика: автогерой рано утром выходит из дома, где «в пахнущем драмой уюте / два глаза на стебле с надломом росли», а над городом оглушительно грянул рассвет в образе петуха.

Ливия, Египет, Сирия.

У римской забытой дороги
недалеко от Дамаска
мертвенны гор отроги,
как императоров маски.

.....

Плиты дороги были
крепко рабами сбиты,
будто в дорогу вбили
окаменевшие спины.

(«У римской забытой дороги...»)

В Чехословакии все продолжается. В конце июня — манифест «Две тысячи слов», автор Л. Вацулик, подписан многими общественными деятелями, включая коммунистов. Подвергнут критике тоталитаризм, ползучая деятельность КПЧ, провозглашены идеи демократизации системы и введения политического плюрализма. Открыто говорилось о возможности советской интервенции. В конце июля, по данным журнала «Шпигель», к вторжению в Чехословакию были готовы 26 дивизий, из них 18 советских, не считая авиации.

Двадцать девятого июля написано:

Повсюду грязь в разливе,
и фары гложут мрак,
но месяц над Россией —
как поворотный знак.

(«На грейдерной дороге»)

Надвигался август.

Двадцать девятого июля — первого августа в Чиерне-над-Тисой встретились полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ вместе с президентом Л. Свободой, говорили резко, но вроде бы обо всем договорились. Брежнев отбыл на отдых в Ялту.

Второго августа Корней Иванович Чуковский пишет в дневнике:

Был Евтушенко... читал вдохновенные стихи... Читал так артистично, что я жалел, что вместе со мною нет еще десяти тысяч человек, которые блаженствовали бы вместе... Стихи такие убедительные, что было бы хорошо напечатать их на листовках и распространять их в тюрьмах, больницах и других учреждениях, где мучат и угнетают людей...

Когда Бродский поселится в Штатах и станет тамошним поэтом-лауреатом, он выдвинет идею издания недорогих антологий лучших американских поэтов, чтобы они всегда были под рукой в аэропортах, отелях, больницах и магазинах. Тюрьмы не предусматривались. Идея не прижилась. Она была чужеродным рудиментом советского

шестидесятничества.

Третьего августа состоялась встреча руководителей шести партий стран соцлагеря в Братиславе. В принятом заявлении содержалась фраза о коллективной ответственности в деле защиты социализма.

Двадцать девятого июля — четвертого августа Евтушенко, посетив Псков, пишет «Псковские башни», в которых тоже слышен некий звон:

У возвышающих развалин
в надежде славы добра
я слышу грохот наковален:
кует
Россия
прапора.

Вполне пафосно, патриотично, чуть не в унисон движущейся военной технике.

В ночь на 22 августа на белоснежной коктебельской террасе сидели Аксенов, Гладилин, Балтер и Евтушенко. Догуливали позавчерашний аксеновский день рождения. Было невесело. Что будет с Пражской весной?

Аксенов сказал:

— Эта банда на все способна.

Евтушенко выразил надежду на лучшее, ведь не могут же свои давить своих.

Балтер усмехнулся:

— Женя, Женя, какой вы все-таки идеалист. Может быть, именно в эту минуту наши танки уже пересекают чехословацкую границу.

Он как в воду глядел. Это уже произошло: ночью раньше. Командовал — издалека — стальной армадой стареющий густобровый пловец, уверенными взмахами крепких загорелых рук полосую черноморскую лазурь где-то совсем неподалеку от Коктебеля. Говорят, он мог плавать по многу часов.

Наутро Евтушенко с Аксеновым опохмелились в поселковой столовой теплой водкой, уже выслушав советское радио. Текли слезы. Аксенов, вскочив на столик, прямым Савонаролой, имея в виду отнюдь не Папу Римского, произнес гневную речь по адресу присутствующих.

— Вы знаете, кто вы такие? Вы жалкие рабы!

Евтушенко еле удалось увести его: полуголые спортивные ребята приготовились к мордобою. Поэт волок на себе друга, брызжущего

проклятиями.

Оставшись один, он бросился к радиоприемнику. Говорил старый друг Мирек Зикмунд, чехословацкий журналист и знаменитый путешественник, в паре со своим сподвижником Иржи Ганзелкой объехавший на чешской «татре» почти весь мир, с заездом на станцию Зима и ночевкой на сеновале у Жениного дяди Андрея.

— Женья Евтушенко, ты слышишь меня? Почему ваши танки на наших улицах?

Мирек напомнил о том, как в сибирской ночи у костра они говорили о социализме с человеческим лицом.

«Наши танки, входящие в Прагу, словно захрустели гусеницами по моему позвоночнику, и, потеряв от стыда и позора инстинкт самосохранения, я написал телеграмму Брежневу с протестом против советских танков».

Телеграмм было две — на имя Брежнева (с Косыгиным) и в чехословацкое посольство (на имя Дубчека). По пути на телеграф Евтушенко заглянул к спящему Аксенову. Который, полупробудившись, прочел тексты и сказал:

— Все это напрасно.

Когда Евтушенко отправлял телеграммы, Аксенов спал мертвым сном. Двадцать третьего августа у Евтушенко вырвались стихи.

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

Боже мой, как это гнусно!
Боже — какое паденье!
Танки — по Яну Гусу,
Пушкину и Петефи.

Страх — это хамства основа.
Охотнорядские хари,

вы — это помесь Ноздрева
и человека в футляре.

Совість и честь вы попрали.
Чудищем едет брюхастым
в танках-футлярах по Праге
страх, бронированный хамством.

Что разбираться в мотивах
моторизованной плетки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрева на глотке?

Танки идут по склепам,
по тем, что еще не родились.
Четки чиновничьих скрепок
в гусеницы превратились.

Разве я враг России?
Разве не я счастливым
в танки другие, родные,
тыкался носом сопливым?

Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это — родные танки?

Прежде, чем я подохну,
как — мне не важно — прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной — без рыданий —
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

При чем тут охотнорядские хари? Ноздрев? Манилов? Речь о матушке-России? О ней тоже. О ней в первую очередь.

Двадцать пятого августа ровно в полдень на Красную площадь вышли восемь человек, сели на белый камень Лобного места и развернули транспаранты. Это были К. Бабицкий, Т. Баева, Л. Богораз, Н. Горбаневская (поэт), В. Делоне (поэт), В. Дремлюга, П. Литвинов, В. Файнберг. На транспарантах — лозунги: «Мы теряем лучших друзей», «Ať žije svobodné a nezávislé Československo!» («Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!»), «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!», «Свободу Дубчеку!». Сидячих протестантов мгновенно схватили и, порукоприкладствовав, увели в тягулевку.

Был скорый суд. Зоной или ссылкой наказали почти всех: двадцатиоднолетнюю Таню Баеву, уговоренную товарищами заявить, что она оказалась тут случайно, отпустили. Наталье Горбаневской, вышедшей на площадь с детской коляской, поставили диагноз, подписанный профессором Лунцем: вялотекущая шизофрения. Психбольница специального назначения.

Те восемь человек не были кучкой сектантов. Солженицын, Твардовский, Чичибабин, Окуджава, генерал Григоренко, Елена Боннэр — многие возмущены происходящим безобразием.

Твардовский плачет у себя на даче, записывая в дневнике:

Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом.

Солженицын, в те дни опасаясь нападения на себя, говорит Твардовскому: «После Чехословакии возможно все, что угодно».

Юлий Ким спел, обращаясь, по-видимому, к Визбору:

Доставай бандуру, Юра,
конфискуй у Галича.
А где ты там, цензура-дура?
Ну-ка, спой, как давеча.
Эх, раз, еще раз,
еще много-много раз,
еще Пашку,

и Наташку,
и Ларису Богораз!

Негде яблоку упасть
среди родного блядства.
Эх, советская власть,
равенство и братство!

По инерции и в охотку Евтушенко продолжает работать разъездным поэтом. То есть ему это позволяют, не успев осознать происшедшего. Наконец-то он скажет свое про Испанию. Про улочки Барселоны, про счастье по-андалузски, про черные бандерильи, про Севилью, про Лорку, а также про любовь по-португальски, потому как и в Лиссабоне побывает. Его прорвало, стихи льются безостановочно. По ходу дела вспомнит и Франсиско Колоане, и якобы дочь Толстого, увиденную в начале года на Огненной Земле. «Русское чудо» — о старухе без сертификатов, изгнанной из коммунизма, — он пишет без надежды на публикацию, но «Балладу о поднятых кулаках» 22 октября 1968-го напечатает в «Советском спорте» друг-учитель Тарасов, и это будет первым выходом в свет после стихов о танках. Он привезет горсть гренадской земли, и они со Смеляковым погребут ее в холмике светловской могилы.

Что-то много стихов о стариках — с чего бы это? Привет из Барселоны:

Да, я жалею стариков. Я ретроград.
Хватаю за руки прохожих у оград:
«Объявляю новый номер!
Я поэт, который помер,
но не помню, сколько лет назад...»

(«Ревю стариков»)

По возвращении Евтушенко в Москву — запрет выступлений, уничтожение матрицы книги в Гослитиздате, отмена поездки в Англию, где оксфордские студенты выдвинули его на профессорское звание.

Появляется стихотворение с мандельштамовским вопросом:

«А Иисуса Христа
печатали?!»

(«О скромности»)

Было отменено плавание по Миссисипи, то есть приглашение в Америку с таким предложением. Евтушенко пришел на прием к Андропову. Тот сказал: вопрос о Миссисипи решайте в вашем родном Союзе писателей.

Братья писатели надулись, Винокуров взорвался:

— Ты нас всех оскорбил. И меня тоже!

— Чем же?

— Я думаю так же, как ты, но если бы я написал такую телеграмму, меня бы в порошок стерли, а с тебя все как с гуся вода, ты же у нас любимец народа, тебе все прощают.

На имя Брежнева идет эпистола за подписью двенадцати братьев: лишить предателя советского гражданства. Что-то такое мы уже слышали.

Вдвоем с Галей сожгли на переделкинском костре всю литературу, которую можно было счесть нелегальной. Стояла ночь, выли собаки, костер потрескивал, пахло дымом. Казалось, пахнет арестом.

Пронесло, и, похоже, не замышлялось.

Второго ноября в дневнике Чуковского новая запись:

Вечером от 6 до 11 Евтушенко. Для меня это огромное событие. Мы говорили с ним об антологии, которую он составляет... обнаружил огромное знание старой литературы. Не хочет ни Вяч. Иванова, ни Брюсова. Великолепно выбрал Маяковского. Говорит, что со времени нашего вторжения в Чехию его словно прорвало — он написал бездну стихов. Прочитал пять прекрасных стихотворений. Одно — о трех гнилых избах, где живут три старухи и старичок-брехунок. Перед этой картиной — изображение насквозь прогнившей Москвы — ее фальшивой и мерзостной жизни... Потом — о старухе, попавшей в валютный магазин и вообразившей, что она может купить за советские деньги самую роскошную снедь, что она уже вступила в коммунизм, а потом ее из коммунизма выгнали, ибо у нее не было сертификатов... Потом о войсках, захвативших Чехословакию. Поразительные стихи, и поразителен он... Большой человек

большой судьбы.

Антологию Евтушенко задумал давно. Когда в 1963-м они с Георгием Адамовичем беседовали в парижском кафе «Куполь», силуэт будущей антологии уже брезжил в сознании. Не хватало последнего штриха, чтобы возникла картина. Элегантный человек с безукоризненным пробором легким движением ухоженной руки развеял туман неопределенности. Стало ясно: русская поэзия нерасчленима, многообразна и не разведена по разным квартирам и территориям. Она не только посильное самоспасение каждого поэта, но и обещание какого-то общего всечеловеческого единства.

Образовалось новое ощущение современничества. Он вырос в кругу старших, активно пересекался с советизированными стариками, делавшими революцию и соцреализм, но ведь были и *другие*. Он считал себя человеком из народа, провинциалом, таежником, чуть не от сохи. Но в глубине души таилась стыдновато-заносчивая догадка, что он и сам — другой.

Современниками оказывались те, чьи имена мерцали туманным золотом на страницах дореволюционного журнала «Аполлон» или ежовско-шамуриной антологии. Вот они — на расстоянии вытянутой руки: Ахматова, Адамович. Прямо здесь, в переделкинском соседстве — Пастернак, Чуковский, Асмус, Каверин, рядом с которыми — Слуцкий, Смеляков. По дикому недоразумению среди них нет Блока или Гумилёва — живых.

Тем не менее Вяч. Иванов и Брюсов в 1968 году ему неинтересны.

Оксфордская мантия ему не досталась. В Англии затеяли интригу на предмет включенности Евтушенко в сервизм советской литературы и двусмысленности его поступков, да и вообще: была ли та телеграмма про Чехословакию? Не придумал ли ее КГБ для украшения его репутации?

За него вступаются Артур Миллер, Вильям Стайрон. 24 ноября Фрэнк Харди в *Sunday Times* пишет:

Евгений Евтушенко — русский поэт и кандидат на звание профессора поэзии в Оксфорде был на этой неделе атакован «Комсомольской правдой» за распространение буржуазных идей в СССР. В ту же неделю он был обвинен правой прессой в Англии как прислужник партии... Почему его атакуют и левые, и правые? Потому что Евтушенко сам является парадоксом. Он, несомненно, самый знаменитый поэт нашего времени. Он объединяет разделенный мир гигантскими усилиями.

Мантия! Обладатель оной пышной робы, старик Чуковский заглянул к нему.

Вторник 3. Декабрь. Я видел в «Times» статью Харти (так. — И. Ф.) о неизбрании Евтушенко в Оксфорд и решил отвезти ему вырезку. Мимо проезжал милиционер в мотоцикле, подвез. «Евтушенко болен», — сказала нянька. Оказалось, он три дня был в Москве и три дня пил без конца. «Пропил все деньги на магнитофон», — сокрушается он. Стыдно показать глаза жене. Прочитал мне стихи о голубом песце, о китах...

Осудим ли зиминского мальчишку, не получившего обещанную игрушку? А вот Анне Андреевне — подарили. Она и поигралась — под настроение давала примеривать хорошим людям, в частности Дезику Самойлову, и веселей не придумаешь: подол наряда падал на пол, поскольку маэстро стиха ростом не вышел, не то что эта верста из Марьиной Рощи.

Написаны «Гражданские сумерки», где зафиксирован цвет времени:

Красного медленный переход
в серое, серое, серое.

Заранее рассказано о том, что потом неминуемо повторится:

В Пекине жгли мое чучело,
подвешенное шпаньем.
.....
В Америке жгли мое чучело —
какой двусторонний шаблон!

(«Поэзия как шпионаж»)

Все шло к поэме, и она возникла: «Под кожей статуи Свободы». Там была найдена формула исторического момента: «Год стыда». Форма поэмы прежняя — сплошной сверхмонолог, состоящий из мини-монологов: от себя, от убиенного Мартина Лютера Кинга, от студента со сборничком Маркузе, а также от пожилого господина, метеоролога, постаревшего Гайаваты, Раскольников, Панчо Вилья, Роберта и Джона Кеннеди, и все

это подано в комбинации с пряными прозаическими вставками, где возникают Великий маг (Сальвадор Дали), вдова Панчо Вилья, опять Роберт Кеннеди, абуэло (дедушка) Карл Рауф (эсэсовец на покое), абхазский старик Пилия, кубинский поэт Эберто Падилья, сам Иисус Христос, архитектор Гонсало Фигероа...

Это далеко не всегда положительные герои, с некоторыми из них автор конфликтует не на шутку. Причины тому есть:

«Ужин был при свечах.

Как две черные, витого воска свечи, в воздухе покачивались еще не зажженные закрученные усы великого мага. Прислоненная к столу трость положила подбородок набалдашника, усыпанный прыщами бриллиантов, на недоеденное золотое крыло фазана «а-ля Романофф» и слушала излияния хозяина.

Хозяин трости, помимо своих живописных занятий, был великим магом. Например, однажды он переставил натурщице нос на место уха, а ухо — на место носа. Затем он устроил выставку татуированных им людей и собирался осуществить поездку через Пиренеи на слоне, подаренном ему для этой цели компанией «Эйр Индия».

Слона он, кажется, предполагал выкрасить в лиловый цвет, натянуть на него лакированные сапожки «а-ля казак» и нарисовать на его ушах портреты своей жены — русской эмигрантки родом не то из Перловки, не то из Мытищ. Одним словом, хозяин трости не давал скучать человечеству, уставшему, по его мнению, от жареных фазанов.

— Я божься коровка, — подмигнул трости, а затем мне великий маг и захихикал, довольный тем, что фраза была произнесена по-русски.

— Это он от скромности. Он не божься коровка — он бог! — с достоинством уточнила его жена, доверительно склоняя ко мне свою всемирно известную шею, на которой скромно висело тысяч двести долларов.

— Картины моего мужа — это духовное эсперанто, — гордо сказала жена. — Гении выше национальности. Ах эта Россия... Я купила туда тур и собиралась провести полгода, но не выдержала двух недель... Эти русские могут быть счастливы, только когда напиваются. <...>

Мой друг — американский профессор, специалист по теории непротивления злу, сжал меня за локоть: «Спокойно, Женя...»

Но я увидел, как его седой ежик угрюмо встопорщился. Профессор не был поклонником коммунизма. Но он любил Россию. И вообще он был человеком.

В этот момент вошла Она.

Она была в индийском сари, черным звездным туманом обволакивающим ее волнистую фигуру русалки. На нефтяных гладких волосах, как лиловая тропическая бабочка, сидела орхидея. Прямой испанский нос был выточен из загорелого мрамора. Невидимого цвета глаза мерцали и шевелились, глубоко запрятанные под черным навесом ресниц. Она села рядом со мной, длинными змеистыми пальцами сняла с фазана веточку укропа, взяла ее в губы и стала медленно вращать ее губами, отчего образовалось маленькое зеленое сияние.

— Да, гений выше национальности, — повторил великий маг. Он любовно и опытно погладил набалдашник трости, как если бы гладил колено женщины, и добавил: — Как, впрочем, и красота. Гений — это то, что выше... Гений — это то, что преодолело. Когда я вижу на улицах лица так называемых «обыкновенных людей», меня воротит, как от пресной овсяной каши. Признаюсь, меня влекут лица на криминальных полосах газет. Только тогда я начинаю верить, что человечество на что-то способно. Убить — это преодолеть. Убить — это быть выше...

Мне нравились некоторые его картины. Сквозь спекуляцию, эпатаж, шарлатанство в них пробивалась магическая мощь. Например, горящие жирафы. Я не понимал, почему и зачем они горели, но это они делали здорово. <...>

— Сам я никого не убил и презираю себя за это. Я не поднялся до уровня хотя бы Раскольникова. Каждый из нас должен угробить свою старуху, — продолжал великий маг, выковыривая зубочисткой волнистое мясо фазана.

Может быть, он разыгрывал меня и по привычке позировал? Для красного словца не пожалеешь и отца?

— Понятие греха существует лишь для посредственностей, — великий маг положил серебряными щипчиками в дымящийся кофе два кусочка пиленого сахара.

— В каждом из вас живет убийца, и не мешать ему — есть проявление величия духа. Неубийство — это трусость, серость. Убийство настолько высоко, что не нуждается в такой мелочи, как моральные оправдания...

— Значит, Гитлер — это тоже высоко? — спросил я, медленно наливаясь кровью. <...>

— А что Гитлер? — сказал великий маг, любуясь четырехугольным очертанием растаявшего сахара и не решаясь разрушить его ложечкой. — В нем был известный размах, даже гениальность. Бездарный человек не смог бы зажать в железный кулак столько миллионов. А его Дахау,

Освенцим? Какая адская грандиозность воображения! Хотя он и предпочитал сладенькую натуралистическую живопись, по природе он был выдающимся сюрреалистом.

Я поднялся и прорычал, не выдержав:

— Сволочь!

И вдруг в разговор вступила Она. Она вынула веточку укропа из губ и легонько шлепнула меня по руке, лениво растягивая слова, как нежится, потягиваясь под солнцем и переливаясь всеми кольцами, анаконда.

— Какой ты нетерпеливый, Эухенио. Мир делится не на доброе и злое, а на красивое и некрасивое...

Я вздрогнул, как будто меня ударили. Я посмотрел на нее и вдруг увидел, что ее лицо стало растекаться и перегибаться, как часы в пустыне. Отклеившиеся искусственные ресницы упали в кофе и медленно покачивались на поверхности, как обугленные лохмотья пиратского флага. Глаза потекли вниз, как тушь из разбитых чернильниц. Нефтяные волосы осыпались, распадаясь на лету, как пепел. Загорелый мрамор кожи сползал, обнажая лобные и лицевые кости, и лишь на черепе трепыхалась лиловая бабочка орхидеи. Ослепительные зубы один за другим падали в кофейное блюдечко с глухим стуком, как игральные костяшки.

Великий маг уже совершил убийство.

— Вы же истинный художник, и как вы, однако, примитивны, — пожал плечами не слишком обидевшийся на «сволочь» великий маг. — Зло и добро — какие детские категории! Я предпочитаю гениальное зло повседневному добру. Красота искупает все. Когда я видел в цветном кино атомный взрыв на атолле Бикини, я был потрясен фантастическими размывами красок этого великолепного гриба. Это гениальная живопись. И какая мне разница, во имя чего она — во имя добра или зла...

Американский профессор тоже поднялся. Его трясущееся лицо совсем не походило в этот момент на лицо специалиста по непротивлению злу.

— Вы, вы... вы фашист.

— Вы думаете, что вы меня оскорбили! — усмехнулся великий маг.

Тогда американский профессор, видимо, вспомнив правила вежливости, преподававшиеся его предками в продымленных салунах Клондайка, плюнул в кофе великого мага.

— Я пил кофе с лимоном, со сливками, с ликером, но еще никогда — с плевками... — задумчиво сказал великий маг. — Может быть, это вкусно? Во всяком случае, надо попробовать.

И великий маг поднес чашечку к губам, отставив мизинец, как попадья на известной картине «Чаепитие в Мытищах», откуда родом была

прославленная кистью мастера подруга его жизни».

Состав евтушенковских героев пестр, но так и задумано: объять необъятное.

В стихах поэмы — масса великолепных метафор, рука опытного мастера, высокое голосовое напряжение.

Нет сегодня в Америке глаз голубых,
под ресницами нации пасмурно.
Все глаза только черные,
ибо в них
черный лик убиенного пастора.

Сам первый импульс — гибель пастора — выводит на тему Христа, и Евтушенко говорит от имени «сына плотника и плотника Иисуса», не вкладывая в тему иного духовного опыта, кроме того, что у него уже был до того. Он придерживается понимания Христа как человека, данного Эрнестом Ренаном в «Жизни Иисуса». Скорее всего, так он должен был выглядеть и в фильме Пазолини.

Его декларации по-прежнему исповедальны, афористичны, полны новой горечи.

Бесплодно я читал морали веку.
Бесплодно он читал морали мне.

.....

На моем тридцать шестом
в шестьдесят восьмом
я в туманище густом,
вязком,
тормозном.

.....

Не ради премий Нобеля
я к людям шел с объятьями.
Мне было надо много ли? —
чтоб люди стали братьями.

.....

Мир — в инквизиторской золе,
и не всемирным братством

сегодня пахнет на земле,
ну а всемирным свинством.
.....
...Спрос на серость, на серость!

В таком случае возникает вопрос: к кому обращается поэт? Это похоже на глас вопиющего в пустыне. Происходил массовый отток романтического читателя, стиховая публицистика повисала в воздухе. Вирус разочарования поразил рыхлеющее поколение.

Поразительной силы стихи, увы, справедливы по установленному диагнозу времени и положению поэта внутри этого времени. Отношения с Галей — часть вселенских катаклизмов:

В этот год разгневанного солнца,
милая, себя ты не гневи,
но в какой тени с тобой спасемся?
Мы срубили даже тень любви.

На спасение этой любви были употреблены все силы души, все возможные способы. Чета Евтушенко усыновила мальчика Петю, взяв его из детдома. Это решение по важности совершаемых поступков было равно написанию стихотворения о танках в Праге. Поэма о Свободе была шагом того же порядка. Может быть, как никакое другое евтушенковское произведение шестидесятых эта вещь стала этапом, означающим конец всей предшествующей эпохи.

Торжествует время серости, посредственности, духовно-нравственный вакуум. Убиенный пастор Мартин Лютер Кинг проповедовал ненасилие — его оппонент, студент-левак, не причастен к этому преступлению, однако требует:

Идею дайте, — хоть одну! —
и я на власть-подлюку
с руками голыми пойду,
на атомную суку!

Это говорит американец? Или кто-то иной? Экстрема — не дело поэта.

Евтушенко — рой голосов, ретранслятор всего, что носится в воздухе. Власть-подлюка реагирует однозначно.

Чуткий и не чужой Аксенов писал ему, изящно иронизируя и заметно смягчая дефиниции:

Вчера прибыл из Казани очарованный тобой мой папа. Много и красочно рассказывал о твоих суровых буднях. Столица орденоносной республики все еще гудит. Все замерло в ожидании. В магазинах появилась колбаса. Между прочим, папа рассказал, что ты в клубе им. Тукая в ответ на вопрос обо мне отметил, наряду с рядом достоинств, и некоторые недостатки, а именно: а) чрезмерное пристрастие к женщинам, б) к алкоголю (меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел), в) непонимание твоей, Евтушенко, роли в отечественной и мировой литературе.

Принимая пункт б), расцениваю а) как лукавство с твоей стороны, а в) как зловредное кокетство.

Ты прекрасно, Женя, знаешь, что я тебя ставлю очень высоко как поэта. Сейчас ты, как поэт, становишься все более и более одиноким. Твоя последняя поэма — это просто отчаянный крик идеалиста, который еще надеется что-то спасти. Понимаешь ли ты, что я хочу этим сказать? Ты обладаешь не только крысиным предчувствием страшного мира, которое есть у многих из нас, но еще и решимостью стоять на том, на чем стоишь. Во имя этого порой и хитришь, и несешь определенные потери, но усиливающееся твое поэтическое одиночество вносит новую ноту — трагическую в твои стихи и поднимает их. Что касается надежды, пусть она и кажется с каждым днем все большему количеству людей смешной, но без нее нам не прожить.

Собственно говоря, мне все понравилось в поэме. О Сальвадоре Дали и бокалах Кеннеди я тебе уже говорил по телефону. Дали-фашист — это слишком крепко; омерзительный снобизм — другое дело. Показался мне затянутым финальный монолог о самой статуе и уж совсем не в жилу — «поэты — монтажники сердца». Отсюда один шаг до инженеров человеческих душ.

Очень здорово про хиппи, атомную суку, доброго дедушку, ресторанчик, наш милый ресторанчик, масса блестящих вещей. Словом, поздравляю тебя и желаю выхода с наименьшими

потерями. Юность — наш родной дом!

<...>

Обнимаю, 20.V.69, твой Вася.

Поэма была мистерией-буфф, парадом костюмов, игрой аллегорий. Автор рассчитывал на сообразительность своей аудитории, собранной за многие годы добросовестным трудом. Некоторая часть интеллигенции небеспочвенно поморщилась. Андрей Тарковский записал в дневнике:

Случайно прочел... Какая бездарь! Оторопь берет. Мещанский Авангард... Жалкий какой-то Женя. Кокетка. В квартире у него все стены завешаны скверными картинами. Буржуй. И очень хочет, чтобы его любили. И Хрущев, и Брежнев, и девушки...

Евтушенко сделал ход, который мало чем по сути своей отличался от пародической самообличительной заметки Аксенова в 1963 году. «Двурушник я, с двойной душой».

Под кожей статуи Свободы гуляли ритмы и мелодии русских неконвенциональных песенок. «Панчо Вилья — это буду я». Гоп со смыком. Автор тайно дурачится. Напоминаем: Панчо Вилья — «генерал свободы», народный герой, мексиканский Чапаев. Блатная песенка «Гоп со смыком — это буду я» была балладой о похождениях веселого вора, грабителя, налетчика. Песня несла и антирелигиозный мотив. О ней существует такое свидетельство: «Песня была полуцензурной. Пока Гоп-со-смыком играл в карты, умирал, попадал на Луну, дрался с чертями, напивался, покупал шкуру (крал бумажники), в том числе у Иуды Искарйота, ее можно было слушать не краснея. Но когда на Луне он встречал Марию Магдалину, начиналось черт знает что». Об этом писал Давид Арманд, советский физико-географ, занимавшийся и вопросами лингвистики. Словом, интеллигенция поет блатные песни. Евтушенко, как всегда, черпает отовсюду.

«Однажды я ахнул, сообразив, что нечаянно смойдодырил у Чуковского его фирменный ритм: «Бамм-Бамм!» — // по хозяевам, рабам, / и всем новым Годуновым, // всем убийцам — / по зубам!» («Под кожей статуи Свободы»).

Но в факте якобы антиамериканской поэмы был двусмысленный этический элемент: можно ли было, выдавая Россию за Америку, костерить эту лже-Америку поверх настоящей Америки, в действительности столь к

нему гостеприимной, в расчете на ее политическую культуру, позволяющую свободу высказывания?

Ему все равно не поверили наверху. Поэмы как не было. 7 июля 1969-го председатель КГБ Андропов докладывал в ЦК:

Особо резонирующим среди общественности явилось провокационное обращение Евтушенко в адрес руководителей партии и правительства по чехословацкому вопросу. Примечательно, что текст обращения буквально через несколько дней оказался за рубежом, был передан радиостанциями Би-би-си, «Голос Америки» и опубликован в газетах «НьюЙорк таймс», «Вашингтон пост» и других. <...> Тенденциозное отношение к развитию событий в ЧССР проявлялось у Евтушенко и ранее. В сентябре 1968 года в разговорах с участниками юбилея Николоза Бараташвили в Тбилиси он критиковал внутреннюю и внешнюю политику СССР, считая ввод союзных войск актом насилия над независимым государством, а наши действия в Чехословакии «недостойными». Прикрываясь рассуждениями о «гражданском долге», Евтушенко искал поддержки своей позиции у представителей грузинской интеллигенции, а несколько позже в Москве, отстаивая ее перед руководителями драматического театра на Малой Бронной, заявлял: «Евгению Евтушенко рот не заткнут! Я буду кричать о том, как поступили с маленькой прекрасной Чехословакией». <...> ...поступки Евтушенко в известной степени инспирируются нашими идеологическими противниками, которые, оценивая его «позицию» по ряду вопросов, в определенных ситуациях пытаются поднять Евтушенко на щит и превратить его в своеобразный пример политической оппозиции в нашей стране. <...> Евтушенко в обход существующих правил устанавливает связи с зарубежными издателями. Об этом, в частности, свидетельствует письмо, направленное им в августе 1968 года в Рим Жерардо Кассини, в котором Евтушенко предлагает издать сборник своих стихотворений. Обращаясь к издателю, он указывает: «Когда книга выйдет в Италии, я могу приехать туда и выступить в больших аудиториях с целью рекламы книги. Италия — единственная страна, где я еще не имею постоянного издателя. Если мы издадим книгу — будем большими друзьями. Сообщите мне о количестве денег, которые я мог бы получить в качестве

аванса».

Поэму удалось обнародовать на литературных высылках — в белорусском журнале «Неман» (1970. № 8) — с предисловием Константина Симонова, заговорившего на том же языке театра масок. Солидный Симонов играет в ту же игру:

Думаю, что при всей условности поэтического письма и при всем своеобразии той прозы, которой от времени до времени Евтушенко прерывает свой поэтический рассказ, в его новом произведении присутствует весьма точное и реальное ощущение пульса жизни в современной Америке, ощущение раздирающих ее противоречий и споров. Во всяком случае, так кажется мне, человеку, только недавно вернувшемуся оттуда, бывавшему там и десять, и двадцать лет тому назад и имеющему возможность сравнивать.

Но здесь появляется настоящий, не метафорический театр: завязалось дело о спектакле «Под кожей статуи Свободы».

Дело было так. В 1969 году Московский театр драмы и комедии обратился в Главное управление культуры исполкома Моссовета с просьбой разрешить ему работать над спектаклем «Под кожей статуи Свободы» Евгения Евтушенко. Главк — не откладывая дело в долгий ящик — порешил: в сценической композиции Е. Евтушенко имеются серьезные идейно-художественные недостатки, в связи с чем Главное управление культуры не поддержало это ходатайство театра.

Однако театр не сложил оружия, последовали определенные шаги, дело приняло затяжной оборот, развернулась во всем блеске эпическая бюрократиада, и мы, дабы не потерять его из виду, так и будем в нашем повествовании поминать *дело о спектакле*.

Придется потерпеть, следя за ходом дела.

БОТФОРТЫ СИРАНО

Остров Даманский, входивший в состав советского Приморья, находился с китайской стороны от главного русла Уссури. Это щепотка земли — площадь около 0,74 квадратных километра. В период паводков остров полностью уходил под воду. Однако на острове были заливные луга. Туда регулярно заходили китайские крестьяне, косили траву и пасли скот. Затем стаи хунвэйбинов стали нападать на пограничные патрули. Счет подобным стычкам шел на тысячи, в каждой из стай собирались сотни человек.

Второго марта 1969 года китайские военные зашли на остров. Произошел бой, погибли люди с обеих сторон. 15 марта это повторилось. Работали танки, БТР, огнеметы и еще секретная установка «Град». Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, ранеными 94 человека. Потери китайской стороны были большими: от 500 до 1500 и даже, по некоторым данным, до 3 тысяч человек.

Евтушенко, написав стихотворение «На красном снегу уссурийском», где изображаются бредовые устремления хунвэйбинов:

И родина наша им снится,
где Пушкин с Шевченко — изъяты,
где в поле растет не пшеница,
а только цитаты, цитаты, —

столкнулся с трудностями непечатания. Под пером Евтушенко речь идет о цитатах из Мао и о том, что в планах этих восточных фанатиков было перевести всю тайгу на рамы для портретов Мао, принудить Майю Плисецкую месить цемент балетными тапочками, а Вознесенского, автора поэмы «Оза», состряпать поэму «Маоза», и все это походило на новое Батыево нашествие, однако чего-то подобного, например, блоковскому подтексту в цикле «На поле Куликовом» (противостояние интеллигенции и народа) там не было: Евтушенко ощущал себя голосом народных масс и не клонил к теме их разрушительных инстинктов. Впрочем, при желании можно было усмотреть здесь агрессивное невежество бюрократического сословия. Может быть, именно этого и опасались редакторы. Либо

побаивались касаться скользких вопросов внешней политики. Так или иначе, оснований для отказа в публикации не было. Ни резонов, ни логики.

Логика вообще не было никакой. Только что, с 10 февраля 1969 года, он стал жильцом высотки на Котельнической набережной, а в марте получил орден «Знак Почета», что само по себе выглядело не слишком логично в свете его поведения, но, видимо, запущенную машину кнута и пряника уже нельзя было остановить. Он обратился к М. Суслову. Спустя неделю стихотворение опубликовали в «Литературке».

Вскоре подоспело очередное писательское собрание. В решении секретариата Союза писателей РСФСР говорилось:

Выступая 31 марта на отчетно-выборном собрании московских писателей по кандидатурам в состав Правления, тов. Евтушенко выступил с отводом кандидатуры Шолохова М. А., выдвигая в противовес этой кандидатуре членов СП, подписавших заявления по делу Синявского и по делу Гинзбурга, Добровольского и др. (чаще всего это были коллективные письма в защиту инакомыслящих. — И. Ф.).

В это время Эльдар Рязанов задумал фильм о Сирано де Бержераке. Евтушенко конца шестидесятых вполне еще вписывался в образ поэта-задиры, каким он виделся режиссеру. Предложение было сделано, Евтушенко пришел в восторг: это то, что надо. На эту же роль попросился Высоцкий, и он тоже подходил и даже прошел кинопробы, но Рязанов заранее предпочел Евтушенко. Тем более что наверху продолжали злиться на этого поэта и придерживали его, где могли. Художническая взаимовыручка — не последнее дело.

Кинопроба обнаружила в Евтушенко единственность выбора: не роستانовский куртуазный романтик, но доведенный до края полубезумен с горящими глазами.

Рязанов вспоминает:

Вообще про Евтушенко ходила тогда такая шутка, что «он обращается с Советской властью методом кнута и пряника». И действительно, резкие, острые, смелые стихи, такие как «Качка», «Наследники Сталина», «Бабий Яр» и другие, порой сменялись конъюнктурными. Однако на сей раз замаливания грехов в виде поэмы «Под кожей статуи Свободы», развенчивающей американскую демократию, не помогали. Государство, а вернее

бюрократия, которая считала себя государством, обиделась на поэта крепко.

Ну, какое-то послабление произошло: в Гослитиздате все-таки вышло евтушенковское избранное — «Идут белые снега». Машина работала.

Рязанов вспоминает:

Женя отменил уже назначенное путешествие по Лене и неистово отдался новой для себя роли. С каким увлечением репетировал он с Людмилой Савельевой, которая должна была играть Роксану! Я помню, как он покраснел от прикосновения женских рук гримера. Такое ощущение для него было внове. С какой страстью отдался он занятиям верховой ездой! Все ему было интересным, свежим, и он вкладывал весь свой азарт в освоение новой профессии. <...> Сразу же от самого факта участия Евтушенко получалась картина не только о судьбе французского стихотворца семнадцатого века, но и рассказ о судьбе нынешнего российского поэта. У меня за стеклом книжного шкафа одно время стояли рядом две фотографии — подлинный де Бержерак и Евтушенко в гриме Сирано. И между этими двумя фотографиями, только от их сопоставления (во всяком случае, в 1969 году!), аллюзионно выстраивался целый ряд крупнейших поэтов, так или иначе загубленных обществом. Байрон, Пушкин, Лермонтов, Гумилёв, Цветаева, Маяковский, Есенин, Пастернак. У фильма в подобной трактовке как бы появлялось второе дыхание, обретался второй смысл, углубляющий содержание. <...> Поддерживать к себе интерес на экране в течение двух часов под силу далеко не каждому даже хорошему артисту. А тут вообще эксперимент — человек, по сути, «из публики». Однако худсовет прошел прекрасно. Несмотря на то что соперниками поэта выступили талантливые, именитые актеры, он их в этом соревновании победил. Именно тем, что не играл, а жил, был предельно натурален. Суть человека сливалась с образом. Евтушенко был утвержден единогласно. Режиссеры, писатели, редакторы горячо одобрили кандидатуру поэта.

Отснявшись на пробах, Евтушенко отбыл в сибирскую экспедицию. «Однажды вечером, когда мы заострились в лесистом ущелье, над нами

появился военный вертолет. Ему негде было приземлиться, и рука летчика выбросила из окна консервную банку. В ней была телеграмма: «Поздравляю. Худсовет студии единогласно утвердил вас на роль Сирано. Немедленно вылетайте для уроков фехтования и верховой езды. Ваш Рязанов».

Рязанов вспоминает:

Казалось, что в съемочной группе все было хорошо. Мы вовсю готовились к съемкам. Работы велись полным ходом. Партнеры Евтушенко в фильме были утверждены. У Л. Савельевой получилась хорошая проба на роль Роксаны. А. Ширвиндт собирался исполнить роль графа де Гиша. Е. Киндинов должен был играть счастливого соперника Сирано Кристиана де Невильета. А В. Гафт намеревался выступить в роли капитана гвардейцев-гасконцев.

Места для натуральных съемок мы выбрали в Таллине и Львове. Красочные эскизы декораций были нарисованы талантливым Николаем Двигубским и спланированы архитектурно. Вовсю шились костюмы семнадцатого века — картина предстояла дорогостоящая. Обувщики тачали сапоги с ботфортами на всю гвардейскую рать. В механическом цехе изготавливались секиры, алебарды, аркебузы, пушки, мортиры, приобретались старинные пистолеты. Состоялась договоренность, что часть конных войск после съемок «Ватерлоо» в Мукачеве будет переброшена во Львов, куда приедет в экспедицию наша группа. Композитор Андрей Петров уже написал марш на слова «Дорогу гвардейцам-гасконцам». В гримерном цехе выполняли сложный заказ нашего съемочного коллектива — делали нос Сирано. Евтушенко не вылезал из конного манежа, где учился верховой езде, приступил к занятиям по фехтованию и зубрил роль наизусть. Мы на всех парах приближались к съемкам. Шел июль 1969 года. И вдруг!..

И вдруг Рязанова просит к себе гендиректор «Мосфильма» В. Сурин, зачитывая телефонограмму от замминистра кинематографии В. Баскакова: «Работа над фильмом «Сирано де Бержерак» с Евтушенко в главной роли невозможна. В случае замены исполнителя главной роли на любого другого актера производство можно продолжать. Если же режиссер будет упорствовать в своем желании снимать Евтушенко, фильм будет закрыт».

Компромисс был возможен: в Сирано себя видели Олег Ефремов,

Игорь Кваша, Андрей Миронов, Сергей Юрский, но Рязанов упорствовал, работа по фильму шла своим ходом, было истрачено уже 200 тысяч рублей, Евтушенко и сам попытался остановить Рязанова, но тот сказал:

— Старина, дело тут не в политике и не в том, что я хочу выглядеть шибко порядочным. Я поступаю так потому, что сейчас не вижу в этом фильме никого другого.

Баскаков закрыл проект.

Оба они — Рязанов и Евтушенко — пишут по отдельному письму М. Суслову.

История с нашими письмами, обращенными к Победоносцеву наших дней (помните «Победоносцев над Россией простер совиные крыла»), то бишь Суслову, кончилась плачевно. Знаю ее со слов Евтушенко, который, в свою очередь, знал ее со слов сусловского референта. Помощник вроде бы выждал благоприятный момент и с вечера положил на письменный стол Михаила Андреевича наши письма.

Однако утром, по рассказу референта, поверх наших посланий легло экстренное сообщение, что писатель Анатолий Кузнецов, поехавший в Англию под предлогом сбора материалов о Ленине для своей новой книги, попросил там политического убежища. Это раздражило Суслова, и он недовольно отбросил наши письма, пробормотав какую-то нелестную фразу о писателях. Вот и все.

У Евтушенко остался на память трофей от проигранной битвы — продукция обувщиков киностудии «Мосфильм»: ботфорты Сирано де Бержерака 48-го размера.

Прощай, Сирано!
В павильоне все лампы погашены,
и только ботфорты твои,
как насмешка, остались в багажнике.

.....
Посылка! Но шпага увязла опять
в субстанции слишком пахучей.
Не слишком приятно всю жизнь фехтовать
с навозною кучей.

(«Прощание с Сирано»)

В мае, незадолго до английского конфуза с Кузнецовым, Евтушенко и Аксенова попросили из редколлегии «Юности». Де есть нужда в обновлении, и Анатолий Кузнецов как раз та фигура, которая обновит. Августовского Коктебеля им не простили.

Попутно говоря, одновременно с Кузнецовым в редколлегию ввели и Роберта Рождественского. Вакансия поэта не опустела.

После прозвучавшей повести «Продолжение легенды» и прогремевшего романа «Бабий Яр» Кузнецов вошел в фавор. Между евтушенковским стихотворением и кузнецовским романом была не только связь, но и определенная конкуренция.

Знакомы они были давно: Евтушенко, будучи студентом Литинститута, был на практике в Каховке, где в 1950-х шло строительство Каховской ГЭС, и в местной многотиражке познакомился с молодым журналистом Анатолием Кузнецовым, тот рассказал ему о Бабьем Яре, а знал он много, потому что жил неподалеку, на Куреневке, и был свидетелем того, как через десять дней после захвата Киева людей вели на смерть. Толе было двенадцать, он все хорошо запомнил и записал тогда же в тетрадку. Потом Кузнецов поступил в Литинститут, они сблизились. Они вместе стояли над крутым обрывом, Кузнецов показывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и не поставили. «Над Бабьим Яром памятников нет...» — пробормотал Евтушенко: так началось стихотворение.

Их пути пересеклись и в Сибири. «Продолжение легенды» Кузнецов вывез с Иркутской ГЭС, Евтушенко воздвиг «Братскую ГЭС» на фундаменте своего сибирского детства, подобно тому как «Бабий Яр» Кузнецова во многом основывался на детстве автора. Литература есть состязание.

В июле Кузнецов выехал в Лондон по командировке родного журнала, заявив шедевр на ленинскую тему — или что-то про Энгельса — навстречу столетнему юбилею вождя. 30-го числа он, придя в МИД Великобритании, попросил убежища.

Третий его романа была отхвачена цензурой, ничего хорошего он не ждал и от очередного, уже пишущегося сочинения под названием «Огонь», заведомо халтурного. Кузнецов жил тогда в Туле, не выходя из дому, где были наглухо задвинуты шторы, за которыми зоркая общественность различала голых вакханок. Заветные тексты он консервировал в банки из-под варенья, закапывая в лесу. Их фотокопии он увез с собой зашитыми в

подкладку.

С октября 1968-го он состоял сексотом органов, стуча на Евтушенко, Аксенова, Анатолия Гладилина, Олега Ефремова и прочих. Это было тактической уловкой, поскольку замыслил он побег.

Ротация в редколлегии «Юности» кончилась тем, чем она кончилась. Евтушенко полагал, что Кузнецов до побега претерпел умственное повреждение в результате издевательств над его романом, — на сексуальной почве. В Лондоне он первым делом отправился в паре с соотечественником (из органов) в ночной клуб и при повторном посещении заведения сбежал от товарища через окошко туалета.

Полный вариант романа «Бабий Яр» вышел в издательстве «Посев» (1970). Особой писательской плодовитости Кузнецов на Западе не явил. Он штатно фигурировал на радио «Свобода» и печатался под именем А. Анатоль, начисто порвав с прошлым вплоть до прежнего имени. Ровно через десять лет после побега прошел ложный слух о том, что он погиб в ДТП. Нет, он умер от разрыва сердца, готовя кофе на домашней кухне в Лондоне.

Отношение Евтушенко к этой разбитой жизни было неоднородным. «Но я ему все равно благодарен на всю мою жизнь за то, что он привел меня к Бабьему Яру».

Счет потерь неумолимо рос.

В августе 1969 года угас Марк Бернес. Песню «Хотят ли русские войны» пели Краснознаменный ансамбль им. Александрова, а также лучшие советские певцы — Георг Отс, Юрий Гуляев, Артур Эйзен, Муслим Магомаев. Но слух народа выделил и запомнил бернесовское исполнение. Это было логично, ибо логос не чужд мелосу. Это ведь Бернес, не приняв первоначальную мелодию Колмановского на евтушенковские стихи, настоял на появлении второго варианта, и он оказался тем самым, бернесовским. Лучшие басы и баритоны пели, по сути, «под Бернеса», никакого не певца.

Двадцать восьмого октября скончался Корней Иванович Чуковский. Их связывало многое. Феноменальность свидетельского дара Чуковского охватила и это новое переделкинское соседство. Евтушенко получил дачу на улице Гоголя, 1. В общем-то, это недалеко от дачи Чуковского на Серафимовича, 3. Чуковский записал некоторые страницы евтушенковской жизни подробней и внимательней, чем сам Евтушенко, свой лучший биограф, у которого сказано:

«Мой первый сын Петя долго, около полутора лет, почти не разговаривал. Придя в отчаянье, я решил попросить помощи у Корнея

Ивановича Чуковского — автора классической книги о языковой психологии раннего детства, хотя именуется она вовсе не так учено: «От двух до пяти».

Корней Иванович не отказал и вскоре прибыл ко мне в гости в старомодном башлыке времен Первой мировой войны, в овчинной, чуть ли не ямщицкой шубе и валенках. В руках у него была картонная коробка, внутри которой оказалась английская игрушка внуков — небольшой локомотив на батарейках, добросовестно выпускающий черный дым из трубы. Чуковский удалился с Петей в отдельную комнату, а примерно через час появился и ласково спросил:

— Петя, расскажи папе, почему ты так долго не разговаривал?

Петя потупился и выдавил, к моему ошеломлению:

— А потому что я стеснялся...

После смерти Корнея Ивановича, перелистывая двухтомник его дневников, я неожиданно нашел вот это:

«Я лежал больной в Переделкине и очень тосковал, не видя ни одного ребенка. И вдруг пришел милый Евтушенко и привез ко мне в колясочке своего Петю. И когда он ушел, я состряпал такие стихи:

Бывают на свете
Хорошие дети,
Но вряд ли найдутся на нашей планете
Такие, кто был бы прелестнее Пети,
Смешного, глазастого, милого Пети.
Я, жалкий обломок минувших столетий,
Изведавший смерти жестокие сети,
Уже в ледящей барахтался Лете,
Когда сумасшедший и радостный ветер
Ворвался в мой дом и поведал о Пете,
Который, прибыв в золоченой карете,
Мне вдруг возвестил, что на свете есть дети,
Бессмертно веселые, светлые дети.
И вот я напруг стариковские силы
И вырвался прочь из постылой могилы... <...>».

Что же осталось там, за этими таинственными скобками, а?»

Ничего своего лирик не прячет, у лирики нет таких скобок. Редкостной изобразительности евтушенковского «Серебряного бора» — возможно,

лучшего стихотворения 1969 года — соответствует новизна самого стиха, в котором Евтушенко, кажется, впервые перемежает зарифмованное с безрифменным, впуская в свой арсенал белый пятистопный ямб от Пушкина до Луговского. Его «Серебряный бор» столь же распахнут, сколь высок, как стихи.

И все-таки решившийся на все,
кричу тебе: «Любимая, неужто
семья — лишь соучастие в убийстве
любви?
Возможно, так бывает часто,
но разве это все-таки закон?
Взгляни — пушистый, словно одуванчик,
смеется наш белоголовый мальчик —
я не хочу, чтоб в это верил он!..»

Сумасшедший и радостный ветер — таким был Евтушенко в глазах замечательного старика. Собственно, о нем Чуковский стал размышлять задолго до того.

Того еще не было в проекте.

Корней Чуковский, 1920-й, статья «Ахматова и Маяковский»:

Наша эпоха революций и войн приучила нас к таким огромным цифрам, что было бы странно, если бы поэты, отражающие нашу эпоху, не восприняли и не ввели в обиход тех тысяч, миллионов, миллиардов, которыми ныне явственно орудует жизнь. Со всех концов на арену истории, вызванные войною, вышли такие несметные полчища людей, вещей, событий, слов, денег, смертей, биографий, что понадобилась новая, совсем другая арифметика, небывалые доселе масштабы. Не потому ли Маяковский поэт грандиозностей, что он так органически чувствует мировую толпу, чувствует эти тысячи народов, закопошившиеся на нашей планете, пишет о них постоянно, постоянно обращается к ним, ни на минуту не забывает о их бытии... <...>

Ахматова в своих стихах не декламирует. Она просто говорит, еле слышно, безо всяких жестов и поз. Или молится — почти про себя. В той лучезарно-ясной атмосфере, которую

создают ее книги, всякая декламация показалась бы неестественной фальшью. Признаюсь, что меня больно укололи два ее александрийские стиха, столь чуждые всему ее творчеству:

Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так ангел смерти ждет у рокового ложа.

Мне показалось, что Ахматова изменила себе, что эти парижские интонации и жесты она, в своем тверском уединении, могла бы предоставить другим.

Я потому заговорил об этих строках, что они у нее исключение. Вообще же ее книгу («Белая стая». — И. Ф.) нужно читать уединенно и тихо: от публичности она много теряет. А в Маяковском каждый вершок — декламатор. Всякое его стихотворение для эстрады. У прежних писателей были читатели, а Маяковский, когда сочиняет стихи, воображает себя перед огромными толпами слушателей. По самому своему складу его стихи суть взывания к толпе... <...>

Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий. Если из русского прошлого могла возникнуть поэзия Ахматовой, значит, оно живо и сейчас, значит, лучшее, духовнейшее в нем сохранилось для искусства незыблемо. Не все же в маяковщине хаос и тьма. Там есть свои боли, молитвы и правды. Этот синтез давно предугадан историей, и чем скорее он осуществится, тем лучше. Вся Россия стосковалась по нем. Порознь этим стихиям уже не быть, они неудержимо стремятся к слиянию. Далее они могут существовать только слившись, иначе каждая из них неизбежно погибнет.

Судя по всему, старик Чуковский полагал, что Евтушенко и есть этот синтез. Однако волнует его больше то, что актуально, то есть маяковская часть Евтушенко. Возможность листовок для тюрем.

Евтушенко верен Маяковскому, но пространство его приоритетов определенно расширяется. У него есть беспощадное во многом рассуждение о парадоксе поэта в чистом виде: «Я часто спрашиваю себя — почему именно Мандельштам, совершенно не политический поэт, стал первым, написавшим стихотворение о Сталине, подобное персту, указующему на убийцу, прячущегося под добродушной улыбкой отца

нации? Потому, может быть, что Мандельштам был только поэтом и никем больше, то есть незащищенным не только от внешнего мира, но и от собственных неудержимых, самых рискованных порывов. Мандельштам не был застрахован ни надменным аристократизмом Ахматовой, ни кокетливой аристократичностью Пастернака. Пастернак играл в ребенка. Мандельштам был им».

Я тоже потерял в себе ребенка.
Не омрачайся, чудо соверши,
поэзия моя — моя клеенка,
дитя базара и дитя души!

(«В той комнате»)

Так что́ — Мандельштам? В нем исток и сходство? Евтушенко говорит без ложной скромности: «Поэт, который когда-то первым сказал, что Сталин убийца, — погиб в Сибири. Поэт, который первым через тридцать лет снова сказал, что Сталин убийца, — родился в Сибири».

Памяти Чуковского он пишет «Паруса».

Вот лежит перед морем девочка.
Рядом книга. На буквах песок.
А страничка под пальцем не держится —
трепыхается, как парусок.

Море сдержанно камни ворочает,
их до берега не докатив.
Я надеюсь, что книга хорошая —
не какой-нибудь там детектив.

Я не вижу той книги названия —
ее край сердоликом прижат,
но ведь автор — мой брат по призванию
и, быть может, умерший мой брат.

И когда умирают писатели —
не торговцы словами с лотка, —
как ты чашу утрат ни подсахари,

эта чаша не станет сладка.

Но испей эту чашу, готовую
быть решающей чашей весов,
в том сражение за души, которые,
может, только и ждут парусов.

Не люблю я красивых надрывностей.
Причитать возле смерти не след.
Но из множества несправедливостей
наибольшая — все-таки смерть.

Я платочка к глазам не прикладываю,
боль проглатываю свою,
если снова с повязкой проклятою
в карауле почетном стою.

С каждой смертью все меньше мы молоды,
сколько горьких утрат наяву
канцелярской булавкой приколото
прямо к коже, а не к рукаву.

Наше дело, как парус, тоненько
бьется, дышит и дарит свет,
но ни Яшина, ни Паустовского,
ни Михал Аркадьича нет.

И — Чуковский... О, лучше бы издали
поклониться, но рядом я встал.
О как вдруг на лице его выступило
то, что был он немислимо стар.

Но он юно, изящно и весело
фехтовал до конца своих дней,
Айболит нашей русской словесности,
с бармалействующими в ней.

Было легкое в нем, чуть богемное,
но достойнее быть озорным,

даже легким, но добрым гением,
чем заносчивым гением злым.

И у гроба Корнея Ивановича
я увидел — вверху над толпой
он с огромного фото невянуще
улыбался над мертвым собой.

Сдвинув кепочку, как ему хочется,
улыбался он миру всему
и всему благородному обществу,
и немножко себе самому.

Будет столько меняться и рушиться,
будут новые голоса,
но словесность великая русская
никогда не свернет паруса.

...Даже смерть от тебя отступается,
если кто-то из добрых людей
в добрый путь отплывает под парусом
хоть какой-то странички твоей...

Здесь и общая с Чуковским привязанность к Некрасову, и воспоминание о «Курином боге», и тот самый идеализм, из которого, может быть, рождаются тексты листовок.

В шестидесятых в пионерском журнале «Костер» — у Льва Лосева, работавшего там, — Бродский напечатал свой перевод песни битлов «Yellow Submarine» — «Желтая подлодка».

В нашем славном городке
Жил один моряк седой.
Он бывал в таких местах,
Где живут все под водой.

И немедленно туда
Мы поплыли за звездой
И в подводной лодке там

Поселились под водой.

2 раза: Есть подлодка желтая у нас,
желтая у нас,
желтая у нас.

Мы живем внутри воды.
Нет ни в чем у нас нужды.
Синь небес и сильный зной
Подружились с желтизной.

Между прочим, это чуть ли не единственное стиховое пересечение Бродского с Евтушенко: с его «Балладой о пятом битле» (2007).

В желтой субмарине,
в желтой субмарине
четверо мальчишек-англичан
флотский суп варили,
черт-те что творили,
подливая в миски океан.

В общем, шло неглупо
сотворенье супа
из кипящих музыкальных нот,
и летели чайками
лифчики отчаянно,
и бросались трусики в полет.

Рык ракет был в роке.
Битлы всей Европе
доказали то, что рок — пророк.
Спицы взяв и шпульки,
мамы-ливерпульки
свитера вязали им под рок.

Ринго Старр, Джон Леннон
чуть не на коленях
умоляли зал: «Be kind to us!

Нам не надо столько
воплей и восторга.
Мамы так хотят послушать нас!»

Но ливерпульчата
словом непечатным
не посмели обижать людей.
Если уж ты идол,
то терпи под игом
обо-жа-те-лей!

А одна девчонка —
битловская челка,
от стихов моих сходя с ума,
начитавшись вволю,
подарила Полю
по-английски «Станцию Зима».

Стал искать Маккартни
на всемирной карте
станцию мою карандашом,
где я уродился,
как в тайге редиска,
и купался в речке нагишом.

Вот мне что обидно —
вроде пятым битлом
по гастролям с ними ездил я,
да вот не успели —
вместе мы не спели!
Но сегодня очередь моя!

Я во время оно
обнял Йоко Оно
над могилой Джона
в Сентрал-парке в городе НьюЙорк.
Носом субмарина
к Джону ход прорыла
и прижалась, чуть скуля, у ног.

Ангелы не скажут,
где сегодня вяжут
мамы, вновь над спицами склонясь.
Им важнее, право,
дети, а не слава.
Мама так хотят послушать нас!

Знают наши мамы:
все могилы — шрамы
нашей общей матери-земли.
В желтой субмарине,
в желтой субмарине,
в желтой субмарине
с битлами друг друга мы нашли!

Что общего между этими двумя вещами? Детство, если не детскость. Но не только. Евтушенко, естественно, притянул одеяло к себе и к своей теме шрамов матери-земли, но и Бродский высказался по-своему, а точнее, как ни странно, — по-евтушенковски: с подтекстом. Он сделал упор на желтизне, переводя стрелки на метафору существования своего поколения то ли внутри бульварщины определенного толка, то ли в прорве азиатчины. Возможно, есть тут и намек на еврейство: у Бродского ведь тогда было и стихотворение «Песенка о Феде Добровольском»:

Желтый ветер маньчжурский,
говорящий высоко
о евреях и русских,
закопанных в сопку.
.....
И глядит на Восток,
закрываясь от ветра,
черно-белый цветок
двадцатого века.

Не исключено, что сами битлы под желтой субмариной подразумевали дзен-буддизм, отключение от суетного мира, уход в нирвану. Тем более что

именно тогда Леннон произнес скандальную фразу: «Мы более популярны, чем Христос». Где-то рядом и версия о том, что желтая подложка — психотропные таблетки желтого цвета.

Такова детская песенка, ее бесконечные круги по воде. Евтушенко исполняет эту вещь под фонограмму битлов, призывая зал подпевать ему в рефрене между строфами:

— В желтой субмарине, в желтой субмарине!..

Зал поет. И с удовольствием.

Не будет натяжкой и в этом случае вспомнить Ахматову:

Он наделен каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
И он ее со всеми разделил.

Ахматова говорит о Пастернаке.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Дело о спектакле

Оно идет своим ходом. Воспроизводим одну из справок Московского горкома КПСС.

В начале 1970 года театр Драмы и комедии вновь обратился в Главное управление культуры с просьбой включить в репертуар пьесу Е. Евтушенко «Под кожей статуи Свободы». Однако и на этот раз Главк не счел возможным удовлетворить ее, так как литературный материал по-прежнему не отвечал необходимым идейно-эстетическим требованиям. В связи с этим главный режиссер театра Драмы и комедии Ю. Любимов обратился в Министерство культуры СССР (т. Воронков К. В.). Письмом на имя т. Дупака Н. Л. (директор театра) и Любимова Ю. П. министерство разрешило театру в виде эксперимента (как об этом просил т. Любимов Ю. П.) начать работу над этим спектаклем, с последующим представлением окончательного сценического варианта пьесы в Главное управление культуры исполкома Моссовета и Управление театров Министерства культуры СССР.

Копия этого письма была направлена начальнику Главного управления культуры Моссовета т. Покаржевскому Б. В.

6 июня с. г. театр Драмы и комедии пригласил на одну из репетиций этого спектакля представителей Министерства культуры СССР и Главного управления культуры исполкома Моссовета (товарищей Воронкова К. В., Голдобина В. Я., Покаржевского Б. В., Шкодина М. С. и др.). После репетиции состоялся обмен мнениями. Присутствующими было отмечено, что автор композиции и театр провели определенную работу по совершенствованию текста пьесы и сценическому решению. В результате в настоящее время большая часть спектакля имеет антиимпериалистическую направленность.

Вместе с тем в этой работе театра были отмечены и серьезные недостатки. В частности, было указано на необходимость более четкой классовой оценки изображаемых событий и явлений.

Автору композиции и театру было рекомендовано устранить ряд двусмысленных отрывков и эпизодов, в которых имело место смещение идейных акцентов в сторону пропаганды «общечеловеческих ценностей». Предложено также исключить из текста литературной композиции «Карликовые березы».

Как показал просмотр этого спектакля, состоявшийся 9 июня с. г., ряд пожеланий автором и театром были выполнены, что отмечалось присутствующими на просмотре. В то же время авторам спектакля вновь было высказано пожелание о необходимости дальнейшей доработки и уточнения идейных позиций спектакля.

12 июня с. г. состоялся просмотр спектакля с участием партийного актива Ждановского р-на столицы. Принять спектакль как законченную работу Главное управление культуры исполкома Моссовета все же не сочло возможным, так как целый ряд замечаний и пожеланий остались невыполненными. Театру было отказано также в просьбе включить спектакль в гастрольный репертуар и показать его в Ленинграде.

Театр предполагает продолжить работу над этим спектаклем в новом театральном сезоне. Руководство театра и автор пьесы поставлены в известность, что спектакль будет принят только при условии полного выполнения всех критических замечаний, которые были высказаны на просмотрах спектакля.

Навстречу 100-летию Ленина народ поет шлягер «Хмуриться не надо, Лада» с рефреном «Нам столетья не преграда» (о, бодренький Эдуард Хиль):

— Нам столетье не преграда!

Свежий анекдот. Московский Второй часовой завод выпустил часы-кукушку, на которых из окошка каждый час выскакивает на броневишке Ильич с указующей ручкой и поет:

— Ку-ку!

В такой обстановке Евтушенко пишет «Казанский университет». Он опять дразнит гусей, балансирует на грани, ходит по краю.

Из семнадцати глав только в пяти мельком проскакивает или упоминается великий юбилей. Эпиграф: ««Задача состоит в том, чтобы учиться». В. И. Ленин». Кто против? Второй эпиграф: ««Русскому народу образование не нужно, ибо оно научает логически мыслить». К. Победоносцев».

Надо ли было огород городить?

Поэма? Собрание пестрых глав. Роман в стихах? Скорее — книга про интеллигенцию (= книга про бойца Твардовского).

Интеллигенция не морщится, потому как другого выражения лица у нее уже нет.

В некотором роде на какое-то время Евтушенко стал университетским поэтом. На самом деле нет ничего более чуждого евтушенковскому пониманию поэта, каковой, как известно, в России больше, чем поэт.

Еще в 1958-м он засвидетельствовал: интеллигенция поет блатные песни. Годом раньше и вовсе так («Интеллигенты, мы помногу...»):

Мы веселимся нервно, скупю.
Меж нас царит угрюмый торг,
царит бессмысленная скука
или двусмысленный восторг.

Он предпочитает простых людей:

Свободны, а не половинны
и выше ссор или невзгод
их свадьбы или именины
и складчина на Новый год.

Ну а, например, Вознесенский в шестидесятых, напротив, поет ей дифирамб:

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Уж не говоря о «Лонжюмо» Вознесенского — поэме о Ленине.

Но спору — нет. Поэты сходятся на аналогичном истолковании исторической роли интеллигенции, включая ее продукт — литературу, и оба они недалеко от веховского (сборник «Вехи», 1909) хода мысли. Но у веховцев тут стоит минус, у советских поэтов плюс с восклицательным

знаком.

Поэмой о Свободе Евтушенко отметил свои 36, неумолимо надвигаются 37 (фактически он уже прошел их), пушкинский возраст, но ему заранее мерещатся блоковские 40. Дело не в арифметике, хотя и в ней немножечко тоже. Маневр с якобы антиамериканской поэмой вышел боком, бьют с обеих сторон. Оксфордский удар — самый болевой.

А в родных пределах? Вот сценка. Спускается навстречу ему по цэдээловской лестнице молодежная компания, среди них Горбаневская. Ни поклона, ни кивка, вызывающий взгляд, исполненный презрения, руки демонстративно заложены за спину.

Он писал в ее защиту, ходил в кабинеты. Он сформулировал в стихах то, что она осуществила физически, за что пострадала. Много позже она выскажется, что ей «вообще вся деятельность Евтушенко малосимпатична».

Диссиденты. Он в общем и целом разделяет их тревоги, уже не раз вступался за пострадавших, он не принимает форм их борьбы. То есть он не примеряет эти формы на себя. Зачем ему, например, мысль об эмиграции? Отъезды вот-вот пойдут валом. Количество отказников становится критической массой.

Когда Горбаневская еще томила в психушке, к нему приходила ее мать, просила о помощи. Он написал Андропову и, улетев в Австралию, на первом же выступлении в Канберре обнаружил, что на спинке каждого стула лежит листовка с душераздирающим описанием того, как Евтушенко выгнал рыдающую от горя старуху на мороз. Не успел вернуться — звонок из КГБ: согласно вашему письму на имя председателя комитета диссидентка такая-то освобождена из психбольницы. Но все это не считается. Вернее, это воспринимается диссидентами как игра с той, враждебной стороны, как соучастие в их изничтожении. Кое-кто определил его в нерукопожатные. Он ответил:

Вам, кто руки не подал Блоку,
затеяв пакостную склоку
вокруг «Двенадцати», вокруг
певца, презревшего наветы, —
вам не отмыть уже навеки
от нерукопожатья — рук.

.....

Художник, в час великой пробы
не опустись до мелкой злобы,

не стань Отечеству чужой.
Да, эмиграция есть драма,
но в жизни нет срамнее срама,
чем эмигрировать душой.

.....
Поэт — политик поневоле.
Он тот, кто руку подал боли,
он тот, кто понял голос голи,
вложив его в свои уста,
и там, где огонь гудит, развихрясь,
где стольким видится Антихрист,
он видит все-таки Христа.

.....
Эй вы, замкнувшиеся глухо,
скопцы и эмигранты духа,
мне — вашим страхам вопреки —
возмездья блоковские снятся...
Когда я напишу «Двенадцать»,
не подавайте мне руки!

(«Вам, кто руки не подал Блоку»)

Позиция обозначена четко: он на стороне «великой пробы». Он — «политик поневоле». Обманные маневры неизбежны, но дело все-таки в «великой пробе», то есть в октябре 1917 года. Неистовый антисталинизм в нем уживается с Великим Октябрем, Ленин не антигерой, XX съезд благотворен, Хрущев черно-бел, но выпустил из тюрьмы полнарода. Поэт на стороне революции, тогда как диссидентство неуклонно идет к ее бескомпромиссному отрицанию.

Так что позиция по «чехословацкому вопросу» у него с ними одна, но если глубже — коренное несогласие, дело пахнет разными сторонами баррикады.

Дистанцируясь от диссидентов, действует Солженицын. Еще в мае 1967 года он разослал «Письмо съезду», то есть IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей:

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная,
нигде публично не называемая, цензура под затуманенным

именем Главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных. За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным. Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется на свет в искаженном виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархистствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова,

неотвратно стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или нескоро, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

Они любить умеют только мертвых!

Интеллигенция взволновалась.

«В первую очередь «пражскую весну» подогрело известное письмо Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писателей, которое прочитали и в Чехословакии». В. П. Лукин, автор этих слов, в те дни находился в Праге.

Тогда же Солженицын пустил в самиздат романы «В круге первом» и «Раковый корпус», и на Западе они вышли, хотя и без его разрешения, но советская пропаганда начала яростную кампанию против него. Солженицына выгнали из Союза писателей. Кампания усилилась, когда его выдвинули на Нобелевскую премию. Американец Дин Рид, певец, актер, красавец и диссидент по-американски, был подключен к делу: отложив гитару, написал открытое письмо Солженицыну с осуждением его деятельности.

Евтушенко всецело на стороне Солженицына. Он мечет стрелы по адресу цензуры, сперва только якобы испанской, а в «Казанском университете» и отечественной, якобы прошловековой.

Евтушенко слушает голос голи. Что это — голос голи? В евтушенковском истолковании это молодой Пушкин, сказавший:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Голь осуществила «великую пробу». Инотолкования нет и быть не может. Требуется всерьез сказать об этом. Так возникает «Казанский университет».

Поэма уже подходит к горлу, переполненному предельной болью, предпоэмой, если не предсмертной, в форме веселого приглашения: «Приходите ко мне на могилу».

Я останусь не только стихами.
Золотая загадка моя
в том, что землю любил потрохами
и земля полюбила меня.

.....

Мне совсем умереть не под силу.
Некрологи и траур — брехня.
Приходите ко мне на могилу,
на могилу, где нету меня.

Зачин «Казанского университета» напрямую повторяет пастернаковского «Спекторского», где сказано от первого лица о рождении сына, бедственном положении семьи, и в связи с этим:

Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Евтушенко:

Казань — пекарня душная умов.
Когда Казань взяла меня за жабры,
я, задыхаясь, дергался зажато
между томов, подшивок и домов.

Читал в спецзалах, полных картотек,
лицо усмешкой горькой исковеркав,
доносы девятнадцатого века
на идолов твоих, двадцатый век.

То есть, как видим, при похожем старте контуры финиша и условия дистанции были другими. Тем не менее Евтушенко встает за спину

пастернаковского авторитета, начиная поэму именно так, берет предшественника в единомышленники. Это рассчитано на знающих людей, прямо говоря — на интеллигенцию, причем читающую стихи.

Пастернаковская лениниана, если спрямлять, состояла из первоначального восхищения явлением Ленина и заключительного предостережения, больше похожего на горько-сухую констатацию факта («Высокая болезнь»):

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Евтушенко дает по необходимости беглые портреты тех деятелей российского просвещения, которые тематически связаны волжским университетом — от попечителя Казанского округа Магницкого до Ильи Ульянова с его сыновьями. Это намерение написать такую предысторию революции, из которой вытекает ее необходимость, неизбежность и справедливое начало.

Но Евтушенко не был бы Евтушенко, кабы не использовал на материале библиотечных изысканий возможность остро поговорить о настоящем. На самом деле он подтягивает узnanное им к целям своей проповеди.

Его историческая интеллигенция действует не в отрыве от жизни простонародья и вообще российской действительности конца XIX века, над которой развернуты совиные крыла Победоносцева, — таким образом, и Блок взят в союзники.

Как это написано? Поспешно и блестяще.

Хвала террору («наивному»). Относительно Медного всадника, олицетворяющего государство:

Не раз этот конь
окровавил копыта,
но так же несыто
он скачет во тьму.
Его под уздцы не сдержать!
Динамита
в проклятое медное брюхо ему!

Характеристика революции:

И призрак Страшного суда
всем палачам расплата,
и революция всегда
по сути — месть за брата.

Открытым текстом — возмущение изгнанием Твардовского из «Нового мира» через показ закрытия «Отечественных записок» и фигуры Салтыкова-Щедрина. Евтушенко и себя не щадит, попутно дав определение времени:

Ау, либералы!
Так бойко выпендривались
и так растерялись вы,
судари?
Какая сегодня погода в империи?
Гражданские сумерки.

Животрепещуще и сплеча.

Это та же «Под кожей статуи Свободы» с той разницей, что евтушенковское понимание исторической России насквозь литературно. Это по преимуществу марксистско-ленинское понимание России с привлечением Плеханова как предтечи. Народовольцы и первые русские марксисты — в свете их жертвенности.

Вопрос веры замыкается в имени Вера Фигнер. Попы отвратительны, продажны и пьяны.

Наработанное в «Братской ГЭС» — «Ярмарка в Симбирске», «Казнь Стеньки Разина» — искусство живописи убедительно продемонстрировано вновь на картинах русского разгула, размаха, исступленного празднества на грани распада — главки «Пасха», «Суббота». Лучшие умы спиваются и бесследно погибают в Сибири (Шапов, полубурят, почти земляк). Обсерваторский дед-истопник, обогревая помещение, в котором Илья Ульянов занимается метеосводками, рассуждает в таких категориях, побряхтывая:

Хитро оттепель-паскуда

обманула нас вчерась.
Грязь прокиснувшая —
худо.
Хуже — если смерзлась грязь.

Сей дед — ипостась автора, как и Лесгафт, включенный в некий диалог с тем же самым автором, то есть говорящий с самим собой:

Наследники Пушкина, Герцена,
мы — завязь.
Мы вырастим плод.
Понятие «интеллигенция»
сольется с понятием «народ»...

В СССР все говорили на профессиональном жаргоне в зависимости от рода занятий. Партийная феня насаждалась повсеместно и отовсюду. Интеллигенция предпочитала феню полублатную. Поэтическая корпорация, аккумулируя разговорную речь интеллигенции, изъяснялась языком прозрачного иносказания, совершенно понятного цензуре, вовлеченной в эту почти филологическую карусель.

Наверно, оттого, что ни Пастернак, ни Блок не учились в Казанском университете, Евтушенко пишет свою вещь без трезвой оглядки на трагедию того и другого: их приятие Ленина кончилось известно как.

В 1997-м появляется новая 12-я глава «Казанского университета»: «Карта России». Изображен неврастенический припадок Ленина, рвущего карту отечества. Он кусает эту карту. Новая 12-я лишь подчеркивает относительную соотнесенность первоначального, направленного текста поэмы с той Россией, которая была на самом деле, а не в трудах марксистских историков. Тот же Солженицын смотрит на отечественную историю совершенно не так. А вот Лев Толстой у Евтушенко мыслит так:

Как Катюшу Маслову, Россию,
разведя красивое вранье,
лживые историки растлили —
господа Нехлюдовы ее.

Но не отвернула лик фортуна, —

мы под сенью Пушкина росли.
Слава богу, есть литература —
лучшая история Руси.

Мы не полемизируем с поэтом, работавшим сорок с лишним лет назад над сочинением, рассчитанным на своих современников. Но это факт: «души моей растрата» — прямая проблема этого поэта.

И если бы он этого не понимал! Вполне понимал. Бок о бок с «Казанским университетом» стоит поэма «Уроки Братска» (1970), эта лицейская по характеру вещь, обращенная к старым друзьям по Братску.

Здесь, в Братске, снова сердце отошло.
Друзья,
я стал ужасно знаменитым, —
не раз я, впрочем, был и буду битым,
но это мне всегда на пользу шло.
Карманы —
ну не то чтобы полны,
но нечего скулить по части денег.
Печатают.
Я даже академик
одной сверхслаборазвитой страны.

В конце лета 1970-го он посещает Сибирь, путешествует по Байкалу, встречается с самыми разными людьми, в том числе с местными журналистами, в Иркутске и Ангарске. В том августе выходит «Юность» со статьей Евгения Сидорова, где сказано нелицеприятно по-дружески:

О Евгении Евтушенко в последнее время пишут мало и неопределенно. Суждения о нем напоминают движения маятника. Подсчитываются зерна в мере хлеба, балансируются удачи и потери, в конце следует вздох, иногда искренний: потерь все же больше — маятник останавливается...

Статья называлась «Жажда цельности». То есть по существу говорилось о ее, цельности, отсутствии. Еще в мае, 13-го числа, «Литературка» (В. Соловьев) писала:

Книгу «Идут белые снеги...» можно рассматривать как избранное поэта. <...> Было бы куда легче и судить, и писать о его творчестве, если бы можно было заметить, как поэт со временем становится глубже, тоньше, мудрее, и отнести слабые его стихи к началу его творчества, а сильные — к концу. Но в том-то и дело, что достоинства и просчеты поэзии Евтушенко одновременны, синхронны: в очередном стихотворении он избавляется от того, что принято называть недостатками, а в следующем возвращается к ним <...> иногда даже в одной строчке соседствуют безусловное и сомнительное. Молодость переходит в инфантилизм, прямота — в прямолинейность, любовь к деталям — к длиннотам, драматизм — в мелодраму, быстрота поэтической реакции — в торопливую скоропись, а глубина порой оборачивается легкомыслием.

О мировоззренческой и художественной цельности напомнило событие, о котором Евтушенко узнал 8 октября: Солженицыну присудили Нобелевскую премию. Это вам не академическая шапочка одной сверхслаборазвитой страны. В том же году был такой предпремиальный эпизод, в передаче Евтушенко: «В Москву приехал мой друг, шведский издатель Солженицына Пер Гедин, с деликатной миссией — узнать, примет ли Солженицын Нобелевскую премию и не ухудшит ли это его положение, и без того опасное. Увидеться с Солженицыным было невозможно: дача Ростроповича была буквально окружена агентами КГБ. Я передал этот запрос конспиративно — через третьих лиц, и так же — через третьих лиц — Гедину было передано, что Солженицын премию примет».

Дома не сидится. Он опять в Сибири. Другу Лёне Шинкареву — 50. После пира в своем кругу Евтушенко отмечает эту дату по-евтушенковски: дает концерт в Иркутском цирке. По достоинству это мог бы оценить только Межиров, певец цирка.

В январское Приморье 1971 года он является в обществе Михаила Рощина и Аркадия Сахнина. Это писательская бригада, направленная журналом «Новый мир» в рыболовецкий колхоз «Новый мир», богатый и знаменитый. Устав от богатырских банкетов, отдыхают в гостинице «Владивосток» на берегу Золотого Рога. Пока его спутники переводят дух, Евтушенко дает концерт в драмтеатре им. Горького с безусловным аншлагом. Успех оглушительный. За кулисами пересекшись с фактурным, одного с ним роста, героем-любовником театра, трогает рукой его

ослепительный галстук с изображением пальм:

— Хорош! Откуда?

— Из Сингапура.

— Мой — из Америки.

Во Владивостоке новые дружбы и пламенная любовь на ходу. Одного из местных поэтов — Юрия Кашука — он выделяет, хотя это животные разной породы: Кашук — поэт умственный. Евтушенко напечатает его большую подборку в «Новом мире», по итогам командировки.

Двух нищих дружков-пиитов, дрожащих на холоду в своих одежках на рыбьем меху, он тащит угощать в кафе, напевая:

— Эти глаза *не*против!

Шлягер того времени:

Эти глаза *на*против

Чайного цвета —

(о, соловьиный Валерий Ободзинский!) гремит во всех кабаках. В городе-порте все глаза не против. Все ли?..

Кафе еще не работало, было рано, но Евтушенко — впускают, он щедро заказывает, на пальце у него перстень с бриллиантом, на лацкане значок строителя Братской ГЭС, и разговор идет о Солженицыне.

— В будущем веке скажут, что это Лев Толстой нашего времени.

А у гостя города-порта — новая любовь. Зимняя стужа, ветер со всех сторон, поэт бежит на свидания. Местный плейбой — эффектный морской офицер, — быв свидетелем этого романа, делится впечатлением с приятелями:

— Я такого не видал, это же какая-то вулканическая лава любви, страдает, как пацан, часами торчит с букетом цветов на перекрестке Гнилого угла, на самом ветру, рыдает от ее неувки на встречу.

Впрочем, на нем — роскошная шуба до пят. Объясняет новым друзьям: нерпичья, единственная во всем мире. Ему замечают: шуба из нерпы есть у сахалинского нивха Санги.

— Да, но моя-то пошита — в Париже!

Он уехал. Дежурная по этажу жаловалась: в гостинице он наговорил большую сумму по межгороду, но исчез внезапно, забыв оплатить счет. Это сделал за него Илья Фоняков из Новосибирска, приехавший в город у моря следом за Евтушенко.

На гостиничной тумбочке он забыл или нарочно оставил изданную в

Штатах по-русски миниатюрную Библию.

Непосредственно от этой поездки остались стихотворения
«Неизвестная», «Соленый гамак».

Качайся, соленый гамак,
в размеренном шуме еловом.
Любой отловивший рыбак
становится тоже уловом.

Но проходит 20 лет, и происходит то, о чем писалось еще через 20 лет (2010).

На улицах Владивостока,
не оценившая меня,
со мной рассталась ты жестоко,
ладонью губы заслоня.

Я в кабаках все гроши пропил,
где оскорблен был как поэт
песнюшкой про глаза напротив,
а также и про чайный цвет.

Потом я облетел полмира,
но снова памятью незлой
во Владик что-то поманило.
А что? Все тот же пальчик твой.

Все изменилось на морфлоте,
лишь выжил через двадцать лет
тот шлягер про глаза напротив,
а также про их чайный цвет.

(«Эти глаза напротив...»)

Сорок лет ушло на создание стихотворения! Беспрецедентно.

Когда он работал, страдал и балагурил во Владивостоке, в Вологде

погиб Николай Рубцов. «Я умру в крещенские морозы», — самопророчество оправдалось, но таким жутким образом, что музе поэзии в такую тьму лучше не заглядывать. Наверно, уместней предоставить слово евтушенковскому оппоненту — Вадиму Кожинову, в передаче его ученика Н. Валеева:

Девятнадцатого января 1971 года вечером была помолвка Рубцова с воронежской поэтессой Дербиной. Днем же было обсуждение ее стихов, где Николай довольно резко выступил с критикой их. Вечером собрались у него все друзья, которые дружно обмыли и помолвку, и стихи. Ночью, когда все разошлись, у них произошла какая-то дикая ссора. По ее словам, Рубцов в гневе якобы кинулся в угол, где лежал топор или молоток. Она, испугавшись, ухватила его за горло и почувствовала вскоре, что он отключился. Она побежала в отделение милиции и сказала, что, кажется, убила человека. Пришли — Рубцов был мертв. Ей дали 8 лет, через 5 лет она вышла (за примерное поведение сократили срок) и начала ходить по друзьям поэта, пытаясь оправдаться. Но никто не захотел иметь с ней дела, кроме Евтушенко, который начал покровительствовать ей (наверное, завидуя славе Рубцова и его настоящей поэзии).

В чем заключалось покровительство Евтушенко? Отсидев почти шесть лет, Дербина написала «Воспоминания», книгу о Рубцове, и послала ее рукопись некоторым литераторам. Виктор Боков отозвался так:

Людмила, добрый Вам день! Я верю, что письмо это Вы получите днем. Пишу Вам без промедления. Вчера вечером я, вскрыв бандероль, бросился читать. Уехал на ночь в Переделкино — читал до двух ночи, в семь часов продолжил и вот прочел. Написано потрясающе правдиво, сильно... Никогда и никто так о нем проникновенно не напишет — и дело не в таланте писательском, а в том, что Судьба и еще Судьба встретились и узнали друг о друге все по праву такой горькой, иступленной, трагической, роковой любви...

Евтушенко: *«Я и не мог подумать, что Вы умышленно убили Колю. Это действительно был нервный взрыв. А разве не убивает каждый из нас*

своих близких — словом, поступками и порой тоже неумышленными? Я понимаю, как Вы ужаснулись, когда это произошло, и что в Вашей душе сейчас. Злодейка жизнь, а не Вы. Но все-таки Вы совершили грех и должны его отмолить всей своей жизнью».

Знал ли небесно одаренный неказистый северный мужичок, что за четверть века его посмертия по Русскому Северу поставят четыре или уже пять памятников ему, на редкость благообразных. Знал, разумеется. Он терпеть не мог благообразия, но с расставленными пред собой портретами классиков пивал до утра в тишине уединения, насобирав их со всех стен литинститутской общаги в комнату, где он нелегально обитал. Его нервному устройству мешал любой лишний звук — на выступлении в какой-то читалке он крикнул посередине своего чтения, указав на стену:

— Остановите часы!

Своего «Доброго Филю» Рубцов завершил многозначительно:

Мир такой справедливый,

Даже нечего крыть...

— Филя, что молчаливый?

— А о чем говорить?

Рубцов не был буддистом. Он не считал, что поэзия есть молчание. Просто-напросто время такое: а о чем говорить?

«Впервые я его (Рубцова. — И. Ф.) увидел в начале 60-х, когда он принес в редакцию «Юности» стихи «Я весь в мазуте, весь в тавоте, Зато работаю в тралфлоте!..». Был он худенький, весь встопорщенный, готовый немедля защищаться от ожидавшихся обид, в потертом бушлатике, с шеей, обмотанной пестреньким шарфом, за что его и прозывали «Шарфик». Но против ожиданий он встретил самый теплый прием от работавших в отделе Сергея Дрофенко, Олега Чухонцева, Юрия Ряшенцева, Натана Злотникова и меня, с радостью подмахнувшего в печать несколько его стихов. Однако если первое звонкое, лихое стихотворение проскочило цензуру без сучка и задоринки, то крошечный сатирический шедевр «Репортаж» о разбитном корреспонденте, сующем микрофон в рот смертельно усталому пахарю, блюстителем идеологии стал поперек горла, они уперлись рогом и ни за что не хотели его пропускать. Той же участи, по-моему, подверглось и другое горячее очаровательное, почти фольклорное стихотворение «Добрый Филя», которое впоследствии теми же безликими призраками аккуратно

вычеркивалось из Колиных книг. А ведь в этих двух стихах Рубцов первым уловил то, что постепенно уже необратимо вызрело в России. Народу до блевотины обрыдло, что после стольких бесстыжих обманов в обещаниях «светлого будущего» с тем же опять и опять лезут в душу. И так отвратно выдавливать слова, которые хитрованам пригодятся для новых надувательств. А если скажешь то, что на самом деле думаешь, все равно ничему это уже не поможет... Словом, как ответил им всем Филя: «А об чем говорить?» <...> Через несколько лет после моей первой встречи с Рубцовым кто-то в ЦДЛ с нежной шутливостью, подойдя сзади, закрыл мне глаза ладонями. Это был мирно пьяненький Коля. Он раскрыл свой потрепанный бумажник и показал мне сложенный вчетверо машинописный листочек со стихотворением «Репортаж», где стояла моя резолюция «В набор» и подпись.

— Это всегда со мной... А стих-то до сих пор не напечатали...»

Евтушенко пять лет спустя навестит его могилу.

Над могилою Коли Рубцова
теплый дождичек обложной,
и блестят изразцы леденцово
сквозь несладость погоды блажной.

Но так больно сверкают их краски,
будто смерть сыпанула в ответ
жизни-скряге за все недосластки
горсть своих запоздалых конфет.

Милый Коля, по прозвищу Шарфик,
никаких не терпевший удил,
наш земной извертевшийся шарик
недостаточно ты исходил.

Недоспорил, ночной обличитель,
безобидно вздымая кулак,
с комендантами общежитий,
с участковыми на углах.

Не допил ни кадуйского зелья,
ни останкинского пивка.
Милый дождичек, выдай под землю

ну хотя бы твои полглотка!

(«Над могилой Рубцова»)

Дело о спектакле

Двадцать четвертого февраля 1971 года заместитель министра культуры СССР К. Воронков пишет директору театра Н. Дупаку и главному режиссеру Ю. Любимову.

Вы обратились в Министерство культуры СССР с просьбой разрешить Московскому театру Драмы и комедии начать работу над спектаклем «Под кожей статуи Свободы» по пьесе Е. А. Евтушенко. Считаю возможным согласиться с Вашей просьбой и разрешить Вам в виде эксперимента (как об этом просил Ю. П. Любимов) начать работу над этим спектаклем с последующим представлением окончательного сценического варианта пьесы в Главное Управление культуры Моссовета и Управление театров Министерства культуры СССР.

Рекомендуем Вам — в процессе работы над пьесой и спектаклем — учесть замечания, высказанные Вам и Е. А. Евтушенко Министерством культуры СССР и Е. А. Фурцевой, мною и работниками Управления театров.

Фурцева как-то спросила Евтушенко по-женски искренне:

— Женя, ну объясните мне, ради Бога, что с вами? Вас печатают, пускают за границу. У вас есть все — талант, слава, деньги, машина, дача... У вас, кажется, счастливая семья. Ну почему вы все время пишете о страданиях, о недостатках, об очередях? Ну чего вам не хватает? А?

Прошел слух о том, что Евтушенко основывает журнал под названием то ли «Лестница», то ли «Мастерская» — как мастерскую молодых авторов. Источником слуха был он сам. Его надеждам не суждено было сбыться.

История проекта описана в басне «Волчий суд».

Однажды три волка
по правилам волчьего толка
на общем собрание

судили четвертого волка
за то, что задрал он, мальчишка,
без их позволения
и к ним приволок, увязая в сугробах,
олень.
Олень был бы сладок,
но их самолюбье задело,
что кто-то из стаи
один совершил это дело.

Дело было так. Давно. В 1962 году.

Валентину Катаеву, при условии ухода с поста главреда «Юности» с заменой на Бориса Полевого, пообещали главное кресло в «Литературной газете», но обманули: там сел Александр Чаковский. Катаев оскорбился.

Катаев, Аксенов, Вознесенский и Евтушенко пришли к П. Демичеву, секретарю по идеологии ЦК КПСС. Предложили идею нового журнала — «Лестница», в котором произведения молодых сопровождались бы анализом старших мастеров. Демичев благожелательно спросил: чьим органом будет издание? Сердитый Катаев ответил:

— А ничьим. Мы не хотим иметь дело ни с каким Союзом писателей.

Дело приостановилось. Частный журнал? На дворе не нэп.

Евтушенко уезжал в Латинскую Америку. Ему позвонили. Помощник Брежнева сообщил, что генсек просит оставить предложения перед предстоящим съездом писателей. У Евтушенко было два предложения: Федина (председателя СП СССР) заменить на Симонова и возвести ту самую «Лестницу». Вернувшись из поездки, Евтушенко изумленно узнал, что Брежнев поддержал его по обоим вопросам.

Его пригласил к себе В. Шауро, заведомо культуры ЦК КПСС. По поводу Федина сказал, что этого делать не надо.

— Это убьет старика!

А насчет «Лестницы» — полная поддержка.

Евтушенко прибежал к Катаеву: ура!

Все были в сборе. Они были в курсе. Катаев мрачно спросил:

— Кто вам поручал обращаться к генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?

Катаев продолжал в той же тональности, двое других поддакивали, его аргументов не слушали. Евтушенко сказал, что в таком случае он будет один заниматься этим делом, без них и без их имен.

Новую заявку он принес назавтра Георгию Маркову, первому секретарю СП СССР. Тот маслено улыбнулся.

— Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя? — В неубитых медведях Марков понимал: сибиряк как-никак. — За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич, и вот какое письмецо он мне оставил...

Тремя подписями — Аксенова, Вознесенского и Катаева — был заверен машинописный текст следующего содержания: мы, нижеподписавшиеся, ничего общего не имеем с инициативой Евтушенко.

«Лестница» рухнула, не возникнув.

Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с «некоторыми ровесниками». Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было. Аксенов точкой отсчета «расшвыривания» называет 1963 год. Знаменательная «Песня акына» Вознесенского (о ней мы скажем в своем месте) — ровесница «Волчьего суда», это 1971 год. Вот когда произошел публичный обмен любезностями и стала полуявью одна из самых заметных розней в отечественной словесности.

Как бы то ни было, если к шестидесятым относиться с календарных позиций, то 1971 год можно считать занавесом той эпохи.

Точкой невозврата.

В октябре Пабло Неруда получает Нобелевскую премию по литературе «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента». В Стокгольме автор «Всеобщей песни» сказал:

Каждое мое стихотворение стремится стать осязаемым предметом, каждая моя поэма старается быть полезным инструментом в работе, каждая моя песнь — знак единения в пространстве, где сходятся все пути. <...> верю, что долг поэта повелевает мне родниться не только с розой и симметрией, с восторженной любовью и безмерной тоской, но и с суровыми людскими делами, которые я сделал частью своей поэзии.

Это и кредо Евтушенко. Их связывало кровное родство, поразительное сходство самопонимания. Великая честь быть великим плохим поэтом.

«— Какие дураки, — усмехнулся Пабло Неруда, просматривая свежий номер газеты, где его в очередной раз поливали довольно несвежей грязью, — они пишут, что я двуликий Янус. Они меня недооценивают. У меня не два, а тысячи лиц. Но ни одно из них им не нравится, ибо непохоже на их

лица».

Год, начавшийся гибелью Рубцова, кончился не менее тяжело. 17 декабря умер Твардовский. Точка невозврата. Бывают ли компенсации таких потерь? Никогда.

Через двадцать без малого лет Евтушенко скажет:

Твардовский был орешек непрстой:
тяжелый телом
и тяжелый нравом.
Под крепостным литературным правом
он был
в медалях барских крепостной.

.....
Но с мукой на монашеском лице
не покупался этот хуторянин,
отцовской раскулаченностью ранен
и распят
на молчанье об отце.

.....
Но, Боже мой, как он любил того
мальчишку на войне незнаменитой
и тень отца,
не ставшую забытой,
вселившуюся в сына своего.

(«Главная глубинка»)

Поразительный вариант Гамлета.

На самом исходе 1971 года — не великая, но чистая радость. В Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина сыграли премьеру «Легенды об Уленшпигеле», для которой Евтушенко с композитором Андреем Петровым написали много песен. Работалось с воодушевлением, Уленшпигель — любимый герой в детстве, «Песню гезов», то есть песню нищих, автор стихов поет во весь голос в гостях у композитора, немилосердно фальшивя.

Но все же есть свобода,
но все же есть свобода,

хотя бы за свободу умирать!

Петров, однако, говорил:

Обычно я пишу мелодии плавные, мягкие, но здесь получился речитатив, потому что, сочиняя, я сознательно и бессознательно вспоминал авторское чтение. Там есть «Марш гезов» с таким рефреном: «Когда шагают гезы, шагают с нами слезы...» Евтушенко читал завораживающе, стихи произносил нервно, с эмоциональным зарядом на каждом слове. Это было скандированное чтение, даже с элементами исступления.

Петров потом написал музыку на «Заклинание» и «Нас в набитых трамваях болтает...», песни пошли по свету. В Москве во дворе на улице Готвальда в середине семидесятых белой масляной краской по асфальту было крупно написано всё от начала до конца блюзовое евтушенковское «Заклинание».

Весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне,
осенней ночью думай обо мне
и зимней ночью думай обо мне.
Пусть я не там с тобой, а где-то вне,
такой далекий, как в другой стране, —
на длинной и прохладной простыне
покойся, словно в море на спине,
отдавшись мягкой медленной волне,
со мной, как с морем, вся наедине.

Я не хочу, чтоб думала ты днем.
Пусть день перевернет все кверху дном,
окурит дымом и зальет вином,
заставит думать о совсем ином.
О чем захочешь, можешь думать днем,
а ночью — только обо мне одном.

Услышь сквозь паровозные свистки,
сквозь ветер, тучи рвущий на куски,

как надо мне, попавшему в тиски,
чтоб в комнате, где стены так узки,
ты жмурилась от счастья и тоски,
до боли сжав ладонями виски.

Молю тебя — в тишайшей тишине,
или под дождь, шумящий в вышине,
или под снег, мерцающий в окне,
уже во сне и все же не во сне —
весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне,
осенней ночью думай обо мне
и зимней ночью думай обо мне.

Если бы появился в семидесятых и продолжал писать дальше некий поэт Икс, равный тому, что делал в эту пору Евтушенко, общественность заговорила бы о большом новом явлении советской поэзии. Другое дело, что этому поэту Икс вменяли бы подражание поэту Евтушенко, еще недавно завоевавшему мир ошеломительными стихами о пролетевшей эпохе и теряющему былое очарование.

А Евтушенко — уже в Северном Вьетнаме. На крыльях успеха — в самое пекло. Декабрем 1971-го помечены эти стихи:

Грубей, чем любая дерюга,
прочней буйволиных спин
ведет на Сайгон дорога —
дорога номер один.

Он обращается к Маяковскому:

И я, твой наследник далекий,
хотел бы до поздних седин
остаться поэтом дороги —
дороги номер один.

(«Дорога номер один»)

Он все еще во власти реврамантики, от которой оставался практически пшик в самой советской реальности. На самом деле он выходит на дорогу разлучения с нехудшим, непустоголовым читателем, уставшим от пафоса. Кто не сомневается в его искренности? Статистики нет. Зрелище войны ранит, человеческое мужество поражает, и стихи не врут, даже если это продукция спецкора с лирой. Военные сводки. Он пишет на бегу, на ходу и на лету. Он встречает Рождество в Ханое, поминая Христа:

Мучеником не был он последним
в муках человеческой семьи.
Распят был он тридцатитрехлетним —
распинали месячных в Сонгми.

Чем он выше всех детей убитых,
тех, кто в душу смотрят молча нам,
этот — из всемирно знаменитых —
на стене собора мальчуган?

(«Рождество в Ханое»)

«Я писал эти строки, сидя в самолете Аэрофлота, летевшем из Ханоя в Москву. Была глубокая ночь. Все вокруг спали. Самолет шел ровно. Но как только я написал горько-саркастическую концовку в первом варианте: «Чем он лучше всех детей убитых, где-нибудь у пальм и у ракит — этот из всемирно знаменитых, все-таки счастливый вундеркинд?!» — самолет рухнул в воздушную яму. Стюардесса ударилась о металлический кухонный шкаф. Те, кто не привязался, взлетали и бухались головами о стены и потолки лайнера. Я немедленно убрал насмешливое «вундеркинд» и тут же написал новый, более деликатный вариант концовки. Самолет выровнялся...»

Это — его лаборатория. Стих не вынашивается — с неба падает. Свое истолкование пастернаковской максимы:

И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

В тот час Евтушенко должен был ехать в Америку с выступлением в

Медисон-сквер-гарден, 15 тысяч зрителей, чтобы рассказать об ужасах вьетнамской войны. Внезапно ему рубят эту гастроль: подписал слишком много писем в защиту диссидентов. Он сидит пьет в Центральном доме литераторов водку, вдруг — звонок на телефон в фойе, у дежурного администратора.

Брежнев:

— Успокойтесь ради Бога, поезжайте вы в эту вашу Америку.

Евтушенко был тем, что Брежневу осталось от Хрущева. Осколок XX съезда в тучнеющем теле разлагающейся системы. Они срослись, но симфонии не могло произойти априори. Определилось распределение функций, видимость единого организма.

Третьего февраля 1972 года советский поэт Евгений Евтушенко был принят в Овальном кабинете Белого дома президентом США Ричардом Никсоном. Во встрече участвовал Генри Киссинджер, советник президента по национальной безопасности. Поэт был одним из самых заметных в мире критиков вьетнамской войны и только что вернулся из Ханоя, им было о чем поговорить. *«Он (Никсон. — И. Ф.) собирался с визитом в Москву и спросил меня, что, по моему мнению, хотели бы от него услышать советские люди, что стоило бы посмотреть в России. Я сказал, что лучше бы начать речь с воспоминания о встрече на Эльбе. Посоветовал посетить Пискаревское кладбище в Питере и Театр на Таганке в Москве».*

Оказалось, Никсон не знал о количестве советских жертв на той войне и был поражен названной Евтушенко цифрой: 20 миллионов.

В ту поездку по Америке ему, сбив с ног, повредили два ребра альпинистскими ботинками в городе Сан-Пол, штат Миннесота, когда он читал стихи американским студентам на крытом стадионе, стоя на боксерском ринге со снятыми канатами, — нападавшие оказались отпрысками бандеровцев, родившимися в США и Канаде. «Бей москалей!»

Это произошло, скажем так, в нагрузку к выходу в США увесистого евтушенковского однотомика «Краденые яблоки» (Stolen Apples, Published 1972 by Anchor Books, Doubleday, NY) в переводах Джона Апдайка, Лоуренса Ферлингетти, Джеффри Даттона и прочих первостатейных мастеров пера.

Драматург Александр Гладков (пьеса «Давным-давно», ставшая у Э. Рязанова «Гусарской балладой») заносит в дневник:

2 февраля

Вечером услышал по радио, что завтра в Вашингтоне

президент Никсон примет Евтушенко.!!! И это после всех его опусов в «Правде» о войне во Вьетнаме. Или Никсон умен и широк, или мы тут поглупели. Это, конечно, огромный успех Евтушенко — такого медведя он еще не забивал. Он смело балансирует на невероятной высоте и может много выиграть, наживя кучу новых врагов.

14 мая

Женя Евтушенко разгуливает по городу в невероятного колера розовом костюме. Вывез из Америки.

Вывез оттуда он и большой цикл стихов, среди которых есть шедевры — «Гранд-Каньон», «Дом волка». Уитмен и Джек Лондон не зря были читаны в детстве-юности. Американские масштабы передались поэтическому дыханию. Физиология истории. Трудная речь.

Матка веков,
наизнанку вывернутая,
сфинкс,
чья загадка,
временем выветренная,
нами не выведенная,
канет.
Тело истории,
но не по главам —
с маху разрубленное томагавком
вместе с кишками и калом.

(«Гранд-Каньон»)

Эхо Уитмена, но чувствуется и стиховое присутствие Бродского.

Цикл внутри цикла — «От желанья к желанью», густая эротика. Вот блюз по-русски:

*Любите друг друга под душем,
любите друг друга под душем,
любите друг друга под душем
в дарованный Господом час,
как будто стоите под медом,*

*как будто стоите под медом,
как будто стоите под медом,
усталость смывающим с вас.*

Это еще и курсивом выделено.

Поездка по США Евтушенко поначалу, с точки зрения Кремля, была безупречна. Посол СССР в США А. Добрынин сообщал о его успехах: собирает на свои поэтические вечера до десяти тысяч слушателей, такого Америка не знала. Пресса все это щедро освещает, печатает его вьетнамские стихи. Посол просит дать об этом информацию в советской прессе. Однако встал на дыбы сектор США международного отдела ЦК КПСС, потребовав отозвать Евтушенко из Америки, поскольку лидер компартии США Гэс Холл возмущен отказом Евтушенко встретиться с активисткой компартии Анджелой Дэвис. Добрынин информирует, что Евтушенко решил задержаться еще на месяц: в Москве, мол, не возражали. И улетел во Флориду. Союз писателей дал телеграмму Добрынину с отказом продлить командировку Евтушенко. В ЦК решили дело пока что замять — зачем нам невозвращенец? Когда вернется, разберемся. Грозные телеграммы с требованием немедленного возвращения шли за океан в мировое пространство попусту, не достигая Евтушенко: он мотался из города в город.

По возвращении из двухмесячного американского турне таможня арестовала его багаж — книги Троцкого, Бухарина, Бердяева, Шестова, Набокова, Алданова, Гумилёва, Мандельштама, Бунина («Окаянные дни»), Горького («Несвоевременные мысли»), 72 тома «Современных записок», сборник анекдотов «Говорит Ереван» — 124 нелегальные книги и даже фотографию, на которой поэт запечатлен с Никсоном. «Когда я пригрозил, что напишу ему (Никсону. — И. Ф.) об этом произволе, стали возвращать книги. Но постепенно — видимо, сами читали. «Замотали» две — повести Лидии Чуковской и анекдоты «армянского радио».

Евтушенко позвонил Ф. Бобкову и был принят им. В разговоре коснулись Бродского.

— Зачем КГБ запретил выход его книги?

— Никто ничего не запрещал, это инициатива местного Союза писателей. А вообще — ваш Бродский давно подал прошение на отъезд, и ему разрешено выехать.

— Как? Насовсем?!

— Как захочет.

Евтушенко заговорил о том, что жизнь в чужой языковой среде, на чужбине, — трагедия для поэта. Что наши бюрократы отравят ему эти оставшиеся дни, этого нельзя допустить. Бобков пообещал облегчить положение Бродского. Уходя, Евтушенко спросил:

— Я могу рассказать ему о нашем разговоре?

— Ваше дело, но не советую.

В Москве ожидался Никсон. Это был первый официальный визит действующего президента США в Москву за всю историю отношений. Никсон и Брежнев подписывают массу исторически важных документов: Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО), Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), документ «Основы взаимоотношений между СССР и США»: Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения, Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники, Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

Политика разрядки торжествует.

Еврейскую эмиграцию разрешили, Бродский получил некий вызов из Израиля, приезжает в Москву и 24 мая, в свой день рождения, получает визу. Он навещает Евтушенко, который до мельчайших подробностей рассказал ему, как и почему он оказался в КГБ и о чем шел разговор.

Бродский был ошарашен. Евтушенко проводил его к лифту. Бродский перешел на «вы».

— Женя, только, пожалуйста, что бы ни случилось, никогда не думайте обо мне плохо.

Дверь лифта раскрылась. Бродский туда вошел и как будто рухнул вниз.

Бродский в диалогах с Соломоном Волковым дает свою версию этой встречи-прощания.

Приезжаю я, значит, в Москву поставить эти самые визы и, когда я закруглился, раздается телефонный звонок от приятеля, который говорит:

— Слушай, Евтушенко очень хочет тебя видеть. Он знает все, что произошло.

А мне нужно в Москве убить часа два или три. Думаю: ладно, позвоню. Звоню Евтуху. Он:

— Иосиф, я все знаю, не могли бы вы ко мне сейчас приехать?

Я сажусь в такси, приезжаю к нему на Котельническую набережную, и он мне говорит:

— Иосиф, слушай меня внимательно. В конце апреля я вернулся из Соединенных Штатов...

(А я вам должен сказать, что как раз в это время я был в Армении. Помните, это же был год, когда отмечалось 50-летие создания Советского Союза? И каждый месяц специально презентовали какую-либо из республик, да? Так вот, для журнала «Костер», по заказу Леши Лифшица, я собирал армянский фольклор и переводил его на русский. Довольно замечательное время было, между прочим...) Так вот, Евтух говорит:

— Такого-то числа в конце апреля вернулся я из поездки в Штаты и Канаду. И в аэропорту «Шереметьево» таможенники у меня арестовали багаж!

Я говорю:

— Так.

— А в Канаде в меня бросали тухлыми яйцами националисты!

(Ну все как полагается — опера!) Я говорю:

— Так.

— А в «Шереметьево» у меня арестовали багаж! Меня все это вывело из себя, и я позвонил своему другу...

(У них ведь, у московских, все друзья, да?) И Евтух продолжает:

— ...позвонил другу, которого я знал давно, еще с Хельсинкского фестиваля молодежи.

Я про себя вычисляю, что это Андропов, естественно, но вслух этого не говорю, а спрашиваю:

— Как друга-то зовут?

— Я тебе этого сказать не могу!

— Ну ладно, продолжай.

И Евтушенко продолжает: «Я этому человеку говорю, что в Канаде меня украинские националисты сбрасывали со сцены! Я

возвращаюсь домой — дома у меня арестовывают багаж! Я поэт! Существо ранимое, впечатлительное! Я могу что-нибудь такое написать — потом не оберешься хлопот! И вообще... нам надо повидаться! И этот человек мне говорит: ну приезжай! Я приезжаю к нему и говорю, что я существо ранимое и т. д. И этот человек обещает мне, что мой багаж будет освобожден. И тут, находясь у него в кабинете, я подумал, что раз уж я здесь разговариваю с ним о своих делах, то почему бы мне не поговорить о делах других людей?» (Что, вообще-то, является абсолютной ложью! Потому что Евтушенко — это человек, который не только не говорит о чужих делах — он о них просто не думает! Но это дело десятое, и я это вранье глотаю — потому что ну чего уж!) И Евтушенко якобы говорит этому человеку:

— И вообще, как вы обращаетесь с поэтами!

— А что? В чем дело?

— Ну вот, например, Бродский...

— А что такое?

— Меня в Штатах спрашивали, что с ним происходит...

— А чего вы волнуетесь? Бродский давным-давно подал заявление на выезд в Израиль, мы дали ему разрешение. И он сейчас либо в Израиле, либо по дороге туда. Во всяком случае, он уже вне нашей юрисдикции...

И слыша таковые слова, Евтушенко будто бы восклицает: «Еб вашу мать!» Что является дополнительной ложью, потому что уж чего-чего, а в кабинете большого начальника он материться не стал бы. Ну, на это мне тоже плевать... Теперь слушайте, Соломон, внимательно, поскольку наступает то, что называется, мягко говоря, непоследовательностью. Евтушенко якобы говорит Андропову:

— Коли вы уж приняли такое решение, то я прошу вас, поскольку он поэт, а следовательно, существо ранимое, впечатлительное — а я знаю, как вы обращаетесь с бедными евреями... (Что уж полное вранье! То есть этого он не мог бы сказать!)

— ...я прошу вас — постарайтесь избавить Бродского от бюрократической волокиты и всяких неприятностей, сопряженных с выездом.

И будто бы этот человек ему пообещал об этом позаботиться. Что, в общем, является абсолютным, полным бредом! Потому что

если Андропов сказал Евтуху, что я по дороге в Израиль или уже в Израиле и, следовательно, не в их юрисдикции, то это значит, что дело уже сделано. И для просьб время прошло. И никаких советов Андропову давать уже не надо — уже поздно, да? Тем не менее я это все выслушиваю, не моргнув глазом. И говорю:

— Ну, Женя, спасибо.

Тут Евтушенко говорит:

— Иосиф, они там понимают, что ты ни в какой Израиль не поедешь. А поедешь, наверное, либо в Англию, либо в Штаты. Но коли ты поедешь в Штаты — не хорони себя в провинции. Поселись где-нибудь на побережье. И за выступления ты должен просить столько-то...

Я говорю:

— Спасибо, Женя, за совет, за информацию. А теперь — до свидания.

Евтух говорит:

— Смотри на это как на длинное путешествие...

(Ну такая хемингуэевщина идет...)

— Ладно, я посмотрю, как мне к этому относиться...

И он подходит ко мне и собирается поцеловать. Тут я говорю:

— Нет, Женя. За информацию — спасибо, а вот с этим, знаешь, не надо, обойдемся без этого.

И ухожу. Но чего я понимаю? Что когда Евтушенко вернулся из поездки по Штатам, то его вызвали в КГБ в качестве референта по моему вопросу. И он изложил им свои соображения. И я от всей души надеюсь, что он действительно посоветовал им упростить процедуру. И я надеюсь, что моя высылка произошла не по его инициативе. Надеюсь, что это не ему пришло в голову. Потому что в качестве консультанта — он, конечно, там был. Но вот чего я не понимаю — то есть понимаю, но по-человечески все-таки не понимаю — это почему Евтушенко мне не дал знать обо всем тотчас? Поскольку знать-то он мне мог дать обо всем уже в конце апреля. Но, видимо, его попросили мне об этом не говорить. Хотя в Москве, когда я туда приехал за визами, это уже было более или менее известно.

Волков: Почему вы так думаете?

Бродский: Потому что такая история там произошла. Ловлю я такси около телеграфа, как вдруг откуда-то из-за угла

выныривает поэт Винокуров.

— Ой, Иосиф!

— Здравствуйте, Евгений Михайлович.

— Я слышал, вы в Америку едете?

— А от кого вы слышали?

— Да это неважно! У меня в Америке родственник живет, Наврозов его зовут. Когда туда приедете, передайте ему от меня привет!

И тут я в первый и в последний раз в своей жизни позволил себе нечто вроде гражданского возмущения. Я говорю Винокурову:

— Евгений Михайлович, на вашем месте мне было бы стыдно говорить такое!

Тут появилось такси. И я в него сел. Или он в него сел, уж не помню. Вот что произошло. И вот почему я думаю, что в Союзе писателей уже всё знали. Потому что подобные акции обыкновенно происходили с ведома и содействия Союза писателей.

Волков: Я думаю, это всё зафиксировано в соответствующих документах и протоколах и они рано или поздно всплывут на свет. Но с другой стороны, в подобных щекотливых ситуациях многое на бумаге не фиксируется. И исчезает навсегда...

Бродский: Между прочим, эту историю с Евтушенко я вам первому рассказываю, как бы это сказать, for the record.

Стилистика Бродского, как бы это сказать, слишком устная, что ли. Но нагромождение недоразумений — налицо. Отъезд Бродского был секретом Полишинеля, о нем говорили почти весь май обе столицы во всех литсалонах и литподворотнях.

Это прискорбно похоже на то, каким способом трактовал евтушенковскую тему человек иных, противоположных предпочтений — Вадим Кожин.

Много лет спустя после 1953 года я оказался в кафе Центрального дома литераторов за одним столом с давним близким приятелем Евтушенко — Евгением Винокуровым, который известен написанным им в 1957 году текстом песни «В полях за Вислой сонной», — текстом, надо сказать, странноватым. Он выпил лишнего, к тому же был тогда, вероятно, за что-то зол на давнего приятеля и неожиданно выразил

сожаление, что те самые стихи о врачах-отравителях (евтушенковские. — И. Ф.) не решились в начале 1953 года опубликовать:

— *Пожил бы Сталин еще немного, — глядишь, стихи о врачах напечатали бы, и тогда никакого Евтушенко не было бы!*
— не без едкости объявил Винокуров. И был, вероятно, прав...

Ой ли. Ненависть ослепляет. Крайности сходятся.

Есть апокриф. В те дни Бродский, выйдя из ресторана «Арагви», предложил своему близкому другу Игреку пойти в «Новый мир» бить морду Винокурову, ведавшему там поэзией после ухода из «Октября». Тот не принял стихи Бродского для публикации в журнале. Благоразумный Игрек удержал друга.

В мае 1972 года Евтушенко написал Брежневу:

«Дорогой Леонид Ильич!

Я счастлив сказать Вам, что несмотря на все трудности, на все политические и даже физические атаки антисоветчиков, я выдержал все испытания и моя поездка в США прошла успешно.

По возвращении я немедленно включился в продолжающуюся работу Театра на Таганке под руководством Ю. Любимова над спектаклем, посвященным борьбе американской прогрессивной молодежи против сил реакции, злодейского убийства Мартина Лютера Кинга, братьев Кеннеди, борьбе за мир во Вьетнаме.

В прошлом году Вы поддержали идею этого спектакля, за что и театр, и я глубоко Вам благодарны. Спектакль сделан. Он получился остро гражданским, революционным по содержанию и оригинальным, свежим по форме, и без сомнения будет иметь большой успех.

Однако те же самые люди из Управления театров, из Министерства культуры, которые всячески противодействовали началу репетиций, отказались даже смотреть его теперь, в связи с предстоящим приездом Никсона, ссылаясь на якобы существующие некие установки сверху о том, что сейчас нельзя затрагивать острые американские проблемы. «Вот Никсон уедет, тогда и посмотрим...»

Вообще должен сказать, что в ряде культурных учреждений образовалась какая-то непонятная паника перед приездом Никсона. Так, например, никто не хочет печатать мои стихи, написанные о заминировании американцами зоны вокруг вьетнамских портов, из концертных программ исключаются стихи, критикующие противоречия американского общества. Народ-языкотворец уже выдумал образное

словечко «Книксон».

Эти люди ведут себя так, как будто в связи с ожидающимся приездом Никсона должны остановиться наши заводы, фабрики, закрыться университеты, замереть автобусы, троллейбусы и поезда. Все это стыдно — ибо эта оглядка — трусость, ничего общего не имеет с гордостью советского человека.

Все стихи, включенные в этот спектакль, напечатаны у нас, и я только что читал их в США перед многотысячными аудиториями. Они вышли там книгой, и сам Никсон, кстати, читал ее, — так что все это давно не секрет.

Что за ложное положение, когда, находясь в США, я могу критиковать американское общество, а находясь у себя на Родине, в социалистическом обществе, я не могу этого делать? Разве приезд Никсона может кардинально изменить 55-летний путь нашего государства, основы нашей марксистско-ленинской теории, стоящей за мир между народами, но в то же время осуждающей капитализм как систему?

Если бы в этом спектакле были нападки лично на самого Никсона, я бы понял такие доводы перед его приездом. Но таких нападок там нет, и вообще там нет ничего оскорбительного по отношению к самому американскому народу — я бы этого никогда не допустил. Все эти стихи известны американской общественности и вызвали у нее уважительный прием. Почему же наши театральные чиновники боятся позволить советскому поэту сказать на советской сцене то, что ему позволяли говорить американцы на американской сцене о собственном американском обществе?

Смесь подозрительности с подбострастием по отношению к именитым иностранцам — это не что иное, как наследие царизма, а не советская психология. «У советских собственная гордость», — говорил Маяковский. Трусость, кабычегоневышлизм наших театральных чиновников поистине постыдны.

Дорогой Леонид Ильич!

Весь коллектив театра и я горячо просим Вас дать нам возможность показать премьеру этого спектакля именно в эти дни, чтобы в противовес западной реакционной пропаганде, сеющей слухи о деидеологизации нашего общества, показать боевой интернационалистский спектакль. В эти дни мы, советская интеллигенция, особенно ясно должны показать твердость наших позиций.

Мы просим Вашей личной поддержки. Обещаю, что мы Вас не подведем.

С уважением — Ваш Евгений Евтушенко».

На письме Евтушенко — рукописная резолюция: «Тов. Демичеву П. Н. Прошу рассмотреть. 16.V. Брежнев».

Через полмесяца, 4 июня, рано утром, перед отъездом в аэропорт «Пулково» на то же высочайшее имя пишется письмо другим русским поэтом — Иосифом Бродским. Интересно сравнить.

Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому.

Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика — в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось.

Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.

Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к

одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять.

Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится.

Несмотря на исключительную разницу стилистик и личностей, оба обращения к верховной власти неумолимо родственны исходно. Кто это пишет? Русские поэты, рожденные в советской России, обычаи и законы которой им хорошо известны. Не надо упрощать Бродского. Он умел управлять внутренней стихией. Он вполне справлялся со своей антикоммунистической яростью, скажем, в отношении к Слуцкому, кремневому политруку, прямому наследнику «комиссаров в пыльных шлемах». В ранней юности Бродский шел непосредственно по стопам Слуцкого, воспроизводя советский подход к отечественным ценностям в интонации и образном ряду учителя:

И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

Евгений Рейн рассказывал, как на одном из литературных вечеров в Ленинграде юный Бродский запальчиво отругал выступающих стихотворцев за безыдейность, поскольку сейчас (тогда) главное — это

химизация сельского хозяйства (лозунг Хрущева). Пребывая в норенской ссылке, он охотно печатал в районной газетке «Призыв», издающейся в поселке городского типа Коноше, стихи о тракторах («Тракторы на рассвете») и телегах («Обоз»), Все издания той поры были партийными, когда не комсомольскими или профсоюзными.

Это написал русский поэт — и никакой иной:
Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной,
чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.

(И. Бродский «Пророчество»)

Стихи на смерть маршала Жукова или на отложение Украины принадлежат именно ему. Никто не вынуждал его писать Брежневу. «Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось». Это документ естественной эволюции — на том же уровне, что и ястребиное одиночество автора «Осеннего крика ястреба»:

...Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит.

В спектакль Евтушенко попросил Любимова вставить «Песенку американского солдата» Окуджавы, которому он подсказал и само название: раньше было «Песенка веселого солдата».

Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенную краску,

ударю шаг по улочкам горбатым...
Как просто стать солдатом, солдатом.

Забыты все домашние заботы,
не надо ни зарплаты, ни работы —
иду себе, играю автоматом,
как просто быть солдатом, солдатом!

А если что не так — не наше дело:
как говорится, родина велела!
Как славно быть ни в чем не виноватым,
совсем простым солдатом, солдатом.

Это было написано в 1960–1961 годах. Но жизнь складывалась так, что в 1972-м у Евтушенко появились такие стихи:

Простая песенка Булата
всегда со мной.
Она ни в чем не виновата
перед страной.

Поставлю старенькую запись
и ощущу
к надеждам юношеским зависть
и загрузу.

Где в пыльных шлемах комиссары?
Нет ничего,
и что-то в нас под корень самый
подсечено.

Лето обещало быть жарким, театры уезжали на гастроли, на Москву наступала гроза, в какой-то степени невидимая, поскольку о ней мало говорили, по крайней мере до поры. Нависла туча — над Окуджавой.

Впереди всех побежали, как всегда, собраты — по-своему отметив День защиты детей 1 июня 1972 года: партком московской писательской организации принял решение исключить Окуджаву из своих рядов. За

антипартийное поведение. Ему вменялась в вину излишняя связь с заграницей, то бишь публикации вне СССР, а посему требовалось принародное печатное опровержение чужой статьи — зловредного предисловия к его «Избранному», изданному в Германии давно, в 1964 году. Окуджава что-либо опровергать отказался.

Следующим шагом мог стать изгон из СП, что означало непечатание и нищету. Более мрачных перспектив сын репрессированных родителей не ожидал и держался уравновешенно. Больше, чем он, волновались друзья, Евтушенко среди них.

Шестого июня прошло общемосковское партсоборание, на котором Окуджаву почему-то не тронули. Предстояло утверждение парткомовского решения вышестоящей инстанцией — райкомом, а там и горкомом. Окуджава ждал решения своей судьбы.

Дело о спектакле

Первого июля 1972 года Ю. Андропов докладывает Секретариату ЦК КПСС:

Комитет госбезопасности располагает данными об идейно-ущербной направленности спектакля «Под кожей статуи Свободы» по мотивам произведений Евтушенко, готовящегося к постановке Ю. Любимовым в Московском театре драмы и комедии.

Общественный просмотр спектакля состоялся 12 июня 1972 г.

По мнению ряда источников, в спектакле явно заметны двусмысленность в трактовке социальных проблем и смешение идейной направленности в сторону пропаганды «общечеловеческих» ценностей.

Как отмечают представители театральной общественности, в спектакле проявляется стремление режиссера театра Любимова к тенденциальной разработке мотивов «власть и народ», «власть и творческая личность» в применении к советской действительности.

Восемнадцатого июля справку «О спектакле «Протест — оружие безоружных» («Под кожей статуи Свободы»)» направляет в ЦК КПСС секретарь МГК КПСС Л. Греков. Упоминаем об этом тавтологичном

документе исключительно потому, что он является своеобразным поздравлением поэта со славным сорокалетьем. Другой ценности он не представляет.

В преддверии события Евтушенко пишет (3–4 июля):

Когда мужчине сорок лет,
то снисхожденья ему нет
перед собой и Богом.
Все слезы те, что причинил,
все сопли лживые чернил
ему выходят боком.

Когда мужчине сорок лет,
то не сошелся клином свет
на ярмарочном гаме.
Все впереди — ты погоди.
Ты лишь в комедь не угоди,
но не теряйся в драме!

(«Когда мужчине сорок лет...»)

Евтушенко шумно отмечает свою ровную дату. Происходит инцидент, тотчас обросший молвой.

Александр Гладков записывает:

26 июля

...на днях Евтушенко торжественно праздновал в Переделкине свое 40-летие. Было много гостей, и в том числе К. Симонов, П. Г. Антокольский и др. Среди «и др.» был космонавт Севастьянов. Он в разговоре заметил, что Окуджаву правильно исключили из партии. Тогда Женя будто бы вскочил и закричал: «Вон из моего дома!» — или нечто подобное. Короче, он выгнал космонавта. Любопытно, что ощущал малодушный и амбивалентный Симонов. Наверно, душа ушла в пятки. Конечно, Евтушенко молодец!

Всё было не совсем так. Но Гладков невольно угадал, упомянув отдельно имя Симонова. За уходящим Севастьяновым последовал

Симонов. Об этом гудела вся Москва.

Наутро возбужденный Евтушенко написал письмо В. Гришину, первому секретарю МГК КПСС, в котором просил об аудиенции, поскольку, помимо прочего, после просмотра спектакля Главное управление культуры Моссовета потребовало выбросить «Песню американского солдата». Гришин принял поэта неохотно, но успокоил: пусть «Окуджавов» не беспокоится, обойдемся выговором.

Так и произошло.

Через много лет, схлынувших как вода, Евтушенко даст продуманную оценку Симонову.

«Шесть раз лауреат Сталинской премии. Опальный редактор «Нового мира», напечатавший первые предперестроечные произведения, в том числе «Не хлебом единым» В. Дудинцева. Бесстрашно летавший на бомбежки Берлина, ходивший на боевой субмарине офицер без страха и упрека. Секретарь Союза писателей, много раз каявшийся в своих ошибках, которые на самом деле были его лучшими гражданскими поступками. Первым еще до скандала вокруг романа отвергнувший «Доктора Живаго». Автор первой восторженной рецензии на «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Я видел Симонова на траурном митинге в марте 1953 года, когда он с трудом сдерживал рыдания. Но, к его чести, я хотел бы сказать, что его переоценка Сталина была мучительной, но не конъюнктурной, а искренней. <...> Симонов дружил с маршалом Жуковым, но тогдашние «пуровцы», осуществлявшие надзор над всей батальной литературой, буквально ели Симонову печенку.

Когда запретили его военные дневники, Симонов обратился с письмом к Брежневу, которого хорошо знал по фронту. Симонов мне сам рассказал, как, следуя в Волгоград поездом вместе с делегацией на открытие мемориала, он был приглашен к Брежневу в его салон-вагон и пил с ним всю ночь, вспоминая войну. «Но он ни слова мне не сказал ни про мое письмо, ни про мои дневники...» — горько добавил Симонов. «Почему же вы не спросили?» — поразился я. Симонов нахмурился, пожал плечами: «Я человек военной закваски... Если маршал сам не заговаривает с офицером о его письме, офицер не должен спрашивать». В этой истории — вся трагедия Симонова. Как в своем пророческом раннем стихотворении, он оказался в конце своей жизни поручиком, больше ненужным государству, которому он так верно служил».

Лето 1972 года было на всей европейской части России небывало жарким и засушливым, в некоторых районах Центральной России не

выпало практически ни капли осадков. В Москве 1972 год стал единственным, где все три летних месяца были теплее нормы. Засуха в этом году была самой жестокой за весь XX век.

В первое воскресенье августа, 6-го числа, от Центрального дома литераторов в сторону подмосковного Шахматова выехал автобус, битком набитый поэтами. Евтушенко приехал на своей светлой фургонной «Волге». Отмечали очередной день рождения Блока. Праздник устроил Станислав Лесневский. Этому человеку Шахматово во многом обязано своим возрождением и обновлением.

В 1921 году усадьбу Блока сожгли местные крестьяне. Блок записал в дневнике: «Ничего сейчас от этих родных мест, где я провел лучшее время жизни, не осталось; может быть, только старые липы шумят, если и с них не содрали кожу». В медленном, тяжелом возрождении Шахматова участвовали энтузиасты, среди них Илья Глазунов и Владимир Солоухин. В 1969-м Юрий Васильев, художник, привез в Шахматово Семена Гейченко, который подсказал идею установки мемориального магнита, опорной точки блоковского места, и в соседней деревне Осинки Лесневский нашел двенадцатитонный камень, его доставили на поляну. В 1970-м, 9 августа, отметили девяностолетие Блока, открывал торжество старик Антокольский, были Белла и Булат, Алигер, Шагинян, Симонов — многие. Первые три года на блоковском празднике Евтушенко бывал непременно, а за всю его жизнь у него насобирался разбросанный по разным годам, но цельный блоковский цикл: «Когда я думаю о Блоке...», «Меняю славу на бесславье...», «Вам, кто руки не подал Блоку...», «Умиравший Блок», «Блоковский валун». 6 августа 1972-го он читал последнее, только что написанное. Нещадно палило солнце, зрителей собралось очень много, — изнывали от жары, но не расходились.

Взойдите те, кто юн,
на блоковский валун
и с каждым вздохом кожи
почувствуйте, как дрожь
охватывает рожь,
и станьте частью дрожи.

Вся, выгорев, мертва
без трепета трава
и жалко вековует,
и, как ни мельтеши,

без трепета души
души не существует.

В тот день, стоя у раскаленного камня, он сказал, что в России есть только два места, где можно вслух сказать всё, что думаешь, — есенинская могила и Шахматово. Камень с тех пор стали называть Блоковский валун.

По крайней мере к двум историческим валунам Евтушенко имеет непосредственное отношение — там, на Лубянке, и здесь, у Блока. Дать имя камню — это немало.

Дело о спектакле

Четвертого августа 1972 года справку по этому же вопросу направил в Секретариат ЦК КПСС и заведующий отделом культуры ЦК КПСС В. Шауро:

О подготовке спектакля «Протест — оружие безоружных» Е. Евтушенко в театре Драмы и комедии.

В связи с поручением отдел культуры ЦК КПСС сообщает о подготовке Московским театром драмы и комедии спектакля по поэме Е. Евтушенко «Под кожей статуи Свободы». Т.т. Евтушенко и Любимов в 1969–1970 г.г. неоднократно обращались в Главное управление культуры Моссовета и в Министерство культуры СССР с просьбой разрешить им инсценировку поэмы Евтушенко «Под кожей статуи Свободы». В мае 1970 года в Министерстве культуры СССР состоялось обсуждение представленной Евтушенко пьесы по этому произведению. Автору пьесы были высказаны критические замечания, связанные с ее идейной направленностью.

В феврале 1971 года Министерство культуры СССР (т. Воронков К. В.) разрешило руководству театра Драмы и комедии в виде эксперимента (как об этом просил т. Любимов Ю. П.) начать работу над пьесой Е. Евтушенко с последующим представлением окончательного сценического варианта пьесы в Главном управлении культуры, Мосгорисполкома и Министерства культуры СССР.

В июне с. г. театром Драмы и комедии был организован общественный просмотр спектакля «Протест — оружие

безоружных» («Под кожей статуи Свободы»), на котором присутствовали ответственные работники Министерства культуры СССР и РСФСР, Главного управления культуры Мосгорисполкома, МГК КПСС.

На состоявшемся после просмотра обсуждении было обращено внимание т.т. Евтушенко и Любимова на необходимость устранения серьезных идейно-художественных недостатков спектакля, связанных с нечеткостью идейных позиций в ряде сцен. В частности, было предложено исключить из пьесы неопубликованное стихотворение Е. Евтушенко «Карликовые березы».

Отдел культуры ЦК КПСС поддерживает мнение МГК КПСС, изложенное в записке от июля с. г. (прилагается) о необходимости дальнейшей работы театра и автора пьесы над повышением идейно-художественного уровня спектакля.

В связи с вышеуказанным Главное управление культуры Мосгорисполкома приняло решение не включать этот спектакль в репертуар театра до окончания его доработки и показа Главку в начале нового театрального сезона. Вопрос о приемке и выпуске спектакля будет решен в установленном порядке Главным управлением культуры Моссовета и Министерства культуры СССР.

Докладывается в порядке информации.

Читай, читай, читатель! Наслаждайся бюрократическим бумаготворчеством эпохи Евгения Евтушенко.

Что есть поэзия? Святое ремесло. Святое, но ремесло. Стихотворение — не священная корова. Евтушенко заведомо пишет такие стихи, которые можно править. Это не только условие и результат схваток с цензурой-редактурой. Это навык на все случаи жизни. История третьей строки в стихотворении «Жизнь, ты бьешь меня под вздох...» забавна и характерна. Поначалу было:

Жизнь, ты бьешь меня под вздох,
а не уложить.
До семидесяти трех
собираюсь жить.

Потом:

До восьмидесяти трех...

В итоге — пролонгация до бесконечности:

Лет до ста (и к рифме) трех...

Там, кстати, и возраст сына постепенно меняется. «Будет тридцать семь тебе» увеличилось на десять лет. Стихотворение живет во времени в соответствии с временем. В какой-то степени это вообще модель его стихописания.

А в России — засуха. Жара плохо сказалась на Гале. Она слегла. Семья и без того рассыпалась. Он бегал в больницу, подолгу сидел у нее, писал покаянные стихи.

Усталый,
как на поле боя Тушин,
мне доктор говорит
с такой тоской:
«Ей ничего не надо...
Только нужен
покой —
вы понимаете? —
покой!»
Покой?
Скажите — что это такое?
Как по-латыни формула покоя?
О, почему,
предчувствиям не вняв,
любимых сами в пропасть мы бросаем,
а после так заботливо спасаем,
когда лишь клочья платья на камнях?

(«Свидание в больнице»)

Дело о спектакле

Четвертого октября 1972 года в ЦК КПСС направляет письмо замминистра культуры СССР К. Воронков:

<...> После того, как Евтушенко и Любимов добились разрешения провести доработку пьесы в экспериментальной, репетиционной работе, Управление театров высказало автору и постановщику серьезные замечания к пьесе. Евтушенко заверил, что он будет серьезно работать над пьесой и добиваться ее точного решения и звучания.

«Я буду политическим редактором на Таганке», — заявил он.
<...>

По просьбе Евтушенко, в порядке исключения, так как пьеса была им еще не закончена, ему были полностью выплачены деньги за пьесу.

Театр нарушил условия, при которых ему было разрешено начать репетиции пьесы.

<...> 6 сентября т.т. Дупак и Любимов ознакомились в Главном управлении культуры с замечаниями и предложениями по доработке спектакля, а 13 сентября в своих письмах в Министерство культуры СССР и Главное управление культуры сообщили о выполнении замечаний и о генеральной репетиции спектакля, которую они, без предварительного согласования, назначили на 14 сентября. <...>

На обсуждении репетиции, которое состоялось 15 сентября в Главном управлении культуры, постановщику спектакля и автору пьесы было указано на то, что они формально отнеслись к выполнению замечаний и предложений, причем, наиболее серьезные и существенные оказались невыполненными. Вновь было указано, что серьезным просчетом театра является то, что героями спектакля, главными действующими лицами его является компания хиппи. Некоторые сцены пьесы «У статуи Свободы», «Музей Панчо Вильи», «Ужин у Сальвадора Дали», «Монолог Гайаваты» не нашли точного решения, сделаны небрежно, что снизило их политическое звучание. Эти сцены имеют важное идейно-смысловое значение. Не нашла своего верного решения ни в пьесе, ни в спектакле трактовка таких фигур, как братья Джон и Роберт Кеннеди, которая противоречит исторической правде. Еще ранее, при обсуждении пьесы, внимание автора обращалось на то, что он, по существу, находится в плену у

обывательской схемы представления о Джоне Кеннеди как о «высоком человеке», как о Гулливере, связанном и попираемом лилипутами.

В пьесе, по сравнению с вариантом, принятым для экспериментальной работы, многие стихотворения и сцены сокращены. Включены другие стихотворения поэта. Появились новые тексты, не принадлежащие Евтушенко (стихи Пастернака, Окуджавы, цитаты из произведений Джона Донна, Курта Воннегута, евангельская притча о сеятеле, тексты, взятые из газетных и журнальных статей, данные опросов общественного мнения в США). В большей части они не имеют точного адреса. Театру и автору было вновь указано на необходимость продолжения работы над пьесой и спектаклем.

И так далее и тому подобное.

Поскольку дело принимает крутой оборот, Евтушенко вновь направляет письмо Брежневу, подписав его вполне официально — как член правления Союза писателей СССР, член Советского комитета защиты мира.

«Дорогой Леонид Ильич!

В прошлом году в беседе с Е. А. Фурцевой Вы поддержали идею моей совместной работы с Любимовым в Театре драмы и комедии на Таганке над антиимпериалистическим спектаклем «Под кожей статуи Свободы», за что и я, и Ю. П. Любимов Вам бесконечно благодарны. Благодаря Вашей поддержке мы получили возможность работать и в результате напряженной работы всего коллектива создали спектакль на основе поэмы, изданной массовым тиражом в издательстве «Советский писатель», и стихов, ранее опубликованных в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде» и других изданиях.

Спектакль был предварительно просмотрен представителями МГК КПСС, Ждановского РК КПСС, МГК ВЛКСМ, Министерства культуры СССР, Управления культуры Моссовета. Ряд замечаний был учтен автором и театром. Общее мнение было единодушно — спектакль признан идеологически целенаправленным и художественно интересным. Затем по разрешению соответствующих инстанций спектакль был показан с большим успехом партийному активу Ждановского района и трижды — на публике. Управление культуры исполкома Моссовета подписало официальный акт приемки спектакля. Последние замечания были также учтены и выполнены. Однако произошел беспрецедентный случай. Начальник Главного управления театров т. Иванов Г. А., грубо

поправ мнения, высказанные в ходе предыдущих обсуждений, путем грубого нажима запретил выпуск афиши и официальный премьерный спектакль, перечеркнув работу целого коллектива и мою как поэта.

В бытность свою на телевидении т. Иванов всячески препятствовал моим выступлениям на голубом экране и ряду моих поэтических коллег. Только с приходом т. Лапина справедливость была восстановлена, сейчас т. Иванов продолжает заниматься борьбой с поэзией уже на театральном поприще.

Когда наконец будут наказывать людей не только за то, что они разрешают идейно неполноценные произведения, но и за то, что они запрещают произведения, нужные нашему зрителю? Те же самые стихи, которые звучат в спектакле, я читал перед многотысячной аудиторией в США в этом году.

Именно за эти стихи антисоветские подонки подкладывали мне под сцену бомбы и сбрасывали меня со сцены. Может ли обстоять дело так, чтобы за те же самые стихи кто-то пытался сбросить меня с нашей, советской сцены?

В такой искусственно нагнетаемой атмосфере грубого администрирования, ничего общего не имеющего с партийными принципами взаимоотношений с творческой интеллигенцией, работать невозможно.

Дорогой Леонид Ильич!

Зная Вашу занятость, тем не менее я вынужден обратиться к Вам, так как дело идет не просто о моей лично работе, а о работе целого театрального коллектива, отдавшего все силы, чтобы создать яркий антиимпериалистический спектакль, так нужный нашему зрителю.

Прошу Вас помочь разобраться в этом вопросе. Пользуясь случаем, желаю Вам доброго здоровья и долгих лет на благо нашей Родины. Искренне Ваш Евгений Евтушенко.

P. S.

Прилагаю к письму новую книгу, в которую включена поэма «Под кожей статуи Свободы».

Письмо, видимо, возымело действие. Об итогах работы над спектаклем заведующий отделом культуры ЦК КПСС В. Шауро 5 января 1973 года сообщил Секретариату ЦК КПСС:

Тов. Евтушенко обратился в ЦК КПСС с письмом, в котором указал на якобы неправильное отношение начальника Управления

театров Министерства культуры СССР т. Иванова Г. А. к пьесе «Под кожей статуи Свободы» и спектаклю по этой пьесе в Московском театре драмы и комедии.

Отдел культуры ЦК КПСС 4 августа 1972 года информировал ЦК КПСС о ходе подготовки этого спектакля. Позже, в сентябре и октябре прошлого (1972) года состоялось по просьбе руководителей театра еще 2 просмотра готовящегося спектакля, на которых присутствовали работники Министерства культуры СССР и РСФСР, а также Главного управления культуры Мосгорисполкома. Работа над пьесой и спектаклем продолжалась и во второй половине октября 1972 года, как об этом сообщил МГК КПСС (т. Ягодкин) и Министерство культуры СССР (т. Воронков). Спектакль «Под кожей статуи Свободы» был включен в репертуар Московского театра драмы и комедии.

Дело о спектакле

Точнее, Высоцкий — о готовом спектакле:

По поэме Евтушенко «Под кожей статуи Свободы» сделан спектакль, который называется «Оружие безоружных». Это американские стихи Евтушенко, много стихов, лирические стихи шестидесятых годов. Как выяснилось, эти стихи оказались лучше, чем последние. Он даже расстроился.

Этот спектакль очень долго проходил: два года мы над ним работали. И наконец он сделан. Спектакль сделан очень оригинально. Например, нету сцены, опущена глухая стена, на которой написаны всевозможные лозунги по-английски. На авансцене сидят пятнадцать-двадцать наших актеров: они играют американских студентов. Стоят штативы, на которые потом надеваются черепа из папье-маше. Среди этих черепов все происходит: когда тореадор — на них надеваются тореадорские шляпы, когда Раскольников — во все эти черепа топоры воткнуты.

А почему мы взяли такую декорацию? Однажды перед Белым домом была демонстрация протеста студенческая — они протестовали против войны во Вьетнаме, устроили сидячую забастовку. Наставили черепа из папье-маше и между ними разыгрывали действие прямо перед Белым домом. Мы взяли эту

декорацию и в ней разыгрываем стихи Евтушенко.

Первый ряд на этот спектакль не продается. В первом ряду сидят полицейские с дубинками — они наводят порядок. Говорят: «Начинайте!» Начинаются стихи, песни — очень много музыки в этом спектакле. Если кто-нибудь из актеров особенно распоясывается, полицейские бьют его дубинкой по голове и выкидывают прямо в фойе. Но у нас люди тренированные — никто не разбивается. Зрителей не выкидывают, но тоже так, когда кто-нибудь особенно начинает реагировать, они поднимаются с первого ряда, помахивая дубинками, и недвусмысленно намекают, что может произойти и со зрителями то же самое. Поэтому у нас порядок идеальный в этом спектакле.

Алла Демидова, уже в наши дни:

Очень давно, в конце 50-х годов, мы с моей компанией по студенческому университетскому театру поехали на дачу под Москвой. И был костер, потом он стал затухать. Всем было лень идти за хворостом. Вдруг из-за кустов вышел человек в черном костюме и белой рубашке, спросил, почему затухает костер. Ему объяснили. Он ушел на пять минут и вернулся с хворостом. Посидел с нами... Мы тогда не знали, кто это. Я только потом, задним числом поняла, что к нам наведалься Евтушенко...

Много лет спустя в Театре на Таганке репетировали спектакль по его стихам «Под кожей статуи Свободы». Я не была в нем занята, но наблюдала со стороны — он был практически готов и очень мне нравился: такой таганский по духу и очень смелый. К сожалению, его по каким-то причинам запретили, и в репертуар он не вошел. То, что к нам приходили читать свои стихи Евтушенко, Вознесенский и другие ведущие молодые поэты 60-х, то, что они входили в художественный совет «Таганки», формировало вкус и направление театра.

Мне нравятся люди с неординарными поступками. По моим не очень пространственным наблюдениям, Евтушенко как раз этим и отличался. Отличается и до сих пор, вплоть до его ярких пиджаков и кофт, которые мне по душе.

Премьеру сыграли 18 октября 1972 года.

В этот день в Вашингтоне были подписаны Соглашение между

правительством СССР и правительством США о торговле, Соглашение между правительством СССР и правительством США об урегулировании ленд-лиза, взаимной помощи и претензий, Соглашение между правительством СССР и правительством США о порядке финансирования.

Оформил спектакль Боровский, играли Филиппенко, Высоцкий, Филатов, Золотухин, Дыховичный, Бортник, Граббе, Фарада, много молодых артистов, Смехов состоял в режиссерской группе.

Фотография марша протеста американских студентов из журнала «Эпока» перед началом спектакля вывешивается в фойе театра.

Кулаки хиппующих американских студентов стучат о металлическую стену, на которую при помощи магнитов приклепывают фотографии с именами конкретных исторических лиц.

Девушка-подросток с сигаретой в вытянутой руке изображает статую Свободы, декламируя стихи о ней. Она стоймя балансирует на черепе.

Всё происходит рядом с воткнутыми в пол черепами: они и тумбы в ресторане, где поет обнаженная, они и седло для Панчо Вильи, и постамент статуи Свободы.

Попутный постскрипtum. Пока театр празднует громкий успех, 22 ноября 1972 года в укромном уголке «Литературной газеты» можно было прочесть:

В течение ряда лет некоторые печатные органы за рубежом делают попытки использовать мое имя в своих далеко не бескорыстных целях. В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление. Критика моих отдельных произведений, касающаяся их содержания или литературных качеств, никогда не давала реального повода считать меня политически скомпрометированным, и поэтому любые печатные популизаторские истолкования моего творчества во враждебном для нас духе и приспособить мое имя к интересам, не имеющим ничего общего с литературными, считаю абсолютно несостоятельными и оставляю таковые целиком на совести их авторов.

18. XI.72. Б. Окуджава.

Этот текст по просьбе поэта Окуджавы сочинил прозаик Владимир Максимов.

Двадцать седьмого ноября умер Ярослав Смеляков. Удара такой тяжести давно не было.

Ты умер во сне в больнице,
на узкой
чуть вздрогнувшей койке.
И рядом с ночной в изголовье
кремлевская встала звезда.
И спящий твой лоб осыпали
цементом далекие стройки,
и, волосы ветром вздувая,
шли возле щеки поезда.

.....
Прощай, Ярослав любимый!
Бессмысленно плакать,
убого,
но лагерные колючки
слезу выдирают из глаз.
С любимым настоящим поэтом
уходит его эпоха,
но если стихи остаются,
эпоха останется в нас.

(«Смерть бригадира»)

Дело о спектакле

Эхо спектакля дошло до разговора о серьезной поэзии, который состоялся в журнале «Вопросы литературы» (1974. № 2). Статья Владимира Соловьева называлась «Необходимые противоречия поэзии».

Вот современная перифраза прекрасного некрасовского стиха «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — автор этой перифразы, естественно, Евтушенко:

В непоэзии — столько поэзии!
Непоэты — поэты вдвойне.
Разделяют людей не профессии —

отношение к эпохе, к стране.

Евтушенко, кстати, сделал свое дело: благодаря ему произошла самая значительная за последнее время инфильтрация жизни в поэзию — это относится к расширению и тематики и аудитории. В Театре на Таганке Ю. Любимов поставил по поэме Евтушенко спектакль «Под кожей статуи Свободы», и оказалось, что публицистический театр — идеальная форма для стихов Евтушенко, куда более подходящая для них, чем журнальная публикация или книжное издание. Непременное условие поэзии — не глаз, а ухо читателя. Еще точнее — уши читателей; это условие в спектакле Любимова соблюдено и реализовано. Можно вспомнить заодно и эффект устных выступлений Евтушенко, — формула «Поэтом можешь ты не быть...» стала пониматься едва ли не буквально...

ЗАБЕГАННИЕ ВПЕРЕД

Евтушенко еще долго не мог отойти от смерти Ярослава. Он ощутил себя его прямым наследником. Слагались стихи в смеляковском духе — «Рабочий поселок», «Маевка», с теми же настроениями:

Я революцию увижу
в сквозном березовом строю
и революцию приближу
тем, что о ней я запою.

(«Маевка»)

Такие стихи либо исчезают без следа, либо ждут своей достославной патины, подобно державинским одам, которым уже все равно, кто их читает и дадут ли автору драгоценную табакерку. Да и потомку все равно, во что они обошлись автору.

Есть вещи бесспорные. Это когда поэт восклицает:

Маленькая женщина, вперед!
Верь своим трепещущим комочком
не в корысть, не в злобу, не в порок,
а хотя бы просто этим строчкам.

(«Маленькая женщина, вперед!..»)

Им поверит хотя бы учитель — Тарасов — и, вдохновившись, возьмет рефреном для собственных стихов эту, тоже рефренную, строку про маленькую женщину.

Соколову понравилось другое — «Указатель: «К Есенину». Почему бы не посвятить? Тут ведь не скажешь, как есенинский оппонент: нами лирика в штыки неоднократно атакована. Напротив. От нее — никуда.

Наступило, однако, какое-то странное время. Один влиятельный критик назвал свою книгу «Время зрелости — пора поэмы». Сей критик в основном влияет по должности — занимает важный пост в важном издательстве. Но вирус поэмы действительно носится в воздухе.

«Комсомолка» от 3 февраля 1973 года дала статью Владимира Соколова «Поэт и его герой. Заметки о двух новых книгах Евгения Евтушенко»:

Он по складу своего характера поэт быстрых перемен. Иногда мне кажется, что медлительные сдвиги способны заставить его врасплох. Например, возраст. Внезапность сорокалетия. <...> «Поющая дамба» (издательство «Советский писатель») и «Дорога номер один» (издательство «Современник»), вышедшие в минувшем году, — масштабные книги. Стихи вьетнамского цикла и две поэмы «Уроки Братска» и «Под кожей статуи Свободы» — произведения опорные для сегодняшнего Евтушенко.

Спектакль («Под кожей статуи Свободы») обнажает и значительность многих стихотворений поэта, привлеченных к участию в действии.

Появилась «В полный рост», поэма. Ее герой — герой Великой Отечественной войны Саша Матросов, закрывший телом вражеский дот, из которого бил пулеметный огонь. Евтушенко, воздав должное воинскому подвигу, переводит стрелки на детство героя — на его детдомовское сиротство. Ясно, что за этим стоит собственный Петя, боль о нем. Ясно, что автор обобщает, говоря о вселенском сиротстве человечества. О неудавшемся всемирном братстве. Все это входит внешне вполне в контекст военно-патриотического воспитания, и автор приносит поэму Борису Панкину, главреду «Комсомолки», прежнему противнику, соавтору памфлета «Куда ведет хлестаковщина», уже, было дело, повинившемуся перед ним. Панкин решил «поднять уровень» поэмы и еще до печати походатайствовал перед своими кураторами в комсомольском ЦК о выдвижении ее на премию Ленинского комсомола. Евтушенко говорит: «Однако из Секретариата ЦК ВЛКСМ текст вернулся весь исчерканный красным. <...> В конце концов поэму с некоторыми купюрами напечатала «Литературка».

Некоторые купюры — кусок о Солженицыне.

В час, когда резвимся мы, чирикая,
чье перо на укрепленный дот,
истекая под огнем чернилами,
как по полю снежному ползет?

Это (девять таких катренов) и не могло быть напечатано. Что еще за укрепленный дот?

Рифма «чирикая — чернилами», сама по себе новая, — плод старой находки: «чириканье — чернильницу» («Поздравляю вас, мама...», 1957). Это показательно. Опыт, уже богатый, используется вовсю — и в технике стиха, и в тематике, и в наборе идей. Мысль о жертвенности так или иначе пронизывает его стихи многие годы.

В 2000 году Евтушенко отредактировал поэму «В полный рост» — восстановил изъятое цензурой и написал новое, дописав прежнее, в частности — главу об Аркадии Гайдаре, с учетом его лихой биографии и деятельности его внука. Совместимости тканей не произошло: новое торчит как нечто постороннее.

А между тем лучшая, самая сердечная главка — о Четвертой Мещанской, о матери. Она и музыкально свежа.

Старый наш домик
у тополей,
спрячься, как гномик,
и уцелей.
Как-нибудь вывернись,
людям прости
и среди вывесок
вновь прорасти.
По-стариковски,
словно привет,
высунь авоськи
на шпингалет.
Выкрутись, выживи
и навсегда
с мокрыми, рыжими
сосульками льда,
снова — с девчоночками
в кошачьих манто,
снова — с бочоночками
лото,
с хриплым Утесовым
за стеной,

с гадким утенком —
то есть со мной.
Самый мой, самый,
выжить сумей,
главное — с мамой,
с мамой моей...

Замечательное шаманство, род заклинания, тот ритмический напор, который спасает самые длинные его стихи, вызванные чаще всего дорожными впечатлениями. Это особенно очевидно в таких вещах, как «Токио»: Евтушенко оказался в Японии как спецкор «Огонька» в июне. «Токио» выстроено на самом этом слове — «Токио», подобно тому, как «Гранд Каньон» наращивался на топониме, столь богатым фонетическими возможностями. Ритмическая свобода равна безграничной изобретательности в рифмовке. Евтушенко воспользовался свободой, которую через не хочу за ним признали критики: мол, рифмуй как знаешь, пусть это будет исключением из правил. Посему слово «Токио» можно зарифмовать и с «толпами», и с «тикая» — это твое, евтушенковское. От длиннот читатель не устанет хотя бы потому, что поэт предлагает ему всё новые и новые звуковые ходы, не говоря уже о сверхнасыщенном изобразительном ряде.

Это произошло в Японии. Он увидел лицо старой японки, сливающееся с деревом так, что ее морщины передались дереву. Он попросил фотожурналиста, его сопровождавшего, дать ему фотокамеру щелкнуть ее. На следующий день вышел журнал с этим снимком на обложке и подписью: фото русского поэта Евгения Евтушенко. Ему там подарили *Nikon*, с которым он не расстанется до сих пор.

Но фотокамера, заключенная в нем самом, непостижимо работоспособна. Когда он успевает все это заметить и зафиксировать? Вот почему его трудно цитировать. Невозможно выбрать лучший из кадров, тем более что они слитно мелькают вперемешку, уравненные в правах как объект какого-то общего наблюдения.

Неблагополучие благополучного общества поражает его не впервые.

Что ты плачешь,
капиталист,
пьяный Савва Морозов из Токио?

(«Удача-сан»)

Душа похожа на пустой рукав нищего, который лижет, привстав на задних копытцах, рыжий олень возле буддийского храма. Нет, это не луколинский пафос жертвенности в плане возвращения с войны: лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустою душой. Япония, азиатский тигр, головокружительно рванула вперед, неся на шкуре страшный ожог Хиросимы и пятна от суицида камикадзе.

Япония надолго запала в него. Продолжение встречи не преминет произойти.

Он еще заглянет на Филиппины, на Гавайи и вернется домой — через Монголию, по реке Селенге, а затем — новая экспедиция: по реке Вилюй.

С метафорами он не мудрит, главная — *кривой мотор*, при помощи которого всё и происходит: движение судна, жизнь экипажа, ежесекундная опасность, ожидание будущего. С таким двигателем далеко не уйдешь, ан ушли, и очень далеко, через всю Сибирь с юга на север, пока не напоролись на камень, и мотор сорвался, пропал в водовороте, так и должно было быть.

И все мы вшестером
чуть не рыдали вскоре
о нашем, о кривом
товарище-моторе...

(«Прощание с кривым мотором»)

Сколько можно написать ответственному стихотворцу за один день законченных вещей, достойных публикации? Плодовитость — не то слово: 23 августа, например, это — пять названий. Стихотворения большие, то есть длинные.

Одно из них — «Отцовский слух».

М. и Ю. Колокольцевым
Портянки над костром уже подсохли,
и слушали Вилюй два рыбака,
а первому,
пожалуй, за полсотни,
ну а второй —
беспаспортный пока.

Отец в ладонь стряхал с щетины крошки,
их запивал ухой,
как мед густой.
О почерневший алюминий ложки
зуб стучался —
случайно золотой.
Отец был от усталости свинцов.
На лбу его пластами отложились
война,
работа,
вечная служивость
и страх за сына —
тайный крест отцов.
Выискивая в неводе изъян,
отец сказал,
рукою в солнце тыча:
«Ты погляди-ка, Мишка,
а туман,
однако, уползает...
Красотища!»
Сын с показным презреньем ел уху.
С таким надменным напуском у сына
глаза прикрыла белая чуприна —
мол, что смотреть
такую чепуху.
Сын пальцем сбил с тельняшки рыбий глаз
и натянул рыбацкие ботфорты,
и были так роскошны их заверты,
как жизнь,
где вам не «кóмпас», а «компа́с».
Отец костер затапывал дымивший
и ворчанул как бы промежду дел:
«По сапогам твоим я слышу, Мишка,
что ты опять портянки не надел...»
Сын перестал хлебать уху из банки,
как будто он отцом унижен был.
Ботфорты снял
и накрутил портянки,
и ноги он в ботфорты гневно вбил.

Поймет и он —
вот, правда, поздно слишком,
как одиноки наши плоть и дух,
когда никто на свете не услышит
все,
что услышит лишь отцовский слух...

Как ни странно, это ведь гумилёвский мотив: «Кричит наш дух, изнемогает плоть, / Рождая орган для шестого чувства». Этого мало. Милая вещица «Родной сибирский говорок» — на следующий день, 24 августа. Может быть, это и есть евтушенковский ответ на упреки в многописании?

Пока он гулял по Сибири, «Комсомолка» от 17 августа 1974 года поместила его статью «Поэт и его дорога». Это была реплика в споре, который вел неутомимый спорщик Вадим Кожинов с очередным оппонентом, настаивая на существовании «тихой лирики», каковая и есть истинная поэзия. Шкала и школа.

Кожинов, активный критик, в критиках себя не держал, самоименуясь не без оснований литературоведом. Это был образованный филолог, глубокий знаток отечественного стихотворства. По иронии судьбы как ученый он начинал с прозы, а именно — с европейского романа; первым героем его штудий и пристрастий был Маяковский. Он был человек резких поворотов, неожиданных самообновлений. Маяковского в его мире напрочь вытеснил Тютчев. На этом великолепном фундаменте он выстроил свою картину текущего стихотворства. Имена его поэтов были стоящими. Владимир Соколов, Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Юрий Кузнецов, Олег Чухонцев, Анатолий Передреев. Другое крыло современной поэзии безоговорочно отсекалось. Лучшим словом, найденным им для Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и Андрея Вознесенского, было *беллетристика*. Стихотворная беллетристика. Александр Межиров, которого в статье 1960 года Кожинов счел блоковским преемником, трагическим поэтом, потерял такие права в результате, как кажется, очищения рядов от инородных элементов. Непонятно, правда, как быть с такими именами, как высокоценимые Афанасий Фет или Александр Блок. Но Кожинов не примитивный расист, он отстраивает такой тип нерушимого государственничества, в который фигура поэта входит на правах независимости духа. Как это совмещается, представить затруднительно.

Однажды, сидя за столиком Центрального дома литераторов в Цветном кафе, Кожинов прокомментировал евтушенковский пробег по кафе:

— Посмотрите, какая у него маленькая головенка. Луковка!

Это физическая ненависть.

Евтушенко писал: *«Кожинов подсаживал на пьедестал главы школы поэта Владимира Соколова, конечно, не по просьбе поэта, в таком пьедестале не нуждающегося, о чем без обиняков говорят сами его стихи. Однако Марченко (кожиновский оппонент в том споре. — И. Ф.) пытается доказать не иллюзорность такого пьедестала, а иллюзорность самой поэтической репутации одного из наших лучших поэтов. Поэт, собственно, забыт со всеми своими поисками, болью, а его стихи становятся в руках одного критика лишь средством что-то доказать другому критику»*.

Евтушенко был еще в Сибири, когда случилось первое 11 сентября — чилийский путч, гибель президента Сальвадора Альенде. Транзистор трудился исправно, и уже не первую неделю эфир был полон чилийскими новостями: забастовки водителей грузовиков, демонстрации протеста, марш женщин с пустыми кастрюлями. Когда на улицах Сантьяго горели на кострах его книги, умирающий от лейкемии и горя Пабло Неруда диктовал последние строки книги «Признаюсь: я жил»:

Вся деятельность Альенде, имеющая неоценимое значение для чилийской нации, привела в бешенство врагов освобождения Чили. Трагический символ этого кризиса — бомбардировка правительственного дворца. Невольно вспоминается блицкриг нацистской авиации, совершавшей налеты на незащищенные города Испании, Великобритании, России. То же преступление свершилось в Чили: чилийские пилоты спикировали на дворец, который в течение двух столетий был центром политической жизни страны.

Я пишу эти беглые строки — они войдут в мою книгу воспоминаний — три дня спустя после не поддающихся здравому смыслу событий, которые привели к гибели моего большого друга — президента Альенде. Его убийство старательно замалчивали, его похороны прошли без свидетелей, только вдове позволили пойти за гробом бессмертного президента. По версии, усиленно распространявшейся палачами, он был найден мертвым и, по всем признакам, якобы покончил жизнь самоубийством (эта версия подтвердилась недавней экспертизой. — И. Ф.). Но зарубежная печать говорила совсем другое. Вслед за бомбардировкой в ход были пущены танки. Они «бесстрашно»

вступили в бой против одного человека — против президента Чили Сальвадора Альенде, который ждал их в кабинете, объятый дымом и пламенем. Они не могли упустить такой блестящей возможности. Они знали, что он никогда не отречется от своего поста, и потому решили расстрелять его из автоматов. Тело президента было погребено тайно. В последний путь его провожала только одна женщина, вобравшая в себя всю скорбь мира. Этот замечательный человек ушел из жизни изрешеченный, изуродованный пулями чилийской военщины, которая снова предала Чили.

Чили срифмовалась с Вьетнамом, неразгаданная Япония все еще существовала в сознании, всё связалось в один узел и стало романом «Ягодные места», начатым Евтушенко еще в августе.

Мы неизбежно забежим вперед.

Роман существует в четырех бумажных вариантах: первый — журнальный («Москва», два осенних номера 1981 года с вводным словом Валентина Распутина), первое книжное издание — в «Советском писателе», в бумажном переплете, стотысячным тиражом, который разошелся в том же 1982-м, когда вышел. В третий раз роман увидел свет в 2006-м. Тогда появились в твердых обложках, одинаково и хорошо оформленные два тома Евтушенко (издательство «Зебра Е») — «Шестидесантник» (с подзаголовком «Мемуарная проза») и «Ардабиола» («Ранняя проза»). Тираж — три тысячи экземпляров.

«Роман «Ягодные места» проходил очень трудно. Сначала он был отвергнут еще до цензуры двенадцатью редакциями, включая «Юность». Редактор «Нового мира» Наровчатов предложил снять главу о коллективизации, а когда я отказался, покачал головой:

— Эту главу цензура ни за какие коврижки не пропустит. Вы что, не понимаете, Женя, что вся политика партии по отношению к деревне выглядит в этой главе как абсурд. А я все-таки член партии... Снимите эту главу, тогда я берусь попробовать напечатать роман...

Я отказался. Кто-то однажды неглупо пошутил, что прогресса добиться невозможно без помощи реакции. У главного редактора журнала «Москва» Михаила Алексеева в либеральных кругах была репутация «реакционера». Но я знал, что он человек деревенский и глубоко переживает трагедию российского крестьянства. Он оказался решительней Полевого и Наровчатова. Когда роман был набран в «Москве», цензура сначала пыталась искорезжить его, может быть,

надеясь на то, что я вспылю, откажусь от поправок, и тогда они смогут свалить конфликт на мою неуступчивость. Алексеев тяжело вздохнул, разводя руками, после того как однажды вернулся после очередного «собеседования» с начальником всесоюзной цензуры Романовым:

— Знаешь, в Германии я видел соревнование ломовых лошадей — битюгов. На телеги, у которых колеса, представь себе, были на резиновых шинах, добавляли по одной бетонные плиты. Когда битюг останавливался, не в силах дальше тянуть телегу, он выбывал из соревнования. Так и я, кажется, уже больше не могу тянуть твой роман. Ты уж прости. Вот если бы Распутин написал предисловие...

С Распутинным мы тогда нежнейше дружили, и он ходил на все мои поэтические вечера в Иркутске. Я любил и люблю его уникальный народный талант. Тогда я никогда не замечал в нем агрессивного национализма, среди его друзей был мой близкий друг Тофик Коржановский. Валя восторгался прозой Фолкнера. <...> Вскоре после разговора с Михаилом Алексеевым я вылетел в Сибирь на похороны дяди и попросил Распутина прочесть роман, а если он ему понравится, написать предисловие. Через три дня, когда я возвращался через Иркутск в Москву, Валя уже написал предисловие, защищающее роман. С таким мощным щитом Алексееву удалось-таки его пробить, хотя и с потерями. В частности, «вырезали» историю о коте-похитителе...

А то, что случилось с самим Валентином Распутинным, когда его зверски избили мародеры, стягивая с него джинсы, во дворе его собственного дома в Иркутске, нашло отражение в метафорической повести «Ардабиола».

В раннюю прозу был отнесен роман «Ягодные места». Изменений он не претерпел. По-прежнему в начале стоял «Эпилог», в конце — «Пролог». Правда, у «Эпилога» появился эпиграф: «Бёленько тебе...» Пожелание сибирских женщин при стирке. Эпиграф этот неожиданно аукнулся почти в конце повествования — в рассказе геолога Юлии Вяземской о Вьетнаме: «Рядом с колодцем деревянная колода, а в ней несколько старух-вьетнамок белье стирают. Проводит снаряд или бомба неподалеку ухнет, а они даже головы не поднимают. Стирают, как будто это самое главное дело, а остальные дела, в том числе и война, — второстепенные».

В последнем на сегодня издании романа 2008 года преждевременный эпилог исчез, а с ним и эпиграф: переключка сибирской и вьетнамской стирки в замысел автора, видимо, не входила. Исчезла из «Эпилога» и первая, лермонтовская, строчка, замыкающая и «Пролог» (который так и остался в конце романа): «По небу полуночи ангел летел...»

Любит Евтушенко слово *пролог*. Если говорить его поздним языком, избилующим неологизмами, его творчество *проложисто*. Всегда обещание.

Геологическая партия — это по-своему суверенный мир. Есть цель — найти минерал касситерит. Начальник экспедиции Виктор Петрович Коломейцев одержим этой задачей. Личная жизнь отодвинута или происходит редкими вспышками. Коломейцев даже не знает, что совсем рядом, на Белой Заимке, появился его младенец-сын. Вся небудничная жизнь партии переполнена чувствами и страстями. Давно любит Коломейцева его коллега Юлия Вяземская, смирившись с навязанной ей ролью «своего парня». Экзальтированная любовь калеки Кеши к поварихе Кале на фоне великолепно выписанной автором природы теряет в драматизме, герои сентиментально «пробалтывают» ее. И тут уж впору ухватиться за смертельный маршрут, который затевает Коломейцев, получив приказ свернуть экспедицию.

Возможно, в образ Коломейцева и его жизненный путь, вплоть до рождения неузнанного сына, Евтушенко вкладывает образ собственного отца, перевернув его с ног на голову: мягкий характер — на каменную нестигаемость, любвеобилие — на бесчувственность.

Последняя редакция романа начинается с портрета ягодного уполномоченного Тихона Тихоновича Тугих, который «деятельно сновал около обшарпанного грузовика с откинутыми бортами, мешая своими ценными указаниями грузчикам, взваливавшим в кузов пустые деревянные чаны для ожидаемых ягод, мешки с сахаром, новенькие цинковые ведра с еще не отодранными наклейками» — утварь, которую, случись у романа теперешний молодой читатель, он и в глаза не видал, как и фигурирующих в романе коробов, туесов и ковшей. Даже стограммовые граненые стаканчики из обихода ушли. В подробностях Евтушенко, как правило, интересен и знающ.

А для семидесятых отправка грузовика в тайгу описана динамично и достоверно. Собираются будущие попутчики, их не так много, но каждый из них по ходу действия обрстет биографией с включенными в нее нужными автору для повествования людьми, начинает размышлять, вспоминать важные для себя моменты — число персонажей, которые пока за кадром, так или иначе причастные к этому движению, начнет прибывать в геометрической прогрессии.

За баранкой сидит шофер Гриша, роль его в романе эпизодическая, но сама функция важная: производить движение. Рядом с ним сидит таежная красавица Ксюта с только что народившимся ребенком на руках. Она едет

«броситься в ноги» отцу, который выгнал ее, узнав, что она беременна. Отец ребенка не знает ни ее имени, ни того, чем обернулась гроза, от которой они скрылись знойным летом в стоге сена. Он — начальник экспедиции. Его пути с Ксютой больше не пересекутся.

В кузове сидят ягодный уполномоченный, старичок-грибничок и геологический парень с сумкой «Аэрофлот».

История Ксюты наводит уполномоченного на личные воспоминания: повествование, фокусируясь на нем, возвращается в прошлое, в 1920-е годы. Он, тогда комсомолец Тиша, «брошен на раскулачивание мироедов в верховьях Лены».

Он не в силах помешать раскулачиванию зажиточных Залоговых, любя Дашу, девушку из этой семьи, и тайно встречаясь с ней.

Евтушенко кинематографически эпичен:

«Первой на баржу вошла старуха Залогина с иконой, следом сыновья и невестки с мешками, в одном из которых визжал поросенок, двое мальчишек тащили самовар, а глава семьи нес под мышкой застекленное собрание семейных фотографий. Севастьян Прокофьевич сказал, встав на носу баржи: «Не поминайте лихом!» — и баржа двинулась. Никто ни из провожающих, ни из залогинской семьи не плакал — все было отплакано под самогон да под заколотую телку. Тиша смотрел с берега на баржу. Видел, как трепыхается вдали Дашин платочек, и ему не хотелось жить. На воде у берега еще некоторое время покачивались перья, ссыпавшиеся с залогинских подушек, потом их снесло течением...

Тиша решил отойти от общественной жизни, подался на лесосплав в Саяны, абы куда подальше, старался забыть про все, что случилось в Тетеревке, но выковырять чувство вины не мог. В одной из редко попадавших на лесосплав газет Тиша прочел дотоле неизвестное ему слово «перегиб» и подумал: какое это верное слово, но только ничего из того, что перегнуто, уже обратно не разогнешь. Однажды, перепрыгивая с бревна на бревно и распахивая багром образовавшийся на реке залом, Тиша оскользнулся. Его сильно сдавило бревнами. Покалечило. Много он сменил работ, но почему-то все больше по части заготовок, пока, наконец, не стал ягодным уполномоченным, в котором нельзя было узнать прежнего Тишу.

Жену Тихон Тихонович выбрал из торговой системы — удобную для семейного достатка. Детей у них не случилось, любви больше тоже не было...

Хотя никакой вины перед стариком Беломестных за Ксюту у Тихона Тихоновича не было, он побаивался разговора с ним. Как будто предстояло

держат ответ перед стариком Залогиним за Дашу. Грузовик с ягодным уполномоченным, с его перепутанными мыслями о прошлом, с «эссенцией», обнятой его милицейскими галифе, с Ксютой и ее безотцовным ребенком, со старичком-грибничком, с геологическим парнем и шофером Гришей двигался по направлению к Белой Заимке.

А места вокруг были красивые — одно слово, ягодные места».

Основные трудности в борьбе с цензурой Евтушенко претерпел как раз на местах отнюдь не ягодных: на теме раскулачивания.

Весьма непросто второй пожилой пассажир грузовика: «...сам старичок-грибничок, в миру Никанор Сергеевич Бархоткин, был вроде художника, но говорить об этом не любил». К теперешним семидесяти пяти за плечами у него были белые, запоровшие на его глазах насмерть двух земляков-зиминцев, и он ушел к красным. Когда вернулся в Зиму, советская власть установилась окончательно, а отца его к тому времени расстреляли за сотрудничество с белыми. Потом ему припомнили царские портреты, которые он рисовал мальчишкой, расстрелянного отца, службу в белой армии.

«На долгий срок оказался он на Дальнем Востоке — сначала работал на лесоповале. Потом на строительстве железнодорожной ветки, и если что рисовал, так только лозунги и плакаты, от портретов якобы по неспособности отказывался. Много хороших людей попадалось там Никанору, и немало умных разговоров пришлось ему выслушать где-нибудь у костра».

Среди этих хороших людей оказался пленный японец, Курода-сан, художник, родом из Хиросимы (куда уже была сброшена бомба). Куроду и Никанора отпустили по домам. Рисунки, сделанные японцем в России, на родине у него отобрали. В Хиросиме погибли все его близкие. Никанор занялся выгодным делом — рисовал лебедей на клеенке. Заработал на постройку дома. Семью заводить не стал, решил, что поздно. Однажды Курода напомнил ему о себе — прислал альбом с репродукциями и письмо.

«Никанор Сергеевич ожидал увидеть в книге старые, знакомые ему рисунки, но не нашел их, а увидел репродукции новых картин Куроды, где были изображены люди, бегущие по улицам в отблесках кровавого пламени, груды искореженных тел, широко раскрытые от ужаса глаза детей, и понял, что это Хиросима.

Никанор Сергеевич посмотрел еще раз на картины Куроды, потом на своих лебедей...<...> хуже не было для него момента, когда где-нибудь в крестьянской избе натыкался он взглядом на своих лебедей, гордо изгибающих шеи на фоне кипарисов...»

В романе действуют двадцатилетний Сережа Лачугин и его одноклассник школьный поэт Костя Кривцов, от школы их отделяют всего два-три года, юношеский опыт еще не вытеснен взрослой жизнью.

«В квартире Лачугиных Кривцов сначала растерялся перед царством книг. <...>

— Полные комплекты «Весов» и «Аполлона» — это редкость. Я, конечно, знал, что такие журналы были, но в руках еще не держал... Ого, «Камень» Мандельштама... А я за одноклассником Мандельштама всю ночь простоял в Лавке писателей. И не досталось. Все-таки я его добыл на Невском за полсотни у спекулянтов.

— Откуда у тебя такие деньги, Кривцов? — поразился Сережа.

— А я у мебельного магазина подработал — стулья, столы и шкафы таскал с одним парнем на пару. Тахта одна попалась зверски тяжелая... Но Мандельштам у меня зато теперь есть...

— А тебе его стихи нравятся?

— В чем-то он меня разочаровал. Не мой поэт. Но писал сильно. Знать надо все, чтобы не повторять.

— А кого ты из современных поэтов любишь, Кривцов?

— Пушкина.

— Нет, ты меня не понял, я про современных спрашиваю.

— А он и есть самый современный.

— Нет, я про современных, в смысле — живых.

— А он и есть самый живой.

— А Вознесенский?

— Здорово пишет. Я так не умею. Но и не хочу так. У него женщину в машине бьют, а он красивые образы накручивает: «И бились ноги в потолок, как белые прожектора». Если при тебе бьют женщину, надо дать подлецу в морду, а не ногами любоваться.

— А Евтушенко?

— Это тоже уже пройденный этап. Смотри-ка, у тебя все первые издания Гумилёва. Я его не читал — его ведь не переиздают. Ух ты, здорово:

*В оный день, когда над миром новым
Бог свое лицо склонил, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.*

Чем-то с Маяковским перекликается:

Я знаю силу слов, я знаю слов набат...

Там особенно крепко в конце: «И подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки...» Какое «з» — прямо как металл звенит! А дальше у Гумилёва хуже. Красивовато слишком. Впрочем, у Блока тоже много плохих стихов. «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук» — это же обыкновенная пошлятина. «Скифы» — вообще не русские стихи. Мы не скифы и не азиаты. А что-то другое. Зато «Вольные мысли», «Возмездие», «Двенадцать» — это да! А вот у Ахматовой плохих стихов совсем нет. Но Цветаева мне все равно нравится больше. У нее все вибрирует, как в башне высоковольтного напряжения. Ее одноклассник мне на три дня дали, я три ночи не спал, на машинке перепечатывал. Отец мне машинку купил на заводскую премию. «Может, из тебя чего получится», — сказал.

— А из тебя получится? — спросил Сережа осторожно.

— Не знаю, — вдруг смертельно побледнел Кривцов. — Мне уже много лет — целых шестнадцать».

Таковые разговоры происходят на страницах таежного романа. Возникший по ходу текста в прозаике Евтушенко эссеист Евтушенко не удержался от изложения взглядов поэта Евтушенко.

Задача геологической экспедиции в романе — найти касситерит. Роман заканчивается эпизодом находки минерала. Правда, за концом повествования следует «Пролог», посвященный Циолковскому. По сути отдельная замечательно и достоверно написанная новелла в том, что касается ученого. Но автор отдает дань предпостмодернистскому времени — вносит сюда сюрно-фантастический элемент: во времена Циолковского Землю посещают два космических путешественника, посланные Галактикой Бессмертных, супружеская пара Ы-Ы и Й-Й. Они одобрительно наблюдают за каждым шагом Циолковского, и он своей сущностью внушает им уверенность в благополучном будущем планеты...

«Ы-Ы и Й-Й нежно прижались друг к другу, и от их соприкосновения молниеносно родилась третья крохотная блеска — их ребенок, знавший уже больше, чем они. Ы-Ы и Й-Й подхватили новорожденного галактианина и понесли вместе с ним на свою далекую родину.

Циолковский шел домой мимо коров, возвращающихся с луга, и слушал мерное побрякивание их колокольцев... Он вообще прекрасно слышал, но об

этом мало кто знал (оригинальная гипотеза. — И. Ф.).

...Это будет совсем другая цивилизация, другое человечество. Они совсем по-новому оценят красоту земли, вкус каждой ее ягоды...»

Серезжа и Кеша, местный участник экспедиции, находят касситерит, забывая впопыхах приبلудный транзистор, из которого «радио над Буйным перекатом продолжало комментировать международные события...». Из передачи сообщений явствует, что идет середина августа 1973 года. За этой главой следует глава о Чили, где разворачиваются события, повторяемые мировым эхо...

«Для Кеши и Серезжи, карабкающихся по таежным скалам в гудящих тучах мошки, вопрос жизни или смерти их товарищей был сейчас главным событием человечества, и кто бы мог их в этом обвинить? Мошка, забивающаяся в ноздри и уши, была для них реальностью, а самолет, летящий высоко над тайгой, где в руках пассажиров шуршали газеты со всеми якобы главными событиями мира, был только голубым непостижимым видением.

Кеша и Серезжа, обламывая ногти о зазубрины скал, вылезли на вершину горы и обессиленно упали ничком. Когда они посмотрели вниз, то увидели Вороний перекат. Он был похож на водяное кладбище, а его мрачные валуны высились как надгробья. Вокруг валунов были белые кольца пены, сверху казавшиеся застывшими. Сквозь ветер, свистевший на вершине, шума реки не было слышно, и было даже трудно понять, движется она или не движется. Берег был пуст или казался пустым...»

Описание перекатов и форсирование геологами смертельно опасной реки — из лучших страниц этой вещи. Это было подготовлено стихами, написанными на Вилюе 21 августа 1973 года:

Смерть-Вилюй,
где люди — рыбам закусь.
Жизнь моя
лодчонкой сикось-накось
прет по пьянкам с матом
и похмельям,
как по перекатам
и по мелям,
по чужим и собственным порокам,
как по перекатам
и порогам.

(«Кривой мотор»)

Касситерит найден. Что дальше? Финал открыт, ответа нет.

Евтушенко набивает роман бесчисленными персонажами и всеми проблемами времени, мучающими его в данную секунду истории. Голубика произрастает на интеллигентской элоквенции некоторых персонажей, в частности «западника» и «славянофила». Несочетаемое сочетается, но условно — верить в правду этого романа может лишь тот читатель, кто заранее настроит себя на чтение поэта Евтушенко, творчество которого он принимает со всеми чертами чисто евтушенковской эклектики. Чужому читателю здесь нечего делать. В пользу этой прозы можно смело сказать — порой она превосходна безотносительно к тому, что ее пишет лирик.

«Вышедший в «Роман-газете» двухмиллионным тиражом роман был мгновенно распродан. Он был переведен на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, шведский, финский, норвежский, китайский, корейский и вышел в финал премии имени Хемингуэя вместе с победившим в последний момент романом замечательного перуанского писателя Марио Варгаса Льосы. Но и такое «поражение» было для меня, как для дебютанта прозы, большой честью».

Евгений Сидоров в своей книге «Евгений Евтушенко. Личность и творчество» (первое издание — «Советский писатель», 1987) говорит:

Роман поначалу не вызвал споров в критике. О нем одобрительно высказывались прозаики Валентин Распутин («Москва», № 7, 1981) и Георгий Семенов («Литературная газета», 1 января, 1982), критик Юрий Суровцев («Литературное обозрение», № 6, 1982). Книгу перевели на иностранные языки. Но в конце восьмидесят третьего вышел обширный и резкий отзыв в журнале «Вопросы литературы» (1983, № 10)... Статья В. Кардина «О пользе и вреде арифметики» изобилует точными фактами, изобличающими роман «Ягодные места». Но она неточна по интонации. В литературе же (в том числе и в критике) факты без верной интонации ничего не решают.

Филиппики В. Кардина по поводу языковой фальши романа Е. Сидоров частично разделяет, но говорит о сознательной подмене (у В. Кардина) авторской речи, не столь уж и ядреной, чрезмерно колоритным языком персонажей. Сказано в точку:

Евтушенко, на мой взгляд, нет нужды настойчиво доказывать читателю, что он свой, «зиминский корень». Но ему совершенно необходимо доказать, что он прозаик не хуже иных «деревенщиков», а вот это уже утопия. Фантастическая попытка сесть с ходу не в свои сани.

Местного колорита действительно многовато, и язык евтушенковских сибиряков («чо», «ничо», «чобы», «ишо») несколько утомляет.

А в стихах эта речь звучит легко и весело:

Когда истаивает свет,
то на завалинке чалдоночка
с милком тверда, как плоскодоночка:
«Однако спать пора — темнет...»
А парень дышит горячо.
«Да чо ты, паря? — «Я ничо»...»
«Ты чо — немножечко того?
Каво ты делаешь?» — «Никаво».
«Ты чо мне, паря, платье мяшь?»
«А чо — сама не понимать?»

(«Родной сибирский говорок»)

Но — о чем же тогда писал Валентин Распутин, безусловный эксперт по всем, что называется, спорным вопросам романного приключения Евтушенко?

К сожалению, мы (как писатели, так и читатели) привыкли уже в литературе не только к устойчивым определениям жанров, но также и к неподвижным и малоподвижным формам жанров, когда роман, по нашим представлениям, может существовать лишь написанным по таким-то законам и единствам, повесть — по таким-то и рассказ — по таким-то... Этот роман невозможно втиснуть в прокрустово ложе привычного и замкнутого представления о романе... Я бы назвал «Ягодные места» агитационным романом в лучшем смысле этого слова.

Раз уж мы безнадежно забежали вперед, для завершения сюжета о

«Ягодных местах» приведем и эти слова Валентина Распутина — из статьи «Слышу гул подземной Руси...» (Завтра. 1997. № 10):

Раскол был неизбежен — как и при всякой революции. Он вызывался антинациональной направленностью событий 89–91 годов. Если одна часть литературы, космополитическая, откровенно издевалась над всем национальным и даже над русским именем, а вторая составляла содержание и дух этого национального — какое тут может быть братание?! По телевидению была устроена бессменная вахта черниченков и евтушенков, чтобы ни на минуту не умолкал поток проклятий по адресу советского и русского... Раскол в литературе был неизбежен и, думаю, полезен...

Мы вновь упираемся в проблему литературной дружбы. На Вилую было нормально, по-мужски, без выкрутасов и выходов; даже Целков, богема и бирюк, которого трудно поднять с места, охотно тянет свою часть общей лямки. В литературной среде всё иначе.

В октябре 1973-го Евтушенко пишет стихи, обращенные к Василию Аксенову. Когдато они шли плечом к плечу, нераздельно, вплоть до членства в редколлегии «Юности» и в списке критикуемых. Свою «Москву-Товарную» в уже далеком прошлом Евтушенко часто читал на публике так: вместо «у них дискуссии и тут во всем размахе: о кибернетике, о Марсе, о Ремарке» — «о кибернетике, Аксенове, Ремарке». Это не отменяло его собственных прозаических амбиций, но Аксенов на поприще прозы для него был остросовременным автором номер один. Евтушенко не делил литературу на городскую и деревенскую, однако Аксенова воспринимал как русского европейца, если не американца (о, любовь к джазу!), джентльмена с ног до головы. Не могла не привлекать аксеновская жизнь, в которой были горькое детство, арестованные родители, героическая мать, магаданская страница отрочества-юности, мужское обаяние, элегантность и стильность одежды и поведения, а прежде всего — подлинный талант, острейшее чувство языка, традиционно-литературного и разговорно-современного.

Мне снится старый друг,
который стал врагом,
но снится не врагом,
а тем же самым другом.

Со мною нет его,
но он теперь кругом,
и голова идет
от сновидений кругом.

(«Старый друг»)

Впрочем, есть предположение, что это — о Луконине...

Сорокалетие оказалось поистине строгой порой. Старые дружбы трещали по швам, новые сближения не приносили ожидавшихся плодов. Отношения с Бродским перешли в предгрозовую фазу.

Тридцатого сентября 1973 года Роберт Конквест напечатал в «НьюЙорк таймс» статью «Печальный случай Евгения Евтушенко». Серьезный советолог и литературный критик смотрит на поэта сугубо политико-социологически — о качестве евтушенковского стихотворства речи нет. Мысль Конквеста проста и не нова для Запада, но в США, пожалуй, артикулирована впервые. Советские писатели, недолго процветавшие при хрущевской оттепели, в определенное время выбрали два пути: молчаливо-оппозиционный солженицынский — и евтушенковский, означающий осторожную надежду и вялое стремление влиять на какие-то вопросы, пребывая на харчах хорошо вознаграждаемого сотрудничества с властями. Статья Конквеста произвела на Евтушенко гнетущее впечатление, и чуть не первое, о чем он спросил Бродского при скорой встрече: читал ли он эту статью? Нашел кого спрашивать.

Существует письмо Евтушенко Бродскому 1973 года. Оно недописано, оборвано на полуслове и, естественно, не отправлено. Нам важно увидеть, как мыслил эти отношения Евтушенко, как он хотел их выстраивать.

«Дорогой Иосиф!

Мы уже не виделись с тобой больше года. Не знаю, согласишься ты или нет, — твой отъезд был для меня огромной потерей — и человеческой, и литературной. Я хочу сказать этим, что, во-первых, я как-то очень близко стал чувствовать тебя в последнее время по-человечески, а во-вторых, конечно, наша поэзия сразу потускнела, потому что твое присутствие даже при трагическом непечатании стихов все время сильно ощущалось. Теперь ты далеко, и я даже не знаю где, — кажется, в Венеции (и мое письмо к тебе будет идти через многие руки). Женя Рейн <...> не успел мне показать твое последнее письмо со стихами и говорил, что они очень печальные. Впрочем, разве они были веселыми в России? Женя очень точно

сказал мне, что твой отъезд из России — это замена одного вида трагедии — другим. Кстати, о Жене: ты, конечно, понимаешь, но все-таки, видимо, не представляешь, до какой степени он тебя любит и каким горем для него был твой отъезд. Из него как будто что-то вынули. На счастье, он человек по природе жизнелюбивый. Мы очень с ним сдружились со времени твоего отъезда, и он провожал меня в Японию. <...> Я по-прежнему с маниакальной настойчивостью добиваюсь создания нового журнала «Мастерская» (= «Лестница». — И. Ф.). Я хочу, чтобы Женя заведовал там поэзией — он идеальный для этого человек. М. б., мне удастся этот журнал все же получить, хотя многие меня отговаривают от такого неблагодарного занятия. Но мне больно видеть, как совсем молодые поэты и прозаики мечутся в беспомощности по редакциям, встречая часто полное сытое равнодушие.

В поэзии нашей нет ничего нового, экстраординарного. Правда, Женя Рейн пишет от стиха к стиху все лучше и лучше <...> он необыкновенно вырос как поэт, и ты молодец, что угадал это в то время, когда многие не принимали его всерьез. Живет он, правда, туго. <...>

Целков очень вырос — написал ряд новых прекрасных картин совершенно в ином, более реалистическом и в то же время более сконцентрированном качестве. Он героический человек. <...> Белла очень мало пишет и сильно придавлена бытом. <...>

Тебя все очень часто вспоминают и неизменно с чувством любви, смешанным с горечью, что тебя нет с нами, и вместе с тем с радостной надеждой, что тебе все-таки немножко лучше в каком-то смысле. Ради бога, не впутывайся только ни в какую политику, оставь ее мне. Я ее уже всю ненавижу, а она просто прилипла к моим подошвам, как тесто...»

Далее события развиваются в очень уж нежелательном направлении, что само по себе чревато неудержимым опять-таки забеганием вперед.

Евтушенко говорит: «Бродский, приехав в Америку, где по моей рекомендации профессору Альберту Тодду его уже ждало преподавание в Квинс Колледже, к моему потрясению, начал распространять слухи о том, что я принимал участие в его «выпихивании» из СССР в эмиграцию. Евгений Рейн в интервью Татьяне Бек утверждает, что эту версию Бродскому внушил писатель-эмигрант Владимир Маразмзин. Так было или не так, но семя клеветы пало на благодатную почву. Профессор Тодд уверял меня, что во всех случаях в этой клевете участвовал КГБ, одним из методов которого было компрометировать тех, кто отказывался от сотрудничества с ним, слухами о сотрудничестве. Мы встретились с Бродским с глазу на глаз в Нью-Йорке».

Евтушенко передает такой разговор с Бродским во время этой встречи:
«— Как ты мог говорить, что я участвовал в том, как тебя насильно выпихивали с родины?

Он оцетинился:

— Но ты же сам красноречиво поведал, как ты был практически консультантом КГБ по моему вопросу.

— То есть?

— Ты сам признался, что посоветовал им не мучить меня напоследок...

— Если на другой стороне улицы милиционер бьет ногами в живот женщину, а я закричу ему: «Не троньте ее, она беременна!» — это что же, означает, что я — консультант милиции?»

Бродский эту встречу описывает в диалогах с Соломоном Волковым.

Волков: А как дальше развивались ваши отношения с Евтушенко?

Бродский: Дело в том, что у этой истории (московская встреча-прощание 1972 года. — И. Ф.) были еще и некоторые последствия. Когда я только приехал в Америку, меня пригласили выступить в Куинс-колледже. Причем инициатива эта принадлежала не славянскому департаменту, а департаменту сравнительного литературоведения. Потому что глава этого департамента, поэт Пол Цвайг, читал меня когда-то в переводах на французский. А славянский департамент — куда же им было деваться... И мы приехали — мой переводчик Джордж Клайн и я — сидим на сцене, а представляет нас почтенной публике глава славянского департамента Берт Тодд (он и организовал это мероприятие, взяв Бродского под опеку по просьбе Евтушенко. — И. Ф.). А он был самый большой друг Евтуха, такое американское alter ego Евтуха. Во всех отношениях. И вот Берт Тодд говорит обо мне: «Вот каким-то странным образом этот человек появился в Соединенных Штатах...» То есть гонит всю эту чернуху. Я думаю: ну ладно. Потом читаю стихи. Все нормально. «Нормальный успех, стандартный успех» — кто это говорил? После этого на коктейль-парту ко мне подходит Берт Тодд:

— Я большой приятель Жени Евтушенко.

— Ну вы знаете, Берт, приятель ваш говнецо, да и от вас воняет!

И пересказал ему в двух или трех словах всю эту

московскую историю. И забыл об этом. Проходит некоторое время. Я живу в Нью-Йорке, преподаю, между прочим, в Куинс-колледже. Утром раздается телефонный звонок, человек говорит:

— Иосиф, здравствуй!

— Это кто говорит?

— Ты уже забыл звук моего голоса?! Это Евтушенко! Мне хотелось бы с тобой поговорить!

Я говорю:

— Знаешь, Женя, в следующие три дня я не смогу — улетаю в Бостон. А вот когда вернусь...

Через три дня Евтушенко звонит, и мы договариваемся встретиться у него в гостинице, где-то около Коламбус Серкл. Подъезжаю я на такси, смотрю — Евтух идет к гостинице. Замечательное зрелище вообще-то. Театр одного актера! На нем то ли лиловый, то ли розовый пиджак из джинсы, на груди фотоаппарат, на голове большая голубая кепка, а в обеих руках по пакету. Мальчик откуда-то из Джорджии приехал в большой город! Но, главное, это все на публику! Ну это неважно... Входим мы в лифт, я помогаю ему с этими пакетами. В номере я его спрашиваю:

— Ну чего ты меня хотел видеть?

— Вот, Иосиф, люди здесь, которые раньше работали на мой имидж, теперь начинают работать против моего имиджа. Что ты думаешь о статье Роберта Конквеста в «НьюЙорк Таймсе»?

А я таких статей не читаю и говорю:

— Не читал, понятия не имею.

Но Евтушенко продолжает жаловаться:

— Я в жутко сложном положении. В Москве Максимов меня спрашивает, получил ли я уже звание подполковника КГБ, а сталинисты заявляют, что еще увидят меня с бубновым тузом между лопаток.

Я ему на это говорю:

— Ну, Женя, в конце концов, эти проблемы — это твои проблемы, ты сам виноват. Ты — как подводная лодка: один отсек пробьют...

Ну такие тонкости до него не доходят. Он продолжает рассказывать, как они там в Москве затеяли издавать журнал «Мастерская» или «Лестница», я уж не помню, как он там назывался, — и уж сам Брежнев дал «добро», а потом все

застопорилось.

Я ему:

— Меня, Женя, эти тайны мадридского двора совершенно не интересуют, поскольку для меня все это неактуально, как ты сам понимаешь...

Тут Евтух меняет пластинку:

— А помнишь, Иосиф, как в Москве, когда мы с тобой прощались, ты подошел ко мне и меня поцеловал?

— Ну, Женя, я вообще-то все хорошо помню. И если говорить о том, кто кого собирался поцеловать...

И тут он вскакивает, всплескивает руками и начинается такой нормальный Федор Михайлович Достоевский:

— Как! Как ты мог это сказать: кто кого собирался поцеловать! Мне страшно за твою душу!

— Ну, Женя, о своей душе я как-нибудь позабочусь. Или Бог позаботится. А ты уж уволь...

Тут Евтушенко говорит:

— Слушай, ты рассказал Берту Тодду о нашем московском разговоре... Уверяю тебя, ты меня неправильно понял!

— Ну если я тебя понял неправильно, то скажи, как звали человека, с которым ты обо мне разговаривал в апреле 1972 года?

— Я не могу тебе этого сказать!

— Хочешь, на улицу выйдем? На улице скажешь?

— Нет, не могу.

— Чего ж я тебя неправильно понял? Ладно, Женя, давай оставим эту тему...

— Слушай, Иосиф! Сейчас за мной зайдет Берт и мы пойдем обедать в китайский ресторан. Там будут мои друзья, и я хочу, чтобы ты ради своей души сказал Берту, что ты все-таки меня неправильно понял!

— Знаешь, Женя, не столько ради моей души, но для того, чтобы в мире было меньше говна... почему бы и нет? Поскольку мне это все равно...

Мы все спускаемся в ресторан, садимся, и Евтушенко начинает меня подталкивать:

— Ну начинай!

Это уж полный театр! Я говорю:

— Ну, Женя, как же я начну? Ты уж как-нибудь наведи!

— Я не знаю, как навести!

Ладно, я стучу вилкой по стакану и говорю:

— Дамы и господа! Берт, помнишь наш с тобой разговор про Женино участие в моем отъезде?

А он тупой еще, этот Тодд, помимо всего прочего. Он говорит: «Какой разговор?» Ну тут я опять все вкратце пересказываю. И добавляю:

— Вполне возможно, что произошло недоразумение. Что я тогда в Москве Женю неправильно понял. А теперь, дамы и господа, приятного аппетита, но я, к сожалению, должен исчезнуть.

(А меня, действительно, ждала приятельница.) Встаю, собираюсь уходить. Тут Евтух хватает меня за рукав:

— Иосиф, я слышал, ты родителей пытаешься пригласить в гости?

— Да, представь себе. А ты откуда знаешь?

— Ну это неважно, откуда я знаю... Я посмотрю, чем я смогу помочь...

— Буду тебе очень признателен.

И ухожу. Но история не кончается.

История действительно не кончается.

«В конце концов Бродский в присутствии моих американских друзей попросил у меня извинения за распространение этих лживых слухов. Тем не менее, когда меня выбрали почетным членом Американской академии искусств (1987 год. — И. Ф.), он в знак протеста вышел из нее. Его объяснение было таким: «Евтушенко не представляет русскую поэзию». Ему ответил один из членов академии: «Никакой поэт в отдельности не может представлять собой всю поэзию».

Тем не менее Евтушенко — через того же Альберта Тодда — вел с Бродским переговоры о включении его стихов в американский вариант антологии русской поэзии XX века. Бродский поставил условие собственного отбора. Это было против составительских правил Евтушенко, но он согласился. Бродский не предложил ни одного стихотворения, написанного в России. Он представил «весьма университетские, весьма западные» вещи, составителя оставившие прохладным.

Вышедшая антология, как передавали Евтушенко, на Бродского произвела впечатление.

В русском варианте антологии Евтушенко к авторскому отбору Бродского прибавил свой. Кроме того, сделал о нем большую телепередачу,

ни словом не коснувшись личных преткновений.

Евтушенко просил Романа Каплана, друга Бродского, передать Иосифу, что согласен распить с ним бутылку водки и забыть черных кошек, пробежавших между ними. Бродский сказал «нет» без комментариев.

Последний раз Евтушенко видел живого Бродского, когда однажды заглянул в ресторан «Русский самовар», принадлежавший Бродскому совместно с Капланом и Михаилом Барышниковым. За столиком Каплана сидел человек в пальто, втянувший голову в воротник, напоминая горбуна. Евтушенко, сев за стойку бара, вдруг увидел в зеркале: Бродский. Евтушенко пил вино, Бродский оставался недвижим. Они просидели в такой позиции не меньше получаса.

«Он сильно постарел, как, впрочем, и я. Мне было не по себе. У меня было чувство, что я вижу его в последний раз. Так оно и случилось».

За два месяца до смерти — в позднюю осень 1995 года — Бродский написал письмо в Квинс Колледж на имя его президента Сессемза. Бродский вступает за своего многолетнего друга профессора Барри Рубина, познания которого в области русской литературы настолько впечатлили его 23 года назад, что он доверил ему перевод своей книги на английский язык, благодаря чему он, Бродский, получил Нобелевскую премию:

Уже одно это, я думаю, должно давать Вам представление о том, над чьей головой Вы занесли топор.

О чем речь? О том, что увольнение Рубина совпадает по времени с приемом на работу в Квинс Колледж советского поэта, г-на Е. Евтушенко.

Невозможно представить более гротескной иронии, чем эта. Вы собираетесь выставить за дверь человека, который в течение тридцати с лишним лет прилежно старался привести американскую общественность к более глубокому пониманию русской культуры, а нанять хотите того, кто в это же время заливал страницы советской прессы потоками отравы: «И звезды, словно пуль прострелы рваные, Америка, на знамени твоём!»

Бродский просит «исправить эту несправедливость или по крайней мере сократить ее, оставив за профессором Рубином место в аудитории».

Что касается Барри Рубина, Евтушенко подписал прошение других профессоров президенту Сессемзу продлить контракт коллеге, уходящему

на пенсию. И Евтушенко полагает, что Бродский прекрасно знал об этом.

Евтушенко пришел на его похороны. Стоял у гроба, не подозревая о том письме.

«Он был на редкость талантлив. Но не в дружбе... Да простит его Господь».

Евтушенко считал их отношения дружбой? Выходит так.

Он не знал о том письме до 2002 года. Его ознакомил с «телегой» Бродского их общий приятель Владимир Соловьев, живший в Штатах:

Я даже позабыл о доносе на Евтушенко, сочиненном Бродским за два месяца до смерти, а Ося как раз от шестидесятничества всячески отрекся, да и не был шестидесятником ни по возрасту, ни по тенденции, ни по индивидуальности — слишком яркой, чтобы вписаться в прокрустово ложе массовки: одинокий волк. Их — Евтушенко и Бродского — контроверзы были общеизвестны, но одно дело — устные наговоры, другое — такое вот совковое письмецо!

Соловьев, в качестве критика когда-то не раз толково писавший о Евтушенко, в то время сочинял «роман о человеке, похожем на Бродского»: будущий (2006) «Post Mortem. Запретная книга о Бродском». Он прочел Евтушенко по телефону «доносительный абзац» из письма Бродского. Говоря о том, что Евтушенко не подозревал о том письме, когда стоял у гроба Бродского, Соловьев уверен:

А если бы и знал? Все равно пришел бы — из чувства долга. Как поэт — к поэту. Как общественный деятель — на общественное мероприятие.

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И ВОЛОВЬЕ

В начале 1974 года председатель Гостелерадио СССР Лапин договорился о проведении вечера поэзии Евтушенко в Колонном зале Дома союзов с прямой трансляцией по телевидению. Об этом было оповещено в программе передач 11 февраля.

Двенадцатого февраля был арестован Солженицын, обвинен в измене Родине и лишен советского гражданства.

Двенадцатого февраля Евтушенко поздно вечером дозвонился до Андропова: если хоть один волос упадет с головы Солженицына, он, Евтушенко, покончит с собой. В «Волчьем паспорте» — такими словами: «...если великого лагерника посадят, я буду готов умереть на баррикадах». В телеграмме на имя Брежнева Евтушенко применил менее сильные выражения, высказав опасения за судьбу изгнанника.

Тринадцатого февраля был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о высылке из страны Солженицына, который был в тот же день выслан. Самолет доставил его в ФРГ.

Узнав о шагах поэта, Лапин немедленно отменил объявленный на 16 февраля вечер. Евтушенко направил в ЦК КПСС негодующее письмо с возражениями против отмены вечера и распространил это письмо во множестве копий по Москве.

Восемнадцатого февраля собрались секретари Союза писателей СССР, РСФСР и московской писательской организации — аппаратные бонзы, включая некоторых редакторов литжурналов. Выступили 15 человек. В выражениях не стеснялись: «политическая проститутка» (С. Михалков), «политический авантюрист и прохвост» (С. Наровчатов), «беспринципный человек» (С. Баруздин). Это всё про Евтушенко.

Под канонаду политических страстей он дописывал поэму «Снег в Токио», задуманную еще в прошлом году, на месте события, описанного в поэме. Собственно, событие состояло из факта самого замысла. Японская живопись в женском исполнении — вот что захватило Евтушенко, друга многих живописцев.

Не так давно прошла супертриумфальная выставка Олега Целкова в Доме архитектора: ее закрыли через 15 минут! Ее опечатали прежде, чем автор, опоздавший к началу вернисажа, успел приехать на место. Ему кисло сообщил организатор выставки:

— Ко мне сейчас подошел человек с красной книжечкой и сказал, что

если я не потушу в зале свет, завтра могу на работу не приходить.

— Тушите свет, зачем вам терять работу...

А ведь Бродский, ни в чем не согласный с Евтушенко, говорит то же самое: «Олег Целков — самый выдающийся русский художник-нонконформист всего послевоенного периода». Значит, есть точки соприкосновения?..

Евтушенко не назвал имени японки, о которой написал, сохранилось лишь ее фото. Сюжет напоминает рождественскую сказку: победа добра над недобротой мира, падает снег, и все счастливы. Жена в лоне буржуазной семьи, отягощенной тысячелетними традициями мужской гегемонии, восстает против порядка вещей при помощи открывшегося в ней художественного дарования. К ней приходит признание, и женщины, сплотясь вокруг нее, образуют чуть не политическую партию. У автора достаточно иронии, чтобы не впасть в апологетику женского восстания. Он пишет лирику в рамках поэмы, которую можно при желании назвать и новеллой, если не повестью: Евтушенко отказывается от рифмы и метра. Стихи напоминают ритмизованную прозу Андрея Белого, в основе — дольник на основе трехсложника: анапеста или амфимбрахия. Что-то вроде матери Митицуны (X век) в переводе Веры Марковой:

Ужель вновь прибыла вода?
Я вижу, тень его упала...
Спрошу ли о былом?
Но густо травы разрослись
И прежний образ замутили.

Часто прибегая к инверсиям, поэт таким образом показывает на стиховую природу своего текста:

Машина домой возвращалась уже на рассвете,
устав, как набегавшая собака,
и если бы шкура ее не была полированной,
на ней бы висели колючки кустарника жизни ночной.

Или:

...к тергалю пристал волосок натурального парика

из Южной Кореи,
а также и то, что на левой манжете нет
одного из двух солнц восходящих.

Это, конечно, язык поэзии. Проза так не говорит. Евтушенко — неизвестно, в какой мере намеренно, — производит опыт перевода малых форм, исконных жанров японской поэзии в нечто вроде гиперхокку или гипертанка, оставляя ее дух и тональность:

Она направилась в детскую, поцеловала
три черных головки, пахнущих мылом и сном,
и на вопрос, где она пропадала так долго,
ответила:
«Слушала в поле свирель».

Действительно, это сказано по-японски: «Слушала в поле свирель». Похоже на строку хокку.

В отказе от рифмы есть и формальная логика. Он довел свою систему рифмовки до полуйсчезновения или такой слабости созвучия, что уж и впрямь проще отказаться от этих формальностей, тем более что и случай представился: Япония с ее загадочным звуком.

Токийский снег написан тушью по ватману:

Словно хлебные белые крошки,
безвольно вращающиеся в аквариуме,
снежинки кружились
и делали белыми спины прохожих, машин
и даже осеннюю грязь под ногами двадцатого века.

.....

Женщина выбежала из балагана,
уткнулась в мокрую морду снега,
и он ее вдаль повел, как собака,
виляя грязным белым хвостом.

Пожалуй, особенно интересно такое рассуждение поэта, выросшего в основном не среди поэтических сверстников, но старших мастеров:

Она сказала ему: «Учитель...»
Но сделал он мягкий, слова отвергающий жест:
«Учитель? Не знаю, что это такое в искусстве.
«Учитель» — медалька пустая,
пусть даже из самой доброй руки.
Что может быть в искусстве неестественней,
чем так называемые отношения
между так называемыми учителями
и так называемыми учениками!...»

Нет, это не японская мысль. Это больше похоже на сердитый жест в сторону тех пятнадцати окололитературных бронтозавров, что поднаторели в искусстве приклеивания политических ярлыков больше, чем в творчестве художественных текстов.

А рифма вернулась довольно скоро.

В марте по командировке «Литературной газеты» Евтушенко отправился на строительство КамАЗа в город Набережные Челны. Там он бывал на строительных площадках, в рабочих общежитиях и на вопросы о Солженицыне отвечал: я приехал сюда работать, политикой я не занимаюсь.

Поэма «КамАЗ начинается» предполагалась, но не получилась. На нее не нашлось сил, подобных тем, что были в пору «Братской ГЭС», да и время потеряло в цвете и запахе. Куски неполучившейся поэмы опубликовала «Литературка», поработав над ее редактурой. В результате герой, похожий на Солоухина, поныне загадочно (не слишком ли пластично со стороны автора?) оброс бородой и для кого-то стал похож на Солженицына. Опять били и справа, и слева.

Евтушенко уехал в Коктебель, ему хорошо писалось. «Допотопный человек» — написанные в мае стихи о старом приятеле Солженицына Льве Копелеве. Позже Копелев, попав в Кельн, будет гостить в усадьбе Бёлля — там, где до него обитал Солженицын, будущие отношения с которым стали такими, о которых он говорил *по comments*. О себе молодом он сказал: «Называл самого себя марксистом и ленинцем, а вообще это было дешевое ницшеанство с сильной долей макиавеллизма». В 1974-м ничего такого не предвидится, а Солженицын не выходит из головы. И не только евтушенковской. 3–4 июня в Коктебеле Евтушенко написал «Плач по брату» и предложил его в «Октябрь». Главред А. Ананьев, всегда на страже, тут же усмотрел в этой вещи намек на Солженицына:

Сизый мой брат,
я прошу хоть дробины,
зависть мою запоздало кляня,
но в наказанье мне люди убили
первым — тебя, а могли бы —
меня.

Поднялась тихая буря, дело дошло до ЦК, до Демичева, и только потом до публикации, в «Литературной России» от 29 ноября под названием «Охотничья баллада». Нет, сизый брат — вовсе не Солженицын. Адресатом был другой человек (об этом мы скажем ниже). Однако Ананьев знал, что делал, столь бдительно-цепко держась за кресло. Не знал он только того, что станет первым главредом, уведшим свой журнал из слабеющих лап Союза писателей, и будет это, в сущности, очень скоро. Хотя никакими переменами не пахло, ой как не пахло. Между тем Евтушенко пишет озорные, на самом деле серьезные «Метаморфозы»:

Детство — это село Краснощеково,
Несмышленово, Всеизлазово,
Скок-Поскоково, чуть Жестоково,
но Беззобнино, но Чистоглазово.

Юность — это село Надеждино,
Нараспашкино, Оболецаньино,
ну а если немножко Невеждино, —
все равно оно Обещаньино.

Зрелость — это село Разделово:
либо Схваткино, либо Пряткино,
либо Трусово, либо Смелово,
либо Кривдино, либо Правдино.

Старость — это село Усталово,
Понимаево, Неупреково,
Забывалово, Зарасталово
и — не дай нам Бог — Одиноково.

Одиноково. Скорее всего.

В Коктебеле хорошо, светит солнышко, время от времени проливаются свежие июньские дожди, пополняя теплое прогретое море, по утрам — пробежка и купалка, по вечерам идут разговоры с коллегами, работается, как всегда, — не разгибая спины. И вдруг...

«Из-за подобных инсинуаций — и справа, и слева — я надорвал сердце. А врачи в Коктебеле поставили неправильный диагноз — воспаление легких. Сначала меня спасла детская писательница Ирина Пивоварова, которая отвезла меня почти в бессознательном состоянии в Москву (коллеги-мужчины не пожелали прервать свой драгоценный отпуск в Доме творчества). Затем в больнице МПС великие гематологи А. Н. Воробьев и Л. А. Идельсон буквально вытащили меня из железных объятий смерти. Почти два месяца пришлось провести в стационаре с воспалением сердечной сумки. Муза моя медленно, но верно воскресала вместе со мной, и как бы в благодарность за то, что жизнь не отдала меня смерти, помогла мне в то лето написать огромное количество стихов».

Забежим, уже по привычке, вперед. От огромного количества стихов из больницы МПС для фолианта «Весь Евтушенко» (2007), в котором 1521 (!) страница формата 60×90/8 и стихи идут в подбор, сам он оставил 45 названий: это все равно целая книга. Чем они отличаются от неболыничных? Здесь нет ни одного масочного, театрализованного, не от своего «я» выраженного движения. Крайнего ужаса смерти нет. Однако:

И твердит мне страх: пиши, пиши
до исчезновения души.

(«Шагреновая кожа»)

Паники нет. Достаточно веселой самоиронии на случай произнесения «Самонадгробной речи»:

В покойнике вас раздражало
актерское,
но все-таки было в нем
и мушкетерское.
А все-таки он,
вас игрой ошарашивая,
в плохом

был получше хорошего вашего.
А все-таки что-то куда-то
вело его —
нечеловеческое
и воловье.

.....
Покойник был бабником,
пьюхой,
повесою,
покойник политику
путал с поэзией.
Но вы не подумайте
скоропалительно,
что был он
совсем недоумок в политике,
и даже по части поэзии, собственно,
покойник имел
кой-какие способности.

Да, пафоса и самолюбования стало поменьше. Но ведь картинка-то
абсолютно точна. Нечеловеческое и воловье.

Ему ностальгически вспоминался 1966 год, когда на его концерте в
Португалии —

«Толстой, Гагарин, Евтушенко — вива!» —
плакат взметнулся в молодой руке.

(«Воспоминание о португальском цензоре»)

В больнице он отметил день рождения (два стихотворения), много
читал, в том числе новую книжку Давида Самойлова «Волна и камень».

Наша знать эстрадная России
важно, снисходительно кивала
на «сороковые — роковые»
и на что-то про царя Ивана.

.....

И себя я чувствую так странно,
и себя я чувствую так чисто.
Мне писать стихи, пожалуй, рано,
но пора стихи писать учиться.

(«Дезик». Вместо рецензии)

Стало ясно: наступило новое поэтическое время. Оно не требовало форсированного звука эстрады. Нет, сцена не отменялась: человек-артист Самойлов и сам был хорош на ней. Но в семидесятые на сцену вышли не голосистые да дерзкие, но умные и зрелые. В зале сидел зритель, который приходил на выступление поэта подготовленный домашним чтением поэта, наедине с ним.

Евтушенко замечает тех, кто пишет не в русле его предпочтений, но по-настоящему тонко и негромко:

«Появление каждого настоящего поэта — это как «непредвиденность добра», по выражению Кушнера. В данном случае все было именно так: непредвиденность добра произошла, поэт вошел в литературу. Слово «поэт» уже само собой подразумевает собственный почерк. Поэтический почерк Слуцкого прямолинеен, Вознесенского — зигзагообразен, Ахмадулиной — ажурен, Глазкова — печатными буквами. Примеров разных почерков столько же, сколько поэтов. Почерк Кушнера каллиграфичен. Некоторых, возможно, он даже раздражает своей аккуратностью. Но кто-то может разрывать рубаху на груди, внутри которой — холод, а кто-то аккуратно застегнут на все пуговицы, а в груди его — брение страстей. Таков Кушнер.

У него никогда не было шумной славы. Об этом он сам сказал так»:

*О слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
...Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.*

Новое поэтическое время состояло из множества пластов, полос и пятен. Темных полос и белых пятен в том числе. О чистой победе чистой поэзии говорить не приходится, и никто из мыслящих наблюдателей об этом и не говорил.

Речь не о том, что поэзия сошла с подмостков. Однако по некоторым позициям она уступила — прозе. Прежде всего: вдумчивость одинокого чтения — вот что стало необходимостью современника. Явление, названное «деревенская проза», было не продуктом интеллигентского хождения в народ, но потребностью народа через своих писателей осмыслить свою судьбу. Уступить велению времени было трудно, но необходимо, надо было покопаться в собственных ресурсах.

Я, слава богу, графман
и на головы громом вам
когда-нибудь обрушу
роман страничек на семьсот —
вот где пиита понесет,
где отведет он душу!

(«Многословие»)

Пятнадцатого сентября 1974 года в Москве было дождливо. К пустырю на перекрестке улиц Профсоюзной и Островитянова тянулись несколько человек, неся в руках что-то неопределенное. Оказалось, картины. Это были живописцы. У метро «Беляево» милиция арестовала двоих, обвинив их в краже часов. Немного времени спустя перед ними извинились: перепутали. Пока эти двое дошли до пустыря, там уже работали люди в спецовках озеленителей — рассаживали саженцы. Маскарад длился недолго. На пустырь пошла спецтехника, три бульдозера в том числе, поливальные машины, самосвалы и — около сотни милиционеров в штатском. На одном из бульдозеров повис, поджав ноги, один из «часовых воров» — Оскар Рабин. Перед этим он стоял на пустыре с поднятой картиной в руках. Остальные тоже держали картины над головами.

В тот бульдозер вскочил иностранный фотокор и остановил машину. Пустырь был пропахан тяжелой техникой. Рабина взяла милиция. Ему выписали штраф на 150 рублей, он отказался платить, сказал, что ничего плохого не делал, только свои картины показывал, его быстро отпустили,

но акция состоялась — среди наблюдателей было много иностранных журналистов и дипломатов.

Пошел большой шум, в радиозфире заговорили «голоса», бумажные зарубежные СМИ поместили фотосвидетельства. Власти были вынуждены позволить художникам легально показать себя в Измайловском парке через две недели после бульдозерного балета. Художников было не двадцать, как в Беляево на пустыре, а более сорока, по другим подсчетам — семьдесят четыре. Публика возникла как из-под земли, и было ее около полутора тысяч человек. Среди них — Евтушенко с Беллой Ахмадулиной и сибирским другом Арнольдом Андреевым, строителем Братской ЕЭС. Был солнечный денек, хотя и конец сентября.

Летом у Евтушенко внезапно вспыхнул мимолетный роман с Беллой — в стихах. Ему припомнились ее старые-старые (1950) юные-юные строки из довольно загадочного стихотворения:

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами
мне говорили:
«Пойдем в кино или в музей изобразительных искусств».
Я отвечала им примерно вот что:
«Мне некогда».

Она тоже не рифмовала в этой вещи, и это было похоже на предвосхищение «Снега в Токио», но он на сей раз ответил ей в рифму — стихами «Пятнадцать мальчиков» с эпиграфом из нее, и это были стихи про экстремизм, якобы про японский, с прямым упоминанием «азиатской роковой нечаевщины»:

Как сделать, чтоб, забыв отмщать расправую,
друг друга не душили бы по-волчьи
и этим не душили
дело правое
пятнадцать мальчиков,
а может быть, и больше?

Новая выставка длилась четыре часа. Полдня свободы. Участник

выставки Борис Жутовский позже скажет, что качество картин на вернисаже в Измайлове было несравнимо ниже, чем в Беляеве, где были выставлены только лучшие работы, многие из которых были уничтожены.

Да и Целков — о том же:

А когда начались разные фрондерские выставки, вроде «бульдозерной», я в них не участвовал. Я был, как уже сказал, нарушителем закона, но потому, что этот закон был не прав с точки зрения меня, а не кого-то еще. И я собирался продолжать его нарушать. Но не с плакатом в руке, а тем, что я есть.

Второго октября 1974 года умер Василий Шукшин. В буйной молодости эти задиры познакомились таким макаром. Шукшин спросил: на черта тебе эта пижонская галстук-бабочка? Евтушенко ответил: а тебе — кирзовые сапоги? Евтушенко пообещал снять бабочку, когда Шукшин скинет сапоги.

Это смахивало на давнее знакомство Маяковского с Есениным, когда вместо бабочки и сапог в игру пошли желтая кофта и шелковая косоворотка.

У наших современников получилось попроще:

Будто ни в одном глазу,
стал Шукшин свою кирзу
стаскивать упрямо.
Не напал на слабачка!
И нырнула бабочка
в голенище прямо.

(«Галстук-бабочка»)

Было и яблоко раздора по имени Белла, для Евтушенко, впрочем, условное, поскольку Белла была уже в его элегическом прошлом. Какое-то время на инерции фильма «Живет такой парень», где Ахмадулина сыграла журналистку, ее жизнью режиссировал Шукшин.

Так или иначе, шукшинские Сrostки недалеко от евтушенковской Зимы, если смотреть с высоты птичьего полета: академик Лихачев называл это «ландшафтным зрением» применительно к древнерусскому художеству. Корни переплетались во многом, и направление интересов совпадало.

Когда весь 1963 год Евтушенко терзали в Москве на предмет «Бабьего Яра», «Наследников Сталина» и «Автобиографии», летом на Алтае Шукшин снимал «Живет такой парень», очень точно относительно друг друга нашел артистов — Куравлева и Ахмадулину, а через два года подал заявку на сценарий о разинском восстании — евтушенковскую «Казнь Стеньки Разина» уже напечатали. Заявка Шукшина была отвергнута, но возник роман «Я пришел дать вам волю».

В совокупности с «Мастерами» Вознесенского (1959) и «Андреем Рублевым» Тарковского (1966) все это представляло единый тренд генерации: тяга к истории, через исследование которой постигаются судьба страны и ее быстролетающее сегодня.

Подобно другому евтушенковскому другу — Урбанскому, Шукшин погиб на съемках. Кино было делом смертельным. Шукшинские похороны были всенародными, давно такого не было: тысячи и тысячи людей шли от Тишинского рынка к Дому кино на улице Брестской с ветками красной калины в руках, водители общественного транспорта тормозили у Дома кино и включали клаксоны.

...Мечта Шукшина
о несбывшейся роли Степана,
как Волга, взбугрилась на миг
подо льдом замороженных век.

(«Памяти Шукшина»)

«Главное в нем — это сумма сделанного. <...> Степана Разина Шукшин не идеализирует и не принижает. Он срисовывает Стенькину душу со многих людей, и с себя тоже. <...> Шукшин был подобен русскому крестьянскому двойнику сына плотника из Галилеи, потому что одна его ладонь была намертво прибита гвоздями к деревне, другая — к городу».

Год шел под уклон, нечеловеческое и воловье сработало — Евтушенко добился компенсации отмененного февральского вечера. «Литературная газета» от 20 ноября 1974 года проинформировала своего широкого (тираж с 1973 года — 1 миллион 550 тысяч экземпляров) читателя:

В воскресенье, 17 ноября, в Колонном зале Дома союзов состоялся творческий вечер Евгения Евтушенко. Вечер был начат «Гимном Родине» (стихи Е. Евтушенко, музыка Э.

Колмановского) в исполнении объединенного хора и оркестра Всесоюзного радио и телевидения под управлением Ю. Силантьева. Затем прозвучали песни композиторов А. Бабаджаняна, Э. Колмановского, А. Пахмутовой, Г. Пономаренко, А. Эшпая, А. Днепрова, С. Томина на стихи Е. Евтушенко. Некоторые произведения были исполнены впервые в программе этого творческого вечера, в котором приняли участие народные артисты СССР К. И. Шульженко и Л. И. Зыкина, а также солисты М. Кристалинская, И. Кобзон, Н. Соловьев, В. Трошин, Э. Хиль. Во втором отделении хор и симфонический оркестр радио и телевидения исполнили поэму для баса, хора и оркестра Д. Шостаковича на стихи Е. Евтушенко «Казнь Степана Разина» (солист — народный артист РСФСР А. Ведерников, дирижер М. Шостакович). В заключение Евгений Евтушенко читал стихи.

Вышла и книга «Песни на стихи Евгения Евтушенко»: в содружестве с композиторами Э. Колмановским, В. Соловьевым-Седым, Г. Пономаренко, Д. Тухмановым, А. Эшпаем, М. Блантером, А. Бабаджаняном, М. Таривердиевым, А. Петровым.

Однако не коллектив Силантьева слышался ему, когда он думал о том, что самое важное произошло с ним в 1974-м.

Ему играл грузинскую музыку маленький оркестрик с внутреннего балкона ресторана «Арагви», напоминая журчанье горного водопада. Сквозь этот звук он услышал разговор за соседним столом двух молодых женщин, говорящих по-английски. Одну из них он уже заметил: она смотрела на него узнавательно, с испугом и любопытством глазами, которые он назвал «фиалковыми», за что был потом отруган взыскательной литкритикой, но как прикажите их именовать: светло-фиолетовые, синие с красноватым оттенком, лиловые?..

Вот ее точный портрет: «У нее был коротенький вздернутый носик и лохмато-золотая голова львенка».

Она была англичанка по имени Джан.

Как сказал бы Басё:

По горной тропе иду.
Вдруг стало мне отчего-то легко.
Фиалки в густой траве.

На Кузнецком Мосту располагалась Книжная лавка писателей. Она обслуживала в основном членов Союза писателей СССР, но тоже затейливо: имя писателя фиксировалось в особом grossбухе-кондуите, когда он приобрел ту или иную дефицитную книгу. Пускали в лавку и простых покупателей. На модные книги длинная очередь выстраивалась с утра пораньше, иногда до света. Дрожали на морозе, приносили термосы и спиртное для сугреву. Вокруг лавки происходил бурный книжный бизнес. Книжные жучки шныряли в толпе попеременно с людьми из органов в штатском. Продажа с рук, обмен товаром, мыслями и новостями. Самиздат, тамиздат.

Евтушенко, между прочим, отроком начинал свою трудовую деятельность с продажи из-под полы книг, на которые был ажиотажный спрос. Его поймала нечаянно на этом деле мама, проходя мимо по Кузнецкому.

Времена меняются:

Кузнецкий мост.
За двухтомником хвост.
Страшный нажим.
Лезут, спешат.
Наседают...
А над толпой —
командорской стопой:
«Кончена жизнь.
Тяжело дышать.
Давит...»

У Евтушенко вышли два тома «Избранных произведений» в издательстве «Художественная литература» (переиздание в 1980 году). Трагедийная пушкинская аллюзия — строки из «Воспоминания о Пушкине», февраль 1975-го.

А возраст подpiraет. Написан «Звон земли» — имеется в виду некий зов судьбы.

И не было меня — был только звон.
Меня как воплощенье выбрал он.
Но бросил — стал искать кого моложе.

Он уже поварчивается-поскрипывает («Некоторым начинающим»):

Удручающая деловитость
брезжит
в некоторых новичках.

А сам? Не был деловит? Еще как. Но тут дело другого рода:

Кто ты —
с Мастером
или с Воландом?

Булгаков своим романом пришелся ему по сердцу, прежде всего как изобретение, в пушкинском смысле: многоплановостью, интересно продуманной композицией, совмещением разных времен и стилистик, правдой о времени и выдумкой о великой любви, хотя Евтушенко не любит стадных увлечений, массовых любовей, его раздражает тот же Магомаев, да и Пугачева не героиня его романа. Соперники по эстраде? Может быть, и так.

С семьей — плохо. Пахнет полным распадом. Галя говорит: «Не называй меня любимой...»

Ты смотришь на меня,
как неживая,
но я прошу, колени преклоня,
уже любимой и не называя:
«Мой старый друг, не покидай меня...»

(«Но прежде, чем...»)

Таков у него март-апрель. Это, увы, не самойловские восторги:

Была туманная луна,
И были нежные березы...
О март-апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!

А ведь Дезик — так Давид Самойлов называл себя сам и так называли его симпатичные ему люди — старше на 12 лет. Счастливчик Самойлов. Значит, дело не в возрасте. В чем-то другом. Что ж, ответим достойно, и есть кому посвятить: Джан Батлер. (Правда, при первой публикации всё напутали, переадресовав какому-то Д. Батлеру, и получилось что-то вроде Джону Батлеру.) Он уже бывает у нее в Сокольниках, в той каморке, где незадолго до их свиданий стоял допотопный драный диван, при выносе которого на помойку Джан познакомилась с некоторыми особенностями наших обычаев: сосед алкаш ей помог да и запросил *магарыч*. Она сперва не поняла, что это такое, но непонимание русской жизни длилось недолго, тем более что язык Пушкина и Толстого ей был ведом и явилась она в СССР туристкой, но выпала удача — стала сотрудничать с издательством «Прогресс» на предмет перевода русских книг на язык Туманного Альбиона. Знаменитого поэта она, разумеется, знала давно («Она гениально перевела мою повесть в стихах «Голубь в Сантьяго» — это было позже), а когда он прочитал ей свое новое стихотворение — «Сережку ольховую», она вскрикнула от восторга, и он подарил его ей.

Уронит ли ветер
в ладони сережку ольховую,
начнет ли кукушка
сквозь крик поездов куковать,
задумаюсь вновь,
и, как нанятый, жизнь истолковываю
и вновь прихожу
к невозможности истолковать.
Себя низвести
до пылиночки в звездной туманности,
конечно, старо,
но поддельных величий умней,
и нет униженья
в осознанной собственной малости —
величие жизни
печально осознанно в ней.
Сережка ольховая,
легкая, будто пуховая,
но сдунешь ее —
все окажется в мире не так,
а, видимо, жизнь

не такая уж вещь пустяковая,
когда в ней ничто
не похоже на просто пустяк.

.....

Яснеет душа,
переменами неозлобимая.
Друзей, не понявших
и даже предавших, — прости.
Прости и пойми,
если даже разлюбит любимая,
сережкой ольховой
с ладони ее отпусти.
И пристани новой не верь,
если станет прилипчивой.
Призвание твоё —
беспричальная дальняя даль.
С шурупов сорвись,
если станешь привычно привинченный,
и снова отчаль
и плыви по другую печаль.
Пускай говорят:
«Ну когда он и впрямь образумится!»
А ты не волнуйся —
всех сразу нельзя ублажить.
Презренный резон:
«Все уляжется, все образуется...»
Когда образуется все —
то и незачем жить.
И необъяснимое —
это совсем не бессмыслица.
Все переоценки
нимало смущать не должны, —
ведь жизни цена
не понизится
и не повысится —
она неизменна тому,
чему нету цены.
С чего это я?
Да с того, что одна бестолковая

кукушка-болтушка
мне долгую жизнь ворожит.
С чего это я?
Да с того, что сережка ольховая
лежит на ладони и,
словно живая,
дрожит...

Это написано длинно, многословно, несколько медитативно, но в принципе это — ворожба, некое философическое бормотание, домашнее мудрствование, ставка на музыку, чем-то похоже и на Окуджаву:

Былое нельзя воротить — и печалиться не о чем:
у каждой эпохи свои подрастают леса.
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.
.....
Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу
и вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается...
Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!

Окуджава посвятил эту свою вещь Александру Цыбулевскому. Жил в Тбилиси редкостный такой человек, его все называли Шура, он писал стихи по-русски, грузинских поэтов на язык русских осин почти не переводил, но на него не обижались, все знали о его нежной любви к Грузии и ее поэтам, и он писал об этом, в частности о Важа Пшавела, о том, как этого пшавско-хевсурского великана переводили русские поэты: Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Заболоцкий. В ранней юности Шуру посадили на долгие годы, он отсидел восемь лет, а мог бы и дольше: он был приговорен к десяти годам заключения в лагерях за «недонесение» на студенческую подпольную организацию «Молодая Грузия». В 1956-м был освобожден, в 1957-м реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР. Когда его арестовали (1948), они с Булатом были однокурсниками филфака Тбилисского университета, но на допросах он вел себя так, что Булата не тронули, а вполне могли бы — они вращались в одном дружеском кругу. Следовательно потребовал у Цыбулевского:

— Подтвердите, что заводи́ла в вашей преступной организации — Окуджава.

Шура сы́грал в ду́рочку:

— А кто это такой?..

Говорун и выпивоха, мгновенно сходя́вшийся с новыми людьми, он в глазах многих был чуть не святым. Став писать исследование о Блоке, он резко порвал с темой, когда обнаружил, что Блоку был не чужд некоторый антисемитизм. Богом его был Мандельштам.

Евтушенко знал Шуру еще с пятидеся́тых: *«Однажды он с неожиданной для него взрывчатостью сказал мне: «А ты знаешь, ведь в Мандельштаме больше социализма, чем во всех, кто замучил Мандельштама», — и вдруг заплакал. Он тосковал по тем поэтам, с которыми у него отобрали возможность обняться»*. В 1967-м Евтушенко пробил в тбилисском издательстве «Мерани» лирическую книжку Цыбулевского «Что сторожат ночные сторожа», став ее редактором, а Симона Чиковани попросил написать предисловие.

Дело было так. В один из приездов в Тбилиси Евтушенко выступил перед уважаемой литературной публикой, включавшей тузов из грузинского Союза писателей. Он проникновенно прочел несколько вещей, принятых более чем благосклонно. Когда аплодисменты стихли, он сказал:

— Эти стихи принадлежат перу замечательного поэта Александра Цыбулевского.

В Москве его издать не удалось. Такие стихи трудно было опубликовать:

Когда рассвет — сквозь ставни — тощий
Перебежит трамвайный путь,
Встаешь, и ласков мир на ощупь,
А глубже страшно заглянуть.
Но расцепившееся слово
Иным движением полно:
Оно несчастьем здорово
И только радостью больно.

Летом 1975-го Шура Цыбулевский умер.

Через много лет, в 2011-м, Евтушенко напишет:

Когда в нем декадентские отрывки

нашел однажды критикан-ханжа,
я спас ему издание первой книжки
«Что сторожат ночные сторожа».

.....
Порой мудрее выпить по стакану
за разговором братским и мужским,
по Руставели жить, по Пастернаку,
а не по интриганам никаким.

(«К социализму были не готовы...»)

Так жить не получается.

Во второй декаде июня 1975-го группа литераторов выехала на Русский Север. Евтушенко поехал со своим самоваром. Крепкая, краснощекая, местным крестьянам Джан казалась своей, природной русачкой. Там было в общем и целом весело и безоблачно. После одного из обильных застолий Джан лихо погнала милицейскую «канарейку», пока на заднем сиденье дрых вусмерть упившийся начальник районной ГАИ. В одной деревушке древний старик вытащил из сундука пронафталиненный костюм, пошитый еще на его свадьбу при царе Горохе, и предложил потянуть сукно, да посильнее, — сукно выдержало. Старик сказал:

— Аглицкое!

Посетили Бобришин Угор, родовые места Александра Яшина, где ему поставили монумент.

Мать Яшина
у памятника Яшину
сидела в белом крапчатом платке,
немножечко речами ошарашена,
согбенная,
с рукою на руке.

.....
Гуляй,
пляши и пой, Угор Бобришный!
И я спляшу —
не потому что пьян.
Хотя я вроде «человек столичный» —
я русский —

тоже, значит, из крестьян.

(«Памятники Яшину»)

Об этой поездке осталось свидетельство Станислава Кунаева:

Видит Бог, наши отношения с Евтушенко в 60-х и даже 70-х годах были вполне приличными. Вместе с ним мы как-то побывали на таежном Бобришном Угоре — на могиле Александра Яшина, бродили по берегам северной лесной реки Юг, на обратном пути заехали в Кирилло-Белозерский монастырь, фотографировались возле могучих кирпичных стен, а в Вологде сидели в гостях у покойного ныне Виктора Коротаева. В те времена он казался мне талантливым русским парнем с авантюрной жилкой, с большим, но еще не отвратительным тщеславием, с нимбом фортуны, колеблющимся над его светловолосой головой... Взгляд только настораживал: расчетливый, холодноватый, прибалтийский.

Раздражала разве что естественная, природная, неистребимая пошлость его чувств и мыслей — о стихах, о политике, о женщинах, о чем угодно. Но не такой уж это роковой недостаток, особенно в молодости. Да и кто знал, что подобное свойство его натуры с годами будет укореняться в ней все глубже и прочнее?..<...>

Но все испортил мой тезка критик Станислав Лесневский. Он встал со стаканом в руке и предложил здравицу в честь «знаменитого великого русского национального поэта Евгения Евтушенко». Слова Лесневского покорили всех — все-таки Вологодчина, родина Николая Клюева, Александра Яшина, Николая Рубцова. Бестактно...

Взглянув на улыбающегося Евтушенко, принявшего как должное грубую экзальтированную лесть, я решил вернуть своего тезку на грешную землю.

— Да, я готов выпить за знаменитого, может быть, даже за великого, но за русского национального — никогда. Ты уж извини меня, Женя.

— А кто же он такой, по-твоему? — сорвался на провокаторский визг Станислав Стефанович Лесневский. — Если

не русский, то еврейский, что ли?

— Может быть, никакой, а может быть, и еврейский. Вам лучше знать, — ответил я.

В состоянии истерики Лесневский выскочил из комнаты. Вслед за ним ушел и «великий» поэт.

No comments, как сказал бы Копелев.

В августе Евтушенко прибыл в якутский город Алдан. С ним — те же: Л. Шинкарев, В. Щукин (один из первооткрывателей алмазов в Якутии), Г. Балакшин, В. Черных (тоже геолог, но местный, якутский), О. Целков, брат Шинкарева Наум, который стал медиком команды. За каждым из членов экспедиции закреплялась определенная «должность», поэт был юнгой. В течение нескольких недель они сплавились по рекам на моторках, побывали в Томмоте, Угояне, в Перекатном, Хатыми. В Перекатном Евтушенко выступил перед горняками. Отдельный вечер был в Алдане по окончании путешествия в клубе «Авиатор». Ему преподнесли букет садовых северных цветов.

Описание Алдана можно увидеть в дневнике молодого геолога Сергея Миронова, тогда еще студента на практике:

Городок небольшой. Рынок, две бани, почта, один ресторан — давно не беленый, одноэтажный домик со странноватой кладбищенской (мои ассоциации почему? Может, оттого, что она металлическая) вывеской «Ресторан Алданского Райпо» (за последние буквы не ручаюсь), несколько столовых, в основном рабочих, универмаг, кинотеатр, пара клубов, несколько магазинов и т. д., и т. п. ...

...Еще об Алдане. Над городом господствует сопка, на верхней части склона которой выложено «Наша цель — коммунизм». Это чтобы помнили, значит. А выше, на самой вершине — факел. Из железа.

Еще об Алдане. Здесь есть такси. Город на сопках, улицы с подъемом и террасами. На улице Ленина памятник первооткрывателям золота. Рядом в полный рост стоят якут и русский в буденовке, в ногах кирка и корыто для промывки. Руки (по одной) подняты. На руках держат оленье рога, а в них, как в чаше, лежит золотая жемчужина (камуфляж, разумеется). Скульпторы — ленинградцы. В простонародье этот памятник именуется «Рогоносцы».

Прямо посреди города течет речка. И прямо на этой речечке в черте города работает драга. Добывает золото.

Геолог Миронов станет политиком, когда ударит час. В новые времена начальник российского сената преподнесет переделкинской галерее Евтушенко подарок — колоссальный минерал.

Все-таки термин *эпоха застоя* очень неточен. Середина 1970-х — полное и безоговорочное размежевание в советской интеллигентской среде. Шла позиционная война по всем фронтам, непрерывные взрывы и пальба, и эта внутренняя атмосфера интенсивно экспортировалась по причине облегчения эмиграции.

Владимир Максимов, как мы помним, составил ухищренно-византийский текст оруджавовской псевдопокаянной заметки в «Литгазете» 1972 года. Человек знал ходы и пользовался ими. Он много знал, житейский опыт у него был будь здоров, за плечами — беспризорно-бродяжническое детство, годы зоны по уголовным делам. Ему все это осточертело, и в 1974-м, пройдя полосу непечатания и психушку, он уехал. В выдающемся журнале «Континент», им основанном, печаталась добротная литература, в основном эмигрантская, и бестрепетно прямая публицистика. В ноябре 1975-го Максимов поместил там свою инвективу под названием «Осторожно — «Евтушенко!»:

До последнего времени провокаторство, как явление, было свойственно в России лишь политическим движениям, но после пятьдесят шестого года, в эпоху так называемой либерализации, оно прочно обосновалось и в отечественной литературе. Люди весьма скромных дарований, шумно эксплуатируя пробудившуюся общественную совесть, лихорадочно принялись наживать себе материальный и политический капитал убогими виршами на «животрепещущую» тему, в которых строго дозированная «смелость» сопровождалась охранительными уверениями в любви и преданности к партии, родине, Ленину.

Пробавляясь таким образом, мастера остреньких поэтических пассажей во всеуслышание плакали на свою судьбу, а втихомолку, с помощью тех же «гонителей» приобретали ордена, дачи, машины. И — странное дело — нашей пресловутой либеральной интеллигенции и в голову не приходило, каким это манером в стране, где один Нобелевский лауреат затравлен до смерти, а второй поставлен вне закона и

выслан из страны, эти ловкачи-умельцы ухитряются не только жить припеваючи, беспрепятственно осуществляя заграничные вояжи, но и слыть при этом «борцами» и «мучениками»?

Причем не только у нас! Услужливые репортеры некоторых зарубежных газет с оперативностью, достойной куда лучшего применения, оповещают благодарное человечество о всяком чихе поднаторевших в расхожей демагогии мессий из Переделкино. Поистине ничего не забыли и ничему не научились!

Одну из наиболее характерных фигур этого доходного поприща являет собою Евтушенко. Если бы речь шла о нем лично, то чувство элементарной человеческой брезгливости остановило бы меня. Как говорится, много чести! Но, к несчастью, Евтушенко — типичный продукт целого явления в современной русской словесности.

Едва ли рыцарь простодушного доноса Фаддей Булгарин в XIX веке догадывался, что при известной гибкости мог бы, оставаясь агентом третьего отделения, выглядеть в представлении современников и потомков мучеником Сенатской площади. Другое дело Евтушенко. Он, к примеру, пишет и печатает стихотворение «Бабий Яр», а затем в качестве члена редколлегии журнала «Юность» поддерживает резолюцию об израильской «агрессии». Он посылает в адрес правительства широковещательную телеграмму против оккупации Чехословакии, но вслед за этим делает приватное заявление в партбюро Московского отделения Союза писателей с осуждением своей первоначальной позиции. Он громогласно защищает Солженицына и тут же бежит в верхи извиняться и каяться, и пишет ура-патриотическую поэму о стройке коммунизма — Камском автомобильном заводе, — где прозрачно намекает на того же Солженицына: «Поэта вне народа нет!» И, представьте себе, это не мешает ему оставаться в глазах наших, да и не только наших, «интеллектуалов» представителем культурной оппозиции. <...> Существование «применительно к подлости» не ново в русской общественной жизни. Сыскными метаморфозами нас не удивишь. Но только в наше время метаморфозы эти обходятся нам такой дорогой ценой. Думается, что мировая культурная общественность определит, наконец, свою позицию по отношению к этому отвратительному явлению. Было бы чрезвычайно полезно для всех нас, если бы всякий раз, когда эти

бойкие вояжеры являются куда-либо с очередным служебным визитом, их повсеместно сопровождало предупреждение: осторожно — «Евтушенко»!

Париж, 20 ноября 1975 г.

В заметке, подписанной Окуджавой, стилист Максимов был намного тоньше.

Но как, однако, время разводит людей, как оно разносит их беспощадно, составляя неожиданно странные конфигурации в луче обратного света. Евтушенко — Окуджава — Цыбулевский. Евтушенко — Окуджава — Максимов.

Время берет людей на излом. В ноябре на радиаторе переделкинского Дома творчества повесился Геннадий Шпаликов.

Пароход белый-беленький,
черный дым над трубой.
Мы по палубе бегали,
целовались с тобой.

Кончилась и эта песня.

Евтушенко завершает 1975 год поэмой «Просека», о которой тогда же вслух сам говорит, что это неудача и за нее ему попадет со всех сторон.

Он прочитал «Просеку» на Высших литературных курсах (при Литинституте), где Межиров вел поэтический семинар. В конференц-зал набежало много народу — студенты Литинститута прежде всего, яблоку негде было упасть, Евтушенко пользовался все еще острым любопытством (видом популярности) не только читателей, но и коллег. Слушатели курсов — народ пришлый, неоднородный, со всех концов страны на два года собирающийся в Москве. Про ВЛК литснобы говорили: школа для малограмотных писателей. Межиров, долгие годы учивший недоучившихся литераторов, был удручен «извозничьим пьянством» в общежитии Литинститута на улице Добролюбова, 8/11, где обитали его семинаристы вперемешку со студентами. Отсутствие высшего гуманитарного образования было условием для поступления на курсы и в некоторой мере льготой членов Союза писателей СССР. Провинциальные писатели, по преимуществу средних лет, за два года пребывания в Москве обзаводились кое-какими журнально-издательскими связями, если не спивались на шестом этаже общаги.

Евтушенко не чванился перед незнаменитыми собратями. Он искренне считал себя самого поэтом из глубинки. Недообразованный писатель, учившийся на ВЛК, — какая-никакая связь с народом. Поэму он прочел на подъеме, заработал горячее одобрение зала и с легким сердцем отдал ее в «Литературку», которая напечатала ее большим фрагментом 1 января 1976 года.

Чем «Просека» интересна? Тем, что, во-первых, именно там сказано:

Моя фамилия — Россия,
а Евтушенко — псевдоним.

А во-вторых, там целый кусок посвящен Валентину Распутину. «Такой талантище. Наш сибиряк».

Евтушенко по-прежнему балансировал. Еще бы — поэма про БАМ. Про КамАЗ не получилось — с чего он взял, что получится на этот раз? А он и не был уверен, более того — был почти убежден в противоположном. Его грела рискованная задача — пройти по минному полю конъюнктуры без окончательных потерь. Матушка Сибирь выручит, если что.

Всесоюзная ударная комсомольская стройка в ракурсе истории. Ключевский нам поможет.

Евтушенко читает пылкую лекцию в стихах о пользе истории и ее необходимости. Кто против? Он уже делал это не раз — начиная со «Станции Зима». Его не смущает явный неуспех у просвещенного читателя. Он находится на узловом повороте своей — евтушенковской — истории. Правы ли умники в Оксфорде? Можно ли играть в свою игру средствами официоза?

Он ставит на историю отечественную. Возникают «Ивановские ситцы».

Он и эту вещь прокатывает на профессиональной площадке — на сей раз в Большом зале Центрального дома литераторов. У него сольный вечер. Он читает много прежнего, но «Ивановские ситцы», поэма про первопечатника Ивана Федорова, — коронка концерта. Грозный царь изгоняет первопечатника из родных пределов.

Ты понял бы,
великий Гутенберг,
всю прелесть жизни русского коллеги,
когда он изгнан из Москвы

поверх
груженной только буквами телеги?
Ты понял бы,
прихлебывая кирш,
как взвыл Иван в рукав,
никем не слышим,
когда ему,
как будто шавке:
«Кыш!» —
да хорошо,
что обошелся «кышем».

Идет голый намек на Солженицына. Залу всё предельно ясно.

«Ивановские ситцы» будут напечатаны в восьмом номере ленинградского журнала «Аврора» за 1976 год. Вскоре Ивановский обком КПСС издаст распоряжение об изъятии из библиотек города Иванова и Ивановской области текста поэмы как «порочащего». За что?

Иваново-Иваново,
слезы разливаново,
такое гореваново,
такое тоскованово.
Иваново-рваново,
Иваново-пьяново,
сплошное надуваново,
сплошное убиваново...

Поэму не спасла и тема деятельности большевичков в городе ткачих, первый Совет и пр.

А в ХХІ веке и такое произойдет: «Мой сын окончил университет в Лондоне и по заданию редакции, где проходил стажировку, поехал в город Иваново — писать репортаж о борцовском поединке между охранниками тюрьмы и их заключенными. Саша позвал в поездку и друга-шведа. А их, совсем юных и неопытных, на темной ивановской улице подкараулила банда местных хулиганов. Сыну выбили зубы, отобрали все деньги, хорошо хоть документы потом подбросили. Какое, скажите, представление о родине отца могло сложиться у Саши?»

В 1976-м, за несколько дней до евтушенковского вечера, в Малом зале Центрального дома литераторов отметили память Николая Рубцова. Было сказано много хорошего, но лишнего, как всегда, — больше. Малый зал противостоял Большому: тихая поэзия — громкой.

Десятого февраля Евтушенко пишет, опередив будущее определение семидесятых:

Достойно, главное, достойно
любые встретить времена,
когда эпоха то застойна,
то взбаламучена до дна.

В том феврале он побывал в Лондондерри, вместе с Джан. Она была за рулем крохотного «Mini-Club», когда они, нагнув головы, проскочили насквозь перестрелку между протестантами и католиками и на капот им грохнулась натуральная львица из парка «Сафари в Ольстере». Его голову тогда решительным движением ладони нагнула Джан. Она спасла их обоих. Но в стихах того же февраля вспоминается другая:

Но всех других времен
сильнее прошлое,
и я хороший там,
и ты хорошая.
Там первый снег с твоих ресниц сцеловываю.
Там ты от всех морщинок исцеленная,
идти по льду
в высоких туфлях не решающаяся,
как олененок на копытцах, разъезжающаяся.

(«Прошлое»)

Наверное, это Белла.

В Центральном доме литераторов идет своя жизнь, с незримой для постороннего глаза расстановкой сил. Что на дворе, то и в доме. Главная забота администрации дома — всё уравновесить. Левые, правые, знаменитые, безымянные, богатые, нищие, стадные, бесстайные — тут все рядом, в одном котле. Малый зал предназначен для мероприятий второго

ряда. Из Малого и Большого выносили тела умерших в соответствии с рангом. Иной литератор целенаправленно трудился изо всех сил, дабы его вынесли из Малого, — тоже честь.

А 1 апреля — тяжелейший удар: умер Николай Тарасов. Совсем недавно в Малом зале был его вечер, всё прошло как нельзя лучше, и вот... Это было трудно осознать. Крепкий, спортивный, веселый, с планами и надеждами на будущее. «Первоапрельская шутка». Дивны дела твои, Господи.

В конце апреля, вне всяких юбилеев и других поводов (ну, если не считать день рождения 9 мая), в Большом зале — вечер Окуджавы. Любимцы и кумиры еще существуют, Москва ломится, как на битлов, народу выше крыши, Окуджава поет, поставив ногу на сиденье стула. Он дежурит по апрелю.

Первого июля — 80 лет старику Антокольскому. Все помнят наизусть его «Санкюлота»:

Мать моя — колдунья или шлюха,
А отец — какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбку разодрав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

В Большом зале — торжество, на сцене самые звонкие имена, от Беллы Ахмадулиной до Ивана Семеновича Козловского, головокружительного лирического тенора, который после исполнения романса «Я встретил вас...» стал на колени перед юбиляром, утонувшим в огромном троноподобном кресле. Один поэт в своем дневнике назвал этого певца «Евтушенко в вокале». Юбиляр лобызает всех, с трудом дотягивается до евтушенковских уст, обняв его за длинную шею.

Бурная клубная жизнь.

Пришла беда — отворяй ворота. В начале августа ушел Михаил Луконин. Большой зал ЦДЛ, гроб на сцене, Евтушенко в цветном летнем пиджаке, прилетел с юга, цветы в руках, слезы на глазах. Что случилось с могучим этим мужиком пятидесяти семи лет? Обширный инфаркт, в который он не поверил и который он заработал на банкете, данном им в

честь цэдээловской обслуги по поводу получения золотой медали «Борцу за мир». Еще пару дней гудел-гулял уже после диагноза. Он славился глубоким продолжительным вздохом, последний выдох был мгновенным.

Происходит убыль и другая. Еще в апреле отбыл из Москвы и приземлился в Вене А. Гладилин, на подходе — В. Войнович, у которого отключили домашний телефон за слишком артикулированные беседы с другом Н. Коржавиным, проживающим в Бостоне, штат Массачусетс, США.

Двадцать пятого августа «Правда» печатает статью Евтушенко «Поэзия тревоги и надежд».

«Очень многое для понимания какой-либо нации в целом зависит от первого контакта с представителями этой нации. <...> Первыми американцами, с которыми я познакомился, были американский поэт, которого не побоюсь назвать народным поэтом, — Карл Сэндберг, и замечательный художник-фотограф Эдвард Стайхен, приехавший в 1957 году в Москву со своей экспозицией «Род человеческий». <...> на встрече в Союзе писателей Сэндберг попросил гитару и хриловатым старческим голосом стал петь ковбойские, крестьянские и рабочие песни, потряхивая в такт седым чубом.<...> В кафе «Аэлита» Фрост читал притихшему залу стихи о снеге».

Далее речь идет об антологии «Современная американская поэзия», выпущенной «Прогрессом»: «В антологию включены лучшие произведения 50 лучших американских поэтов за 30 последних лет... Недостает стихов Роберта Пена Уоррена и Джона Апдайка, интересных не только как прозаики, но и своеобразных поэтов».

Евтушенко отмечает, что после Чуковского, Зенкевича, Кашкина «образовался молодой отряд переводчиков американской поэзии. Особенно хороши переводы Вознесенского, А. Сергеева, В. Британишского, П. Грушко».

Осенью прошумел День поэзии, 15 ноября в Лужниках грандиозное действо, на сцене они сидят рядом — он и Белла.

В середине декабря — сердчишко пошаливало — он опять сдался в больницу МПС. Опять стихи, хоть и не в таком обилии, как в первый раз. Возник вполне постмодернистский стишок:

Наполеон сказал: «Сарделек пару...»
Советский рубль он вынул из лосин,
потом присел к электросамовару,
Распутина в соседи пригласил.

Еще одна прелестная подробность:
вбежал Малюта, бросил: «Сигарет...»
Печальная, забавная заgrabность.
Почти тот свет.
Мосфильмовский буфет.

Двадцать восьмого декабря ушел Александр Рудольфович Гангнус.
Они как сговорились. Тарасов, Луконин, и вот — он. Слов нет. С Новым
тебя годом, 1977-м, Женя. Сердце надрывается.

Стихов на смерть отца не написалось. Это произойдет позже, в поэме
«Мама и нейтронная бомба».

Папа,
я поднимаю твой гроб
вместе с твоими сослуживцами
из Союзводоканалпроекта,
от которых не зависит только одно
иригационное сооруженье —
Лета.
Папа,
я кладу твои немногие,
но честные ордена
на принесенную мной слишком поздно
кислородную подушку.
Папа,
я бросаю на крышку твоего гроба
комья земного шара.

КОЛЫМА И ОКОЛО

Восьмого января 1977 года в Московском метрополитене на перегоне станций «Первомайская» — «Измайловская» в 17 часов 33 минуты произошел непонятный взрыв с засекреченным количеством жертв. Младенчество отечественного терроризма, первый крик самодельного взрывного устройства, отголосок большого мира.

Остальное — своим ходом. В Америке вышла книга лирики Евтушенко (издательство «Даблдэй»), в Ленинграде ансамбль «Хореографические миниатюры» исполнил балет на музыку Шостаковича «Казнь Степана Разина», а в майском Иркутске основан Союз евтушенковедов (В. В. Артемов, Е. Л. Кручинин, В. В. Комин, В. П. Прищепа).

«Евтушенковеды выступали с чтением моих стихов по всему Советскому Союзу — на танцплощадках, зверофермах, в роддомах, вытрезвителях, сельских клубах, «почтовых ящиках», домах отдыха, колониях для малолетних преступников, школах, химчистках, военкоматах, на пивзаводах, в пионерлагерях и венерологических диспансерах — короче, везде, куда их пускали.

Евтушенковеды были ходячими книгами моих стихов. Когда я попал в опалу, никто из них не перестал исполнять мои стихи, хотя это было небезопасно. Некоторые евтушенковеды, к ужасу домочадцев, превратили свои скромные квартиры в мои мини-музеи. Они оказывали мне драгоценную помощь при составлении книг, ибо знали мои стихи лучше меня. Они бережно коллекционировали любые бумажки, обрывки, клочки, связанные со мной».

Первого апреля (опять это число) 1977 года в «Литературной России» Евтушенко печатает статью «Гражданственность — нравственность в действии» под рубрикой «Мастера — молодым». Он приводит цитату из письма молодого поэта (без имени автора): «Сейчас, когда на индивидуальность человека наступает НТР, когда 80 млн телезрителей одновременно смотрят на Штирлица или Магомаева, задача писателя, на мой взгляд, состоит не в гражданственности, которая иногда размывает индивидуальные черты, а в сохранении личности...» — и комментирует: «Опасения насчет телевидения не безосновательны. Насчет НТР — сомнительны. Евгений Винокуров по этому поводу не без остроумия заметил насчет одного пассажа из Вознесенского: «Чего он меня роботами

страшает! У нас водопровод то и дело отключают, лифты между этажами застревают, а он — роботы да роботы...».

В июне — июле — новый путь по воде: по Колыме. Капитан и руководитель заплыва Леонид Шинкарев, корабельный врач Наум Шинкарев, геолог Владимир Щукин, геофизики Валерий Черных и Георгий Балакшин. Решили пройти всю Колыму от поселка Синегорье в Магаданской области до поселка Черский в Якутии, откуда до Ледовитого океана рукой подать. А сперва — поездка вдоль Колымы.

Там он знакомится с Вадимом Тумановым. Вот его далекая молодость: начиная с 1948-го сразу несколько статей УК, в том числе 58-я, пункты 6, 8 и 10 — «шпионаж, террор, антисоветская агитация». Семь побегов с последующей накруткой в 25 лет.

Семь лет дружбы с Высоцким — это уже в зрелости.

Человек, в колымских лагерях оттрубивший восемь лет за преступную любовь к Есенину, был обречен на дружбу с Высоцким, а в 1977-м их свело с Евтушенко: они встретились где-то в поле возле Магадана. 19 июля вечером, когда Шинкарев с командой в фургоне уазика тронулись в путь, к ним подсел коренастый человек в кожанке и назвался: Вадим Туманов. Шинкарев пояснил: Вадим покажет нам все места, где сидел, откуда бежал, где его ловили вохровцы.

Туманов освободился в 1956-м, судимость и поражение в правах сняли, но он еще не имел права свободно гулять по России и тем более в Магаданской области. Однако благодаря встречам Евтушенко и Шинкарева с партэлитой Магадана компетентные органы закрыли глаза на его появление в области, куда его позвал Шинкарев.

Это были места самых страшных лагерей «Дальстроя» — «Широкий» и «Ленковый». Сами лагеря уже были стерты с лица земли: поработали бульдозеры и грейдеры. Повсюду вдоль трассы — развалины, среди них одинокие люди и бродячие собаки.

Туманов потом напишет в книге «Все потерять — и вновь начать с мечты...»:

Я вдруг поймал себя вот на какой мысли. В лагерях мы грезили о временах, когда вышки, бараки, вахты, ненавистную ограду из колючей проволоки снесут ко всем чертям, сами зоны разутюжат бульдозерами, чтобы не осталось от них и следа. Это казалось совершенно невозможным на нашем веку. Игрой больного воображения. Но представлять эту картину было мстительно и приятно...

Нашли железный «сейф» — сваренный из стальных листов узкий вертикальный ящик, в котором невозможно сидеть, можно — только стоять. Туманов:

Выдерживать долгие морозы в почти не отапливаемых стальных сейфах, изнутри поблескивающих инеем, удастся немногим. Поблизости захоронение заключенных: короткие, воткнутые в землю палки с дощечками. На них химическим карандашом написаны буква, обозначающая барак, и личный номер умершего. В точности как на бирке, привязанной к его ноге. Распадок утыкан дощечками до горизонта. А-2351, В-456, К-778...

Евтушенко сохранит одну из этих дощечек, жуткий артефакт. Постепенно добрались до Якутии. Путешествие продолжалось. На одной из лодок было крупно начертано: «Джан Батлер».

В то время у Джан появился какой-то богатый ухажер, англичанин. Евтушенко пылал ревностью.

В Колымских скалах, будто смертник,
собой запрятанный в тайге,
сквозь восемь тысяч километров
я голодаю по тебе.

(«Сквозь восемь тысяч километров»)

Стихотворение Евтушенко написал в Зырянке, по горячим следам телефонного разговора с Джан. Г. Балакшин вспоминал:

Я слышал, как он кричал в трубку: «Не верь ему... Я женюсь на тебе... Я люблю тебя!» Как истинный влюбленный, Женя повторял эти слова, звоня из каждого колымского поселка, откуда была связь с Москвой.

Пространство — это не разлука.
Разлука может быть впритык.
У голода есть скорость звука,
когда он — стон, когда он — крик.

Но не всё было на таком пределе. Где-то в Синегорье его нашла телеграмма: «Борюсь с мебелью. Люблю». Это она так шутила. Он поручил ей доставать мебель для гульрипшского дома, который он строил с ее помощью. Поручение исполнялось, несмотря ни на что.

Евтушенко пишет, уединяясь в капитанской каюте. Радиоэфир приносит новости о большом мире. Большой мир пытается спастись. 1 августа в Индии предложено ввести всеобщий запрет на алкоголь с 1981 года. 16 августа в Мемфисе, в своем доме, умер Элвис Пресли, — говорят, от передозировки снотворного.

По завершении колымской части лета Евтушенко посещает Иркутск, Улан-Удэ, Ангарск, Зиму, Нижнеудинск. 31 августа дает вечер в иркутском Дворце спорта — 7 тысяч зрителей.

Знакомство с Тумановым не оборвалось на Колыме. Они встретились в Москве, и вот по какому поводу. В оны времена в лагерях администрация намеренно стравливала «сук» и «воров», дабы облегчить себе задачу управления всем этим злобным народом. Особенно отличился в этом деле некий капитан Пономарев. Туманов наткнулся на него, когда с женой Риммой зашел пообедать в «Националь»:

Швейцар в фуражке с золотым околышем грудью защищал вход. В его лице мне показалось что-то знакомое. Это был наш капитан Пономарев! Он тоже разглядел меня, по его лицу пробежало смущение. Он задвигал локтями, расталкивая стоящих впереди: «Пропустите пару! У них заказан столик. Проходите, товарищи!» Я не верил глазам и еще меньше верил, что он обращается к нам. Пропустив нас, Пономарев закрыл дверь и вошел в вестибюль следом за нами. «Здравствуй, Туманов! Я слышал о тебе...» И протянул мне руку. «Здравствуйте, гражданин начальник...» Я машинально ответил на рукопожатие. Но когда он протянул руку Римме, я спохватился, сделал вид, что поправляю рукав ее пальто, и отвел руку жены.

Мне страшно неприятно стало при мысли, что эта рука может ее коснуться.

Некоторое время спустя я рассказал об этой встрече Евгению Евтушенко. Он уговорил меня вместе с ним пойти в «Националь» И мы пошли — чего не сделаешь ради русской литературы! Вот какой осталась эта встреча в воображении поэта, когда мы с ним оказались перед ресторанной дверью с бронзовыми ручками.

«Наш легальный советский миллионер (это поэт обо мне! —

В. Т.)помахал швейцару сквозь стекло двери сиреневой четвертной, и тот среагировал... Когда возникла щель в двери, Туманов незамедлительно сунул в щель четвертную, и она исчезла, как в руке факира. Швейцар был небольшого роста, величавостью слегка похожий на Наполеона, медные пуговицы были начищены до золотого блеска, к нам он не испытывал особого интереса, кроме лакейско-выжидательного — не вложат ли эти господа хорошие еще чего-нибудь в его заросшую шерстью лапищу.

Швейцар открыл дверь, пропуская нас, и вдруг с лицом его что-то случилось: оно поползло одновременно в несколько разных сторон от смешанных чувств — страха и радости, хотя радость все-таки побеждала.

— Туманов? Вадим Иванович?

— Капитан Пономарев? Иван Арсентьевич? — пробормотал Туманов, неверяще улыбаясь, как при неожиданной встрече с закадычным другом, который считался безвозвратно потерянным.

Хотя отставной капитан Пономарев и не вернул от радости неожиданной встречи четвертную, бывший тюремщик и бывший арестант почти по-братски обнялись.

Классическая история, напоминающая взаимоотношения каторжника Жана Вальжана и полицейского инспектора Жавера из «Отверженных» Виктора Гюго».

Так это увиделось поэту. Его право.

Легковейная фантазия поэта, разумеется, достойна добродушной иронии старого лагерника, но на эпитет «советский миллионер» Евтушенко имел-таки реальное право. Факты таковы. После освобождения Туманов окончил курсы горных мастеров. Начиная с 1956 года организовал несколько крупных артелей по добыче золота, работавших на месторождениях от Урала до Охотского побережья. Всего созданные Тумановым артели вместе с дочерними предприятиями добыли свыше 400 тонн золота.

В 1987 году против артели «Печора» и личности Туманова была развернута свирепая травля. Пошла охота на волков. В газете «Социалистическая индустрия» напечатали статью с массой обвинений по его адресу.

Туманов:

Руководство артели решило обратиться к Рыжкову (тогдашний премьер-министр СССР. — И. Ф.). Но как преодолеть нашему письму крутую бюрократическую лестницу и попасть ему в руки? Я лихорадочно перебирал в памяти своих знакомых, достаточно авторитетных для властей и в то же время знавших меня настолько, чтобы довериться мне и артели.

Евгений Александрович Евтушенко! Вот на кого можно было рассчитывать. После нашей поездки по Колыме в 1977 году мы перезванивались, изредка встречались. Он приглашал меня на свои поэтические вечера. Я редко бывал в окололитературных компаниях, но почти каждый раз там встречался какой-либо молодой высокомерный сноб, мнящий себя совестью русского народа и готовый при имени Евтушенко сорваться с цепи.

Наблюдая это, я еще больше симпатизировал поэту — равнодушные к нему мне не попадались. Однажды якутские друзья привезли мне в Москву двух замороженных ленских сига. Одну из рыб я послал на дачу Евгению Александровичу. Некоторое время спустя, вернувшись из очередной поездки, узнал от сына, что в мое отсутствие приходил Евтушенко и оставил на тумбочке записку. Приведу ее целиком, потому что она, по-моему, дает представление о человеке, ее написавшем: «Дорогой Вадим! Пейзаж из лекарств на твоём столике мне не по душе. Но если есть надобность, обязательно плюнь на все и ложись в больницу. Все болезни лучше лечить не в момент самый острый, а заранее. Спасибо за чудо-рыбу. К сожалению, не мог тебя дождаться. Всегда будем рады тебя видеть. Любим тебя и верим, что ты болезнь додавишь. Твой Евг. Евтушенко».

Мне в голову не приходил вопрос, захочет ли поэт вникать в эту историю, но вправе ли мы сами вовлекать его в наши дела и снова сталкивать с властями? Когда я понял, что вариантов нет, набрал переделкинский номер.

— Женя, привет... Тебе не попадалась... на глаза... статья в...

Он не дал мне закончить:

— Вадим, ты в Москве?! Ни по одному телефону не могу тебя найти!

— Не решался тебе звонить.

— Ты с ума сошел! Давай ко мне!

Евтушенко написал письмо на имя Рыжкова.

Письмо Евтушенко действительно попало в руки Н. И. Рыжкова. Глава правительства начертал на нашем обращении к нему резолюцию, адресованную министру внутренних дел А. В. Власову и Генеральному прокурору А. М. Рекункову: «Разобраться по существу, объективно».

Страсти вокруг «Печоры» продолжали накаляться, но резолюция премьера изменила, по крайней мере, тональность обращения с нами следственных органов. Нас стали — или делали вид, что стали, — выслушивать.

На чем кончим сюжет Туманова? На его воспоминании.

Он (Высоцкий. — И. Ф.)хотел видеть станцию, где вырос Евгений Александрович Евтушенко. Его расположением Володя очень дорожил. Не скажу, что они часто встречались (во всяком случае, с момента нашего с Высоцким знакомства), но каждый раз, когда в каких-то московских кругах всплывало имя знаменитого поэта и кто-то позволял себе осуждать его — в среде московских снобов это было модно, — Володя решительно восставал против попыток бросить на поэта тень.

— Понимаешь, Вадим, когда советские войска в августе шестьдесят восьмого вторглись в Чехословакию, не кто-то другой, а Евтушенко написал «Танки идут по Праге...». Когда государство навалилось на Солженицына, снова он послал Брежневу телеграмму протеста. Никто из тех, кто держит фигу в кармане, не смеет осуждать Евтушенко.

И добавил, подумав, как бы ставя точку:

— Женька — это Пушкин сегодня!

...Когда поезд приближался к станции Зима, мы вышли в тамбур и, едва проводница открыла дверь вагона, спрыгнули на перрон. Стоянка была непродолжительной. Тем не менее мы успели окинуть взглядом пристанционные постройки, небольшой базар под открытым небом. Леня Мончинский нас фотографировал на фоне старого вокзального здания с надписью: «Зима. Вос. Сиб. ж. д.»

Сойти на тихой станции Зима.

Еще в вагоне всматриваться издали,
открыв окно в знакомые мне исстари
с наличниками древними дома...

Когда послышался гудок, и мы снова вскочили в вагон, и уже поплыл привокзальный скверик с клумбами, за ним деревянные дома с поленницами, Володя сказал:

— Городок, конечно, не очень приметный, обычный сибирский. Ничем не лучше других. Но вот ведь какое дело — поэт в нем родился!

Но сюжет не кончается.

Высоцкий, о нем речь.

Профессиональное общение между Евтушенко и Высоцким началось с разговоров о рифме. Евтушенко убеждал Высоцкого в том, что усеченная рифма («октября — говорят») отыграла свое в двадцатых годах, а в фольклоре и вовсе не встречается — там царит ассонанс. Постепенно Высоцкий стал виртуозом рифмы.

Общались они очень часто, а с Мариной Влади Высоцкого заочно познакомил Евтушенко, когда три дня был ее первым гидом по Москве и она пожаловалась, что «настоящих мужчин очень мало». Евтушенко сказал, что это — почти слово в слово — строчка из Окуджавы («Настоящих людей очень мало»), она такого имени не знала и о Высоцком ничего не слышала, на что Евтушенко сказал, что Высоцкий и есть настоящий мужчина, им надо познакомиться.

«Кстати, я никогда не видел его пьяного. Он выпивал, конечно, бывал навеселе, но пьяного я его не видел. Он пил совсем с другими людьми, которые его споили».

Евтушенко считал, что стихи Высоцкого без музыки — на бумаге — проигрывают, старался помочь ему выпустить пластинку, устроить ему выступление. Белла и Андрей пытались пробить эти стихи в печать — безуспешно.

Яркий чтец, Евтушенко судил профессионально:

«С моей точки зрения, самое потрясающее, что он сделал в театре, — это монолог Хлопуши. Это феноменально! Он читал на уровне самого Есенина, а Есенин читал феноменально. Этот монолог был, пожалуй, наибольшим самовыражением Володи в театре».

Был такой случай. В день генерального прогона «Гамлета», когда были

приглашены какие-то важные люди, сам Высоцкий — отсутствовал. Евтушенко сидел в кабинете Любимова, было уже половина седьмого, Высоцкого все еще не было. Вдруг раздался звонок, трубку снял Евтушенко и услышал:

— Это Володя. Кто говорит? Женя? Только не надо Юрь Петровича звать. Женечка, я вчера немножко загулял, ребята хорошие попались, пилоты. Они меня умыкнули во Владивосток, а тут погода нелетная. Ребята пообещали, что завтра меня привезут. Женя, уговори Юрь Петровича, попроси прощения за меня. Ну, сделай что-нибудь.

Любимов всё слышал. Любимов начал кусать ногти.

— Единственная возможность его выручить — давай объявим вечер твоих стихов. Тогда никто не уйдет.

Евтушенко это сделал. А что было делать? Замены у Высоцкого не было.

Высоцкий помог Евтушенко вывезти за рубеж рукописи стихов для поэтической антологии. Они на пару, с двух сторон, тащили большую сумку — в ней больше пуда веса — до таможни. Марина Влади была членом французской компартии, ее практически не досматривали, и она, взяв сумку, легко прошествовала с этим весом в руке мимо таможенника, грациозно покачивая бедрами.

Высоцкий предлагал Евтушенко написать сценарий про Вадима Туманова, чтобы в Америке это поставить и чтобы он сыграл. Он часто к этой идее возвращался:

— Ты хорошо знаешь Вадима, ты его чувствуешь.

«С моей точки зрения, Высоцкий не был ни великим поэтом, ни великим композитором, ни великим актером, ни великим певцом. Но он был великим русским характером, русским явлением. То же самое я думаю о Шукшине, и это очень высокое мнение. Я считаю, что памятник Высоцкому на Ваганьково прекрасный. Он хороший, доходчивый. Он, может быть, с точки зрения скульптуры не такой эстетский, но зато он обращен к очень широкой аудитории. А тот, что поставили на бульваре... Я не знаю, зачем это нужно было ставить. То ли это космонавт, то ли еще кто. Вот опять меня могут обвинить, что я не радуюсь памятнику Высоцкому. Почему? Я радуюсь, но хорошему памятнику, а этот очень средний, даже ниже среднего.

Да и митинг был пошлый, меня просто тошнило. Зачем было в некоторых речах ставить Высоцкого рядом с Пушкиным, Грибоедовым и Гоголем? Ведь это совершенно другая фигура, с другой судьбой. Эти люди не понимают, что таким идиотическим фанатизмом они делают дурную

услугу Высоцкому. Они не популяризируют его, а наоборот, снижают его популярность. <...>

Осенью 1977-го в Париж приехала большая группа наших поэтов. Володя не был включен в список выступающих, но он тогда был в Париже, и мы настояли на том, чтобы он выступал. Все настояли — и Симонов, и Вознесенский, и Олжас Сулейменов, и другие.

Володя очень хорошо пел в тот день, выступал с особой ответственностью, поскольку он выступал с профессиональными поэтами. У него была вообще, надо сказать, какая-то особая застенчивость и отношение большого уважения к другим поэтам.

Это выступление потом показывали по телевидению, а его кусок вырезали. Конечно, он чувствовал себя оскорбленным, да и мы все были оскорблены».

О том, что было в Париже осенью 1977 года, рассказывает Олжас Сулейменов:

В октябре 1977 года Константин Симонов вывез в Париж, как он говорил, «поэтическую сборную СССР». Рождественский, Евтушенко, Высоцкий, Окуджава, Коротич...

Андрея Вознесенского среди нас не было: он не выступал в одной компании с Е. А. <Евтушенко>. В то время ходила по Союзу писателей шутка. Началась третья мировая война. Старшина выстроил поэтов в шеренгу и подал команду: «На первый-второй рассчитайсь!» Поэты: «Первый!.. Первый!.. Первый!..»

...Их книги стоят в одном ряду. Книги моих друзей-учителей. В алфавитном порядке: Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий, Евтушенко, Мартынов, Окуджава, Рождественский, Симонов, Слуцкий...

Можно и в другом порядке перечислить эти фамилии, суть не изменится: они были Первыми.

Мир пытался понять причину необыкновенной популярности поэтического слова в СССР. Поэтому и первый вечер советской поэзии в Париже собрал четырехтысячную аудиторию. И ни одного пустого кресла. Интеллигентный зал, слегка удивленный своей многолюдностью. В Европе стихи привыкли слушать в небольших салонах, попивая кофе при свечах. И тиражи сборников — несколько сот экземпляров. А наши книги выходили по сто, по двести тысяч. Даже в переводах

они вызывали подчас больший интерес зарубежных читателей, чем книги местных авторов. Некоторые из выступавших были достаточно известны во Франции. Раньше всех — Евтушенко: у него еще в 64-м вышел сборник в Париже. В нашей группе были два барда. В Союзе они тоже нечасто встречались на одной сцене. И поэтому волновались. Особенно Высоцкий. Французам более по слуху пришлось шансоновое, негромкое исполнение Булата: надрывная цыганщина «Коней» еще не ассоциировалась с судьбой автора. Роберт (Рождественский. — И. Ф.), как всегда, добродушно спокоен. Вкус и чувство юмора позволяли ему быть патетичным, не впадая в пошлость. Нервничал Евтушенко: аплодисменты, доставшиеся коллегам, истязали его. Последнему выступающему всегда кажется, что оваций до финала не хватит.

Вечер удался. Зал никого не обидел. И не возвеличил.

Наутро в газетах — подробная информация о вечере. В одном самом большом материале, в самой заметной газете всех поименовали правильно, и только Евтушенко не повезло: его назвали Сергеем.

День прошел в походах по журналам, издательствам. В одном из книжных магазинов состоялась презентация моей «Глиняной книги». Представляли ее читателям Константин Михайлович Симонов и автор перевода Леон Робель. В отель я вернулся поздно и долго не мог заснуть. Поспать так и не пришлось. Часа в три ночи позвонил Роберт:

— Старик, Сережа в истерике. Надо помочь.

Мы зашли к нему в номер. Он был безутешен.

Ученики-то, однако, ехидноваты.

А Евтушенко мог бы и по-другому отреагировать: в самой заметной газете его явно перепутали с Сергеем Есениным. Не лестно ли? На родине так уж точно — есенинскую нишу решительно занимает Высоцкий, но и мы не лыком шиты: вот вам поэма «Северная надбавка», где и про пьянство (пивное), и про душевную широту. Герой поэмы Петр Щепочкин, труженик Заполярья, вместо того чтобы зашитые в пояс аккредитивы ухлопать на вожаемое море пива и женские бедра с хула-хупом, поступает почище той Настасьи Филипповны — правда, с умом — отдает заработанные деньжищи семье сестры Валюхи на покупку кооператива: убожество сестринского жилья невыносимо. Прощай, мечта о пивном Сочи, и здравствуй опять, Север.

Тройной одеколон уже воспет, пора ударить по пиву — над Севером стоит мужской стон: «Пива! Пива!» По пути надо всыпать открыточному Муслиму — за то, что он в жабо воздушном. Не то что Высоцкий — привет ему: он тут как тут («Подвинься, Зин!..»). В аэропорту, где сотни голосов сливаются в шум времени:

«Me gusto mucho andar a Siberia» [\[8\]](#)

«Зин, айда к телевизору —
про Штирлица новая серия».

«Danke schön! Auf Wiedersehen!» [\[9\]](#)

«Ванька, наш рейс объявляют —
не стой ротозеем!»

А Петр Щепочкин — он как раз и есть шурин, брат жены, и убеждает он зятя своего взять у него эти несчастные десять тыщ — в долг, под расписку! А зять Чернов упирается, гордый он. Уломал его Петр. И отправился восвояси, на севера свои.

Вся эта вещь, «Северная надбавка», — по существу интерпретация песни Высоцкого, эпически развернутая вариация на его тему, с переменой ролей и ситуаций. Этот мужской стон «Пива! Пива!» препятствовал публикации, но она состоялась в июньском номере «Юности» за 1977 год.

То был гипержаркий июнь. В СССР опубликован проект четвертой конституции, утверждающей ведущую роль КПСС (принята 7 октября). Брежнев одновременно занимает пост генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Верховного Совета. Нет, это, разумеется, не похоже на то, как в апреле полковник Менгисту Хайле Мариам, убив восьмерых коллег по Военному совету, захватывает единоличную власть в дружественной нам социалистической Эфиопии, а пакистанский генерал Зия уль-Хак приходит к власти в результате военного переворота, ну а в Центрально-Африканской империи под конец года состоялась коронация императора Бокасса, неметафорического людоеда.

В том же июне в Великобритании проходят юбилейные торжества по случаю 25-й годовщины восшествия на престол королевы Елизаветы II. Британская рок-группа *Sex Pistols* публично исполняет будущий мировой шлягер «God Save the Queen» («Боже, храни королеву»), оскорбительный для монархии.

Большой мир стоит на ушах. Устои всего на свете колеблются.

Писал Евтушенко свою горько-веселую вещь в московской больнице

Гельмгольца, где его спасали от потери зрения. Общий перенапряг сказался на глазах. Чуть не ослеп.

Что он за человек, не успел прозреть и посмотреть на публикацию, как сорвался с места. И куда? На Колыму.

Шестнадцатого ноября 1977 года в «Литературке» Евтушенко отзывается о вышедшей годом раньше книге Олега Чухонцева «Из трех тетрадей», книге многострадальной, чуть не 20 лет отверженно скитавшейся по издательским коридорам.

«Сначала — была читательская любовь к поэзии. Она порой неконтролируемо прорывалась реминисценциями: «И нелегкое постоянство, и неженская та работа». Сразу возникает воспоминание о лексике Смелякова. «То ли ведро, то ли льет, как из ведра», «Не покажутся ли калики за калиткою», «Уходим — разно или розно...» Такими звуковыми упражнениями занимались мы все в начале шестидесятых. Но читательская любовь к поэзии перешла у Чухонцева в любовь профессиональную, когда вырабатывается свой голос, заглушая чужие интонации своей, единственной. Вот как густо и сочно сказано о маленьком городке где-то в глубинке:

Он лупит завидующие глаза.
Он тянется своей большою ложкой.
Он, может быть, и верит в чудеса,
но прежде запасается картошкой.

Это было написано в 1961 году.

...В примечательном стихотворении «Похвала Державину», «рожденному столь хилым, что должно было содержать его в опаре, дабы получил он сколько-нибудь живности», есть понимание того, как эта здоровая опара жизни, облегающая тело стиха, важна для души поэзии. И хотя поэт иронизирует над собой: «Я сам неплох, но — видит Бог — не та мука, не та закваска», можно с уверенностью сказать — и мука та, и закваска та, идущая из глубин истории великой русской музыки. Какая тут, к черту, хилость, когда так сильно вырублены строки:

Я понял — погода ломалась,
накатывался перелом,
когда топором вырубалось
все то, что писалось пером».

Евтушенко верит в Россию и ее людей, нет у него крайних ощущений краха, конца всего и вся. Это есть у его друга Олега Целкова. Живопись вселенской деформации, монструозности человека как вида. С таким взглядом на человека у нас тут делать нечего, пора принять совет Луи Арагона относительно берегов Сены, и советская власть тоже так считает — пора Целкову в Париж. Власть помогает, он уезжает. В Париж по гостевой визе вместе с семьей он прибыл из Вены 21 ноября 1977 года.

Целкова с Евтушенко познакомил Слуцкий.

ПОСЛЕ ДРАКИ

В сентябре 1977 года Борис Слуцкий овдовел. Он был женат единожды. Таня ушла безвременно, сгорев, как свечка. Он написал 13–14 стихотворений ее памяти.

Кучка праха, горстка пепла,
всыпанные в черепок.
Все оглохло и ослепло.
Обессилел, изнемог.

Непомерною расплатой
за какой-то малый грех —
свет погасший, мир разъятый,
заносящий душу снег.

Были у Слуцкого и еще потом стихи, но в общем и целом он закончил свой путь. Дальнейшей дороги не видел. Упразднилось его прежнее предложение:

Давайте после драки
Помашем кулаками...

Слуцкий стихи не датировал. Ставил на вечность? Вряд ли. Но для поэта, столь актуального по сути, это как минимум странность. Так или иначе, время возникновения того или этого стихотворения у Слуцкого можно угадать почти безошибочно. В 1971-м у него вышла книга «Годовая стрелка», где стихотворение «Эпоха закончилась. Надо ее описать...» явно означает конец 1960-х. В болдыревском (составитель — Ю. Болдырев) трехтомнике, вышедшем в 1991-м, перед «Эпоха закончилась. Надо ее описать...» стоит стихотворение, которое, среди прочих текстов Слуцкого, ходило по рукам.

Покуда полная правда
как мышь дрожала в углу,
одна неполная правда

вела большую игру.

Она не все говорила,
но почти все говорила:
работала, не молчала
и кое-что означала.

Словато люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде —
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.

И пусть сначала для славы,
только потом — для добра.
Пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а все-таки он качался,
качался и не кончался,
качался и не отчаивался,
калялся, но не закаивался.

(«Покуда полная правда...»)

Прошло лет десять с того момента, когда Евтушенко, по окончании писательского судилища над Пастернаком, на улице публично-показательно вернул Слуцкому денежный долг, звучно добавив:

— Тридцать сребреников за мной.

«Покуда полная правда...» — свидетельство не только некоторого покаяния со стороны Слуцкого, но и трезвого, как всегда у Слуцкого, взгляда на Евтушенко, на его роль в кончающейся эпохе.

Опубликовано это стихотворение было через двадцать без малого лет, в 1988-м. Книга, которую сейчас читает читатель, стоит на фундаменте этого стихотворения.

Евтушенко изначально смотрел на Слуцкого так — и не иначе:

«А в то время, когда в Союзе писателей шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей, по Москве чеканно военной походкой ходил

прекрасный поэт Борис Слуцкий, напечатавший только одно стихотворение, да и то в сороковом году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих кандидатов в лауреаты. Оснований для спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио и питался дешевыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатуху. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать. И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча открыл свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей.

— Я воевал, — сказал он, — и весь прошит пулями. Наш день придет. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!

Я понял».

Было дело, их ставили рядом. Виктор Некрасов (1959): «Из современных поэтов мне больше всего нравятся Слуцкий и Евтушенко». Ответ на анкету газеты «Нова культура», Варшава.

Вряд ли есть смысл рассуждать о потенциях поэзии относительно свободы от времени. По сути, такой вид существования поэзии невозможен. Дело в пропорциях и приоритетах. Слуцкий почти всю жизнь считал свое время вот именно своим. Его позднее трагическое открытие состояло в том, что он осознал свою чужеродность и ненужность той современности, на служение которой он положил эту самую жизнь. Случай Слуцкого — случай добровольного и волевым образом вмененного себе в долг идеализма, усиленного генной памятью пророческого библейского прошлого. Рыжий ветхозаветный пророк в роли политрука. Моисей и Аарон в одном лице. Косноязычие первого, переходящее в красноречие второго. Точнее, их языковая смесь.

Догадываясь о пророческой прародине своего слова, Слуцкий демонстративно перевел присущую ей апелляцию к небесам на противоположный объект — землю. Был привлечен разговорный слой языка плюс канцелярит, также ставший характеристикой разговорности. Армейская терминология, «громоносное просторечие», «говор базара», харьковский суржик (смесь русского с украинским), архаизмы («За летопись!»), осколки литературных разговоров в дружеском кругу молодых

советских интеллигентов — таков неполный перечень источников его словаря. Настойчивое заземление речи было самым ярким элементом его красноречия. То есть это было решительным уходом именно из поэтической элоквенции. Это было ненавистью к краснобайству. В тогдашней живописи все это называлось *суровый стиль*.

Слава Слуцкого была не звонкой, но в некотором смысле — глухой. Она соответствовала глухому ропоту советской интеллигенции. Распространяясь частично в списках, он тем не менее не состоял в авторах самиздата. Он не работал на самиздат. Или на тамиздат. Строй его мыслей не выходил за рамки советского миропонимания. Слуцкий — поэт советский.

В семидесятых идеология оставила его. Или стала другой? Он все чаще — намного определеннее, чем раньше («советский русский народ», «советский русский опыт» — его ранний синтез) — говорил о России, о русской истории, о русском языке. О том, что его никуда не тянет и он остается «здесь». Кто помнит, «здесь» означало СССР. «Здесь» Слуцкого — Россия.

Славу Слуцкого пригасил, но не смыл триумф евтушенковской плеяды, поскольку по природе и с самого начала их различала неодинаковая установка на успех, хотя в молодости он высказался так:

Не верится в долгие войны,
А верится в скорый успех.

Слуцкий разработал тактику «запланированной неудачи». При всей тяге к демократическому поэту Некрасову, в свое время отмеченной Эренбургом, Слуцкий — поэт заведомо интеллектуальный, если не элитарный. Евтушенковский демократизм предполагает такого «широкого читателя», глаз коего в пространстве стадиона не видно и, следовательно, не видно, светятся ли они умом. Между тем такие вещи Слуцкого, как «Баня» или «Школа для взрослых», для того же Евтушенко явились поистине школой для взрослых и были задействованы в собственной поэзии, что видно невооруженным глазом. Это врожденное народничество Слуцкого, острый глаз, подробная детализация, повествовательный лад (в «Бане» перекликающийся со Смеляковым) — все это по крайней мере не прошло мимо востроглазого, всепереимчивого Евтушенко.

Слуцкий был ненамеренно задвинут молодыми шестидесятниками, став чем-то вроде задника или декорации на сцене их перманентного

спектакля. Многоуважаемым шкафом. Публика не ликовала. Роз ему не дарили, на руках не носили. Единственный всплеск всенародного (молодежно-интеллигентского, в принципе) успеха — стихи про физиков и лириков, но, как представляется, стишок прозвучал вроде народной песни: народные массы автора не знали. Не Окуджава, короче.

Слуцкий знал вину и сказал о ней — в связи со Сталиным:

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

Но все-таки это вина, списанная на время. На веру. На коллективное заблуждение. Более персонален он в следующем признании, весьма далеко от парадных деклараций:

Но верен я строительной программе...
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.

У Слуцкого нет партийных стихотворений, равновеликих межировскому «Коммунисты, вперед!». Как так получилось? Загадка. Никакой не политрук, Межиров осуществил то, чего не добился коммунист по должности и долгу Слуцкий.

Среди современников-собратьев не напрасно наиболее близок ему был Леонид Мартынов. Оба — постфутуристы, книжники, эрудиты, государственники, рационалисты, поэты силы. Оба написали множество отписочных текстов. К обоим шла молодежь.

Слуцкий страстно провозглашал необходимость в свежем ветре:

Ломайте! Перестраивайте! Рушьте!
Здесь нечему стоять! Здесь все не так!

Веет Высоцким, не так ли?..

Ни Ахматова, ни Пастернак не были оппозиционерами. Они были

старше сталинских соколов, и только водоворот тотального террора не оставлял их там, где они предпочли бы остаться, — в стороне. Есенин со слезами вступался за мужика, но и это не оппозиция. Мандельштам выкрикнул антисталинскую сатиру, которая по сути своей далека от политики, при всей неистовой ненависти по адресу тонкошеих вождей: это жест поэта, охваченного ужасом жизни. Слуцкий — поэт политический. Поэтому его и можно считать первым оппозиционным поэтом СССР. Евтушенко ступил на ту же стезю.

Оппозиционность Слуцкого ужесточалась оттого, что со Сталиным боролись сталинисты. Кому-кому, а ему это было предельно ясно. И хотя он позже скажет, что «Печалью о его кондрашке / Своей души не замарал», выдавить из себя Сталина — было его собственным мучительным заданием. «Я на Сталине стою». Это толкало его на освоение такого тематического материала, который принадлежал не ему. Лагерь, тундра, те нары, та вышка, та проволока. Он брал на себя чужую тему, «потому что поэты до шахт не дошли».

Евтушенко и здесь учился у Слуцкого — работе на чужом поле. Кстати, идею Ваньки-встаньки он целиком взял у Слуцкого тех лет (стихотворения «Ванька-встанька — самый лучший Ванька...», «Валянье Ваньки»), «Трамвай поэзии» заехал к Евтушенко тоже из Слуцкого, из его «Тридцатых годов».

Слуцкий:

Двадцатые годы — не помню.
Тридцатые годы — застал.
Трамвай, пассажирами полный,
спешит от застав до застав.
А мы, как в набитом трамвае,
мечтаем, чтоб время прошло,
а мы, календарь обрывая,
с надеждой глядим на число.

Евтушенко:

В трамвай поэзии, словно в собес,
набитый людьми и буквами,
я не с передней площадки влез —
я повисел и на буфере.

Потом на подножке держался хитро
с рукой, прихлопнутой дверью,
а как наконец прорвался в нутро,
и сам себе я не верю.

(«Трамвай поэзии»)

К слову, нет ли тут — у Слуцкого — связи с «трамвайной вишенкой» Мандельштама: «Я трамвайная вишенка страшной поры / И не знаю — зачем я живу»?..

Скорбная лирика 1977 года — не история любви. Плач по жене. По единственному, последнему другу. Не Лаура и не Беатриче — Таня. Может быть, эти стихи — самое человеческое из всего, что написал Слуцкий. Смерть — на войне — научила его писать стихи. Смерть — жены — оборвала его речь, вызвав последний выплеск стиха.

Слуцкий умер в 1986-м. За девять лет до кончины потеряв жену, он ушел в затвор, отказался от стихов и общения с людьми, прежде всего с литераторами.

В 1977-м Евтушенко окликнул его, больного и ничего не говорящего.

Однажды мы спали валетом
с одним настоящим поэтом.

Он был непечатным и рыжим.
Не ездил и я по Парижам.

В груди его что-то теснилось —
война ему, видимо, снилась,

и взрывы вторгались в потемки
снимаемой им комнатенки.

Он был, как в поэзии, слева,
храпя без гражданского гнева,

а справа, казалось, ключицей
меня задевает Кульчицкий.

И спали вповалку у окон
живые Майоров и Коган,

как будто в полете уснули
их всех не убившие пули.

С тех пор меня мыслью задело:
в поэзии ссоры — не дело.

Есть в легких моих непродажный
поэзии воздух блиндажный.

В поэзии, словно в землянке,
немыслимы ссоры за ранги.

В поэзии, словно в траншее,
без локтя впритирку — страшнее.

С тех пор мне навеки известно:
поэтам не может быть тесно.

Всё перемелется, мука будет. Красочное определение Слуцким пастернаковской «нобелевки» как ответ Шведской академии на проигрыш под Полтавой оказалось красным словцом, сжегшим душу Слуцкого.

Один из учеников Слуцкого всегда хорошо говорил о Слуцком и всегда плохо — о Евтушенко. Стихотворение Слуцкого о подсолнухе — кажется, единственное у него стихотворение о своем ученике. О других учениках — не было. А их было очень много.

Андрей Сергеев приводит такой диалог со Слуцким:

«— Это правда, что вы называете нас кирзятниками?

— Правда.

— Как вы относитесь к двадцатому съезду?

— Никак.

— Вы не считаете, что Евтушенко отнял у вас часть славы?

— В голову не приходило».

Приходило.

КОНЕЦ «КИНУ»?

Тридцать первого декабря 1978 года в газете «Вечерняя Москва» — заметка Евтушенко, которая называется «Главное — всегда впереди» (перефразирование Луговского: «Настоящее счастье всегда впереди»). По содержанию это — новогоднее поздравление читателям и отчет о проделанной работе.

«Прошедший год для меня был напряженным, даже мучительным, но он стал счастливым, ибо это были муки творчества.

Я снимался в роли Циолковского в фильме «Взлет». Ставит фильм режиссер С. Кулиш. В результате собственного опыта для меня открылся сложнейший и удивительный мир кино. Важно было то, что не просто снялся для развлечения в маленьком эпизоде, а прошел путь создания фильма от начала до конца.

Первая радость этой работы — прикосновение к образу Циолковского с его научными и философскими работами, его идеями, которые всегда будут жить во мне, помогая видеть главное сквозь обыденное.

...Савва Кулиш не то что сделал меня актером, поручив главную роль в фильме, но «подготовил» меня как будущего режиссера. Собираюсь ставить фильм о своем сибирском детстве в годы войны.

...Когда по ходу съемок мне пришлось в полной одежде находиться часа полтора в пятнадцатиградусной воде и затем я вылез на берег, чьи-то руки не то что стащили с меня набухший водою сюртук преподавателя епархиального училища, но в один миг разодрали его в клочья, чтобы я мог сразу переодеться в сухое.

...Когда однажды я возвращался из Калуги в Москву на машине и было довольно опасное сочетание тумана и гололеда, я увидел нависающую над автомобилем какую-то странную тень. Меня подстраховывал сзади шофер нашего суперкрана, и тень стрелы крана нависала надо мной, как рука товарища.

Съемки не помешали продолжать литературную работу. Заканчиваю первый свой роман «Ягодные места». Делаю наброски исторической поэмы, посвященной Куликовской битве. В промежутках между съемками на короткое время ездил в Испанию, Италию, Югославию, выступал там с чтением стихов. В издательстве «Молодая гвардия» только что вышла новая книга стихов «Утренний народ», журнал «Новый мир» опубликовал мою поэму «Голубь в Сантьяго», вышла книга стихов о Грузии и переводов

с грузинского в Тбилиси, сборник сибирских стихов в Иркутске. Как всегда, старался много читать. Лучшими из прочитанных книг были, видимо, «Осень патриарха» Маркеса и «Домой возврата нет» Томаса Вулфа...»

Пожалуй, Евтушенко упустил лишь информацию о съемке английскими кинематографистами документального фильма про него и показ фильма в Англии.

Но важным было самое начало года: 4 января 1978-го в «Литературной газете» Евтушенко печатает эссе «Выставка на вокзале» — свое выступление на международной писательской встрече в Софии «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры». Он восхитился выставкой болгарского художника Светлина Русева.

«Я не верю в искусство над. Над вокзалом или над схваткой. Большое искусство не должно стесняться быть выставкой на вокзале. На вокзале нашей жизни, набитой страданиями и надеждами, о котором Пастернак писал: «Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук...»

...Однажды поэт Борис Слуцкий сказал мне, что все человечество он делит на три категории: на тех, кто прочел «Братьев Карамазовых», на тех, кто еще не прочел, и на тех, кто никогда не прочтет. Я заметил ему, что, к сожалению, самая многочисленная категория — это те, кто видел «Братьев Карамазовых» по телевизору. Люди только думают, что они смотрят телевизоры. На самом деле телевизоры смотрят людей.

...Ингмар Бергман говорил о том, что когда мы решим все то, что сейчас нам кажется проблемами, тогда-то и появятся настоящие проблемы.

...Каждый человек — это сверхдержава. Мы, писатели, послы этой сверхдержавы — человека.

...Т. С. Элиот когда-то написал мрачное предсказание:

Так и кончается мир.

Так и кончается мир.

Так и кончается мир —

Только не взрывом, а взвизгом.

Мы должны нашим словом сделать все, чтобы не довести человечество до взрыва. Но нашим словом мы должны сделать все, чтобы не довести человечество и до самодовольного взвизга духовной сытости, который не менее морально опасен, чем война».

В этой статье он говорит о том, что он «из крестьянской семьи». Полет фантазии. Геолог и певица мало похожи на земледельцев — или имеются в

виду далекие корни происхождения. Элиота, кстати, он цитирует не в знаменитом сергеевском переводе, но в своем. У Сергеева последняя строчка «Полых людей»: «Не взрыв, а всхлип». Это меняет смысл на диаметрально противоположный. Все-таки они недоспорили в школьные годы...

Интересна эта оппозиция: телевизор — Бергман, то есть кино.

Когда он несколько позже, в марте 1983 года, привезет свой фильм «Детский сад» на родину, в Сибирь, на творческом вечере 28-го числа в иркутском Дворце спорта он пунктиром расскажет (отчет в зиминской газете «Приокская правда») свою киноисторию:

«С детства я очень любил кино. Фильм «Два бойца» смотрел ничуть не меньше двадцати раз здесь, на зиминской земле. Этот фильм стал любимым. Уже впоследствии, когда я начал печататься, на меня неизгладимое впечатление произвели в то время изрядно нашумевшие ленты итальянских кинематографистов: «Похитители велосипедов», «Рим в 11 часов»... Наш же кинематограф в послевоенную пору создал серию лакированных лент типа «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской», в то время, когда на деле деревня переживала серьезные трудности. Но вина эта была затем искуплена кинематографом — фильмом «Председатель» (автор сценария — Ю. Нагибин. — И. Ф.).

Впервые мои стихи появились в кинофильме «На графских развалинах», который снял прекрасный режиссер, мой друг Владимир Скуйбин. Вскоре запелась моя песня «А снег идет» из кинофильма «Карьера Димы Горина».

Важной вехой на пути к сегодняшнему дню стала для меня работа сценаристом над фильмом режиссера М. К. Калатозова и оператора С. П. Урусевского. Сценарием фильма «Я — Куба» как бы закончилась большая моя подготовка перед тем, как выйти в кино.

Прибавьте сюда мое серьезное увлечение фотографией, и станет, вероятно, понятно, как я пришел в режиссеры-постановщики. В частности, фотография диктует и стиливые особенности «Детского сада»: я люблю снимать «широкоугольником», и мне кажется, что прием «широкоугольника» дает богатый эмоциональный и психологический эффект. Для взгляда главного героя фильма — ребенка — это важно было учесть, ведь взгляд его шире, объемнее...

Обязательно стоит упомянуть мои две попытки сняться в фильмах П. Пазолини и Э. Рязанова. Роли Христа и Сирано де Бержерака мне нравились, но не моя вина, что эти попытки завершились неудачно.

А потом подошла очередь «Взлета». Снимаясь в роли Циолковского, я

провел фильм от начала до конца и понял, что это такое. Настало время, и я взялся за свой фильм».

Он уходит в киноработу, но не до конца. В 1978-м он много пишет о поэзии, о литературе вообще.

Отмечаются ровные даты его двух основных предтеч.

Некрасов — ему посвящена публикация 8 января в «Комсомолке»: к столетию со дня смерти. Маяковский — 85 лет со дня рождения. В «Литературной учебе» (№ 2) статья «Огромность и незащищенность».

Исключительно всё, что Евтушенко отмечает в Некрасове или Маяковском, он вольно или невольно относит к себе. Это если не идеализированный автопортрет, то уж точно образец, совпадающий с собой. Это как минимум изложение собственных принципов.

«Официозному лжепатриотизму <...> Некрасов противопоставил ставший моральным принципом русской классики девятнадцатого века, возмущенный еще Чаадаевым, «патриотизм с открытыми глазами». Некрасов писал: «Я должен предупредить читателя, что я поведу его по грязной лестнице, в грязные квартиры, к грязным людям... в мир людей обыкновенных и бедных, каких больше всего на свете...»

...Трагическая парадоксальность жизни Некрасова состояла в том, что, будучи издателем «Современника», он, ненавидящий бюрократию и ненавидимый ею, во имя журнала вынужден был играть почти ежедневную игру в кошки-мышки с теми самыми мордами, о которых так презрительно писал, дипломатничать, лавировать, идти на уступки. При этих уступках нападки на Некрасова исходили уже не только справа, но и слева. «Со стороны блюстителей порядка я, так сказать, был вечно под судом. А рядом с ним — такая есть возможность! — есть и другой, недружелюбный суд, где смелостью зовется осторожность и подлостью умеренность зовут».

...«Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый неуклюжий стих» — это написал создатель такой рукотворной красоты, как «Железная дорога», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники». Пусть запомнят наши молодые поэты: значение великого поэта определяется отнюдь не величию его представлений о себе, а величию его сомнений в себе. Моменты кажущегося или временного бессилия оказываются для великого поэта не бесплодными. Видимо, они помогли Некрасову создать такое потрясшее современников произведение, как «Рыцарь на час». «Покорись, о, ничтожное племя, неизбежной и горькой судьбе. Захватило нас трудное время не готовыми к трудной борьбе».

Это ли не манифест собственной деятельности?

То же самое — в разговоре о Маяковском.

«В детстве Маяковский забирался в глиняные винные кувшины — чури — и декламировал в них. Мальчику нравилась мощь резонанса. Маяковский как будто заранее тренировал свой голос на раскатистость, которая прикроет мощным эхом биение сердца, чтобы никто из противников не догадался, как его сердце хрупко. Те, кто лично знали Маяковского, свидетельствуют, как легко было его обидеть. Таковы все великаны. Великанское в Маяковском было не наигранным, а природным. Кувшины были чужие, но голос — свой. Поэзия Маяковского — это антология страстей по Маяковскому, — страстей огромных и беззащитных, как он сам. В мировой поэзии не существует лирической поэмы, равной «Облаку в штанах» по нагрузке рваных нервов на каждое слово (в апреле вышла грампластинка «Евг. Евтушенко читает «Облако в штанах» Владимира Маяковского», фирма «Мелодия», с заметкой чтеца на конверте пластинки «Воссоздание голоса». — И. Ф.). Любовь Маяковского к образу Дон-Кихота не была случайной. Даже если Дульсинея Маяковского не была на самом деле такой, какой она казалась поэту, возблагодарим ее за «возвышающий обман», который дороже «тьмы низких истин».

Ну, скажем, Лиля Брик вряд ли смахивала на Дульсинею, но Евтушенко это не смущает — он говорит о своем. Намного точнее он показывает, так сказать, «три источника и три составные части» поэта революции. Во-первых, Пушкин. Во-вторых, Лермонтов. В-третьих, Некрасов:

«Маяковский отшучивался, когда его спрашивали о некрасовском влиянии: «Одно время интересовался — не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил». Но это было только полемической позой. Вслушайтесь в некрасовское: «Вы извините мне смех этот дерзкий. Логика ваша немножко дика. Разве для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?» Не только интонация, но даже рифма «дерзкий — Бельведерский» тут маяковская. А разве может быть лучше эпиграф к «Облаку в штанах», чем некрасовское:

«От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви!»?

...По глобальности охвата, по ощущению земного шара как одного целого Маяковский ближе всех других зарубежных поэтов к Уитмену, которого, видимо, читал в переводах Чуковского, спасшего великого американца из засахаренных рук Бальмонта.

...Поэтическая генеалогия Маяковского ветвиста, и ее корни можно

найти и в других, смежных областях искусства — например, в кино.

... История литературы не знает ни одного примера, когда бы один поэт столько сам взял на себя. «Окна РОСТА», реклама, ежедневная работа в газете, дискуссии, тысячи публичных выступлений, редакция «ЛЕФа», заграничные поездки — все это без единого дня отдыха.

...Производственные издержки Маяковского велики, но упреки, направленные в прошлое, — схоластика. Имитация поэтического метода Маяковского безнадежна, потому что этот метод был продиктован историей в определенный переломный период. Сейчас нам не нужны агитки на уровне политического ликбеза. Мы выросли из многих стихов Маяковского, но до некоторых еще, может быть, не доросли».

Этот Маяковский похож на собственно Маяковского в той же мере, как и на Евтушенко в его идеальном варианте.

В критической эссеистике Евтушенко верен себе-поэту. Даже в том, что других любит не меньше, чем себя. О других — как о себе. Щедро — о Валентине Распутине, которого воспринимал как земляка.

«Повесть («Живи и помни». — И. Ф.) написана о военном времени. Тогда Распутин был еще ребенком и видел войну еще почти перевернутым зрением, как видят мир новорожденные. Но кто знает — может быть, зрачки наших детских глаз таинственным образом впитывают в себя информацию, которую еще не может освоить младенческий мозг, и сохраняют эту информацию до нашей зрелости? Память начинается с колыбели.

...Повесть сильна и тем, что в ней нет второстепенных персонажей — все выписаны выпукло, объемно, никто не сделан из картона, а все — из мяса, костей, слез и крови. Такова вдова Надька, оставшаяся после гибели мужа на фронте с грудой ребятишек и во время возвращения других солдат ослепшая от ярости, проклиная мужа за то, что он не вернется: «Не мог мой паразит живым остаться... Наклепал детишек... и смертью храбрых... А что я с его смертью теперь буду делать? Детей, что ли, кормить!»

Как это перекликается со строчками поэта Юрия Кузнецова, потерявшего на войне отца:

«Отец, — кричу, — ты не принес нам счастья!»

Мать в ужасе мне затыкает рот.

...Появилось много писателей, которые пишут о деревне без

приукрашивания, честно и глубоко, как бы искупая множество поверхностных, сусальных книг, написанных ранее. Однако Распутин прав: «Писатель должен быть ни деревенским, ни городским, а человеческим».

...Этим летом, проходя по парку культуры и отдыха, спеша на поэтический вечер во время съезда писателей, я задержался около белой раковины открытой эстрады. На ней вместе с другими писателями выступал Валентин Распутин. Аудитория была большей частью случайная — из прогуливающих по парку влюбленных пар или старичков пенсионеров с шахматными досками под мышкой. Выступления прозаиков не проходят так шумно, как поэтические: не может же прозаик читать со сцены роман или повесть — кто это выдержит! Чаще всего читают маленький рассказик, отрывочек, выбирая что-либо посмешнее, или просто отвечают на вопросы читателей. Распутин, по его собственному признанию, сделанному со сцены, вообще впервые выступал перед читателями. Однако, несмотря на явное чувство случайности аудитории, Распутин не опустил до заигрывания с ней и не впал в надменность. Отрывисто и твердо он заговорил о том, что означает быть читателем. Он резко осудил поверхностность тех людей, которые считают себя культурными только потому, что читают газеты, юмористические журналы или детективные романы. «Это еще не читатели, — сказал он. — Мне иногда кажется, что они еще не научились читать, ибо читать — это чувствовать что читать».

Вообще говоря, VI съезд писателей проходил два года назад, но Евтушенко никогда не бывает календарно точен. Так или иначе, его высказывания о литературе эмоционально точны и свидетельствуют о его недюжинной аналитической жилке. Книга эссеистики «Талант есть чудо неслучайное» (1980) на прилавках не залежалась наравне со стихами.

В его день рождения, 18 июля 1978-го, вышла «Литературка» с материалом, привезенным из поездки по Италии (28 июня — 8 июля), — «Три вечера в Кастельпорциано: Из итальянского дневника»:

«Мировая поэзия — в кризисе. Многие великие поумирали, новые великие еще не родились. Вот совсем недавние потери англоязычной поэзии: Фрост, Сэндберг, Элиот, Оден. Лоуэлл; испаноязычной: Неруда, Пабло де Рока, Леон Фелипе; итальянской: Квазимодо, Унгаретти, Пазолини; французской: Сен-Жон Перс, Превьер; русской: Пастернак, Ахматова, Твардовский, Заболоцкий, Светлов, Смеляков, Исаковский... Однако в нашем обществе интерес к поэзии не упал, а возрос. По сравнению с самыми большими прижизненными тиражами Пушкина (5000 экземпляров), Маяковского (30 000) тиражи современных поэтов

гигантски выросли: 50, 75, 100, 130, даже 200 тысяч. А за этими тиражами стоят иногда полумиллионные и даже миллионные запросы Книготорга. <...> Аллен Гинсберг, уже года два как остригший свою знаменитую бороду и сменивший буддистские одежды на костюм из магазина братьев Брукс и скромный галстук какого-нибудь фармацевта из Бронкса, предложил не сдаваться хаосу, всем вместе защитить честь поэзии и вместо задуманного, запланированного ранее вечера только американской поэзии устроить совместный вечер с европейскими поэтами, отказавшимися вчера выступать в неразберихе. Первый раз я видел Аллена Гинсберга, «воспевателя хаоса», в роли строгого защитника порядка».

Уж если Гинсберг облагодетельствовал порядок, Кóсмос (греч.κόσμος — «мир») явно внушал опасения в своей незыблемости, несмотря на гомерические тиражи советского стихотворства, и когда Савва Кулиш предложил Евтушенко сыграть роль Циолковского, это было в самую точку. Провинциальный мечтатель глобального масштаба — это ему о многом говорило и даже напоминало. Не о зиминских ли отроческих грезах?

О работе во «Взлете» он рассказывает с волнением, но не без юмора.

«На съемке дореволюционной ярмарки в Малоярославце я стоял в черной крылатке Циолковского у паровоза, увешанного чернобурками и соболями. Купеческие столы ломились от осетров, жареных поросят, холодца, бутылок шампанского. Один из осетров на второй день съемки безвозвратно исчез. «Упал и разбился. Сактировали», — скупое пояснил директор картины, а трудящиеся Малоярославца дня три наслаждались дореволюционной осетриной в местной столовке.

...И внезапно в кадр вошла хрупкая седенькая старушка с авоськой в руке, в которой покачивались два плавленых сырка и бутылка кефира. Старушка тихохонько, бочком пробиралась между гогочущими купцами в цилиндрах и шубах на хорьковом меху, между городскими с молодецки закрученными усами, пока ее не схватила вездесущая рука второго режиссера».

Он считал эту работу главным событием 1978 года. Но было и другое.

Произошло то, что произошло: они расстались с Галей. Началось скучное: бракоразводный процесс. Он оставил им с Петей квартиру на Котельнической, переехав на Кутузовский проспект, в один из домов гостиничного комплекса «Украина», где разместил кое-что из прошлой жизни: картины, книги.

Джан вступила в его жизнь на правах законной жены. Да и пора было

— ей предстояло рожать. Сын Александр появится в будущем году на берегах Альбиона.

Под конец уходящего года — некоторая пиар-кампания.

Девятого декабря 1978 года в «Московском комсомольце» — евтушенковское «Слово до фильма»: «Я открыл для себя Циолковского».

«Я играю Циолковского с 24 до 60 лет. Это 4 разных лица, 4 разных грима. Иногда в один день мне приходилось быть и никому не известным юношей, и стариком, спорящим со своими взрослыми детьми... Приходилось во время съемок делать немало и других непривычных вещей: бросаться в пламя пожара, по полтора часа быть в холодной воде, предстоит еще проваливаться под лед... Чтобы не отстать от товарищей по кино, мне пришлось научиться водить мотоцикл, да еще какой — английский, 1902 года выпуска!»

Двадцать девятого декабря 1978 года в «Советской культуре» эпизод с мосфильмовским краном рассказан так:

«...когда я однажды возвращался со съемок из Калуги в Переделкино в туман и гололед, то, уже подъезжая к Москве, заметил, что меня конвоирует сзади огромный мосфильмовский кран, не давая возможности сзади идущим машинам обгонять меня по опасной дороге. Уже ради двух этих эпизодов стоило сниматься в фильме. <...> я договорился на киностудии «Мосфильм» о том, что мне предоставят возможность выступить уже в качестве режиссера». О чисто литературных делах: «... закончил поэму «Голубь в Сантьяго» — она напечатана в 11 номере «Нового мира»; книгу критических статей («Талант есть чудо неслучайное». — И. Ф.). Стихов почти не писал, но не мог не отозваться, когда узнал о том, что каратели диктатора Сомосы вырезали сердца у патриотов Никарагуа. Вдохновили меня на стихотворение и наши моряки, когда спасли американских летчиков.

Большой след оставила в моей жизни Всемирная конференция солидарности с народом Чили, прошедшая в Испании. Мой будущий творческий год начнется, вероятно, с поездки на Куликово поле: задумал поэму с таким названием. В ней будут два параллельных повествования — историческое и современное.

Буду писать сценарий для своего фильма, рассказы. Задумал осуществить новый перевод «Витязя в тигровой шкуре».

В оценке года он покамест не особо выделяет очень объемистую вещь «Голубь в Сантьяго», а она была испытанием — на долгосрочность написания (с 1974 года!), на овладение формой стиха, по-своему нового для Евтушенко. Белый пятистопный ямб — проверка на самобытность. Размер,

нейтрализующий авторский голос, ибо предназначен для всех способов говорения, то есть это размер эпоса, размер драматургии в особенности. Немудрено, что эта значительнейшая вещь получилась драматургичной — многоперсонажной, многодиалогичной, и вообще там оказалось много чего, немало и не слишком нужного — прежде всего многословных медитаций на темы, уже многожды им проговоренные. Он и прежде говорил о самоубийстве именно так: «Самоубийств не бывает вообще» («Елабужский гвоздь»), «Голубь в Сантьяго» — огромный аргумент того же типа, и он был бы холостым, кабы не прекрасно написанные куски чужой (молодой) жизни, пристальное панорамирование чилийского бытия эпохи Альенде, общей картины того времени — трагедии 1973 года.

С чилийским юношей Энрике, прыгнувшим с 23-этажного здания, произошло — тотчас после смерти на лету — нечто страшное:

...так не хотевший в жизни быть убийцей,
он мертвым телом голубя убил.

Поэт читает дневник самоубийцы, принесенный ему матерью покойного юноши, переводя записи Энрике в стихи.

...я прочитал в гостинице «Каррера»
оставшийся дневник самоубийцы,
и кое-что мне мать дорассказала,
а кое-что домыслил я и сам.

Домысливание преобладает, переходя в автопортретирование. Тут и написанный якобы юным чилийцем холст: разрезанный арбуз (картина Целкова), и первый любовный опыт в объятиях старшей женщины, и раздваивание между двумя женщинами, и ложь им обеим, и бег за бегущей женщиной — с аллюзией на блоковский бег «В дюнах», и страсть к футболу, и пережитые обвинения в предательстве и доносительстве, и поездка по Огненной Земле с другом Панчо, в котором тотчас угадывается Франсиско Колоане, и упоминание о своем плачевном разводе, и во всем этом — совершенно характерный, чисто евтушенковский ход мысли:

У смерти может быть одновременно
лицо толпы, лицо самой эпохи,

лицо газеты, телефона, друга,
лицо отца, учительские лица.
У смерти может быть лицо любимой
и даже нашей матери лицо.

Ведь и сам повод к написанию поэмы был таков:

«...страшный момент в моей жизни наступил, когда наша любовь с женщиной, которую я еще и безмерно уважал за отвагу, начала распадаться и, видимо, неотвратно».

Тогда-то и возник на моем подоконнике вовсе мной не выдуманный для поэмы голубь и посмотрел на меня не разрешающими самоубийство глазами».

Чилийская тема многих смутила. Опять!.. Пиночет стал по-своему моден в некоторых кругах интеллектуальной элиты. Публикация в «Новом мире» не вызвала адекватного литкритического отзыва.

Поэма «Голубь в Сантьяго» была переведена на многие языки, получила колоссальный читательский отклик, автору писали люди отовсюду, благодаря за помощь на краю гибельного решения. «Судя по письмам и устным признаниям, эта поэма спасла от самоубийства более трехсот человек в разных странах, а может быть, гораздо больше, но я об этом не знаю и не узнаю, да и не надо». Поэту надо верить. Но даже если он заблуждается, энергия его заблуждения питает побудительную причину того, что он делает: да, это поэзия на службе тенденции.

Вряд ли правомерен вопрос М. Л. Гаспарова, заданный через 20 лет в связи с антологией Евтушенко «Строфы века»: «Конечно, поэт в России больше, чем поэт, но почему же из этого получается, что поэзия в России меньше, чем поэзия?» Ничего такого не получается. Евтушенко не любит Брюсова, Гаспаров его ценит высочайшим образом — что получается из этого? Разница взглядов, не более того. Академик Гаспаров исследует форму стиха, и в этом плане надо сказать, что белый пятистопный ямб не убил евтушенковской интонации. Поэма «Голубь в Сантьяго», в отличие от убитого пернатого, встала на крыло, и полет ее оказался достойным и продолжительным. Евтушенко ставит ее выше всех своих поэм.

В следующем году фильм «Взлет» получил серебряный приз на IX Международном кинофестивале в Москве. Кто судьи? Председатель жюри — Станислав Ростоцкий, режиссер (СССР), члены жюри: Владимир Баскаков, директор Научно-исследовательского института теории, истории кино (СССР), Отакар Вавра, режиссер (ЧССР), Джузеппе Де Сантис,

режиссер (Италия) и пр.

Товарищ Баскаков? Гарантия премиальной чистоты. Свидетели сему — ботфорты Сирано.

Большой успех. Участие в судействе Де Сантиса само по себе великое торжество.

Но это — летом. А 9 января 1979-го срочно собирается партком московской писательской организации — и, как ни странно, озабоченность партийцев на сей раз не относится к Евтушенко. Несколько литераторов собрали своеручно и распечатали на пишмашинке в двенадцати экземплярах альманах «Метрополь», раздав его и разослав кому сочли нужным. Василий Аксенов придумал заголовок альманаха как метафору шалаша над лучшим в мире метрополитеном. Злые языки говорили: Вася готовит площадку для взлета в иные пределы. Даже если и так, его собралась провожать неплохая компания, от Ахмадулиной с Битовым до Рейна с Алешковским, авторов альманаха. Высоцкий стучал в дверь штаб-квартиры, где строили шалаш, с вопросом:

— Здесь делают фальшивые деньги?

Он дал альманашникам кучу песен, отобрали двенадцать.

Что же ты, зараза, бровь себе подбрила,
Для чего надела, падла, синий свой берет?
И куда ты, стерва, лыжи наострила?
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Там было всё неподцензурно. Там и лауреат Государственной премии СССР (1978) Андрей Вознесенский выглядел так:

Над темной молчаливою державой
Какое одиночество парить!
Завидую тебе, орел двуглавый,
Ты можешь сам с собой поговорить.

Поистине плач по брату.

Председательствующий на парткоме Феликс Кузнецов заявил:

— Предупреждаю вас, если альманах выйдет на Западе, мы от вас никаких покаяний не примем.

Евтушенко не был прошен ни к тому шалашу, ни на партком. Точнее,

попытка приглашения в альманах была — к нему на дачу приходили Аксенов с Битовым, но его не оказалось ни дома, ни в Москве, ни в стране — гулял за границей. Более настойчивых действий они не предприняли. Аксенов довольно точно назовет его потом: «коняга утопического социализма».

В американском городке Энн Арбор, штат Мичиган, с 1971 года серьезно работало издательство русской литературы «Ардис», в котором и вышел альманах «Метрополь» в 1979-м. Потом оно издало и собрание сочинений Аксенова, наряду с Булгаковым и Набоковым.

У Евтушенко своих дел по горло. 31 января 1979 года в «Литературке» помещен материал «Фотоискусство — осмысление познанного». Евтушенко говорит (записала С. Тарощина): «...Впервые ошеломляющее впечатление искусство фотографии произвело на меня в 1957 году, когда увидел замечательную антологию «Род человеческий» Эдварда Стейхена, сконцентрировавшего в мозаике на тему человеческих страданий и надежд образ нашей планеты. <...> Сам я фотографией занялся немногим более 10 лет тому назад в Сенегале — сделал несколько снимков, которые оказались удачными, и пошло. <...> Для меня фотография не просто увлечение, не пустопорожнее хобби, хотя я только учусь постижению этого ремесла. Искусство фото помогает мне глубже познать, понять мир вокруг нас, людей, живущих в этом мире. И не просто познать, но и осмыслить познанное. Ведь фотоискусство, как живопись, как поэзия, есть концентрация реальности». В газете репродуцированы две фотографии: «Сибирская троица» (не очень старые дед и бабка плюс дворняга не переднем плане; мужик — с сигаретой, в клетчатой рубаше и в кепке; бабка — в косынке, цветастом платье, кофте, галошах и длинных, грубых шерстяных носках) и «Не споткнитесь!» (деревенская свадьба: жених и невеста вышли из украшенной пупсом и лентами «Волги» и переходят проселочную дорогу).

Забежим, по привычке, вперед. Фотоискусство — это для Евтушенко серьезно. Это — еще одна муза: «Муза фотографии». Так называется его статья в «Советской культуре» от 8 апреля 1980 года с подробным изложением истории вопроса. Евтушенко выдвигает идею создания Союза фотографов. Очевидно, себя он видит во главе этой структуры.

«Союз фотографов мог бы стать той общественной организацией, вокруг которой сплотятся все фототаланты нашей многонациональной Родины.

Муза фотографии не должна быть сиротой».

Двадцать восьмого сентября 1980 года в «Советской культуре» — новый материал: «Снимает Евг. Евтушенко», автор его Нодар Думбадзе, лауреат Ленинской премии, Тбилиси.

Выставка, открытая в Тбилисском доме художника по инициативе Союза писателей и Союза художников Грузии, называется просто и броско: «Снимает Евгений Евтушенко».

Многочисленные друзья и коллеги впервые увидели поэта в новом качестве — фотомастером, психологом-портретистом, живописцем-лириком, автором остросюжетных и характерных сценок, на которых замерло время.

...Перед открытием выставки Евтушенко повесил чистый ватман и стремительным почерком написал:

О Грузии забыв неосторожно,
в России быть поэтом невозможно.

Эти слова признательности и любви к Грузии — из сборника поэта «Тяжелее земли», изданного в Тбилиси в 1979 году. Сборник составлен из лучших стихов, посвященных Грузии, ее поэтам и художникам, великому братству литератур.

...Фотоработы, посвященные нашей республике, я бы назвал живописными миниатюрами о доблести, о любви к красоте и щедрости.

...Грузия, увиденная поэтом, — это орнамент кашветской церкви и сванская башня, на фоне которой сняты гордые и сильные люди. Работа эта так и называется «Три башни».

Каждый сван подобен сванской башне,
будто сердце в каменной рубашке.

...Фотомастера интересуют и сибирская свадьба, и птичий рынок, и толчея в ГУМе, и романтика золотоискателей, и ораторы Гайд-парка, и филиппинский базар; люди, страны, пейзажи, жанровые сцены во всех уголках мира привлекают его внимание...

...Выставка фоторабот Евгения Евтушенко открыла еще

одну существенную грань в даровании поэта, и мы рады, что жизнь выставки началась в Тбилиси.

Первого января 1981 года в «Литературке» Евтушенко публикует новогоднюю заметку-отчет «Распечатай семь печатей».

«Моя фотовыставка была показана в Москве, Вильнюсе, Тбилиси, Сухуми, Таллине, Риге и в Музее современных искусств в Лондоне.

...Я люблю путешествовать, и шестой рекой, которую я прошел вместе со своими старыми друзьями по «Микешкину», в этом году оказалась река Селенга. Свое плавание мы начали на территории МНР, а закончили его через 3 недели у берегов Байкала, пройдя более тысячи км в нелегких погодных условиях.

...Поездка в Монголию невольно слилась с моей старой задумкой — поэмой «Непрядва», которую сейчас перевели на монгольский язык.

Словом, в закончившемся году я работал по принципу уплотнения времени и «распечатывания» в себе всех возможностей. Так же собираюсь работать и в году наступившем».

Восьмое марта 1981 года, «Восточно-Сибирская правда», Иркутск, заметки Эдгара Брюханенко «Мир глазами поэта» (о выставке фотографий Евтушенко в залах Иркутского художественного музея — под этим же названием).

Большинство снимков, представленных на выставке, сделаны широкоугольным объективом, это дань моде наших дней. Широкоугольник и наши глаза имеют почти один и тот же угол зрения.

Евгений Евтушенко — мастер цветной фотографии. Вспомните «Нити жизни» — перо страуса на песке. Руки старческие, морщинистые на фоне зеленой травы, лошадь с буйной гривой или просто телега.

Смотришь на снимки, а их на выставке 250, многие вызывают восторг, многие — недоумение. Оставь здесь 150–180 работ — автор бы только выиграл.

Девятое апреля 1981 года, «Челябинский рабочий», заметка Лии Вайнштейн «Творческий вечер Евгения Евтушенко в Челябинске».

Дворец спорта «Юность» заполнен до краев.

— Я не был в Челябинске 4 года... Что сделано за это время?

Обратился к прозе. Роман «Ягодные места» увидит свет в журнале «Москва». Фантастическая повесть опубликована в мартовском номере «Юности». Вышла книга критических статей, скоро выйдет вторая. Эти годы ознаменовались для меня приходом в кинематограф (кинофильм «Взлет»). Написал сценарий о детях военной поры.

Увлёкся фотографией.

Выставка моя уже побывала в разных городах. Сейчас гостит в Свердловске. Думаю, что в будущем мои фотоопыты увидит Челябинск. И, конечно, писал и пишу стихи...

Евгений Александрович встретился в эти дни также с челябинскими тракторостроителями, студентами пединститута, со своими читателями в публичной библиотеке.

«Литературка» от 27 мая 1981-го: информация о фотовыставке поэта.

...В выставочном зале художников-графиков на Малой Грузинской, 28, открылась выставка фотографий Евгения Евтушенко, экспонировавшаяся прежде в 12 городах нашей страны и за рубежом. На ней представлены 300 работ поэта, большинство из них — со стихотворными подписями. Нынешняя экспозиция — плод восьмилетней работы Евтушенко. Называется она «Невидимые нити» — нити, которые связывают трудящихся всей планеты. Поэтому так и широк географический диапазон представленных фотографий — от Селенги до Лондона, от Грузии до Латинской Америки.

Двадцать восьмого августа 1979 года умер Константин Симонов. Его сын Алексей (А. Кириллов) напишет в биографии отца:

Возвращение читателю романов Ильфа и Петрова, выход в свет булгаковского «Мастера и Маргариты» и хемингуэевского «По ком звонит колокол», защита Лили Брик, которую высокопоставленные «историки литературы» решили вычеркнуть из биографии Маяковского, первый полный перевод пьес Артура Миллера и Юджина О'Нила, выход в свет первой повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» — а ведь были еще и «пробивание» спектаклей в «Современнике» и Театре на Таганке, первая посмертная выставка Татлина, восстановление выставки

«XX лет работы» Маяковского, участие в кинематографической судьбе Алексея Германа и десятков других кинематографистов, художников, литераторов. Ни одного неотвеченного письма. Хранящиеся сегодня в ЦГАЛИ десятки томов поденных усилий Симонова, названных им «Все сделанное», содержат тысячи его писем, записок, заявлений, ходатайств, просьб, рекомендаций, отзывов, разборов и советов, предисловий, торящих дорогу «непробиваемым» книгам и публикациям. Особым симоновским вниманием пользовались его товарищи по оружию. Сотни людей начали писать военные мемуары после прочитанных Симоновым и сочувственно оцененных им «проб пера». Он пытался помочь разрешить бывшим фронтовикам множество бытовых проблем: больницы, квартиры, протезы, очки, неполученные награды, несложившиеся биографии.

Чересчур памятливые люди припоминали ему многое — от «безродных космополитов» (да, участвовал) до писем против Солженицына и Сахарова. Не лучшим образом его имя приходило в соприкосновение с именами Ахматовой, Зощенко и Пастернака, да и его юношескую поэму про Беломорканал некоторые помнили.

Евтушенко откликнулся на другое:

Как завещано было последним
чуть дышащим словом,
прах поэта
развеяли над Могилевом.
Из раскрытых ладоней
тот прах зачерпнувшего сына
с каждым присвистом ветра
по крохам отца уносило.

(«Завещание Симонова»)

Праха поэта. Поэта. Это главное.

Тридцать первого октября и седьмого ноября «Литературка» поместила евтушенковские заметки «Тела и души. Неделя в Лондоне». Упомянув о том, что по Би-би-си успешно прошла премьера сорокаминутного фильма о нем самом («Оператор с невеселой улыбкой

сказал мне, что я единственный поэт, которого он снимал за всю свою жизнь»), он сосредоточился на разговоре о поэзии. «...Это был вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Пабло Неруды, состоявшийся 28 сентября в Логан-холле при Лондонском университете. Вечер был организован комитетом по борьбе за права человека в Чили, возглавляемым Джоан Хара, вдовой чилийского певца и композитора Виктора Хары, замученного пиночетовцами в 1973 году». Неруда умер в том же 1973 году.

На вечер пришло много — для Англии — народа: тысяча человек, но наутро Евтушенко, перелистав все лондонские газеты, не нашел ни единой строчки о вечере. Зато был целый отчет о том, как в аэропорту Хитроу позавтракал Фрэнк Синатра — сколько и чего съел, во сколько ему это обошлось и сколько отвалил на чай. В этих заметках Евтушенко много говорит о социальном неравенстве и победительной борьбе за права трудящихся — английских профсоюзов...

О Пабло Неруде он говорил и на вечере его памяти в Политехническом музее. Был декабрь, наступали восьмидесятые.

Когда-то Евтушенко сказал:

Я делаю себе карьеру
тем, что не делаю ее!

Однако он ступил на эту лестницу, и она вела вверх. Его избрали членом правления и председателем Совета по грузинской литературе Союза писателей СССР. Здесь он заменил Константина Симонова. Судьба. Когда-то он перехватил у Симонова венок самого популярного поэта.

В октябре 1979-го он пишет «Прощание с фильмом», посвящая стихи С. Кулишу:

Фильм почти уже закончен.
Это радость и беда.
Ну а вдруг он сам захочет
не кончаться никогда?

Декорации сжигают.
Дым большой. Конец «кину».
Но заранее сжимает
ностальгия по нему.

У Юрия Левитанского в 1970 году вышла книга «Кинематограф», названная по его замечательному стихотворению:

И над собственной ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Левитанский открыл этим стихотворением семидесятые, или закрыл шестидесятые. Евтушенко вторит ему, закрывая семидесятые.

В декабре 1979 года советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Ввод и размещение контингента советских войск проводились с 25 декабря 1979-го до середины января 1980-го.

Конец «кину»?..

ЛИСТ ТРЕТИЙ

ЧТО ЖЕ С МАТУШКОЙ-РИФМОЙ?

Семнадцатого января 1980 года Евтушенко в газете «Молодежь Азербайджана» беседует с Н. Айрапетовой: «Нет в поэзии былых заслуг, нет почетных и пожизненных званий — каждую ее высоту, самую небольшую, надо отвоевывать. У времени, у собственной лени. Поэт не имеет права быть нравственно сытым. Он должен услышать свой час и слышать свое время».

Это понятно. Но есть и неожиданность: «...я вот уже 20 лет читаю молодых и не могу назвать ни одного имени».

Как так? Младших — относительно себя — он уже не раз называл: того же Николая Рубцова или Юрия Кузнецова. Писал об Олеге Чухонцеве и Александре Кушнере. Помогал Леониду Губанову и Иосифу Бродскому. Да мало ли кому.

Однако. Он попросту не видит того, что пишется в сторожках и котельных. Люди, годящиеся ему в дети, пишут вовсю, и если печатаются, то редко и где-то там, куда он наезжает с концертами, — в Париже, например. Образовалась параллель поэтических путей. Которые не пересекаются. Сердитые дети не ходят в Лужники. А он там опять собирает тьму народа, на сей раз — для Фонда помощи патриотам Чили. К тому же у него пошли фотовыставки: в Москве, Вильнюсе, Лондоне, Тбилиси, Иркутске, Ангарске, а в августе на сцене ангарского Дворца культуры «Современник» отпела-отговорила премьера рок-поэтории Глеба Мая «Исповедь» — на стихи Евтушенко.

«Однажды мне позвонил неизвестный мне композитор Глеб Май и сказал, что он написал на мои стихи композицию в стиле рок, черновую запись которой он хотел бы мне проиграть. Честно говоря, я несколько насторожился, а может быть, даже и поморщился. У меня были и прежде случаи, когда некоторые мои стихи перекладывали на нечто рокообразное, но, как правило, произвольно корежили не только сам текст, но и смысл. Одно из моих любимых стихотворений — строгое, печальное — было превращено в приплясывающие полудикарские завывания, убивающие интонацию и идею. Хотя у меня нет никакой предвзятости ни к какому стилевому направлению, иногда приходилось видеть, что наши некоторые исполнители рок-музыки обращают внимание гораздо больше на телодвижения или на голосовые модуляции, чем на исполняемые под музыку стихи. Да, по правде говоря, эти так называемые стихи часто

были настолько плохи, что самое лучшее, что с ними было делать — это заглушать их ударными инструментами и искусно организованным хрипом. Но когда Глеб Май проиграл мне магнитофонную запись, я был поражен, несмотря на то что запись была весьма далека от совершенства. Прежде всего меня приятно поразило то, что сама композиция была составлена по всем законам напряженной психологической драматургии. Были взяты стихи разных лет, посвященные любви, и хотя у меня самого они не соединялись в одно целое, благодаря тонкому пониманию смысла стихов все они, часто очень умно и тактично сокращенные именно для этой музыкальной пьесы, сложились воедино. Получилась исповедальная история любви, которую мы иногда теряем из-за нашей собственной небрежности, невольно превращаясь в предателей собственных целомудренных высоких чувств. Композиция без какой-либо ненужной скучной дидактики подводила к мысли о необходимости такого же бережного отношения к любви, как к ребенку, которого надо учить ходить. Что касается музыки, то я не специалист, и мне трудно о ней судить. Все же скажу, что на мой взгляд, она в данной композиции играет не только функционально-сопроводительную роль, но и временами вырывается к самостоятельному мелодическому взлету. Возможно, в этой композиции есть свои просчеты, но одно для меня несомненно — своей работой Глеб Май доказывает широкие перспективные возможности соединения поэзии с музыкой в стиле рок».

В поэторию вошли: «Выше тела ставить душу...», «Как бы я в жизни ни куролесил...», «Но я, как видно, с памятью моею...», «Из черных струй, из мглы крошечной...», «Ничто не сходит с рук...», «Уходит любимая...», «Как стыдно одному ходить в кинотеатры...», «А ты, любимая, как поживаешь ты...», «Нет-нет, я не сюда попал...», «Упала капля и пропала в седом виске...», «Не исчезай! Забудь про третью тень...» — в основном это части тех или иных стихотворений.

Евтушенко под пятьдесят. Он более чем занят. Стихи, проза, критика, поездки, общественная деятельность, кино и фотография, бесчисленные выступления и — семья.

С семьей опять худо. Родился второй сын от Джан. Мальчика называли Антон. Родился он больным ребенком с задержанным развитием. Отец считал, что виноват сам. В горячую минуту, сидя за работой, он не глядя резко оттолкнул помешавшую ему Джан, попав ей рукой в живот. Врачи потом говорили: это не так, это — последствия инфекции. Но чувство вины уже никогда не покинуло его. Джан ощутила в себе стену холода, ставшую между ними каменно.

«Тоша плохо отсасывал молоко, не рос, лежал неподвижно. Родничок на его голове не закрывался.

— Плохой мальчик. Очень плохой... — проскрипела знаменитая профессор-невропатолог и безнадежно покачала безукоризненно белой шапочкой.

В наш дом вошло злое слово «цитомегаловирус».

Но моя жена — англичанка с так нравящимся всем кавказцам именем Джан — не сдавалась.

Она не давала Тоше умирать, не давала ему не шевелиться, разговаривала с ним, хотя он, может быть, ничего не понимал. Впрочем, говорят, дети слышат и понимают все, даже когда они в материнской утробе.

Однажды рано утром Джан затрясла меня за плечо с глазами, полными счастливых слез:

— Посмотри!

И я увидел над боковой стенкой детской кроватки, сделанной из отходов мрачного учрежденческого ДСП, впервые поднимающуюся, как перископ, белокурую головку нашего младшего сына с уже полусмысленными глазами.

Цитомегаловирус сделал свое дело — он успел разрушить часть мозговых клеток. Но неистовая Джан с викторианским упорством раскопала новейшую программу физических упражнений, когда три человека не дают ребенку отдыхать, двигают его руками и ногами и заставляют его самого двигаться. Непрерывный труд. Восемьдесят упражнений с десяти утра до шести вечера. Тогда другие клетки активируются и принимают на себя функции разрушенных».

Двадцать шестого марта 1980-го в «Литгазете» помещен диалог Евтушенко с французским поэтом Аленом Боске «Жить без поэзии нельзя». Они говорят, помимо прочего, о соотношении поэзии истинной и, условно говоря, — прикладной, то есть той, что создается для песен в их эстрадном изводе. О стихотворцах этого разбора и публике, воспринимающей их как носителей истинной поэзии, Боске заметил: «С моей точки зрения, считать, что Жак Брель (лучший из них), Жорж Брассанс или Шарль Азнавур истинные, в полном смысле слова, поэты, — большая ошибка. Народ же, наоборот, утверждает, что только они поэты и есть».

В мартовском номере «Юности» опубликована фантастическая повесть Евтушенко «Ардабиола».

Под текстом «Ардабиолы» стоит помета: «Иркутск — станция Зима —

Гульрипш». Он писал повесть в дороге, как почти всё, что он писал. Он откровенно признался интервьюеру Б. Велицыну в симферопольской «Крымской правде» от 2 июля 1981 года: «Я не переношу ежедневного высиживания за столом. Но когда меня переполняют впечатления и не писать уже нельзя, то работаю по 15 часов в сутки два месяца подряд...»

Повесть заметно напоминает киносценарий. Едет битком набитый трамвай, девушка в простой мужской кепке-буклешке (не кожаной «парижанке» — подчеркивает автор) ощущает на себе чей-то взгляд. Трамвай преследует оранжевый пикап. «Лобовое стекло пикапа было пыльным. И лицо водителя лишь полупроступало. Но глаза виднелись отчетливо, как будто существовали отдельно от лица. Глаза были похожи на два неестественно голубых светящихся шарика, подвешенных в воздухе над рулем пустой машины, которая идет без водителя, сама по себе. Девушке в кепке даже стало страшно. Трамвай дернулся и пополз дальше по старомосковской улочке, где на подоконниках деревянных домов стояли обвязанные марлей трехлитровые банки с лохматыми медузами «чайного гриба» и зеленые пузырчатые рога столетника. Трамвай доживал свое время вместе с этими домами, и казалось, что между трамваем и домами было какое-то грустное взаимопонимание. Оранжевый пикап продолжал следовать за трамваем, и взгляд из пикапа продолжался. Девушка в кепке опустила глаза, с трудом вытянула из прижатой к стене полиэтиленовой сумки с изображением Мишки — героя только что закончившихся Олимпийских игр — «Иностранную литературу» и еле раскрыла ее, потому что между лицом и окном почти не было пространства...»

Узнаваемы прозрачно-голубые евтушенковские глаза и магнетическое их свойство: уж как они вращаются, многие наблюдали. Евтушенко назвал свою повесть «фантастическая», это справедливо в том смысле, что сам он — ходячая фантастика. Прилагал он к своей повести и определение «метафорическая».

Уши его ни в каком тексте спрятать невозможно. Он щедр во всем — от натюрморта снеди для банкета по случаю защиты кандидатской диссертации, едва уместившейся в оранжевом пикапе (три поросенка, горы овощей, благоухающие огородом, ящики с водкой и шампанским...), до описания сибирских поминок отца героя, Андрея Ивановича: «Вдоль стен самой большой комнаты буквой П стояли застеленные белыми скатертями столы, накрытые на пятьдесят человек. Скатерти были и свои, и соседские: то с кистями, то с ришелье, то вышитые крестиком, то гладкие. Под скатертями столы тоже были свои и соседские: то дубовые, то красного

дерева, то просто некрашенные кухонные и даже стол из учительской, взятый в школе. Сидели больше всего на табуретах, с положенными на них досками, обернутыми в газеты. Тарелки с цветочками были свои. А тарелки с позолоченными полустертыми ободками и алюминиевые гнущиеся вилки были из деповской столовой. Но одно для всех гостей было одинаково: это стограммовые граненые стаканчики».

Евтушенко пишет с натуры похороны собственного дяди Андрея, на которые он приехал в Зиму в августе.

Главный герой повести Ардабьев (фамилия, по преданию, произошла из «Орду бьем») едет с продуктами в оранжевом пикапе домой, замечает на задней трамвайной площадке девушку в кепке, ему, трезвому, втемяшивается, что с девушкой что-то неладно. И он бросается ее спасать, но чуть не уморил ее, потому что позже выясняется, что едет она, чтобы отлежаться после криминального аборта. Герой доставляет девушку в больницу, где ее спасают, но прежде успевает рассказать ей про созданную им ардабиолу. Ни о каком романе с девушкой, так и оставшейся безымянной, Ардабьев не помышлял, хотя мысленно признавался себе, что девушка ему нравится.

Выйдя из больницы, девушка пытается найти героя, но он к тому времени улетел на похороны отца. Надо сказать, что отца он дважды вылечил от рака — один раз при помощи фантастического растения федюника, а второй раз — своей ардабиолой, которая является продуктом генной инженерии — помесью сибирского федюника с африканской мухой цеце. А помер Андрей Иванович не от рака: пожалел друга, который признался ему в страшном диагнозе, они крепко выпили с горя, Андрей Иванович заснул и не проснулся, потому что рыгнул во сне и содержимое желудка попало в трахею, а откашляться он во сне не смог.

После отцовских поминок на Ардабьева напала местная шпана, позарившись на джинсы, которые оказались «югославской лажей», а у бедного Ардабьева отшибло память...

Финал, пожалуй, можно назвать фантастическим, но скорее — лирическим. Ардабьев помирился с женой (раньше он не мог ей простить сделанный без его согласия аборт), и они собираются на юг, поручив некой тете Зосе приглядывать за квартирой, в которой вновь плодоносит вымахавшая за время отсутствия своего творца ардабиола. Жена, привыкшая каждое утро поливать непонятный куст с плодами, похожими на фейхоа, просит тетю Зосю не забывать о поливке, на что Ардабьев, характер которого из-за травмы и провалов памяти странно изменился, «понижив голос, сказал тете Зосе:

— Этот куст не поливайте...»

Пишет поэт — его куст пантеистически одушевлен:

«Мой отец покинул меня, горестно думала ардабиола, слышавшая этот разговор.

— Мой отец приказал этой женщине, чтобы она не давала мне воды. Мой отец хочет, чтобы я умерла. Мой отец даже не помнит, как меня зовут. Мой отец забыл, что я его дочь.

Ардабиола неуклюже переползла через край ящика на пол и неуверенными шагами ребенка, который учится ходить, пошла к окну, оставляя за собой комки земли. Ардабиола вскарабкалась на журнальный столик, смахнув с него телефон, а затем влезла на подоконник. Прижавшись ветвями к стеклу, ардабиола увидела отца, садящегося в машину и покидающего свою дочь навсегда.

Ардабиола, размахнувшись, ударилась всем телом об окно и, чувствуя острую боль от осколков, полетела вниз. Ардабьев уже включил зажигание и тронулся, когда куст рухнул на капот, закрывая ветвями лобовое стекло».

Далее перед героем промелькнули кадры прежней жизни: коллеги-железнодорожники несут крышку отцовского гроба, контролерша с боксерским лицом, лицо девушки в кепке, худенький пионер с тревожными спрашивающими глазами...

««Ты приедешь меня хоронить?» — спросил голос матери.

— Мы никуда не поедem, — сказал Ардабьев жене. — Я все вспомнил. Это — ардабиола».

На этом повесть кончается.

Джон Стейнбек, прочитав когда-то «Преждевременную автобиографию», сказал автору, что ему очень понравилась глава о похоронах Сталина, и в шутку предрек Евтушенко, что в энциклопедиях XXI века его будут называть знаменитым романистом, который начинал как поэт. Старик Джон ошибся.

В мае 1980 года Евтушенко выступил в Центральном доме искусств на вечере, посвященном семидесятилетию со дня рождения Ольги Берггольц. Почти всё, что он там сказал, уместилось в стихотворение «Лицо Победы», написанное 3 апреля.

У Победы лицо не девчоночье,

а оно как могилы ком.

У Победы лицо не точеное,

а очерченное штыком.

У Победы лицо нарыдавшееся.
Лоб ее как в траншеях бугор.
У Победы лицо настрадавшееся —
Ольги Федоровны Берггольц.

Здесь не сказано о том, что в горькой довоенной молодости Берггольц была женой Бориса Корнилова. Это было трудное и недолгое замужество. Потом его арестовали, уничтожили. Взяли и ее, в застенке от побоев она потеряла ребенка. В войну, падая от голода, она читала по радио блокадникам ежедневные стихи о горе и мужестве. Так формируются лица победителей и даже лицо Победы. В 1942-м она писала о любви:

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным, с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.

Ближе к концу года Евтушенко выступил перед слушателями ВПШ (Высшая партийная школа). Там присутствовал секретарь по идеологии ЦК КПСС М. Зимянин. Он умел быть либералом, но и легко впадал в ярость — это случилось после чтения поэтом сатиры «Директор хозяйственного магазина», написанной 10 октября. Зимянин закричал о том, что Евтушенко призывает народ к погромам магазинов. Не помогла и концовка, весьма соглашательская:

И встанет
над миром торгашеским
чуждым
эпоха
с карающим классовым чувством!

Они оба знали — и слушатели, будущие партбоссы, тоже знали, что

эта эпоха и не встанет, и не покарает. Зачем он это делал? Для проходимости сквозь цензуру. А та сама не дура, всё знает. Значит, на авось.

В декабре написан «Афганский муравей».

Разве мало убитых вам, чтобы опять
к двадцати миллионам еще прибавлять?

Ну, вот это уже никак не могло пройти сквозь известные рогатки. Следовательно — это сделано для себя и себе подобных в устном исполнении, за это не сажали. То есть сажали, но не всех. Его — не сажали.

Тем временем нарастала волна отъездов. Уехал Аксенов. Общественность знала, что это произойдет. Накануне довольно продолжительное время Аксенов ходил пошатываясь по Центральному дому литераторов, в Дубовом — ресторанном — зале открыто, многократно и печально отмечая предстоящее событие. В Малом зале он устроил прощальную читку своей прозы. Компактное помещение было набито битком. Он читал «Товарищ красивый Фуражкин» и пару других новеллистических шедевров, публика восхищалась, а рядом в ресторане пьющие коллеги ухмылялись: скатертью дорога...

Наступило лето 1980-го. В Москве ожидалась Олимпийские игры. Работала железная государственная метла, вместе с мусором выметались асоциальные элементы.

Двадцать первого июня умер Леонид Мартынов. Когда его гроб опускали в землю, в солнечном пространстве раздался гром небесный и хлынул ливень. Между тем в ЦДЛ коллеги по-прежнему восседали за столиками Цветного кафе и Дубового зала, опрокидывая и закусывая, и мало кто думал или говорил о произошедшем с русской поэзией.

Чуть более месяца спустя — Высоцкий. Евтушенко в тот час шел по монгольской реке Селенге на лодке. Через какое-то время эта весть для него стала поистине громом небесным.

Двадцать четвертого сентября в «Вечерней Москве» Евтушенко опубликовал дифирамб «Вдохновенный талант» — к шестидесятилетию Сергея Бондарчука. Одновременно это было благодарностью за содействие в реализации фильма «Детский сад».

Предыстория фильма началась далеко от родных мест. Восемь лет назад, как мы помним, в американском городе Сан-Пол стая бандеровских отпрысков совершила налет на поэта, читавшего стихи с боксерского ринга

на крытом стадионе. Евтушенко довел то чтение до конца.

«На вечеринке после концерта ко мне подошла <... > молоденькая девушка-фоторепортер. Ее точеная лебединая шея была обвита, как змеями, ремнями «Никона» и «Хассенблата».

— Завтра мои снимки увидит вся Америка... — утешающе и одновременно гордо сказала она.

Возможно, как профессионалка она была и права, но мне почему-то не захотелось с ней разговаривать. Профессиональный инстинкт оказался в ней сильней человеческого инстинкта — помочь. И вдруг я ощутил страшную боль в нижнем ребре, такую, что меня всего скрючило.

— Перелома нет... — сказал доктор, рассматривая срочно сделанный в ближайшем госпитале снимок. — Есть надлом... Мне кажется, они угодили по старому надлому... Вы никогда не попадали в автомобильную аварию или в какую-нибудь другую переделку?

И вдруг я вспомнил. Вместо рубчатой подошвы альпинистского ботинка с прилипшей к нему розовой оберткой от клубничной жвачки я увидел над собой также вздымавшийся и опускавшийся на мои ребра каблук спекулянтского сапога с поблескивавшим полумесяцем стальной подковки, когда меня били на базаре сорок первого года. Я рассказал эту историю доктору и вдруг заметил в его несентиментальных глазах что-то похожее на слезы.

— К сожалению, в Америке мы плохо знаем, что ваш народ и ваши дети вынесли во время войны... — сказал доктор. — Но то, что вы рассказали, я увидел как в фильме... Почему бы вам не поставить фильм о вашем детстве?

Так во мне начался фильм «Детский сад» — от удара по старому надлому».

Он пишет сценарий как стенографию детской памяти, лаконичными мазками, но не без пафоса. Первые кадры:

«Низкие тяжелые тучи висят над городом. Подхваченные ветром, в воздухе носятся осенние листья. Но гордо и нерушимо в тучи вонзается красная звезда Кремлевской башни. Чьи-то руки надевают на звезду темный бархатный чехол, повторяющий ее пятиконечную форму. Руки неумело подшивают чехол крупной иглой, укалывая себе пальцы. Веснушчатое курносое лицо юного красноармейца. Он перекусывает нитку зубами, смотрит вниз на крошечные фигурки людей, на обшитый раскрашенной фанерой Мавзолей. Глаза красноармейца суровы и печальны. Красноармеец прижимается щекой к зачехленной звезде. Внизу — Москва, которую нельзя отдавать... В чехле торчит забытая красноармейцем

игла.

Мимо сбитых «юнкеров», выставленных у Большого театра, мимо мешков с песком в витринах магазинов, мимо окон, крест-накрест заклеенных газетными полосами, мимо подъездов с синими лампочками, мимо надписей «Бомбоубежище», мимо плакатов «Родина-мать зовет», мимо афиш, информирующих о демонстрации документальных фильмов: «Прибытие в СССР англо-американской делегации на совещание трех держав», «Героическая оборона Одессы», «Помощь газоотравленным», а также кинокомедий «Волга-Волга», «Антон Иванович сердится» — идет мальчик лет двенадцати-тринадцати. На мальчике — синенькая испанка с красной кисточкой, пальтишко. На груди пионерский галстук с зажимом, на котором пылает крохотный костер. В руках у мальчика аквариум с золотыми рыбками. Мальчик глядит на рыбок, не замечая ничего вокруг <...> попадает в толпу людей, занимающихся противовоздушной обороной. По команде все надевают противогазы... мальчик идет среди чудовищ с хоботами...»

Сценарий приукрашенно-автобиографический, с прологом и эпилогом (зачехление и расчехление кремлевской звезды молодым красноармейцем — начало и окончание войны). Главный герой — мальчик Женя со скрипкой (первую скрипку он теряет по пути к Зиме, ее отнимают и растаптывают бандиты, вторую ему добывает товарищ, скорее *alter ego*, мальчик, пляшущий на свадьбах. После многих мытарств (бомбежка поезда, воровство, встреча интеллигентного и патриотического Жени со лжеслепцом-попрошайкой и т. д.) Женя в сопровождении бывшей шмары по имени Лиля находит бабушку в Зиме. Родители — роли эпизодические. Уходит на фронт (под музыку Жени, играющего с закрытыми глазами) отец. Появляется отец еще только в одном эпизоде: с забинтованной головой, на допросе у немецкого офицера. На немца произвела впечатление фотка Жени, изъятая у папы. Мама тоже появляется эпизодически: сажает Женю на поезд, чтобы он ехал к бабушке в Зиму, сует проводнице кольцо, снятое с пальца (кольцо потом переходит из рук в руки, символически). Потом мама в сверкающем концертном платье, стоя на грузовике, поет небритым бойцам песню «Снег забывает, что он снег» с рефреном:

Не забудь своих детей, страна!
Стала детским садом им война.

Бабушка тоже на уровне. Она и Женя идут на медведя, с рогатиной и

двустволкой с двумя жаканами: находят берлогу. Поднимают зверя. Бабушка нажимает курок — осечка. Медведь идет на Женю. Бабушка кричит: «К сосне спиной прижимайся!» — рогатина гнется. Бабушка стреляет медведю в ухо. Финал открытый: Женя стоит на люке танковой башни и играет на скрипке. Красноармеец расчехляет звезду.

В 1983 году фильм был готов.

«Детский сад» — фильм цветной, полнометражный. Производство киностудии «Мосфильм». Автор сценария и режиссер-постановщик Е. Евтушенко. Оператор-постановщик В. Папян. Художник-постановщик В. Юшин. Композитор Г. Май. Текст песни Е. Евтушенко. Звукооператор В. Шарун.

Роли исполняют: Сережа Гусак — Женя, Сережа Бобровский — Толян, Г. Стаханова — бабушка Жени, Н. Караченцов — Шпиль, Елена Евтушенко (сестра Лёля) — проводница, И. Скляр — отец Жени, И. Преображенская — мать Жени, С. Евстратова — Лиля, в роли немецкого офицера — Клаус Мария Брандауэр, Л. Марков — слепец, М. Кудимова (поэт) — учительница, С. Сорин (поэт) — раввин, В. Аверин — матрос и др. В массовках — множество знакомых лиц из литературного мира от Е. Сидорова с В. Леоновичем до В. Крупина с В. Орловым.

У Владимира Леоновича сказано:

Там Евтушенкины друзья
идут в колоннах ополченья,
и крайний справа — это я
с лицом, исполненным значенья.

Олег Руднев (1935–2000), киношник и писатель, написал воспоминания.

В то время Евтушенко внедрялся в кино. Вначале в роли актера. Изобразил на экране Циолковского, изобразил плохо, невыразительно, его пытались урезонить, зывали к здравому смыслу, деликатно объясняли, что бездарной игрой он только компрометирует свое творческое имя, но все было тщетно — он рвался в режиссуру.

— Ты полагаешь, у меня не получится? — спросил он как-то меня.

— Бог его знает, — ушел я от прямого ответа. — Получился

же у Аскольдова «Комиссар». <...>

«Детский сад», так он назвал свою картину и впрямь по всем параметрам получился детским садом. Сам Евтушенко упрямо и бескомпромиссно считал, что создал подлинный шедевр, требовал к нему соответственного отношения и упрекал всех в чудовищном невежестве. Мне, естественно, пришлось круче всех: Евтушенко требовал ни много ни мало — мировой премьеры. Фильм требовалось отпечатать на «кодаке» — по советским временам неслыханная роскошь, разослать по всему земному шару представить на Каннский кинофестиваль, а затем и на «Оскара», обеспечить соответствующей рекламой... В общем, отныне «Совэкспортфильму» (возглавляемому Рудневым. — И. Ф.) надлежало притормозить свою основную деятельность и заниматься исключительно «Детским садом».

— А что? — невозмутимо вопрошал новоиспеченный режиссер. — Вы на одном моем имени заработаете больше.

Никакие доводы и увещевания не помогали. Наконец Е. А. не выдержал и решил нанести мне последний, сокрушительный удар. Одно его появление чего стоило: распахивается дверь — на пороге поэт в головном уборе из пышных мехов, до самой поясницы свисает длинный лисий хвост. Он испепеляет меня гневным взглядом, выдерживает долгую многозначительную паузу, вскидывает руку с вытянутым указательным пальцем и начинает медленно приближаться.

— Ты знаешь, что после смерти Пабло Неруды я — поэт номер один на земле?

Я поднимаюсь ему навстречу, пристыжено признаюсь:

— Нет, не знаю.

— Ты знаешь, что после Эйзенштейна я сейчас — кинорежиссер всех времен и народов?

— Не знаю, Е. А.

По всей видимости, он остается доволен достигнутым эффектом и решает, что пора укладывать противника на пол.

— Так вот запомни. Сегодня я улетаю в Америку, и завтра у меня в Нью-Йорке встреча с творческой интеллигенцией. Я расскажу всему миру, как вы расправляетесь с талантами.

Я выхожу из-за стола, виновато наклоняю голову и тихо говорю:

— А я сегодня уезжаю в Болшево. Там у меня Всесоюзный

семинар с режиссерами и сценаристами. Они наверняка тоже не знают, кто у нас поэт номер один и кто режиссер всех времен и народов. Вот я им и сообщу эту новость.

Лисий хвост взлетает вверх, из-под наворотов меха меня пронзают стальным взглядом. Но я чувствую, что попал в десятку.

— Ты вот что... — он явно старается взять себя в руки. — Ты кончай эту хреновину.

— Ты тоже.

Теперь, если скрестить наши взгляды, какой бы звон раздался.

В начале 1981-го Евтушенко едет в Италию за получением премии «Фреджене». Его полюбила Италия — премий будет много: «Золотой лев» Венеции, Энтурия, премия города Триада, международная премия «Академии Симба» etc.

Но и Грузия не отстает. Самая почетная — премия Галактиона Табидзе вручена «ботоно Жене».

Евтушенко проводит три майские недели в Париже.

«Я посмотрел в Париже около 20-ти фильмов — половину их до половины. Диагноз был ясен уже в самом начале. Большие всего мне понравился фильм Феллини «Город женщин», на съемках которого я два года назад присутствовал в Чинечитта в Риме. Мой небольшой киноопыт во «Взлете» заставил меня взглянуть на феллиниевские съемки совсем другими, если еще не профессиональными, то уже не любительскими глазами.

Меня поразили организационный хаос, царивший на съемках, сделавший их сразу родными, мосфильмовскими. Когда Феллини привела в раздражение какая-то ненужная ему верхняя лампа и ее никак не могли выключить, а начали прикрывать какой-то фанерой, то я почувствовал себя полностью в своей тарелке. Но как филигранно, энергично работал сам Феллини! Как он умел найти доброе, ласковое слово не только для Матроянни, но и для любого человека в массовке и с дружеской интонацией сделать самое жесткое, беспощадное замечание! В крошечном эпизоде вхождения женщин-полицейских он отснял 9 дублей, меня расстановку массовки и уточняя задачи главных актеров. И вот с опозданием я увидел целостный результат работы, тот дубль, который выбрал Феллини.

Фильм весьма язвительно критиковали или, в крайнем случае, хвалили

сквозь зубы. Больших сборов он не принес. Упреки режиссеру в самоповторении были небезосновательны. Возмущенные феминистки атаковали Феллини коллективными и анонимными письмами во время съемок и даже пикетировали здание Чинечитта, считая, что Феллини готовит некий удар в самое сердце их женского освободительного движения. На самом деле этот фильм является едкой и в то же время грустной любовной сатирой и на феминисток, и на мужчин, считающих только себя хозяевами мира...»

О том времени годы спустя, уже накануне своего ухода, вспомнила Джульетта Мазина (Моя Россия // Культура. 1995. 4 марта).

Русские проявляют себя — и частенько это наглядно доказывают — как существа особые, достойные искреннего расположения, и первое доказательство этого я получила от встречи с одним русским, который как-то вечером пришел в наш дом во Фреджене, недалеко от Рима, на берегу моря. Русский гость был, как говорится, «не из последних» — это был поэт Евгений Евтушенко. Теперь уж не могу точно сказать, когда это случилось, помню только, что было какое-то переходное время между летом и зимой — то ли март, то ли октябрь. Я приготовила обед, который должен был являть собой некую антологию итальянских блюд, выполнять роль дружеского жеста по отношению к русскому гостю, — как мне было сказано, — он обладает присущим всем русским врожденным талантом общения. <...>

Когда Евтушенко начинает пить вино, его прекрасные голубые глаза — глаза сибиряка, который провел всю молодость, блуждая по тайге под открытым небом (уже потом мне рассказывали, что в молодости он кем только не работал — танцовщиком, геологом, охотился на медведей, но прежде всего был настоящим идолом для русских девушек), — так вот, его голубые глаза излучают на присутствующих сияние самого душевного, самого настоящего братства. Позднее я прочитала стихи, которые в Италии считаются лучшими его строками, — стихи о вине.

Итальянки восторженны, право. Танцовщик на медвежьей охоте — вот уж поистине идол для русских девушек.

Однако в Париже и Фреджене его интересует не только кино. Во

французской столице — политический самум, в который он попал «в майские предвыборные дни перед вторым туром, когда все улицы Парижа и подземные переходы были оклеены портретами противоборствующих кандидатов — Жискара д'Эстена и Франсуа Миттерана...».

Но главный интерес — поэзия, литературная жизнь.

«На тихой улочке Себастьян Боттэн скромно прячется дом, зажатым между фешенебельным отелем и особняками. Это издательство «Галлимар», где уже долгие годы во многом определяется литературная политика Франции. Оно — престижное, хотя, по некоторым слухам, экономические его дела неважны. Правда, в таком положении сейчас находятся многие европейские издательства. Книжные магазины «затоварены». Перелистывающих книги гораздо больше, чем покупающих. Однако писатель Мишель Турнье, с которым у меня была назначена встреча в «Галлимаре», относится к редкой во Франции категории и «бестселлерных», и серьезных писателей. Помимо других романов национальную и международную славу ему принесла новая вариация на тему «Робинзона» Дэниеля Дефо, названная автором «Пятница, или Круги Тихого океана». Она написана в двух версиях — для детей и для взрослых. <...>

Я сказал:

— Вы пошли на серьезный для любого писателя риск, вступив в соревнование с Дефо... Некоторые критики отмечают, что Робинзон и даже Пятница в вашей версии выглядят прочитавшими Фрейда и Кафку...

Турнье чуть улыбнулся:

— Я бы сказал, что Маркса тоже... Я начал свою работу после серьезного изучения этнографии. В прекрасной книге Дефо все-таки чувствуется превосходство Робинзона над Пятницей. Мне хотелось сделать героем именно Пятницу. Конечно, Робинзон цивилизованней. Но ум и цивилизация — разные вещи. На стороне Робинзона — технические знания. На стороне Пятницы — природные инстинкты. Поэтому в первой части Робинзон думает, что знает все, а вот во второй ему приходится многому учиться. Наивность Пятницы в технике, конечно, опасна. Когда Робинзон прячет в грот бочки с порохом, то Пятница, позаимствовав его трубку, начинает курить рядом с ним.

Я спросил:

— Вы не вкладываете в этот эпизод метафору опасности атомной войны?

— Я так не думал, — Турнье грустно улыбнулся, — но многим читателям это сразу пришло в голову. Наверное, потому, что сегодня все

думают об угрозе ядерной катастрофы. Даже школьники. <...>

— Когда я бывал в США, меня поражало, что многие молодые американцы даже слыхом не слыхивали о Драйзере, Джеке Лондоне... А эти писатели — их национальная гордость. Насколько молодые французы знают сегодня, скажем, Мопассана, Виктора Гюго? — спросил я.

— Мопассана всегда читали и читают, — ответил Турнье. — Жискар д'Эстен незадолго до выборной кампании даже выступил по телевидению о Мопассане, ибо знал, как это тронет французов. Гюго, при всей его риторичности, тоже остается читаемым и даже обожаемым. Когда Андре Жида спросили, кто лучший поэт Франции, он ответил: «Увы, Виктор Гюго». Жан Кокто пошутил: «Виктор Гюго был сумасшедшим, принимавшим себя за Виктора Гюго».

— Чем вы объясните, что французскую современную поэзию так мало читают?

Турнье вздохнул:

— Частично в этом вина Малларме. Он создал разрыв поэзии с читателем, ушел от понимаемости поэзии. Усложненная поэтика Малларме была реакцией на «простую» поэзию, например, Беранже. Гёте считал Беранже величайшим поэтом. Но Малларме находил его «слишком доступным». После Малларме были другие, не менее значительные поэты, прошедшие по пути недоступности для обыкновенного читателя: Валери, Сен-Жонс Перс... Сегодня есть прекрасные поэты: Анри Мишо, Рене Шар, Робер Сабатье, Ален Боске. Я бы не назвал их недоступными. Но многие французы успели отвыкнуть от того, что можно читать стихи и понимать их...

Я задал несколько щепетильный вопрос:

— Когдато, приехав в Париж, я пытался найти характеры, похожие на Атоса, Портоса, Арамиса, д'Артаньяна, и не нашел их, к своему глубокому разочарованию. Может быть, мне просто не повезло? А может быть, эти характеры были всего лишь романтизированы автором?

Турнье не обиделся на мой подвох.

— Конечно, были романтизированы. Но не надо забывать и другого. После трагедии французской революции, лет 150 назад, начали процветать не уникальные характеры, а буржуа. Однако это не означает, что вся Франция только из них и состоит. Характеры все-таки не исчезли. Когда мы заседаем в Гонкуровской академии, нас десять человек, и у каждого свое лицо. <...>

— Правда ли, что вы единственный во Франции серьезный автор бестселлеров?

— Не совсем... Самый серьезный «бестселлерный» писатель — Эрве Базен. Обычно его романы продаются по 400–500 тысяч экземпляров, а это для серьезной французской литературы — рекорд. У меня в среднем продается по 150 тысяч экземпляров, что тоже много на сегодняшнем фоне. Исключение — «Пятница». Кажется, было распродано 400 тысяч.

— Когдато Франция была центром мировой литературы. Как вы думаете, не утрачивается ли сегодня ее былой литературный престиж? — осторожно спросил я.

Но он ответил сразу:

— Возможно... Потом была Россия Толстого, Достоевского, Чехова... Сейчас, я думаю, центр мировой литературы — это Латинская Америка. Помимо Маркеса там много крупных писателей. Но по образованию я германист и поэтому лучше всего знаю немецкую литературу, особенно философию. Я когдато изучал немецкую философию: Гегеля, Фихте, Канта, Шеллинга, Хайдеггера. Думаю, что девять десятых философии Сартра почерпнуто именно из немецкой философии.

— Можете ли вы вспомнить какую-нибудь фразу, в которой афористически была бы выражена вся суть его философии?

— Нелегкая задача, — поправил очки Турнье. — Впрочем, попробую... Ну, скажем, вот эта: «Человек есть не то, что он есть, а то, что он делает».

— Мне эта фраза кажется очевидной, не требующей доказательств».

Евтушенко посещает в Париже большую выставку Модильяни и сентиментально отмечает: «Портрета Ахматовой здесь не было, но он как бы прорисовывался на стене».

Тем временем Франция выбрала своим президентом Миттерана. В Елисейском дворце появился социалист. Это очень важно — политика, и все-таки поэт ищет в Париже поэзию в лице поэтов.

«На следующий день в кафе «Куполь», прославленном месте встреч литераторов, я увиделся с Робером Сабатье — автором 15 романов, 6 книг стихов, двух книг статей и фундаментального шеститомника «История французской поэзии». Если у Турнье лицо учителя или служащего, то у Сабатье лицо рабочего. Он из рабочей семьи. Сегодняшняя французская интеллигенция давно перестала быть аристократической и стала, по русскому выражению, «разночинной». Я попросил Сабатье хотя бы коротко рассказать о главных направлениях современной французской поэзии.

— Мозаика довольно разнообразная. Есть направление

афористическое — Рене Шар, Анри Мишо... Есть направление, которое я бы назвал сан-францисской школой. Оно включает в себя много молодых поэтов, прямо не ангажированных. Среди ангажированных поэтов выделяется Гийевик. А есть такие имена, как Пьер Эмманюэль, Жан-Клод Ренар, Пьер Остье, Ив Бонсуар. Это не группа. Каждый из них представляет лишь самого себя, но всех их объединяет общее уважение к языку, к форме. Они соблюдают архитектуру ритма (что не всегда означает соблюдение рифмы). Существуют такие группы, как «Планетер» в Провансе, «Децентралисты» в Бретани. Они отталкиваются от фольклорной формы, но идут еще дальше. Для них характерно физическое ощущение природы — они близки вашему Есенину...<...>

— Что же с матушкой-рифмой?

— Она исчезла из стихов большинства поэтов (за исключением немногих, например, Пьера Эмманюэля и меня). Когдато были громкие дискуссии между сторонниками рифмы и ее противниками. Теперь они стихли. Я заметил, что этот вопрос — за или против рифмы — поднимается сейчас лишь посредственными поэтами, которые хотят, чтобы их заметили. Никто не занимается поисками свежих рифм. А вот в Средние века поэты были посмелее и рифмовали даже «маж — арбр».

— Если бы я задал вам вопрос: кто были самые великие пять писателей за всю историю мировой литературы?

Сабатье ответил, не задумываясь:

— Гомер, Данте, Рабле, Уитмен, Толстой».

Стихов у Евтушенко в этом 1981 году было не слишком много, если говорить, разумеется, о его обычной продуктивности. Но год получился насыщенным.

Кинодокументалисты Восточно-Сибирской студии кинохроники выпустили киноочерк «Поэт со станции Зима». В Челябинске вышел библиографический указатель Ю. Нехорошева и А. Шитова по творчеству поэта. Изданы «Ардабиола» и «Ягодные места» плюс книга литературно-публицистических работ «Точка опоры».

Его захлестнули кино-и фотоинтересы. И — газета. Евтушенко не гнушается рутинными журналистскими — отнюдь не в рифму — жанрами. «Литературка» в номере от 5 августа дает полосу статью Евтушенко «Не старайтесь стать священником... (В гостях у Грэма Грина)».

«Надо было, наверно, прожить долгую, почти 80-летнюю жизнь, чтобы написать о своей памяти так: «Память — как длинная прерванная ночь. Когда я пишу, я все время словно бы пробуждаюсь ото сна в

надежде, что вот-вот схвачу образ, который потянет за собой целый, непрерыванный сон. Но фрагменты сна остаются фрагментами, а цельная, случившаяся во сне история ускользает...»

...я, по его любезному согласию дать интервью для ЛГ, прилетел в городок на юге Франции — Антиб, где сейчас живет и работает Грэм Грин... Была суббота.

...Грин вовсе не выглядел на свои 76 лет.

...Он живет один в крошечной двухкомнатной квартирке с балконом, выходящим к морю. В квартире — ничего лишнего. Я заметил только одну картину — кисти его друга, кубинского художника Рене Портокарреро. Грин работает каждый день. Пишет в день, как он сам сказал, не больше трехсот слов. Может показаться, что это мало, но почти каждый год получается новая книга.

«Я бросил поэзию, потому что понял, что я плохой поэт и никогда не стану хорошим». Я вздохнул.

«Писатель пишет не для того, чтобы помочь человечеству, а для того, чтобы помочь себе самому».

«...никто еще не заменил ушедших Одена и Элиота».

Я спросил:

— Опасно ли для писателя ощущение собственного величия, даже если оно не мнимое?

— Думаю, да.

— Какие писатели мира интересуют вас сегодня?

— Латиноамериканские. Недавно ушедший кубинец Алехо Карпентьер, Борхес, Маркес...»

Заметим, Евтушенко не оспаривает гриновскую мысль о писании для помощи самому себе, хотя сам-то как раз хлопочет о человечестве. Характерно общее в Европе — да и у нас в России — увлечение литературной Южной Америкой. В будущем судьба близко сведет его с Маркесом. Он приведет его на могилу Пастернака, хотя знаменитый колумбиец поначалу почему-то не очень захочет этого.

Восьмого января 1982 года «Литературная Россия» помещает информацию:

В сентябре прошлого года в Италии проходил массовый марш мира «Перуджа — Ассизи» за запрещение нейтронного оружия, против размещения на континенте, в том числе и в Италии, американских ядерных ракет средней дальности. Среди

участников марша был известный советский поэт Евгений Евтушенко. Там, на Апеннинском полуострове, родились первые наброски поэмы «Мама и нейтронная бомба». На вечере поэта, который прошел на днях в Концертном зале им. Чайковского, состоялась премьера — первое публичное чтение автором поэмы.

Не напрасно поэт Евтушенко почти молчал два года (условно, конечно). Новая поэма, да и большая, оказалась абсолютной удачей. Форма — свободный стих, всё держится на ритме. Кроме того, в новую поэму фрагментами входит немало прозы как таковой.

А что же с матушкой-рифмой? Можно сказать — джентльменское соглашение: он дал ей отдохнуть. Не впервой. «Снег в Токио» и «Голубь в Сантьяго» тоже обошлись без рифмовки.

Пожалуй, в поэме «Мама и нейтронная бомба» впервые его адресат — совсем молодой народ:

Напомню и вам,
подростки семидесятых,
меняющие воспаленно
значок «Роллинг стоунз»
на «АББА»
и «АББА» на «Элтон Джон»:
МОПР —
Международная организация
помощи борцам революции.
.....
Мамина внучка,
дочка моей сестры,
пятнадцатилетняя Маша
с мозолями на подушечках пальцев
от фортепианных гамм,
на майке,
уже приподнимающейся
в двух
отведенных природой
для приподниманья местах,
носит значок «Иисус Христос суперстар»,
но этот значок
не из маминого киоска.

Мамин киоск — особь статья, целый мир, он уже известен всей Москве, а после поэмы — всему миру. Там у нее сочетаются журналы «Америка» и «Здоровье» и есть возможность приобретения *послезавтрашних* газет. Из гущи земных — и даже приземленных — реалий, таких как дружба мамы с мясником, зеленщиком или молочником, — не должно бы вырастать абстракций планетарного масштаба, однако путь поэмы прихотлив, и от Рижского вокзала или русской избы (там деревенская старуха молилась на икону) не так уж далеко до Италии.

Но недавно
в итальянском городке Перуджа,
в совсем непохожей на избу муниципальной галерее
я увидел особенного Христа,
из которого будто бы вынули кости...
Без малейшего намека на плоть или дух,
Христос беспомощно,
вяло свисал,
верней, свисала его оболочка, лишенная тела,
с плеча усталого ученика,
как будто боксерское полотенце
или словно большая тряпичная кукла,
из которой кукольник вынул руку...

На пересказывание сюжета провоцирует форма поэмы, очень близкая к прозе, но делать этого не стоит. Конечно же перуджинский Христос возникает не зря. Нейтронная бомба — это то самое оружие, в котором заключена «гуманнейшая» идея уничтожения людей при сохранении всего остального, в частности вещичек или произведений искусства. В начале восьмидесятых этот факт поразил воображение человечества. Было бы странно отсутствие евтушенковской реакции.

В таких обстоятельствах в сознании человека прокручивается вся его жизнь, у Евтушенко в поэме — история его семьи, детство, огромное пространство от Сибири до Белоруссии с выходом, естественным для него, — на весь земшар. Там будут и бирюзовая сережка, подсмотренная у Тарасова, и интернациональный парад женских ног, и подростковое граффити нейтронной бомбы с протестом «Остановите нейтронную бомбу

и прочие бомбы!», и неожиданное одобрение потери роли Христа в фильме Пазолини: «И слова богу... *Сказать по правде, мне всегда казалось, что место Христа — в избе*», и групповой портрет американской эмигрантской тусовки с центральной фигурой миллионерского мажордома Эдика, и застарелая ревность к «диссидентам одежды» — стилягам, да и неодобрение диссидентства как такового. Вызов? Да, и он был принят. Эдик ответит, и другие не отмолчатся. Интереснее другое. Поэма — о матери. О материнстве. О женском начале, дающем жизнь, которая под угрозой. Белорусская бабка Ганна (по линии Зинаиды Ермолаевны, сестра ее отца), найденная автором в сельце Хомичи, — образ того же ряда, и тут уже недалеко до Богородицы. Давнишнее впечатление, полученное в Таормине, оборачивается иным видением.

Это летит не ангел
над шоссе Перуджа — Ассизи:
это летит,
облака загребая рукавами,
старенькая кожанка мамы
с кусочком утреннего солнца
в дырке от мопровского значка,
а на руках участников Марша мира
качается не деревянная богоматерь,
а бабка Ганна из партизанского Полесья
с мопровскими значками ожогов
на высохшей желтой груди.
Бабку Ганну несут
подростки с фабрики «Перуджина»,
где они,
как скульпторы,
шлепают по глыбам теплого шоколада,
и бабка Ганна их спрашивает:
«А можете зробиць
петушков на палочке для усих моих унуков?»
Бабку Ганну несут
рабочие с фабрики «Понти»,
сотни раз обвившие шар земной
золотыми нитями спагетти,
а бабка Ганна им пальцем грозит:
«У Хомичах наших

я шо-то такой вермишели
не сустркала...»
Бабку Ганну несут
студенты университета Перуджи,
изучающие Кафку,
структуру молекул
и кварки,
а бабка Ганна знает не Кафку,
а лишь огородную кадку
и про кварки, наверно, думает,
что это шкварки.
Бабку Ганну несут
и Толстой
и Ганди,
и превращается непротивление —
в сопротивление.
Бабку Ганну несет Иисус
в пробитых гвоздями ладонях,
и она его раны,
шепча,
заговаривает по-полесски.
Бабка Ганна покачивается
над людьми
и веками
в руках Эйнштейна
и Нильса Бора
и страшный атомный гриб
не хочет
класть
в свою ивовую корзину.
А за бабкой Ганной
ползут по планете
ее белые,
черные,
желтые и шоколадные внуки,
и каждый сжимает в руках
картофелину земного шара,
и бабке Ганне кажется,
что все они —

Явтушенки.

А у поворота шоссе Перуджа — Ассизи
стоит газетный киоск
с Рижского вокзала,
где мама продает
послезавтрашние газеты,
в которых напечатано,
что отныне и навсегда
отменяется война.

Поэму «Мама и нейтронная бомба» читатель найдет в седьмом номере «Нового мира» за 1982 год.

Третье сентября 1982 года, «Литературная Россия», П. Ульяшов:

...Эту поэму я вначале слышал в ЦДЛ в исполнении автора... Рано утром я пробегаю мимо Рижского вокзала. На площади в газетном киоске худощавая и, против ожидания, моложавая женщина продает газеты. Над окошечком в табличке фамилия «Евтушенко З. Е.».

Восьмого сентября 1982 года «ЛГ» дает два мнения о поэме «Мама и нейтронная бомба».

Адольф Урбан:

— А если это проза?

Геннадий Красников:

— А если нет?

Остальная жизнь — которая вне стиха — идет своим чередом.

Сценарий «Детского сада» опубликован в мартовском номере журнала «Искусство кино» за 1982 год. Без кино он себя сейчас не видит.

Семнадцатого марта в «Литгазете» напечатан материал Евтушенко «Работа над фильмом — это путешествие. Федерико Феллини, режиссер и писатель».

«Журнал «Иностранная литература» сделал прекрасный подарок нашим читателям, опубликовав в 3-х номерах книгу Федерико Феллини «Делать фильм» в отличном переводе Ф. Двин. Маленький роман-эссе, где главный герой — кино. От имени ЛГ я обратился к режиссеру с письменными вопросами».

В газете помещен парный фотоснимок обнявшихся Феллини и Евтушенко. Подпись: «Этот снимок сделан в Чинечитта на съемках фильма «Джульетта и духи» в 1964 году. При просмотре материала я сказал Феллини, что на его месте я бы выбросил один слишком уж красивый кадр — женское лицо, полузатененное кружевной занавеской. Феллини согласился, но потом, как выяснилось, кадр оставил. Через 15 лет я спросил его почему. Феллини развел руками: «Человек больше всего боится лишиться своих недостатков».

«Феллини сам построил свой корабль и сам стал его капитаном, мужественно проходя между Сциллой коммерции и Харибдой снобизма. Он принадлежит к немногим в странах Запада режиссерам, которые не уподобляются тем капитанам, кому все равно, кто их нанимает и какой груз они везут. Корабль Феллини нередко блуждал в миражах, но крепкие руки профессионала, лежащие на штурвале, неизменно выравнивали курс от ложных маяков в сторону настоящего искусства. <...>

Книга Феллини «Делать фильм» — блестящая проза как таковая, а вовсе не мемуары и не руководство к кинопроизводству. Маленький роман-эссе, где главный герой — кино. Стереоскопически выпуклые рассказы, которым мог бы позавидовать любой профессиональный писатель. Тончайший талант увидеть тайну мира даже в пасхальном яйце, лежащем на кружевной салфеточке. Вымытые дождем воображения предметы и образы детства, казалось бы, неминуемо запыленные временем. Влюбленность в людей, в запахи, в краски, заставляющая задуматься о том, что лишенный дара любви никогда не смог бы воскресить силой искусства этих людей, запахи, краски. Погружение в глубь психологии творчества, как в батискафе, когда в иллюминаторе колышутся смутные водоросли замыслов и проплывают причудливые донные рыбы предчувствий...

Во время чтения этой книги я несколько раз — особенно в понравившихся местах — нервно ерзал: какого писателя мы потеряли! Но почему потеряли? Ведь книга есть... Она и побудила меня обратиться к режиссеру с письменными вопросами, уточняющими замысел этого непростого, как и сам автор, произведения. Феллини ответил не сразу, но с подкупающей серьезностью и глубиной.

Наши несколько встреч проходили с довольно большими временными интервалами, и, честно говоря, я кое-что подзабыл. А вот Феллини не забыл, и, наверно, это свойство незабывания людей и есть неиссякаемый источник его творчества.

Е. Е. Твоя книга завершается тем, что к тебе подходит девочка и

просит что-нибудь написать на клочке бумаги. Ты берешь в руки бумажку и вдруг видишь, что она вся испещрена надписями. Тебе негде писать, и ты еле-еле находишь местечко, где вписываешь: «Я попытаюсь...»

История человеческой мысли подобна такому сплошь исписанному листку. Иногда кажется, что нет уже места, чтобы вписать свое слово, которое что-то добавит ко всему остальному.

Является ли, по-твоему, сфера мысли неким замкнутым пространством, где вписать свое можно лишь за счет устранения прежнего, или этот листок обладает волшебным свойством саморасширяться? Что означает на этом листке феллиниевская надпись в твоём собственном понимании?

Ф. Ф. Кто-то сказал, что если человек выражает через сновидения самую сокровенную, неисследованную часть самого себя, то человечество выражает себя через искусство. Если такой взгляд на творчество приемлем, то отпадают разговоры об ограниченности творчества: художник всегда может отыскать для себя чистый уголок на том листке, который ты рассматриваешь метафорически.

Художественное творчество — это не что иное, как сновиденческая деятельность человечества. Может ли истощиться, иметь какие-то границы бессознательное? Могут ли истощиться сновидения? Эта деятельность мозга спящего человека носит автоматический, произвольный характер. (Тут я не согласен с Феллини. Сновидения — это самый реалистический кинематограф. И реализм бессознательного, автоматического не существует. — Е. Е.)

Но у художника эта деятельность сочетается с изобразительными приемами, с так называемой символикой. Художник отдает себе отчет в том, что творить — значит «упорядочивать» нечто уже существующее, проецировать это на восприятие других людей.

Творчество представляет собой переход от хаоса к космосу, от недифференцированного, запутанного, неуловимого — к чему-то, обретенному прекрасную, совершенную форму, от бессознательного — к сознанию. Вот почему мне кажется, что в художнике ощущение творчества как процесса сильнее, чем ощущение его как конечной цели. <...>

Е. Е. Ты почти избегаешь в этой книге разговора о том, какую роль сыграла в твоём формировании литература. И все-таки какие книги для тебя были самыми значительными в детстве, в ранней юности?

Ф. Ф. Попробую вспомнить. Итак, «Пиноккио», «Фортунелло», «Джабурраска», «Остров сокровищ», Эдгар По, «Арчибальд и

Петронилла», Жюль Верн (правда, у него я пропускал целые главы, а иногда читал только начало и конец), Сименон (мы с ним стали друзьями). Потом, хотя нам и вдалбливали их в школе, — Гомер, Катулл, Гораций... Нравился мне и «Анабазис» Ксенофонта, где солдаты на привалах «ели сливки и пили вино, опершись на длинные копья».

Позднее пришли русские писатели: Гоголь, Чехов, Гончаров... «Смерть Ивана Ильича» Толстого — что за поразительная вещь! А однажды — я уже был взрослым — один мой друг-писатель привез мне «Превращение» Кафки. «Проснувшись однажды утром после тревожного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое». «Бессознательное», которое у Достоевского было объектом тревожного и захватывающего исследования и установления диагноза, здесь становилось предметом повествования, как в забытых мирах, легендах.

Совсем иное я находил в американском романе. Стейнбек, Фолкнер, Сароян: наконец-то настоящая жизнь, наполненная приключениями, пульсирующая. Никакой парадности, никаких мундиров, коллективных ритуалов, триумфально-воинственной риторики, а подлинные человеческие чувства, повседневная борьба. Это была подлинная жизнь, так отличавшаяся от мрачного витализма фашистских иерархов, прыгавших в своей черной униформе сквозь огненные кольца...

Е. Е. Верить ли ты в возможность скрупулезной экранизации как только в экранизацию «по мотивам»? Не приходила ли тебе в голову мысль экранизировать «Ад» Данте?

Ф. Ф. «Ад» Данте? Кто только мне не предлагал экранизировать его, и всякий раз, когда я отказывался, лица заказчиков вытягивались в сурово осуждающей гримасе: плохо, очень плохо, непростительно, что я отверг такое почетное предложение...

А вообще предложение заманчивое: я бы с удовольствием сделал часовой фильм, опираясь на Синьорелли, Джотто, Босха, рисунки душевнобольных. Получился бы этаким бедный, тесный, неудобный, перекошенный, плоский адик. Но продюсерам требуется Доре: клубы дыма, красивые голые задницы и вполне научно-фантастические драконы.

Произведение искусства рождается в своей единственной выразительной форме. Все экранизации, все переложения я считаю чудовищными, нелепыми, уродливыми.

(Не перебарщивает ли Феллини? Ведь он сам снял «Сатирикон» по Петронию. Но во многих конкретных примерах он — увы! — прав... — Е. Е.)

Считаю, что кино не нуждается в литературе — ему нужны лишь свои авторы-сценаристы, выражающие собственные идеи через ритмы и размеры, присущие лишь кинематографу. Кино — автономное искусство, и его нельзя превращать в иллюстрацию. Что берется из книг? Какие-либо ситуации. Но ситуации сами по себе не имеют никакого значения. Главное — чувство, с которым они показаны, фантазия, атмосфера, свет. Интерпретации — кинематографическая и литературная — одних и тех же фактов не имеют между собой ничего общего. Это два совершенно разных способа самовыражения. <...>

Е. Е. В своей книге ты настойчиво подчеркиваешь, что никогда не встречал полностью взрослых и что все взрослые — это на самом деле дети. Мне тоже кажется, что, если человек полностью не закастеневаает, его формирование может быть бесконечным... А что бы ты посоветовал в таком случае детям? Не становиться взрослыми?

Ф. Ф. Прежде всего я бы постарался им привить любопытство и научил бы их ничего не бояться. Остерегайтесь спугивать или глушить в ребенке любопытство; это — прекрасное орудие защиты и исследования, это — чувство, которое надо сохранять во что бы то ни стало. <...> Ни разу не видел, чтобы родитель спрашивал у ребенка, каким представляется ему кот или дождь. Что ему снилось ночью и почему он этого боится. <...> Фильм, которого я, к сожалению, не сделал, да и сделать его невозможно, это история сотни детей двух-трехлетнего возраста, живущих в огромном густонаселенном доме на окраине большого города.

Я бы показал жизнь этого большого дома, увиденную и придуманную детьми, — с любовными историями, с ненавистью и несчастьями, и все это на тех же лестницах или в садике перед домом. <...>

Поддавшись очарованию феллиниевской задумки, я подошел к своему трехлетнему сыну Саше и спросил его: «Что такое кот?» И вдруг я заметил, что глаза моего мальчика обратились с вопросом к окружающим взрослым, и один из них начал объяснять ему то, что должен был объяснить он сам, и, возможно, каким-то особенным, наивно-мудрым способом».

Пятнадцатого-шестнадцатого ноября 1982 года Евтушенко написал «Хранительницу очага».

Собрав еле-еле с дорог
расшвырянного себя,
я переступаю порог

страны под названием «семья».

Пусть нету прощения мне,
здесь буду я понят, прощен,
и стыдно мне в этой стране
за все, из чего я пришел.

Набитый опилками лев,
зубами вцепляясь в пальто,
сдирает его, повелев
стать в угол, и знает — за что.

Заштопанный грустный жираф
облизывает меня,
губами таща за рукав
в пещеру, где спят сыновья.

И в газовых синих очах
кухонной московской плиты
недремлющий вечный очаг
и вечная женщина — ты.

Ворочает уголья лет
в золе золотой кочерга,
и вызолочен силуэт
хранительницы очага.

Очерчена золотом грудь.
Ребенок сосет глубоко...
Всем бомбам тебя не спугнуть,
когда ты даешь молоко.

С годами все больше пуглив
и даже запуган подчас
когда-то счастливый отлив
твоих фиолетовых глаз.

Итак, фиалковые глаза стали фиолетовыми. Что ж, всё течет, всё

меняется.

Происходит и нечто историческое.

Двадцать третьего марта 1982 года во время визита Брежнева в Ташкент на самолетостроительном заводе на него обрушились мостки, полные людей. У Брежнева была сломана ключица, которая так и не срослась. Здоровье Брежнева было окончательно подорвано. 7 ноября Брежнев последний раз появился на публике. Стоя на трибуне мавзолея, он в течение нескольких часов принимал военный парад на Красной площади, однако его недужная дряхлость бросалась в глаза даже на официальной съемке.

Л. И. Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на государственной даче «Заречье-6». Тело было обнаружено охраной в девять часов утра. Первым из политиков на место смерти прибыл Андропов. О смерти Брежнева СМИ сообщили лишь через сутки, 11 ноября в десять часов утра. При погружении гроба в землю раздался громкий стук на всю страну. Началась эра генеральных похорон.

1983 год. Юбилейный июль. Евгению Евтушенко пятьдесят. Официально — полвека, фактически — побольше, но это неважно. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Концерт в спорткомплексе «Олимпийский». Гигантский объем зала заполнили 12 тысяч зрителей, и что примечательно — коллег практически не было. Кроме двух-трех русских поэтов, четырех поэтов из Испании и Зои Богуславской, жены Андрея Вознесенского.

Открыл действо солидный и красноречивый Чингиз Айтматов, его плохо слушали — плохо было слышно: долго что-то не ладилось с микрофоном. Евтушенко работал три часа, несколько раз менял насквозь пропотевшие рубашки. Мама сидела в первом ряду.

Отдышавшись от «Олимпийского», он отправляется в Абхазию. Там его встречают как вельможу.

Двадцать второго июля газета «Советская Абхазия» сообщает:

...В эти дни Евгений Евтушенко у нас, в Абхазии. Недавно он побывал в Новом Афоне, затем совершил поездку в колхоз имени XXIV партсъезда села Лыхны Гудаутского района, осмотрел новостройки и исторические памятники села, встретился с тружениками этого передового хозяйства.

На встрече Евгения Евтушенко с тружениками колхоза имени XXIV партсъезда присутствовали кандидат в члены бюро ЦК КП Грузии, первый секретарь Абхазского обкома партии Р. Бутба,

первый заместитель председателя Совета министров Абхазской АССР В. Цугба, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КП Грузии Ю. Мосашвили, заведующий отделом пропаганды и агитации Абхазского обкома партии В. Авидзба, секретари Гудаутского РК КП Грузии К. Озган, Ю. Табуцадзе, Ю. Папба, директор музея Дружбы народов АН Грузинской ССР Т. Бадурашвили, известные поэты и писатели И. Абашидзе, Б. Шинкуба, И. Амирэджиби, В. Алпенидзе, А. Сулакаури, композитор С. Мирианашвили.

На следующий день Е. Евтушенко чествовали труженики Цебельдского животноводческого совхоза Гульрипшского района. В просторном зале 1-й средней школы состоялся большой вечер поэта.

Тепло приветствовали поэта секретарь Абхазского ГК партии Р. Бутба, заведующий отделом культуры Гульрипшского райисполкома Г. Коршия, рабочая Цебельского совхоза Н. Кухалейшвили, педагог А. Гурунян, поэты В. Соколов, Ш. Акобия, И. Тарба. М. Шаханов.

Затем состоялся концерт художественной самодеятельности, на котором звучали абхазские, грузинские, русские, армянские, украинские, эстонские песни, стихи Е. Евтушенко и др. поэтов.

Участники вечера осмотрели место раскопок древнего Цибилиума...

О славной истории главной крепости древней Апсилии рассказывали руководители археологической экспедиции кандидат исторических наук Ю. Воронов, О. Бгажба.

В ходе осмотра было высказано пожелание об усилении внимания к сохранению и популяризации уникальных памятников Цебельды и организации на их базе современного историко-архивного музея-заповедника.

На встрече в Цебельде присутствовали первый заместитель председателя Совета министров Абхазской АССР В. Цугба, заведующие отделами Абхазского обкома КП Грузии В. Авидзба и Д. Губаз, секретари Гульрипшского РК КП Грузии Г. Начкебия и Э. Сурменелян, первый секретарь Ванского РК КП Грузии Н. Андриадзе, министр пищевой промышленности Грузинской ССР А. Концелидзе, директор республиканского музея Дружбы народов Т. Бадурашвили, заместитель председателя Совета по грузинской литературе при Союзе писателей СССР Х. Гагуа,

известные поэты и писатели К. Каладзе, М. Ласурия, И. Амирэджоби, В. Алпенидзе, К. Ломиа, И. Тарба, Г. Каландия и др., издатели, переводчики, ученые и поэты из Англии и Швеции.

Государственный поэт. Государственный размах торжества. Пир горой. Юбилеи надо отмечать на Кавказе.

Но и работать надо.

Двадцать четвертое сентября 1983 года, «Московская правда»:

Двадцать первого сентября, среда. У Большого театра и на Красной площади проведены съемки сцен из нового художественного фильма Евтушенко.

...антураж — картонная стена здания, сбитый немецкий бомбардировщик, пушки, снаряды, винтовки.

...у Василия Блаженного ждут, когда солнце осветит место съемки.

«Наша работа подходит к концу, но эти сцены будут в фильме первыми...»

Женя — ученик 6-го класса Сережа Гусак. Бабушка — табельщица Дворца спорта в Лужниках Г. Стаханова.

«...принял участие в съемках известный австрийский актер К. Брандауэр. Он знаком москвичам по лентам «Мефистофель» И. Сабо и «Жан Кристоф» Ф. Вильде».

В ноябре — первая премьера фильма: в зиминском кинотеатре «Россия». Вторая премьера — в иркутском Дворце спорта в январе 1984-го. Между Зимой и Иркутском — поездки: Италия и Китай. В Венецию на фестиваль «Поэты и Земля» в рамках биеннале он привозит Нику Турбину. «Золотой лев». Ослепительный знак несчастья в руках счастливой девочки.

В мае он покажет «Детский сад» в Ереване.

В поездках и кинозаботах стихи происходили нечасто. Поэма «Бедная родственница» оказалась по-своему рекордной — в смысле маленького объема. Сам сюжет — возникновение на выпивоне киноэлиты некой старушки из Орла, на самом деле учительницы английского, с сумками в руках, — сам сюжет (написанный, впрочем, прекрасно) стал лишь поводом для автора разразиться многословной рефлексией на сей счет, и поэма заслуженно потерялась в списке его эпоса.

Евтушенко вполне мог уместиться в коротких вещицах, где густо концентрировалась вся проблематика тех дней его жизни.

Наверно, с течением дней
я стану еще одней.

Наверно, с течением лет
пойму, что меня уже нет.

Наверно, с теченьем веков
забудут, кто был я таков.

Но лишь бы с течением дней
не жить бы стыдней и стыдней.

Но лишь б с течением лет
двуликим не стать, как валет.

И лишь бы с теченьем веков
не знать на могиле плевков!..

По существу, сказано всё. Однако эпос тянет к себе, и в апрельской поездке по Латинской Америке при посещении Международной книжной выставки-ярмарки возникает замысел поэмы, которую он назовет «Фуку!».

Что это такое — «фуку»? Табу на имя. Позор, забвенье, что-то вроде украинского «Ганьба!», если ставить восклицательный знак. Слово привезено в Латинскую Америку из Африки вместе с «черным мясом». Сама поэма там и начинается: Евтушенко можно смело назвать латиноамериканским поэтом не только по количеству написанного там, но и по духу карнавала, по ритмике и щедрости палитры. Повод к поэме — евтушенковский променад по Санто-Доминго, где праздник жизни происходит на фоне ужасающей нищеты и детского голода. Всего того, что русскому поэту его поколения известно со времен войны.

Был для кого-то эстрадным и модным —
самосознание осталось голодным.
Перед всемирной нуждою проклятой,
как перед страшной разверзшейся бездной,
вы,
кто считает, что я — богатый,
если б вы знали —

какой я бедный.

Кто эти «вы»? Оппоненты. Почему они адресат его поэмы? С кем спорит «бедный поэт»? Похоже, все та же интеллигенция. Установка Евтушенко такова: вам не нужен мой пафос, вы не верите мне, моему социализму и патриотизму, а потому получайте все это в огромных размерах. Выразитель времени давно и бесповоротно идет поперек времени, и его гражданская продукция становится на самом деле особой зоной поэзии чистой. Богатством его стиха, словаря и исполнительской техники может утолиться лишь знаток. Он повторяет прежние приемы, повышая их уровень. Теперь проза, внедренная в стихи, безупречно написана: это действительно избранная проза Евтушенко, эти лаконичные новеллы, в которых действуют генералиссимус Франко и команданте Че; некий аферист с пацаном, надувший поэта, и нищая старуха, умело разламывающая краюху хлеба; неудавшийся художник Гитлер и Гюнтер Грасс — великолепный буйвол с очками на носу; сопливые русские фашисты и Берия, коему нравятся слегка толстые женские ноги; предатель молодогвардейцев, напивающийся в собственном баре, и сам Фадеев, молодо-седой, истощенно красивый; Пиночет — провинциал с влажной ладонью и бывшая женщина-полицейский, ушедшая в учительницы Магдалена; Сикейрос и колымский бульдозерист Сарапулькин, созидающий из валунов свой будущий склеп — личную пирамиду...

Есть тут и бункер Сомосы, где кресло пробито сандинистской пулей, и дырочку расковыривает пальчиком младенец, есть и пароход посередине Амазонки между Бразилией и Эквадором, и на обоих берегах стоят военные люди, не знающие, в каких отношениях состоят их страны: надо ли что-то делать, наблюдая за пожаром на пароходе и гибелью людей? Это их проблема. Не евтушенковская. Он пафосно гнет свою линию, прекрасно видя изнанку вещей:

Заманчив проект социального рая,
но полная стыдь,
всех в мире детишек усыновляя,
своих запустить.
Глобальность порой
шовинизма спесивей.
Я так ли живу?
Обнять человечество —

это красивей,
чем просто жену.

Тем не менее он не покидает проповеднической кафедры. Это эпос, состоящий из декламативного стиха и сдержанной прозы. «Фуку!» симфонична, и финал всей поэмы — высокая декламация, вряд ли достигающая широких масс по причине скрытых в самом стихе чисто стиховых достоинств, не столько изощренных, сколько необходимых здесь и сейчас. Маяковский, Пабло Неруда, Уитмен присутствуют при сем.

Последнее слово мне рано еще говорить —
говорю я почти напоследок,
как полуисчезнувший предок,
таща в междувременьи тело.
Я —
не оставлявшей объедков эпохи
случайный огрызок, объедок.
История мной поперхнулась,
меня не догрызла, не съела.
Почти напоследок:
я —
эвакуации точный и прочный безжалостный слепок,
и чтобы узнать меня,
вовсе не надобно бирки.
Я слеплен в пурге
буферами вагонных скрежещающих сцепок,
как будто ладонями ржавыми
Транссибирки.
Почти напоследок:
я в «чертовой коже» ходил,
будто ада наследник.
Штанина любая
гремела при стуже
промерзлой трубой водосточной,
и «чертова кожа» к моей приросла,
и не слезла,
и в драках спасала
хребет позвоночный,

бессрочный.

Почти напоследок:

однажды я плакал
в тени прищоссеиных замызганных веток,
прижавшись башкою
к запретному, красному с прожелтью
знаку,
и все, что пихали в меня
на демьяновых чьих-то банкетах,
меня
выворачивало
наизнанку.

Почти напоследок:

эпоха на мне поплясала —
от грязных сапог до балеток.
Я был не на сцене —
был сценой в крови эпохальной и рвоте,
и то, что казалось не кровью, —
а жаждой подмостков,
подсветок, —
я не сомневаюсь —
когда-нибудь подвигом вы назовете.

Почти напоследок:

я — сорванный глас всех безгласных,
я — слабенький след всех бесследных,
я — полуразвеянный пепел
сожженного кем-то романа.

В испуганных чинных передних
я — всех подворотен посредник,
исчадие нар,
вошебойки,
барака,
толкучки,
шалмана.

Почти напоследок:

я,
мяса полжизни искавший погнутою вилкой
в столовских котлетах,
в неполные десять

ругнувшийся матом при тете,
к потомкам приду,
словно в лермонтовских эполетах,
в следах от ладоней чужих на плечах
с милицейски учтивым
«пройдемте!».
Почти напоследок:
я — всем временам однолесток,
земляк всем землянам
и даже галактианам.
Я,
словно индеец в Колумбовых ржавых браслетах,
«фуку!» прохриплю перед смертью
поддельно бессмертным тиранам.
Почти напоследок:
поэт,
как монета петровская,
сделался редок.
Он даже пугает
соседей по шару земному,
соседек.
Но договорюсь я с потомками —
так или эдак —
почти откровенно.
Почти умирая.
Почти напоследок.

*Гавана — Санто-Доминго — Гуернавака — Лима — Манагуа —
Каракас — Венеция — Леондинг — станция Зима — Гульрипи —
Переделкино, 1963–1985.* Помета под поэмой — часть ее поэтики. Если
этим стихам не верить, их нет. Но они есть.

Ну а «Маму и нейтронную бомбу» он возит по стране. Его слушают
различные — рабочие и студенческие — аудитории Москвы, Ленинграда,
Иркутска, Пензы, Куйбышева, Тольятти, Челябинска. В конце концов поэму
выдвигают на соискание Государственной премии СССР — и 7 ноября 1984
года премия будет присуждена.

Пока он атаковал эту премию, было многое — и радость, и горе.
Отметил юбилей старый друг Симон Чиковани в Центральном доме

литераторов — Евтушенко принял участие в вечере; умер старый друг Нодар Думбадзе — Евтушенко подписал некролог.

В Калифорнии произойдет шестая встреча советских и американских писателей с его участием. Эти встречи были ежегодными и проходили попеременно — то в СССР, то в США. Соперничество сверхдержав толкало писателей к налаживанию хоть каких-то связей, препятствующих отчуждению.

В издательстве «Книга» выходит библиографический указатель «Русские советские писатели. Поэты»: в седьмом томе — евтушенковская персоналия.

Декабрь увенчался ударно: премьерой «Детского сада» в Москве и Волгограде.

Что с матушкой-рифмой? Что с судьбой советского поэта Евтушенко? Всё в порядке. Более чем.

Разве что:
Не отдала еще
всех моих писем и не выбросила в хлам,
но отдаляешься,
как будто льдина, где живем — напополам.

Да и в той самой «Бедной родственнице»:

Я сбит с копыт,
и все в глазах качается,
и друга нет,
и не найти отца.
Имею право наконец отчаяться,
имею право
не надеяться?

ПРИШЛИ ИНЫЕ

Арбат покрасили, расцвелили, поставили на нем южно-курортные фонари, в свете которых пошла такая жизнь, от которой глухие арбатские старухи на свою голову снова обрели слух — и бессонницу, окончательную, как бессмертие. Мертвую тишину сталинского маршрута от Кремля до Ближней дачи, некогда впервые потревоженную гитарой Окуджавы, беспмятно разнесли в пух и прах новые гитаристы, металлисты и афганцы, хитроватые стихотворцы, жуликоватые живописцы. Вначале дело не доходило до прямой барахолки. Клокотали свежие грозы, и молнии были продолжительно светящиеся. Еще скрипачи и флейтисты играли просто так, для души. Старик без голоса и без слуха, с гирляндой орденов-медалей во всю грудь, на детской гармонике наяривал попури из фронтовых песен, уже за деньги. Толстуха с аккордеоном красномордо голосила, черпая из народного репертуара. Под Грузинским культурным центром появился небольшой памятник Маяковскому — юноша в плаще. Он постоял недолго: в ночи ему разбили лицо. Эта эпоха отторгала этого поэта. Он исчез с Арбата. Толпы и кучки наивных ротозеев внимали бродячим проповедникам, коих развелось несметное племя. Милиция пребывала в растерянности, хотя и обзавелась новой формой и дубинками. Из матрешек вылезло лицо Горбачева с пятном на лбу и пошло на продажу. Кришнаиты ходили колоннами с бубнами и колокольцами и, торгуя своей литературой, собирали средства на сооружение храма. Самодельные брошюры по технике секса мгновенно расхватывались. Желто-голубые флаги осеняли непривычных по виду и выговору священников под магазином «Украинская книга». Под домом философа Лосева разнесли телефонную будку. Дом с аптекой, над которой затанцевал свою судьбу безумец Андрей Белый, восставал из полунебытия. Политику исподволь вытесняла торговля. На всех углах стали продавать кошек, собак и птиц, котят в птичьей клетке. Красные знамена переходили из рук торговцев в руки заморских гостей. Боевые награды пользовались повышенным спросом. Георгиевский крест и орден Ленина соседствовали на груди Арбата, который попутно отметил свое гипотетическое шестисотлетие. Вяло разъезжала милицейская машина с Георгием на боку. Ушастый ишак гадил под себя. Старушка в косынке голыми руками собирала его кал. У ресторана «Прага» ходили парами хорошо зарабатывающие нимфетки. Во всех трех овощных магазинах круглый год сияли половозрелые груди

грейпфрутов. Чернявые анекдотчики у Театра имени Вахтангова на два голоса сыгранно травили свои байки, собирая самую большую публику, — взрывы хохота сотрясали серую громаду театра. Цыганята, вцепившись в штаны иностранцев, голыми ребрами волочились по грязным камням. Открылись арт-галереи. Уличные мазилы считали баксы. Хорошенькая корейка в национальной технике искусно рисовала блицпортреты. Волевая девочка-скрипачка работала ежедневно, ее белая собачка в голубой газовой шляпке выглядывала из красно-бархатного уголка футляра, заполненного купюрами. Бомжи обжили развалины, чердаки и подвалы, пошли пожары. Пожарник в шлеме, тягая раздутый, как сломанная нога, шланг, демоном перелетал из окна в окно на шестом этаже дома номер 17, объятый пламенем, — зеваки внизу говорили о происках французов, имея в виду масонов. Арбатский километр раскручивался до бесконечности вокруг себя самого. Краска на домах гасла, жухла и осыпалась вместе с домами. Чисто выбритый экстрасенс ставил экспресс-диагноз методом биолокации приезжим из Беларуси. Молодые инвалиды просили милостыню. Беженцы спали семьями вповалку на грудах мусора, накрытые листами бумаги с подробным перечислением своих бедствий. Поэт Евтушенко и журналист Черкизов навеселе вышли из ресторана, и журналист разбрасывал во все стороны и совал в руки прохожим долларовые дензнаки.

В Серебряном переулке всю таинственную пристройку к дому номер 3 покрывал шелковым пламенем изумрудный плющ. Начальное колено Кривоарбатского переулка подростки переименовали в переулок Цоя, все стены исписав клятвами и признаниями в любви своему покойному кумиру. Там Джуна одно время собирала толпы, окруженная телохранителями. В конце Кривоарбатского разрушался корабельный особняк архитектора Мельникова. По Арбату постукивал палочкой крохотный бесплотный старикашка, слепец в черных очках, выкрикивая фальцетом: «Женщину хочу!» Средь бела дня юная ню с ожогами от погашенных на ее спине окурков, в красных, великоватых ей полуботинках вибрировала на коленях перед кудлатым бомжем. «За сто рублей!» — оповещал пацан с фонарного столба. На фоне больших кукол-зверей фотографировались дети, весь день их смешил человек в ядовито-желтой маске морщинистого упыря. Вечером он снимал маску, становился седым благообразным старичком, брал в руку портфель и уходил с работы домой: он работал прямо у своего дома. Лессированный питон окольцовывал тельце хрупкой девушки, позирующей фотографу. На доме с рыцарем в ногах у рыцаря выросло деревце. С холма под белой церковью Симеона Столпника дети катались на санках до самой весны. По весне в тишине куртины на Арбатской площади,

сверкая свечками, равноапостольно шествовали с шелестом 12 каштанов.

Перестройка началась с революции газет. Газетчик Евтушенко публикует в «Правде» приветствие новым временам «Кабычегоневышлисты». Начиналось движение в поддержку перестройки.

Не всякая всходит идея,
асфальт пробивает не всякое семя.
Кулаком по земному шару
Архимед колотил, как всевышний.
«Дайте мне точку опоры,
и я переверну всю землю!», —
но не дали этой точки:
«Кабы чего не вышло...»

.....

Великая Родина наша,
из кабинетов их выставь,
дай им проветриться малость
на нашем просторе большом.
Когда карандаш-вычеркиватель
у кабычегоневышлистов,
есть пропасть
меж красным знаменем
и красным карандашом.
На знамени Серп и Молот
страна не случайно вышила,
а вовсе не чье-то трусливое:
«Кабы чего не вышло...»!

Это, натурально, агитатор, горлан, главарь. Стилистика Окон РОСТА.

Неужели можно войти дважды в одну и ту же реку? Неужели опять оттепель? Более того — апрель, весна, начинается небывалое? Удивительное дело, но именно в 1985-м поэту Евтушенко повстречался дортмундский гимназический преподаватель географии и латыни Густав Гангнус с его ошеломительным свитком, содержащим историю рода Гангнусов. Что это, как не второе рождение? Нет, это не простое совпадение. Всё начинается с самого начала.

Печаталось невообразимое. Плотину прорвало, в журналы хлынула такая литература, о которой она, литература, и сама не ведала. Поток

сметал вчерашние постройки, не оставляя от них ни следа.

Евтушенко печатал в «Огоньке» подборки авторов будущей антологии под общей шапкой «Муза двадцатого века». Параллельно на тех же страницах открывались новые имена, в частности семидесятнические. Он приглядывался к ним с ревнивым любопытством, иногда заходил на их сборища, где с недоумением встречал активное неприятие, порой хамоватое.

Тимур Кибиров шутовал в песенном духе:

Летка-енка ты мой Евтушенко!
Лонжюмо ты мое, лонжюмо!
Э-ге-ге, эге-гей, хали-гали!
Шик-модерн, Ив Монтан, хула-хуп!
Так что бесамэ, бесамэмуча!
Так крутись, веселись, хула-хуп!

На мотив «Идут белые снега...»:

Как ни в чем не бывало,
а бывало в говне,
мы живем как попало.
Не отмыться и мне.

В народном варианте:

Тройка мчится, мелькают страницы,
Под дугой Евтушенко поет.
Зреет рожь, золотится пшеница.
Их компьютер берет на учет.

Собственно, Сергей Гандлевский в повести «Трепанация черепа» внятно обрисовал межпоколенческую разницу:

Литература была для нас личным делом. На кухню, в сторожку, в бойлерную не помещались никакие абстрактные читатель, народ, страна. Некому было открывать глаза или вразумлять. Все всё и так знали. Гражданскому долгу, именно как

внешнему долженствованию, просто неоткуда было взяться. И если кто писал антисоветчину, то по сердечной склонности. Меня поэтому так озадачил рассказ Евтушенко в коротичевском «Огоньке» о том, на какие уловки он шел, чем жертвовал, в какие двусмысленные отношения вступал с высокими партийными чинами, только б его не разлучали с читателем, позволяли открывать глаза. Совершенно непонятный мне склад души.

В «Трепанации черепа», сквозь ряд разнообразных баек, автор вспоминает некое утро с бодуна в переделкинских декорациях: проснулись с друзьями на даче неназванного драматурга, пошлепали вдоль писательских угодий, выцыганили у Межирова — да, выцыганили у мэтра — пятерку на опохмел и между делом увели собаку с евтушенковской дачи.

Сравним.

Евтушенко (1956):

А что поют артисты джазовые
в интимном,
в собственном кругу,
тугие бабочки развязывая?
Я это рассказать могу.
Я был в компании джазистов
лихих, похожих на джигитов.
В тот бурный вечер первомайский
я пил с гитарою гавайской
и с черноусеньким,
удаленьким,
в брючишках узеньких
ударником...
Ребята были как ребята.
Одеты были небогато,
зато изысканно и стильно
и в общем выглядели сильно...
И вдруг,
и вдруг они запели,
как будто чем-то их задели, —
ямщицкую
тягучую,
текучую-текучую...

О чем они в тот вечер пели?
Что и могли, да не сумели,
но что нисколько не забыли
того, что знали и любили.
«Ты, товарищ мой,
не попомни зла.
Здесь, в степи глухой,
схорони меня...»

Гандлевский (1980):

Еще далеко мне до патриарха,
Еще не время, заявляясь в гости,
Пугать подростков выморочным басом:
«Давно ль я на руках тебя носил!»
Но в целом траектория движенья,
Берущего начало у дверей
Роддома имени Грауэрмана,
Сквозь анфиладу прочих помещений,
Которые впотьмах я проходил,
Нашаривая тайный выключатель,
Чтоб светом озарить свое хозяйство,
Становится ясна.
Вот мое детство
Размахивает музыкальной папкой,
В пинг-понг играет отрочество, юность
Витийствует, а молодость моя,
Любимая, как детство, потеряла
Счет легким километрам дивных странствий.
Вот годы, прожитые в четырех
Стенах московского алкоголизма.
Сидели, пили, пели хоровую —
Река, разлука, мать-сыра земля.
Но ты зеваешь: «Мол, у этой песни
Припев какой-то скучный...» — Почему?
Совсем не скучный, он традиционный.

Это первая половина обширного стихотворения, совершенно убедительного. Некая нота народности, засвидетельствованная в обоих случаях. У Евтушенко — богема, но это советско-русская богема, то есть вряд ли богема, у нас тут не Париж. У Гандлевского — срез некоторой группы общества, московского, интеллигентского, центрального (Грауэрман), по существу — те же лица. Сходная ситуация, ничего не изменилось за эти четверть века, кроме: ссылка на Мандельштама (первая строка) и зевок относительно русской песни. Генерация Гандлевского — скучает, тогда как евтушенковское поколение томится по корням без особых рефлексий и даже с энтузиазмом. Есть разница социальных температур и духовных опытов, но схожего больше, нежели обратного.

А какой, однако же, шарм в молодом евтушенковском шедевре — широта внутреннего жеста, шикарная прорифмовка, ритмическое богатство, чистота звука. Школа Кирсанова.

Есть и еще такой мемуарный момент: на квартиру Гандлевских позвонил Евтушенко:

И вальяжный голос сообщает приятные вещи о моих стихах, но коверкает мою злополучную фамилию, и мне достает педантизма Евтушенко поправить. Время от времени я говорю «спасибо» и молчу. Не по гордыне или по неприязни, а по скованности и неумению вести литературные разговоры с незнакомыми людьми. Он спрашивает меня, как поэт поэта, о моих американских впечатлениях. И я отвечаю. Он просит «подослать» ему в Переделкино книжку. И я обещаю. И на этом мы расстаемся.

Результат звонка — стихи Гандлевского в евтушенковской антологии «Строфы века».

Насчет странных сближений. В номере третьем за 2006 год журнала «Воздух» А. Цветков пишет «Объяснение в любви», дифирамб Гандлевскому.

Мне вспоминается, что в день смерти Окуджавы я как раз случайно оказался в Москве, а на следующий день мы с Гандлевским по какой-то забытой надобности отправились через Арбат и столкнулись с огромной толпой, охраняемой почтительными ментами, один из которых ввел нас в курс дела: «Окуджаву хоронят». Таких слов, и в таком тоне, из уст

правоблюстителя я не слыхал в жизни и больше не услышу — случается, как известно, раз в двести лет.

Тогда мы еще раз взглянули на толпу, и Гандлевский сказал: «Байдарочники».

Так вот. Когда в июне 1972 года Окуджаву решили прогнать из партии, он залечивал раны как раз при помощи байдарочного путешествия. Байдарочник, выходит, он сам, Окуджава. Правда, почти прогнанный.

Надо было прокатиться массе времени, чтобы в 2012 году Гандлевский представил другой взгляд на вещи:

Были наиболее известные «шестидесятники» ложными фигурами или подлинными героями, или дело обстояло сложнее? Разумеется, сложнее, и чем больше я удаляюсь от того времени, тем с большим почтением отношусь ко всей тогдашней плеяде одаренных поэтов. Тогда наше восприятие было по необходимости несправедливым (мы были молодые, 20–25 лет — не самый справедливый возраст). Например, когда рухнула советская власть, я с удивлением увидел, что высотные здания хороши: они перестали быть казенным символом. Надо было, чтобы рухнула советская власть, — и я почувствовал, что Окуджава — замечательный лирик, а вовсе не пресноватый любимец КСП (Клуба самодетельной песни. — И. Ф.). Поэтому я воспользуюсь сейчас случаем расписаться если не в любви (а ко многим авторам — и в любви), то в культурном поколенческом почтении.

Через пару десятилетий и Кибиров заговорил по-другому. В общем плане — так:

Когда говорят о широкой любви к поэзии в шестидесятые годы, обычно отмахиваются: ну, это потому, что поэзия занималась не своим делом, служила вместо публицистики. Да, отчасти так можно объяснить популярность Евтушенко, Высоцкого. Но из-за какой публицистики перепечатывали Мандельштама, обериутов? А перепечатывали! Я считаю, что это нормально — когда искусство берет на себя функции, по мнению эстетов, ему не свойственные: говорит о жизни, о том, что хорошо, что плохо. Иначе будет то, что уже случилось с

изобразительным искусством и что может случиться с любым другим видом художественной деятельности. Останется так называемое рыночное искусство: Шилов, Глазунов и т. д. И останется так называемое «актуальное искусство», интересное довольно ограниченной тусовке и не интересное никому, не входящему туда. К сожалению, чаще всего это даже не остроумно, а умопомрачительно скучно, хоть и выдает себя за игру.

Конкретно о Евтушенко:

Советская литература так или иначе предполагала сотрудничество с властями, и я не могу осуждать за это шестидесятников. Я стал понимать этих людей, и мне сделалось неловко за то, что я над ними куражился. Это скорее живое чувство, чем рассуждение. Когда я впервые оказался сидящим рядом с Евтушенко, мне перед ним было неловко, памятуя все, что я о нем понаписал. Это неловкость перед живым человеком за твой плохой поступок. <...> И еще один момент: наверняка (хотя я этого точно не помню) к моему тогдашнему порыву примешивалась разночинная зависть. А это совсем стыдно.

А белый ямб о пяти стопах Евтушенко к той поре уже давно и успешно усвоил, написав «Голубь в Сантьяго» (1974–1978). Эта форма пришла к Евтушенко скорее всего от Луговского («Середина века»), но Луговской-то ориентировался на опыт предшественников — Пушкина, Блока, Ахматову, Ходасевича, Мандельштама. Последние двое особенно повлияли на работу новых в ту пору поэтов, включая Гандлевского.

Так замыкается круг.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

Все-таки не прав был учитель Маяковский, сказав:

Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулю чешите:
это —
чтобы в мире
без России,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.

Это неправильно. Прямо в точку, только наоборот: надо — и с Россией, и с Латвией. Последняя признала Евтушенко своим: как-никак слегка латыш, по месту обитания предков. Многие из них перемешивались с местными. Премия Яна Райниса никому из русских литераторов еще не давали. Кроме Евтушенко.

Не правы были и те, кто когда-то навязывал ему в литотцы Игоря Северянина. Но он и сам был не слишком прав, воскликнув: «Какой я Северянин, дураки!» По крайней мере сейчас, когда он хлопочет о возвращении отвергнутых поэтов Серебряного века, есть возможность взглянуть на это дело так:

Когда идет поэтов собрание,
тех, кто забыт и кто полузабыт,
то забывать нельзя про Северянина —
про грустного Пьеро на поле битв.

Не прав и киношник Руднев, как он ни остроумен по-своему. Мирового триумфа нет, но фильм «Детский сад» в 1986-м куплен американской фирмой «Интернэшнл филм Икочейндж», и его

демонстрируют в кинотеатре «Филм форум» в Нью-Йорке, — автор фильма как раз гастролирует по Штатам. Фильм хвалят.

«Уолл-стрит джорнэл»:

Именно это несдержанное проявление неприглаженных человеческих страстей и придает фильму его силу <...> впечатляющий кинематографический дебют.

«Ньюсдей»:

Образы и сцены сливаются воедино, подобно ручьям, впадающим в реку, финал волнует и захватывает, и к последнему кадру автор достигает того, что ему удастся лучше всего. Он создает поэму.

Но больше всех не прав Бродский, когда демонстративно выходит из американской Академии искусств и литературы оттого, что в 1987-м ее почетным членом стал Евтушенко. Помнится, Чехов и Короленко поступили сходным образом относительно Российской Императорской академии, но ровно в противоположном смысле: туда не приняли собрата — Горького.

Но еще больше не прав и виноват он сам, Евтушенко. Рассыпалась в прах третья семья. Внешне всё выглядит просто и в некотором — моральном — плане в его пользу: жена ушла. Да, Джан с ним больше нет. Слагаются тягостные стихи о цицинателях, грузинских светляках:

Покинула ты,
как душа еще, кажется, целое тело,
но нет и его —
как морского водой унесло.
Я — лишь очертанья себя.
Сквозь меня пролетают —
приморские цицинатели,
как будто я лишь уплотнившийся сумрак,
и все.
Зачем в этом воздухе,
где радиация стала страшнее,
чем пули,
поднявшись в неверное небо

с такой же неверной земли,
мы так ослепительно и ослепленно
и коротко так просверкнули
и не помогли нашим детям,
а мгле помогли?

(«Цицинаты»)

Чернобыльский взрыв и частный разрыв. Всё едино. Над Припятью
полыхал огонь. Опять апрель, но какой другой апрель. Стих идет внутрь
пожара.

Я семейную крепость построил некрепко,
хотя и красиво.
Я проспал.
Не расслышал
в семье моей собственной взрыва.
Над горящими заживо мной и тобой
и детьми чистолобыми
онемевший стою,
как над личным Чернобылем.

(«Внутрь пожара»)

Я, как сломанный лом,
превратившийся в металлолом.
Почему я сломался?
Стена оказалась потверже, чем я,
и но все то, что пробил,
не останется только в былом,
и сквозь стены, пробитые мною,
прорвутся мои сыновья.
...Слушай, девочка,
я понимаю, что я виноват.
Я хотел измениться.
Не вышло, не смог.

(«Прощание»)

Правда, вину свою он относит к тому, что он — исторический лом, пробивающий крепостную стену. Кажется, на таком языке не говорят в момент разрыва. Он — говорит, потому что ищет себе оправдания. Он не видит себя «посреди тошнотворно домашних «нормальных мужей».

Он кается, одновременно развернув разнообразную череду женщин, его любивших, начиная с той, первой, на Алтае, не позабыв и такой вот тоже:

И когда в Италии,
стараясь держать себя как ни в чем не бывало,
я поднял над головою
золотого венецианского льва,
мне подмигнула издали,
высунувшись из марьиносорщинского подвала,
одной задушевной оторвы
вся в бигудях голова.

(«Третий развод»)

Тот «Лев» был получен совсем недавно, и его это явно грело, как ни тяжело было ему, артисту высшей категории, вдруг получить роль брошенного мужа. Скромность, разумеется, не его добродетель. А на поверку он не раз оказывался в рядах сугубых скромников, поскольку никогда не знал, на какие ослепительные вершины его вознесет завтрашний ветер. В начале 1986 года, помянув ушедшего шесть лет назад Ладо Гудиашвили, в честь которого астрономы назвали звезду, он задался вопросом:

Я не знаю, насколько я вечный:
может, искоркой сгину в чаду,
может, стану пылинкою млечной,
а звездой, как Ладо, не взойду?

(«Звезда Гудиашвили»)

Взошел. Звезда его имени существует. Minor Planet Circular № 23 351,

открытая 6 мая 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории, — малая планета Солнечной системы 4234 Evtushenko, диаметр 12 километров, минимальное расстояние от Земли — 247 миллионов километров.

Не знал он и того, что с ним произойдет летом 1986-го на берегах озера Онего.

На Севере, бывало, за нехваткой попов в церквях служили бабы. Голос великой вопленицы посмертно жил в коконе какой-то из горячих маковок. Голос вырывался наружу только тогда, когда уже не мог не звучать.

Дайте волюшку, спорядные суседушки!
Не жалеите-тко печальной горющицы,
Не могу терпеть, победная головушка,
Как долит тоска, великая тоскичушка!
Со кручинушки смерётушка не придет,
Со кручинушки душа с грудей не выйдет,
Мое личушко ведь есть да не бумажное!

Вопила Ори́на Федосо́ва, в девичестве Ю́лина. Она была хромоножка — в детстве упала с коня. Точно так же потом охромел подростком Пастернак. Она померла почти 100 лет тому. Ее положили на погосте у деревни Юсова Гора на берегу Онежского озера.

Это была рядовая поездка в Карелию, Евтушенко пригласил литинститутский однокашник Марат Тарасов, у которого в деревеньке была изба на курьих ножках, где можно было зализать раны. Но — с выступлениями, как полагается. На одно из них пришла девушка Маша Новикова, студентка медучилища, дочка университетской библиотечарши, пламенной поклонницы поэта Евтушенко. Мать была занята, пойти не смогла, свой пропуск со вздохом отдала дочери, не очень-то того и хотевшей, и заодно попросила, чтобы Маша получила автограф поэта на его книге — втором томе разрозненного двухтомника. Стихи Маша ценила не настолько, чтобы рваться на звездный концерт этого кумира. «Вот если бы это был Окуджава». Судебная медицина была ей интереснее. Но — пришла.

Что произошло дальше? Встреча лицом к лицу. Удар током. По нему, а не по ней. Мгновенная вспышка. Озарение: это — она. Та, что спасет. Чутье сработало без промаха.

— Подпишите, пожалуйста, эту книгу для моей матери.

— А почему только второй том?..

Последовали уговоры и отказ. Фантастическим способом он отыскал ее телефон и ее саму.

Уютное помещенье кабинета для двоих в дымно-шумном ресторане называлось «каземат» — при царизме там была КПЗ. Долгая, бесконечная исповедь про всех своих трех любимых и нынешний крах.

Мария не была наивной девочкой с широко распахнутыми глазками уездной барышни. В русой ее голове не роились мысли о невозможном счастье. Она уже испытала первое чувство с конечным холодом разочарования. Она думала о своем будущем в свете определенного опыта, не внушавшего ей надежд на опьянение чем-то небывалым. Она думала, что она трезво смотрит на вещи.

Но с ней говорил — Евтушенко. Он умеет говорить.

Он проснулся в карельской избушке на курьих ножках. Это было странное пробуждение. Настоящий сон только начинался. Для обоих. Общий сон.

Последняя попытка стать счастливым,
припав ко всем изгибам, всем извивам
лепечущей дрожащей белизны
и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,
как будто призрак мой перед обрывом
и хочет прыгнуть ото всех обид туда,
где я давным-давно разбит.

Там на мои поломанные кости
присела, отдыхая, стрекоза,
и муравьи спокойно ходят в гости
в мои пустые бывшие глаза.

Я стал душой. Я выскользнул из тела,
я выбрался из крошева костей,
но в призраках мне быть осточертело,
и снова тянет в столько пропастей.

Влюбленный призрак страшнее трупа,
а ты не испугалась, поняла,

и мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга,
но, распростерши белые крыла,
нас пропасть на тумане подняла.

И мы лежим с тобой не на постели,
а на тумане, нас держащем еле.
Я — призрак. Я уже не разобьюсь.
Но ты — живая. За тебя боюсь.

Вновь кружит ворон с траурным отливом
и ждет свежинки — как на поле битв.
Последняя попытка стать счастливым,
последняя попытка полюбить.

«Я кончился, а ты жива» (Пастернак). Тут ночевала поэзия.

Это походило на кино. А само кино — как таковое — шло параллельно, и не без успеха.

В августе того же 1986-го прошла премьера «Детского сада» в парижском кинотеатре «Триумф» на Елисейских Полях и в пяти других кинозалах Парижа; в сентябре Евтушенко поехал в Зиму с датскими кинематографистами для работы над фильмом о нем самом. Там он повидал много родных лиц и вспомнил о том, что в одной из американских статей о нем говорилось, что в его жилах течет еще и татарская кровь. Не исключено. Как сказано: поскреби русского — найдешь татарина. Так или иначе, в ту пору он часто выступал в поддержку движения за восстановление прав крымских татар. Новая любовь не увела его от бурной общественной деятельности. На очередном писательском съезде он избирается секретарем правления Союза писателей СССР и действует в этом качестве до 1991 года, когда становится секретарем правления Содружества писательских союзов.

Он привез Машу в Москву, показал ее двум старейшим друзьям — школьному корешу и подводнику, те признали:

— Жена.

Она и стала женой.

Накануне Нового, 1987 года сыграли свадьбу и сразу поехали в Париж.

««Конечно, нужно посмотреть Эйфелеву башню», — сказал я жене. И вот мы идем — впереди брезжит эта очаровательнейшая, притягательнейшая железная дылда, а навстречу по мостику шагает

большой негр: прямо как из сказки «Три толстяка» Олеши, — красивый, блестящий, а на нем лиловый, развевающийся шарф. Он шел не спеша и вдруг побежал по мосткам, что-то крича, а когда расстояние сократилось, я услышал: «Ев-ту-чен-ко!» По мере приближения руки его раскрывались, и в конце концов он крепко меня обнял, обхватил так, что мне стало не по себе. Чем же это я, думаю, внушил этому негру такую нечеловеческую, африканскую страсть? Он стал лихорадочно рыться в своих карманах, достал портмоне и извлек оттуда ламинированное стихотворение, которое — и это самое главное! — называлось «На мосту». (Я написал его в 60-м или 61-м году, когда впервые попал в Париж.) Негр объяснил, что он сенегальский архитектор, работает сейчас в Дакаре, а в то время присутствовал на моем парижском выступлении — оно проходило в театре «Эгалите», куда набилось восемь тысяч студентов. Между прочим, студенческая организация рвалась тогда устроить мне встречу с Брижит Бардо...»

Евтушенко нарасхват. Международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества», VII Международный конгресс «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» — все это в Москве, и везде он. На конгрессе он, почетный гость, выступает с речью «Политика — это привилегия всех». Кстати говоря, Маша политики терпеть не может.

Всегда найдется женская рука. На сей раз это не было домашним властным руководством а-ля Галя Сокол. «Я открыл, что она страшно упряма и самостоятельна по характеру и не будет чеховской «душечкой». Его прошлое ее не проглатывает, но обрастает плотью реальности.

Они идут вдвоем по Петрозаводску, видят в канаве полумертвого бухаря, Евтушенко протягивает руку помощи, страдалец распаивает zenки, узнает и запекает тягучую-текучую: «Хотят ли русские войны...» Маша говорит: вот чего тебе не простят твои коллеги.

На обложке мартовского (№ 9) «Огонька» за 1987 год — апофеоз поэтского братства: четверка звездных лиц. Это фото Дмитрия Бальтерманца Виталий Коротич, главред журнала, откомментирует задним числом, через почти четверть века: «...чтобы собрать на одну обложку «Огонька» Окуджаву, Вознесенского, Евтушенко, Беллу Ахмадулину и Рождественского, мне пришлось изрядно потрудиться. Их нужно было еще уговорить сфотографироваться вместе. То, что они были не разлей вода, — сказки». Беллы на том снимке нет. Сниматься пришла, но квартет неполнила.

Печатаю в «Огоньке» самых разных поэтов прежних эпох, для себя Евтушенко раз и навсегда установил:

Ремесленный вкус — не искусство.
Великий читатель поймет
и прелесть отсутствия вкуса,
и великолепия длиннот.

(«Надо бы поскупее...»)

Великий читатель все еще существует. Миллионные тиражи журналов, литературные споры на всю страну, интеллектуальные волнения вокруг «Детей Арбата» А. Рыбакова, выход сидоровской книжки «Евгений Евтушенко. Личность и творчество», статья Евтушенко в том же мартовском номере «Огонька» «И были наши помыслы чисты» — название по строчке Ахмадулиной, как будто они действительно опять все вместе, и автор ностальгически элегичен: «Костяк нашей «могучей кучки», образовавшейся вокруг института, были Соколов, Рождественский, безвременно погибший Володя Морозов и я. Мы зачитывали друг друга стихами собственными и чужими, вместе выступали. Все мы, кроме Соколова, писали еще плохо, но, боясь сурового мнения товарищей, подтягивались, соревновались. Так я, оказавшийся в Литинституте уже широко печатаемым в газетах, очутился под градом целебнейших дружеских издевательств и постепенно начинал вылечиваться от газетщины».

А на дворе как раз революция газет. Болезнь вернулась в облагороженном варианте: разница в том, что теперь Евтушенко пишет не плохо, а хорошо, но в том же духе — на потребу момента. «Пожарник в Кижях», например, — чем не стихи? Хлестко, здорово, с обобщениями. Но это — газета. Скоропортящийся материал. Его это не смущает. Все равно напишется что-нибудь вроде «Дочери комдива», а это уже надолго. Ибо здесь — опыт и незабытой Гали с ее детдомом, и всего народа.

Вот почему сегодня, нам на диво,
как девочка, смеется дочь комдива,
когда она припоминает вдруг
допрос в пятидесятом — вроде сказочки —
и то, как две кальсонные подвязочки
торчали из-под бериевских брюк.

Всё как всегда. За массой проходного — вспыхнувшая радость удачи. С Чукотки, где Евтушенко побывал в конце 1987-го, он привез «Бухту Провидения», где всё работает — и свежесть экзотики, и рука мастера, и ирония, и исповедальность:

Я в Бухте Провиденья
живу как привиденье
забытого поэта,
того,
с материка.
В чужих глазах счастливчик,
как снег попавший в лифчик,
я счастлив лишь наверно,
но не наверняка.

Сказано рискованно не потому, что под рифму подвернулся лифчик, а потому, что речь о счастье, и ему самому еще не ясно, что с ним будет в условиях кажущегося счастья. Это напоминает сомнения давнего молодожена — тридцатилетнего Пушкина, столь красиво женившегося в 1829 году. Евтушенко старше, намного старше. И того поэта, и жены своей.

Вернувшаяся молодость. Проблема. Он думает об этом, пишет сценарий и хочет поставить кино — «Конец мушкетеров». Сценарий будет напечатан через год в восьмом и девятом номерах журнала «Искусство кино», а пока что происходят серьезнейшие вещи в большом масштабе — от стихийных бедствий в Грузии до все еще продолжающегося Афгана, а прежде всего — Сумгаит. Есть тревоги и меньшего калибра, но и от них не сбежать.

«Литературная газета» от 13 января 1988 года. Евтушенковское письмо в редакцию: «Премированное недоброжелательство».

«Присуждение Государственной премии РСФСР им. М. Горького С. Куняеву как критику-публицисту у меня вызвало чувство возмущенного недоумения. Признаться, я не верил, что ему могут присудить эту премию, которая носит имя человека, плакавшего, когда он слушал чужие стихи. Поэтому я и упустил шанс выступить в прессе при обсуждении кандидатур.

Обратимся к премированной книге. Вот, например, прямые оскорбления В. Высоцкого: «Высоцкий многое отдавал за эстрадный успех. У 'златоустого блатаря', по которому, как сказал Вознесенский (?! —

Е.Е.), должна 'рыдать Россия', нет ни одной (! — Е. Е.) светлой песни о ней, о ее великой истории, о русском характере, песни, написанной с любовью или хотя бы (! — Е. Е.) блоковским чувством...» И еще пострашнее: «...знаменитый бард ради эстрадного успеха, 'ради красного словца' не щадил наших национальных святынь». Или: «Песни эти не боролись с распадом, а, наоборот, эстетически обрамляли его».

Какое странное противопоставление, когда Государственная премия РСФСР присуждается книге, где безнаказанно шельмуется безвременно потерянный нами певец, актер, поэт, только что, к нашей горькой, но все же радости, удостоенный посмертно Государственной премии СССР! Более чем неделикатно. Трудно после этого деликатничать, «смягчать формулировки», говоря о Куняеве и его поощрителях.

Куняев начал оскорблять Высоцкого еще со своей статьи в «Нашем современнике» (№ 7, 1984), замешанной на фальсифицированной истории с якобы затоптанной варварами — поклонниками Высоцкого никогда на самом деле не существовавшей могилой некоего «майора Петрова». По свидетельствам, «жулики, которых потом посадили, сделали такую бутафорскую могилу, чтобы найти на нее покупателя («Московский литератор», 10 июля 1987 г.). Как же можно было давать Государственную премию книге, где оплевывается могила Высоцкого с лживой высоты придуманной жуликами фальшивой могилы? Куняев приписывает Высоцкому в премированной книге даже то, что «нынешний ребенок, если он сначала услышит пародию Высоцкого на 'Лукоморье'», уже едва ли испытает это душеобразующее (! — Е. Е.) чувство, прочитав 'Лукоморье' настоящее, потому что персонажи его уже безнадежно осмеяны (! — Е. Е.). Сказка умерщвлена...»

Высоцкий предстает в куняевской книге «умерщвителем» Пушкина, антиподом Шукшина, растлителем вкуса.

Если собрать всех адресатов куняевских нападок, то выяснится, что их общее качество, которого Куняев физически не переносит, — это популярность...

...Как русский поэт, русский читатель я возражаю против решения о присуждении С. Куняеву Государственной премии РСФСР».

Старый спор. Но есть и новые. В том же 1988-м «Литгазета» печатает статью некоего Ю. Максимова (псевдоним) «Ретушь трагедии?». Вкратце: Бухарин — не тот объект, который достоин морального и политического оправдания, поскольку к народу относился как «человеческому материалу» и не щадил его не слабее других большевистских вождей. Евтушенко ответил 14 апреля в «Советской культуре», но заведомым ответом было

написанное до того (июль 1987-го) стихотворение «Вдова Бухарина», по необходимости поспешное, элементарно пересказывающее сюжет бухаринской судьбы с наложением на образ его вдовы.

В чем был Бухарин виновен
и старая гвардия вся?
В чужой и собственной крови,
но дважды казнить нельзя.

Никто и не собирается делать из Бухарина великого гуманиста. Но казнить казненного — нонсенс как минимум. Ю. Максимов выбрал фигуру Бухарина лишь как аргумент против происходящих преобразований, в этом всё дело.

Июнь 1987-го. Евтушенко отправляет письмо Горбачеву.

«Генеральному секретарю ЦК КПСС

тов. Горбачеву М. С.

*от секретаря правления Союза писателей СССР, лауреата
Гос<ударственной> премии СССР поэта Евтушенко Е. А.*

Дорогой Михаил Сергеевич!

Переправляю Вам письмо с просьбой о реабилитации несправедливо обвиненных в свое время и казненных деятелей партии, и среди них в первую очередь Николая Ивановича Бухарина, которого Ленин называл «законным любимцем партии». Это письмо подписано представителями передовой части нашего рабочего класса с КамАЗа. Под этим письмом могли бы подписаться и все лучшие представители нашей интеллигенции. Все те, кто не только поддерживают на словах перестройку и гласность, а проводят их в жизнь, безусловно разделяют мнение авторов этого письма. Реабилитация Бухарина давно назрела, и год семидесятилетия нашего государства — самое лучшее для этого время. Мы, как наследники революции, не имеем права не вспомнить добрыми словами всех, кто ее делал.

С искренним уважением

Евг. Евтушенко».

Еще в январе 1988-го Евтушенко дал творческий вечер, посвященный памяти жертв сталинизма, в Кремлевском дворце съездов и весь год выступал за сооружение мемориала их памяти. Равно как и за вывод советских войск из Афганистана.

Вновь и снова — апрель, а 14-го — день гибели Маяковского. Бухарин,

кстати говоря, в свое время — на первом писательском съезде в 1934 году — «первым назвал Пастернака великим, его подведя этим самым нечаянно, и поднял Бориса Корнилова, невольно убийц на него наведя». Теперь, в конце 1980-х, Евтушенко поддерживает «классика советского рока» Бориса Гребенщикова. Может быть, тут не обошлось без просветительской работы Маши.

В августе его навестил Альберт Тодд, которого он свозил в Зиму. Старый друг лучше новых двух. Да и нет их, новых. Разве что — молодые журналисты «Огонька», для которых он, впрочем, уже памятник самому себе.

Вскоре (1990) Альберт Тодд напишет в предисловии к евтушенковскому «Избранному» (издательство «Генри Холт», США):

Трудно себе представить более целенаправленную творческую биографию, чем биография Евтушенко. В Америке молодой человек со сходным душевным складом выбрал бы себе профессию проповедника или, может быть, политического деятеля. В России — он становится поэтом. Много раз Евтушенко ставил себя под удар, добиваясь освобождения арестованных писателей; в их числе были Анатолий Марченко, Лев Тимофеев, Феликс Светов, Наталия Горбаневская, Иосиф Бродский. Несколько раз в разных обстоятельствах Евтушенко обращался к правительству, защищая право Солженицына выражать свои взгляды на русскую историю и религию. <...> Широкое распространение получило неопубликованное стихотворение «Афганский муравей», осуждающее советское вторжение в Афганистан. Евтушенко вместе с Сахаровым — один из основателей антисталинского общества «Мемориал». Будучи депутатом от Харькова, Евтушенко выступил на Первом съезде с речью, в которой осудил монопольную власть Коммунистической партии. Шовинисты, основываясь на выступлениях Евтушенко, называли его «врагом партии и писателей»...

Поэзия выбрала Евтушенко в той же мере, в какой он выбрал поэзию.

Ну а «Конец мушкетеров» напечатан. Кстати сказать, мушкетеры фигурировали уже в сценарии «Детского сада»: сначала Лиля (шмара Шпиля — Караченцова) читает отрывок из Дюма о д'Артаньяне избитому Жене, а потом Женя читает «Мушкетеров» Лиле, убившей Шпиля, когда

они вдвоем убегают от банды в товарняке.

Старого д'Артаньяна сыграл бы Евтушенко — кабы фильм состоялся. Жанр этого проекта определить невозможно. Микс комедии, пародии и мелодрамы (коктейль Евтушенко). По сюжету королева-мать решает заменить на троне короля его братом-близнецом, которого держит в Бастилии в железной маске, а *золотой ключик*от маски королева носит на шее. Новый король оказался еще гнуснее первого. Самый романтический эпизод сценария пародирует знакомую всем со школьных лет сцену.

«Поле битвы. Виконт де Бражелон медленно скачет на коне, медленно размахивая шпагой в одной руке и знаменем Франции в другой. Солдат во французском мундире, медленно скачущий за виконтом, медленно вскидывает пистолет, целясь в спину. Из спины виконта медленно вырывается крошечный кусочек мундира и медленный фонтанчик крови. Виконт медленно падает с коня, и знамя Франции медленно накрывает его. Над мертвым телом и упавшим знаменем Франции медленно летят конские копыта...» Виконта убивают по приказу короля, чтобы освободить Лавальер от жениха. Сцену гибели Бражелона — сына Атоса, жениха Лавальер, будущей фаворитки Людовика XIV, — Евтушенко изображает по аналогии с аустерлицким эпизодом из «Войны и мира»: князь Андрей, сраженный со знаменем в руке.

Во всех своих героях Евтушенко видит себя. Он — интеллигентный Женя. Женя-Пьеро плюс Женя-Буратино, ключевое слово — *золотой ключик*. Он же — Толян-артист, плясун на свадьбах, типичный двойник. Он — д'Артаньян, молодой и старый.

Тут много всяческой литературы. Порочная шмара Лиля, соблазн для подростка Жени, смахивает на Манон Леско.

Сценарий Евтушенко в восьмом номере «Искусства кино» предваряет предисловие главного редактора Константина Щербакова:

Мушкетеры, д'Артаньян, Анна Австрийская — стоит ли тратить на это сегодня драгоценную журнальную площадь? Даже если рядом с именем Александра Дюма оказывается имя Евгения Евтушенко — стоит ли? Конечно, я задавался этим вопросом, приступая к чтению сценария «Конец мушкетеров». А когда чтение подходило к концу и постаревшие, казалось, навсегда простившиеся со своей молодостью мушкетеры один за другим гибли в благородном неравном бою, — я вдруг почувствовал, что комок подступает к горлу и ничего нельзя поделать с этой моей сентиментальной растроганностью.

Всплыло, поднялось давнее — не только из той поры, когда мальчишкой зачитывался «Тремя мушкетерами», но и из иной, более поздней, когда с эстрады Политехнического Евтушенко бросал в зал свои поэтические дерзости, почитавшиеся неслыханными. Поры смелых упований и надежд, поистине романтических. Как густо были они присыпаны пеплом последующих десятилетий и как легко их, оказывается, всколыхнуть...

Евтушенко — разный, это общеизвестно, но прежде всего он неисправимый романтик — романтик до наивности, детскости. Он верит, что — да, годы могут истрепать, замотать, приглушить, но если коварство, предательство, подлость пытаются вовсе уж не оставить жизненного пространства для достоинства, дружбы и чести, — поседевшие мушкетеры, сильно траченные окружающей их действительностью, смогут, как прежде, вскочить на своих коней и выхватить шпаги из ножен. И о чем бы ни писал Евтушенко, хоть бы и про мушкетеров, — это обязательно и про себя тоже. А может быть, в первую очередь — про себя.

... Я позвонил Евгению Александровичу, сказал — сценарий будем печатать и добавил:

— Только надо бы почистить текст, попадаются абзацы и строки, режущие глаз, да, попросту говоря, безвкусные...

— Не надо ничего трогать, — решительно возразил Евтушенко, — какой есть, такой есть. Хотите — печатайте, не хотите — верните.

— Но если хотя бы немного, чуть-чуть...

Словом, я вполне допускаю, что какие-то строки могут и покоробить читателя, покажутся ему лежащими за границей меры и вкуса. Только вот странная штука... Пробираешь это убрать, вернуть мере и вкусу надлежащее место — и одновременно уходит нечто существенное в атмосфере, интонации вещи. Евтушенко очень целен как поэтическая личность — при всей своей общепризнанной разности, непредсказуемости.

Итак. Дюма, Евтушенко, д'Артаньян — потесненный, оттертый, оттиснутый беспощадной реальностью, пусть даже ушибленный и обработанный ею, но не обезличенный и не поставленный в общий ряд.

«Мушкетеры подъезжают к реке, сближают коней, обнимают

друг друга и смотрят в воду.

Но в ней — отражения только четырех одиноких коней, заседланных, но уже без всадников».

Убит д'Артаньян, погибли его друзья, но не убить достоинства, дружбы и чести.

Наивно? Ну и пускай.

То, что происходит в киношных делах, довольно наглядно выплеснулось на страницы в том же восьмом номере, и это было общей картиной происходившего в действительности за рамками кинематографа. 5-й съезд Союза кинематографистов СССР (май 1986 года) недаром был предсценарием грядущих событий в государстве вообще. Смена власти, первые успехи, развал и медленное возрождение.

Задержимся на страницах восьмого номера «Искусства кино». Интересно взглянуть на «Конец мушкетеров» на фоне следующего материала: В. Синельников «Иркутская трагедия».

«В Союз кинематографистов СССР приходит телеграмма из Иркутска, от первого секретаря местного отделения союза Евгения Корзуна: «... совершив акт самосожжения, покончил с собой оператор Иркутского телевидения, телережиссер находится в реанимации, телекорреспондент — в тяжелейшем состоянии...»

В итоге многолетний руководитель Иркутского телерадиокомитета Виктор Петрович Комаров лишился своей должности.

Секретариат правления Союза кинематографистов СССР «исходя из создавшихся условий» отказался от проведения в Иркутске 1-го Всесоюзного фестиваля неигровых кино-, теле-и видеофильмов...»

О Комарове (резюмирует автор статьи Синельников с акцентом на шестидесятничество):

«Старожилы иркутской журналистики вспоминают, что начинал он в шестидесятые годы горячим, беспокойным, как то время, редактором иркутской «молодежки». При его редакторстве готовили свои первые газетные заметки А. Вампилов, В. Распутин... Прошедшие годы каждый из нас прожил по-разному, на каждом из нас они оставили свою печать. Комаров пал их жертвой, но не потерял активности. Только теперь это активность неприятия инакомыслия, ломающая и унижающая достоинство сотрудников.

Вскоре коллегия Гостелерадио СССР приняла новое решение — оставить Комарова председателем комитета, на ступенях которого горел кинооператор Иванов... На первом же собрании Комаров сказал: «Я знаю

всех, кто выступал против меня. Преследовать не буду».

Все это происходит, заметим, на евтушенковской малой родине, с которой он связан пожизненно.

А вот в рубрике «Свободная тема» — разбор фильма «Группа товарищей». Автор сценария И. Марголина. Режиссер М. Ляховецкий. Операторы Е. Еланчук, С. Гусев. ЦСДФ, 1987.

Два текста по этому поводу — Юнны Мориц и журналистки Инны Соловьевой. Разбираются они долго. Перестроечные страсти кипят. В редакции «Искусства кино» также возникли споры о фильме «Группа товарищей». Большинство разделяет точку зрения И. Соловьевой.

Юнна Мориц:

«...известный гулял анекдот о волках, слопавших зайца и сочинивших по этому случаю некролог за подписью «волчья стая», но медведь-редактор облагородил подпись, заменив «волчью стаю» на «группу товарищей».

...я размышляю о емкости очень короткой и очень интересной документальной ленты, где трагической нитью связаны агроном Худенко, режиссер Андрей Тарковский, художник Вадим Сидур, поэты Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, режиссер Анатолий Эфрос и незримая «группа товарищей», которая с превеликим удовольствием подписывает некрологи, благопристойно провожая в мир иной...»

Для справки: агроном Худенко, применив подрядный метод, за свои — успешные — эксперименты попадает в тюрьму и там умирает в 1974 году.

«...Но художник может хотя бы складывать впрок свои произведения в подвале. А что делать кинорежиссеру?..»

Письмо Андрея Тарковского отцу (показано в фильме «Группа товарищей»):

«Дорогой отец! Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль «изгнанника» и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию... Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался «благодаря» многолетней травле начальством Госкино. <...>

Я не диссидент, я художник <...> и не верю в несправедливое и бесчеловечное к себе отношение. Я же как остался советским художником, так и буду, чего бы ни говорили сейчас виноватые, выталкивающие меня за границу. Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил. До скорой встречи. Твой сын — несчастный и замученный Андрей Тарковский».

В том же восьмом номере академик А. Самсонов под рубрикой «Точка зрения» опубликовал заметку под названием «Сегодня так нельзя. После

прочтения сценария»:

«Я узнал, что на киностудии «Мосфильм» режиссер Юрий Озеров начал работу над большой картиной «Сталинград»... По Озерову получается, что в стратегических просчетах 1942 года виноват кто угодно — Генштаб, Тимошенко, Хрущев, но только не Сталин.

...Поразительно, что есть еще люди, которые пытаются отстаивать авторитет Сталина, связывать с его именем наши достижения, победы... Уму непостижимо!

Хочу повторить вслед за Алесем Адамовичем: «Первое, что необходимо, убрать наконец с ‘ветрового стекла’ хотя бы нашего кино донельзя знакомый мундирный портрет. Хватит ‘Освобождений’, ‘Побед’, ‘Битв под Москвой’ — пора заговорить о Сталине на том же уровне народной правды, на каком находятся лучшие литературные произведения о войне».

В перестройку кинематограф жил и умирал бурно.

В 1986-м умер Андрей Тарковский. Ленинскую премию ему дали посмертно. В журнале большинство акцентов переведено на него.

В России наступала другая кинематографическая действительность. Вышла «Асса» Сергея Соловьева — 1987 год (композитор — Борис Гребенщиков). Народ смотрит «Маленькую Веру» (сценарий М. Хмелик, постановка В. Пичула. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького, 1988). В восьмом номере «Искусства кино» (рубрика «Кинематограф 80-х. Дневник») пытаются бывшего зампреда Госкино СССР Б. Павленка, который в 1970–1980-х курировал производство художественных фильмов: припоминают ему Тарковского и другие грехи, а Павленок из всех сил оправдывается.

А на страницах 111–113 — интервью с Милошем Форманом. На экраны вышли три его фильма: «Полет над гнездом кукушки» (Юнайтед Артисте, 1975) — шел в Лужниках, 15 тысяч зрителей; «Регтайм» (Парамаунт, 1981); «Амадей» (Сол Зайенц Компани, 1984).

Девятый номер «Искусства кино» за 1988 год — окончание публикации «Мушкетеров» Евтушенко.

Номер открывается сообщением о XIX Всесоюзной партийной конференции, которая прошла два месяца назад, а жители страны в те четыре жарких летних дня якобы не отходили от экранов и со вниманием читали газеты.

В ближайших номерах собираются печатать сценарии Евгения Габриловича («Напоследок»), Людмилы Петрушевской («Куплю тебе бабу») — серьезная конкуренция для сценария Евтушенко.

Идет обсуждение документального фильма «Диалоги» (сценарист и режиссер Николай Обухович). Вступительное слово к фильму — Андрея Вознесенского. Который поминает Мейерхольда как предтечу новейшего авангарда. Место действия — бывший особняк камергера двора и покровителя изящных искусств фон Дервиза на бывшей Галерной. Подмостки Большого зала дворца были арендованы при Мейерхольде Домом интермедий, где он ставил пантомиму «Шарф Коломбины». Теперь здесь новые Дапертутто: автор общей джазовой композиции фильма Владимир Чекасин и создатель музыкального театра «Популярная механика» Сергей Курехин плюс джазовый фестиваль в Тбилиси как прослойка действия.

Александр Флярковский по поводу «Диалогов» сказал, что поэт на экране — рекламщик, Гребенщиков зря дрыгался в строю гитаристов, непонятно, кто с кем в диалоге, а Чекасина жаль — умудрился принять участие в этой чуши.

И завершает номер сценарий Евтушенко «Конец мушкетеров».

Великий читатель все еще существует: евтушенковская книга публицистики, стихов и прозы «Завтрашний ветер» (М.: Правда, 1 987 480 с.) выходит первым тиражом — 300 тысяч экземпляров.

Поэт уже по-родственному относится к Карелии. В Петрозаводске вышел сборник «Последняя попытка. Из старых и новых тетрадей» (1988).

Умирает Юрий Даниэль. 11 сентября 1988-го — его предсмертное интервью «Московским новостям». «Помню отчаянное лицо Евтушенко...»

Перестроечные события не теряют накала. Евтушенко выдвигает идею создания мемориала, посвященного жертвам культа личности. Образуется общество «Мемориал». Пишется с его участием манифест «Мемориала». Он произносит речь на учредительном съезде и через некоторое время становится сопредседателем новой структуры вместе с А. Д. Сахаровым, Алесем Адамовичем и Ю. Н. Афанасьевым..

«Московская правда» от 1 января 1989 года — интервью с Евтушенко, он говорит:

«В издательстве «Викинг» (НьюЙорк. — И. Ф.) у меня вышла книга фотографий, в работе над которой участвовал американский фотограф Бойд Нортон. Книга называется «Разделенные близнецы» и знакомит читателей с людьми, природой и животным миром Аляски, Чукотки, Камчатки, Командорских островов, станции Зима. Бойд Нортон сделал снимки по одну сторону Берингова пролива, а я — по другую. Книга двуязычная — на английском и на русском, но издание ее у нас требует

валютных затрат, а это вопрос сложный. Пока попасть в планы наших издательств мне не удалось.

В США сейчас готовится к изданию мой самый представительный сборник стихов «40 лет в поэзии» — 22 тысячи строк, около 600 страниц. В него войдут лучшие стихи из предыдущих англоязычных изданий, а также новые переводы, которые я редактировал вместе с моими переводчиками. Сборник выйдет через год или чуть позже.

Вылетая в Штаты, я надеялся, что смогу там выступить. Все 6 вечеров, несмотря на довольно скудную рекламу, прошли при переполненной аудитории. Надо сказать, что при оформлении сцены и зала были использованы произведения моих товарищей по искусству, живущих сейчас за границей — картина Олега Целкова, скульптуры Эрнста Неизвестного...

...Для меня среди мастеров художественной прозы писателем номер один является Владимир Маканин.

...Недавно состоялось открытие нового крупного поэта — Вадима Антонова. Его стихи с моим предисловием были опубликованы в «Книжном обозрении».

Апрель 1989-го. Исподволь создается ассоциация «Апрель» («Писатели в поддержку перестройки»). Почти одновременно — в мае — правозащитная литературная структура ПЕН-клуб.

В июне на вопрос: «Ваши планы?» — он отвечает «Советской культуре»:

«На Мосфильме принят мой сценарий «Похороны Сталина»...

Встречаюсь с молодыми поэтами. Пользуясь случаем, назову два имени: С. Гандлевский и Д. Новиков. *Запомните их*(курсив мой. — И. Ф.).».

У него тысяча дел. Не перечесть и не запомнить. Пожалуй, лучшая мера озабоченностей поэта укладывается в ответе на вопрос: что попадает в его стихи? Литературная Вандея. Так дальше жить нельзя. Безумное заседание украинской Рады. Память есть, и есть общество «Память». Жизнь — чернобылей череда. Тбилисская лопатка саперная...

Опять апрель. 1989 год. На сей раз — Тбилиси. С конца марта грузины стали стекаться к Дому правительства на митинг антиабхазской направленности — Абхазия требовала отделения от Грузии. К 6 апреля уже звучат лозунги: «Долой коммунистический режим!», «Долой русский империализм!», «СССР — тюрьма народов!», «Долой Советскую власть!», «Ликвидировать автономию Абхазии!». Образовалось более ста голодающих у Дома правительства, и они хотели голодать до 14 апреля. Люди там днюют и ночуют. Местная партноменклатура обратилась в

Центр. В 20 часов 35 минут 7 апреля в ЦК КПСС за подписью первого секретаря ЦК Компартии Грузии Д. Патиашвили была направлена телеграмма, подготовленная вторым секретарем ЦК Компартии Грузии Б. Никольским.

Горбачева не было в стране. Совещание в ЦК провел Е. Лигачев. Работа совещания не протоколировалась, и принятые решения документально зафиксированы не были. Было санкционировано направление в Грузию подразделений внутренних войск, милиции и Советской армии для оказания помощи руководству республики в восстановлении общественного порядка. Командованию Закавказского военного округа было дано указание взять под охрану важнейшие государственные и военные объекты в республике.

Горбачев возвратился в Москву 7 апреля в 23 часа и был проинформирован о положении в Грузии. Им было высказано предложение о направлении в Грузию Шеварднадзе, но, ссылаясь на стабилизацию положения в ночь с 7-го на 8-е, Патиашвили посчитал прилет Шеварднадзе излишним.

После этого руководство подготовкой и проведением операции по пресечению митинга и разработка плана операции были возложены Москвой на командующего ЗакВО генерала И. Н. Родионова. Утром 8-го город на малой высоте облетели три эскадрильи военных вертолетов, а около полудня по улицам Тбилиси по трем маршрутам и мимо митингующих проследовала боевая техника с вооруженными солдатами.

За 45 минут до начала операции к митингующим обратился Католикос Грузии Илия II. Выступление Католикоса было выслушано в глубоком молчании, после его призыва к благоразумию установилась семиминутная тишина, затем последовала общая молитва «Отче наш». Митингующие сохраняли порядок, спокойствие, не было видимых признаков страха: многие пели и танцевали. Затем выступил один из лидеров неформалов И. Церетели с призывом не расходиться, не оказывать сопротивления, сохранять спокойствие, а лучше всего сесть («Сидящих не бьют!»), что многими и было сделано, главным образом в районе лестницы Дома правительства. Он закончил говорить в 3.59.

В 4.00 генерал-полковник Родионов отдал приказ начать операцию вытеснения.

Общее количество участников митингов на ограниченных территориях у Дома правительства и здания телестудии точно не установлено, но составило по приближенным оценкам 8–10 тысяч человек. Число женщин, по-видимому, приближалось к 50 процентам. Было много подростков и

стариков. 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Всего зарегистрировано около 300 пострадавших от отравляющих веществ (среди военнослужащих 19 человек, работников милиции — 9). Непосредственная причина смерти всех погибших, за исключением одного случая с тяжелой черепно-мозговой травмой, — удушье (асфиксия).

Эта сухая информация была сгруппирована в заключении комиссии по расследованию тбилисских событий, которую возглавлял Анатолий Собчак. Евтушенко не входил в комиссию. А ведь Грузия — его личное переживание. Его дом в Гульрипше вот-вот сожгут. Его друзья Иван Тарба и Джумбер Беталашвили погибли. В 2009 году ему дадут грузинский орден Чести. Но прошлого не поправить. В 1989-м он *не смог* написать о том, что случилось в апрельском Тбилиси.

Что главней — украинскость, русскость? Я стою посредине Харькова. Кто на помосте стоит с микрофоном? Це я. «Мы вас выбирали». «А что толку?» Партийный слабовольный Стенька Разин (Горбачев). И Магомед рыдает в Карабахе над братом — над зарезанным Христом. Как стена Берлинская пала? Мне — кусок стены!

В кабаке петрозаводском
взгляд швейцара косоват.
Кабинет один зовется,
словно в прошлом: «каземат».

.....

Ты марксизм вовсю зубрила,
проходила диамат.
Окружали тебя рыла.
Это было — каземат.

(«В каземате»)

Все-таки он вовлекает ее в политику.

«Письмо афганцу». Что это? На Съезде народных депутатов числом 2250 человек Сахаров высказал тревогу о том, что наши летчики в Афгане бомбят своих по ошибке или специально. Как выяснилось позже, это была деза иностранных СМИ. Так или иначе, на трибуну взошел ветеран той войны, потерявший на ней ноги, С. Червонопиский из Украины с отповедью академику. В спор вмешался Евтушенко.

Брось, плечистый речистый афганец,
кулаком над ученым трясти.
Разве те над тобой надругались,
кто хотел твои ноги спасти?

Разве этот оратор неважный,
запинающийся, смешной,
был не меньше афганца отважный,
но в сражение с афганской войной?

Ксерокопии с этим стихотворением распространялись на Съезде народных депутатов. Евтушенко написал его 6 июня 1989-го, а 15 декабря Сахарова хоронила вся Москва. Евтушенко выступил над гробом.

Забастовало сердце,
словно шахта.
Еще вчера,
от снега все седей,
он вышел из Кремля без шапки,
шатко,
сквозь призраки бояр,
царей,
вождей.
За ним следил Малюта в снежной пыли.
И Берия,
и тот палач рябой...
Предсмертные слова такими были
к жене и миру:
«Завтра будет бой...»

(«На смерть А. Д. Сахарова»)

Евтушенко и Сахаров сблизились за последние годы и, хотя не дружили домами, были рядом посреди распрей и прений грянувшей гражданской смуты. Елену Боннэр Евтушенко знал дольше и ближе. Она принадлежала к литературной среде. До войны, юная, была замужем за юным сыном Багрицкого — Всеволодом, погибшим на фронте. Тот брак

был мгновенным. Какое-то — довольно долгое — время ее связывали серьезные отношения с певцом Дзержинского, поэтом Семеном Сориным, которого Евтушенко снял в эпизоде «Детского сада». Она нередко бывала в ЦДЛ, а когда ее судьба слилась с судьбой Сахарова, их видели вместе в обществе Давида Самойлова за столиком Дубового — ресторанного — зала ЦДЛ. Для многих литераторов она была просто «Люсей». Мир тесен.

Евтушенко выиграл депутатство в Харькове с девятнадцатикратным преимуществом над ближайшим соперником. До этого были попытки — в Иркутске, в Москве. Там и там в итоге его прокатили. Зато Харьков принял его в поистине братские объятия, как родственника, словно помнил его бабушку, закончившую земной путь в обществе двухсот кошек в особняке на улице Миллионной, не найденном им, да и не очень-то искомом. Там, в Харькове, когда он на Сумской держал долгую горячую речь, чья-то рука — женская небось — спустила ему на веревке термос с молоком: «чтобы глотка осталась крепка», и это было дублем того, что произошло еще в начале 1960-х. Всё повторится.

В Кремлевский дворец съездов народный депутат Евтушенко явился в длинной, по колени, рубахе-вышиванке. Может быть, ему мнилась Куба с ее революцией-карнавалом, хотелось праздника. В своей первой речи он внес 15 предложений на тему Конституции.

Больше всего на свете он не любил очереди и границы и в качестве депутата чуть не первым своим долгом счел борьбу за свободный выезд из страны — насовсем или в турпоездку, без всяких там парткомов-райкомов, выездных комиссий и прочих вериг. А когда произошли мрачные события в Тбилиси и Вильнюсе, вслух заговорил о том, что насильно мил не будешь и надо им дать развод. На первом же Съезде народных депутатов он предлагал объявить конкурс на новый Гимн Советского Союза.

Он все больше втягивался в эти дела. Лирика таяла. Она истекла в плакат. В ленту новостей. В «Окна РОСТА».

Кончилась сказка о ленинской кепке.
Вновь начинается сказка о репке.
Стали мы
в очередях обозленных
репкой всех наций объединенных.
Тянут нас, чтобы спасти от упадка,
дедка-ковбой
и железная бабка.

(«Была показуха...»)

С железной бабкой были шуры-муры у нашего слабовольного Стеньки Разина, ковбой пришел в Белый дом чуть позже, а пока что нас поддерживал саксофонист, и не кто иной, как именно он прислал поэту в 1993-м свой благодарственный месседж.

В 1989-м Маша дарит ему их первенца. Мальчика назовут Женя. Второй их сын, Дмитрий, рождается в 1990-м.

Среди плакатов тех лет затерялся лирический пустячок, тогда не услышанный.

Зазвенели бубенчики хмеля,
как в чешуйках зеленая медь,
ну а что назвенеть не сумели,
я сумею один дозвенеть.

Млечный запах младенца прекрасен,
потому что он смешан без слов
с вифлеемским дыханием ясель
и смущенным дыханьем волхвов.

Такого и так он раньше не говорил. В 1991-м они венчаются с Марией в церкви Святого Андрея Первозванного (Филадельфия).

МЕЛОДИЯ ЛАРЫ

Борис Ельцин провозгласил чуть не главным своим лозунгом борьбу против привилегий. Имелась в виду номенклатура с ее бесчисленными, часто невидимыми преимуществами и льготами относительно всего остального народонаселения СССР.

У Евтушенко выходит том, в некотором смысле итоговый: «Политика — привилегия всех. Книга публицистики» (М.: Изд-во АПН, 1 990 624 с.).

«Ни одну книгу я так долго не составлял, не редактировал, как эту. Это «дайджест» (выжимка), концентрат моей сорокалетней работы в поэзии и прозе, в публицистике и в критике. Эта книга — мой сгущенный в слова жизненный опыт. <...> В книгу вошли иногда полностью, иногда фрагментарно многие статьи, которые я писал для советских и зарубежных газет и журналов. Но я беспощадно вымарывал из этих статей то, что считаю сейчас устаревшим, а такого в них много. Кое-что уточнял. <...> История меня спасла и от пыток, и от палаческих ласк. Но она не спасла меня от множества иллюзий, за которые я жестоко поплатился своими разочарованиями. <...> Составляя эту книгу, я безжалостно старался отшелушить все ложно романтическое, что сейчас мне кажется или преступно наивным, или высокопарно смешным... <...> я все-таки оставил фрагменты «Преждевременной автобиографии», которая, несмотря на обвинения ее в очернительстве, является романтическим идеализмом».

Двадцать лет спустя будет написано коротенькое стихотворение, полностью комментирующее этот большой том:

Не до поэзии поэтам,
что друг на друга ополчились,
не в лад молодым своим портретам
ожесточились, оволчились.
Мы прыгаем по скользким граням,
то ли свободны, то ль в изгнании.
Не мы в политику играем,
политика играет нами.
Что вырывается наружи?
Лишь зависть, что постыдно гложет.
Поэт, в политику нырнувши,
обратно вынырнуть не может.

Восемнадцатого января 1990 года в Большом зале Центрального дома литераторов собрались писатели демократических предпочтений, объединенных в ассоциацию «Апрель». В задних рядах началось какое-то движение, неясный шумок перешел в выкрики антиапрелевского, читай — антисемитского наполнения, какие-то люди (числом семьдесят) в черных рубашках пошли по рядам, произошли самые настоящие боестолкновения, пока что на кулачном уровне. Избили, поломав ему очки, Анатолия Курчаткина, чистокровного славянина. Была вызвана милиция, хулиганов увели. Скандал приобрел всесоюзное звучание.

Александр Рекемчук свидетельствует:

Газеты и еженедельники пестрели сенсационными сообщениями о погроме... 23 января Анатолия Курчаткина и меня пригласили для участия в программе «Взгляд». В ту пору «Взгляд» имел неслыханную популярность. Его смотрели по системе «Орбита» десятки миллионов зрителей на пространстве от Сахалина до Балтики, от Норильска до Ферганы. Вели передачу молодые журналисты Влад Листьев, Артем Боровик, Владимир Мукусев, Александр Политковский, Евгений Додолев. Впервые телезрителям показали кадры, снятые Стеллой Алейниковой-Волькенштейн в тот вечер. Потом был вопрос: что это такое?

У меня сохранилась аудиозапись передачи: «Курчаткин.... Одна страшная вещь: мы имеем дело с той разновидностью национального сознания, которую можно назвать словом «черный национализм». *Рекемчук.* Мы давно и, пожалуй, напрасно прибегаем к эвфемизмам, говоря об этом явлении. Мы явно избегаем произносить слово «фашизм». Вот почему мы предпочитаем говорить обиняками. Но нужно называть вещи своими именами: это движение политическое, фашистское».

Потом было множество телефонных звонков от тех, кто смотрел и слушал этот выпуск «Взгляда». Одни высказывали поддержку. В их числе был Юрий Нагибин: «Ты сказал то, что надо было сказать давно». Другие же, не представляясь, не ввязываясь в спор, просто крыли меня трехэтажным матом. По возвращении из Киева я буду вызван повесткой в суд, в качестве свидетеля по делу Осташвили-Смирнова.

На политическом горизонте СССР появился Осташвили, которого чаще так и называли — без второй фамилии. В газете «Измайловский вестник» от 2 января 1990 года напечатано интервью Осташвили:

— Поведение Евтушенко вам не нравится, а он русский...

— Понятно. Так вот, Евтушенко, Ульянов, Приставкин и им подобные — это все сионисты.

Дотоле скромный честный труженик, Константин Владимирович — наладчик на заводе. Перформанс в ЦДЛ для него кончился крайне плохо. После возбуждения уголовного дела он стал обвиняемым на судебном процессе, начавшемся 24 мая того же года. Четыре месяца он проходил свидетелем, но за две недели до окончания следствия ему предъявили обвинение. Требование защиты о передаче уголовного дела на доследование «в связи с неправильным ведением следствия» было отклонено. В Мосгорсуде процесс вел судья А. И. Муратов. Следственное дело составило десять томов. Процесс освещался всеми крупными СМИ.

Двенадцатого октября 1990 года Смирнов-Осташвили был осужден по статье 74 части II УК РСФСР на два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Во время отсидки Осташвили употреблял внутрь лак и сожалел, что если уедут все евреи, то некому будет лечить его больную супругу. За несколько дней перед досрочным освобождением, 26 апреля 1991 года, Осташвили был найден повешенным на простыне в раздевалке отдела главного механика производственной зоны исправительно-трудовой колонии города Твери.

Тринадцатого января 1991 года в Вильнюсе спецназ при поддержке танков штурмовал вильнюсский телецентр, который был занят сторонниками литовской независимости и который защищала безоружная толпа. Горбачеву доложили, что обстановка в городе накалилась из-за стычек между отрядами рабочих с националистами. Самоназначенный Комитет национального спасения во главе с секретарями ЦК компартии Литвы на платформе КПСС требовал смещения президента В. Ландсбергиса и введения в республике прямого президентского правления, то есть из Москвы.

К утру 14-го выяснилось, что в результате штурма телецентра погибли 13 мирных жителей (позже будет уточнено: 14 мирных жителей и один спецназовец). Вокруг литовского парламента выросли баррикады.

Было неясно: бойня произошла, ее кто-то затеял, и если Горбачев не в курсе, то кто в доме хозяин?

Горбачев потом рассказывал: «Несколько лет спустя меня разыскали

бойцы из «Альфы», которых туда направили, и рассказали, что перед штурмом телецентра им показали написанный от руки карандашом приказ от моего имени, который потом разорвали. Кто-то из них догадался собрать и сохранить клочки бумаги. Так меня хотели втянуть в авантюру».

Горбачев неделю отмалчивался, а когда осудил антиконституционные выходки провокаторов и применение армией силы против гражданского населения, ОМОН атаковал здание МВД в Риге.

Особенно взволновались московские демократы. «Прорабы перестройки», вчерашние трубадуры великих начинаний, обличали по радио и телевидению «горбачевскую клику», а «Московские новости» опубликовали на первой странице заявление тридцати членов своего совета учредителей с призывом отправить «кровавый режим» в отставку. Ельцин посетил Вильнюс и Таллин.

Тридцать первого января редакция журнала «Наш современник» встречается с общественностью в Московской филармонии. Евтушенко имеет намерение принять участие в этом деле, в упор сразиться с оппонентами, полезть на рожон, но ему резко отказано. Что называется, какого рожна? В этот день как раз вышел первый номер альманаха «Апрель», в котором впервые увидело свет его стихотворение о танках в Праге.

Политическая буря не утихает. 4 февраля море народа — 300 тысяч человек — затопило Манежную площадь, тогда называвшуюся еще площадью 50-летия Октября. Это были люди, сочувствующие переменам. Евтушенко говорил с высокого помоста, сооруженного перед фасадом гостиницы «Москва». Было о чем говорить. Страну разносит во все стороны. Украина отложились. Кавказ откалывается. Средняя Азия кипит. Прибалтика уходит. Ельцин заявил, что страна присутствует при «агонии режима Горбачева», и потребовал его отставки.

На вечере памяти Пастернака — 23 февраля, тотчас после своего выступления, за кулисами таллинского театра умирает Давид Самойлов. Как всё смешалось! Последние 25 лет он жил в эстонском Пярну, чистом приморском городке. Это не было эмиграцией формально. Когда в семидесятых пошел косяк массового отъезда из России, Самойлов твердо определился:

И преданности безотчетной
Я полон сумрачной зиме,
Где притулился
Неотлетный

Снегирь на голой бузине.

Самойлов нашел форму собственной независимости. Он был гражданином СССР и ценил именно это гражданство. Жажда перемен не мешала ему мыслить так: «В России единственная заручка против экстремизма — империя». В реальность перемен он не верил. Таким же скептиком был и Межиров. Опытные, усталые люди, они знали страну, в которой родились и жили. Но еще более опытным человеком был писатель Олег Волков, красивый, высокий, белоголовый старик с серебряной бородой. На организационном собрании «Апреля» он воззвал к залу:

— Я двадцать лет провел в местах не столь отдаленных и много повидал. Самое страшное для России — революция. Одумайтесь.

С другого фланга звучало то же самое. На XIX партийной конференции — это было еще в июне 1988 года — Юрий Бондарев обратился в президиум во главе с Горбачевым, сказав, что страна переживает бедствие хуже Сталинграда, а генсек поднял в воздух самолет, не ведая о месте посадки.

В середине осени Евтушенко в Белоруссии. 18 октября он отвечает минской молодежи «Знамя юности».

«— Вас снова приглашают в США.

— Да, еду в Штаты, где, кстати, у меня вышла огромная книга «Избранного» на английском языке. Буду показывать там свой новый фильм, свою выставку фотографий. Прочитаю курс лекций в Пенсильванском университете о русской поэзии.

Еще одно очень радостное известие — «Мемориал» получил во Франции международную премию как лучшая гуманистическая организация. И они пригласили меня на вручение этой премии 3 декабря. К сожалению, нет в живых человека, который гораздо более достоин ее получить, — Андрея Дмитриевича Сахарова.

— Какие у вас отношения со славой?

— Не хочу показаться ханжой, но эта дама меня мало интересует. Потому что она очень изменчива, со скверным характером и подловата. Дело в том, что в славе, к несчастью тех, кто воспринимает ее слишком серьезно, обожание порой переходит в злорадство, даже в злорадный восторг.

— Что вы не приемлете в людях?

— Зависть.

— Что вам не нравится в себе?

— Я в жизни хочу все слишком сразу и все немедленно. Много разбрасываюсь, много спешу и из-за этого много теряю. И в личной жизни, и в литературе. Но что я могу поделать — такой у меня характер, а исправлять, увы, поздно».

Стихи у него идут от случая к случаю, есть и лирика, но мало. Некогда. Это неудивительно, удивительно другое: он снимает кино.

Четырнадцатого ноября 1990 года «Литературная газета» сообщает о том, что Евтушенко закончил на студии «Мосфильм» свой второй художественный фильм «Похороны Сталина».

«...Я учел перегруженность моего первого фильма... Роль племянника Берии сыграл грузинский актер Д. Джаияни. В фильме дебютировал как киноактер известный чтец Р. Клейнер. Я сыграл роль пьяницы скульптора...»

Двадцать четвертое ноября 1990 года, «Комсомольская правда». Беседу с Евтушенко ведет Ст. Кучер.

«— К моим предыдущим опытам в кино люди по-разному относились. Скажем, Габрилович или один из любимых моих режиссеров, Антониони, многие другие мастера высоко оценили «Детский сад».

— Вы сами снимались в картине, играли роль скульптора, который за свою жизнь вылепил много всяких сталинов, ждановых, ворошиловых, кагановичей. Вас не раз критиковали за актерские неудачи. И все же...

— Для меня было естественно сыграть эту роль. Я хорошо знаю такой тип людей. Создатели культа не всегда были беззастенчивыми циничными спекулянтами. Часто они были просто несчастными жертвами.

— Сколько стоили съемки фильма «Похороны Сталина»?

— Всего миллион. По нынешним временам очень дешево».

Двадцать пятого ноября состоялся первый показ этой картины — в Харькове, перед своими избирателями, 27-го — премьера в Москве, во Дворце спорта в Лужниках, и лишь потом — традиционная премьера для кинематографистов в Доме кино и показ в кинотеатре «Россия».

Двадцать пятое ноября 1990 года, «Московский комсомолец»:

«— А кого вы можете назвать своими учениками?

— У Владимира Соколова есть хорошая строчка: «Нет школ никаких, только совесть». <...> Уверяю вас, в какой-то момент она (Белла Ахмадулина. — И. Ф.) была моей ученицей. Хотя потом пошла по совершенно иному пути. А тогда она рифмовала так:

На площади Манежной

*бросал монету в снег,
загадывал монетой,
люблю я или нет...»*

NB! Он цитирует стихотворение, в котором говорится о том, что он — враль. Неважно. Это — стихи.

Но помнил он и про людей своего цеха, в чем-то обогнавших его. В частности, о событии 5 марта 1953 года «написана поэма Германа Плисецкого «Труба» (он тоже был там). Я еще собираюсь вернуться в прозе к этому событию. Я всегда любил работать с непрофессионалами. Вот и здесь у меня снялись в главных ролях Денис Константинов и Марина Калиниченко. Им по 16 лет, она школьница. А он уже принят в Щукинское училище».

Декабрь 1990-го, «Собеседник», материал под заголовком «Тот, кто получает пощечины». Авторы Дмитрий Быков и Мария Решетникова:

«...И уж коли половина его удачных строк вошла в пословицы — значит, есть во всем этом что-то, что нам необходимо, как и сам он — мятущийся, ошибающийся, самоупоенный, всегда на себя похожий. И вообще! У него и в последние годы берется вдруг иногда в стихах нота такой лирической чистоты и ясности, что ясно: тут он, никуда не делся.

Вы так молоды сейчас
и прекрасны до поры,
и, за вами волочась,
вас вкушают комары.
Я немножко староват,
но у этого крыльца
разрешите постоять
возле вашего лица».

Итак, «Похороны Сталина».

Режиссер Евгений Евтушенко, сценарист Евгений Евтушенко, оператор Анатолий Иванов, композитор Игорь Назарук, художники Борис Бланк, Илья Амурский.

Полный список актеров — кинозвезды вперемешку с непрофессионалами: Денис Константинов, Евгений Платохин, Ванесса Редгрейв, Альберт Тодд, Алексей Баталов, Марина Калиниченко, Майя

Булгакова, Дмитрий Джаияни, Алексей Гессен, Светлана Харитонова, Рафаэль Клейнер, Наталья Коляканова, Георгий Юматов, Михаил Жигалов, Савва Кулиш, Барри Питерсен, Олег Царьков, Юлия Рутберг, Вера Паршина, Елена Евтушенко, Аркадий Севидов, Евгений Евтушенко.

Да, он вновь снимается сам. Ведь есть, помимо прочего, и такие кинопроекты, где Евгений Евтушенко озвучивает персонажей из мультиков или читает закадровый текст.

О чем фильм? О себе. О пережитом собой и страной. Юный поэт Женя по школьно-дворовой кличке «Маяковский» (Денис Константинов), его папа (Алексей Баталов) и мама (Наталья Коляканова); друг Додик (Алексей Гессен) и его семья; благородный майор госбезопасности (Дмитрий Джаияни); два американских дипломата и одна заморская пара; придурочная тетка, влюбленная в вождя; блаженноватый и нетрезвый скульптор (Евгений Евтушенко). Некий француз, борец за мир, посещает Лубянку, дабы разоблачить злопыхательства буржуазной пропаганды. Фигурируют и персонажи сюрреалистические — энкавэдэшный стукач или Чарли Чаплин, каким-то образом оказавшийся в мартовской Москве 1953 года.

Автор фильма рассказывает о советском обществе середины века, сохранившемся без изменений до перестроечных времен. У фильма есть противники и сторонники. Последние, правда, упирают больше на Евтушенко-поэта.

У фильма тернистый путь. 22 июня 1991 года «Комсомольская правда» сообщила, что в городе Черновцы местные партийные власти запретили премьеру фильма Евтушенко в день пятидесятилетия начала войны под предлогом, что этот фильм якобы «оскорбляет лучшие чувства ветеранов». Той же ночью хулиганье посрывало афиши фильма, искромсав их ножами.

Евтушенко прокомментировал этот эпизод:

«Я начал ощущать противодействие этому фильму еще во время съемок, когда мне не давали возможности организовать массовые сцены на Трубной площади под ханжеским предлогом — возможных террористических акций во время съемок. Для того чтобы получить разрешение, мне пришлось в отчаянии дозваниваться до Горбачева, что было, как вы можете догадаться, не так легко. Премьера состоялась в Харькове, Москве, Ленинграде... Однако противодействие фильму продолжается. До сих пор он не был показан в широком прокате в наших крупнейших городах. Любопытно, что в этом противодействии смыкаются две мафии — коммерческая <...> откровенно покупающая директоров кинотеатров, и мафия партийно-бюрократическая, делающая

все, чтобы глушить гласность и демократию. Из Черновцов мне сообщили фамилию одного такого «защитника ветеранов»: это секретарь обкома по идеологии Э. И. Кузнецов... А разве он только один в нашей стране? Нина Андреева (ленинградская преподавательница, выступившая в «Советской России» с шумной антиперестроечной статьей. — И. Ф.) — это скорее не фамилия отдельно взятой личности, а псевдоним Большого коллектива. То, что Президент СССР является одновременно Генеральным секретарем партии, где состоит и Нина Андреева, и феодалы телефонного права, вот что, на мой взгляд, не помогает ему в осуществлении перестройки, инициатором которой он был, а связывает ему руки. В его прочувствованной речи к 50-летию войны закадрово явственно ощущалась горечь того, что как только он пытается сделать шаг в демократическом направлении, эта мафия откровенно грозит задуть и перестройку, и его самого, чего ни он, ни мы не имеем права допустить. <...> ...самая оскорбительная клевета, которую можно было изобрести, это то, что я мог хоть чем-нибудь оскорбить ветеранов Великой Отечественной. Сталинизм, превращающий людей в винтики, вот что было оскорблением наших ветеранов, надеявшихся, что после победы, вырванной с кровью, начнется новая, счастливая жизнь. В этой победе есть доля моего поколения, ибо мы тушили фашистские зажигалки, были связными партизанских отрядов, сыновьями полков, собирали каждое зернышко на жниве, лекарственные травы, делали снаряды, стоя на деревянных подставках около станков. Но наша общая победа 1945 года была предана. Гласность, демократизация нашего общества — это тоже вырванная с боем победа нашего поколения».

Евтушенко полагает, что его произведение, «несмотря на шероховатости формы, обладает ценностью человеческого документа».

В кино он мыслит по-своему — многослойно, как минимум двупланно. Валом валяющая толпа — и злоключения арестованного человека в бериевских застенках. Поистине как у Маяковского: единица — ноль. Человеческая масса уже не зависит от себя, ее влечет в бездну нездешняя сила. В безнадежной роли спасителя выступает грузин — этим Евтушенко говорит: дело не в национальности. Людское море — именно море: оно захлестывает Москву, как цунами, снося все живое и неживое. Самое живое — любовь новых Ромео и Джульетты, погибающая, как и прежде, от слепоты обездухотворенного мира. Сей сюжет вечен, и это подчеркивается сознательными анахронизмами: граффити битлов на московских уличных стенах, обрывки их мелодий, в 1953-м не существовавших. Девочка гибнет. Мальчик уцелевает.

Автор картины не предполагал, что в ретроспективном взгляде на фильм его юный герой фактически доживает до старости, став спившимся неудачником от искусства. Разгромленная мастерская обанкротившегося скульптора, где свежо и, к счастью непрофессионально, разыгрывается целомудренно-эротическая сцена, смотрится как руины многих и многих надежд, в том числе шестидесятнических.

В июне 1991-го «Литгазета» публикует его гневное «Открытое письмо генеральному прокурору» В. Трубину, оправдавшему в «Правде» расправу над рабочими в Новочеркасске (1962):

Скажите,
генеральный прокурор,
неужто вам на миг не стало зябко,
когда скоросшиватель проколол
рабочих трупы,
втиснутые в папку,
не брызнула на вас
кровь сквозь нее
на золотомундирное шитье?

Двадцать второго октября на сцене Большого зала ЦДЛ Лидии Корнеевне Чуковской вручается сахаровская медаль «За гражданское мужество писателя». Когдато, не ведая о ее стороннем внимании к его фигуре, он привез в страну ее книгу, арестованную на таможне. Теперь он привозил ей зарубежные лекарства, принося в тот же дом, где его по-прежнему приветствовала тень ее отца. Из того дома к нему на дачу пришел в зимнюю ночь 1969 года Солженицын. Всё было связано воедино.

Одновременно всё трещало по швам. В Союзе писателей — тоже. Члены Союза писателей ощущали ложность своего пресловутого единства.

Поэты рвались на волю — им захотелось независимого объединения, правда — в лоне союза. Евтушенко был близок этот порыв. Естественным образом центробежные силы привели к манифесту о создании независимого Союза писателей. 60 человек подписали его в июне 1991-го. Союз писателей СССР был накануне распада. Требовался лишь толчок.

Утро 19 августа в Переделкине было солнечным, зеленым, звонко-птичьим. На даче спят. Отец собрал на лето своих сыновей — Сашу, Тошу, Женю и годовалого Митю.

Однако со стороны Можайского шоссе — это близко — глухо

доносился звук, отдельный от обыкновенного шума мирного автотранспорта. Скоро стало всё ясно. «Лебединое озеро», танец маленьких лебедей на башне танка. Позвонила сестра Лёля:

— Горбачева снимают!

Евтушенко выехал в Белый дом. Людское море. Ельцин поднялся на танк. Люди на площади диаметрально отличались от толпы сталинских похорон.

На балконе Белого дома Ельцина чисто символически защищал бронированный щиток в виде кейса. Евтушенко выступал без этой наивной видимости. Стихи написались на бегу. Он сравнил Белый дом с мраморным белым лебедем. Красивость, явно навеянная музыкой Петра Ильича.

Августовская революция совершилась.

Двадцать третьего августа Евтушенко стремительной походкой вошел в Союз писателей СССР на улице Воровского, 52. Тихие секретари побыстрому потекли из обжитых кабинетов в сторону черных «волг». Описав полукруг возле памятника Льву Толстому, секретариат удалился в небытие.

Он возглавил то, что распалось. Это были руины. Однако 318 миллионов рублей в год. Такова была общая прибыль от эксплуатации писательского имущества без учета прибыли от деятельности домов творчества «Голицыно», «Комарово» и пр. Из этих 318 миллионов рублей одна треть уходила на оплату текущих расходов, а куда уходили оставшиеся 200 (двести) миллионов рублей, знал только узкий круг руководителей. Евтушенко этих цифр не знал и, возможно, никогда не узнал, но вместе с Юрием Черниченко направил письмо мэру Гавриилу Попову с требованием немедленного прекращения деятельности секретариата правления Союза писателей РСФСР. Права на владение зданием на Комсомольском проспекте, 13, они предлагали передать «большому союзу», где теперь Евтушенко председательствовал. Администрация Попова 30 августа приняла решение опечатать здание Союза писателей РСФСР. Был назначен новый рабочий секретариат, одним из сопредседателей которого стал Тимур Пулатов.

Евтушенко предложил идею сопредседательства. Сопредседателей было четверо. Он предложил занимать свои должности на общественных началах, то есть без оплаты их трудов и без служебных машин, и вот это уже не нашло общего одобрения. И впрямь — ему-то зачем дензнаки? Он вообще вот-вот отчалит в Штаты, где у него вышел колоссальный фоллиант на английском языке, а также его ждут синекура в университете и немислимые гонорары за концертную деятельность!

Коллеги гиперболизировали.

Вскоре СССР был упразднен, и Ельцин издал указ, что всё имущество общественных организаций СССР, находящееся на территории России, переходит к российским общественным организациям. То есть единственным законным владельцем всего имущества Союза писателей СССР, находящегося на территории России, стал Союз писателей РСФСР.

Началась великая свалка за имущество. На баррикадах были и честные люди с обеих сторон, полагавшие, что они бьются за идею. Прямого участия в боевых действиях Евтушенко уже не принимал.

1992 год начался с публикаций в газетах «Советская Россия» и «Литературная Россия», в которых ему предъявляются обвинения в сотрудничестве с КГБ. Возникает имя генерала Судоплатова. «Литгазета» опровергает.

Евтушенко еще не уезжает надолго, постоянно бывает в Москве и намного восточнее — в Иркутске и Зиме, где отмечает латентное шестидесятилетие. Это было своеобразное празднование: выступление в городской библиотеке, публикации стихотворений и интервью в «Зиминской правде» и «Советской молодежи» (Иркутск). 18 июля на станции Зима написал «Нет лет», стихотворение, восполнившее лирическую лакуну последних лет.

«Нет
лет...» —
вот что кузнечики стрекочут нам в ответ
на наши страхи постаренья
и пьют росу до исступленья,
вися на стеблях на весу
с алмазинками на носу,
и каждый —
крохотный зелененький поэт.
«Нет
лет...» —
вот что звенит,
как будто пригоршня монет,
в кармане космоса дырявом горсть планет,
вот что гремят, не унывая,
все недобитые трамваи,
вот что ребячий прутик пишет на песке,
вот что, как синяя пружиночка,
чуть-чуть настукивает жилочка

у засыпающей любимой на виске.
Нет
лет.
Мы все,
впадая сдуру в стадность,
себе придумываем старость,
но что за жизнь, когда она — самозапрет?
Копни любого старика
и в нем найдешь озорника,
а женщины немолодые —
все это девочки седые.
Их седина чиста, как яблоневый цвет.
Нет
лет.
Есть только чудные и страшные мгновенья.
Не надо нас делить на поколения.
Всепоколенийность —
вот гениев секрет.
Уронен Пушкиным дуэльный пистолет,
а дым из дула смерть не выдула
и Пушкина не выдала,
не разрешив ни умереть,
ни постареть.
Нет
лет.
А как нам быть,
негениальным,
но все-таки многострадальным,
чтобы из шкафа,
неодет,
с угрюмым грохотом обвальным,
грозя оскалом тривиальным,
не выпал собственный скелет?
Любить.
Быть вечным во мгновении.
Все те, кто любят, —
это гении.
Нет
лет

для всех Ромео и Джульетт.
В любви полмига —
полстолетия.
Полюбите —
не постареете —
вот всех зелененьких кузнечиков совет.
Есть
весть,
и не плохая, а благая,
что существует жизнь другая,
но я смеюсь,
предполагая,
что сотня жизней не в другой, а в этой есть,
и можно сотни раз отцвести
и вновь расцвести.
Нет
лет.
Не сплю,
хотя давно погас в квартире свет
и лишь поскрипывает дряхлый табурет:
«Нет
лет...
нет
лет...»

Ноябрь, 15-е. Сожжение чучела поэта во дворе Дома Ростовых, где располагался Союз писателей СССР. Собралось человек пятнадцать. Всем было весело. «Чучело было симпатичное» (Евтушенко). Неурочная Масленица. Мол, прощай, прощай, Масленица, не все коту масленица.

Когда мое чучело жгли
милосердные братья-писатели,
слава Богу еще, не пыряя в живот
перочинным ножом,
на меня они зря
полбутылки бензина истратили,
потому что давно
сам собой я сожжен.

(«Монолог чучела»)

Евтушенко уехал.

Почему Талса? По американским, да и по российским масштабам — небольшой городок, глубинка, правда — нефтеносная и ковбойская. Это степной город, хотя есть и озера. 350 тысяч жителей, два университета, симфонический оркестр, четыре драматических театра.

А он сам — откуда? С некой станции Зима. Маша тоже — из Петрозаводска, не мегаполиса. Талса в его памяти совпала, как ни странно, с фильмом «Доктор Живаго». В 1966 году он был свидетелем триумфального шествия этого фильма по Америке. Много лет спустя он заехал в Талсу для выступлений и показа «Детского сада» и «Похорон Сталина». В местном университете его приняли сердечно и предложили место преподавателя. Он уже работал в Квинс Колледже в Нью-Йорке. Он любил НьюЙорк, хоть это и сумасшедший город и «никогда не спит», если верить песне Синатры. Но выбрал — Талсу.

Всё решилось в один момент. Когда он проходил в Талсе по площади Ютика, прозвучало что-то знакомое — тема Лары из «Доктора Живаго». Мелодия шла как будто с неба.

Такова традиция — в 12 часов на этой площади часы играют эту музыку. Это был знак свыше.

И однажды я вздрогнул
на площади Ютика в Талсе,
потому что с Россией на миг
с глазу на глаз остался.
Это мне городские часы
под размеренные удары
заиграли хрустально
мелодию Лары...

(«Мелодия Лары»)

В 2012 году, в Талсе, он беседует с журналистом Николаем Зиминим.

«— Начиналось все надеждой. Мне даже предложили стать председателем в этом новом СП. Я сказал: «Нет, у нас должны быть

дежурные председатели. И никаких привилегий тоже не надо. У меня есть моя машина — и хватит. От зарплаты я тоже отказываюсь». На что мне моя тогда юная жена Маша сказала: «Тебе этого никогда не простят». Я удивился: «Почему? Меня не в чем будет упрекнуть». Умнее оказалась она, а не я.

В СП началось такое... Борьба самолюбий, внутренние ссоры, раздоры... Мое чучело сожгли прямо у памятника Толстому во дворе Союза писателей. Проханов особенно усердствовал, бензинчиком побрызгал. А мы ведь когда-то дружили... Было очень неприятно... Кстати, чучело было симпатичное.

— Но разве вы не чувствовали поддержки единомышленников из лагеря демократов?

— В том-то и дело. Ну ладно — националисты, сталинисты... Но и многие называвшие себя демократами оказались не лучше. Мне-то казалось, что они должны быть совершенно другой человеческой породы, рыцарями без страха и упрека... Не стану утомлять конкретными эпизодами. Скажу, что в какой-то момент вся эта мышинная возня стала невыносима. А тут пришло предложение поехать в Штаты для преподавания. У меня двое маленьких детей тогда было на руках: год и два. И я с удовольствием воспользовался приглашением университета в Филадельфии.

Но и за границей меня в покое не оставили. В одной американской газете («НьюЙорк таймс». — И. Ф.) появилась вдруг заметочка, что ее редакцию посетили представители СП и сделали заявление: мол, Евтушенко, который сейчас преподает в США, не представляет Союз писателей и прогрессивных российских литераторов, осудивших его в коллективном письме.

На очередной писательской встрече в Калифорнии я спрашиваю одного коллегу из Москвы: «Что за письмо против меня появилось?» — «Да, — говорит тот. — Было такое дело». И называет ряд имен. Я просто остолбенел. Особенно потрясло, что свою подпись поставил Анатолий Приставкин, автор прекрасной книги «Ночевала тучка золотая». Помню, как, вручая мне в подарок эту вышедшую после долгой борьбы с цензурой книгу, он жсал мою руку и восклицал: «Когда все сдались, ты продолжал бороться за мою 'Золотую тучку'. Чем я смогу тебя отблагодарить?» Вот и отблагодарил... Ну и другие не менее известные фамилии были под тем письмом.

— А в чем дело? Какие к вам претензии?

— Да нелепости одни: «злоупотребление служебным положением». А

за этим стоял только один факт: очень не понравилось, что, будучи сопредседателем «Мемориала», я был приглашен получать приз лучшей правозащитной организации из рук 2-жи Миттеран. А кто же, кроме меня, мог поехать, если все другие сопредседатели физически не могли? Сахаров скончался. Алесь Адамович умирал. А Юрий Афанасьев был в заграничной командировке. Где сейчас стоит этот приз, переданный мной в бывший СП — учредитель «Мемориала»? Там в СП и стоит. Как Чехов говорил: нельзя сострить ядовитее. Чем же я тогда еще провинился? Меня упрекали, что это якобы я поставил на административную должность Тимура Пулатова, который стал интригами прибирать к рукам власть. До этого он был председателем ПЕН-центра среднеазиатских республик, и я его совершенно не знал лично. Но его порекомендовал такой известный писатель, как Андрей Битов, который убедил меня и всех других, что это замечательный человек. Рассказывал, как Пулатов его когда-то спас. Честнейший ветеран войны Артем Анфиногенов рассказал мне, что, когда после моего отъезда в США Юнна Мориц потребовала объяснений от него, «кто внушил Евтушенко внедрить Пулатова в структуру Союза писателей», Андрей Битов все это слышал, но промолчал и до сих пор помалкивает об этом. А ведь я люблю и стихи Мориц, и прозу Битова, и можете себе представить, как мне было горько это слышать!

И знаете, другой мой коллега-прозаик — уж пожалею его, он ведь покаялся, назовем его Толик, — приехав с делегацией в США, ответил и вам, и мне, почему так все случилось. «Все дело в зависти, — сказал он. — Представь: ты где-то в Америке, пьешь коктейли, выступаешь, весь в шоколаде, а мы тут черт знает в каком дерьме копаемся...» И вдруг: «Ну прости ты меня, ради Господа, прости: я тоже подписал письмо против тебя. Ты издали начал казаться врагом, а сейчас вижу — все такой же, свой Женя».

— Шутите?

— Какие шутки! Вот она, Россия. Достоевский не умирал... Взрослый мужчина причитает, как баба. И на колени передо мной бухнулся... Мы в почтенном американском доме. Народ кругом ошеломленно смотрит: что эти русские творят? Я говорю: «Все, проехали, забыли». Наш Толик приободрился, положил себе на тарелочку спагетти, куда-то двинулся вдоль бортика бассейна. Моя соседка по столу, прекрасный поэт (именно поэт, а не поэтесса) Марина Кудимова, говорит: «Женя, а меня ведь тоже подбивали подписать. Я отказалась. Я запомнила твой рассказ, как во время твоей поездки с Ярославом Смеляковым в Среднюю Азию гадалычик

сказал, что тебя ни в коем случае нельзя обижать, потому что твои обидчики немедленно будут наказаны». Ну вот, мы с Мариной сидим, посмеиваемся. А в это время выскакивает крохотная болоночка, твякает, хватает нашего Толика за штаны, и он летит в воду. Ситуация чарличаплинская! Пластиковая тарелка на воде, и с нее, как глисты, по водной глади расползаются спагетти... А Толику повезло. Хозяйка ему предложила на выбор любой из костюмов ее покойного мужа. Он выбрал смокинг с черными шелковыми лацканами, сорочку и галстук-бабочку... Словом, русский цирк.

— И как же вы с ними дальше общались?

— Семнадцать писателей-прогрессистов, моих братьев по оружию, подписали это письмо, как потом выяснилось. И я во время приездов в Москву все время на них натыкался — мир тесен. Сталкиваюсь в гостях у Ирины Ришиной с писателем-историком Юрием Давыдовым, которого до этого уважал, и вдруг узнаю, что и он подписал это письмо. Его жена, к ее чести, при всех говорит: «Ну-ка, Юрка, встань и попроси у Жени прощения. Это он сидел в приемных московских властей и грозил, что не уйдет, пока ордер нам на квартиру не подпишут. А ты в эту грязь влез». Он встал: «Виноват, Женя... Что я могу сделать?» Я ему ответил: «Помоему, написать в ту же газету, что ты был не прав». — «Хорошо», — сказал он при всех гостях, но письмо так и не появилось. А ведь сам он когда-то пострадал по чьему-то навету.

Добрейшая переводчица Елена Николаевская на похоронах Роберта (Рождественского) подошла ко мне, шепотом попросила: «Прости, Женечка, ко мне так пристали, подсунули на подпись, голову мне задурили...» Таня Бек — одна из самых чистейших людей в литературе, сказала мне, что она вообще не подписывала такого письма. Когда же я спросил ее: «Может быть, ты напишешь письмо в редакцию, Таня?» — она сказала: «Все, кто хорошо знает меня, не могут и представить, что я могла такое подписать». Но голос ее почему-то был первый раз какой-то несвойственный ей самой. Она, видимо, не хотела с этими людьми связываться.

Почему так происходит? Потому что сейчас образовалось новое рабство. Рабство тусовок. Эти тусовки не менее безжалостны и мстительны, чем мафии. Моя жена Маша писала свою дипломную работу по творчеству Юрия Нагибина. А он написал в «Правде», что Женя Евтушенко, который всегда клялся в любви к России — «Если будет Россия, значит, буду и я», бросил Родину в тяжелую минуту, погнался за длинным долларом. И почему-то моих тогда еще крохотных детей к своей

статье припутал. Встретились случайно на улице. Маша ему: «Как вы могли?» А он: «Маша, ну прости, ну мерзавец». И совсем стало тошно...

Я специально привожу имена этих людей, по-разному близких мне, чтобы вы поняли, насколько все это было больно. Ну почему мы в России так легко способны ранить друг друга? Когда это наконец кончится?»

...НАВРУТ!

Девяносто третий год. Москва. Танки стреляют по Белому дому.
«Известия» от 5 октября. Там — документ. Его назвали «Письмом 42-х»:

Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости, — фашисты взяли за оружие, пытались захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы «жалостливо» умоляли после августовского путча не «мстить», не «наказывать», не «запрещать», не «закрывать», не «заниматься поисками ведьм». Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми... К кому? К убийцам? Терпимыми... К чему? К фашизму?

И «ведьмы», а вернее — красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать... Что тут говорить? Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши (как, наверное, и ваши) сердца. Но... хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.

Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать

давно, но не сделали:

1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента.

2. Все незаконные военизированные, а тем более вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).

3. Законодательство, предусматривающее жесткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд») и ряд других, должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП».

7. Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд).

История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!

А. Адамович, А. Ананьев, А. Афиногенов, Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, З. Балаян, Т. Бек, А. Борщаговский, В. Быков, Б. Васильев, А. Гельман, Д. Гранин, Ю. Давыдов, Д. Данин, А. Дементьев, М. Дудин, А. Иванов, Э. Иодковский, Р. Казакова, С. Каледин, Ю. Карякин, Я. Костюковский, Г. Кузовлева, А. Кушнер,

Ю. Левитанский, академик Д. С. Лихачев, Ю. Нагибин, А. Нуйкин, Б. Окуджава, В. Оскоцкий, Г. Поженян, А. Приставкин, Л. Разгон, А. Рекемчук, Р. Рождественский, В. Савельев, В. Селюнин, Ю. Черниченко, А. Чернов, М. Чудакова, М. Чулаки, В. Астафьев.

Судя по всему, к Виктору Астафьеву организаторы письма обратились в последний момент. К Евтушенко не обращались. Однако он и не мог бы присоединиться к требованию применения репрессий. Но это документ постфактум: силу уже применили.

Это правда — Евтушенко всю жизнь дрался за отказ от войны в любом ее варианте. Тот же разгон Союза писателей произошел в форме его победительного появления в Доме Ростовых без оружия и, естественно, без оруженосцев. В 1993-м в знак протеста против войны в Чечне он отказался от получения ордена Дружбы из рук президента.

Правда, у него были стихи о револьвере Маяковского:

чтобы стрелять,
стрелять,
стрелять,
стрелять.

Но та ли это стрельба? Если и та, то в плане суицида. На который, собственно, и походил расстрел парламента.

В 1993-м он показал другой вариант жизнедеятельности. Это был результат того, о чем когда-то вспоминал не самый близкий к нему, но справедливый Николай Старшинов.

...Но до памяти Евтушенко мне очень далеко... Он читает множество стихов, пристально следит за всем, что печатается в периодике, особенно пристально и даже ревниво за людьми талантливыми. А о том, какова его память, может дать представление следующий пример.

Лет двадцать назад (в 1972 году. — И. Ф.), когда в издательстве «Художественная литература» отмечалось 25-летие работы в редакции Николая Васильевича Крюкова, произошел такой случай.

На юбилее с поздравлениями выступали все

присутствующие поэты. А их было около тридцати — М. Луконин, С. Куняев, Вас. Федоров, И. Шкляревский, А. Марков, Л. Кондырев и другие. Все они говорили о высоком профессиональном уровне редактора, о его прекрасном вкусе, о широте его литературных взглядов, о его такте.

А когда очередь дошла до Евтушенко, он сказал следующее:

— Дорогие друзья! Как приятно видеть, что на юбилее Николая Васильевича столько хороших и разных поэтов. И всех их редактировал или будет редактировать наш юбиляр. Я вас всех люблю, читаю, помню. Вот Василий Дмитриевич, наверное, думает, что я не знаю его стихов, — обратился он к Вас. Федорову, — не люблю их. Нет, люблю и помню...

И он прочитал стихотворение Федорова.

— А ты, Лева, — обратился он к Кондыреву, — тоже, наверное, думаешь, что я не читаю тебя. Нет, читаю и помню!

И он прочитал стихи Кондырева.

Таким образом он прочитал по стихотворению почти всех присутствующих поэтов, хотя бы по несколько запомнившихся ему строк. А ведь он не мог знать, кто будет присутствовать на этом юбилее. Значит, и не мог специально подготовиться к подобной мистификации...

Память — вещь расширительная. Антология «Строфы века», вышедшая сначала на английском в издательстве «Даблдэй» (Doubleday, США) под названием «2 °Century Russian Poetry», есть памятник памяти. Память — это работа. Память — это благодарность. Память — это учеба. Поэзия есть память.

Русский вариант, точнее — оригинал, вышел двумя годами позже. В Минске. Издательство «Полифакт». Презентация сигнального экземпляра антологии произошла в Политехническом — 23 мая 1995 года.

На страницах евтушенковской антологии высказались 875 авторов. Отзывов о ней было меньше, но тоже немало. Татьяна Бек, например, в «Литгазете» отозвалась благожелательно, но не без упреков: почему нет таких-то, когда есть такие-то? Сколько голов, столько претензий. Задним числом действительно ясно, что в сферу актуальной (то есть текущей) поэзии забежали авторы, существование коих уже тогда было под вопросом. Но это не отменяет колоссальной значительности общей картины.

Евтушенко прав, говоря о том, что они с Евгением Витковским

сработали как целый институт. Участие Витковского — научного редактора — весьма заметно в охвате поэтической диаспоры, да и современные малоизвестные авторы, очевидно, во многом обязаны ему.

Плюралистично поступил «Новый мир» в номере втором 1996 года, дав слово четырем критикам. Правда, больше это походило на литературоведческий коллоквиум с небольшими рефератами.

«Достойный себя монумент» — отзыв Е. Н. Лебедева (доктор филологических наук, профессор Литературного института). Резюме:

Что можно сказать в заключение? Это действительно самая большая «книга для чтения» по русской поэзии XX века (в жанровом определении издания научный редактор более прав, чем составитель). Воистину бездонная память Евгения Евтушенко воздвигла достойный себя монумент. Можно добрым словом помянуть его усилия по восстановлению исторической справедливости к поэзии и личности Николая Глазкова и других поэтов, извлеченных из небытия. Многие молодые авторы, неожиданно попавшие в «золотой фонд» поэзии XX века, должны Бога молить за Евгения Евтушенко. Что же касается большинства комментариев, то их автору неплохо было бы учесть одну из любимых поговорок Пушкина: «То же бы ты слово, да не так бы молвил».

Книгу эту будут читать и апологеты, и критики. Она единственная в своем роде покамест. История XX века присутствует в ней лишь отчасти — ровно настолько, насколько она касается истории непрекращающегося противоборства Евгения Евтушенко с самим собой.

А. Пурин (петербургский поэт) резюмирует с самого начала — с заголовка своего отзыва: «Царь-книжка», с соответственным запевом:

Вес: три с лишним кг. Габаритные размеры (в картонном футляре): 300×220×55. Суперобложка. Приложен плакат — очень странный, надо сказать, с витающим в облаках скелетом Пегаса. Перед титулом вклеен «сертификат призового розыгрыша», снабженный «отрезным талоном» и украшенный гравюрками à la Biedermeier, напоминающими о казначейских билетах Российской империи или о чугунных Меркуриях с фасада питерского Елисеевского магазина — о союзе труда и капитала. Смесь

фальшивого бидермайера и залежалого модернизма, представленного «видеомами» А. Вознесенского, придает особый нуворишский шик внешнему виду изделия, которое несомненно будет отмечено одной из полиграфических премий. Цена, разумеется, свободная и изменчивая, но живо ассоциирующаяся с размерами месячных пенсий знакомых старушек. Но на то и «сертификат»: кроме возможности мусических наслаждений покупатель приобретает еще и прагматическую мечту... Название — по-детски эгоцентрическое: Евгений Евтушенко «Строфы века».

В. Кулаков, исследователь и апологет неподцензурного стихотворства советской поры, гнет свою линию: «Преждевременные итоги».

Зачем вообще ломиться в открытую дверь, сея панику по поводу стремительной «макдональдизации» всей страны и «дамоклова меча цензуры равнодушия»? Да, поэтическое поколение Е. Евтушенко (вернее, лишь часть его, о чем Евгений Александрович почему-то забывает) — последнее поколение «профессиональных поэтов, живущих на эту профессию». Что ж, пора овладевать смежными профессиями — например, переводить детективы Макдональда. Или торговать в «Макдональдсе». Что тут такого трагического? Профессионализм в поэзии вовсе не в том, чтобы «жить на эту профессию». Да и вообще «профессиональный поэт» — чисто советское явление. (Выпускник философского факультета Ю. Карякин сказал как-то в телеинтервью: «У нас в дипломах написана страшная вещь — «философ».) Поэзия, освобождаясь от соблазнов литературной карьеры, по-моему, только выигрывает. Это ведь лишь в советском государстве поэтам (опять же лишь некоторым) жилось, как поп-звездам. И нечего обижаться на нынешнее «равнодушие» публики. Те, кому стихи действительно нужны, не исчезли, и количество их не уменьшилось.

Эссе Михаила Леоновича Гаспарова «Книга для чтения» надобно привести целиком:

В этой большой книге есть одна небольшая, но важная обмолвка. Она сделана составителем на первой странице и

исправлена научным редактором на шестнадцатой. Е. Евтушенко дал книге подзаголовок: «Антология русской поэзии». Е. Витковский поправил: не антология, а книга для чтения. Это правда так. Антология — это отбор, это канон, это организация вкуса. А книга для чтения — это книга для чтения: на всякий вкус, чтобы каждый нашел в ней что-то для себя. Как книга для чтения это издание великолепно. Дети называют такие книги «книжка про все-все-все». Она большая, читать ее — все равно что ходить экспедициями по целому континенту: он велик, и при каждом новом чтении попадаешь в местности, не похожие на прежние. Кому не понравится одно — понравится другое. Эта книга будет «ошеломляющим открытием» для многих — объявляет составитель в предисловии. Ошеломляющим или нет — это зависит от темперамента каждого отдельного читателя; но спасибо составителю скажут, наверное, все, кто любит поэзию. Я нашел здесь очень много для себя нового в последних разделах книги, другие, вероятно, найдут больше в начальных, — и если им это доставит такую же радость, как мне, то Евтушенко по праву сможет гордиться этой книгой. А кто любит не искать новое, а перебирать старое и обидится, не найдя чего-то знакомого и любимого, пусть попробует сам составить такую книгу для чтения, положив на нее двадцать лет.

Как антология это издание тоже очень интересно, однако, может быть, не тем, чем кажется составителю. Я сказал бы, что эта книга, безоговорочно прогрессивная по мысли, и благородна по чувствам, — лучший монумент культуры сталинской эпохи. По крайней мере по трем признакам.

Во-первых, гигантомания. 875 поэтов, 1050 страниц, а сколько стихотворений — я не считал. Меловая бумага, цветные иллюстрации, несколько килограммов веса. Это не упрек составителю. Вероятно, такое оформление в стиле «Книги о вкусной и здоровой пище» задано серией («Итоги века. Взгляд из России»). Но, право же, оба образца Евтушенко — «Русская поэзия XX века» И. Ежова и Е. Шамурина (1925) и «Чтец-декламатор» Ф. Самоненко и В. Эльснера (1909) — выглядели скромнее, и это было им на пользу.

Во-вторых, идеологичность. Я тоже думаю, что было бы лучше, если бы Россия в XX веке могла обойтись без революции, советской власти, сталинского террора и шельмования

Пастернака. Но я остерегся бы упоминать об этом на каждой второй странице — хотя бы потому, что самые правильные высказывания, примелькавшись, не замечаются, а навязываясь, раздражают. Отбирать стихи по их оппозиционности — ничуть не лучше, чем отбирать стихи по их верноподданности, как это делалось в неудобозабываемое время. Начинать биографическую справку словами «из дворян» умели и семьдесят лет назад; тогда это считалось хулой, теперь хвалой — только и всего. Да, конечно, поэт в России больше, чем поэт; но почему из этого получается, что поэзия в России меньше, чем поэзия? «Печальный пример того, как поэт ставит политику выше поэзии и, переставая быть поэтом, не становится серьезным политиком» — эти слова Евтушенко на стр. 256 относятся не только к С. Родову. А слова на стр. 28: «В его поэзии боролась искренняя, но вульгарная гражданственность с истинно лирическим началом» — не только к Н. Минскому.

В-третьих, эгоцентризм. Конечно, эгоцентрична каждая культурная эпоха, но сталинская была откровеннее всех, объявляя всю мировую историю лишь предисловием к бесклассовому раю. Так и здесь создается впечатление, что вся русская поэзия XX века была лишь пьедесталом для поколения 30-х годов рождения и лично для Евг. Евтушенко. Из заметок о самых разных поэтах мы узнаем и его генеалогию (дважды), и благодарный перечень тех, кто помогал ему и его сверстникам (длинный), и что «формальные поиски Елагина были близки к Евтушенко и Вознесенскому», и что стихотворение А. Коренева 1944 года «вообще евтушенковское», и что Арсений Альвинг интересен только тем, что у него учился Генрих Сапгир, а Вячеслав Иванов вообще неинтересен. Вряд ли это намеренно: просто здесь, как у неумелого фотографа, искажается перспектива, и то, что ближе, кажется и больше.

Все это не укор, а констатация. Три четверти XX века мы прожили в советской культуре, и если эстетика наших «итогов века» вся оттуда, то это только естественно. А «книгу для чтения» это не портит. Ее гигантским масштабам мы, читатели, обязаны тем, что находим здесь столько нужного нам. А постоянно слышимый комментарий автора придает единство материалу огромному и очень трудно объединяемому. Пусть все меридианы на этой карте сходятся на поколении 30-х годов рождения — по

материку поэзии все же легче ходить с такой картой, чем без карты. А удастся ли сделать такую же монументальную антологию следующему поколению — скажем, 50-х годов рождения, — это мы еще увидим.

Я бы предложил переиздавать эту книгу каждые двадцать пять лет, всякий раз с переработкой. Тогда мы увидим, как выравнивается перспектива и перестраивается система поэтических ценностей. Я думаю, что составитель не стал бы против этого возражать.

Но если ее будут переиздавать даже без переработки, я прошу исправить в ней два недоразумения: на стр. 30 и 255. Стихотворение О. Чюминой «Кто-то мне сказал...» — это перевод стихотворения Метерлинка (очень известного), а стихотворение Н. Минаева «Когда простую жизнь...» — это пародия на стихи Георгия Иванова («Я не пойду искать...» из «Садов»). А ведь ни переводы, ни пародии — по программе издания — в антологию не включаются. Разве что невольные.

«Новый мир» дал четыре взгляда на «Строфы века» под общей шапкой: «Царь-книга для чтения и... для раздражения?». То есть амбивалентно-синтетично. Похоже, раздражение превалирует. Это не касается М. Л. Гаспарова. Его отношение к советской культуре вспышкой поверхностного раздражения не назовешь. Он говорит по делу. Более того. Его собственный профессиональный интерес к именам второго или десятого ряда, а то и вовсе к авторам без каких-либо имен — черта, роднящая его самого с... Евтушенко.

Однако. Монументальные формы евтушенковского фолианта, хотя и напоминают, скажем, солиднейший том Пушкина 1937 года (отмечался столетний «юбилей» гибели поэта), выдуманы отнюдь не в сталинском политбюро. Евтушенко шутит о «библейском» сходстве. Кроме того, амплитуда имен от Случевского до Кричевского как-то не вяжется с содержанием и духом сталинской культуры, к которой конечно же имеют отношения имена загубленных режимом поэтов. Ну а тот факт, что русские строфы XX века рождались по преимуществу на территории СССР, говорит только в их пользу: поэзию невозможно уничтожить, и евтушенковская *автоантология* — весомейшее свидетельство сего факта.

На основную цель антологии составитель недвусмысленно указал во врезке к собственной подборке: «Я надеюсь, что хотя бы часть моих грехов мне простится за эту антологию, по которой во многом будут судить о

прошедшем XX веке в наступающем XXI». В сущности, он так и понимает свое дело вообще: поэзия — свидетельство о времени. Качественное свидетельство. Именно некачественность стихов он и относит к своим грехам: первая книжка — «очень плохая», а в течение жизни «я самым искренним образом написал и, к сожалению, напечатал очень много плохих стихов, и моя профессиональная жизнь не может быть примером сосредоточенности и разборчивости».

Что он включил в «Строфы века» своего? «Окно выходит в белые деревья...», «Свадьбы», «Со мною вот что происходит...», «Одиночество», «Когда взойшло твое лицо...», «Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Два города», «Карликовые березы», «Граждане, послушайте меня...», «Казнь Стеньки Разина», «Идут белые снеги...», «Последняя попытка».

Только и всего. Но — безошибочно, если исходить из его задачи.

Все-таки арифметика иногда незаменима и в сфере поэзии: у Бродского для антологии отобрано 910 строк — это полнокровная книга, десять антологических страниц. Столько же страниц он отдал разве что своему любимцу Глазкову. Половину (466 строк) Бродский представил составителю сам для американского варианта антологии. Тогда они с Бродским договорились, что у него будет столько же строчек, сколько у Евтушенко и Вознесенского. Тот отбор Бродского составителю не понравился.

Пополнив его подборку на свой вкус, Евтушенко продемонстрировал определенную объективность своей работы, пристрастной в целом. Именно объективность продиктовала ему необходимость напечатать таких авторов, как Алексей Марков или Stanisław Kunyew. Он не замкнут и стилистически: щедро подан Николай Тряпкин, «поэт с ярко выраженным фольклорным началом».

Более того. Евтушенко в этой антологии — своим итоговым высказывании о русской поэзии XX столетия — бывает и осторожен. Это проявилось, скажем, в той же врезке о себе: «Моя бабушка по отцу — Анна Васильевна Плотникова — полурусская, полутатарка — родственница романиста Данилевского, и через него — *по нечетким версиям* (курсив мой. — И. Ф.) — родственница Маяковского».

В общем, Россия уже почти 20 лет переваривает антологический труд Евтушенко, не совсем понимая, что это за блюдо, более чем раблезианское по масштабу. Особых благодарностей не слышно, или они звучат под сурдинку.

А он уже идет по новым антологическим тропам. Тропам? Скорее — трассам. Подготовлен трехтомник «В начале было Слово... 10 веков

русской поэзии». Первый том вышел в издательстве «Слово / Slovo» (2008).

Общий охват трехтомника — русский фольклор, поэзия Древней Руси и творчество поэтов XVIII, XIX и XX веков. В первый том входит устная народная словесность, а также — «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Слово о полку Игореве» в собственном переложении и новая русская поэзия от Василия Тредиаковского до Александра Пушкина.

В евтушенковском «Слове о полку Игореве» происходит его старая, вечная история: конфликт лирики с эпосом. Эту вещь сочинил не Автор «Песни», как называл древний шедевр Пушкин. Ее написал Евтушенко: голос, рифмы, богатый набор фирменных технических приемов и средств. Станным образом этот раешный стих и зарифмованный фразовик больше смахивают на ушкуйнические поэмы Василия Каменского. Сам автор признавался, что танцевал от собственной «Казни Стеньки Разина».

Синтез неологизмов («в обним», «страдань») с архаикой («Тоска разлиясе по Русской земли») тоже указывает на футуристический праисточник этого эксперимента. Меньше всего удалась середина поэмы — о княжеских междоусобицах. Оригинал явно не поддавался рифмовке, трудно вогнать в стих то, что для стиха не предназначено. Тест для каждого лирика, взявшегося за «Слово...», — разумеется, плач Ярославны.

В Путивле плачет Ярославна,
одна на крепостной стене,
о всех, кто пал давно, недавно,
и о тебе, и обо мне.
По-вдовьи кличет, чайкой кычет:
«Дунайской дочкой я взлечу,
рукав с бобровой оторочкой
в реке Каяле омочу.
Не упаду в полете наземь,
спускаясь к мужу своему,
и на любимом теле князя
крылами нежно кровь зажму».

.....

В Путивле плачет Ярославна,
одна на крепостной стене,
и слезы, опускаясь плавно,
сквозь волны светятся на дне...

Нет, это не перевод и не переклад. Это стихотворение Евтушенко. Причем Евтушенко, вспомнившего о себе раннем, о песне «Бежал бродяга с Сахалина», о девке, игравшей на гармошке. И нет здесь ни раешника, ни фразовика, ни Каменского, ни кого другого, кроме Евтушенко. Получился ли эпос? Трудно сказать. Он бледнее непобедимого евтушенковского лиризма. Такие лирические дерзости, как «Рады мазанки — даже самые масенькие», да еще в финале симфонии, все-таки превышают возможности эпоса. Сочтя поражением перевод «Слова...» Заболоцкого по причине строгой строфики и рифм, коих нет в оригинале, самому себе он позволил самую смелую евтушенковскую рифму: «озверелую — ожерелие» и пр. Или даже гумилёвскую: «змиево — Киева».

Не соглашаясь с академиком Гаспаровым, Евтушенко называет гипотетический трехтомник антологией. «Это моя личная пирамида Хеопса». Как у колымского бульдозериста Сарапулькина. На его взгляд, антология и есть книга для чтения.

Он сам — книга для чтения.

Эта книга постоянно пишет. Начав в августе 1991-го, 2 апреля 1993-го он заканчивает роман «Не умирай прежде смерти». Подзаголовок — *Русская сказка*.

Тринадцатого июня 1993 года Ирина Ришина берет у Евтушенко интервью на целую полосу «Литгазеты» (в конце интервью помещен рассекреченный документ за подписью Юрия Андропова). Не успев привыкнуть снова к московскому времени, вернувшийся из Америки Евтушенко умчался на станцию Зима, где праздновалось 250-летие этого сибирского городка, и для него, как видно, представлялось просто невозможным оказаться в такой день где-то в другом месте.

«— Как живет сегодня твоя демократически настроенная в дни путча станция? Пока ты был там, я успела прочесть твой роман и помню эпизод, где помощник Президента, принимавший 19 августа со всех сторон звонки поддержки, протянул тебе трубку: «Белый дом? — еле уловил я среди шипения, потрескивания и каких-то посторонних голосов хриплый, но в то же время тоненький, как паутинка, чей-то голос: — Белый дом? Говорит станция Зима Иркутской области. Мы с вами. Вы слышите нас, Белый дом? Мы с вами...» Может, это вымысел, ведь не документальное повествование — роман. Так какое настроение у земляков сегодня? Изменилось там что-то? Ты летал туда, кажется, год назад.

— Не вымысел, но чудо, что именно в тот самый момент, когда я находился в кабинете помощника Ельцина, заговорила моя Зима. <...>

В этот раз я прилетел в Зиму на ее 250-летие — как видишь, она старше Соединенных Штатов. Я один из трех почетных граждан моей крошечной родины, и поверь, это для меня означает больше всех других наград. Надо было прочесть землякам что-то новое — такое, что добавило бы им чуть побольше надежды. Добавлять безнадежности — не мой удел. Это стихия пламенных «патриотов», спекулирующих на наших бедах. Нет, патриотизм и злорадство есть вещи несовместные...<...>

— Но ты все-таки избегаешь напрямую ответить: что изменилось на станции Зима за год? Или в чем изменился твой собственный взгляд на Россию из Америки по сравнению со взглядом на Россию со станции Зима?

— Я не избегаю — я подбираюсь к этому ответу, я его ищу внутри себя, внутри истории. Раньше я ездил за границу с радостью обнять земной шар, у всех нас украденный холодной войной, но и с некоторым страхом — я все время боялся, что меня не пустят обратно. А сейчас я стал возвращаться со страхом. С инстинктивной брезгливостью жду новых попыток втянуть меня в какие-то междоусобные политические стаи, в так называемую литературную борьбу, подменяющую литературу. <...>

Глубинка сообразила, что она теперь сирота, но зато свободная и, чтобы выжить, ей надо крутиться самой. Но в поисках выживания глубинка, как и центр, вместо производства бросилась в спекуляцию. Особенно неприятно, что этим занялась молодежь. Потерянное для производства поколение — я считаю, что это очень опасно.

На зиминском рынке раньше всегда были местные шерстяные вязаные носки, варежки, колуны сельской ковки, разноцветные красавцы-половики, мягкие чесанки, расписанные розами, меховые малахаи. Ничего этого не увидел — сплошная распродажа китайского...

— Тебя долго не было дома, и злые языки злословят, что тебе не до нас...

— Но разве в Америке я работал не на Россию? С сентября 1992-го по май 1993 года я читал в американском университете города Талса, штат Оклахома, курс лекций «Русская поэзия — ключ к русской душе». Помимо преподавания в Талсе я больше 20 раз выступил с чтением стихов в других городах США, в Нюрнберге, Лондоне и в Иерусалиме на книжной ярмарке, где был представлен мой роман «Не умирай прежде смерти», изданный на русском языке американским издательством «Либерти». Одновременно я передал этот роман нашим издателям, но, увы, началась тянучка, меня подвели. Лишь теперь наконец его собирается выпустить такое серьезное издательство, как «Московский рабочий».

— А когда последний раз ты выступал в Москве?

— Лет 5 назад. За это время в Москве, по-моему, не висело ни одной поэтической афиши — ничьей. <...> Меня запугивают, что 21 июля в концертный зал «Россия» никто не придет. Ну что ж, если на мои концерты придут всего-навсего две-три бабушки, я буду читать на полную катушку и только для них, как когда-то на площади Маяковского. Не предавшие поэта его читатели — самые драгоценные.

— Но ведь до площади Маяковского, где в 1957 году собралось в День поэзии тысяч 40 слушателей, читать начинали в книжных магазинах. Помню, в 56-м году Симонов, Луконин и ты читали в книжном магазине на Моховой, и неожиданно огромная толпа заставила вас выйти на улицу.

— Но ты не заметила, что в этой толпе была 19-летняя Белла Ахмадулина. А я-то нашел ее глаза своими глазами сразу. <...> У меня в Петербурге вот-вот выйдет сборник избранной любовной лирики «Нет лет». На днях я зашел в московский Дом книги на Новом Арбате — предложить устроить там встречу с читателями и продажу сборника с автографами. «Я ходила на все вечера поэзии когда-то, — сказала директор. — А теперь почти нет современных русских и вообще русских книг. Приходится продавать какую-то полицейскую дребедень, от которой уже тошнит. Как прекрасно, что вы сами к нам пришли. Конечно же, мы устроим вам презентацию книги...»

Два убежища современной молодой поэзии — в двух очаровательных магазинчиках: «Гилея» на улице Фрунзе и «Литературный салон» в Казачьем переулке на Ордынке. Это две маленькие, но крепенькие крепости русского поэтического авангарда. Вернувшись оттуда, обложился книжками и читаю, чтобы дополнить свою антологию русской поэзии XX века. Мы так зациклены на политике, что можем не заметить гения.

— Это та антология, которую три года ты делал в «Огоньке»?

— Я начал составлять эту антологию для американского издательства «Дабльдэй» еще 18 лет назад. Задача была объединить всех лучших русских поэтов века: и «белых», и «красных», исходя из единственного критерия — качества поэзии. И в этом случае — собирательская стратегия лоскутного одеяла: лоскуток к лоскутку. Тогда переправлять рукопись по почте было невозможно. Выручила Марина Влади: ее не смели обыскивать в аэропортах, потому что она приняла хитроумное решение стать членом ЦК ФКП. После долгих мытарств антология будет напечатана к началу учебного года в «Дабльдэй». Это самая большая антология иностранной поэзии, когда-либо выходившая на

английском, — 1072 страницы, 250 поэтов: от Константина Случевского до Ильи Кричевского, убитого в августе 1991 года.

— А когда антология выйдет у нас? Получается, англоязычный читатель будет лучше знаком с русской поэзией века, чем наш.

— За этот подвиг взялось новое издательство «Полифакт», объявив на антологию подписку под названием «Строфы века» (главный редактор серии — Анатолий Стреляный). Но русский вариант будет еще больше — 80 печатных листов в одном томе крупного, библейского формата с текстом в два столбца!!! Уже не 250, а примерно 550 поэтов (как видим, за полгода до выхода у «Строф века» была другая арифметика. — И. Ф.).

— А роман «Не умирай прежде смерти» тоже сработан там или ты начал писать его еще здесь, сразу после путча?

— Лет пятнадцать назад бывший знаменитый вратарь «Динамо» Хомич, прозванный в Англии 1945 года «Тигром», пригласил меня в составе сборной по футболу СССР (ветеранов) поиграть в Молдавию. Ветераны играли медленно, а вот почерк, видение поля волшебным образом сохранились. Молдавские болельщики скинулись и купили для «Тигра» в перерыве роскошный ковер с алыми цветами, чтобы вратарю было полегче падать. Я написал страниц двадцать повести «Матч ветеранов», но потом она почему-то заглохла. Повесть воскресла во мне, когда 19 августа на баррикадах я снова увидел некоторых моих футбольных кумиров, оставшихся в живых. И во мне все сразу связалось в тугой узел — и путч, и футбол, и любовь...<...>

Хотим мы этого или не хотим, сама жизнь есть переплетение политики и самого интимного. Было ведь сказано — если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. «Доктор Живаго» не политический роман, но политика начала заниматься им, да еще так палачески. Почему? Да потому, что Пастернак поставил историю любви выше истории как таковой. А политика взяла да и взревновала...<...>

— А почему в подзаголовке романа — «Русская сказка»?

— Есенин когда-то написал: «Лицом к лицу лица не увидать». Этот роман есть попытка разглядеть лицо века и лица его героев и антигероев в упор. Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе легко узнаваемы, и многое в их портретах построено на фактах. Но есть и неизбежный элемент гипотезы. Откуда я, на самом деле, могу знать, о чем действительно думал Горбачев в Форосе, что думал Ельцин, играя в теннис со слишком поддающимся ему партнером, или что было в душе Шеварднадзе, когда охранники ему не дали попить воды из родника его детства? Исторические романисты имеют дело с покойниками, которые вряд ли

станут оспаривать приписываемые им мысли, а вот живые — кто знает... Поэтому я и нашел спасительный подзаголовок — «Русская сказка», давая понять читателям, что мысли моих героев, их разговоры с собой не подслушаны мной, а воображены или довоображены... Этот подзаголовок предупреждает всех, кто охоч исходить обязательно конкретных людей под такими персонажами, как, например, Кристальный Коммунист, Демократ-прорубист, Скромно Элегантный Демократ, Маршал, Генерал со Шрамом. Это образы собирательные, хотя в некоторых случаях конкретность может обманчиво перевешивать символику... Поэтому я советую читателям не заниматься скрупулезным выяснением — кто на самом деле мои персонажи, а просто-напросто догадываться об отдельных чертах, не идентифицируя полностью ни с кем конкретно...

— Ну, три героя — три президента не спрятались под псевдонимами. Сегодня они видятся тебе другими, изменилось отношение к ним?

— Конечно, мое отношение к ним всем менялось, как менялись они, события вокруг них и как менялся я сам. Глава «Носки для президента» по времени ее написания на год ближе к Ельцину — герою трех августовских дней, чем глава «Прощание с красным флагом», с горечью написанная тогда, когда стали уже ясны непредугаданные трагические последствия непоправимого решения в Беловежской Пуще. Однако думаю, что, если бы путч удался и империю начали сохранять от развала при помощи танков, трагедия была бы еще непоправимей. Глава о Шеварднадзе написана в самом начале грузино-абхазского конфликта, который тогда еще не принял таких кровавых форм, как сегодня. Люди иногда оказываются заложниками обстоятельств, а потом уже не могут остановить развитие событий. История предупреждает, что в этнических войнах никогда не бывает полностью виновата только одна сторона. Сейчас заниматься выяснением, кто виноват больше, кто меньше, кто начал, а кто продолжил, никакого смысла не имеет...<...> Пусть и читатель догадывается: высказываюсь ли я в том или ином случае устами своих героев».

Аннотацию к русскому изданию романа написал несомненно автор:

«Это детектив, герой которого — грустный и очаровательный следователь Пальчиков — русский молодой Мегрэ.

Это политический роман о тайных пружинах путча в августе 1991 года.

Это исповедальные воспоминания Евтушенко о его любимых

женщинах, о том, как его пытались завербовать в КГБ.

Это новеллы о том, как сборная СССР по футболу попала в публичный дом в Чили, о тайной любви Маршала Советского Союза, о малоизвестных сторонах личной жизни Ельцина, Горбачева, Шеварднадзе.

Это романтическая история любви великого футболиста к отчаянной сибирской скалолазке, которые любили друг друга даже в чертовом колесе.

Это роман, над которым можно поплакать и посмеяться, но бросить на половине нельзя».

Исчерпывающая (само)характеристика. Можно добавить — роман написан под знаком Пастернака и в соперничестве с ним. Начиная с отправного пункта, тоже сформулированного Пастернаком:

Мы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому —
Преображение Господне.

То есть — 19 августа.

О каком соперничестве речь? Русский поэт ставит сверхзадачу — создать вершинную прозу своего пути и, дай Бог, всей отечественной литературы. Феномен «Доктора Живаго», при всей своей мощи, этой вершины все-таки не взял. Но явил пример.

Первое издание евтушенковского романа «Не умирай прежде смерти» было вскоре распродано, в 1994 году понадобилось второе, и он был переведен на многие языки. В октябре 1994-го состоялась его премьера на Франкфуртской ярмарке. В интервью «Российским вестям» от 7 июня 1994-го (записала Татьяна Семашко) Евтушенко говорит: «Я буду выступать в Германии, в Австрии, затем во всех Скандинавских странах, где он выходит, потом состоится его премьера в Австралии, а в будущем году — в Канаде. Короче говоря, он начинает свое шествие по миру и выходит в 12 странах. Когда я приехал сюда (в Москву. — И. Ф.), его долго не выпускали, хотя я отдал рукопись в прошлом году. А в издательстве «Либерти» от рукописи до книги прошло менее двух недель. Это рекорд даже для Америки. <...> Сейчас все пространство России рассечено на удельные княжества. Этот роман можно купить только в Москве, в Ленинграде его не купишь, потому что доставка стоит очень дорого. Я сейчас поеду в Сибирь, и положение у меня отчаянное — у издательства нет денег,

чтобы отправить туда книги... Я везу в Сибирь столько книг, сколько смогу увезти в чемодане».

Лето было хлопотным. Официально-то — славный юбилей, Евгению Евтушенко шестьдесят. Вечера в Москве и Питере, с трансляцией по Центральному телевидению. Однако и в Сибирь, к себе — надо. Туда-то и повез тот чемодан. Выступал, видел многих. В Иркутске детский хор спел его стихи на музыку Мусоргского — вариант нового гимна, долгое время безответно пролежавший на ельцинском столе.

Но с лучшим своим сибирским другом, «любимым начальником» повстречались в Переделкине. Леонид Шинкарев, как всегда, отчитался бортжурналом: очерком-интервью в «Известиях» от 20 июля 1993-го. Озаглавлен он «Евгений Евтушенко: Спасение наше — друг в друге».

«— Ну не парадокс ли: я давал интервью сотням журналистов, и только ты, знающий меня тридцать лет, старый друг, с которым прошли 7 сибирских рек, видевший меня таким, каким никто не видел, знающий обо мне больше, чем я сам о себе знаю, ты ни разу не попросил интервью для твоей газеты...

Мы сидели на даче в подмосковном лесу, в канун первых после 6-летней паузы творческих вечеров Евгения Евтушенко в Санкт-Петербурге и в Москве. Но не успел я рот открыть, как в дом ввалились студенты из Оклахомы...<...>

Гурьбой отправились к Дому-музею Бориса Пастернака, после пришли на кладбище, к затененной соснами могиле поэта. И тут случилась встреча, которую я никогда не мог бы вообразить. Прогуливаясь тропами, заросшими высокой крапивой, к могиле пришла Алла Пугачева. <...> Я увидел ее совсем тихой, какой-то собранной, в черной кожаной куртке, со стеблем ромашки в руках. <...>

— О тебе и твоей жизни, ты знаешь, ходит много легенд. Я их слышал каждый раз, приезжая из Сибири в Москву, от людей, никогда не видевших тебя на карбасе, как ты стираешь свои рубашки, моешь посуду, варишь в ведре чай или компот, драишь палубу, таскаешь бочки с горючим, не допуская к ним тех, кто слабее. Но, перебирая в памяти, о чем судачат, смею ли спросить, какого поступка ты действительно стыдишься больше всего?

— В 1952 году, веря газетам, я написал стихотворение о врачах-убийцах. <...> Перед тем, как отнести стихи в редакцию, я пришел прочесть их в одну еврейскую семью. Это была семья Володи Барласа. Когда я кончил чтение, мама Володи, фармацевт в аптеке по улице 25-го Октября, тогда как раз уволенная с работы <...> заплакала: «...Женечка,

дорогой, никому не показывай эти стихи...» И хотя <...> они никогда не были напечатаны, при воспоминании, что я их все-таки написал, сгораю от стыда. <...>

— ...а мне, прости, вспомнилось, как во время плавания на «Микешкине» по Лене, где-то в глуши, среди якутских оленеводов, ты всех, от мала до велика, заморозил, когда со слезами на глазах признался, что тебя, младенца, вскормила грудью якутская женщина. А когда два года спустя мы на «Чалдоне» шли по Витиму, очаровал бурятских пастухов, признавшись, что твоей кормилицей была бурятка. А потом в Монголии, на Селенге, в кочевничьей юрте, ты обиделся на меня, когда, не дожидаясь, пока снова появятся на твоих глазах святые слезы, я что-то спросил насчет твоей монгольской кормилицы... Впрочем, теперь, перечитывая твои стихи, я ловлю себя на мысли, что тебя, возможно, в самом деле кормили матери всех народов разом.

— Поэт вообще-то врать не должен, то есть лгать не должен, но у него есть право на фантазию, без фантазии не бывает настоящей литературы. Ведь фантазия — это часть того, что не может осуществиться в жизни, но тебе очень хочется, чтобы оно стало реальностью. А реальность такова: на станции Зима у моей мамы что-то случилось с молоком и моей кормилицей действительно стала наша соседка-бурятка, у которой был такой же младенец. А в Казахстане я в 14 лет заработал в геологической партии первые деньги и купил пишущую машинку. Для меня эта республика тоже в какой-то степени мать-кормилица. <...>

...Вечером, когда мы вернулись на дачу, к поэту приехали Сергей и Таня Никитины с гитарой показать новую песню на его стихи, которую они исполнят 21 июля на творческом вечере поэта в киноконцертном зале «Россия».

Провожая меня, Евгений Александрович достал из почтового ящика почту. Пробежав глазами одно из писем, он протянул его мне. Письмо из Вашингтона от Билла Клинтона.

«Дорогой Евгений, благодарю вас за книгу Ваших избранных стихов, которую мне передал губернатор Уолтерс. Я хочу поддержать историческое движение к демократии и свободному предпринимательству, происходящее сейчас в бывшем Советском Союзе. Я буду иметь в виду Ваши исполненные мысли слова, пытаюсь справиться с многочисленными вызовами, которые бросает мне быстро меняющаяся Россия. Искренне Ваш Билл Клинтон».

У ворот Евгений Александрович придал лицу виновато-умоляющее

озорное выражение:

— У меня к тебе просьба. Если будешь писать, можешь ли ты представить меня чуть-чуть умнее?

— Конечно, — пообещал я, — но тогда это будет еще одна легенда о тебе».

Спросим себя: а нет ли у нас перебора в обильности цитат из евтушенковских интервью? Не исключено. Но читатель должен согласиться — это всё о нем, о Евтушенко, и никто кроме него нам об этом не расскажет. А большой материал под названием «Обо мне напишут книжку и обязательно наврут» в «Комсомолке» от 2 декабря 1994 года мы хотя бы частично процитировать обязаны. Под материалом стоят подписи: Валентин Запевалов (соб. корр. ЛГ), Игорь Явлинский (наш соб. корр.), Бонн.

«— Сейчас вы вынырнули в Майне, на книжной ярмарке, где представляете ваш новый роман... <...> ...где вы ощущаете себя лучше — в США, в Англии, в Германии?

— Что значит — лучше? В каком плане — в человеческом?

— Ну, скажем, так — комфортнее?

— Комфортнее — это не значит лучше. Я с детства ненавижу две вещи — очереди и границы. <...>

— Возможен ли возврат к старому культурному пространству?

— Возможен. В какой-то степени Россия опять является опытным полем для эксперимента... <...>

— Немцы несколько дней назад делали передачу о вас и почему-то особо выделили, что Евтушенко — удивительный человек: обо всех своих четырех женах отозвался в новой книге хорошо и тепло. Для западников это что-то невероятное.

— Самое страшное в мире, когда бывшие сторонники, как, например, случилось с нами в 1991 году, становятся непримиримыми врагами и стреляют друг в друга, как это получилось в октябре. А в любви — самое страшное, когда те же самые люди, что вчера были близки, становятся врагами. Во всех своих разводах я взял вину на себя. Я вообще считаю, что в 99 процентах разводов виноваты мужчины. Мои женичины, кстати, меня никогда не предавали, зато меня предавало огромное количество мужчин.

Однажды один мой знакомый сказал: «Когда вы умрете, я напишу про вас отличную книгу». Я ему ответил: «Почему ты думаешь, что я умру раньше тебя?» Подумалось: «Когда я умру, все равно про меня напишут какую-нибудь книжку. Наверное, в серии ЖЗЛ. Но сколько же там обо мне

наврут!.. <...>

— Сейчас поэту в России материально живется тяжело. За счет чего существуете вы? Слышно было, что вы преподавали в Штатах.

— Вы меня можете поздравить с тем, что я наконец-то получил от государства пенсию. Причем дали мне ее с формулировкой «по старости».

— А какая сумма?

— 71 тысяча. В пенсионном отделе сказали, что всего один писатель получил специальную пенсию из президентского фонда. Можете догадаться — кто?

— Михалков.

— Да, конечно.

— Так на что вы живете?

— Последний роман я писал почти 2 года. За него я получил 2 миллиона рублей в прошлом году. Это где-то две тысячи долларов. За 4 статьи в Литературке 26 тысяч рублей. Это в то время, как одна ассенизационная бочка для дачи стоит 23 тысячи...

— Где вы живете?

— На даче в Переделкине уже 37 лет. Она до сих пор принадлежит Литфонду, хотя я там перестроил уже 80 процентов всего. Мне все время пытаются кого-то подселить. Сколько я ни прошу выкупить дачу — все без толку. У меня сожгли дом в Сухуми. Это была моя единственная частная собственность. Там убили моих лучших друзей — и абхазцев, и грузин.

— На какой машине ездит поэт Евтушенко?

— В нашей семье две машины. У меня сильно битый старый «Мерседес» восьми лет и слегка битая «Лада».

— Где вы покупаете продукты?

— Везде, где попало. Но чаще в двух магазинах в соседнем московском районе Солнцево.

— Сколько у вас всего детей?

— Всего — пять. Они все знакомы друг с другом. Часто к нам приезжают. Маша их всех объединяет.

— Чем они занимаются?

— Старшему 26 лет. Петя, художник. Дальше — Саша. Он живет в Англии со своей мамой. Ему 15 лет. Хочет быть актером. Он сыграл эпизодическую роль в моем фильме «Похороны Сталина». И в «Детском саде» тоже. Еще одному «англичанину» — 14. Еще двое — Женя и Митя — мои и Машины дети.

— С кем вы дружите в Переделкине?

— Я очень люблю моих соседей Асмусов. Они очень религиозные люди. Савва Кулиш рядом. У меня хорошие отношения с министром культуры Сидоровым. Не потому, конечно, что он — министр. Я с ним знаком еще с тех пор, как он работал в Литературке.

— Какое блюдо вам больше всего нравится в домашнем исполнении? Что вы всего больше любите есть?

— Я больше всего люблю грузинское блюдо «аджап-сандал».

— Что это такое?

— Это баклажаны, перемешанные с луком и морковкой.

— А в Германии что больше всего понравилось?

— Я скажу несколько слов не про еду. В Германии я был много раз. Меня очень тронуло то, что многие люди, которые устраивали здесь мои презентации, как ни парадоксально, были у нас в плену. Люди эти любят Россию особой любовью. <...>

Генрих Бёль — это один из тех писателей, через которых Россия опять полюбила Германию. А он ведь тоже был в войну в России. Я однажды слышал разговор Бёлля со Львом Копелевым: «Генрих, если бы я попал в плен, ты бы меня расстрелял?» Бёль подумал и ответил: «Ты знаешь, если бы в этот момент была паника, мы бы отступали, то я не знаю... Но лучше об этом не говорить».

— Кто будет следующим президентом России?

— Мне не важно имя. Мне бы хотелось, чтобы им стал интеллигент с менеджерской энергией, не отягощенный нашим феодальным прошлым.

— Вы были парламентарием. Больше не тянет?

— Я знаю, что многие бывшие парламентарии боятся заезжать в те районы, где их избрали. Но не в моем случае. Я горд тем, что у меня с городом Харьковом несмотря на то, что это уже Украина, — дружба. В этом году я выступал на Украине, и меня там здорово принимали. Даже в брежневские времена невозможно было представить, чтобы русский поэт выступал в национальном украинском театре. И Богдан Ступка читал мои стихи по-украински. Это было замечательно. Но Маша сказала: как только ты выдвинешься на какую-нибудь общественную должность, я тотчас собираю чемоданы и уезжаю в Петрозаводск. <...>

— Вы любите застолье?

— Обожаю.

— Помимо еды вы любите и выпить?

— Очень. А что? Жаль только, что многие из тех, с кем я любил выпивать, либо умерли, либо уже не в состоянии.

— Что же вы пьете, чем закусываете?

— Я с войны ничего не люблю так, как кусок черного хлеба с салом и чесноком. Если говорить о выпивке, то крепкие напитки я не жалую. Я открыл, что самое драгоценное у человека — это память, а от «сорокаградусной» она мутнеет или совсем исчезает. Когда я это обнаружил и понял, что чертики на рукаве — это не фантазия, то решил остановиться. Именно поэтому стал первым поэтом, который перешел с водки на шампанское.

Из крепких напитков я люблю самогон, который пахнет тем, из чего он сделан. Самый лучший — редкий теперь кизилевый. Мои белорусские родственники присылали мне трехлитровые банки запечатанного ржаного самогона, прогнанного через угли. Я очень люблю, как и Пастернак, различные настойки: на смородиновых почках, на смородиновом листе. Это сразу как-то облагораживает напитки. Из всех коньяков мне нравится грузинский «Энисели», но не тот, что продают сейчас. Если говорить о шампанском, то самое лучшее в мире, даже лучше французских, — это «Абрау-Дюрсо». Мы были страной самых лучших натуральных ликеров.

— Кто у вас в доме хозяин?

— Вне дома — я. А в нем — Маша».

Перенаселенный персонажами роман «Не умирай прежде смерти» разместился в тридцати пяти разновеликих главках и главах, пестрых, как луковки Василия Блаженного или, скорее, их подобия-новоделы. Пестрота сопутствует течению романа во всем. Тональность — от приподнято-романтической до фельетонной. Псевдонимы и кликухи героев — от возвышенной символики (Лодка) до блатняка (Клык). Имена условны, с прописных букв. Русско-Парижская Старушка (хватило бы и «ученицы Ходасевича»). Поэт Двадцать Первого Века — о погибшем начинающем стихотворце.

Аннотация представляет роман как детектив, но дело не в том. Это скорее испытанный прием для заманивания широкого читателя. В первой главе перечисляются несколько курьезных случаев из прошлой следственной практики положительного героя-следака Пальчикова, но для дальнейшего сюжета понадобился лишь один — о хищениях на фабрике «Красная игрушка». Оттуда — луноходик на батарейках, притормозивший пока в следаковском портфеле. Окунуться в грядущие события следака заставил некий секретный пакет на имя начальника п/я. Начальник шарашки оказался человеком гуманным и прогрессивным и даже ознакомил Степана Пальчикова с содержанием пакета. Шеф Степана сделал

на солидном оборонном предприятии заказ отнюдь не военного назначения — 250 тысяч наручников для нужд МВД...

«...зачем так срочно нужны эти двести пятьдесят тысяч наручников?

Ответа у Пальчикова не было.

Он возвращался в Москву ночным поездом, ворочался на верхней полке и думал об этих наручниках. Он видел наручники много раз, и были случаи, когда их защелкивал сам. Но двести пятьдесят тысяч — это была цифра, связанная с чем-то во много раз большим, чем стадион в Сантьяго при пиночетовском перевороте».

Размышления Пальчикова несколько неожиданно прерывает исповедальная глава. Это монолог о любви в жизни поэта Евтушенко в предчувствии минут роковых. Он стал возможен в романе после фразы о пиночетовском перевороте, свойственной ассоциативности евтушенковского мышления, а не его героя. А слово «путч» уже стоит в заглавии второй главы: «Исповедь перед путчем». Но и слово «любовь» уже произнесено и становится ключевым для романа. Исповедальная глава заканчивается звонком сестры поэта о снятии Горбачева.

Затем в игру вступает бывший герой сборной СССР по футболу, в наступившие времена — «слывущий спившимся ночной сторож магазина «Спортовары» шестидесятилетний Прохор Залызин по кличке Лыза, или Лызик в устах вечно влюбленной в него сибирской скалолазки по прозвищу Лодка. Попутно рассказано начало сильно очеловеченной по-толстовски истории ежика Чуни, завершившейся счастливым концом. Животные в романе, несмотря на грозящие им опасности, не пострадали, даже питониха Питя отделалась легкой травмой. Самыми несчастными оказались объятые неутоленной страстью переделкинские сенбернар и сенбернарка. Автор относится к их страданиям с полной серьезностью и сочувствием. Но вот от зверя погибла-таки одна женщина, растерзанная в зоопарке белым медведем.

Центральной любовной историей романа стала великая любовь футболиста и скалолазки — из тех, библейских, что сильнее смерти. Автор нечаянно — или намеренно — проговаривается: жажда славы изуродовала эту любовь. Лызик ушел в спорт, надолго отказавшись от любви и подменив ее суррогатом ложной семьи с чужой ему женщиной.

Евтушенковские проговорки — целая система. В том же «Детском саде» герой Баталова подписывает лжепризнание под угрозой насилия над его женой. Это намек на собственные компромиссы, вызванные жестокостью обстоятельств.

У сделавшего свой выбор Пальчикова после получения «информации к размышлению» возникает решение проникнуть в Белый дом. Но пока он еще на Пушкинской площади и профессионально наблюдает за происходящим. У кафе «Макдоналдс» стоит, не рассыпаясь, привычная очередь. По Пушкинской площади бежит человек с видеокамерой, в котором Пальчиков признал известного кинорежиссера Савву Кулиша. А между тем мимо памятника идут танки, и навстречу им, со стороны Моссовета, движется, перегородив улицу, толпа, скандируя: «Если мы е-ди-ны, мы не-по-бе-ди-мы! Ель-цин! Ель-цин!»

Сам себе автор и герой, Евтушенко то и дело забрасывает и себя в водоворот событий и персонажей, комментируя прошлое, мелькая в настоящем и заглядывая в ближайшее будущее. Обстановка накаляется, общий пафос повествования повышается. Детективная линия, доверенная Пальчикову, ненавязчиво продолжает обрамлять сюжет.

В коридорах Белого дома было оживленно. В телефонных трубках помощников Президента звучало мировое эхо, сквозь которое и прорезался голос родимой станции Зима. «— Белый дом слышит... — ответил я, задохнувшись от волнения и рези в глазах, словно алмазом полоснули по зрачкам».

Баррикады продолжают расти при всеобщем воодушевлении. Среди персонажей — жена и приемная дочь Пальчикова, самка питона (их любимица), жертвенный юноша-таджик, ученица Ходасевича и сонм теней эмигрантских поэтов, Поэт Двадцать Первого Века в свои роковые минуты и воссоединившиеся перед вечной разлукой гений футбола Лыза и скалолазка Лодка.

Финал романа — оптимистический, хотя и не без оговорок. Главные в произведении, что вполне очевидно, не Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе и обозначенные кликухами лица, а настоящие герои баррикад — героическая Лодка, ценой жизни спасшая Президента от снайперской пули, не знающий личной корысти прирожденный следак Пальчиков, водопроводчик, футболисты, поэт. Кончается роман по-семейному. Побеждает любовь. Жена возвращает в дом безработного Пальчикова к вящей радости дочки Насти. Взамен погибшего луноходика у девочки появился ежик, прибившийся в парке к отцу (умница Чуня знал, к кому прибиваться, и, вероятно, вспоминал своего прежнего хозяина Лызу, которому без Лодки, увы, на сей раз суждено окончательно спиться).

Помета под завершенным текстом: *Гульриш — Переделкино — НьюЙорк — Помпано-бич — Сан-Хуан — Станция Зима —*

Сан-Хуан — Тулза — Нюрнберг — Мобиль — Сан-Валлей — Санкт-

Петербург — Лондон — Шейлинг-коммьюнити — Тулза. 1991–2 апреля 1993.

Опять апрель.

Роман автор окончательно завершает циклом «Стихи из будущей книги». Этот цикл не равен стихотворениям Юрия Живаго. Но высочайшая поэзия по мере чтения романа подстерегает читателя на самых неожиданных страницах. И это тоже по-евтушенковски:

«Говорят, нет сильней ностальгии, чем русская. Почему? Да потому, что нигде в мире нет ничего похожего на Россию.

Но есть еще одна, не меньшая по величине боли ностальгия — хотя страна, по которой тоскуют, гораздо меньше по величине географической, — это грузинская ностальгия «дарди самптеблосе».

Нигде не было такого гостеприимства, как в Грузии, где гость мог жить, не вынимая денег из кармана, где нельзя было ничего похвалить в доме, потому что даже если это был драгоценный прапрадедушкин кинжал времен царицы Тамары, его, чуть ли не плача, все-таки снимали со стены и дарили гостю.

Нигде не было таких свадеб или похорон, как в Грузии, — на тысячу, а то и на две тысячи человек, когда сотни родственников, соседей и знакомых дарили деньги, кто сколько сможет, и все это аккуратно записывалось в семейную толстую тетрадь, а потом, когда у тех, кто сделал свой взнос, тоже были свадьбы или похороны, нельзя было принести им меньше, чем когда-то принесли они сами.

Нигде не было такой привилегии в мире — быть единственным в мире несвергаемым президентом, президентом стола — тамадой, и нигде не было такой устной неостановимой поэзии, как тост.

Нигде столькие народы не жили так дружно, как еще недавно в Грузии, хотя иногда по-свойски подкалывали друг друга, больше шутками, чем кинжалами.

Сами грузины были разделены, и слово «грузин» было объединяющим. Грузинская нация была как геологический срез Кавказа. Красноречивые, артистичные карталинцы. Хитроумные, предприимчивые мингрелы. Примыкающие к мингрельской языковой группе мудрые, несколько настороженные лазы, невеликие числом в Грузии, но многочисленные в Турции, где их называют «гурджи». Упрямые, но простодушные кахетинцы. Замкнутые, гордые тушетинцы. Пшави, в невесомых кожаных чулках, обнимающих ногу, мягко ходящие по горным тропинкам и облакам, но зато твердые в слове чести. Мтиули — отважные воины и зоркие охотники, попадающие в глаз лисе, чтоб не испортить

шкуру. Рассудительные тугодумы лечхумцы с бесполезной недоверчивостью к политическим обещаниям. Жизнерадостные, легко воспламеняющиеся имеретинцы. Трудно воспламеняющиеся, но уж если воспламенялись, то взрывающиеся, голубоглазые аджарцы, в чьих домах можно найти и Библию, и Коран. Высеченные из скал величавые хевсуры. Молчаливые сваны, грозные, как собственные башни-дома, в которых они живут. Месхетинцы, выросшие у подножий древних храмов и похожие на сошедшие с их стен фрески. Рачинцы с газырями, набитыми патронами и шутками. Осторожные неторопливые гурийцы, не делающие зря ни шагу, не роняющие зря ни слова. Наверно, поэтому в Грузии у власти было так много гурийцев. Про них даже шутили: «Крик новорожденного в Гурии — это крик, как минимум, секретаря райкома».

Грузинский язык похож на грохот реки, перекатывающей камни».

И, может быть, самая большая удача романа — глава «Пиджак с чужого плеча». В частности, рассказ о Бродском, именуемом Любимцем Ахматовой. В жизни все уже было — известные поступки и слова с обеих сторон. О, эта фраза: «Я не нуждаюсь в пиджаках с чужого плеча»!

У Льва Лосева в «Меандре» найдем важную информацию на сей счет. Дело связано с кладбищем.

Лежим мы с Иосифом на кладбище...<...> в очень теплый день 22 октября 79-го года. Это был мой первый год в Нью-Гемпшире и первый из нечастых приездов Иосифа к нам в Дартмут. <...>

Мы бросили пиджаки на покрытую теплыми желтыми иглами землю, легли навзничь, глядели на синеву и тонкие нити бабьего (индейского) лета. Думаю, что наша болтовня мало отличалась от посвистывания синиц, чижигов и дятлов. Птицы праздновали над кладбищем хорошую погоду. Я совершенно не помню, о чем мы говорили, разговор был глубже и важнее своего содержания. Подслушать нас могли только немногочисленные Брэдли и Мак-Натты, усопшие, когда республика была еще молода, а то и подданные короля Георга III.

Мой пиджак, с которого потом я стряхивал желтые иголки, был с плеча Иосифа, а прежде с какого-то анонимного плеча. Иосиф недолюбливал новые вещи. Если покупал что-то новое, то старался поскорее обмять, обносить. Он приехал в НьюЙорк в середине 70-х, когда в Нижнем Манхэттене было полно

заброшенных зданий и трава пробивалась из трещин асфальта на пустых боковых улицах. Тогдашние молодые писатели и богема воспринимали экономический упадок элегически — поэтика руин. Снимали за гроши полуразрушенные мансарды. Одевались в поношенное из магазина Армии спасения или со склада армейских излишков. Пацифисты щеголяли в шинелях со споротыми погонами. Эта мода совпадала со вкусами Иосифа. В Гринвич-Виллидж, за углом от него, на Хадсон, был большой магазин поношенной одежды, где Иосиф обожал рыться. Зажиточные, но расчетливые ньюйоркцы, надев несколько раз за сезон новый твидовый пиджак или блейзер от Билла Бласса, освобождали место в своих гардеробах для одежды нового сезона. На Хадсон это добро, пройдя химчистку, продавалось по десять-пятнадцать долларов, то есть в пятнадцать-двадцать раз дешевле, чем новое. Иосиф покупал там пиджаки ворохами. Рассказывал мне, что иногда ходит туда с другим любителем старья, Алленом Гинсбергом (я думаю, это было единственное, что их объединяло). «Аллен купил себе смокинг за пять долларов!» (Я думал: зачем битнику смокинг?) В результате с Хадсон на Мортон-стрит перекечевало такое количество одежи, что, открывая свой гардероб, Иосиф рисковал быть погребенным под твидовой лавиной. Он щедро раздаривал это добро знакомым. В том числе приодевал и меня, что было очень кстати в те тощие годы. В марте 1980 года, когда задумывалось издание его трехтомника, я привез ему для отбора текстов свои четыре тома машинописного марамзиновского собрания (у него у самого не было). Мы не успели справиться с работой, Иосифу надо было ехать куда-то из Нью-Йорка, а мне возвращаться в Дартмут, он попросил оставить на несколько дней марамзинские тома. Я уезжал после него и оставил на томах записку: «Уезжаю в 8-ми пиджаках, в 2-ух штанах и в глубокой тревоге, что оставил в неверных руках драгоценные жизни итоги...» и т. д. Он потом сказал свой обычный комплимент: «Это лучшее, что вышло из-под твоего пера...» Не все, кому приходилось такое от него слышать, обращали внимание на релятивность похвалы. Я сносил несколько Иосифовых пиджаков, прежде чем в одно прекрасное утро вдруг задумался, а почему, собственно говоря, они мне впору? Ибо я всегда полагал, что Иосиф больше меня — выше и крупнее...

Ответа на сей онтологически глубокий вопрос Лосев не дает.

Так что Евтушенко и тут попал в яблочко. К этой символической вещи — пиджаку — он отнесся по-окуджавовски, по окуджавовской песне:

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
«Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердьи молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

У Окуджавы это знак пожизненно непреодолимой неудачи, в то время как в мышлении Бродского эта вещь на ту минуту была метафорой неприемлемости успеха за чужой счет. Пиджак был чуть не царской шубой с чужого плеча или нобелевским смокингом. Разность культурных кодов вела к психологической несовместимости. Бродскому ведь не приходило в голову, что, даря эту одежду Лосеву, он его чем-то унижает, и Лосеву, разумеется, такое не мнилось, несмотря на осознаваемое неравенство дарований и статуса.

Нерядовая это вещь — пиджак!

В 1995-м роман «Не умирай прежде смерти» был признан лучшим иностранным романом года в Италии. Евтушенко тогда много написал в стихах. Боль одна — распад страны, свое скитальчество, осознание себя как «неисправимейшего СССР-ного человека».

Меня ты выплакала,
Россия,
как подзастрывшую в глазах слезу,
и вот размазанно,
некрасиво
по глыбе глобуса
я ползу.
Меня засасывают, как сахара,
слезам не верящие города.
Я испаряюсь,
я иссыхаю.
С планеты спрыгнул бы,
да куда?

(«Слеза России»)

Умный шестилетний сын говорит ему:

«Знаешь, папа,
с тобой может что-то случиться похуже.
Ты однажды возьмешь
и забудешь дорогу домой».

(«Где дорога домой?»)

Папа соглашается. Но домой — в Россию — рвется и приезжает часто. Еще в прошлом году он полюбил Брянщину. Тамошний стихолоб Евгений Потупов организует плавание по Десне и ее притокам. Ему посвящены строки несладкие — о себе:

И вдруг я оказался в прошлом
со всей эпохой своей.
Я молодым шакалам брошен,

как черносотенцам еврей.

Эти рейсы будут повторяться. Места дивные и древние. Здесь любил ходить босиком Даниил Андреев. «Роза мира» — вершина его трудов, но, может быть, он прежде всего лирик:

А. А.
Ты еще драгоценней
Стала в эти крошечные дни.
О моем Авиценне
Оборвавшийся труд сохрани.

Нудный примус грохочет,
Обессмыслив из кухни весь дом:
Злая нежить хохочет
Над заветным и странным трудом.

Если нужно — под поезд
Ты рванешься, как ангел, за ним;
Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.

Даниила, ветхозаветного праведника, мученика и пророка, обласкивали цари (Навуходоносор, Дарий), даже карая. Отнюдь не приближенный к трону, Даниил Леонидович Андреев отсидел десять лет, его жена Алла Александровна — почти столько же. Царской ласки не воспоследовало. Две неповторимые личности свела русская судьба в браке, заключенном поистине на небесах, — сюжет редкостный. Навуходоносору приснилось: камень, отколовшись от горы, разбил колоссального металлического истукана на глиняных ногах. Даниил разгадал сон царя относительно истукана. Но что значил тот камень? Загадка. «Столетье за столетьем пронеслося: / Никто еще не разрешил вопроса!» (Тютчев).

Евтушенко навестил и село Овстуг: там родился Федор Тютчев. Через годы он напишет, примеривая тютчевскую судьбу к своей:

Он покинул Россию,
казалось, на двадцать два года.

Но глаза понапрасну
по родине не моросили,
и еще существует у русских такая порода:
власть для них чужестранка,
но там, где они, —
там Россия.

(«Ошибка Тютчева»)

Пока суд да дело, летом 1995-го Евтушенко с Юрием Нехорошевым трудятся над сооружением Первого собрания сочинений. Основную тяжесть работы, по чести говоря, несет на себе Нехорошев. За ним — составление, подготовка текста и некоего своеобразного комментария, названного «Пунктир»: это выборки из всего того, что написано о Евтушенко самыми разными людьми, сторонниками и оппонентами. «Пунктир» намечено давать в конце каждого тома. Кроме того, Нехорошев — подводник и военный ученый, сотрудник курчатовского института — ведет научную редактуру, то есть собирает и сличает публикации, устанавливая окончательные варианты в согласовании с автором. Автор, собственно, является сам составителем своего Первого собрания. Дуэт и в некоторой степени дуэль составителей: приходится спорить. По ходу дела — собрание стало выходить в 1997-м (издательство «АСТ») — формы работы несколько менялись, оставаясь неизменными в главной цели — показать поэта в строгом хронологическом развитии. Случайное и неудачное по возможности отсеивалось. Евтушенко пересматривал всё им содеянное, внося правку, чаще всего — в виде сокращений.

У Первого собрания судьба мало сказать драматичная — оно отмечено трагедией: в декабре 2001 года среди бела дня на Патриарших прудах пулей в затылок был убит Виктор Яковлев, евтушенковский издатель, который сам предложил издать поэта в таком формате, когда другие дружно отказывались. Яковлев когда-то служил в «Вымпеле», привык к опасности и, занявшись бизнесом, ходил без охраны. «Если захотят убить — убьют». Прибыль от бизнеса вкладывал в покупку картин, строил дома для престарелых художников. Ему было тридцать шесть. Туманны Патриаршие пруды.

В августе того же 1995-го Евтушенко подготовил при содействии Ирины Лесневской на Общественном российском телевидении программу «Поэт в России — больше, чем поэт»: 52 снятых 26-минутных

еженедельных передачи, но в октябре их транслировать перестали. За недостаточностью рейтинга. Народ уже пичкали другими зрелищами.

Тем не менее:

Я приду в двадцать первый век.
Я понадоблюсь в нем, как в двадцатом,
не разодранный по цитатам,
а рассыпанный по пацанятam
на качелях, взлетающих вверх.

.....

И в поэзию новых времен,
в разливанное многоголосье
я по пояс войду, как в колосья,
и они отдадут мне поклон.

(«Двадцать первый век»)

В 1996-м Россия выбрала нового старого Ельцина. Дело было нечисто, но лучше ли было бы в противоположном случае — чище ли? Ельцин плясал на сцене рок-н-ролл, смахивающий на камаринскую, и с завязанными глазами размахнулся на поляне длиннющей дубиной, почему-то чудом попав в крошечную цель типа горшка на земле. Эх, дубинушка, ухнем. В минуты своей пляски он перенес инфаркт. Белый кок а-ля Клинтон с его буйной головы имиджмейкеры уже сняли, оставив то, что было достаточным для гривы уральского льва. А красив он был, мощен и мужествен, ничего не скажешь. Русская сказка.

Цех поэтов поучаствовал в президентской гонке более чем странно. В январе 1996-го, после недавнего получения Государственной премии, умер Юрий Левитанский. Его благодарственная речь на премиальной церемонии была протестом против войны в Чечне. Нарочно не придумаешь. Ни отказаться от премии, ни отмолчаться он не мог. Он был нищ и чадоплодовит. В молодости походил на Лермонтова, о чем у него были стихи. Прошел Отечественную. Дела его могли бы и поправиться, да не вышло. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино.

На заре пламенной юности Евтушенко писал, обращаясь к матери:

Вы ему подарили
любовь беспощадную к веку,

в Революцию
трудную,
гордую веру.

(«Поздравляю вас, мама...»)

Сейчас — так:

Что все революции!
После всей резни
снова ревы лютые
на полях Руси.

Поэма «Тринадцать». Орава люмпенов.

Идут тринадцать работяг.
Что впереди?
Опять Гулаг?
Вся Русь, где столько казнено, —
на Лобном месте казино.

На дворе черт знает что, сумбур вместо музыки. Идут тринадцать
(привет Блоку).

Кто его тринадцатый? Кто-то вроде Гапона. Поп да не поп. Тот да не тот. Постмодерн по-евтушенковски, а похоже на Кибирова времен «Кара-бараса». Проклят по пути октябрь-93. Вот вам и ответ на вопрос, где был Евтушенко во время пальбы по парламенту.

Царь,
по росту из оглобель,
что он сделал с трезвых глаз?
Демократию угробил
или грубо,
грязно спас?

.....

Франции не будет на Руси.
Словно выbleв из окна такси

всех непереваренных свобод —
русский девяносто третий год!

Можно подумать, во Франции было чистенько да ладненько.

На пути России — яма, и сама она — Яма. Кто же там впереди? Да наш Христос! Мелькнул Макс Волошин. Напрямую упомянут Блок Александр Александрович. Россиянин Христос ранен пулями с двух воюющих сторон. В яму роняет молодая мать — васильковоглазая девчоночка — девочку из коляски, а яму заасфальтируют.

Такая картина. Целковым отдает.

Не любит Евтушенко Ельцина. Ценит за август 1991-го, а всё остальное — как минимум под вопросом.

Белый флаг на землю выпал.
Сжались намертво уста.
Твой, Россия,
лучший выбор —
если выберешь
Христа.

Поэма «Тринадцать» датирована так: октябрь 1993 — май 1996. А в конце июня Евтушенко уже в Штатах. Спецкурс по Пушкину. Сорок пар молоденьких глаз.

Произошел потоп.
Квас патриотов скис.
СССР не усоп,
а перебрался в Квинс.

(«Спецкурс по Пушкину в Нью-Йорке»)

Он предпочел жить среди своих учеников в Квинсе, а не на Манхэттене с большинством своих более благополучных коллег, к тому же ему нравится широкий этнический состав студенчества, свойственный Квинсу. Юные слушатели его — из бывшего СССР.

Где-то в Оклахоме и Айове

неужели высохнет душа
капельками русской моей крови,
всосанными в землю США?

(«В американском госпитале»)

Написано 18 июля 1996-го. Не молодеем.

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ БЫЛО?

«Потеря Владимира Соколова была одной из самых тяжелых утрат во всей моей жизни и может сравниться по величине сразу образовавшейся пустоты лишь с потерей моего отца. Володя, несмотря на то что был лишь на четыре года меня старше, стал для меня одним из поэтических отцов».

Снег зимой 1997 года был Соколовским — поразительно белым, пухово-лебяжьим. «Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад». Вредили оттепели. Под ногами леденело. Люди падали, ломались. Январь шел трудно. 24-го не стало Соколова. Евтушенко прилетел на его похороны.

Радиостанция «Эхо Москвы» каждые 15 минут сообщала: в Театре эстрады состоится *вечер анекдота*, участвуют те-то и те-то, куча имен. Не до Соколова. Театр — в Доме на Набережной, который смотрит одним боком на местность, в прошлом именовавшуюся Болото. На Болоте казнили людей (и Емельку Пугачева) и торговали хлебом. Рядом — Лаврушинский переулок. Там Соколов провел последние годы, наконец-то под кровом благоустроенности. Лирик чистой воды, он — поэт Москвы, поэт сноса и слома, поэт старинных особняков, поэт Арбата — и старого, и нового, Спасоналивковского переулка, Тверского бульвара, его московская топонимика чуть не безгранична и естественным образом выходит за карту столицы. Здесь же — и какой-нибудь старенький Осташков. И озеро Селигер. Много чего.

Есть такое крылатое словцо: вся Москва. Ее-то и не было там, в Малом зале Центрального дома литераторов, где прощались с Соколовым. Нынешняя вся Москва поэту Москвы предпочла анекдотчиков. Советская эпоха дала много поэтов из народа. Их предсказал Гумилёв в стихах о Распутине «Мужик»:

Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.

Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси...

Предвосхищена есенинщина в самом грубом ее изводе: без Есенина.
Советский Гришка-у-трона жил барином. Гришка, не допущенный во дворец, попросту по-черному спивался.

Сейчас уже нет на свете ни Соколова, ни Смелякова, ни их прямых наследников, и вряд ли кого-то кровно заденет темный эпизод из жизни поэтов того круга. Богема по-советски вещь тяжелая, порой ниже плинтуса. Однажды они пили допоздна у Соколова, водки не хватило, Соколов побежал в ночь на поиски, а когда вернулся, застал свою жену в объятиях гостя.

У другого — того, своего —
Не спросил: что же все-таки было?
(До сих пор я не знаю, кого
Ты любила тогда, не любила.)

Чуть позже она покончила с собой, выбросившись из окна их квартиры на шестом этаже. «Ты камнем упала, я умер под ним». Катастрофу превозмогал тяжелейшим образом, пил, у него отнимались ноги, а когда встал, при ходьбе опирался на трость с подлокотником. У него были дети, сын и дочь, рано угасшие.

Но Соколов-то был действительно из народа. Из Тверской земли. Откуда Волга. Тонкое лицо свидетельствовало о благородстве его происхождения, о неистощимых возможностях России рождать, создавать такие лица. Он говорил о себе как о «скрывающем происхождение, что-то вспомнившем аристократе». Это далеко от черного злобства емелек и гришек. Явление Соколова неопровержимо подтвердило по крайней мере неслучайность на Руси такого события, как Блок. Это были не залетные птицы. Незримый инструментарий природного благородства — вот их поэтика, и отсюда — тот тип лирики, который исповедовал Соколов. Это высокая лирика, нота добра и света, без примесей пустопорожного обличительства и холодной расправы над маленьким человеком в самом

себе.

Над гробом Соколова собрались и те, кто не здороваются друг с другом. Это казалось обманом зрения, но это так. Казалось бы, он примирял всех и всегда. Казалось бы, даже оба государства — и советское, и нынешнее — оба государства, тяжесть которых он испытал, воздали ему должное: премиями, Государственной и Пушкинской.

Сейчас мало кто помнит, с каким трудом, с какой неохотой Советское государство выдавало из себя ту премию Соколову — со второго, если не третьего захода. Да, он издавался широко и слишком, может стать, регулярно. Книги разбухали, самоповторяясь. Он издал 25 книг и полагал, что за 40 лет творческой деятельности это немного (сам он насчитал у себя «может быть, двадцать» книг). Это была общая практика тех времен — власть прикармливала видных литераторов, вне зависимости от качества их продукции. Но между нею и Соколовым, при всем при том, была некая дистанция, изначально установленная все-таки им самим, независимой природой его дара. Да и личность его, бытовое поведение, трагические факты биографии, срывы и падения — нет, он не годился в номенклатурные образцы, никакая ретушь не срабатывала, даже если он порой, что называется, был не против. Он оставлял за собой право на неподконтрольность частной жизни и вел ее, эту жизнь.

А Болото, было время, содержало — или включало в себя — иные звуки: Государев сад, Царицын луг. Сейчас там фонтан и бронзовый Репин с палитрой, глядящий на Третьяковку, на Лаврушинский. Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад. В гуще людей, все еще посещающих выставки живописи, тихо идет к своему дому хрупкий Соколов с тяжелой тростью. Он гений, он князь, он вечен. Вечность? В ней нет времени.

Над его могилой на Новокунцевском кладбище — высокая белая береза. Наступила вечность Владимира Соколова.

Соколов повлиял не только на стихи Евтушенко, но и на его жизнь в какой-то мере: в далеком 1952 году, будучи секретарем приемной комиссии, помог поступить в Литинститут юнцу без аттестата зрелости. Каким способом, история умалчивает.

Однажды он обронил в кругу застолий:

— Что вы все ругаете Евтушенко? У него и в проходных стихах об острове Даманском есть изумительная строчка «На красном снегу уссурийском».

Соколов всё видел и понимал в Евтушенко.

Мой товарищ, сегодня ночью

На Четвертой Мещанской с крыши
Снег упал и разбился в клочья
Под надорванною афишей.

Как живешь ты? Куда ты скачешь?
Как от аха летишь до вздоха?..
Где и что про тебя не скажешь —
Получается очень плохо.

Говорю, удивляя граждан,
Обожающих просторечья:
Я люблю твои лица. В каждом
Есть от сутолоки столетья.

Но одно лишь неоспоримо,
Навсегда, сквозь любые были:
То, единственное, без грима,
За которое полюбили.

Не отделаешься от славы,
Даже если томит дорога.
Говорят, ты играешь слабо —
Отсебятины слишком много.

Это к лучшему. Так! И выше.
Облака как немая карта.
Вьются клочья большой афиши,
Как последние хлопья марта.

В повседневности лирик Соколов бывал разным. Вел себя просто, не закатывал глаз, не пел соловьем, но мефистофельская гримаса сарказма с оттенком брезгливости не была ему чужда. Ум его был отмечен холодком иронии.

Соколов редко писал прозу. Но случилось так, что как-то на досуге расщедрился — и не лишил себя удовольствия поиронизировать всласть, но по-соколовски изящно, не в лоб, в духе импресьюна, присущего его стихам. Этот набросочный этюд, названный «Правда, правда и только правда», выглядит как нечто черновое, конспективное, но сказано всё:

*Только не показывайся никому на глаза...
Я шел по улице, стараясь не показываться
никому на глаза. На меня все оглядывались.*

Из В<ладимира> С<околова>

Женя сказал: «Как! У тебя нет часов?!» — Завел машину. Я по-дворнически придерживал одну половину ворот (чтобы не хлопнула по лимузину).

— Что тебе привезти из Москвы? Только не говори о соленых помидорах, ими забит весь подпол.

— Красных помидор...

— Само собой. Ну чего бы тебе хотелось: угрей, икры, воблы, семги, лососины? Ну что ты вообще любишь? Хочешь датского пива в банках? Неужели ты совсем ничего не любишь?

— Лососины...

— Ну а выпить? Что бы ты хотел выпить: джин, ром, «Наполеон», э-э...

(Чтобы не ударить лицом в грязь):

— «Скотч Виски».

— Отлично. Сигареты? «Кэмел», «Мальборо», «Вита Нова»? «Столичные» у меня на столе...

— Ну, этих, с ментолом...

— Прекрасно! Будет сделано.

Взмах рукой. Уехал.

К вечеру.

— Хочешь, я тебе коктейль сделаю? Да брось ты эту «Облепиху». Я ведь лучший мастер в Москве. (Задумался. Пауза.) Да ведь, пожалуй, и не только в Москве... Володя! Ты пил когда-нибудь джин с тоником? Только честно, пил? Вот погоди! Не открывай. Не открывай, я сам все открою.

Почему ты не разулся? Я тебе тапочки положил у дивана. Душ не забыл принять? А то у меня Петька иногда голову намочит...

Вот гляди: две пропорции джина, две — тоника, льда два квадратика... Т-а-ак. Или тебе три порции джина, одна — тоника?

Что это, что за тоник? А! Индийский. Ничего-ничего... Хороший тоник. Они тоже умеют. Так!.. Хочешь, я тебе две ягодки туда брошу? Тогда я себе брошу.

Пошли туда, где телевизор? — Думает, я увлекаюсь футболом. Глупости.

(Переходим туда, где телевизор.)

— Володь, по-моему, я всех уже окончательно запутал, а?

(Смеется, очень хорошо смеется. Как двадцать лет назад.)

— Почему без соломинки? Смотри-смотри! Вот это класс. Не важно — гол забит, не забит... Как это было!

Так вот, Никсон у меня спрашивает... А ты что, развелся? По-моему, ведь это у тебя какой-то кошмар был.

Да! Послушай, что я утром тебе написал.

(Взбегает наверх, сбегает обратно. Садится. Нежно смотрит на меня. Вздыхает.)

Слушай!

Владимиру Соколову.

Травка зеленеет, солнышко блестит.

Все во мне мертвеет...

(Читает стихотворение. В телевизоре орут: — Шайбу! Шайбу!.. — Выключает. Начинает сначала. Дочитывает... Вдруг замечаю, смахивает слезинку каким-то оперативным жестом... Я пальцами закрыл глаза.)

— Смотри, как быстро тает лед. Соломон! Соломон!

Пудель нехотя вбегает с выражением: — Ну что еще?

— Гулять, гулять, Монечка, гу-у-лять.

Дикий восторг.

— Володенька, только не плащ. Вот Галина телогрейка. Так. Соломон!.. Давай хлопнем на дорогу.

(Я хлопнул. Он забыл. Оказывается, крестик потерял.)

— Ну ничего, я его, наверное, на ветку повесил, когда утреннюю разминку делал. А ты занимаешься гимнастикой?

Утром.

За кашей «геркулес».

— Хочешь, я тебе мяса поджарю? Марья Семеновна, курица у нас есть? Вот правильно, правильно, бульончику, бульончику! Ты ведь в чашке любишь? Евгений Александрович все помнит, все! А тебе не кажется, что Рождественский окончательно уже, а?..

Ну почему ты ничего не любишь?

Я потрясен твоей книжкой. Мои стихи против Фета к тебе никакого отношения не имеют. Да ведь я там же и написал, что я не против Фета! Ты единственный поэт, которому я завидую... Ты теперь будешь кашу? Да, знаешь, что я Брежневу написал?.. А я, пожалуй, травку с крабами.

(Травку съел, а крабы, очевидно, как-то вылетели из головы.)

— Слушай! Ты умрешь со смеху! Когда я тебе красные помидоры на рынке выбирал... Кстати, учти, что я хиромант. Дай мне руку. Да нет, не правую. По правым цыганки гадают. Левую.

Гляди в окно.

(Держит мою руку.)

Двадцать пять лет тебе еще хватит?

(Себе он, правда, позавчера предназначил еще тридцать три, но у меня не может быть к нему черного чувства.)

— Теперь погляди на свою левую руку!

На моей левой руке — золотые часы «Полет».

— Теперь-то уж ты их не снимешь. Ну, слушай! Когда я тебе на рынке красные помидоры выбирал, все время какой-то жирный затылок передо мной болтался. Я влево — он влево, я вправо — он вправо. И верещал каким-то бабьим гнусным голосом.

Мне надоело, и знаешь, что я сделал? Хвать его под правое плечо. Он — вправо. А я слева вскользь у него по руке, и — часы в кармане.

Ведь последний-то раз я снимал часы в Нижнеудинске, в тысяча девятьсот сорок втором году...

Володя, ну почему ты ничего не ешь. Кашу хоть съел?

Смотри, съем все помидоры. Знаешь, я что-то последнее время никак не могу остановиться...

— Тикают? Давай по банке датского пива? Марья Семеновна, где открывалка?

Нашла ведь старуха крестик, и знаешь где? В джинсах, в штанине, и как он мог туда завалиться? Ты суеверный? Галя тоже. И я... все больше и больше.

Ну конечно, Межиров идет, вот клянусь тебе, что приехал по делу.

(Когда я через несколько дней сидел на лавочке в ожидании электрички прелестным загородным утром — Женя еще с вечера уехал в Москву, твердо веря, что и я наутро уезжаю в Ялту, — обнаружил у себя в кармане одну из его авторучек. Чтобы не забыть, должен заметить, что я самодовольно ухмыльнулся: ведь это была не менее классическая кража.)

Датировано: *Переделкино — Москва, июнь 72.*

Далекий 1972-й — еще при Гале.

Пожалуй, особенно впечатляет евтушенковское привирание о дареных часах. Необходимость смирить широкий жест заведомой чепуховиной, дабы все это смотрелось легко, и весело, и необидно.

Соколовский этюд выглядит черновиком евтушенковского цикла стихов на тему их встречи:

Мы друг друга не предали,
хоть и жили так розно.
Две судьбы — две трагедии.
Все трагедии — сестры.

Ты сутулый и худенький.
Ты, как я, безоружен,
и прекрасен на кухоньке
холостяцкий наш ужин.

(«В мире, нас отуманившем...»)

У Соколова есть изумительная «Новоарбатская баллада» —

редчайший в русской поэзии двухстопный ямб с дактилической и гипердактилической рифмовкой в таком сочетании. Рядом с «Новоарбатской» — стихотворение «Попробуй вытянуться...». У Евтушенко нечто похожее — «Церквушек маковки...» (вторая строфа и частями дальше), «Женщина и море». Сравним даты. «Попробуй вытянуться...» и «Новоарбатская баллада» — 1967-й. «Церквушек маковки...» — 1957-й, «Женщина и море» — 1960-й. Там есть некоторая разница ритмических рисунков и самого строфостроения, но общая картина одноприродна. Евтушенко называет Соколова учителем. Классический случай винокуровской формулы «Художник, воспитай ученика, / чтоб было у кого потом учиться».

Евтушенко написал о нем много стихов, а после прощания на Новокузнецком — «На смерть друга».

Когда я встретил Вл. Соколова,
он шел порывисто, высоколобо,
и шляпа, тронутая снежком,
плыла над зимней улицей «Правды»,
и выбивающиеся пряди
метель сбивала в мятежный ком.

Он по характеру был не мятежник.
Он выжил в заморозки, как подснежник.
Владелец пушкинских глаз прилежных
и пастернаковских ноздрей Фру-Фру,
он был поэтом сырых пленниц
и нежных ботишков современниц,
его поэзии счастливых пленниц,
снежком похрупывающих поутру.

В метели, будто бы каравеллы,
скользили снежные королевны
и ускользали навек из рук,
и оставался с ним только Додик —
как рядом с парусником пароходик,
дантист беззубый, последний друг.

Висели сталинские портреты,
зато какие были поэты!

О, как обчитывали мы все
друг друга пенящимися стихами
в Микишкин-холле, или в духане,
в курилке или в парилке в бане,
в Тбилиси, Питере и в Москве!

Рождались вместе все наши строчки,
а вот уходим поодиночке
в могилу с тайнами ремесла.
Но нам не место в траурной раме.
Непозволительно умиранье,
когда поэзия умерла.

На наши выстраданные роды
ушло так много сил у природы,
что обессилела потом она,
мысль забеременеть поэтом бросив.
Кто после нас был? Один Иосиф.
А остальные? Бродскоголосье —
милые люди или шпана.

Мы все — приемыши Смелякова —
Жана Вальжана века такого,
который сам себе гэбист и зэк.
Мы получили с лихвою славу,
всю, не доставшуюся Ярославу,
но с нами вместе и он по праву
войдет в безлагерный новый век.

Еще воскреснет Россия, если
ее поэзия в ней воскреснет.
Прощай, товарищ! Прости за то,
что тебя бросил среди разброда.
Теперь — ты Родина, ты — природа.
Тебя ждет вечность, а с ней свобода,
и скажет Лермонтов тебе у входа:
«Вы меня поняли, как никто...»

Странным образом в этом реквиеме слышен подспудный призыв Бродского — из его стихотворения «На смерть Жукова», при разнице исходного размера, та ритмика, трудноватый ход стиха. Есть и полная мелодическая аналогия.

Бродский:

Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

Евтушенко:

А остальные? Бродскоголосье —
милые люди или шпана.

А странным ли образом? Стихотворение Евтушенко написано 25 января — год тому назад умер Бродский. Это тяжелое сближение, намеренно или невольно, вложено в стих, написанный наскоро. Мучительные отношения с Бродским нашли выход в плаче по ближайшему другу. «Ты не знаешь, что тебе простили» — строка Ахматовой, больше всего ценимая Бродским. Это и произошло в стихотворении Евтушенко.

Бродский насыщает свое «На столетие Анны Ахматовой» той же мыслью, основной в христианской этике:

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острое и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Многолетняя распря с Евтушенко достаточно подробно вышла наружу в разговорах Бродского с Соломоном Волковым. Долгие годы Бродский непримирим и вполне не справедлив. Что же пробилося на свет под занавес, когда он понимал, что болезнь сердца, усугубленная безостановочным курением, подает ему более чем серьезный сигнал? В последнем диалоге с Волковым слышится эта нота — именно последняя.

Волков. Вы знаете, Иосиф, я уверен, что в какую-то будущую идеальную антологию русской поэзии XX века войдут при любом, самом строжайшем отборе, по десятку-другому стихотворений и Евтушенко, и Вознесенского.

Бродский. Ну это безусловно, безусловно! Да что там говорить, я знаю на память стихи и Евтуха, и Вознесенского — думаю, строк двести-триста на каждого наберется. Вполне, вполне.

Юрий Нехорошев свидетельствует:

Иосиф Бродский умер 27 января 1996 года в Нью-Йорке. В этот недобрый январский вечер в кабинете моей московской квартиры Евгений Александрович и я уже который час заняты добрым творческим трудом — корпим над рукописью первого тома предстоящего восьмитомника, доводя «до ума» его стартовую книгу. Моя жена, в течение нескольких часов передвигавшаяся по квартире чуть ли не на цыпочках, не смея потревожить наш творческий процесс, неожиданно резко появилась в дверях: «Умер Бродский. Только что сообщили «Известия».

Таким Евтушенко я еще не видел — он окаменел, сник, потерял всякий интерес не только к нашему занятию, но и вообще ко всему, что говорилось и происходило в эти минуты. О продолжении работы нечего было и думать, как и о предполагавшемся ужине после трудов праведных. Сели на кухне, молча помянули ушедшего поэта. Евтушенко был убит, будто из жизни безвременно ушел его близкий друг. <...> Мы, конечно, хорошо знали о сложностях их взаимоотношений, но в этот вечер Евгений Александрович не вспомнил об этом,

напротив, исключительно высоко оценил его как одного из крупнейших поэтов современности, говорил мало, с длинными паузами, надолго уходя в себя. Думалось о бренности, судьбе, невозможности повернуть ход событий вспять. Евтушенко, погоревав, помянул покинувших нас один за другим в последнее время стольких друзей, чей уход, посетовал он, продолжает опустошать жизнь и усугублять одиночество, затем молча собрался и уехал, так больше и не вспомнив о прерванной и очень важной для тех дней работе. Он был уже на пути в Америку, где посетил гражданскую панихиду Бродского.

Благородство Соколовской поэзии очертило на его снегу тот круг, в котором неотменимо присутствуют Пушкин, Пастернак, Смеляков, Бродский — все они смертью или рождением связаны с русской зимой, с символикой отечественного стихотворства.

ДОРОГА ДОМОЙ

Жить он стал на две страны, и неизвестно, где дольше. Его наезды в Россию — или, скажем так, в страны СНГ — походили на гастроль, и он действительно часто выступал. За кулисами оставалось рабочее время переделкинских сидений над книгами и рукописями тех, кого отбирал для антологии, и над собственными рукописями: стихи и проза приходили в рабочем порядке. В прошлом, 1997-м великий труженик Семен Липкин надписал ему свою книгу «Квадрига»: «Евгению Евтушенко, который заслужил свою мировую славу трудом».

Внешне все это выглядело сплошной гастролью и чаще всего выражалось в жанре интервью. Евтушенко обильно и охотно давал их. Судя по количеству этих публичных бесед, он оставался вполне медийной фигурой и никакого упадка популярности не просматривалось.

Нам предстоит — не первый раз — пробежать по этому жанру в евтушенковском исполнении. В минимальном количестве, ибо охватить эти тексты в полном объеме невозможно, да и не нужно. Надо сказать, он — пусть повторяясь, на некотором автомате — овладел жанром мастерски, и каждый раз извлекает на свет Божий деталь или подробность, без которых даже известный факт неполон. Жанр интервью стал формой мемуаров в сочетании с изложением взглядов на современность, в основном политическую, но и о текущей словесности тоже приходилось говорить, и он делает это весьма пристрасно.

Аналоги есть. Скажем, 17 июля 1997-го в «Вечерней Москве» Виктор Некрасов поминал Евтушенко так: «Его слава была подобна гагаринской. С той только пикантной разницей, что Гагарин был в официозе, а он — «то в Непале, то в опале». Подобные штрихи и мазки присущи и евтушенковским интервью. Его интервью нередко слишком многословны и при цитировании нуждаются в «усушке».

Газета «Труд» за 31 января 1998 года посвятила полосу «Культура» беседе Евтушенко и питерского поэта Ильи Фонякова: «Евгений Евтушенко: Я не преподаю скромность, это не мой предмет». Только что вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров в Кургане в издательстве «Зауралье» книга Евтушенко под названием «Непроливайка». Но старые знакомцы увлеклись воспоминаниями и говорили в основном не о книге и ее содержании. Фоняков — опытный газетчик и тотчас находит верную ноту:

«— Как раз недавно рассказывал внуку, обладателю многочисленных шариковых и гелевых авторучек, про эту чудо-чернильницу нашего военного детства, которую можно было таскать в школу в тряпичном мешочке, не рискуя запачкать учебники и тетрадки! Памятливость на подобные «мелочи быта» изначала составляет существенный компонент обаяния поэзии Евтушенко. Так было всегда, начиная с первых публикаций, с первых книг, с первого широкоформатного, ни в какие полки не вмещающегося сборника «День поэзии», который мы вместе продавали и надписывали читателям в 56-м году в книжном магазине на Петроградской стороне в Ленинграде.

— С Питером у меня отношения особые... Всей моей жизнью связанный с Москвой, я люблю повторять про себя строки Георгия Адамовича: «На земле была одна столица, остальные просто города». Это ведь о Петербурге. В русской советской поэзии всегда звучала особая «ленинградская нота»...

— Я предпочел бы говорить, по традиции, о «ленинградской школе».

— Школа, нота — разница не принципиальная. Казалось бы, я очень далек и от того, и от другого. Но я люблю «далекое», люблю то, чего не могу или не умею сам. Люблю Пастернака, хотя непосредственных точек соприкосновения с его поэзией у меня почти нет. Так и с «ленинградской нотой». Развивая вроде бы совсем другую традицию (Маяковского тут вспоминают, я думаю, все-таки не случайно), я всегда был и тайным учеником Пушкина, Блока, Ахматовой... Не случайно, наверное, и многих своих друзей я обрел в этом городе. Здесь познакомился с художником Олегом Целковым, поэтом Евгением Рейном. Да ведь и с тобой — тоже...

— Нет, не получается у нас «правильного» интервью по схеме «скажите пожалуйста, уважаемый Евгений Александрович...» Зная друг друга более сорока лет, трудно притворяться, что увиделись впервые.

— С тех пор много чего было в моих отношениях с вашим городом. И не только идиллического. У вас ведь была в свое время весьма специфическая идеологическая атмосфера, и я довольно быстро стал для кого-то «персоной нон грата». Все раздражало: «Ах, какие у него ботинки! Какие узкие брюки!» Так и при Романове вашем (первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. — И. Ф.) было, так и раньше — при Толстикове (занимал тот же пост. — И. Ф.)... Помню свой «безафишный», по сути полуподвальный, вечер... В «Юбилейном»! А в Доме композиторов нам с Окуджавой просто-напросто сорвали выступление, дружинников выпускали — «от имени рабочего класса...»

— Существует мнение, что людям нынче просто не до поэзии. Вся

энергия души уходит на другое, на борьбу за выживание...

— Не могу согласиться! Минувшим летом у меня было шестнадцать выступлений на Урале и в Сибири, перед людьми, которые по полгода не получали зарплаты. И они говорили мне о том, как трудно стало достать хорошую книгу. Жажда высокого, серьезного слова существует, она в природе человека.

Ты знаешь, не так давно мы потеряли Владимира Соколова, одного из лучших русских поэтов нашего времени. Бывший министр Евгений Сидоров дважды ходатайствовал о выпуске его собрания сочинений. Ответ стереотипный: «Денег нет!»...»

Разговор происходит в Петербурге. Вовсю раскручивается дикая интрига против мэра Анатолия Собчака. Циркулируют слухи: Собчак опасен для Ельцина как конкурент, хотя выборы прошли. Его обвиняют в коррупции и всех остальных смертных грехах, заводят уголовное дело, бывший мэр детективным образом улетает за границу.

Через некоторое время Евтушенко навестит Собчака в парижской больнице:

Но он, вдали от всех рогатин
здесь наблюдаемый врачом,
непоправимо элегантен,
неумолимо обречен.

.....

Смакуя слухи-однодневки,
злорадствуют кому не лень,
но бродит где-нибудь у Невки
его оболганная тень.

(«Мэр Санкт-Петербурга»)

Аллюзия на строки Пушкина:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Это о Наполеоне. Не больше и не меньше. Собчак напишет книгу «Двенадцать ножей в спину», где скажет:

...они надеются на то, что годы пройдут и все в конце концов забудут и Собчака, и его злополучное «дело». Об этом лучше всего написал Е. Евтушенко, который навестил меня в Париже.

Двадцатого ноября 1998 года убивают Галину Старовойтову, депутата Государственной думы, в подъезде ее петербургского дома, поздно вечером.

Она лежит с пробитой головой,
оплаканная скрытницей-Невой,
на лестнице, где слышен кошек вой,
где Достоевский бродит сам не свой
и, как незванный в Петербурге гость,
читает надпись на стене: «Спайс Гёрлс».

(«Контрольный выстрел»)

В декабре 1998-го, отмерив маршрут НьюЙорк — Франкфурт — Тель-Авив, он на лету вспомнил о встрече с Аллой Пугачевой на переделкинском кладбище. Прежнее раздражение сменилось на дифирамб.

Я люблю тебя,
русская Пьяф,
соловьяха-разбойница и задавала,
над могилой поэта
притихшая, будто монашенка, Алла.

(«Алла»)

В будущем на его лукаво-наивный вопрос: «Алла, а что такое неформат?» — она ему ответит:

— Неформат — это ты.

В марте 1999-го он уже летит в Кельн. В самолете ему привидится Лев Копелев, обходящий немецкое кладбище с могилой Генриха Бёлля. Новая песня на старый лад:

Своих идеалов копия,
из коммунистов изгнан,
идет по кладбищу Копелев
призраком коммунизма.

(«Последний идеалист»)

В былые времена оный призрак бродил по Европе. Теперь не так.
Клинтон бомбит Белград. Что Америке надо на Балканах? У нее самой
творится черт-те что. В Оклахоме — Божий бич: торнадо! В Оклахоме!

В Белграде света нет. Нет света в Оклахоме.
Торнадо — как бомбежки мрачный брат.
Коровы голосят в пылающей соломе —
по-сербски, по-английски говорят.
Нет света столько лет в моем сожженном доме,
где по-грузински в полумертвой дреме
и по-абхазски чуть скулит мой сад.
Давно в России света нету, кроме
старушками спасаемых лампад.

(«Бомбежка Белграда»)

Всё едино.

Тысячелетье на исходе. Евтушенко, похоже, упирается — он туда не
спешит. Это он-то, чемпион по бегу в русской поэзии. В спорах о сроках
миллениума он занимает сторону тех, кто считает подлинным рубежом
времени 2000 год, и лишь тогда пишет соответствующее стихотворение
«Конец тысячелетья».

У Льва Озерова было стихотворение «Я пришел к тебе, Бабий Яр»,
подсказавшее интонацию евтушенковского «Бабьего Яра». Однако больше
на озеровскую строку похожа недавняя: «Я приду в двадцать первый век».
Неужели в подсознании будущее бродит призраком неведомого несчастья?

1999 год он провожает ощущением нешуточным, хотя и в шутливой
оболочке:

Я — временный поэт.

Всегда — вот мое время.
Мой первый поцелуй был в Китеже на дне.
Свиданья назначать
могу я в Древнем Риме
и в будущей Москве
у памятника мне.

На пороге нового тысячелетия он счел необходимым высказаться на тему, для поэтов, мягко говоря, неоднозначную: о тех, кто пишет про стихи.

Их не унижу словом «критик».
Хочу открыть их, а не крыть их.
Я чуть зазнайка, но не нытик,
их слушался, а не ЦК,
и сам я завопил горласто
в руках Владимира Барласа
от пробудившего шлепка,
и Рунин мне поддал слегка.

Предостерег меня Синявский,
чтоб относился я с опаской
к прекрасной даме — Братской ГЭС,
и на процессе том позорном
меня благословил он взором,
пасхальным, как «Христос воскрес!».

Рассадин, Аннинский и Сидоров,
сбивая позолоту с идиолов,
мне идиолом не дали стать.
Средь цэдээловского торга
и скуки марковского морга
их отличал талант восторга
с талантом нежно отхлестать!

А мой щекастый тезка Женя
и в министерском положеньи,
как помощь скорая, был быстр.
Как столько должностей он вынес!

Он вписан в твою книгу, Гиннесс,
как незамаренный министр.

Когда стервятница молодая,
шестидесятников глодая,
моих «Тринадцать» разнесла,
то сдержанно многострадален
поставил мне «пятерку» Данин
за страсть превыше ремесла.

(«Лицей»)

Дорога домой. Какой дом? Не тот ли, что в Зиме? До Евтушенко дошли слухи, что его родной дом на станции Зима стоял заколоченный, пока его не начали разворовывать. Соседи стали разбирать дом на дрова. И где? В Сибири, среди лесов. Были написаны стихи, которые передали по радио, напечатали в «Комсомолке». Его услышали. Он договорился с властями города. Дом спасли, создали музей поэзии. В интервью газете «Вечерний клуб» от 13 июля 2001 года он говорит: «На станции Зима собираются открыть дом моего детства, восстановленный земляками. Там будет поэтическая библиотека. К открытию дома приурочен первый Сибирский международный фестиваль поэзии. Вместе со мной туда собираются Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Олег Хлебников, Олег Чухонцев, несколько зарубежных поэтов. Вылет запланирован на 20 июля, если не помешают события, связанные с очередным наводнением».

Восемнадцатого июля проведя вечер в Политехническом, 22-го Евтушенко отправился в Сибирь — на станцию Зима, потом в Иркутск, Братск, Ангарск.

На фестиваль приехали 25 поэтов из разных стран. Устроил фестиваль сибиряк Анатолий Кобенков, на редкость милый человек и поэт хороший. Кое-кто помнил его забубенную молодость и сильно удивился невесть откуда взявшимся организаторским дарованиям. В «Новой газете» (2003. 14–16 июля) Кобенков сообщает:

Нас наградили Евтушенко, позабыв объяснить, что с ним делать — как спорить или соглашаться, любить или не любить. Правда, последнее, про то, как не любить его, нам, помнится, объясняли, однако делали это столь же нелепо, как в случае с

Пушкиным, любви к которому, наоборот, беспрестанно требовали...

Кобенков рассказал, как один иркутский стихотворец выкрал из зиминского дома почти продырявленный ржавью горшок и водрузил его на свой стеллаж. Се предмет, на коем восседал сам Евтушенко! При перемене погоды воришка стал честить Евтушенко почем зря и где ни попадя.

Одиннадцатого января 2002 года умирает мама. Газета «Труд» от 15 января в заметке «Прощание с матерью» пишет:

Умерла Зинаида Ермолаевна Евтушенко, мать знаменитого поэта, до конца своих дней остававшаяся самым близким ему человеком. Евгений Александрович посвятил ей немало теплых строк. «Я благодарен матери, — писал он, — за то, что она привила мне любовь к земле и труду». К ее образу поэт обращается в поэме «Мама и нейтронная бомба». А год назад Зинаида Ермолаевна пришла вместе с сыном в Литературный институт, где ему был вручен диплом об окончании вуза, из которого он был когда-то исключен за выступление в защиту романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Казалось, что этому символическому событию она была рада больше всех, потому что справедливость восстановлена... Журналисты «Труда» выражают искреннее соболезнование Евгению Александровичу в связи с кончиной матери.

Сам он об этой смерти не написал ни строки. Оплакав многих, он не мог писать в таких — исключительных — случаях. Самые близкие, уходя, вызывали у него приступ удушья. Напрасно ерничали анекдотчики.

Звонят Евтушенко:

— Женя, умер N.

— Да ты что! Пойду писать стихи.

Ректор Литературного института в те годы Сергей Есин свидетельствует (Независимая газета. 2003. 17 июля):

Когда ему вручали диплом, его мать — девяностолетняя знаменитая продавщица газет в киоске у Рижского вокзала сказала: «Ну, наконец-то и Женя получил диплом о высшем образовании. Советское высшее образование лучшее в мире».

Еще одна тяжелейшая потеря — смерть Альберта Тодда. Евтушенко писал ему при жизни, когда Альберт заболел (1996):

Мне жизнь все менее мила,
но драгоценнее, пожалуй.
Не умирай раньше меня,
мой друг седой, мой волк поджарый.

.....

Ты не однажды меня спас
на теплой к нам войне холодной,
но как мне холодно сейчас
в свободе нашей несвободной.

Альберт Тодд вступился за его репутацию, в частности, в то время, когда Евтушенко поносили за двойной стандарт «Бабьего Яра»: мол, один вариант на родине, другой навывнос. Евтушенко приводит в письме Ростроповичу от 3 июня 2002 года слова Тодда из его исследования по славистике: «Несколько русских людей, живших в США, пали жертвой этой дезинформации и сами способствовали распространению этих ложных сведений, написав письмо в «НьюЙорк таймс». В этом письме они утверждали, будто в «Литгазете» был напечатан компромиссный вариант «Бабьего Яра». А ведь они, казалось, должны были первыми понять, что это ложь. Чуть позже в воспоминаниях одного музыканта (записанных несколько лет спустя в форме бесед с Шостаковичем) было напечатано ошибочное сообщение о встрече поэта и композитора, в ходе которой был создан новый вариант «Бабьего Яра», «вдвое длиннее первого». Именно этот вариант, считает мемуарист, и был впоследствии опубликован в «Литгазете». Это уже чистый плод фантазии. В поисках истоков всей истории мы просмотрели комплект «Литературной газеты» и русскую «Летопись газетных статей» и ничего не нашли...»

В том письме Евтушенко позвал Ростроповича в Москву — продирижировать «Тринадцатую» и «Казнь Степана Разина» на евтушенковском юбилейном концерте в Кремлевском дворце съездов. Этого не произошло. Ростропович сослался на чрезмерную занятость и отвращение к той публике, что его не ценит. И по-своему правильно сделал. «Коммерсантъ» в отзыве на кремлевский концерт изобразил дело так: «Каким бы ни запомнили его (сочинение Шостаковича. — И. Ф.) наши родители, слишком конъюнктурным и искусственным выглядит оно сейчас,

претендуя на единственное место в истории. Памятник вымученного сотворчества двух слишком разных художников».

Однако симфония в том его юбилейном году была исполнена в двадцати разных странах, в том числе — при участии Евтушенко — в Карнеги-холле, уж не говоря про дворец в Кремле, когда весь зал встал после ее исполнения.

Движение Евтушенко на восток отечества было неудержимо. Специально для нашей книги пишет создатель лучшего дальневосточного издательства «Рубеж» и одноименного альманаха (реинкарнация харбинского издания 1920–1930-х годов) Александр Колесов:

Евтушенко приехал во Владивосток в августе 2003 года по моему приглашению — в рамках Тихоокеанских творческих встреч, которые под эгидой Владивостокского ПЕН-клуба я тогда проводил. В девяностых и начале двухтысячных в них принимали участие Андрей Битов, Евгений Рейн, оба Поповых — Валерий и Евгений, Лев Аннинский... И много кто еще.

А начиналось все в июле 2000-го, когда мы пересеклись с Евгением Александровичем в Иркутске, на Фестивале поэзии на Байкале. Фестиваль проводил мой близкий друг поэт Толя Кобенков, светлая ему память. Так вот, в конце фестиваля, когда нас прогуливали на теплоходике по великому озеру, не менее великий и известный русский поэт, поглядев на меня с хитрым прищуром, мечтательно произнес:

— Саша, а пригласите меня во Владивосток. Я на Дальнем Востоке тридцать лет не был...

Вскоре я нашел солидного спонсора для этого грандиозного поэтического трипа. Им стала сахалинская дочерняя компания американского нефтяного концерна «Эксон». Все дело в том, что один из ее топ-менеджеров, Майкл Аллен, был большим любителем русской поэзии.

За пару лет до этого, изготовив вкладчину постамент из нержавеющей стали, мы во второй раз, в холодном ноябре 2001 года, установили с Майклом во Владивостоке, на проспекте Столетия, отлитый в чугуне первый в мире памятник Осипу Мандельштаму (первая установка кончилась плохо: памятник изуродовали питекантропы с ломками. — *И. Ф.*).

— Поэт на сейфе, — скажет тогда на открытии памятника Андрей Битов...

Стало быть, я был продюсером, а по совместительству и ведущим этого двухнедельного поэтического турне Евтушенко по дальневосточным городам и весям. В Приморье классик выступал во Владивостоке и Находке, а на Сахалине — в Южно-Сахалинске и Шахтерске.

Мы опекали его вместе с председателем Приморского общества книголюбов Еленой Миначовой Назаренко.

Во владивостокском Доме офицеров, так же как и в южносахалинском кинотеатре «Октябрь», был полный аншлаг! В переполненном зрительном зале Офицерского собрания Евтушенко не только читал стихи, но и пел, причем акапелльно, с примой владивостокской филармонии. Публика же, пришедшая на выступление, была совершенно разномастной — от бабушек и студентов до бывших бандитов и партработников — словом, весь Владивосток. Потом был прием у командующего Тихоокеанским флотом адмирала А. Федорова, прогулка на катере мэра города по акватории Амурского залива, а Евгений Александрович то и дело задавал мне вопрос: «А к губернатору мы когда пойдем?» Ему было невдомек, что тогдашний наш губернатор Дарькин с поэзией никак не рифмовался...

По дороге в Находку, чтобы перевести дух, мы остановились у небольшого придорожного базарчика в селе Романовка. И когда классик подошел к одному из прилавков, пожилая торговка, оказавшаяся бывшей учительницей, буквально обомлела от увиденного:

— Ев-ту-шен-ко-о!!!

А в Находке тамошнее литературное сообщество чуть не разорвало на сувениры пестрый концертный наряд поэта. Сахалинская интеллигенция тоже пришла в полное неистовство от появления Евтушенко, и после выступления в шахтерском Доме культуры мы не обнаружили в гримерке знаменитые бордовые крепдешиновые штаны великого русского поэта...

Не меньший фурор Евгений Александрович произвел и в лучшем сахалинском ресторане «Корона», приведя в полный восторг его хозяйку Елену Будникову, когда мастерски приготовил свой авторский коктейль. Но никто не знал при этом, что экзотические ингредиенты для этого потрясающего напитка (благодаря ему Евтушенко приняли в мировую лигу барменов) мы с ним полдня искали накануне по всему Южно-Сахалинску...

Александр Архангельский в «Известиях» от 13 августа 1993-го комментирует событие прошумевшего юбилея:

Он победил своих «конкурентов», прошлых и нынешних, невероятной энергией всепоглощения, жадностью жизнелюбия... В холодноватом мире мер, расчисленного движения светил, в том числе и литературных, его пример — другим наука.

Стивен Кинзер в «НьюЙорк таймс» от 11 декабря 1993-го — «Русский поэт в Америке» — живописует:

В ярком, пестром пиджаке из Гватемалы, широкоплечий, сидящий лев русского слова — Евгений Евтушенко мерил шагами зал и срывался на крик, читая свои стихи, когдато потрясавшие мир. Одновременно он давал советы и делился своими взглядами на жизнь, любовь и литературу.

Но существует усталость металла.

Был еще и ноябрь 2002-го. Госпиталь в Талсе. Так помечено несколько стихотворений. Он по-прежнему пишет в любых обстоятельствах.

Я судьбы своей не охаю
ни в издевках, ни в клевете,
и ни в госпитале, подыхая
с болью пушкинской в животе.

Нет, я не был рожден дуэлянтом,
но, исклеванный вороньем,
если с Пушкиным не талантом,
так хоть болью одной породнен.

И поэзия не поученье,
не законов сомнительный свод,
а смертельное кровотечение,
как тогда, после пули в живот.

(«Не орлино, не ястребино...»)

На госпитальной койке поэта заносит совсем в другую сторону:

Милая,
милая,
минешь ты,
и мину я.
Миновать можно кровать —
сена нам не миновать!

(«Статуя Свободы»)

О чем говорит этот неуёма?!

Тогда в госпитале он написал стихи о статуе Свободы, где говорится о создании той статуи французами на фабрике в крошечном сельце.

В том сельце живет мой друг — Целков Олег —
под почти что русский скрип телег.

Через десять лет, в начале 2013-го Целков придет на его вечер в Париже. Евтушенко будет опираться на трость, нездоров, недавно из Центральной клинической больницы, накануне новой операции. Целков, знающий массу его стихов наизусть, прочтет вслух «Приходите ко мне на могилу...». На могилу, где нету меня. Оптимизм по-целковски.

В 2004 году Целков побывал в Москве. В «Независимой газете» от 22 октября арт-критику Вадиму Алексееву он изложил кое-что про жизнь и искусство. Посмотрим, каков в этом жанре — наш живописец.

Сейчас не время настоящих выставок, ибо выставка для сенсации мне не нужна. Мне не нужна такая выставка, на которую ломаются, как ломились на выставку Михаила Шемякина, когда рядом был, кажется, вернисаж шедевров из музея Бобур в Париже и выставка гениального итальянского художника Моранди. Но там почти никого не было. Я бы залез на стол и заорал: «Вон из этого зала, если рядом выставка Моранди. Вам не нужна живопись. Вы же оскорбляете меня, оказывается, вам совершенно плевать на искусство. Вы пришли просто поглазеть на человека, который прославился на Западе». Вот бы что я хотел сказать тем, кто пришел бы на мою выставку... Но, если честно, хотелось бы выставиться в Москве, но так, чтобы все прошло

тихо, без ажиотажа и чтобы выставка была интересна, прежде всего, художникам, а не случайным зевакам. Я не хочу циркового номера...

— Как вы считаете, почему на выставки Ильи Глазунова собираются тысячи и тысячи зрителей?

— Отвечу. Глазунов в своих картинах несет нечто абсолютно необходимое русскому человеку сегодня. Что именно? Объяснить трудно, может быть, даже невозможно. Но для меня очевидно, что есть в его творчестве некое свойство, которое привлекает к нему именно русскую публику. И свойство это совсем не шуточное. То есть я как бы в скобках замечу, что фигура Глазунова все время меня интригует и заставляет размышлять о русском искусстве. Хотя я должен сказать, что у Глазунова много, даже очень много слабых мест и как у художника, и как у человека. Но есть что-то такое, отчего дрожит, волнуется наша русская душа. <...>

Приходили как-то Сикейрос с Гуттузо, потом мы вместе пошли в ресторан. Историю с тем, что они переписали состав моих красок, Женя Евтушенко придумал для красоты — я чего-то такого не помню. Гуттузо жаловался Сикейросу, что был у старого Пикассо, который показывал ему ужасные картины, огромное количество — и все полная дрянь. Один жалуется другому на третьего, а Женя мне переводит! Еще раз я виделся с Гуттузо незадолго до его смерти, мы были у него вместе с Женей. У него был рак печени, и он об этом знал. Он пил довольно много, при мне часто прикладывался, но оставался трезвым, не качался, не был пьяным.

С Евтушенко и с Бродским у меня была не то чтобы дружба, мы просто часто встречались и относились друг к другу с симпатией. Женя жил на «Аэропорте», я в Тушине, а «Сокол» и «Аэропорт» рядом. А так как я большой любитель был и выпить, и просто побродяжничать, то часто к нему зааживал, а он летом часто приезжал ко мне на канал купаться.

Вот одна сценка. Я живу в квартире с родителями и сестрой. В восемь утра — я сплю, мать с отцом собираются на работу, на завод, — раздается звонок. И ко мне в комнату, где я лежу в постели, вваливается следующая компания: Евтушенко, Аксенов и Окуджава. И какая-то японка, студентка-славистка. Белла Ахмадулина вошла позже — под утро они поехали с какой-то вечеринки на канал купаться, Белла купалась прямо в платье и

пришла к моей маме, чтобы та дала ей что-нибудь сухое. При этом они сразу же вытащили три или четыре бутылки вина, потребовали стаканы, и, лежа в постели, я в полном смысле слова принял на грудь. Меня подняли, мы все влезли в Женин «Москвич», один на другого, и куда-то поехали. Окна были задернуты. Когда мы проезжали мимо милиционера, Вася Аксенов громко запел «Хотят ли русские войны?». На всякий случай, чтобы, если милиционер остановит нашу машину, он знал, кого останавливает. Когда мы подъезжали, первым свалился Окуджава, сказал: «Я, ребята, старый и больной — отпустите меня домой!» Его отпустили. Потом мы поднялись к Жене, где Женя свалился с ног, просто заснул. Я его редко таким видел. И тогда я, Вася и Белла пошли добавить в какую-то столовую, где Белла закурила. Было одиннадцать утра. К ней подошел какой-то человек и сказал, что здесь курить запрещено. На что Белла не обратила никакого внимания. Тогда он у нее вытащил сигарету, разразился какой-то скандал, их увели в милицию, а я остался один. Но Белла там познакомилась с милиционером, который потом все время приходил к Жениной жене Гале и Белле — они жили рядом — выпивать.

В 2004-м вышел седьмой том Первого собрания сочинений Евгения Евтушенко. Хорошая треть книги — переводы. Об этой грани поэта совершенно точно и впервые суммарно высказался Юрий Нехорошев в «Пунктире».

В седьмой том вошла сравнительно небольшая часть поэтических переводов автора, который с 1952 года опубликовал около 700 стихотворений (в это число входит и несколько поэм) 124 авторов в своем переводе с 27 языков народов нашей страны и мира, включая русский (с древнерусского и с русского на английский): народов Кавказа (абхазского, аварского, азербайджанского, армянского, грузинского, лакского, осетинского, татского), Средней Азии (казахского, узбекского), Прибалтики (эстонского), других народов бывшего СССР — бурятского (бурят-монгольского), еврейского (идиш), молдавского, украинского, народов ближнего и дальнего зарубежья — с английского (США, Англия, Австралия), арабского, болгарского, вьетнамского, греческого

(новогреческого), испанского (Испания, Куба, Никарагуа, Чили), итальянского, монгольского, румынского. Вышло восемь сборников переводов Евг. Евтушенко — М. Мачавариани, Наби Бабаева (Наби Хазри), Г. Джагарова, Д. Узылтуева, Н. Дамдинова (совместно с М. Лукониным), Т. Чиладзе. Трижды выходили сборники собственных стихов и переводов стихов грузинских поэтов, сборник собственных стихов и переводов с эстонского стихов А. Сийга. В антологию русской поэзии XX века, вышедшую в 1993 году в Соединенных Штатах на английском языке (составитель Евг. Евтушенко), вошли переводы поэта на английский стихов Б. Чичибабина, Ю. Кублановского, С. Липкина и самого автора, в соавторстве с Альбертом Тоддом. В сборнике стихов автора «Лучшее из лучшего»/«Вечерняя радуга» (Baltimore, MD, 1999) 12 стихотворений также переведены на английский Евтушенко, часть из которых — в соавторстве с другими переводчиками. В США публиковались стихи, написанные на английском и неизвестные русскому читателю. Здесь нелишне повторить высказывание автора, приводившееся нами в четвертом томе настоящего издания: «Летом 1971 года в качестве спецкора «Литературной газеты» я побывал в Перу, Эквадоре, Боливии и Чили. В результате поездки родился цикл стихов. Некоторые из них я сам перевел на испанский».

Мы рассказываем о переводческой работе поэта столь подробно, ибо об этой стороне творчества Евтушенко мало что известно читателю и многие сведения приводятся впервые. Часть переводов опубликована только в периодической печати, а упомянутые выше сборники, как правило, выходили не в центральных издательствах (Тбилиси, Таллин) и мизерными тиражами. Нередко переводы публиковались без указания имени переводчика, а порой авторы переводов перевирались: вместо переводчика Евг. Евтушенко значились Д. Маркиш или В. Юхимович, а то и наоборот, евтушенковскими оказывались переводы Н. Гребнева, Вас. Журавлева, М. Луконина или Е. Винокурова...

О переводах Евтушенко написано и сказано немало (большей частью в грузинских изданиях), но наиболее обстоятельно эта сторона творчества поэта проанализирована в книге В. Комина и В. Прищепы «Он пришел в XXI век» (Новосибирск, 2003), цитатой из которой мы и завершим наши заметки.

«Работа Е. А. Евтушенко над художественными переводами является одной из наиболее активных и творчески весомых форм его просветительской деятельности. Вместе с тем поэтические переводы Е. А. Евтушенко, сделанные в середине и самом конце 50-х, имеют самодовлеющее значение, и поэтому их нужно рассматривать как один из периодов творческой жизни. К этому нас подталкивает и то, что сегодня они составляют приблизительно половину его поэтического пространства, занимают большее по объему место, чем публицистические и литературно-критические работы, сценарии и, пожалуй, даже художественная проза, и то, что по идейно-эстетическому значению переводы во многих случаях не уступают авторским произведениям.

<...> Переводческие принципы Е. А. Евтушенко, сформировавшиеся в конце 50-х, предполагают создание так называемого литературного перевода. Он воспроизводит не букву буквой, а «улыбку — улыбкой, музыку — музыкой, душевную тональность — душевной тональностью» (К. Чуковский).

Инонациональная поэзия становится русской.

...Многочисленные переводы Е. А. Евтушенко и Б. А. Ахмадулиной национальных поэтов-сверстников расширяли представление русскоязычного читателя о шестидесятничестве как межнациональном явлении».

Двадцать второго января 2005 года в Турине Евгению Евтушенко вручена итальянская литературная премия Гринцане Кавур «за способность донести вечные темы средствами литературы, особенно до молодого поколения». На церемонии присутствовал корреспондент «Коммерсантъ-Власти» Б. Волхонский. Радость соотечественника выражается следующим образом:

Лет тридцать назад, продираясь сквозь треск помех и писк глушилок, я слушал интервью известного тогда советского диссидента Владимира Буковского по какому-то из «вражьих голосов». Буковский сказал, что в Советском Союзе 250 миллионов политзаключенных. «Как? — возмутился ведущий. — Разве можно отнести к политзаключенным Леонида Брежнева, Ольгу Корбут и Евгения Евтушенко?» Честно говоря, я плохо помню ответ Буковского — кажется, он говорил, что никто не

может быть свободным в несвободной стране. Но запомнил я этот обмен репликами именно благодаря тому, что ведущий в один ряд с руководителем государства и великой спортсменкой поставил окололитературную фигуру, уже тогда пользовавшуюся весьма двусмысленной репутацией на родине.

Про Буковского журналист плохо помнит, про Евтушенко не забыл. Евтушенковские добродетели удивительно памятьливы, то есть ничего не помнят. Журналист вряд ли существовал в то время, о котором пишет.

Пребывание в Италии вновь напомнило Евтушенко об Ахмадулиной. 10 февраля 2005 года датировано стихотворение «Белла Первая»:

Нас когда-то венчала природа,
и ломали нам вместе крыла,
но в поэзии нету развода —
нас история не развела.

Итальянство твое и татарство
угодило под русский наш снег,
словно крошечное государство,
независимое от всех.

Ты раскосым нездешним бельчонком
пробегала по всем проводам
то подобна хипповым девчонкам,
то роскошнее царственных дам.

От какого-то безобразья
ты сбежала однажды в пургу,
и китайские туфельки вязли,
беззащитные, в грязном снегу.

В комсомолочки и диссидентки
ты бросалась от лютой тоски
и швыряла шалавые деньги,
с пьяной грацией, как лепестки.

Дочь таможенника Ахата,
переводчицы из КГБ,

ты настолько была языката,
что боялись «подъехать» к тебе.

Дива, модница, рыцарь, артистка,
угощатель друзей дорогих,
никогда не боялась ты риска,
а боялась всегда за других.

Непохожа давно на бельчонка,
ты не верила в правду суда,
но подписывала ручонка
столько писем в пустое «туда».

И когда выпускала ты голос,
будто спрятанного соловья,
так сиял меценат-ларинголог,
как добычу, тебя заловя.

А лицо твое делалось ликом,
и не слушал Нагибин слова,
только смахиваемая тиком
за слезою катилась слеза.

Он любил тебя, мрачно ревнуя,
и, пером самолюбье скребя,
написал свою книгу больную,
где налгал на тебя и себя.

Ты и в тайном посадочном списке,
и мой тайный несчастный герой,
Белла Первая музы российской,
и не будет нам Беллы Второй.

2008 год Евтушенко встретил тяжело. Он рассказал об этом в «Новых известиях», вступаясь за режиссера Петра Тодоровского, фильм которого «Риорита» подвергся пренебрежению со стороны прокатчиков:

«Но я заболел, простудившись в новогоднюю ночь, провалился сначала месяц с тяжелейшей пневмонией, затем, только-только оправившись,

поехал на выступление в Тулу, а там в рабочем клубе отопление разорвало. Зал был набит, и отменять было поздно. Все сидели в пальто, а мне пришлось читать в собачьем холоде, и я схватил вторую пневмонию, от которой чуть не отдал концы, если бы не мой всегдашний спасатель великий врач Андрей Иванович Воробьев — между прочим, тоже почти как народный артист — народный врач России, которого демократ Ельцин, вытащенный им из смерти, и не однажды, даже не предупредив, уволил с жертвенной должности министра здравоохранения — особый вид благодарности.

Итак, промучившись со своими болячками, я потом попал в борьбу с собственными образовавшимися «хвостами» — неоконченной работой по антологии, рок-оперой, бесконечными гастроями по всей стране в юбилейный год, а статьи-то о замечательном, может быть, самом сильном фильме Тодоровского так и не написал. Стыдно стало. Вообще, не слишком ли мы все занятыми стали, чтобы становиться такой медленной скорой помощью для своих товарищей по профессии? Забыли: «сегодня — его, а завтра — меня»?

Евтушенко пашет на износ и ни о чем не молчит. 12 декабря 2008-го в «Новых известиях» он скажет: «...в книжке, которую я выпустил в этом году, «Памятники не эмигрируют», почти все стихи написаны уже в 21 веке, и многие даже помечены этим годом, а страниц там 400 с лишним. Это книга моих до-исповедей.

...Я действительно буду много выступать по России в декабре — и в Екатеринбурге, в том самом кинотеатре на две тысячи мест «Космос», где в ранних 80-х установил личный рекорд, дав 3 сольных концерта в один день, и в Челябинске, и в Нижнем Тагиле, и в Рыбинске, затем в Набережных Челнах, Нижнекамске, Казани. А позднее собираюсь в Брянск — первый русский университет, который удостоил меня мантии почетного профессора, после десятка зарубежных».

В июле 2008-го он отвечал А. Морозову в «Новых известиях»:

«— Евгений Александрович, с чем вы идете к — даже страшно представить! — 75-летию?

— Это вам страшно, а не мне. Мне весело. И к нему я иду тоже весело, потому только что, после того как я принял весенние экзамены по русской поэзии и русскому кино у моих американских студентов, я выдержал такой зигзагообразный тур с чтением стихов по земному шару — в США, в Гватемале, в Сальвадоре, Венесуэле, где выступал и на русском, и на испанском, а затем в новосибирском Академгородке, в Петрозаводске, Сартавале, в Сургуте, Ханты-Мансийске. Сейчас по уши в

работе над антологией «Десять веков русской поэзии», которая должна выйти в моем официальном юбилейном году — 2008-м. <...> К декабрю готовится премьера феерического поэтически-музыкального шоу с элементами рок-оперы композитора Глеба Мая на мои стихи и с моим участием, а также с участием Дмитрия Харатьяна и других актеров и певцов. Также будет принимать участие и молодежный театр Михаила Задорнова из Риги, сделавший головокружительное музыкальное попурри из моих самых лучших песен. Будет несколько поэтических премьер внутри этого шоу — в частности, впервые на массовую аудиторию и при ее участии будет исполнено произведение «Баллада о пятом битле», основанное на реальной истории о том, как битлы во время их первого тура по Европе перед каждым выступлением «разогревались» моими стихами, — об этом рассказал Пол Маккартни в своих воспоминаниях. Словом, скучно не будет... Я надеюсь, что это будет новый прорыв поэзии к массовой аудитории...»

В этом разговоре, кстати, он выдвигает любопытную гипотезу: «Кстати, с помощью лингвистического анализа я догадался, кто автор «Луки Мудищева». Не Барков — его поэтика слишком вязкая и в ней много архаики. Это Алексей Толстой. Никто не владел пушкинской строфической так блистательно, как Алексей Толстой. Сравните: «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я» и «Судьбою не был он балуем, но про него сказал бы я, судьба его снабдила... не дав в придачу ни...» Но почему Толстой скрыл авторство? Потому что он был аристократ. Если бы «Луку» написал Александр Сергеевич, то он выболтал бы это и читал его во всех компаниях. Он не смог бы удержаться, не постеснялся бы, не тот был человек».

Выходит, Евтушенко не держит Пушкина в аристократах — не подтягивает ли он человека со стажем шестисотлетнего дворянства до статуса чуть не выходца из простонародья, из которого, как будто бы, вышел сам?

Нельзя сказать, что успех оторвал Евтушенко от родни. С сестрой Лёлей он пожизненно близок. Братья? Они заняты своими делами. Его брат по отцу — Александр Александрович Гангнус — писатель, геофизик, журналист. В перестройку возглавил ряд общественных организаций российских немцев и редактировал газету «Нойес Лебен». Автор книги «Технопарк юрского периода. Загадки эволюции». Брат по отцу же Володя — инженер-программист, да к тому же заядлый фотограф.

Близкие родичи поэта со стороны матери и по сей день живут на

Гомельщине в деревушке Хомичи, что в Калинковичском районе.

Нина Васильевна — вдова Владимира Евтушенко, троюродного брата поэта. Речь ее такова:

«— Мой Валодзя служыў на той самай падводнай лодцы, дзе аварыя нарабілася (на атомоходе К-19 проводились страшные испытания достижений советской военной науки). На ягоных вачах пагінула 50 чалавек. А мой астаўся. У яго камандзір вопытны быў. Сказаў: «Хлопцы, пейце спірт і дадавайце рвотны парашок». Ён так плакаў, калі глядзеў «Курск». І адразу сказаў: «Усё, Ніна, хлопцаў няма».

Владимир Степанович выжил, но получил дозу облучения. Каждый год ему приходила анкета-приглашение на лечение в ленинградский госпиталь. Первый год съездил, а потом махнул рукой и на все анкеты отвечал: здоров, здоров, здоров. Прошло всего два года, как не стало 57-летнего мужа.

Галина Тимофеевна и ее муж Николай Александрович — двоюродные дядя и тетя Евгения Евтушенко. Несмотря на прошедшие 30 лет, все они замечательно помнят приезды в Хомичи своего знаменитого родственника. Называют они его по-свойски: «пісацаль» и «наш Жэнька».

«— Першага разу як прыехаў у 71 гаду, дык мы так абрадаваліся! — вспоминает Галина Тимофеевна. — Ён надта спяшыў, дык спачатку забёг да бабы Ёўгі — яна кашу з печы выняла, накарміла. А тады да цёткі Алены, а тады вечарам ужо ў мяне сабраліся. Вы чыталі верш ягоны? Вось тут, у Нінінай хаце і набілася, як Жэня пісаў, «шэсцьдзесят Яўтушэнак». І на калідоры сядзелі, і ў хаце, і на печы і каля печы!

— А другі раз прыязжаў ужо з мамай сваёю, — добавляет Нина Васильевна. — Прывёз нам лікёраў, цукерак, розных гасцінцаў... А сам усё кажа: мне вы лепш сваёй гарэлкі налівайце».

Сам он изумляется: «Вы знаете, я был поражен, когда на картофельном поле в Хомичах подошел именно к Ганне — сестре деда Ермолая! Моя мама ведь никогда там не была!»

Интервью одесскому журналисту Александру Левиту для еженедельника «События и люди» Евтушенко дал 6 октября 2008 года.

«— Евгений Александрович, вы номинируетесь на Нобелевскую премию. Зачем, простите, она вам нужна?

— Скорее всего, я ее не получу, хотя очень хотелось бы. А если получу, то мне она очень пригодится. По совершенно простым писательским соображениям. Такая премия вызывает интерес к перечитыванию, переосмыслению автора. Скажем, до получения колумбийским писателем Габриелем Гарсиа Маркесом Нобелевской премии в Америке было продано

всего несколько сотен экземпляров романа «Сто лет одиночества», а после уровень продаж подскочил моментально до 300 тысяч. Это просто помощь писателю в популяризации его творчества.

Тем не менее я совершенно на этом не заиклен и не думаю об этом. Разумеется, очень признателен людям, которые меня поддержали. Горжусь тем, что Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, объединяющий евреев 27 стран мира, выдвинул меня на Нобелевскую премию по литературе. Я тронут, потому что у истоков этой организации стояли люди, которые вышли из гитлеровских концлагерей. Это люди, о которых я писал.

Некоторые интерпретируют премию как номинацию за «Бабий Яр». Но это номинация за разные произведения: «Наследники Сталина», «Братская ГЭС», «Хотят ли русские войны». За патриотизм, который немислим без патриотизма всечеловеческого, и за мою постоянную борьбу в поэтической форме против шовинизма и ксенофобии.

Поймите, мне не надо дополнительной славы. Мне как писателю грех жаловаться — меня перевели на 72 языка. Я получил от жизни столько, сколько, наверное, и не заслуживаю. Нобелевская премия может поэта сделать хуже, а лучше — нет.

— У вас ведь есть уже одна нобелевская награда...

— Вы даже об этом знаете! (Улыбается.) Действительно, весной нынешнего года моя деятельность была отмечена Нобелевской медалью — отличием Людвиг Нобеля (изобретатель и меценат, старший брат и деловой партнер Альфреда Нобеля). Медаль Людвиг Нобеля была учреждена намного раньше, чем всемирно известная премия Альфреда Нобеля, — в июле 1888 года в Петербурге. Раз в пять лет ею отмечались наиболее достойные. Правда, затем эта церемония как-то заглохла, лет на сто... В современной России кавалерами медали были академик Наталья Бехтерева, международный гроссмейстер Марк Тайманов, балетмейстер Юрий Григорович. Вместе со мной награды получали чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, писатель Чингиз Айтматов и балетмейстер Владимир Васильев. <...>

— Судьба подарила вам и знакомство с Иосифом Бродским. Насколько я знаю, это были сложные взаимоотношения...

— Бродский — великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом. Сколько у меня стихов о том, что придет мальчик и скажет новые слова, а пришел весь изломанный Бродский».

А 14 декабря, в череде концертов, — Зал Чайковского.

Накануне этого концерта — разговор с тем же Андреем Морозовым в

«Новых известиях».

«— Евгений Александрович, вы бываете у памятника Маяковскому?

— Очень часто там бываю, даже свидания там назначаю... (Смеется.). Деловые, разумеется.

— Не смущает, что теперь молодежь около Маяковского не стихи читает, как это было во времена вашей юности, а пиво пьет?

— Это сейчас везде происходит... Молодежь надо просвещать, а не зомбировать.

— Вы, наверное, знаете, что 4 ноября в Москве прошли демонстрации с фашистскими лозунгами. Спустя несколько недель мэрия запретила антифашистские митинги, сославшись на то, что будут созданы неудобства для москвичей. Как вы считаете, это тенденция?

— Скука — мать фашизма. <...>

— Только она?

— Скука тоже. Энергии у молодых много, и надо куда-то ее девать. Поэтому протест и принимает такие уродливые формы. Нельзя оправдывать скукой ни отрезок водопроводной трубы, ни заточку в неандертальской руке, ни крик «Россия для русских!». Что же мы сделаем с эфиопской кровью Пушкина, с шотландской кровью Лермонтова, с турецкой кровью Жуковского, с татарско-итальянской кровью Ахмадулиной, с грузинской кровью Окуджавы, с немецкой кровью Блока, с татарской кровью автора русской народной песни «Во поле березонька стояла», с еврейской кровью стольких композиторов и поэтов лучших песен Великой Отечественной и опять же с русско-украинско-белорусско-польско-немецко-латышской и — о Боже! — опять татарской кровью Евтушенко!..

— 14 декабря вы будете выступать в Москве, в Зале Чайковского. Будете новые стихи читать?

— Я никогда перед выходом на сцену не составляю никакой непоколебимой программы — я же никакая не партия, «сплоченная туга», а живой человек, да еще и такой профессии. Импульсивность, импровизационность, лихорадка неуверенности в себе — качества, которые могут быть противопоказаны при некоторых профессиях, поэту необходимы.

Я вообще больше всего не люблю две категории: бюрократов и снобов, и они мне отвечают взаимностью, ведь снобизм — это вид бюрократии. А вот Шостакович, Сахаров, Ландау, Капица, Неизвестный, Шемякин, Высоцкий, Пабло Неруда, Сальвадор Альенде ходили (на концерты Евтушенко. — И. Ф.).

Но самая главная моя аудитория — это, конечно, совсем не знаменитые люди: студенты, школьники, рабочие, инженеры, учителя, врачи. Только что состоялся мой марафонский, почти четырехчасовой, концерт для двух тысяч зрителей в оклахомском городе Талса.

— Вы сейчас преподаете в американском университете русскую поэзию и русское кино. Насколько большой интерес к вашим лекциям?

— Когда лекции были открытые, то на них записывались более ста человек. Теперь мне поставили лимит — сорок человек. В американских вузах есть такое правило: если профессор не набирает восьми студентов, то ставится вопрос о его увольнении и никакой профсоюз не поможет. Есть предметы, на которых не должно быть много студентов. Например, язык. Если на лекциях по языку слишком много студентов, то он девальвируется. Мне сказали, что я невольно оттягиваю студентов — они же сами рвутся на мои лекции! — у других профессоров. Поэтому решили, что у меня будет лимит сорок студентов, но еще десять наиболее способных я могу набирать по своему усмотрению.

— Почему вы преподаете именно в Америке, а не в Европе?

— Потому что я многому научился у Америки ранних 60-х годов, где кипела тогда бурлящая жизнь, борьба против расизма, против милитаризма, против бюрократии, в которой принимала участие вся передовая интеллигенция США, в том числе и писатели. Я увидел двухмиллионную демонстрацию в Нью-Йорке против войны во Вьетнаме, когда в одной колонне в обнимку шли Артур Миллер, Бенджамин Спок, Мартин Лютер Кинг и свои песни пели тогда еще совсем молодые Джоан Байез и Боб Дилан. До сих пор у меня перехватывает горло от волнения, если я слышу великую песню *We shall overcome* — «Мы победим, придет день, когда мы победим...». К сожалению, эта песня сейчас стала забываться и в Америке, но я всегда напоминаю ее моим американским студентам».

Еще 22 февраля 2004 года Евтушенко написал «Послесловие к антологии», помещенное в «Труде». Именно там за два года он напечатал в шестидесяти пяти номерах отрывки из трехтомника.

С трудом прощаюсь я с «Трудом».
Он был как добрый отчий дом
живому, дышащему слову.
Мы от лица родной земли
Ахматовой и Гумилёву
вновь повстречаться помогли!

Он тогда полагал, что трехтомник готов. Начались издательские трудности. Работа затянулась и продолжилась, и в дело вступили «Новые известия», с 2005 года ставшие, по его слову, «доброй приемной» его рождающейся антологии и вообще верным сотрудником поэта в его трудах, или, как говорят в газете, он стал ее «постоянным автором». Там прошла и эта информация:

Расположенный в столице США Фонд российско-американского культурного сотрудничества устраивает 20 октября 2009 года прием в честь Евгения Евтушенко: поэту будет присуждена награда за вклад в укрепление связей между двумя странами.

Евтушенко, по словам исполнительного директора фонда Александра Потемкина, станет первым поэтом, удостоенным этой премии. До него награду присуждали музыкантам — Валерию Гергиеву, Дейву Брубеку, Ван Клиберну и Мстиславу Ростроповичу, переводчице Татьяне Кудрявцевой, директору Библиотеки Конгресса Джеймсу Биллингтону, хореографу Игорю Моисееву.

На вашингтонском приеме фонда будет отмечено также окончание 10-летнего проекта по созданию памятников Пушкину в американской столице и Уолту Уитмену в российской. Монумент американскому поэту возле МГУ был официально открыт 14 октября в присутствии госсекретаря США Хилари Клинтон.

В марте 2009-го были объявлены итоги конкурса «Книга года» за 2008-й. В номинации «Поэзия» выиграл колоссальный однотомник «Весь Евтушенко», листаж которого даже не указан в выходных данных: такое ощущение, что этот объем невозможно подсчитать. По крайней мере Евтушенко в одиночку написал не меньше того, что он сам выбрал для столь же грандиозных «Строф века», вместивших почти всех соседей по XX столетию. Нельзя сказать, что он подошел к себе щадяще. Очень многие стихи за этот неохватный срок от 1937-го (первое стихотворение «Я проснулся рано-рано...») до 2007-го не вошли в его фолиант, а те, что вошли, были подвергнуты пристальной саморедактуре. «Весь Евтушенко» готовился параллельно с первым собранием. Победа на конкурсе

подтолкнула к переизданию огромного тома в 2010-м, и он не задержался на прилавках книжных магазинов.

Пожалуй, этот факт — победа на конкурсе — стал по-своему символичным. За все годы новой России Евтушенко не присудили ни единой негосударственной литературной премии, коих развелось великое множество. В этом смысле о нем больше помнили за рубежом отечества.

Седьмого октября 2010-го «Комсомолка» информирует:

В списке номинантов на Нобелевскую премию значились американский писатель Кормак Маккарти, японец Харуки Мураками, а также российские поэты Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды держится в строжайшем секрете. Чтобы информация не просочилась раньше времени, члены Нобелевского комитета при обсуждении кандидатур используют не настоящие фамилии писателей, а придуманные псевдонимы.

Есть ли у России шанс получить Нобелевскую премию? Этот вопрос мы задали одному из претендентов — поэту Евгению Евтушенко.

Евгений Александрович признался, что скептически относится к возможности получения Нобелевской премии по литературе. Оказывается, он дважды был номинирован на эту премию и оба раза, увы, Альфред Нобель помахал ручкой автору поэмы «Братская ГЭС».

Сейчас Евгений Евтушенко находится в Америке, в своем доме в городе Талса (штат Оклахома).

Это Оклахома? Евтушенко дома? Так где его дом? Премия Уитмена (1999), звание «Поэт года» (2003), почетный знак за заслуги Йельского университета — это знаки дома?..

В январе 2008 года на пороге своего дома на Котельнической набережной стало плохо Василию Аксенову. В долгих мучениях, перевозимый из института Склифосовского в институт Бурденко и обратно, от операции к операции, он скончался 6 июля 2009-го. В октябре вышла книга «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках».

У Катаева был «Алмазный мой венец», у Георгия Иванова — «Петербургские зимы». То и другое — мемуарное фэнтези, где вымысел превалирует над фактом, и это — жанр, но не подлог. Ахматова, пожалуй,

напрасно возмущалась ивановской элегически-ностальгической игрой. Иванов не претендовал на достоверность. По крайней мере камня не держал за пазухой. Но человек он был ума язвительного.

Аксеновская вещь ближе к Иванову, нежели к Катаеву, у которого в «Венце» вовсе нет яда. Аксенов ядовит. Он изображает время, а не конкретных людей, и во многом это картина того, чего не было, но могло бы быть. Условные имена персонажей не столь прозрачны, как кажется. Тут люди вроде бы соответствуют именам, а не наоборот.

Ян Тушинский Аксенова — не наш герой. Они лишь чем-то похожи. Тысячеликий Евтушенко никогда не был Яном Тушинским. Но безжалостный Аксенов очень осторожен именно в этом портрете. В принципе он его любит. Но не без подковырки:

При всем своем росте Ян не любил командных видов спорта, ни волейбола, ни баскетбола. Какого черта потеть для каких-то других олухов? Впрочем, он и не умел играть ни в ту, ни в другую игру. Он любил одиночные единоборства: вот это ристалища для поэтов!

В «Таинственной страсти» Аксенов дает свою версию августа 1968 года. Не достоверную картину, но толкование истории с фактами и персонажами, которые могли бы сказать вслед за Ахматовой: меня там не стояло.

В номере Тушинских яблоку было не упасть. В середине комнаты на полу стоял знаменитый приемник Яна, огромный и серебристый «Зенит-Трансокеаник». Растянутые короткие волны помогали обходить зоны глушения. Говорил диктор Би-би-си: «Сегодня в два часа утра военно-воздушными войсками Советского Союза произведен захват пражского аэропорта». <...> Ян, Антоша, Кукуш, Гладиолус, Атаманов, Ваксон, Вертикалов, Грамматиков, Нэлла Аххо, Таня Фалькон, Ралисса, Нина Стожарова, Ал Ослябя сидели вокруг радио кто на полу, кто на диванных валиках, в дверях террасы стояли Юстас, Роберт и Мила Колокольцева. Женщины плакали, мужчины молчали, некоторые с мокрыми глазами. <...>

— Какого черта, ребята, вы говорите «мы»?! — с еще большей яростью крикнул Ваксон. — Мы — это мы, а брежневская кодла — это они. И мы враги. Навсегда!

— Вот это правильно! — опять крикнула Таня.

— Ян, согласен?

— Пока что надо повременить с такими заявлениями, — сказал Ян. <...> Послышались звуки какой-то перестановки то ли стульев, то ли микрофонов. Затем прозвучал голос Ганзелки, очень хорошо известный Яну Тушинскому по совместным шатаниям по «Злачной Праге»: «Русские солдаты, отказывайтесь выполнять приказы вашего обезумевшего командования! Не стреляйте в братский народ! Не верьте политрукам, что мы против социализма! Мы за социализм с человеческим лицом, а не со свинными рылами! Русские интеллигенты, окажите нам поддержку, иначе всем — погибать! Янка Тушинский, не молчи! Выскажись, Янка! Не смей молчать!...»

Ян Тушинский переговаривает наедине с другом Робом:

Ян в такт ходьбы, быстро, сумбурно говорит другу, что он не может не ответить на призыв Ганзелки. Ты первым плюнешь мне в лицо, если я сейчас уйду в кусты. Нет, не плюнешь? У тебя есть свои резоны? Хорошо, ты выскажешь их потом. Теперь только подумай, какой это вызовет резонанс! Ты же понимаешь, какое сейчас начнется, уже началось, свинство агитпропа! Вообрази, что среди этой свистопляски появляется негодующее, но спокойное заявление двух ведущих поэтов. Формулируется концепция патриотизма, верность идеям социализма и в то же время отрицание силовых методов решения проблем и тревога за судьбу братского народа.

Роберт, ни на секунду не притормаживая, интересуется, кто эти два ведущих поэта. Значит, ты и я? Или, по алфавиту, я и ты? Почему ты предлагаешь такой вариант? Ведь Ганзелка обращался только к тебе. Я его знаю, он классный парень, но меня он не называл.

Роб осторожничает и отказывается. Ян называет другое имя, за которым, естественно, просматривается сам Аксенов:

Наконец, Ваксон? Знаешь, Роберт, я открою тебе секрет. Мне доподлинно известно, что Ваксона в определенных кругах считают настоящим антисоветчиком. Выйти вместе с ним значит

сотворить провокацию.

Продолжение следует:

Трое тащились по лужам под одним огромным зонтом с надписью Antonioni. Blow-up. Приехавший из Лондона в багажнике Тушинского зонт чувствовал себя в этот день хуже своего русского хозяина: все время вздувался с какими-то неуместными хлопками и корежился, как переломанный альбатрос. Все эти трое, Роб, Янк и Вакс, шли на почту. По дороге первый и третий уговаривали второго не посылать пресловутую телеграмму. Роб был уверен, что это ни к чему не приведет, а если к чему-нибудь и приведет, это будет только усиление зажима. Вакс говорил, что это унижительно — вступать в переписку с засевшими в правительстве уголовниками и нравственными дегенератами. Янк, уже пришедший к решению послать, ничего не отвечал. <...> На почте было не протолкнуться. Вода с плащей «болонья» натекла на пол. Народ переминался, создавая характерное хлюпанье. Тушинский, конечно, был узнан. Кто-то передал ему бланки для телеграмм. Он пристроился на подоконнике и стал своим великолепным пером «Монблан» заполнять бланки: «Москва, Кремль, Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу...» Кто-то из привычных коктейбельских хохмачей, заглянув ему через плечо, тут же пошутил: «На деревню дедушке».

В этот фантастический киносценарий вплетается и то, что было в действительности:

Света (приемщица телеграмм. — И. Ф.) отодвинула счета и подняла на клиента глаза:

— Простите, товарищ Тушинский, но я не могу принять таких телеграмм...

— Это почему же, моя милая? — удивился поэт. В другой бы ситуации от такого бы обращения воспарила бы, а вот в данной ситуации — суцая мука мучает.

— Ну просто, ну просто... мы таких телеграмм никогда не принимали, товарищ Тушинский... <...>

«Послушай, Янка, что ты девушку мучаешь? — тихо сказал

из-за его плеча Кукуш Октава. — Ее и в самом деле могут сожрать за эти твои телеграммы».

Он тут сидел в очереди на телефон, когда пришел Ян. Написав свои телеграммы, Ян заметил Октаву и показал ему тексты: «Хочешь подписать вместе со мной?» Кукуш отмахнулся со своей характерной тифлисской жестикуляцией. «А почему? — настойчиво спросил Ян. — Я хочу понять, почему все отказываются?» Кукуш продолжал свои прикосновения то к голове, то к груди. «Ну, что я буду этим многоуважаемым телеграммы посылать, ты сам подумай?! Ты, Янк, все-таки гражданский поэт, а я кто? Да я же просто гитарист, романсики пою, ну вроде как цыган, понимаешь?!» <...>

Между прочим, со Светой получилось именно так, как она и предсказывала. Ее выгнали с работы и даже допрашивали в КГБ. Поэт ее, однако, не забыл: он добился ее реабилитации и восстановления в должности. Так что теперь она сидит на прежнем месте и вспоминает тот день, когда скрежещущий танками мир соприкоснулся с ее маленькой почтой. <...> Все думали, что телеграммы Тушинского пропадут втуне, а они оказались весьма востребованы. Конечно, слышали о них и Зигмунд, и Ганзелка, и Затопек, и Карел Готт, и Йозеф Шкворецкий, и Милан Кундера... <...>

На исходе огромного циклона поэт один сидел в столовой и ел завтрак, как сейчас помню: пару яиц, сливовый сок, рисовую кашу. В столовую вошли два спецagenta и забрали его с собой. Втроем они прибыли на военный аэропорт в Каче. В этом месте следует вставить *небольшое ехидство*(курсив мой. — И. Ф.), ведь наряду с недоразвитой системой гражданского обслуживания параллельно, но секретно, в Советском Союзе существовала высокоразвитая система обслуживания военного. С удивительной четкостью спецналичные доставили поэта из Крыма на подмосковный аэропорт Липки, а оттуда на «Волге» с сиреной к одному из адресатов его телеграмм.

Этот адресат в больших чехословацких очках ждал его в своем кабинете. При входе поэта в сопровождении сотрудников он посмотрел на свои часы (тоже чехословацкие) и одобрительно кивнул. Поэту было предложено кресло и стакан чаю с лимоном. Адресат спросил, не желает ли поэт чего-нибудь покрепче. Поэт с удивившей его самого непринужденностью сказал, что коньячку

бы не помешало. Адресат взял со стола листок бумаги и похвалил стихотворение «Танки идут по Праге». Очень интересные рифмы. Большая искренность. В другие времена, Ян Александрович, вас бы расстреляли за измену Родине. Но сейчас не те времена. Есть огромная разница между нашими временами и другими. Мы с товарищами посоветовались и решили направить вас в Соединенные Штаты Америки. Предлагаем вам там полную свободу действий. Выступайте где хотите и читайте что угодно. Кроме всего этого, мы были бы вам признательны, если бы вы передавали одному из представителей администрации — вот тут, на бумажке, его имя — благодарность за невмешательство.

Степень ехидства пускай обсудит тень Василия Аксенова со своим Ваксоном. Однако, на чьей совести, например, хотя бы эта карикатура — Кукуш Октава?

Между тем новая антология разрослась до пяти томов. Ее готовит издательство «Русский мир». Первое, пробное издание двухлетней давности в издательстве «Слово / Slovo» имело тираж тысячу экземпляров и разлетелось мгновенно. Сперва в каждом, а потом через раз в пятничном номере «Новые известия» дают главы из нее. 15 октября 2010 года Евтушенко обращается к общественности со статьей «Книги, вас молю — не умирайте!». Смысл обращения — в увеличении жалкого тиража антологии до пятидесятитысячного, дабы двинуть поэзию в образование.

«По сегодняшнему раскладу, антология может выйти тиражом не более двух тысяч экземпляров. Это значило бы, что издание, рассчитанное на самый широкий круг читателей, неизбежно превратится в элитарный раритет, недоступный ни школьникам, ни студентам, ни преподавателям». Газета начинает акцию «Книга — в школу».

Сбор подписей. Интеллигенция и даже некоторые поэты — Олег Чухонцев в частности — всецело за. Министр культуры А. Авдеев ставит свое имя в списке сторонников. Правительство Москвы дает пять миллионов. Министерство образования и Агентство по печати реагируют невнятно. Газета посылает письмо в Российский союз предпринимателей — на имя А. Н. Шохина. Вежливая отписка. Акция выдыхается.

А у «Строф века» существует старый сторонник, в некотором роде соавтор. Много лет назад в «Вечерней Москве» (1997. 18–19 октября) Андрей Вознесенский высказывается так:

— Я всегда старался, где мог, помогать ему (Евтушенко. — И. Ф.). Настоящая помощь должна быть тайной. Вы знаете Анатолия Стреляного, конечно? Он публицист и одновременно основатель многотомной серии «Культура двадцатого века». Там один том — сказки, другой — фантастика, третий — живопись. Так вот, ко мне подошел Стреляный и попросил: «Андрей, сделай нам том поэзии». Я сказал: «Давайте я сделаю вам том живописи, а поэзию пусть сделает Евтушенко». Я думаю, Евтушенко об этом даже не знает. Таким образом, я сосватал ему эту антологию, которая — одно из лучших произведений Евтушенко.

КТО ПЕРВЫЙ?

Художник первородный —
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно — бунт.

Вознесенский произнес эту свою декларацию в поэме «Мастера»: о строителях храма Василия Блаженного. Поэт оперирует легендой. Творцов храма царь ослепил. Имена творцов — тоже легендарны. Всё вроде бы недостоверно. Но храм-то стоит поныне, он факт, он даже символ России. После мандельштамовских стихов о московских (парижских, немецких, итальянских, стамбульских) шедеврах архитектуры в русской поэзии впервые вновь заговорили о том же. Напомним Мандельштама:

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Нельзя сказать, что предшественник вложил в эти стихи сугубо религиозное содержание. Напротив, наверно. От предмета разговора его несколько унесла нота лиризма — женщина, русское имя, меховая шубка.

Нет, Вознесенский в ту пору вряд ли думал о традиции, и не о Боге он думал тогда. Он манифестировал принадлежность к школе Маяковского, в стихах его возникали имена Лорки или Есенина, но фактически вырастил его без называния имени оплаканный им («Корни и кроны») Пастернак. Обожаемый учитель между тем тоже стал объектом бунта. Объективно, не понарошку. Пастернака отвращала эстрада. Отшельничество, пребывание в тени, любовь пространства (не многоглазо-многоголового зрителя) — его предпочтения и заветы. У Вознесенского провозглашено: «Всегда трибун». Трибуна помещена на эстраде.

Вознесенский, можно сказать, вырос на переделкинской даче Пастернака. Евтушенко там не был завсегдаем. Но благословение получил. «Я уверен в Вашем светлом будущем».

Разрушение Берлинской стены начали русские поэты. Париж, ухитрившись пропустить мимо глаз и ушей Владислава Ходасевича с Георгием Ивановым, принял в объятия Евтушенко с Вознесенским.

Поэт, начавший со стихов о Гойе, изобразителен по определению. Вознесенский и сам ведет отсчет своего поэтического времени с этих стихов. Они и впрямь сильны. Старый художник вписан в новые времена, в иное горе, в иную трагедию. Это историзм особого сорта — поэтического. Это не было поэзией подтекста, намек и подмигивания, позже распространившейся у нас широко и безнаказанно. Историческое время ощущается как единый поток, захватывающий поколения самых разных эпох, далеко отстоящих друг от друга. Когда Вознесенский вышел на эстраду, его первым делом стала злоба дня, животрепещущая актуальность — аудитория диктует. Он пошел к ней. За ней? К ней.

И тут обнаружился еще один бунт. Против себя, скажем так. Хуциевская киноплёнка да фотоискусство сохранили — наряду с другими — облик молодого Вознесенского. Это был длинношей, хрупкий, губастый, глазастый московский юноша с совершенно заурядными голосовыми данными. Не Маяковский, нет. Даже не Есенин с его довысоцкой хрипотой и раскачкой с размахиванием руками. Но именно у Есенина была перенята манера чтения, вызревающая с годами. Рафинированный мальчик из «хорошего дома», чуть не сызмалу посещающий усадьбу переделкинского мэтра, самореализовывался как голос улицы. В стихах о детстве, посвященных Андрею Тарковскому, он демонстрирует подробное знание уличной изнанки. Вообще говоря, по сокровенной природе своей, ранимой до предела, он должен был бы апеллировать к Тарковскому-отцу. Но и сын этого отца не случаен в мире Вознесенского. Не только потому, что их свели возраст и улица. Кинопоэма Тарковского-сына об Андрее Рублеве — аналог «Мастеров». Та же старина, та же боль, кровь, жертвы, страшная плата за взлет духа, судьба России, место человека на земле. В поколении Вознесенского образовалась переключка художественных миров, потому что это было именно поколение, некое человеческое единство, одухотворенное поиском идеала.

Идеалы имеют обыкновение рушиться. Когда это началось, у Вознесенского появилась Таганка — или он у нее. Оба они там, в театре, появились — сперва Вознесенский, потом Евтушенко. Скоропись, репортажность, стенографизм. Это их стиль.

Легенда гласила: первая книга Вознесенского «Мозаика», выпущенная во Владимире (1960), была арестована, а главный редактор местного издательства полетел с работы.

Не все старшие заключали новопришедших в горячие объятия.

Сергей Наровчатов: «...стихи Евтушенко готовы привести в отчаянье любого рецензента...»

Давид Самойлов: «Евтушенко — поэт признаний, поэт искренности; Вознесенский — поэт заклинаний. Евтушенко — вождь краснокожих. Вознесенский — шаман. Шаманство не существует без фетишизма. Вознесенский фетишизирует предметный мир современности, ее жаргон, ее брань. Он запихивает в метафоры и впрягает в строки далековатые предметы — «Фордзон и трепетную лань». Он искусно имитирует экстаз. Это экстаз рациональный... У него броня под пиджаком, он имитирует незащищенность».

Вместе с тем Самойлов, предпочитая первого, признавал: «Они вернули поэзии значение общественного явления».

Есть хохма — занять очередь с вопроса:

— Кто первый?

Ответа, как правило, нет.

Вознесенский первым бросил перчатку сопернику (1971) в спектакле «Антимиры». Вещь называлась «Песня акына»:

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, поблуднев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиначеством окружен.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и он.

Евтушенко написал, как мы помним, «Волчий суд» (1971), но по-настоящему ответил «Плачем по брату» (1974):

С кровью из клюва,
тепел и липок,
шеей мотая по краю ведра,
в лодке качается гусь,
будто слиток
чуть черноватого серебра.
Двое летели они вдоль Вилюя.
Первый уложен был влет,
а другой,
низко летя,
головою рискуя,
кружит над лодкой,
кричит над тайгой:
«Сизый мой брат,
появились мы в мире,
громко свою скорлупу пролома,
но по утрам
тебя первым кормили
мать и отец,
а могли бы — меня.
Сизый мой брат,
ты был чуточку синий,
небо похожестью дерзкой дразня.
Я был темней,
и любили гусыни

больше — тебя,
а могли бы — меня.
Сизый мой брат,
возвращаться не труся,
мы улетаи с тобой за моря,
но обступали заморские гуси
первым — тебя,
а могли бы — меня.
Сизый мой брат,
мы и биты и гнуты,
вместе нас ливни хлестали хлестья,
только сходила вода почему-то
легче с тебя,
а могла бы — с меня.
Сизый мой брат,
истрепали мы перья.
Порознь съедят нас двоих у огня
не потому ль, что стремленье быть первым
ело тебя,
пожирало меня?
Сизый мой брат,
мы клевались полжизни,
братства и крыльев, и душ не ценя.
Разве нельзя было нам положиться:
мне — на тебя,
а тебе — на меня?
Сизый мой брат,
я прошу хоть дробины,
зависть мою запоздало кляня,
но в наказание мне люди убили
первым — тебя,
а могли бы меня...»

Может быть, невольно, однако поразительно точно в жалобу «сизого брата» вошел голос, прозвучавший давно (1928):

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!

Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочежины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влет.

Пастернак, общий учитель.

Шла жизнь, происходила непогода, набегали тучи. Вознесенский просил: «Пошли мне, Господь, второго!» — как будто его никогда не было рядом. Или не было посвящения «Баллады работы» (1959): *Е. Евтушенко* в ответ не получено посвящения «На фабрике «Скороход» (1960), «Подранок» (1963): *А. Вознесенскому*?

Был такой курьез. Известно, что великий математик А. Н. Колмогоров, питая большой интерес к поэзии, проводил стиховедческие опыты в плане проверки алгеброй гармонии. Его племянник Г. И. Катаев вспоминал:

...Андрей Николаевич, в частности, приводил некоторые результаты проведенной работы: «Э. Багрицкий продвинулся в развитии ямба дальше всех. Анализ пауз в его стихах, например, дает материал для психологии познания...» В других случаях он говорил, что из всех русских поэтов Пушкин — наиболее информативен. Сравнение *Е. Евтушенко* с *А. Вознесенским* показало большую информативность первого. Это не понравилось Вознесенскому, он хотел встретиться с Колмогоровым, но тот отказался...

Ходила масса слухов и пересудов. Зубоскалы мифотворствовали: однажды Евтушенко с Джан встретили на московской улице Вознесенского, переодетого Пушкиным. Евтушенко воскликнул:

— Здравствуй, брат Пушкин!

Вознесенский прошел мимо.

Евтушенко откомментировал:

— Дарлинг, у него просто мания величия — возомнил себя великим русским поэтом Андреем Вознесенским.

Евтушенковский друг Эдуард Трескин рассказал о свадьбе Евтушенко с Машей:

...кого только среди гостей не было! Литераторы, музыканты, художники... корреспондент НьюЙорк Таймс... сын личного врача Льва Толстого... министр культуры Евгений Сидоров... родственники близкие и дальние... друзья...

В разгар веселья приехал Андрей Вознесенский. Он высоко поднимал стакан с чачей и говорил, что счастлив присутствовать на свадьбе великого русского поэта, а Женя поднимал ответный тост, объявляя, что счастлив — он, потому что на его свадьбе гуляет великий русский поэт. Впрочем, долго Вознесенский не гулял — хлопнул пару стопок и уехал, по-моему, вполне трезвым.

Можно ли сказать, что оба они обманули пастернаковские ожидания? Перешагнули через его неприятие «разврата эстрадных читок»? Можно. У них — таких, каковы они были, — не было выхода, ибо время говорило: ваш выход, артист.

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

Это опять Пастернак. Адресат — Маяковский.

Восемнадцатого февраля 2005 года Евтушенко подумал о Вознесенском в каноническом четырехстопном ямбе:

Хотел бы я спросить Андрюшу,
а помнит ли сегодня он,
как мы с ним жили
душа в душу
под звуки собственных имен.
Они в божественном начале,
не предвещающем конца,
так упоительно звучали
в метро,
в общагах,
у костра.
.....
В стихах был свежий привкус утра,

а имена гремели столь
неразлучаемо,
как будто
свободы сдвоенный пароль.

(«На «хвосте»)

Он был услышан. Прочтем «Коммерсантъ» от 18 июля 2005 года:

Дорогой Женя, поздравляю тебя с днем рождения. Увы, мы не видимся с тобой, когда ты бываешь в Москве, — демоны скорби и печали разделили наши поэтические пути и пути жизни давно и, быть может, бесповоротно. Я очень рад возможности поздравить тебя и вспомнить тебя прежнего — юношу с незащитной шеей, наповал завораживавшего тогдашнюю Россию стихами «Со мною вот что происходит...», потом не раз вступавшего за правду в кризисные моменты отечественной истории и сегодня посвящающего свою жизнь Всеобщей антологии отечественной поэзии. Сейчас я закончил видеоцикл «Орлы», посвященный двуглавым красавцам, восседавшим на шпильях Кремля.

Думается, что ты, Женя, сейчас одна из этих птиц, хранящих традиции отечественной поэзии. Евгений Евтушенко — птица высокого полета. Оставайся таким!

Своеобразный отклик на стихи о двух гусях.

И вот — 2010 год, июнь, 4-е. Большой зал Центрального дома литераторов. Гроб утопает в цветах. Непрерывная музыка глубокого минора. Ораторы у микрофона. Коллег-литераторов немного, больше людей из театрального мира (О. Меньшиков. И. Чурикова, Э. Рязанов...). Слово Евтушенко:

«Всемирными русскими были изначально Андрей Рублев, Пушкин, Ломоносов, Петр Первый в его плотницкой ипостаси. Всемирными русскими были Лев Толстой, Герцен, Чайковский, Шостакович, Пастернак, Сахаров, учившие нас делать все, чтобы силы подлости и злобы были одолены силами добра. И всемирными русскими стали не только в собственной стране, но и во многих странах — Андрей, Белла, Володя, Роберт, воевавшие для будущих поколений — лишь бы среди них оказались

*поэты, которые бы не позволили нашему народу остаться в замшелой
гибельной изоляции от всего остального мира. Зачем нам, русским,
неестественно придумывать национальную идею и сколачивать наспех
какие-то команды для этого? Все лучшее в русской классике — и есть
наша национальная идея. Эта идея в словах Достоевского выражена ясно
и просто — когда он говорил о самом мощном, сильном, человеческом
качестве Пушкина, это два слова: «Всемирная отзывчивость».*

Не стало поэта,
и сразу не стало так многого,
и это неназванное
не заменит никто и ничто.
Неясное «это»
превыше, чем премия Нобеля, —
оно безымянно,
и этим бессмертно зато.
Не стало поэта,
который среди поэтического мемеканья
«Я — Гойя!»
ударил над всею планетой в набат.
Не стало поэта,
который писал архитекторствуя,
будто Мельников,
вонзив свою башню шикарно
в шокированный Арбат.
Не стало поэта,
который послал из Нью-Йорка на «боинге»
любимой однажды дурманящую сирень
и кто на плече у меня
под гитарные чьи-то тактичные «баиньки»
в трамвае, пропахшем портвейном,
въезжал в наступающий день.
Не стало поэта,
и сразу не стало так многого,
и это теперь
не заменит никто и ничто.
У хищника быстро остынет
его опустевшее логово,
но умер поэт,

а тепло никуда не ушло.
Тепло остается в подушечках пальцев,
страницы листающих,
тепло остается
в читающих влажных глазах,
и если сегодня не вижу
поэтов, как прежде, блистающих,
как прежде, беременна ими
волошинская Тааих.
Не уговорили нас добрые дяди
«исправиться»,
напрасно сообщниц ища
в наших женах и матерях.
Поэзия шестидесятников —
предупреждающий справочник,
чтоб все-таки совесть
нечаянно не потерять.
Мы были наивны,
пытаясь когда-то снять Ленина с денег,
а жаль, что в ГУЛАГе, придуманном им,
он хоть чуточку не пострадал,
ведь Ленин и Сталин чужими руками
такое смогли с идеалами нашими сделать,
что деньги сегодня —
единственный выживший идеал.
Нас в детстве сгибали
глупейшими горе-нагрузками,
а после мы сами
взвалили на плечи Земшар,
где границы как шрамы, болят.
Мы все твои дети, Россия,
но стали всемирными русскими.
Мы все, словно разные струны
гитары, что выбрал Булат.

(«Не стало поэта...»)

Ровно полвека тому ушел общий учитель — Пастернак. Вознесенский

сказал тогда:

Несли не хоронить,
несли короновать.

Нет, прощание с Вознесенским не было подобной коронацией. Русская поэзия не нуждалась в царе, да и царство ее претерпевало смуту и раздробленность. Над переделкинским кладбищем щелкали соловьи, но не там упокоился Вознесенский. Его приняло Новодевичье.

Всех примирила Белла Ахмадулина, еще в 2004 году высказавшись в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» (№ 3):

— ...мне действительно повезло — меня окружали великие поэты: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава. Тогда еще были живы и активно творили Борис Пастернак, Анна Ахматова, Владимир Набоков.

— Если можно, расскажите о вашем отношении к Евгению Евтушенко, ведь вы когда-то посвятили ему «Сказку о Дожде».

— Мы просто не видимся. Евгений Александрович мне ничего никогда плохого не сделал. Он — мастер литературной формы. Я только это могу сказать...

Она уйдет 29 ноября 2010 года.

Евтушенко останется один.

ХВАТИТ НА ИСКУПЛЕНИЕ

Двадцатого июля 2010 года «Российская газета» в рубрике «События» дает яркий репортаж «День благодарения» Юрия Соломонова.

В подмосковном писательском поселке Переделкино открылся музей-галерея поэта Евгения Евтушенко, в который вошли коллекция живописи ста лучших мировых художников и 300 фотографий, сделанных поэтом во время поездок по свету, различные литературно-исторические документы и рукописи, в том числе и поэма «Братская ГЭС».

...Отутюженный металлоискателем иду по вымощенной дорожке в глубь двора и вливаюсь в толпу народа, сидящую и стоящую вокруг крыльца «Музея Евгения Евтушенко». Эту галерею выстроил он сам, чтобы сегодня торжественно и безвозмездно передать свою личную коллекцию картин, скульптур, фотографий и документов в дар государству.

Это более сотни работ, среди которых не только Пикассо, но и Шагал, Пирсmani, Макс Эрнст, Светлин Русев и другие, включая и неизвестных ранее — тех, кого открывал сам Евтушенко.

В тенечке скромно стоят министр культуры Александр Авдеев, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Художник Зураб Церетели, как истинный грузин, греется в лучах не только славы, но и нынешнего нещадного солнца. Не жметя в тени и литературная общественность — в отсутствие хозяина камеры то и дело останавливаются на их вдохновенных лицах.

Поэт и даритель появляется тихо, слегка опираясь на трость (уж не та ли, что помогала когда-то Марку Твену?). Потом одно из изданий с восторгом напишет, что поэт еще за десять минут до церемонии с упоением работал в своем кабинете. И я допускаю, что это может быть правдой.

Евтушенко начинает спокойно, даже устало — о том, как он собирал эту коллекцию.

Это не исповедь классического коллекционера, рьяно отыскивающего предметы и ценности, составляющие его страсть или его бизнес. Наш герой свою коллекцию проживал. Каждая ее

частица была частицей жизни, творчества, дружбы, встреч с интересными и великими людьми.

Чего стоит только один рисунок Пикассо. Дело в том, что великий художник предлагал поэту на выбор две работы, а тот возьми и скажи: «При всем уважении не возьму. Не нравятся они мне. В них чувствуется ваша обида на женщин. Нельзя из-за одной обижаться на всех и переносить это чувство на творчество». — «Но как она могла уйти от Пикассо!» — вскричал мастер. А потом сравнил русского гостя, отказавшегося от его работ, с Настасьей Филипповной, способной сжечь огромные деньги. Ну а рисунок Пикассо, услышав эту историю, Евгению Александровичу подарила вдова живописца и скульптора Фернана Леже.

Женщины покидали и самого Евтушенко. Но достаточно пойти по залу с фотографиями, сделанными поэтом, чтобы понять его отношение к лучшей половине человечества. Он говорит, что фотоэкспозицию посвятил памяти «великого американского фотографа и человека Эдварда Стайхена». Когдато вместе с художником Олегом Целковым попали на его выставку в Москве. Этот замечательный старик был допущен со своей выставкой в СССР лишь потому, что воевал в союзных войсках и снимал знаменитую встречу на Эльбе. «А в его книгу «Семья человечества» я просто влюбился».

Я слушаю его и вспоминаю примеры его личной влюбчивости в других людей, в их талантливость, яркость, неповторимость. Помню, на заре перестройки он позвонил и сообщил, что открыл гениального поэта, которого надо срочно слушать, публиковать, поддерживать. И вот мы уже сидим у Евтушенко и слушаем недавно вернувшегося из мест лишения свободы парня по имени Вадим Антонов, который читает поэму «Помиловка». Это ее, спустя время, Евгений Александрович протолкнет в один из толстых журналов. А тогда после чтения из Переделкина мы в кромешной ночи едем в какую-то деревеньку, где квартирует Антонов, чтобы отведать домашнего яблочного сидра. Затем, разочаровавшись в напитке, но не в Антонове, пробираемся назад, где Евтушенко извлекает из запасников грузинское вино. Потом на минуту исчезает и выходит, держа в руке шикарный пиджак. «Вадим, — говорит он. — Эту вещь подарил мне сам Роберт Кеннеди. Я хочу, чтобы этот пиджак стал

твоим талисманом».

И вот он, довольный, осматривает гостя в легендарном наряде. Затем вдруг достает из стола ножницы и говорит: «Нет, гражданин Антонов, что-то от Кеннеди не могу не оставить себе. Не сердись, я пуговицы на память отрежу...» <...>

А уже следующим вечером он взошел на сцену Политехнического музея, где вместе с традиционно полным залом привык отмечать свой очередной день рождения.

Завидуют ли ему другие? Наверное. Все ли его любят? Да где уж там! Известно, как относился к нему, например, Иосиф Бродский, сказавший, что «если Евтушенко против колхозов, то я — за...».

Поэтому Евгений Александрович даже на меня обижался, когда я в одном из материалов использовал словечко, брошенное в его адрес Бродским.

Но вот ведь что поразительно! Когда в начале восьмидесятых «Литературная газета» начинала возрождать поэтические вечера в Политехническом, именно Евтушенко сказал: «Нужно пригласить Бродского!» Я был свидетелем, как просвещенные критики почти хором кричали ему, что нобелевский лауреат ни за что не приедет на родину.

Он смотрел на них, как на глубоко несчастных людей. А потом тихо сказал: «Но вы же не пробовали...»

В этом он весь. Мы будем говорить, спорить, умничать, ввергать в скепсис друг друга. А он будет делать. Пробовать себя в очередной раз. Поэтом, писателем, фотографом, актером, режиссером этой жизни.

В этот жаркий день он был всего лишь Дарителем.

Щедрым. Благородным. Веселым. Молодым.

У него снова получилось.

Когдато Межиров написал: «Юбилейные какие-то времена». Ну да, был ленинский юбилей и прочие. На российской сцене нынче наступили времена премиальные. Не то чтобы премий не было прежде. Были. И случай Пастернака был. Не было такой вакханалии. Открытой гонки за призами и сутолоки вокруг этого.

В 2011 году Нобелевский комитет работает, как всегда, — в обстановке секретности: имена обсуждаемых (номинарованных) писателей оглашаются лишь через полвека после присуждения премии. Британская

букмекерская контора *Ladbrokes* ежегодно составляет свой список.

Самым вероятным кандидатом назван 81-летний сирийский поэт Адонис (настоящее имя — Али Ахмад Саир Асбар). Его шансы оцениваются как 4 к 1. Поэты очень давно не получали Нобелевскую премию, а Адонис уже много лет считается одним из главных на нее претендентов.

На втором месте — швед Тумас Транстрёммер (шансы — 9/2). Ему тоже восемьдесят один.

На третьем — Томас Пинчон, из числа бывших (1960–1970-е годы) властителей дум американских интеллектуалов (10/1).

У Харуки Мураками — 16/1. В списке есть также американские живые классики Филип Рот, Кормак Маккарти и Джойс Кэрол Оутс (25/1), чех Милан Кундера (33/1), британцы Йен Макьюэн и Салман Рушди (40/1). А также двое русских — Виктор Пелевин (50/1) и Евгений Евтушенко (80/1). Шансы Пелевина, таким образом, равны показателям Умберто Эко — у него тоже 50/1. На последнем месте — американский певец и поэт Боб Дилан, его шансы оцениваются как 100/1. Когдато их постоянно сравнивали — Евтушенко с Диланом.

Двадцать пятого сентября 2011 года, в пятницу, в питерском Эрмитажном театре прошла VIII церемония вручения международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона — «Балтийская звезда». В этом году лауреатами премии стали: поэт Евгений Евтушенко, художественный руководитель Петербургской филармонии и дирижер Юрий Темирканов, актер Юозас Будрайтис, директор Национальной оперы Латвии Андреис Жагарс. В номинации «Память» премия присуждена польскому поэту Чеславу Милошу. «Балтийская звезда» учреждена в 2004 году Министерством культуры России, Союзом театральных деятелей, комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга, фондом «Балтийский международный фестивальный центр», Всемирным клубом петербуржцев и Центром национальной славы. Перед началом церемонии на большом экране были показаны фотографии лауреатов премии прошлых лет: Раймонд Паулс, Донатас Банионис, Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Кирилл Лавров, Вия Артмане, Лев Додин, Андрей Петров, Даниил Гранин, Кшиштоф Занусси, Сергей Слонимский. «Когда я смотрел эти кадры, — сказал Евтушенко после вручения памятного знака, — то подумал: «На удивление одни приличные лица».

Шестого октября Нобелевскую премию за 2011 год выигрывает Тумас Транстрёммер.

А с Питером у Евтушенко давний, долгий роман. На его семидесятилетие в Большом зале Петербургской филармонии ему вручили Царскосельскую премию с бронзовой статуэткой Ахматовой и он выводил на сцену четырнадцатилетнего сына Женю; через пять лет в декабрьском Ледовом дворце после фурора в «Олимпийском» прогремела рок-опера «Идут белые снеги», а в сентябре 2012 года в театре-фестивале «Балтийская звезда» был сыгран мюзикл Раймонда Паулса на евтушенковские стихи «Возвращение в любовь»: ностальгия по шестидесятичеству. Музыку на 13 вещей, среди которых «Старый друг» и «Я люблю тебя больше природы», Паулс написал в 2009-м, а в 2010-м в Риге вышел диск — пел Интарс Бусулис.

В феврале 2012 года колумнистка журнала «Новое время» / «The New Times» Валерия Новодворская напечатала эссе «Поэт-на-договоре». Возникает образ героя с чертами и заслугами одного нового Геракла.

Лернейской гидре все равно, кто на нее бросается: свои или чужие. Сгоряча может и голову откусить. И когда в 1968 году после вторжения в Чехословакию Евтушенко кинулся посылать телеграммы протеста Брежневу прямо из Коктебеля — это был подвиг. Это первый. <...> Второй подвиг случился, когда взяли Солженицына. <...> Третий подвиг — «Бабий Яр» (1961). Это был прорыв плотины молчания. Четвертый — «Братская ГЭС». Уже идет 1965 год, десталинизация кончилась, а он опять про лагерь! И про гетто (глава про диспетчера света Изю Крамера). Это настоящие стихи, без скидок, о том, как замучили Риву, возлюбленную Изи. Пятый подвиг — то самое стихотворение «Танки идут по Праге». <...> Шестой и седьмой подвиги — это поэма «Казанский университет» и стихотворение «Монолог голубого песка на аляскинской звероферме». «Университет» — это 1970-й. «Песец» — тоже начало 70-х. Восьмой — отказался брать в 1993 году орден Дружбы народов в знак протеста против войны в Чечне (а некоторые либералы и премиями не побрезговали). Девятый — его фильм по его же сценарию «Смерть Сталина» (1990). Ненавидеть он умеет, этот эпикуреец. И страдать — тоже. Ведь история песка — его история. «Я голубой на звероферме серой. Но, цветом обреченный на убой, за непрогрызной проволочной сеткой не утешаюсь тем, что голубой. И вою я, ознобно, тонко вою, трубой косматой Страшного Суда, прося у звезд или навеки — волю, или хотя бы линьки...

навсегда. И падаю я на пол, подыхаю, и все никак подохнуть не могу. Гляжу с тоской на мой родной Дахау и знаю: никуда не убегу. Однажды, тухлой рыбой пообедав, увидел я, что дверь не на крючке, и прыгнул в бездну звездного побега с бездумностью, обычной в новичке». И вот разрядка, развязка — и для песка, и для поэта: «Но я устал. Меня сбивали вьюги. Я вытащить не мог завязших лап. И не было ни друга, ни подруги. Дитя неволи для свободы слаб. Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку, где меня за сетку прячут, и звероферму — Родину мою». <...> Эта поэма («Казанский университет». — И. Ф.)помогла мне выжить, я ее прочла в казанской спецтюрьме. <...> Десятый подвиг — не признавал ГДР, считал, что Берлинская стена должна пасть, об этом говорил вслух, и в ГДР — тоже... <...> Одиннадцатый подвиг — это то, что Евтушенко был в 1991 году у Белого дома. Хватит на искупление?

Двенадцатый подвиг, по-видимому, впереди.

На свой юбилей в Политехнический музей он приехать не смог. «Много болячек». 18 июля 2012-го на радио «Свобода» у Александра Гостева гостят обозреватели РС поэт Игорь Померанцев и литератор Кирилл Кобрин.

— Чье 80-летие сейчас отмечается — поэта и его стихов или символа эпохи? Что вспоминается, когда звучит фамилия Евтушенко, — конкретное ушедшее время или человек и его строчки?

Игорь Померанцев. Мне приходят в голову прежде всего его песни, подлинно народные, например, «Весенней ночью думай обо мне». По-моему, он вечно молодой поэт. Лермонтов погиб в 27 лет, но в голову не приходит думать о нем как о молодом поэте, а Евгений Евтушенко даже в 80 лет остается молодым поэтом. Я сейчас вспоминаю текст Рильке, выдающегося австрийского поэта, «Письма к молодому поэту», где он делится своими соображениями о том, как стать зрелым поэтом. Например, он пишет: «Не ищите внешнего успеха, углубитесь в себя». И еще один совет: «Не бойтесь беседы наедине с собой».

— Можно ли говорить, что популярность Евтушенко принесли не только его стихи, но и знаменитые сценические

выступления?

Кирилл Кобрин. Прежде всего стихи, конечно. При всем массовом успехе и популярности поэтических чтений 60-х годов и выступлений его в больших залах в 70-е, 80-е, 90-е и даже нулевые годы, в процентном отношении к тем, кто любит поэзию Евтушенко, число тех, кто видел его живьем, ничтожно. Но думаю, что здесь надо искать некий компромисс. Это образ поэта-гражданина, который в свое время изобрел Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Евгений Евтушенко очень одаренный стихотворец и настоящий поэт-гражданин. Он не рефлексировал, он реагирует. За всю свою долгую жизнь он реагировал на изменяющиеся обстоятельства жизни страны и советского общества по-разному, а потому был и остается своего рода барометром части советской интеллигенции. Не высоколобой советской интеллигенции, среди которой модно отзываться о нем несколько презрительно, но и не наименее образованной ее части. И я бы добавил еще одну вещь: он действительно невероятно энергичный и одаренный стихотворец и невероятно трудолюбивый человек. Он написал столько, что, может быть, только Солженицын или Лев Толстой могут с ним в этом посоперничать.

— Оппоненты в свое время упрекали Евтушенко в тяжеловесной, пафосной риторике и в самолюбовании. Если мы говорим о его стиле, с литературной точки зрения это было оправданно?

Игорь Померанцев. Поэзия 60-х годов — это эрзац свободы. Когдато Евгений Евтушенко участвовал в «круглом столе», кстати, на нашем радио, и в его присутствии я спросил: все-таки не эрзац ли свободы то, что вы делали в поэзии? И он мягко ответил: «ну, может быть, глоток свободы». Мне кажется, что для эрзаца свободы такие стихи совершенно уместны, но для меня лично Евтушенко как раз любопытен не столько как поэт, сколько как социально-политическое явление и социально-психологическое. Например, он в свое время написал стихи «Наследники Сталина», в которых он говорил об опасности возрождения сталинизма. Он разминировал слово «еврей» своим стихотворением «Бабий Яр». И вот эти жесты, казалось бы, не столько поэтические, сколько социально-психологические и даже политические, имели резонанс. Евтушенко непременно останется

в русской культуре, а может быть, и в мировой. На его стихи написал 13-ю симфонию Дмитрий Шостакович. И в немецкой культуре он непременно останется, потому что его стихотворение «Бабий Яр» переведено на немецкий язык крупнейшим немецким поэтом второй половины 20 века Паулем Целаном.

— Кто в России сегодня хорошо знает и помнит Евгения Евтушенко и его стихи? Вообще его стихи уходят или они остаются?

Кирилл Кобрин. Парадоксальным образом Евтушенко оказался одним из главных представителей современного искусства, которое состоит не из искусства даже, а из современности, актуальности. Это концентрированная актуальность. Вспоминается и одна печальная дата — буквально накануне нынешнего юбилея исполнилось пять лет со дня смерти Дмитрия Александровича Пригова, который как бы другая сторона Евтушенко, потому что он превратил роль поэта-гражданина в невероятно обаятельный и совершенно абсурдный образ. В этом смысле Евтушенко совершенно современен. А читатели, я думаю, у него есть, и дай бог ему всяческих читателей дальше.

Трансформация Евтушенко в Пригова невозможна хотя бы потому, что комического, смехового в нем и самом не занимать стать. Пригов — не другая сторона Евтушенко: он — Пригов. Всё проще — каждому овощу свой срок. Настало время Пригова, он выдвинулся вперед. Не более того.

Тем летом Евтушенко становится известно о болезни Виктора Славкина, вокруг которого, одинокого и беспомощного, творится нечистое дело с угрозой попадания в психушку. О нем хлопочет Евгений Попов, но, кажется, без результата, и Попов выкладывает в сети:

Сегодня ночью я получил письмо из Америки от Евгения Евтушенко. Я не намерен скрывать его от общественности, ибо оно касается не только Русского ПЕН-центра, но и всех, кто знает Славкина. Гласность и общая забота — вот что может спасти Славкина. Вот это письмо:

В русский ПЕН-центр

Так вот, господа руководители ПЕН-клуба, кто бы вы ни были сейчас, это Ваш прямой долг сделать все, употребить все общественные рычаги, чтобы помочь Славкину. Не дай Бог

угодить в психушку, они еще никому не помогали в нашей стране, а, увы, иногда и используются как инструмент отбора жилплощади. Я даю Вам разрешение использовать мою подпись во все высшие инстанции по поводу Славкина, писателя, создавшего когда-то незабываемую пьесу о так называемых стилягах с незабываемым Альбертом Филозовым в главной роли. Его передача о старой квартире была тоже очаровательной и радовала стольких телезрителей теплотой и человечностью, не свойственной сегодняшнему телевидению, заполненному либо попсовой бесстыжей трепотней о том, какие они богатые, или сплошными убийствами и насилиями. Виктор Славкин — это знаковая фигура в нашей не только драматургии, но и в общественной жизни. Надо ему помочь быть окруженным заботой и, конечно, где будут понимать, с каким драгоценным человеком они имеют дело. Так что Попов в своем призыве к Пену полностью прав. Это дело Пена, и все его руководители должны действовать сообща и быстро.

Евгений Евтушенко 10.08.2012

А на Земле всё то же. Те же страсти, те же игры. Евтушенко и Пелевин попадают в списки букмекеров последние несколько лет. *Ladbrokes* начала принимать ставки на лауреата Нобелевской премии по литературе 2012 года. *Ladbrokes* оценивает шансы Евтушенко как 66 к 1, а Пелевина — 100 к 1. Главным претендентом на Нобелевку *Ladbrokes* называет Харуки Мураками, на чью победу ставки принимаются с коэффициентом 10 к 1. В числе фаворитов — китайский писатель Мо Янь (12/1), голландский автор Сейс Нотебом (12/1), албанский поэт и прозаик Исмаил Кадаре (14/1), южнокорейский поэт Ко Ун (14/1) и вновь Адонис (14/1). Ну и традиционно Умберто Эко, Салман Рушди, Филип Рот, Кормак Маккарти, Томас Пинчон. Всего в списке *Ladbrokes* около ста человек. Имя обладателя премии 2012 года станет известно в начале октября.

Им будет Мо Янь.

Пятого декабря прилетев в Москву, Евтушенко тут же едет на берега Невы. Концерт он провел, но случилось худшее — пищевое отравление то ли еще в Москве, то ли в поезде. Тотчас по возвращении в Москву его на «скорой» увозят в Центральную клиническую больницу. Прилетела Маша.

Давняя операция на ноге исчерпала свой результат. Внедренный в лодыжку платиновый шарик, этот искусственный сустав, не спасает положения — не прижился, боль труднопереносима. Но ему необходимо

встать. 27 декабря он выходит на сцену Большой аудитории Политехнического музея. Зал полон. Вся Москва, в основном прежняя, Вадим Туманов здесь же, но и много молодых. Сидя, он полтора часа читает новую, полную новой лирической свежести поэму — «Дора Франко». Голос обрел силу, как только началась читка.

За три дня до вечера в Политехе он рассказывал на радиостанции «Эхо Москвы»:

«Она была некоронованной, но королевой красоты Колумбии. Она была тогда моделью и содержала семью с тремя сестрами после несчастья, случившегося с ее отцом (банкротство). Потом она стала секретарем Сальвадора Дали, но с ним поссорилась, когда он усыпил ее любимого тигра из его коллекции животных и пригласил друзей на ужин его сердцем. Она ушла от него. Она — замечательная женщина.

И вот мы с ней недавно встретились. Вы знаете, тогда ей было 22 года. И она, как Софи Лорен, осталась такой же красивой и такой же хорошей и хранила память обо мне, обо всем, что происходило с нами.

Она — красавица до сих пор. И она живет одна. Она стала фотографом. Из фотографируемой она стала фотографом и очень хорошим фотографом, интерьерным и портретным фотографом. И вот это была моя доисповедь. И с разрешения Маши в наш юбилейный год, год серебряной свадьбы, я сказал: «Маша, мне вот хочется написать». — «Напиши», — говорит. Она засмеялась: «Только ты на это способен, написать в год...» Ну, это шутливо она сказала, она понимала. Я говорю: «Я хочу рассказать. Я не имею права прятать эту авантурную потрясающую историю любви». И я написал. Она вышла по-итальянски, сейчас выходит на всех языках. Я получил в прошлом году в ноябре премию Лери — это очень хорошая премия в маленьком городе Лери, где все отели названы по именам поэтов, живших там, начиная с Байрона. Я владею разговорным итальянским языком, ну и читать тоже могу. Но все-таки это не родной мой язык, я не специалист. А они объявили, что я буду читать эту поэму. И мне пришлось первый раз в жизни это сделать, и час пятнадцать я читал вместе с профессиональным актером эту поэму».

После небольшого антракта вечер продолжается. Он положил ногу на сиденье соседнего стула, время от времени читает стихи и слушает других: Сергея Никитина, доктора Рошаля, Вениамина Смехова с юной подмогой — новыми актерами Таганки, уже репетирующими спектакль «Нет лет» по евшушенковским стихам.

Вечер в Политехе прошел грандиозно. Почти четырехчасовая работа, полуторачасовой фуршет.

Маше необходимо быть в Оклахоме. Улетает. Он остается в Москве — 13 января у него концерт в Киеве. До киевского концерта он посещает выставку «Шестидесятники» в Литмузее на Трубниках, участвует в вечере грузинской поэзии на сцене Большого зала ЦДЛ, проводит трехчасовую встречу в книжном магазине «Москва» на Тверской и то же самое — в Доме книги на Новом Арбате, где надписывает по 300 экземпляров своих книг, в том числе новый сборник «Счастья и расплаты. Стихи 2011–2012 годов». В том году у него вышло пять книг. Всем этим он везде торгует сам, сидя у прилавка. Снобы злопыхают: «Выступальщик-миллиардер». Ну-ну. Вот и пригодился детский опыт Кузнецкого Моста.

Нечеловеческое и воловье.

Осень патриарха? Он пророчил себе когда-то: «Знаю — старость / будет страшной, угрюмой, в ней славы уже не предвидится». Он против. На восьмом десятке он был счастлив, получив орден Освободителя Бернардо О'Хиггинса из женских рук чилийского президента Мишель Бачелет во дворце Ла-Монеда, выступить на том балконе, где последний раз выступал Альенде, перед многотысячной толпой народа. Он мотается по свету, пишет безостановочно, за обилием маргиналий — стихов на случай, по любому поводу, сопроводительных стихотворных заметок и портретов к своей антологии — со стороны не видно лирического каскада этих последних двадцати двух лет, а там есть шедевры. Образовалась пропасть между неутихающим эхом легенды о нем и фактическим знанием его творчества.

Он бродит по осколкам сказочных евтушенковских тиражей, и сколько бы теперь ни было новых книжищ и книжиц, ничего равного прежнему не будет. Относительно количества того, что он пишет и печатает, он стал аэдом, устным исполнителем. Интернет — не его улица, не его праздник, хотя он там висит почти весь. Его легко представить бродячим седовласым странником с лирой, гусями, домброй или бандурой. Однако же этот странничек показывает прежние зубы.

Злятся шавки, что я не в шайке,
а я просто с метелью на шапке.

Злится быдло, что я не в стаде,
не мычу коллективности ради,
и вообще не люблю быдловатость,
как покорную подловатость.

Злятся волки, что я не в стае,
а вот шерсть на загривке густая,
и, когда поднимается дыбом,
отвечаю зубастым «спасибом».

А вообще — что за зверь таковский,
я — зиминский, нью-йоркский,
московский,
я — Есенин и Маяковский,
я — с кровиночкой смеляковской,
а еще фронтовых кровей.
Как поэт,
я — многоотцовский,
с драным гребнем петух бойцовский,
кровью
кашляющий
соловей.

Соловей старого времени. Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве.

Во Дворце культуры и искусств «Украина» он — совместно с джазовым «РадиоБендом» Александра Фокина — собирает семитысячный зал. Три четверти — молодежь. Его встречают и провожают стоя. По ходу вечера зал неоднократно встает. Громоподобный успех. Сразу после концерта — отлет в Париж. Он улетает в головокружительном очаровании горяче-глазой молодежью, часами внимающей поэзии — ему.

В Париж прилетает Маша. Два выступления. Старые друзья Целков, Рабин, Шемякин. Возвращение в Талсу. Госпиталь. Новая операция на ноге отложена. Новый — 2013-й — идет полным ходом.

НОВОГОДНЕЕ

Он сидел, откинувшись на спинку укороченной софы, с телефонной трубкой в руке. На столике перед ним стоял раскрытый ноутбук, черный, небольшой, похоже: HP Compaq.

Одет он был по-домашнему — в шерстяной длинной разноцветно-клетчатой кофте, голубовато-серых трениках, завернутых до колен. Ступня и щиколотка правой ноги были многослойно забинтованы.

Он приветственно махнул входящим нам — мне с Натальей — рукой, продолжая разговор:

— Спасибо, дорогая, что вспомнила. Да... И я тебя поздравляю...

Можно было осмотреться. На стенах много живописи, включая иконную. На полках, полочках и гвоздях, в углах и вообще до потолка множество скульптурок и всяческих изделий, артефактов, цацек и сувениров, свидетельств мировых передвижений и бесчисленных интересов хозяина дачи. Буфет, кресло — дорогая мебель, старинная и сделанная на заказ. При всем блеске окладов, рам, хрусталя, фарфора и металла — в принципе тут всё просто и никак не отдает новорусской стилистикой.

Изнутри дом отделан деревом. Витая лестница на второй этаж напоминает корабельный трап. Есть на стенах и афиши, но не так много, а одна из них — с лицом Караченцова.

Актеры — особь статья его дружб. Женщина, с которой он разговаривал, оказалась человеком театрального цеха. Потом, кстати, ему звонил Смехов, Евтушенко нежно говорил ему *Веничка*, было слышно, что Смехов встречает Новый год в семье Тендряковых, которую считает родной.

Телефон не умолкал. Наш последующий разговор состоял из разрозненных клочков разнообразной тематики, заполняющих короткие паузы между звонками.

Евтушенко пересел в кресло перед большим квадратом ящика, где был найден канал «Культура». Передавали старую запись вечера Никитиных, Сергея и Татьяны, в большом кругу их друзей. Там мелькнули многие, в том числе Дмитрий Быков.

Я похвалил Быкова за роман об Окуджаве. Евтушенко ответил:

— Нет, там недостаточно любви к герою.

В ответ на мои похвалы быковской «Курсистке»:

— Да, это замечательное стихотворение, я хотел его вставить в антологию, но мне жалко курсисток, понимаешь?..

На длинном поле желтого стола, с двумя лавками по бокам, — маленькая, скромно наряженная елка (от Задорнова), рядом с ней фигурная бутылка «Golden vodka» с золотистой взвесью (от Харатьяна).

Заговорили о Талсе. 22 года он уже там, свой дом, сыновья живут в кампусе, один учится на политолога, другой изучает английскую литературу, пишет стихи.

— По-русски?

— Нет, на английском. Они ведь там выросли.

— Рифмует?

— Там давно никто не рифмует. Рифма, наверно, вообще уйдет из стихов. Так предполагал Пушкин, так сказал и Маяковский: кажется — вот только с этой рифмой развяжись и вбежишь по строчке в изумительную жизнь.

Спросил у меня, в какой форме происходит мое пианство. Ответила Наталья: ходит по Арбату с коньячным шкаликом, глотая из горла. Евтушенко вспомнил журналиста Андрея Черкизова и прочитал по книжке балладу о том, как тот разбрасывался на Арбате долларовыми бумажками. Оказалось, кроме прочего Черкизов писал стихи и очень хорошую прозу.

Коснулись Кибирова. Опять-таки: плохо рифмует. А вообще — хорош. Даже извинился за раннюю обличительскую дурь.

Наталья спросила у него:

— Куда выходят эти окна?

Ответил — я:

— В белые деревья.

Он кивнул: да. Но деревья там не белые. Это высоченные темные силуэты хвойных сторожей, исчезающие в низкой тьме непроглядного ночного неба. О том, что это небо, а не что-нибудь иное, часто напоминают миморевущие самолеты с бортовыми огнями.

У ворот внутри двора стоит снеговик со светящимся российским триколором из стекла. Это сделали его домашние к его приезду.

Домашние — домоправительница Тамара, привлекательная брюнетка средних лет, и ее муж Игорь, того же роста, что и хозяин. Игорь назвал себя шоферюгой и сказал, что он в литературе «не очень-то» и вообще «по части работы руками». Они из Ростова. Говор южнорусский.

Игорь:

— Мы с Тамарой уже десять лет, жили просто так, но год назад Евгений Алексанч нам велел зарегистрироваться.

Пошли в музей-галерею. На дворе скользко.

— Илюша, на тебя можно будет опереться?

Нашлась Наталья:

— Всегда найдется *женское* плечо!

Это здание ему возвел какой-то прохиндей, даром что земляк-сибиряк, схалтурил и в придачу обворовал, и оседающее сооружение надо уже ремонтировать или перестраивать.

Двухэтажная постройка состоит из нескольких залов. Открывается экспозиция фоторядом самого Евтушенко.

Это произошло в Японии. Он увидел лицо старой японки, сливающееся с деревом так, что ее морщины передались дереву. Он попросил фотожурналиста, его сопровождавшего, дать ему камеру щелкнуть ее. На следующий день вышел журнал с этим снимком на обложке и подписью: фото русского поэта Евгения Евтушенко. Ему там подарили Nikon, с которым он не расстается до сих пор.

Мельком коснулись его токийской поэмы. Я говорю: вот пример того, как Евтушенко может оставаться собой без евтушенковской рифмы.

Конечно, эти фотографии впечатляют. Лица старух, русских и заморских, пейзажи, архитектура, дети, два-три наших уголовника, включая убийц, — пересказывать нет смысла.

Живопись — самая разная, от фигуративной до абстрактной, от безымянного мастера до Целкова, от Шагала до Сикейроса.

— Сколько лет ты собирал все это?

— Всю жизнь.

Есть и стенды с документами: история семьи в частности.

Прапрадед Вильгельм был стеклодув. На полке лежит авторский — прапрадедовский — хрустальный шар неопределенного цвета, довольно крупный, несколько деформированный, но крепкий на ощупь.

— Меня отец учил: если надо сделать хорошее дело, обратиться за помощью к консерваторам или к лучшим из реакционеров.

Показал на фото отца:

— Он был красивый, мама — красивая, и в кого я, вот такой?

Он ошибается. Он сейчас красив необыкновенно. Лицо — тонкая кость, на которой слой струящегося воздуха и горящие свечи глаз.

Несколько дней назад мы провожали его в Питер. «Красная стрела» уходила на ночь глядя. Мы пришли пораньше и в ожидании ходили вдоль поезда по перрону. Поэта долго не было. Наконец из глубины полумрака прорезались две фигуры: что-то сверхчеловеческое рядом с обычным человеком. Они синхронно постукивали тростями. Обычным человеком

оказался Нехорошев. На Евтушенко распахнутая черная соболья (или норковая) шуба, белый малахай наком, белый шарф на отлете и цветной узкий галстук до колен. Первым делом он вручил нам девятый том Первого собрания сочинений. Внезапно заговорил, с двухметровой высоты глядя на парижскую шляпку моей спутницы, о том, что он в свое время яростно сражался против выездных комиссий. В Питер он едет по приглашению в честь полувековой даты выступления там вместе с Беллой. Падает снег. Как в Токио.

Кстати, насчет Японии. Между делом он вполухотку обронил, что, было дело, лобызался с Йоко Оно. Вкусы его нерегламентированы, как известно. Было такое: задним числом он узнал, что Пол Маккартни возил с собой его книжку на английском, перевод «Станции Зима», и между концертами накачивал дружок чтением вслух этих стихов. Про это есть «Баллада о пятом битле». Но какой же Евтушенко пятый? Он первый.

Было и такое. Когдато в Сиднее он собрал зал на 12 тысяч человек — тот зал, где до того произошел практически провал битлов: на их концерт пришла пара тысяч зрителей.

— Почему?

— Трудно сказать. В Австралии живут гордые люди.

— А, ну да, потомки каторжан.

— Именно так, — сказал потомок каторжан.

Пикассо, Эрнст, Леже — колоссально, а мне бы чего попроще: вот небольшая картинка, где изображена в темных тонах изба, в снегу, за невысоким забором, далекое-близкое. Дом зиминского детства. Деревянный. Из лиственницы, конечно. Его чуть не разорили дотла чужие люди — Евтушенко спас, теперь там музей.

Тут есть много чего. Осколки прошлого: бетонный кусок Берлинской стены, кирпич от екатеринбургского дома Ипатьева — то и другое добыто собственноручно.

А кстати, соотносил ли он когда-нибудь, что расстрел царской семьи в ночь с 16 на 17 июля соседствует с днем его рождения — 18 июля?

Пять дней назад на его вечере в Политехническом вызванный на сцену доктор Рошаль спросил в упор:

— Сколько тебе лет, Женя? Мне это надо знать, чтобы, исходя из того, кто из нас старше, соответствующим образом к тебе обращаться. Тебе есть восемьдесят?

Ответ был неохотным:

— Биологически — да.

— Значит, мы сегодня отмечаем твой юбилей.

Евтушенко развел руками: да.

За новогодний стол сели примерно за час до полуночи. Он. Мы с Натальей. Его домашние.

Перед этим Тамара неуверенно спросила:

— Евгений Александрович, вы не хотите переодеться?

Он отмахнулся.

Выслушав телеобращение президента, выпили из хрусталя понемножку шампанского, «Абрау-Дюрсо». До того и после того были продегустированы арманьяк, коньяк, «Киндзмараули», «Алушта», водка. В детских дозах.

Стол был полон яств, включая гуся с яблоками.

Когда провожали старый год, Наталья спрашивает:

— Женя, а почему в томе «Весь Евтушенко» нет «Я только внешне, только внешне...»?

— Ну, оно так себе.

Мы не согласились.

Он спросил:

— А что там есть?

Наталья процитировала:

— Брожу я местной барахолкой и мерю чьи-то пиджаки, и мне малиновой бархоткой наводят блеск на башмаки.

Он спросил:

— А что там еще?

Я продолжил:

— Устроив нечто вроде пира, два краснощеких речника сдирают молча пробки с пива об угол пыльного ларька.

Он улыбнулся, я сказал:

— Но мне кажется, что крышку на бутылке нельзя назвать пробкой.

Он не согласился. Правда, в обиходе эта крышка называется пробка. Но, строго говоря, пробка — это втулка, затычка.

Вспомнили Соколова. На открытии надгробного Соколовского памятника в цветах на могиле была обнаружена записка от Евтушенко из Америки, о чем он сейчас не очень-то и помнит.

В этой связи он рассказал случай из практики по работе с молодыми. Поэта П-ова выгнали из Литинститута (за пьянку и безобразия, разумеется), Евтушенко поговорил с ректором о восстановлении, ему пошли навстречу, но без права на общежитие. Евтушенко пристроил его у себя в сторожке. Постоялец, когда хозяин отсутствовал, продолжал свое. Вламывался в дом, брал из холодильника то, чего нельзя брать без

разрешения. Его терпели. Но когда Евтушенко прилетел на Соколовские похороны, тот по ходу неллицеприятного разговора заявил: это ваши дела, вашего поколения, меня это не трогает. То есть подышайте, ваш срок пришел.

Я заметил:

— Я поэта П-ова не знаю, но вот в то же время, в перестройку, промелькнул некий Вадим...

— О, да! Вадим Антонов! «Помиловка», великолепная поэма, я сам пробил ее в «Новом мире». У него были и еще сильные вещи, он исчез, пропал, стихи остались в руках какой-то женщины и канули без следа.

Отдельно выпили за Машу. Она только что звонила из Штатов, где приземлилась, вылетев отсюда. Он заметно погрузнел.

Сидели мы недолго. Его мучила боль в ноге, он утомился, поднялся к себе, нам была отведена спальня на первом этаже. В беззвучном доме до утра нас оставалось трое. Спал я плохо и мало, видел свет, падающий на трап: он уснул лишь под утро. Мы засобирались домой.

Утром, прогуливаясь по двору с сигаретой, я ощутил легкий толчок то ли в бок, то ли в спину. Оглянувшись, увидел огромную бело-черную морду миролюбивого Бима. Я не сообразил, что мне делать, и косматый Бим, в основном палево-белый, постояв в некотором ожидании, побрел в сторону своей будки и, укоризненно посмотрев на меня, коротко гавкнул. Я обидел его: он-то мне предлагал дружбу.

Утро выдалось изумительным. Голубые небеса с барашками облачков. Мы пошли на железную дорогу. Было бело, свежо и нехолодно. 143,4 миллиона соотечественников отсыпались.

Стояла великая тишина, земной шар был пуст, ни звука, ни души, не считая пары молодых гастарбайтеров в черном, затерявшихся вдалеке в снегах улицы по имени Сиреневая.

АПРЕЛЬ, МАЙ И ДАЛЕЕ

Ну, это и должно было произойти — в апреле. 16-го в московском кафе «Март» (о март-апрель, какие слезы!..) на пресс-конференции объявлено имя лауреата премии «Поэт» за 2013 год. Евтушенко.

В литсообществе буря. Оппоненты тут как тут. Споры идут не только вокруг персоны Евтушенко — волнует сама премия, ее политика, принципы и цели. Питерский Писарев преклонных лет Виктор Топоров:

«Поэт» позиционирует себя как премия консенсусная. Мы, мол, награждаем только тех, о ком просто не может быть двух мнений — поэт он или нет. Поэт! Или, в худшем случае, поэтесса. Но двух мнений нет обо всех этих поэтах главным образом потому, что нет хотя бы одного. Они не интересны, они не актуальны, они уже давным-давно не поэты. Они ушли — вместе со временем, в которое жили и писали; они остались в истории отечественной словесности именами, но не стихами, фамилиями, но не судьбами, литературными анекдотами, но никак не знаковыми событиями. О том же Евтушенко — а он, бесспорно, прожил самую яркую жизнь и был куда талантливее восьми остальных — мы помним главным образом, что если он против колхозов, то надо быть за колхозы. И хотя бы поэтому присуждение ему премии наверняка прошло с превеликим скрипом, да и состоялось единственно потому, что «консенсусные» уже на исходе. Ну, не Глебу Горбовскому же присуждать «Поэта» — он «чужой». Ну, не Юнне Мориц же — она «чужая» вдвойне. А Евтушенко — он все-таки «свой». Смешной, противноватый — но в сущности «свой». А больше, глядишь, и нет никого.

Куда благорасположенной Александр Архангельский:

Политика эта может нравиться или не нравиться, но уж точно она совершенно последовательна. Премия присуждается: а) за общий вклад; б) за значимое присутствие в современном литературном процессе. То есть за два трудносочетаемых качества. Так сказать, за приближение к статусу классика и за

сиюминутную активность. Поэтому старший классик Евтушенко получает после младшего Кибирова (лауреат премии «Поэт» за 2008 год. — И. Ф.) — и как раз в тот момент, когда он резко вернулся в день сегодняшний. Вечер за вечером, книжка за книжкой. Это не премия за утонченность и актуальный излом, как Премия Андрея Белого. Не премия экспертного признания последней по времени книги, какой была Премия имени Аполлона Григорьева. Не «Триумф», который был похож на лавровый венок. Это именно премия гамбургского счета, примененная к сегодняшнему дню. Если есть претензии к ее решениям (а у меня они были, и еще какие), то за промахи, а не за сбои в логике. Почему этот раньше того? Про Евтушенко и Кибирова я могу объяснить почему, а про некоторых других лауреатов — теряюсь в догадках. Ну, с другой стороны, жюри для того и существует, чтобы его ругали со всех сторон.

Национальная премия «Поэт» — таково полное наименование данной институции.

В апреле 2005 года ее учредило Общество поощрения русской поэзии совместно с РАО «ЕЭС России» в результате дружеской беседы Александра Кушнера с Анатолием Чубайсом. Премия выдается ежегодно раз в год, ее денежное содержание равно 50 тысячам долларов. Первым лауреатом стал Кушнер. Затем — Олеся Николаева, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Виктор Соснора, Евгений Рейн.

Разумеется, каждая премия, помимо прочего, еще и перформанс, парад победы, интеллектуальный спектакль. Водружение на главу лаврового венка выдуманно не нами. Лауреат — он и есть обладатель лавра.

Да, отдельный сюжет премии — вот эта бесконечная баталия между Питером и Москвой. Еще Пушкин, устав от всего этого, напечатал, например, «Тучу» и «Лукулла» в Москве, а не в Петербурге. Органичность премии — в ее предыстории, идущей издалека. Может быть, с той поры, когда Сумароков, оставив Северную столицу, спивался в московском кабаке.

Двадцать второго декабря 2010 года в подвале ресторана «Август» произошла дискуссия о премии «Поэт». Собрались в основном люди, причастные к премии, — прежде всего члены жюри. Были и гости со стороны. Вел мероприятие координатор «Поэта» Сергей Чупринин. Кто чего говорил по существу или по крайней мере остро? Вот дайджест той дискуссии.

Сергей Чупринин: ...в само основание этой премии заложена идея консенсуса. <...> Мы всего лишь пытаемся в нашем разрушенном, «огоризонтальном» и «уплощенном» литературном пространстве воссоздать своего рода вертикаль, иерархию имен, ценностей и талантов, на которых сошлось бы не считанное число рафинированных знатоков, а большая часть читающего сословия.

Глеб Морев: Члены жюри, на мой взгляд, должны четко осознавать, что, выбирая лауреата, они должны ориентироваться не на личные симпатии и антипатии, а на объективный культурный статус тех фигур, которые попали в поле зрения жюри.

Алексей Алехин: Что значит консенсус? Как говорил известный литератор Николай Ленин, он же Ульянов, — полное единомыслие бывает только на кладбище. И я бы посоветовал коллегам из жюри отойти от принципа консенсуса, перейти к голосованию, которое не ограничивается рассылаемыми списками, но обязательно предусматривает заседание с обменом мнениями и дискуссиями.

Андрей Василевский: После тех сильных чувств, которые вызвал у нас Русский Букер, мне хочется сказать: почтенная национальная поэтическая премия, такая как «Поэт», должна быть скучная и предсказуемая. Избави Бог от сюрпризов. Года на два-три — вполне еще времени хватит работать в том режиме, в котором вы работали. А проживем 2–3 года — тогда можно опять собраться и обсудить, как жить дальше. А сейчас — никаких новаций и пр.

Максим Амелин: Что до решений жюри прошлых лет, то я с ними согласен вполне, без исключений. Все «Поэты» того достойны. Виден «рулеточный» принцип их избрания: шарик попадал в абсолютно разные места. Шесть совершенно разных поэтик, шесть эстетических концепций, шесть мировоззрений... Разброс — довольно сильный, даже возрастной. Похожих решений не было, и это радует. Пусть так будет и дальше.

Инна Роднянская: Премия в качестве общенациональной фиксирует тот факт, что бытие поэзии как вида литературы признается всеми читающими людьми, даже теми, кто не читает стихов и, может быть, современных книг вообще. Тем не менее премия адресована не им. В то же время она адресована и не

специфическому цеху поэтов и критиков поэзии, а какому-то промежуточному слою. Тому, который находится между узким цеховым сообществом и предельно широким читательским, подхватывающим какие-то случайные имена из средств массовой информации, не более того.

Владимир Губайловский: Первым премию получил Кушнер, потом жюри под его председательством присудило премию Олеся Николаевой, дальше: Чухонцев — Кибилов — Лиснянская — Гандлевский... Как бы работает маятник между двумя поколениями: поколением тех, кому за 50, и поколением тех, кому за 70 — вверх-вниз. Младшее поколение дает премию старшему, чтобы не давать своим, а старшее так же поступает с младшим.

Игорь Шайтанов: Надо оставить все как есть, как мы сегодня слышали, с десятков имен еще найдется, которые всех устроят. Но их едва ли будет больше, потому что сейчас ниже возраста 50 лет в поэзии индивидуальных имен практически нет, есть лишь колебания стиля. Но в любом случае я очень рад, что такая премия существует. Если те имена, которые они назвали, прозвучали громче, то спасибо премии.

Наталья Иванова: Решение жюри о присуждении премии «Поэт» консенсусное. Но, конечно, это не те поэты, консенсус вокруг которых существует в литературном сообществе. <...> Лучше любая ошибка, даже странная, чем любая посредственность. Для того чтобы премия была не только денежным подспорьем для одного и фуршетом для многих, для того чтобы выбор оказывал воздействие, необходимо раздвигать рамки эстетических возможностей, не оставаться в пределах одной традиции. Русская поэзия, слава Богу, традициями богата. Эстетический консерватизм — лишь одна из традиций.

Андрей Немзер: Никакой понятной поэзии не бывает. Вот, скажем, стихи Твардовского, которые на русском языке абсолютно не воспринимаемы большинством его читателей. Поэтому, по моему мнению, Твардовский действительно великий поэт. <...> Невозможно потребовать от премии «Поэт», которая занимается решением вполне конкретной задачи, чтобы она обслуживала все.

Дмитрий Бак: Когдато Афанасий Фет обратил внимание на необыкновенную социальную подвижность «новых русских» 1860-х годов, тех необразованных нуворишей, которые в

нагольных тулупах вошли в качестве владельцев в имения разорившихся дворян. Фет замечательно прозорливо писал о том, что их дети уже будут слушать лекции по философии в лучших университетах Европы. Надеюсь, что все это повторится и в наши дни, новые читатели с неожиданно и по-новому обостренным зрением и слухом примут и оценят своих поэтов, пусть даже эти поэты не всегда будут нашими с вами, уважаемые коллеги.

Михаил Айзенберг: Я справлялся у него как у социолога (Б. Дубина. — И. Ф.), есть ли уменьшение процента читающих стихи. Он сказал — уменьшение не зафиксировано. Как в последние, так и в предыдущие годы стихи регулярно читают три-четыре процента взрослого населения. Другое дело, кого читают эти три-четыре процента.

Николай Богомолов: К нашей великой печали, мы уже достаточно давно живем в ситуации общемировой беды: поэзия в мире умирает. <...> Россия — одна из немногих стран в мире, где поэзия продолжает существовать. И мне кажется правильным, что есть некая надзорная инстанция, устанавливающая некий уровень, ниже которого опускаться стыдно.

Илья Фаликов: Все имена, которые здесь перечисляли, достойны, и спору нет... Сам формат премии мне чем-то напоминает Французскую Академию: назначение бессмертных. Эта премия — о том, что уже произошло. Таким образом, эта премия фиксирует вчерашний день. Это уже состоялось. То, что таится в недрах сейчас, — оно таится. Предположим, 1905 год. Эту премию учредил бы Брюсов на деньги, допустим, Рябушинских. Первый, конечно же, был бы сам Брюсов, потом пошли бы все другие на «Б» — Бальмонт, Блок (в 1907-м, после «Незнакомки»), Белый, ну и по списку — Вячеслав Иванов, Сологуб, Кузмин...

Сергей Чупринин: Надо же — параллель какая!

Илья Фаликов: Номенклатура была определена, политбюро уже было, и оно отвечает той исторической действительности. Поэтому моя аналогия — в поддержку опять-таки этой премии. Наверняка никто в жюри не ошибся, и мы не ошиблись, когда смотрели в телевизор на лауреатов, но только сегодня я узнал, как работает эта премия внутренне — даже если ты не хочешь, то все равно говори, за кого ты при выборе одного из двух. Все-таки здесь есть что-то этически неладное, советское, что ли...

Сергей Чупринин: Ну и что же здесь советского?

Алексей Алехин: Кто не с нами, тот против нас? Но если я не хочу ни за того, ни за другого голосовать! Кто с нами не голосует, тот выходит из премии.

Илья Фаликов: Я за эту премию. Я за то, что она изначально хороша и хорошо оформлена. Но сегодня, узнав о том, что кто-то из тех, кто не согласен, все равно должен сказать «да», я поймал себя на мысли, что недаром у Сергея Ивановича <Чупринина> появилась потребность сегодня поговорить. Он чувствует, вероятно, какое-то неблагополучие. Я думаю, что ежели произойдет такой момент, когда кто-то из членов жюри, не побоясь потерять регалии и прочее, уйдет из премии, вот тогда... тогда что-то произойдет новое, какое-то шевеление.

Итак, в кафе «Март» решение жюри было встречено с энтузиазмом. Это на следующий день раздалось: «Облезлые пожилые гуси щиплют Чубайса, вот и вся история. Неинтересно». И прочее. Даже инцидент на «Евровидении», когда российской певице Дине Гариповой недодали голосов и министр Сергей Лавров вступился за нее, не обошелся без шпильки почему-то в адрес поэта:

Как известно, слава — это хорошо организованная реклама. В советское время это хорошо понимал Евгений Евтушенко. Уже тогда в разряд легенд вошли ситуации, когда он организовывал критические, если не сказать, разгромные публикации о себе в литературных журналах. Видимо, ориентируясь на психологию читателей тех лет: если официальные критики кого-то ругают, значит, этот кто-то написал нечто яркое, вызывающее и, возможно, весьма талантливое, поэтому надо найти и прочитать.

Показательно — незалежно-самостийно — подал голос некто из братской Украины по поводу неуспеха своего исполнителя:

Такой низкий балл, который дали, по сути, только зрители РФ, — это оценка исторических событий Украины и России глазами русских, это отражение их восприятия истории, это проявление их коллективной фобии того, что Украина суверенная и независимая от них. Это проявление традиционной российской имперской ментальности. Россия не может смириться с тем, что

Украина может быть независимой, поэтому ставит нам такие низкие оценки. В психологии такое поведение называют не иначе как идиосинкразия. В этом бессилии своей злобы русские дали в финале нам такой балл. Это проявление злобы и бессилия. Словом, нелюбовь за нелюбовь. И впрямь, какая же песня получится, если между соседями согласия нет, и все громче звучат голоса военных о силовом «принуждении украинцев к дружбе». Мы уже знаем, что это такое, видели на примере Грузии. Потому Украина изо всех сил рвется в Европу, а Кремлю так хочется повернуть ее под себя, в Евразию. Так что извини, пожалуйста, лиричная певица Дина Гарипова, ты стала заложницей имперской политики ваших же недалёковидных политиков.

Евтушенко называет Украину «второй матушкой». Всё штатно в этом прекраснейшем из миров. Сообщается, что двенадцатилетний москвич Олег Печерников зарабатывает себе на жизнь чтением стихов собственного сочинения, а некий 86-летний писатель вынужден где-то там торговать книгами, потому как его разлюбила женщина, и, кроме того, в Канне побеждает фильм о лесбиянках. Всё в норме.

В этом театре абсурда и ненавистнической чепухи здраво, не без присущего перебора, но поперек многим выступил Дмитрий Быков в «Московских новостях» от 19 апреля.

Награждение Евтушенко именно сейчас — знак чрезвычайно отрадный, потому что он-то, при всех своих недостатках, фигура ренессансная. Многое умеет, за все берется, на все отзывается. Во времена торжествующего Средневековья напоминание о Ренессансе так же неуместно, как пляска на похоронах, но должен же кто-нибудь напомнить и о том, что тут не всегда были похороны, что молчание не всегда было добродетелью, а неучастие в жизни запросто могло расцениваться как дезертирство. Оно, собственно, и есть дезертирство, а вовсе не проявление хорошего вкуса, но кто сейчас скажет об этом вслух, не рискуя навлечь на себя упрек в политизации? Иные ведь до сих пор убеждены, что писатель может участвовать в политике лишь потому, что его книги от этого лучше продаются, и переубеждать этих иных еще глупей, чем защищать Евтушенко от упреков в дурновкусии. *Вы сначала напишите «Долгие крики», а*

там поговорим(курсив мой. — И. Ф.).

Тревожность и неуютность окружающего мира не преминули сказаться в те же дни. Накануне церемонии награждения, которая состоялась 21 мая, лента новостей — как по какому-то черному заказу — принесла сообщение.

Мощный смерч пронесся в понедельник над американским штатом Оклахома. Торнадо, ширина которого составляла более 3 км, бушевал почти 40 минут. Набрав скорость 320 км в час, он стирал с лица земли все находившееся на его пути. В огромной воронке над землей кружились машины, деревья, обуянный ужасом домашний скот. Одна из выживших женщин рассказала, что укрылась вместе с детьми в ванной и спасла дочку, удержав ее за волосы. Власти Оклахомы пока подтвердили гибель 24 человек, хотя ранее заявляли, что число жертв стихии составит не менее 90. Президент США Барак Обама объявил Оклахому зоной бедствия и распорядился о предоставлении потерпевшим районам федеральной помощи.

Город Мур в Оклахоме, подвергшийся разрушениям, — это, возможно, торнадная столица Америки, утверждает The Daily Beast, вспоминая разрушительное стихийное бедствие 1999 года в этом городке.

Смерч 3 мая 1999 года продлился всего 1 час 25 минут, но унес 41 жизнь, оставил 583 пострадавших и нанес ущерб на сумму свыше миллиарда долларов. Его мощность была оценена как F5, то есть самая интенсивная.

О том торнадо Евтушенко писал:

В Белграде света нет. Нет света в Оклахоме.
Торнадо — как бомбежки мрачный брат.

Как всё связано! Нынешнее несчастье сравнивают с Хиросимой. Папа Римский Франциск выразил соболезнования пострадавшим от торнадо жителям штата Оклахома в США. «Я близок к семьям всех погибших от торнадо в Оклахоме, особенно к тем, кто потерял детей младшего возраста. Присоединяйтесь ко мне в молитве о них».

В Талсе смятение. Ко всему прочему на плечах Марии Евтушенко — тяжелая болезнь престарелой матери.

Непосредственно за стенами оклахомской больницы *Hillcrest* грохочет стихия, когда в Политехническом проходит церемония. Еще не успели остыть аплодисменты недавней — 24 и 25 апреля — премьеры на Таганке спектакля «Нет лет». Смехов поставил элегию на тему старой Таганки. Валерий Золотухин, с которым все это задумывалось, внезапно умер — его страшно не хватало, поскольку именно в паре с ним должен был работать на сцене Вениамин Смехов. Актерская молодежь была искренней и во многом умелой — пели, плясали, плакали и смеялись, однако изобразить группового Евтушенко крайне сложно: недоставало его фактуры, роста и достаточного понимания стиха. Дело доводит сам Смехов — великолепный чтец. Получилось ярко, молодо и грустно. В «Нет лет» много чисто театральных цитат из прежней Таганки: белая лестница поперек сцены — из «Антимиров», «Пугачева» и «Павших и живых», черные тумбочки — воспоминание о «Под кожей статуи Свободы». Сценография — картина послевоенного сиротства, разбомбленности, голых стен, пустых окон, какая-то старенькая пишмашинка на столике перед Смеховым типа «Ундервуд» или «Эрика», ее эпизодический перестук с временами то ли ушедшими, то ли наступающими. Юрий Любимов не пришел на спектакль, но, просмотрев запись, остался доволен.

В Большой аудитории Политеха 2013-го — дежавю. Много знакомых лиц, почти все лауреаты премии «Поэт», разновозрастная публика, если можно так назвать пришедших на чествование их поэта. На сей раз — масса коллег. Одна из газет правильно выразилась: «Народная победа». Да, правильно. Но есть еще одна вещь — вручение премии изначально подверстывается к дню рождения Иосифа Бродского (24 мая), и это означает, что постевтушенковскую премию под невидимой эгидой Бродского получает Евгений Евтушенко. Именно так.

Открыл церемонию Сергей Чупринин:

— Будем благодарны Евгению Александровичу Евтушенко за то, что он сделал и еще сделает для русской поэзии. Увы, но известие об этой награде застало его в больничной палате или, как говорят у них в штате Оклахома, госпитале. Он очень хотел быть сегодня здесь с нами: предпринимал разнообразные усилия, рвался из пут, но безуспешно. Нам остается надеяться и ждать очных встреч с поэтом в других залах столицы осенью, когда он приедет представлять публике свой огромный труд — антологию

русской поэзии.

Владимир Радзишевский, научный редактор пятитомника «Поэт в России — больше, чем поэт», предстал в роли доверенного лица Евтушенко. Владим Владимыч (к слову, автор замечательной книги о последних днях Маяковского) — давний сотрудник Евтушенко, именно он сражался в неравном бою с главредом «Литературки» А. Чаковским за название статьи Евтушенко «Возвращение Николая Гумилёва» (возвращение монархиста-белогвардейца?!), получилось несколько иначе — «Возвращение стихов Гумилёва» («ЛГ» от 14 мая 1986 года). Много лет они бок о бок тащат воз десятивековой отечественной поэзии в понимании Евтушенко. Не без иронии он сказал о том, что поражается-ужасается объему работы, вновь и вновь расширяемой Евтушенко, который ни на день не прекращает это дело. Прозвучал стишок:

Какие есть девчонки голоногие!

А я вот — составляю антологии.

ЕВГ. НОВЫЕ СТИХИ

НЕЖНОСТЬ

ЕВТУШЕНКО

Дорогому
Илюше
Фаликову
с пожеланием,
чтобы его
несомненное
дарование
воплощалось
как говорил
Пастернак,
в «исчерпывающих
формах».

Евг. Евтушенко
Февраль. 1971.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1962

Дарственная надпись И. Фаликову на книге «Нежность»: «Дорогому Илюше Фаликову с пожеланием, чтобы его несомненное дарование воплотилось, как говорил Пастернак, в «исчерпывающих формах». Евг. Евтушенко. Февраль. 1971».



НЕТ ЛЕТ

ЕВГУШЕНКО

ЕВГЕНИЙ

Музыкально -
поэтическое
представление

Основатель театра
Юрий ЛЮБИМОВ

Программка спектакля «Нет лет» по стихам Евг. Евтушенко в постановке В. Смехова в Театре на Таганке. Апрель 2013 г.

Емкое слово произнес Александр Кушнер.

Я очень рад, что наконец-то мы дали премию Евгению Евтушенко. Это надо было сделать значительно раньше. Точно так же, как мы в долгу перед Беллой Ахмадулиной, перед Андреем Вознесенским. И стыдно, когда подумаешь, что они эту премию не получили. Еще скажу. После того как стало известно о

нашем решении, в интернете обнаружилась куча каких-то злых нападок на жюри. Я подумал, как им ответить? И знаете, кто мне помог? Пушкин! «Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно». Как будто смотрел в сегодняшний день. А Евтушенко — это, конечно, событие, не просто событие, а в жизни страны 50–60-х годов. Я сам помню, как мальчиком — потому что я моложе его — пришел в Союз писателей, а со сцены читал стихи, приехав в Ленинград, Евтушенко. И это была огромная радость — так он был непохож на наших чиновных поэтов. А потом Александр Прокофьев — замечательный поэт, между прочим, и человек хороший, но такой, старой закваски, говорил: «Чего это он вылез на трибуну в таких ярко-красных носках?!» Посмотрел бы он на сегодняшние пиджаки Евтушенко! Но дело, конечно, не в носках, а в стихах. И когда я думаю о нем, в первую очередь мне приходят в голову эти замечательные стихи: «А любил я Россию всюю кровью, хребтом, ее реки в разливе и когда подо льдом, дух ее пятистенков, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков...» Я думаю, это же он первый, один из первых вернул в поэзию слово Россия вместо СССР: «Если будет Россия — значит, буду и я». И еще, понимаете, почему эти стихи хороши, а формально — тоже хороши? Ведь это двустопный анапест, а все тогда заболели этим двустопным анапестом. А почему? Потому что Борис Пастернак написал «Вакханалию»:

Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

И так далее. Или это:

Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба

Точно брат и сестра.

Или — я думаю — а Бродский? А он тоже у Пастернака взял тот же двустопный анапест:

Словно девочки-сестры
Из непрожитых лет,
Выбегая на остров,
Машут мальчику вслед.

И «сестры» — заметьте, у Пастернака «сестра». О себе, грешном, говорить не буду, но скажу, что в том же двустопном анапесте написан целый ряд стихов, там:

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму...

Зачем я это говорю здесь и сейчас? Я надеюсь, что в зале сидят люди, не просто любящие поэзию, а понимающие внутреннее устройство. Нас призывают отказаться, к черту отправить все регулярные размеры, писать как угодно — как угодно, только по-другому. Хороши б мы были, если б так писали. А двустопный анапест останется и нас переживет. И вот Евгений Евтушенко это замечательно понял интуитивно. А если обратиться к Пастернаку, вы думаете, он что — на голом месте это придумал? Ничего подобного!

Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.

Эта резанность линий,
Этот грузный полет,

Этот нищенски синий
И заплаканный лед!

Иннокентий Анненский, конечно — вот откуда! С чего же мы будем стесняться?! Некоторые наши, вот эти хиосские жители смотрят сегодня свысока на Евтушенко, и на него, и на многих других, имевших счастье и горе родиться задолго до появления их, нынешних, на свет. Увидеть бы, что останется от их поэзии лет через 50. Я вовсе не хочу ругать сегодняшних молодых поэтов. Среди них есть совершенно прекрасные, но они, конечно, этой глупости себе не позволяют. Они понимают, что они опираются на плечи предшественников. Вот мы сидим в этом зале. В этом зале впервые было прочитано стихотворение «Бабий Яр» в 61-м году. <...> И хотел бы спросить: а кому-нибудь в стране — из ныне живущих — есть хоть кто-нибудь, кому Шостакович позвонил по телефону? А Евтушенко — позвонил. Он позвонил ему по телефону и сказал: «Вы написали «Бабий Яр». Вы не возражаете, если я напишу музыку на эти стихи?» Евтушенко обомлел: «Что вы?! Я буду счастлив!» — «Музыка уже написана». И она прозвучала. Когда думаешь о Евтушенко, о его любовных стихах:

Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те...

и так далее: «Постель была расстелена, а ты была растеряна...» Боже мой! Понимаешь — он все-таки вошел в нас. Я стоял в стороне от московской жизни. Я на этих трибунах не торчал и в Лужниках не выступал, но я уважал Евгения Евтушенко, я понимал его роль. И еще я хочу сказать, он человек необыкновенно щедрый, понимаете? Он красивый человек, им любуешься. Он мастер на все руки. И в нем нет подлости. Он не мелкий человек, не завистник. Мне нравится его устройство. И наконец, я скажу последнее, и, может быть, в данном случае — самое важное. Евгению Евтушенко за 80 лет. Как прекрасно, что и

в этом возрасте пишутся стихи. Это абсолютное чудо. Я не знаю, с кем его сравнить? С Гёте, что ли, или с поздним Вяземским? Больше никого не знаю. Но чтобы не быть голословным, прочту одно стихотворение, не все — отрывок. И написано оно в 11-м году:

Меня, конечно, радостью покачивало,
когда в какой-то очень давний год
я получал в Тоскане премию Бокаччио,
но ощутил — вина меня гнетет.
Не проступили на руках ожоги,
но понимал я, что беру чужое.

Я сбился вдруг. Меня все подождали,
и я заговорил о Мандельштаме.
Ведь нечто видел он поверх голов,
нас, еще агнцев, на плечах таская
«от молодых воронежских холмов
к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане».

Так вот, пусть же, получив сегодня эту премию, Евгений Евтушенко вины не чувствует. Он заслужил эту премию. Он берет свое, а не чужое.

На сцену пригласили Андрея Смирнова, актера, режиссера, сына С. С. Смирнова.

— ...я тоже из племени читателей Евтушенко. И когда я узнал, что премия — как правильно намекнул на это, даже обозначил Кушнер — наконец-то присуждена Евгению Евтушенко, я испытал свою собственную, как бы сказать, отдельную, личную радость. Потому что, когда с нами уже нет ни Булата, ни Беллы, ни Андрея — мне кажется, что это не только отдавание долга признанию ярчайших заслуг самого Евгения Александровича перед русской поэзией, перед русской культурой, перед Россией, но это еще и очень важный поклон в сторону этого замечательного поколения. Поколения, вместе с которым люди моего возраста прожили целую жизнь.

А я помню, когда мне было 16 лет — 57-й год — отец пришел из Союза писателей, сказал, что там было очень острое обсуждение, и положил тоненькую книжечку, «Обещание» она называлась. Сказал: «Очень острое было обсуждение...» Я заглянул в книжку, мне показалось очень интересно, что говорили. Отец говорит: «Ну, общий тон был такой: очень способный, но очень много на себя берет». И эта формула будет сопровождать поэта практически всю жизнь. А я заглянул в этот томик и ахнул! А потом... Ну, я не буду ничего рассказывать о первом впечатлении, о живом Евтушенко, потому что, к счастью, есть эти волшебные кадры из фильма Хуциева. Он же еще гениальный артист! И этот голос громовой, эта мимика, эти жесты завораживали настолько, что порой потом, прочтя на бумаге стихотворение, которое он читал со сцены, оказывалось, что это прежде всего магия его личности. Но, к счастью, он читал и такие стихи, которые были волшебны и на бумаге. Вот это обсуждение 57-го года только сейчас, с дистанции видно, что это было огромное событие. 57-й год — еще жив Пастернак, еще год остался Заболоцкому. Шервинский из старых волков 30-х годов, Асеев. В полной славе и расцвете фронтовое поколение, пишут: Слуцкий, Самойлов, Винокуров, Наровчатов, Смеляков. Уже 57-й год — это значит, там, в Питере, мы еще не знаем, но уже пишет Бродский, уже начались Кушнер, Горбовский. Через два года в Москве Аля Гинзбург издаст «Синтаксис» и его посадят, но это обсуждение 57-го года — это первый звук голоса нового поколения, поколения «шестидесятников», как оказалось, очень яркого, многообразного. Оно еще вполне советское, у них у всех еще проскальзывают комсомольские мотивы, но это первое поколение русской поэзии после того, как открылись ворота ГУЛАГа.

И нам всем — их читателям — еще предстоит осознать, что родились мы в тюрьме тоталитарного режима, научиться отделять свою личную судьбу от толпы и понять, как важно по-человечески прожить вот эту, нашу личную отдельную жизнь. И за это им великий поклон. Великий поклон Жене Евтушенко. Всю жизнь его будут сопровождать упреки критики и начальства в самовосхвалении, в вычурных рифмах, в длиннотах, в излишнем пафосе, в стремлении к саморекламе, и основания для этого как бы он всегда давал, но при этом — вы подумайте — этот поэт в

18 лет, в 51-м году о себе пишет:

Меня ненасытность вскормила,
и жажда вспоила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,
и вечно — опять и опять
хочу я всем девушкам сниться,
всех женщин хочу целовать!

Говорили и пели многие. Обращение Евтушенко к залу в записи было лаконичным:

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по литературе, которые присудили мне, может быть, самую престижную премию в России — «Поэт». Достаточно одного слова, чтобы понять, какая это важная премия и как хорошо, что нет к ней никаких прилагательных в определении этого награждения.

Без поэзии я не могу свою жизнь представить. В 44-м году еще мой отец-геолог, воспитавший меня стихами, знавший наизусть столько их, бывший ходячей антологией тех поэтов, стихи которых невозможно было достать, потому что они были изъяты из жизни, из обращения сталинской тиранией, — он все эти стихи мне читал. И прежде чем становиться писателем поэзии, конечно, необходимо быть ее верным читателем, иначе без этого знания ничего не получится. Человек, не знающий свою профессию, не знающий всего, что было, ни в каком жанре искусства, области науки, да чего бы то ни было, — никогда не сможет добиться никакого успеха.

Уже с самого раннего возраста я, посетив Коммунистическую аудиторию в 44-м году в Москве, увидел живых поэтов, которые приехали с фронтов и читали стихи о том, как они сражаются, о будущей победе. Это было незабываемым, поэтому у меня навсегда сохранилось что-то в душе, что никак не может отделить слово «поэзия» от понятия «победа», народная победа. Потому что и каждое стихотворение настоящее — это тоже народная победа. И те строчки Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других наших классиков, которые мы носим в своих сердцах, — это все тоже победа нашего русского слова, нашего народа, нашей культуры.

Я еще с детства составлял словарь рифм, и слава Богу, что он потерялся, потому что это осталось у меня в душе, и вернул в поэзию

рифму, которую почему-то кто-то называет «евтушенковской», хотя эта рифма происходит от фольклора, как и вообще очень многое в моей поэзии. И ведь, в сущности, любовь к ней началась у меня с папиных, конечно, чтений, но и с тех «заваличных» посиделок на станции Зима, когда я сидел рядом с ожидающими своих мужей с фронта вдовами, которые даже не знали еще о том, что они вдовы. И когда они на моих глазах сочиняли частушки и часто меня просили найти какую-нибудь рифмочку. Вот так с этого словарика и начался в общем-то мой поэтический труд.

И знаете, когда я иногда разговариваю с молодыми поэтами и когда вдруг обнаруживаю незнание ими всего того, что было написано в русской поэзии, всех тех шедевров, я поражаюсь этому. Как-то один молодой человек мне заносчиво сказал: «Я специально не читаю стихов других поэтов, чтобы не подражать никому». Но как раз вот тут-то и происходит изобретение деревянного велосипеда. Из такого человека никогда не получится настоящий профессионал.

В поэзии, мне кажется, есть несколько обязательных условий. Первое условие: поэзия обязательно должна быть исповедью автора. А второе, еще более важное, условие, которое делает поэта крупнее, делает его национальным поэтом, — это то, когда его поэзия становится исповедью всего его народа и истории народа. Вот без этих двух качеств, соединения этих двух качеств, настоящего поэта, большого, быть не может».

Двадцать первого мая все ведущие СМИ дали материалы о состоявшемся событии.

А 20 мая сам Евтушенко выступил в «Новых известиях»: «Прости меня, Галя». Она умерла еще 14 мая.

«Только физическая невозможность полета, связанная с тем, что я сейчас в госпитале, не позволила мне быть вместе с теми, кто сегодня провожает Гаю. Я знал ее двенадцать лет, будучи другом Миши Луконина и ее, и ни разу не перешагнул черты, пока их брак с Мишей и мой брак с Беллой не начали разваливаться по совсем другим причинам. Нас бросило друг к другу, только когда это произошло, и уже непоправимо. Миша это прекрасно знал, и мы отнюдь не стали врагами с ним, а он с нами — а Белла пришла к нам на свадьбу.

После семнадцати лет, прожитых друг с другом, всем лучшим, что я написал, я обязан Гале, ставшей для меня мерилom гражданской совести. Миша мне рассказывал, что в день смерти Сталина она затащила его на Красную площадь и посреди горько плачущих сограждан начала отплясывать цыганочку, и он еле спас ее от возмущения толпы, которая

могла ее растоптать живьем.

Однажды мы ехали в машине — я нарушил правила движения, и меня остановил милиционер. Заглянув в кабину и увидев Галю, он вызвал меня наружу и спросил:

— Эта женщина — Галина Сокол?

— Это моя жена Галина Евтушенко. Но ее девичья фамилия действительно Сокол.

— Я ее навсегда запомнил. После войны, когда была кампания против евреев, она меняла паспорт, и я, узнав, что ее мать — еврейка, а отец русский, пожалел ее, еще совсем молоденькую, и предложил записать русской. А она как вскочит, как закричит: «Пиши еврейкой!», а саму трясет, и слезы в глазах злющие. Разве многие тогда были на такое способны?

Когда я написал «Бабий Яр», она опустила глаза. «Знаешь, об этом лучше никогда ничего не писать, потому что все слова ничтожны перед этим».

Вот какой она была человек. Она говорила мне: «Я хорошо шью, и мы как-нибудь проживем на это. Зачем ты идешь иногда на поправки и портишь стихи! Все равно все лучшее прорвется».

Когда я написал стихотворение «Танки идут по Праге» и послал телеграмму протеста, а затем вернулся в Москву, она, взявшая свитера для диссидентов и бывшая хранительницей ключей от квартиры А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннэр, когда их сослали, вдруг испугалась по-матерински за меня и заставила сжечь многие самиздатовские книги, что мы и делали у костра в Переделкине: она боялась, что меня могут посадить или организовать несчастный случай. Она очень любила поэзию и живопись и уже после развода, получив от меня первый экземпляр пробного варианта первого тома антологии русской поэзии десяти веков, вышедший микроскопическим тиражом в издательстве «Слово», сказала, что, запершись, читала его три дня и что это, может, лучшее, что я сделал в жизни. Хотя тут же отругала меня за какие-то, с ее точки зрения, неряшливые новые мои собственные стихи.

Она вложила столько сил и надежд в нашего сына Петю, что я надеюсь, он все-таки оправдает в конце концов ее надежды. Я хотел бы, чтобы он всегда помнил, что у него есть отец и уже из бесконечности на него смотрят глаза его мамы.

И ты, Петя, не должен ее подвести, продолжая работу художника, к чему у тебя есть безусловные способности, которые теперь уже ты сам должен развивать, как о том мечтала твоя мама.

Несмотря на то что Галя была резкой, и иногда справедливо, а иногда несправедливо непримирима, тем не менее она всегда была готова отдать последнее тем, кто в беде.

В нашем разводе ни в коем случае не виноваты ни Джан, ни, тем более, Маша. У Гали хватало доброты, чтобы приглашать нас с Машей на Петины дни рождения.

Когда Виктора Некрасова выдавливали из СССР и он приехал в Москву получать документы на выезд, то многие его друзья прятались, боясь его приютить. А я был в клинике после случайного отравления. Приехала Галя и спросила разрешения дать крышу Виктору на нашей даче в Переделкине. Я даже обиделся, что она меня спрашивает, а она сказала первый раз в жизни: «Потому что и за тебя я тоже боюсь, иногда по ночам не сплю». Виктор навестил меня и сказал: «Тебе повезло с женой, Женя».

Мне повезло со всеми моими женами, и во всех моих разводах виноват прежде всего и только я. Я не умею разлюбить тех, кого когда-то любил, и все еще люблю их всех и благодарен им за любовь и за сыновей, которые у нас есть. Я был рад, что они все дружески относятся друг к другу.

На сегодняшнем прощании будет не хватать верных друзей Гали — Мирель Шагинян, Олега Целкова, написавшего наш с Галей сдвоенный портрет. Будет очень не хватать ангела нашей с Галей и Петей семьи — Евгении Самойловны Ласкиной, традиции которой продолжают ее сын Алеша Симонов и его жена Галя, христианнейше находящая силы после трагической потери своего сына быть рядом с моим сыном Петей в момент нашего общего горя.

Особая благодарность Тамаре и Игорю Жиликовым, помогавшим, чем могли, Гале в ее последние минуты. Спасибо всем тем, кто пришел помянуть эту уникальную женщину России — часть ее измученной совести.

Прости меня, Галя, за все, чем виновен перед тобой.

Проще и точнее не скажешь, чем когда-то, уходя из жизни, обронил Георгий Викторович Адамович, которого Галя так любила перечитывать:

Всё — по случайности, всё — поневоле.
Как чудно жить. Как плохо мы живем».

На день окончания нашей книги это последнее выступление Евгения Евтушенко в печати.

6 июня 2013

День Пушкина

НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Было плохо слышно.

— Я стал одноногий, ты знаешь об этом?

— Да.

— Да?

— Да.

Ничего, говорит он, я уже пережил это загодя, Рузвельт в каталке войну выиграл, врачи здесь хорошие, есть хорошие протезы, лишь бы заражение не пошло выше.

Голос молодой, когдатошний, евтушенковский, сильный и здоровый.

Я говорю: моя книга закончилась на мае — июне 2013-го — может, продолжить?

— А зачем?

Не хочет огласки.

Рассказывает: тамошний медбрат Тетрас, парень из Эритреи, после операции встал на колени, взял его за руку и произнес горячую молитву о пресечении дальнейших испытаний.

— Ты знаешь о такой стране — Эритрее?

— Прародина Пушкина, — отвечаю.

Почему-то возликовал, что знаю, и говорит: в этой молитве я услышал голос Пушкина. От этого эфиопа веет колоссальной внутренней силой. Таким был мой друг Джумбер.

Попутно вспоминает историю: Стивен Козн, преподавая в Принстоне, сошелся со своей студенткой, в Америке это вещь неприемлемая, пришлось уйти с кафедры, и они поженились, это была любовь. Она долго не могла родить, были выкидыши. Однажды, будучи вместе с Машей в гостях у Коэнов, он — в ответ на слезы хозяйки дома — собрал в себе все свои внутренние ресурсы, подошел к ней, поднял подол и поцеловал в область пупка. Присутствующих это ошарашило, а она вскоре понесла и родила «мою дочку». Которой нынче уже 23 года.

Утешал меня он, а не я его:

— Не печалься, найдем выход.

Он так и сказал: не печалься. Мы попрощались.

— Поклон Маше.

— Она на пределе. Ведь и мать ее недужит.

Этот разговор был 13 августа, а вскоре он прислал мне для передачи

журналу «Сноб» довольно пространное эссе «Берингов туннель» на материале детства по преимуществу. Его Сибирь близка Берингову проливу, а это означает связь двух материков и общую всепланетную взаимосвязь. Написано с жаром, именно на пределе, с неискоренимой убежденностью в своей правоте.

Двадцать пятого августа — следующий звонок:

— Ты знаешь, что я стал на полноги короче? — спрашивает, словно не было первого разговора, и не дождавшись ответа, продолжает: — Ну как тебе моя первая послеампутационная вещь?

Жестко шутит. Я знал, что он великий человек, но такого терпения, такого приятия судьбы — не ожидал. Оказывается, за три последних года он перенес семь операций на ноге. Он об этом молчал, стиснув зубы, и СМИ, естественно, не кричали.

Не об этом ли говорит Павел Басинский в своем отзыве на первый том антологии «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» (Российская газета. 2013.26 августа):

Отчетливо видишь и переживаешь, как вся древнерусская и средних веков поэзия пронизана муками и страданиями, и не какими-то там душевными, а буквально физическими. Но эти корчи и стоны всегда просветляются удивительным достоинством русского человека и даже его ироническим взглядом на свои муки. А потому что вместе с этим живет непосредственное ощущение небесной перспективы, где рай и грехопадение случились как будто совсем недавно, как будто вчера, а завтра вот-вот будет жизнь вечная.

О евтушенковском несчастье внезапно, обвалью, хором и врозь заговорили все российские СМИ в отрезке времени от 19 до 23 сентября. Это он позволил сам — после долгого утаивания: рассказал о случившемся издателю Геннадию Кроичу, а тот — прессе.

Полосы его жизни — черные и светлые — не перемежаются, а сливаются, создавая довременный цвет раскаленного напряжения, какой-то единой гаммы, спрессованного спектра. Рассказать миру о себе сегодняшнем он смог после большой радости: 4 сентября стало известно, что его антологический первый том получил Гран-при на конкурсе «Книга года».

Павел Басинский:

Новую антологию Евгения Евтушенко тоже, без сомнения, будут хвалить и будут ругать. Будут говорить о его нескромности. Еще бы: назвать собрание всей русской поэзии своей стихотворной строчкой! Еще будут говорить, что это дурной вкус — предварять каждого поэта своим эссе и даже своим стихотворением по случаю... Но все эти разговоры ничего не стоят. Взглянем на вещи проще. То, что сделал Евгений Евтушенко, мог сделать он один с помощью одного научного редактора Владимира Радзишевского, одного издателя-энтузиаста Вячеслава Волкова («Русский мир») и очень маленького издательского коллектива. И лучше задумаемся над тем, почему в богатейшей стране мира вдруг не находится средств на то, чтобы знаменитый русский поэт, которому в этом году исполнилось 80 лет, спокойно и без нервов издал подобную антологию? Почему эти деньги приходится собирать по крохам, почему ее полное издание все время затягивается? И главный вопрос: дойдет ли она хотя бы до учителей-словесников и городских библиотек?

Не то что читать, но и просто листать первый том антологии Евгения Евтушенко глубоко поучительно. Ее личностный характер, по-моему, ей ничуть не вредит, потому что эта антология не могла получиться иной. Для Евтушенко десять веков русской поэзии — факт его личной жизни. Он этого и не скрывает и этим щедро делится с читателями. Он захлебывается от радости личного обладания этим богатством, но и делится этим с тысячами тех, кто этой радости лишен, кто просто не будет копаться в научных изданиях.

И сколь бы «личной» эта антология ни была, ее масштаб потрясает с первого же тома. Панорама русской поэзии, нашей «национальной идеи», как считает составитель, так или иначе вырисовывается в ее объеме, потому что Евтушенко «любитель» страстный и дотошный, он никого не пропустит, каждому отведет место и скорее переберет, чем недоберет. Спорный вопрос: стоило ли включать в антологию письма Курбского к Грозному, но так ли уж он важен? Важнее общая картина, от которой просто дух захватывает!

Пятого сентября Театр на Таганке открыл сезон — юбилейный, пятидесятый — смеховским спектаклем «Нет лет», словно дополняя премиальные успехи этого года. Овации зала были благодарностью поэту и

заочной поддержкой его в трудные дни: Москва слухами полнится.

Двадцатого сентября по каналу «Культура» в новостях был воспроизведен телефонный разговор тележурналиста с Евтушенко. Бодрым голосом он говорил о том, что работает над антологией, что у него выходят разные книги, намечаются концерты и скоро он приедет в Россию. Безумец.

В журнале «Дети Ра» (2013. № 8) отклик Владимира Коркунова:

Парадокс — радость и беда: самая престижная премия и ампутация ноги. Имеют ли деньги цену? Или тут важнее внимание? Прочитал в фейсбуковских (только что заметил: фонетически это слово близко «Буковски») комментариях — теперь нельзя представить Евтушенко читающим стихи в Политехническом, рвущим, мечущим — только в инвалидном кресле. Вспоминается Бахтин. Его, измученного болезнью (из-за нее Соловки заменили «благополучным» Кустанаем), погоняли по городам — невозможность селиться в Москве, выбор ближайшего Подмосковья за 101-м километром, Кимр, операция 1938 года, выполненная хирургом Арсеньевым, родственником Лермонтова... Так мир потерял или обрел Бахтина? Страшная человеческая драма и закаленный в спорах мозг, жизнелюбие и сила. А Евтушенко еще выступит — и в Политехе, и в уголках России. Поскольку не утрачена ответственность перед нами — верящими ему и в него.

Всему этому не будет конца, а начало было столь далеко, что и почти неразлично. Между тем ничего не бывает без предыстории. У нашей книги она тоже есть.

Прежде о Евтушенко я написал как нечто цельное лишь небольшой этюд «Не больше, чем поэт» (1995), и он был неоднократно опубликован. В последующие годы это имя, образ этого поэта и его роль то и дело возникали у меня там и сям, и сейчас, осмотрев эти отрывочные высказывания, я подумал о том, что болезнь любви налицо, у нее есть история и даже некоторая логика.

То есть книга, которую, надеюсь, в данную минуту читатель прочел до конца, появилась не случайно. Она писалась долго, и не мной, а тем, о ком она написана, — я лишь перевел ее на свой язык.

Приведу здесь некоторые фрагменты моей прозы про стихи, по которым можно судить о включенности Евтушенко в контекст современного стихотворства, каким я видел этот процесс последние 20 лет.

После каждой цитаты стоят название статьи и дата ее публикации. Все эти работы сведены в моих книгах «Прозапростихи» (2000) и «Фактор фонаря» (2013).

...Вообще стихи Кибирова — поход по евтушенковским местам. Он воспел все то же с обратным знаком. Сам его «некрасовский анапест» — не от первоисточника, а оттуда же. Кибиров не задумывал того, что у него получилось в таких стихах: «...всех Лен, и Айзенбергов с Рубинштейнами, / И злую продавщицу бакалейную. И пьяницу с пятном у левой выточки, и Пригова с Сухотиным, и Витечку», — получился-то типичный Евтушенко, то есть слова Кибирова на музыку Евтушенко («Глагол времен», 1994).

Окуджава был старше евтушенковской плеяды, но пришел вместе с ней и даже немножко следом за ней. «Лучшие из поколения, / возьмите меня трубачом!» — требовал Евтушенко. Окуджава принес другой инструмент, — в наших подворотнях под гитару пели «Гоп со смыком» («Охлаждение к Булату?», 1995).

Ни фильмов Евтушенко, ни его фотовыставок мне видеть не пришлось (потом наверстал. — И. Ф., 2013). Он всем показал грандиозное кино своей жизни. Ею он доказал, что поэт в России — не больше, чем поэт.

В начале века Маяковский произносил словцо «поэт» уничижительно, попирая эстетизм, салон, ликерную изысканность. Он предрекал: «проститутки, как святыню, меня на руках понесут / и покажут богу в свое оправдание». Во второй половине века (октябрь, 1960) поэта несли на руках студенты к памятнику Маяковскому. «Женя! Читай о Кубе!» Он читал. Толпа затопила площадь и улицу Горького, транспорт остановился. Милиция втащила поэта в свою машину, «победу». Пытались качать «победу» с поэтом. Долго еще потом по площади девушки искали свои туфельки.

Евтушенко родился совершенно советским поэтом, и поскольку он оказался последним советским поэтом, эпитет отпал сам собой вместе с системой — осталось только существительное.

Самым существенным в возникновении евтушенковского феномена был массовый романтизм его сверстников. Естественным образом героиней честолюбивых девушек той поры стала Марина Цветаева — самый романтический поэт России, ярче Марлинского. Цветаева не могла и мечтать о таком читателе. Понятие «поэт» вознеслось на небывалую высоту. Девушки презирали карьеристов — обожали поэтов. Это, кстати, повлияло на количество поэтов в России.

Но Евтушенко хотел нравиться не только женщинам. С самого начала он стал работать с огромной аудиторией, которая в идеале должна была превратиться в весь народ. Постепенно — впрочем, достаточно быстро — он завладел вниманием всех возрастных групп. При этом он часто заимствовал чужой человеческий опыт: Межиров, например, сердился по поводу того, что Евтушенко взял на вооружение инструментарий фронтовиков.

Но Евтушенко имел на это право. Во-первых, такова его протеистическая природа. Во-вторых, он рос в военное время. Он сам не раз указывал на Соколова как на первооткрывателя темы военного детства. Может быть, самое замечательное стихотворение первого этапа (первого тома) его творчества — «Свадьбы». Мальчишка пляшет на скоростных свадьбах в тылу. «Летят по стенам лозунги, что Гитлеру капут, а у невесты слезыньки / горячие текут» — действительно кинематограф. Чего только он не видел и чего только не втащил в стихи. Это был пир предметности. В топку шло всё. Стихи не распадались, ибо держались на сюжете. Он писал рассказы, очерки и фельетоны в стихах. Они перемежались лирическими и даже философическими фрагментами, но царил — сюжет.

В этом сказывалась необходимость, связанная с выходом Евтушенко на сцену, в прямом смысле, на эстраду. Начался его ораторский этап. У хрущевской партии не было лучшего пропагандиста. Он восторженно исполнял роль поколенческого трубача, воспевал, обличал, высмеивал и негодовал. Тогда появился некий коллективный Маяковский: Евтушенко — Вознесенский — Рождественский. Это были люди разного поэтического роста, и соперничество завязалось внутри триумvirата: двое первых вырвались вперед, особой темой сделав взаимную ревность.

Их парное ристалище отозвалось поэтической пользой — достаточно назвать евтушенковский «Плач по брату». Вообще говоря, напрасно их, было дело, смешали когда-то в некоего Евтушенковознесенского. Это малопохожие поэты при всем социально-ролевом сходстве. Евтушенко был прав, когда однажды в застолье сказал: «Брешь пробил я», — он начал печататься на семь лет раньше (еще раньше. — И. Ф., 2013), и в тех стихах отложилась иная, нежели у Вознесенского, стиховая школа: прежде всего Межиров, Луконин, Соколов и даже Симонов, а чуть позже Смеляков. Семь лет для поэзии — целая эра, эон. Названных имен в учителях Вознесенского не сыщешь днем с огнем. Только декларативная верность Маяковскому, вылившаяся по сути в сельвинско-кирсановскую рифмовку, сближала их поэтики. Л. Озеров когда-то написал большую статью об

эклектике Евтушенко и отсутствию у него собственного почерка. Это не так. Хотя бы потому, что в то время поэтическая молодежь почти поголовно шпарила под Евтушенко. Евтушенко адресовался ко всем на свете, включая дворника Васю. Он же говорит: «Нюшка — это я», и это истинная правда, его якобы близнец тут ни при чем, он больше насчет Лоллобриджид, как тот сосед Букашкин. Вознесенский побудил Евтушенко к модернизации стиха, большому ритмическому и словарному разнообразию, усилению метафоры. Евтушенко, прирожденный мастер бытовой детали, напомнил, возможно, Вознесенскому о низовой заботе малых сих.

Евтушенко, попутно говоря, — герой необъятного количества стихотворений его современников, от Ахмадулиной и Бокова до Юдахина. Очень несправедливо какие-то его черты изничтожает в своей сатире «Alter ego» и других вещах Межиров. Прижизненный лавровый «Венок Евтушенко» давно готов, но уже подзабыт.

Успех стал врагом прежде всего лаконизма, сперва еще присущего поэту. Сцена требует мгновенной доходчивости. Евтушенко стал переговаривать и в самых интимных стихах. Он стал разъяснять. Прекрасно начатые стихи — скажем, «Пришли иные времена» или «Нефертити» — превращались в разжевывание того, что уже сказано. Пословицами стали как раз первые двустушия этих вещей.

Первый том — вся хрущевская оттепель. Евтушенко увенчал ту эпоху собственной великой стройкой — соорудил «Братскую ГЭС». Помнится, журнал «Физкультура и спорт», под сурдинку американству, поместил интервью с поэтом и фотографию, на которой поэт, обнаженный по пояс, обтирается снегом: для великого предприятия нужны великие ресурсы. Действительно, вложенная в поэму энергетика огромна, ее физическая масса трудноподъемна, но, что самое странное, она не расплющила поэзию, там и сям — «Нюшка», «Жарки», «Изя Крамер» — идущую широким потоком. Не знаю, насколько поэма отвечает объекту (самой плотине), но сам Евтушенко абсолютно соответствовал времени своего успеха. В психиатрии есть понятие «эффект неадекватности»: речь прежде всего о завышенных амбициях личности, потерявшей в реалиях. Евтушенко — эффект адекватности. Тот Евтушенко.

Не проводя пошлых аналогий, помяну Царскосельский лицей — затем, чтоб прояснить значение Победы в Отечественной войне для отроков разных времен: тех и этих. Сибирскую станцию Зима, где рос в военное время у родственников мальчик Женя, можно считать его кормилицей в отличие от матери Москвы. К ее груди он припадает всю жизнь со всеми издержками столь затянувшегося грудного возраста. Но и в ранней поэме

«Станция Зима», и в более поздних вещах у Евтушенко столько новонайденного и попросту свежего, что оттуда, предполагаю, черпали потом и прозаики — Шукшин, Распутин, Маканин. По крайней мере художественная переключка этой прозы с предшествующей ей поэзией Евтушенко — знак определенного качества.

Его преследует страх неадекватности. Из чудесного стихотворения «Поздравляю вас, мама...» исчезли строки «Вы ему подарили любовь беспощадную к веку, / в Революцию трудную, гордую веру» — автор убрал их, готовя и двухтомник-80, и трехтомник-83, а зря: взаимоотношения пера и топора давно известны. Пришло время, задним числом он напечатал «Балладу о штрафном батальоне», «Сергею Есенину» — вещи, до того ходившие в списках. Кто скажет, что Евтушенко не был самиздатовским автором? К тому же ему приписывалось море чужого.

Он был разъездным поэтом. Международником он тоже был. Его принимали президенты, вожди революций, высшие иерархи КГБ, аляскинские звероводы. Он носил на лацкане пиджака знак почетного строителя Братской ГЭС, а на пальце перстень с бриллиантом. Он легко пошутил как-то: «В энциклопедиях обо мне будут писать как о крупнейшем прозаике XX века, начинавшем как поэт». Он по-человечески помог тысячам людей, чаще всего неблагодарных. Он привозил им из-за бугра лекарства, пробивал чужие книги, устраивал чужие дела.

Есть интроверты и экстраверты — Евтушенко то и другое в гигантских долях. Все одеяло мира он тянет на себя. Населив свое творчество количеством людей, равным целому немалому народу, он пишет исключительно о себе. Даже в статьях о других. Поэтическая антология, им составленная, — наверняка самая многоавторская среди всех антологий. Она стала продуктом перестройки, когда Евтушенко испытал второй звездный час. Перестройка кончилась.

Пришли иные времена, взошли иные имена.

Дать портрет Евтушенко невозможно — модель неусидчива и не влезает ни в один холст. Он в одиночку написал столько, сколько все поэты прошлого века. С ним может посоревноваться разве что Пабло Неруда, о котором, если не ошибаюсь, сказано: «Великий плохой поэт».

«Поэт» — лучшее слово, заимствованное большинством человечества у древних греков. Больше поэта может быть только его слава. Русская литературная слава лишь отчасти делается в кабинетах славистов. Евтушенковская суперпопулярность была равновелика упованиям народа на лучшую жизнь. Но ее первоисточник — его поэзия. Я воспроизвожу здесь память о давней радости. Читатель в России больше, чем читатель, и

он стал уходить от Евтушенко еще в 70-х, что не мешало поэту собирать несметную публику. Она приходит смотреть не на экс-депутата, не на экс-лидера Союза писателей, т. д., т. п. Ей интересен поэт. Тот самый. Знаменитей которого не было на Руси и уже не будет («Не больше, чем поэт», 1995).

Журналы по-прежнему выходят не по календарю. Своевременное чтение их затруднительно. Стихов печатается много. Стихов больше, чем поэтов. С другой стороны, поэты публикуются чаще, чем их стихи. Среди поэтов, представленных в № 1 «Знамени»-95, по-настоящему и по-новому интересен С. Гандлевский, но он выступил с прозой, грустной повестью «Трепанация черепа», выговоренной на одном дыхании. Это вещь о смерти, о любви, о славе, о товариществе, о том соре, из которого растут стихи, и меньше всего о самих стихах (тоже хорошо). Гандлевский пишет не эстетический трактат, а историю болезни — получается история выздоровления, слава Богу. Пушкин, Маяковский, Багрицкий, Сельвинский, Уткин — не столь уж и странная смесь детских учителей автора. Неплохая закваска для первоначального идеализма, так и не уничтоженного в процессе целенаправленного саморазрушения. Гандлевский пишет исповедь, состоящую из баек (его слово), то есть эпизодов биографии, идя, видимо, по наитию, полагаясь на отбор памяти, которая как бы автономно от автора строит его речь и ставит акценты. Независимо от него отчетливо выявляется та линия судьбы, о которой он хотел бы, кажется, говорить меньше всего — коловращение поэтов его круга в ненавистной близости от советского литературного Олимпа: похмеляются они все-таки в Переделкине, на даче драматурга, и Межиров, заикаясь, деньжат им все же одалживает, и собачку уводят от Евтушенко, а не от сторожа Васи. Тут боли, может статься, не меньше, а больше, нежели от количества выпитого. Поэзия исполнена гордыни — проза проговаривается. Такая проза сильна читательским любопытством — моим интересом к лицам. Между прочим, принцип такой прозы смежен с опытом того же Евтушенко — в романах последнего, натурально, захватывают сцены из жизни поэта, например взаимоотношения с персонажем по имени Любимец Ахматовой.

...Само название воспоминаний Вячеслава Вс. Иванова «Голубой зверь» мгновенно указывает на поэзию. Но не только. Иванов обнажает феномен: дети советской творческой элиты. Девятилетний Кома (домашнее прозвище автора) записывает для себя, что в СССР — диктатура, Сталин — диктатор, а Калинин — фиктивный президент, и мама его за это не

наказывает, а все дальнейшее его развитие идет в этом направлении без отклонений. Эти дети, формируясь в среде конформистского цинизма, питались высокой культурой той же среды. Федин говорит Кома: видишь Ливанова, он завтра идет играть в советской пьесе, и я делаю то же самое. Отец и Пастернак выбиваются из ряда. Между тем Пастернак знаменитое «Быть знаменитым некрасиво» пишет с перерывом на обед. Однако: «Пастернака мучило то, что он стал писать по-другому. Иногда он спрашивал, не ошибочен ли тот новый стилистический путь, который он выбрал». Голубой зверь обитал в переделкинском лесу! Дети не восстали на любимых отцов. Иванов сводит имена «несоединимых писателей». Можно ли что-то новое сказать о Зощенко? Можно: «Он потом нам рассказывал: «Я знал поэзию Блока, потом Гумилёва, Ахматовой. Мне хотелось понять, кто из современных поэтов найдет новые слова, передаст новый язык». «Он нашел эти черты у Евтушенко, читал нам наизусть его строки «И вот иду я с вывертом» (из «О свадьбы в дни военные»))» («Стыковой столб», 1995).

Иосиф Бродский увел нынешнее стихотворство в то необозримое пространство, где слова не сплочены в слово. Сам-то он знает дело туго, его словам тесно в его просторах. Он как бы намеренно утаивает врожденный лаконизм и почти нечаянно проговаривается о нем в «Части речи». Он пишет свой глобальный эпос, упрямясь перед лицом традиционного мелодизма. Нынешние новички, бросившись по следу Бродского, чуть не все гомеричны по замаху. Ан с дыхалкой плохо. Почти никто не добегают до конца первой же строки. Уже где-то на третьей-четвертой стопе смотришь на пятки кроссовок, а не на сам бег, долженствующий быть оленьим. Торжествует количество. Забыли о достоинстве вдоха. Может быть, это реакция на былой подтекст, на советского Эзопа, столь доблестно и добросовестно потрудившегося вчера. Дети выговариваются за отцов? Вряд ли. Хотя бы по обилию сделанного Евтушенко все равно первый («Шедевр», 1995).

Об истинности поэтического дарования <Андрея> Сергеева говорит, между прочим, забавный факт: в своей прозе «Альбом для марок» он с большим оттенком недоброжелательства, весьма застарелого, пишет о Евтушенко, своем однокашнике, но — странное дело: антигерой выглядит ужасно симпатичным. Эдакая орясина, наивная, любознательная и сердечно щедрая («Ангел не виноват», 1996).

А вот несколько иное. В «Независимой газете», № 125, прошла информация, что среди 70 поэтов, собравшихся на очередной Российский фестиваль молодой поэзии, в результате опроса лишь 8 процентов дали поэту Евтушенко «позитивную оценку». Я вас уверяю: кабы такой опрос был проведен, скажем, 20 или 30 лет назад, и такого процента не набралось бы. Все эти результаты ревнивы, нет в них правды. И когда «НГ» умозаключает: «Это значит, что система ценностей меняется», — этот вывод ложен, ибо имя-раздражитель в качестве поэтического фактора как раз, наоборот, утверждает незыблемость «системы ценностей». А вообще-то... 70 поэтов! Это впечатляет («Похвала стиху», 1996).

Где же праздник? В детстве да в молодости. Сквозь дачное детство <Гандлевского> катится набоковский велосипед, побывавший, похоже, в руках Чухонцева (младоевтушенковский велопробег — нечто другое) («Связующая нота», 1996).

Правда, монументальные тома «Дня поэзии» в последнюю свою пору годами лежали на магазинных полках. Однако, по-видимому, самая их грандиозность послужила прообразом евтушенковской антологии. К слову, Евтушенко добивался еще тогда права издавать свой поэтический журнал. Кажется, под названием «Лестница». У него не получилось («Эй, на барже!...», 1996).

Он <Тряпкин> говорил, что по-настоящему стал писать только к сорока годам. «И где-то возле сорока / Вдруг прорывается строка» (Д. Самойлов). Между прочим, Тряпкин признался, что в свое время приход молодого Евтушенко помог ему в раскрепощенности («Дулейка», 1997).

Кто есть кто, тут гадать не надо, хотя термины хромают. Ясно одно: поэты, очень схожие по природе своего дара и во многом по стиховым принципам (уход от мелодизма и прочей «гармонической точности»), шли в разные стороны, вряд ли думая о какой-то конкуренции между собой, каковая объективно была и отозвалась на практике тогдашнего стихотворства, возникшего бродскоцентризма, а если резко повернуть голову назад, упрешься в Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, Окуджаву — тех, чьими интонациями охотно оперировали разные стихотворцы разных времен. У Межирова есть такие стихи:

Что мне сказать о вас...

О вас,
Два разных жизненных успеха?
Скажу, что первый —
лишь аванс
В счет будущего... Так... Утеха.
Второй успех
приходит в счет
Всего, что сделано когда-то.
Зато уж если он придет,
То навсегда — и дело свято.

Так вот, первый успех чуть не любого звездного поэта, на мой взгляд, длится лет семь-десять. Так было со всеми: от Пушкина до... ну, скажем, Евтушенко. Или вот Бродского. Первый успех почти всегда завершается читательским охлаждением. До второго успеха дотягивают единицы.

...Добротна ирония Довлатова, безошибочно отметившего у Бродского лишь одну брешь в броне его гениального эгоцентризма: если Евтушенко против колхозов, я за них. Это точно. Дразнил Бродского лишь Евтушенко. Вопрос о тираже собственной книги занимал Бродского лишь в связи с тиражами Евтушенко.

...Великая заслуга Евтушенко еще и в том, что он породил антиевтушенковскую волну. О колхозах Бродского уже сказано. Но ведь почти весь приевтушенковский андеграунд являет собой упорную, угрюмую дискуссию с тем поэтоповеденческим стилем, какой создал Евтушенко. Вся подземельная поэзия отвергала стадион, декламацию, сцену, пропаганду и агитацию в духе решений XX съезда, а затем публичное разочарование в оных.

...Я писал о том, что А. Сергеев в «Альбоме для марок» почти поневоле подтвердил истинность своего поэтического дара помимо прочего и потому, что, изображая своего давнего оппонента Евтушенко, с которым учился еще в школе, и не жалея при сем присущей ему язвительности, он в не зависящем от него итоге дал исполненный неподдельного тепла портрет любознательной, наивной, симпатичной орясины. Андрей Яковлевич позвонил мне:

— Вы знаете, я просто удивлен этим обстоятельством. Я не догадывался о таком результате.

Сергеев не отверг замеченного мной. Нет, это не венец, но что-то вроде промежуточного итога такого долголетнего спора.

...Грустно оттого, что Евтушенко поныне смотрит на стадион, в миллионы горящих глаз, в открытые рты молодежи, которые, к несчастью, давно уже обеззубели. Он пишет сейчас, наверное, лучше, чем когда-либо. Но меня нет на том стадионе.

Кстати, я никогда и не бывал на лужниковских перформансах наших корифеев («Стеклянный чулан», 1997).

При печальном малокнижье и благословенной малописучести Чухонцев — редкий случай — поэт прочтенный. (Самый непрочтенный — Евтушенко.) («Ивиков петух», 1998).

Сейчас Шкляревский оставляет для себя его, «тихого мальчика». Который очень похож на Соколовского «бедного мальчика в промокшей кепке». А ведь тогда, вначале, Шкляревский реализовывал совершенно другую программу — ту, что обозначил... Евтушенко: «Я знаю, что живет мальчишка где-то, / и очень я завидую ему... *Завидую тому, как он дерется...* Он вечно ходит в ссадинах и шишках... *Он будет честен жесткой прямою...* Он если не развяжет, так разрубит...»

Вот оно. Вот каков будущий победитель («Охота на волка», 1998).

Горбачев в молодости ходил на вечера Евтушенко. Бурбулис, Козырев и Чубайс замечены на выступлениях «шестидесятников» («Устрицы во льду», 1998).

Между тем поэт прет косяком. Стихи пишутся в немереных количествах на просторах отечества, еще достаточно обширного. Раньше о всенародной графомании лучше всех знали литконсультанты, в каковых и я пребывал. Теперь, сдается, о стихотворцах знают лишь стихотворцы. Происходит тотальное взаимоокормление авторов почти без участия любопытствующих со стороны.

Все это — не общие слова, но основополагающий фактор того процесса, который происходит в текущей поэзии. Стихотворец, имеющий адресатом стихотворца же, думает по-иному, нежели, скажем, гражданский проповедник типа Некрасова, Надсона или Евтушенко. Бал правит суггестия. Ее крайняя форма — разговор глухонемых на пальцах: это когда поэт объявляет поэзией самое молчание.

Но до университетского Запада в плане стихотворства — нам далеко, и мы покуда туда не хотим. Западный университет нам нужен как площадка изучения и пропаганды противоположного университету варианта существования на поэтической сцене — существования вот именно на

сцене. Торжествует перформанс. Ему подчиняются и прозаики, убеленные сединами: Битов читает на зрителе черновики Пушкина под джаз. Эстрада бессмертна. Пригова породил Евтушенко, но они оба этого не знают.

... Сергеев не раз говорил о том, что он вырос на русском модернизме начала века, на авангардистской почве: футуристы, включая Пастернака (избранное которого на первое ознакомление ему дал, между прочим, Евтушенко) («Плюсквам-перфектум», 1999).

Наш разговор выходит за рамки «нынешней ситуации», это правильно, потому что она — лишь фрагмент общего полотна. Иначе ее просто не понять.

Дело в том, что советское время не единообразно, оно похоже на *зон*, то есть объединяло несколько эр, которые были разными, и, скажем, после войны пришли очень неслабые поэты, тогда еще молодые: Межиров, Винокуров, Слуцкий, Самойлов, Тряпкин, Гудзенко. 60-е годы — целый фонтан свежих талантов. Не надо делать вид, что евтушенковская плеяда — пустое место. Нет смысла поддакивать их старым врагам и нынешним труженикам помойки со специфическими ушатами. Те звезды светили как могли, и если кого-то из них теперь фактически нет, то свет все равно остался. Свет — *двоякий* (кажется, эпитет Межирова, взятый у Пастернака). Вот дальше началась некоторая пробуксовка. И то — на взгляд извне. Внутри поэзии движение происходило и дало результаты («Поэзия в России не изгой. Диалог с А. Алексиним», 1999).

Тем не менее именно фронтовики задавали тон, и новые поколения наследовали им даже и тематически. Прозвучали стихи об отце Юрия Кузнецова (в живописи, попутно говоря, — «Шинель отца» В. Попкова). Я уж не говорю о значительно более ранних «Свадьбах» Евтушенко или, еще раньше, воспоминательной лирике Соколова («Красноречие по-слуцки», 2000).

Где-то в конце 70-х, что ли, в Цветном кафе ЦДЛ, летом. Евтушенко подсел к шумной компании полумладых поэтов за столик на выходе из кафе, у арки. Они там гудят, я смотрю сбоку, и тут проходит из ресторана на выход — Наровчатов. Евтух, держа бокал шампанского:

— Сергей Сергеич, подсаживайтесь, проявите демократизм. Наровчатов, продолжая идти, куда шел:

— Предпочитаю просвещенный абсолютизм.

...В 96-м летом у меня дома раздался звонок.

— Говорит Евтушенко.

Я был отчего-то в сердцах и, вообразив очередной розыгрыш, гаркнул:

— Какой еще Евтушенко?!

Он сказал, что это Евтушенко подлинный, и я узнал его голос. Он поблагодарил за эссею о нем в «Утре Россіи». Заговорил о талантливости написанного и сильной проницательности, особенно насчет того, что я угадал, кому (Вознесенскому) посвящен «Плач по брату» (он забыл, что когда-то сам рассказал мне об этом, когда мы провели вечер за одним столом), и вдруг сказал:

— Но ведь тебя же нет у меня в антологии...

— Ну и что?

Он выдержал паузу. Затем — с особым теплом:

— Это говорит о твоей человеческой стоимости.

И стал говорить, что я просто-напросто каким-то образом выпал из поля его зрения, когда он делал свою антологию, затопленный морем чужих стихов.

Честно говоря, когда я писал о нем, я попросту забыл об этом обстоятельстве. В голове не было. Я люблю его безотносительно к тому, что уже где-то с начала 70-х воспринимаю его стихи как документы и материалы к жизни и деятельности Е. А. Евтушенко.

Я люблю его за свою молодость. Но было еще и такое. В конце 70-х он, проходя по Цветному кафе ЦДЛ, сказал мне:

— Я сегодня на редсовете «Современника» рекомендовал издать тебя, действуй.

Ей-богу, я его не просил об этом, он сам так поступил. Я отнес рукопись в «Современник». Позвонил ему, оповестил о том, что сделал, и неуверенно предложил ему написать предисловие. Он спросил:

— А для чего это тебе? Для рекламы?

Я замялся. Он пригласил принести копию рукописи ему на дачу. Вечером я приехал в Переделкино. Меня встретил его секретарь, сказал, что Евгения Александровича сейчас нет на даче, взял папку со стихами. Через какое-то время мы на бегу встретились в ЦДЛ.

— С предисловием не получается, извини. Возьми свою рукопись у дежурного администратора ЦДЛ. Не сердись.

— Совершенно не сержусь.

Он глянул на меня с двухметровой высоты искоса:

— Редкий ты парень...

Мы расцеловались, я тут же взял рукопись у администратора. Она была вся пропитана красным вином, и к ней была приложена — именно так

— повестка на имя гражданина Е. А. Евтушенко в суд на предмет бракоразводного процесса. Не красноречиво ли?

Так что ничего нового (в связи с антологией) не произошло.

А та книжка в «Современнике» — вышла.

...Все это — постскрипtum к моему очерку о Слуцком. Само вспомнилось. Кроме того, закончив своего Слуцкого, я ознакомился с чужими текстами на его счет и обнаружил куняевский мемуар о Борисе Абрамыче. Справедливости ради надо сказать, что написано это хорошо, разумно и по-честному. Если не считать, конечно, национального мотива, звучащего, впрочем, под сурдинку. Поглянулись мне и евтушенковские материалы о Слуцком: статья, стихи. Собственно, эти стихи я читал когда-то, да подзабыл. Как всегда у него: рифмует рассказы. О Слуцком — очень искренне («После книги, или Осень в Толстопальцеве», 2000).

Евтушенковская плеяда — и она тоже — появилась в 50-х. Ее гражданская проповедь имела силу и дышала свежестью в конце 50-х. В следующем десятилетии она, криком крича, лишь договаривала, отчаянно недоумевая по поводу разбитых идеалов. *Середина века* — точнее Луговского никто не определил ту эпоху.

...У Слуцкого есть словцо: послевойна. Вот это все и было послевойной. «Свежести! Свежести! Хочется свежести!» — кричал Евтушенко в 59-м. Очень скоро он получил по зубам с самого верха, кричать не перестал, но звук стал другим. Другой стала и акустика.

...По центру Анапы белобрысый мальчик водит рыжего шелудивоватого ослика, чтоб другие катались, за деньги, конечно. Интересно:

— Как зовут твоего зверя?

— Степка.

— А тебя?

— Женя.

Как-то идем мимо, в пески, видим наших знакомцев, кричу:

— Стенька!

Откликается Женька:

— Здрасьте!

«Стенька, Стенька, ты как ветка, потерявшая листву. Как в Москву хотел ты въехать! Вот и въехал ты в Москву».

Народная песня, не меньше.

...Кажется, кроме Юрия Кузнецова в 70-х не явилось ни одного громкого имени. Стихотворная продукция шла широким потоком, конвейер

работал без перебоев, монбланы «Дня поэзии» возвышались на прилавках, но читательское море практически высохло, превратясь в невзрачный ручей. Тот же Кузнецов к середине 80-х лежал на прилавке в московском Доме книги на Калининском проспекте нераскупленным.

Возник феномен Александра Иванова, пародиста. Суррогат. Это походило на конец поэзии. Помню рекламный щит под Залом Чайковского: вечер поэзии в честь женского дня, участвуют поэт-пародист А. Иванов и поэты-мужчины Е. Евтушенко и др. Поэт-пародист отдельной строкой, поэты-мужчины стадом.

Зал Чайковского смотрит на бронзового Маяковского, наверняка не позабыв, что творилось под монументом в былые времена. Ежевечерние поэтические тусовки заглушали шум улицы Горького. Тысячи начинающих гениев пробовали свои голосовые связки, и я однажды решился, эффекта с испугу не запомнил. Зато ясно вижу, как несметная толпа тащит на руках Евтушенко, и он растерянно улыбается, поблескивая золотой фиксой. Все миновалось, молодость прошла («Высокий берег», 2001).

Многие нынче склонны наглухо умалчивать о том, что наши разъездные поэтические звезды евтушенковской плеяды вполне достойно поработали на престиж поэтической России. Их слушал весь мир, как это ни дико звучит теперь, может быть. Когда Вознесенский сказал: «Нас мало. Нас, может быть, четверо», он не только намекнул на Пастернака («Нас мало. Нас, может быть, трое». — И. Ф., 2013), но и независимо от замысла констатировал наличие в русской поэзии собственных, так сказать, битлов, неливерпульской четверки, имевшей успех весьма шумный. Дело не в том, осталось ли от них свое «Yesterday», дело в том, что это — было. Хотя и yesterday. Более того. В Париж мог явиться и человек не из четверки, Соснора, скажем, и принимали его прекрасно.

Еще более того: куда-нибудь в Рим приезжала бригада матерых мастеров в невообразимом по разношерстности составе (Твардовский, Мартынов, Заболоцкий, Слуцкий, С. Смирнов) — и что? Полный успех. Наконец и Ахматова получила свои лавры там же, в Европах. Наконец-то Запад не ошибся в идентификации России — как страны словоцентричной.

Все это начиналось в том самом 58-м или где-то около того, и посему Адамович оказался не только не прав насчет невозможности поэзии, но и поразительно не прав, вдвойне не прав: во-первых, поэзия пришла тогда в мир из России, не из Франции, а во-вторых, обрела значение, может быть, не свойственное ей, но поистине чрезвычайное. Я думаю, вершиной именно той волны был мировой взлет Бродского. После него все пошло на

спад, перестроечные триумфы наших поэтов карликовы по сравнению с упомянутым yesterday, как ни бились над его повтором целеустремленные слависты («После бури?..», 2001).

Относительно формы стиха общий вектор молодой поэзии той поры исходил из недавнего вчера, казалось бы, подзабытого, — из того, что было начато футуристами, Пастернаком, продолжено Цветаевой, имажинистами, конструктивистами и прочей левой поэзией. Рифма Кирсанова или Сельвинского, при еще живых родителях, стала называться евтушенковской. Впрочем, на такую рифму, как «фраза — Франко» (Евтушенко), старики уже не отваживались.

За взглядом на рифму стоял взгляд на действительность. Она нуждалась в обновлении, потому что не устраивала. С одной стороны, она была богата (богатая рифма), с другой — бедна (бедная рифма). Здесь можно продолжить сколько угодно много, вплоть до диссонанса. Острота проблемы постепенно гасла — поэт, как и все остальные, привыкал к текущей действительности как некой данности. Рифменный революционаризм стал привычкой, делом техники. Такого поэта, как Соколов, рифма интересовала постольку-поскольку: время вызова кончилось («Проблема рифмы», 2002).

Вчера — звонок от Евтушенко. — Здравствуй, Илюша. — Здравствуй, Женя. — Что-то давно не вижу твоих статей. — Притомился. — Кого читаешь? — Никого в этом году. — Что думаешь о Кабыш? — Хорошо думаю. — О Першине? — Ничего не думаю. — Раз не статьи, что делаешь? — Накатал за эти годы несколько романов. — Да? Не видел. Где печатал? — В журналах. — А книгой? — Нет денег. — Делаю трехтомную антологию русской поэзии. Решил перевести «Слово о полку», в рифму.

Я видел его на недавнем форуме в честь Достоевского, где он произносил речь, а потом ходил по ресторану в отеле «Россия» с сумкой через плечо. Там мы не перекинулись.

Поздравил с Новым годом. «Обнимаю».

Я знаю, что у него больна мама.

Станный звонок. Последний раз мы пересекались год назад на вечере Рейна, где сухо поздоровались. Там он тоже ходил вокруг фуршетного стола как бы в поисках кого-то родного, я к таковым явно не относился (Из дневника. 2001–12–22).

Наверно, кроме Ахматовой самые большие места в его (Рейна) жизненном пространстве заняли Бродский, Довлатов и Евтушенко. Причем

последний — чуть ли не первое прочих, по крайней мере в первой половине книги («Заметки марафонца». — И. Ф., 2013). В отличие от Бродского, нетерпимого к Евтушенко, Рейн не без восхищения включен в фантастикофеерическую орбиту евтушенковской жизнедеятельности, не без восхищения и некоторого недоумения: именно здесь возникло самоопределение «скромный литератор». Умение быть вторым? Не знаю. Он ведь третий («Рейнланд», 2004).

Кажется, Евтушенко первый назвал Слуцкого великим. Вот евтушенковский ряд великих: Пастернак, Ахматова, Твардовский, Заболоцкий, Смеляков. К ним он присоединяет Симонова — за «Жди меня» и «Ты помнишь, Алеша...». Слуцкий — в этом ряду («Пусть будет», 2006).

Но вот что интересно. Он (Антокольский) не состоял ни в одной поэтической группе (не слишком кровно смыкался с конструктивистами), всю жизнь шел параллельно общему движению (здесь дело не только в том, что его забирал, или отвлекал, театр), а в итоге получилось, что в какой-то мере сам основал некое направление. У Гумилёва когда-то были гумилята, учеников Антокольского можно бы назвать антоколятами. Слово не из самых благозвучных, но мне кажется — оно точно. У этого направления не было программы и рамок: разница между тем же Межировым и Евтушенко в поэтике — бездонна («Об Антокольском: конспект», 2007).

Авторская песня — задушевно-полемический вариант евтушенковского Стадиона. В плане экстенсива. Страна была охвачена то общим воодушевлением, то всеобщим разочарованием, во все это были вовлечены миллионы поющих голосов. Стоящих слов было, может быть, и много — осталось немного. Стихи Сухарева — из тех, что остались.

...Поэзия Сухарева напрямую наследует прежде всего поэтам-фронтовикам, став, может быть, единственным и законченным явлением этого рода. Никто из рожденных в 30-х так определенно не сосредоточился на этой линии. Ни Кушнер, ни Мориц, ни Чухонцев, ни Рейн, ни Шкляревский, ни, скажем, даже Леонович, во многом разделяющий Сухаревские предпочтения. В этом — поколенческом — народе он действительно стоит. И горой стоит за него. Стихи про Евтушенко (неназванного) «Когда его бранят» прежде всего благородны по жесту — и в 86-м, когда они написаны, требовалось мужество, чтобы бросить в лицо литературной кодле: «И мы учились — *рабски!* — у него! / Мы все на нем

вскормились, лицемеры!» («Обаяние vers. Обаяние», 2010).

Оправдываться у меня нет причин. Но о туркменской истории трех поэтов сказать вынужден. (Речь о переводе на русский язык стихов Туркменбаши. — И. Ф., 2013.) Три поэта зря пошли на эту затею. Общественность напрасно их бичевала. Так бурно и так массово. Три поэта — не монолит, роль каждого из них в этой истории своя: кто-то это задумал, кто-то вляпался. Их публичная самооборона не выглядела красиво.

Но добивать — нельзя. Лежачего не бьют.

Я сказал Рейну в те дни:

— Сто первым я не буду никогда.

Это концовка старого евтушенковского стихотворения о том, как толпа бьет ногами базарного воришку. Рейн усмехнулся.

...Между прочим, в уже далекий день публикации моей заметки о ней («Кулиса», приложение к «Независимой газете») вечером у меня дома раздался звонок: говорит Вера Павлова. Я сперва не понял, что за Вера. Она поблагодарила за точность и благожелательность. Редкий жест. Старая школа. Я могу по пальцам пересчитать поэтов, поступивших так же: Евтушенко, Рейн, Ряшенцев, Чухонцев, Соколов, Кушнер, Британишский. Возраст? Культурность.

...В декабре 2004-го — Международный конгресс, посвященный русской литературе в мировом контексте, под эгидой волгинского Фонда Достоевского. В фойе гостиницы «Космос» многолюдно, мельтешение, всяческие пересечения. Пару раз я пересекся с Е. А. Евтушенко. Оба раза он говорил о моем потрясающем экстерьере, в смысле одежды.

— Ты что, на бегах выиграл?

Под занавес конгресса — вечер поэзии. Я читаю стихи, моя очередь. Е. А., неподалеку от сцены, в полный голос разговаривает с соседом по ряду. Вдали — Д. Быков весело с кем-то беседует спиной к сцене. О том и другом я в свое время писал со знаком плюс. Видимо, с Е. А. надо было как-то поубедительней поговорить о моем гардеробе. Кстати, когда читал Е. А., перед его носом тоже оживленно беседовали — Евтушенко накричал на В. Рабиновича:

— Прекратите, как вам не стыдно, вы тоже пишете стихи!

Потом В. Рабинович мне говорил, что разговаривал не он, а С. Бирюков.

Значит, дело не в прикиде.

...По идее, каждая генерация выдвигает своих теоретиков и герольдов.

Вмешиваться со стороны — возраста, опыта и проч. — вряд ли следует. В свое время Илья Сельвинский, высказываясь о тогдашних молодых (евтушенковская плеяда), заметил, что эти ребята замкнуты в рамках малых форм, а нужен эпос: поэмы, трагедии и т. п., то есть то, чем он занимался сам. На поэтическом дворе стояло совершенно иное время. Однако поэмы — чуть позже — возникли. Слишком много поэм. До трагедий дело не дошло. В театр — на Таганку прежде всего — пришли стихотворения и поэмы («Фокус Блока», 2005).

Молод был Борис (Борис Рыжий. — И. Ф., 2013) и мне сказал с серьезными глазами: я не прочел ни одной строки Евтушенко. Который, между прочим, и есть последний советский поэт. О чем он и сам говорит с гордостью.

...Охват широк (в книге Игоря Шайтанова «Дело вкуса». — И. Ф., 2013), картина опубликованной поэзии в общем верна, и вряд ли есть особый смысл спрашивать, почему, скажем, Тарковский или Мориц лишь упоминаются? Ясно: дело вкуса. Который не помешал ему отдельно работать с Самойловым — представителем того же крыла нашего стихотворства. К слову, нынче он сожалеет о том, что «не получилось написать — в полной мере, скажем, о высоко мной ценимых Межирове, Слуцком, Владимире Соколове...».

Получилось иное. Старики-модернисты (точней, экс-модернисты) в разной степени благорасположенности передают лиру непосредственно евтушенковской плеяде, в сторонке поодиночке стоят сурово-печальные почвенники (внеэстрадники), потихоньку подходит разномастная молодежь («Спору нет», 2008).

Тут начинается тема Тютчева, тогда еще Ф. Т. Кстати, в статье (Некрасова — «Русские второстепенные поэты». — И. Ф., 2013), без особых восторгов, но благожелательно цитируется и Фет, и я попутно замечу, что где Ф. Т., там и *Фет* — это почти обязательно, поскольку у них на слух и на глаз практически одно имя. Некрасов, похоже, первый скомпоновал эту неразлучную пару, и с тех пор разбить ее невозможно, как Пушкина с Лермонтовым, Ахматову с Цветаевой или Евтушенко с Вознесенским.

...Никто и не требует от поэта постоянного парения или, тем более, пастьбы народов. А кстати: второстепенный поэт как властитель дум — есть такое явление? Надсон. В сущности, лермонтовская ода-инвектива «На смерть поэта» — факт «тенденции», многословное произведение молодого

поэта, берущее злободневностью, безоглядностью вызова, а не потенциалом гения. Но его не могло не быть в русской поэзии. И кроме Лермонтова его никто не мог написать — таких просто не было.

Времена указанного властительства прошли и никогда не вернутся. Не чуждый сему благородному влечению Бродский не был властителем дум, он в этом смысле не идет ни в какое сравнение с Евтушенко.

...На моей памяти — начиная с 60-х — экстенсивным воздействием на общее стихотворство обладали, не говоря о Маяковском, Есенине, Пастернаке, Мандельштаме, Багрицком, Ахматовой и Цветаевой, уже ушедших к той поре, некоторые поэты второй половины XX века: что бы кто ни думал о них, это — Евтушенко, Слуцкий, Вознесенский, Окуджава, Ахмадулина, Межиров, Соколов, Самойлов, Тарковский, Рубцов, Кузнецов, Чухонцев... Фигуры несомасштабные, разные по силе, значению и длительности звучания. В совокупности — с решительным прибавлением Бродского — и были тем явлением, которое Некрасов видел в Пушкине относительно своего времени, имея в виду конец пушкинской эпохи («Стыд стиха», 2009).

Андрей Белый ушел тихо. Незадолго до этого Григорий Санников помог ему передохнуть — перевести дух — в Коктебеле. Там было холодно. Дул ветер, палило солнце. Идет бурная переписка. Постоянные жалобы на расширение сердца. «Осталось жить недолго». Это и есть то, от чего Пастернак предостерегал молодого Евтушенко: не говорить в стихах о своей смерти (об этом упоминает Радзишевский в книге «Последние дни Маяковского») («Перепек», 2010).

Праздники, впрочем, подбрасывает жизнь. В частности, всяческие юбилеи. Появляются стихи. В частности, «Гоголь-фест» Бориса Херсонского в «Крещатике», № 3, 2010. Написано здорово. Есть все — широкое дыхание, ритмическая свобода, богатая лексика. Сбои и спотыкания не оттого, что настолько сопротивляется материал и автору трудно. Ему легко. Он и оскальчивается не то чтобы понарошку, но сознательно. Чтобы избежать гладкописи. Вообще говоря, Херсонский, соглашусь, — случай, но больше все-таки вопрос. Это — легкость или ловкость? Гоголь у него по существу ни при чем. Гоголевская аура — возможно да. Полет фантазии — да, почти оттуда. Но это лишь точка отталкивания, и хорошо, что фантазия летит-таки. Получается что-то причудливо-притчевое, сказово-сказочное. Разумеется, это не хождение в народ, не фольклорная экспедиция, это, пардон, литературщина, то есть то,

что рождено в недрах самой литературы и — очень умело — переведено в плоскость злободневности. «Столик красного дерева одиноко стоит в степи, / общее благо повсюду, куда ни ступи. / Вставай-поднимайся, народ. Любимая — спи». Вот вам и центон (двойной), а про любимую — еще и из Евтушенко. К которому Херсонский небезразличен, боюсь — не меньше, чем к Бродскому. С каким знаком — плюсом ли, минусом ли — не важно. Вещание на массы, по возможности просвещенные, имеет место и нередко преобладает над веществом стиха («Знать грамоте», 2010).

Настаивать на термине — *арт-поэзия* — мы не будем. Но явление существует. Более того, оно шире, чем артист, пишущий стихи, и стихи, написанные артистом. Поэтические произведения, ставшие спектаклями; концерты чтецов; даже выступления поэтов, прибегающих к арсеналу сценического искусства: Евтушенко в частности. Любимовские «Антимиры» с участием Вознесенского.

В этой связи надо особо сказать о 60-х, о той поре, когда началось и пошло далее во времени второе — после Серебряного века — пришествие поэзии на театр. Классика — Шекспир или Пушкин — само собой, Брехт — тоже, но речь о современной поэзии, когда тот же Любимов и его последователи по всей стране показывают зрителю постановки на основе современной поэзии, включая творчество поэтов-фронтовиков. Или, независимо от «Таганки», превосходную вещь Семена Кирсанова «Сказание про царя Макса-Емельяна» (нынче переписанную-перепоставленную Марком Розовским). Тогда-то и возникает чуть не в массовом порядке этот творческий тип: артист, пишущий стихи. Арт-поэт, если хотите («Не шей ты мне, матушка...», 2010).

Длинная строка, богатая ритмика, голосовое гудение — куда от этого денешься? Это вошло в стиховой состав всех, кто начинал в отрезке времени от 30-х до 60-х. Тот же Евтушенко, наиболее верный ученик (Луговского. — И. Ф., 2013) по всем параметрам — от актерства до трибунности. А лукавство? Посвятить стихотворение «Ограда» якобы памяти Луговского (испросив разрешения у вдовы), на самом деле имея в виду Пастернака. Публичность прежде всего. Ничего для архива. Но «Середина века» писалась в стол. В архив. Так ли? Он подготовил публикацию этих поэм, немилосердно их изувечив («Улица Луговского», 2011).

99 процентов нынешних — особенно молодых — стихотворцев не

читали «Братскую ГЭС». Может быть, и 99,9 процента. Но последняя цифра может коснуться и «Василия Теркина» Твардовского, и «Сказа о царе Максе Емельяне» Кирсанова — практически всей недавней классики. Это не есть хорошо. Хотя бы из соображений «врага надо знать» («Кладбище паровозов», 2012).

Народ спросит: а где Евтушенко? Факт неувенчанности сего патриарха на данном ристалище красноречив: «Поэт» — премия текущего исторического момента, избирательная оптика минуты, притормозившего мгновенья сегодняшней истории («Поэт. Национальный. Русский», 2013).

P. S.

Последнее высказывание появилось в апрельском номере «Нового мира» (2013) за несколько дней до решения жюри премии «Поэт» о победе Евгения Евтушенко.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е. А. ЕВТУШЕНКО

1932, 18 июля — родился в городе Нижнеудинске Иркутской области. Мать — Зинаида Ермолаевна Евтушенко (1910–2002). Отец — Александр Рудольфович Гангнус (1910–1976). Оба — геологи. Вскоре ребенок перевезен на станцию Зима, к родственникам его матери Дубининым.

1933— следующий переезд в дом деда, Рудольфа Александровича Гангнуса, по адресу: Москва, Четвертая Мещанская, д. 17, кв. 2, в Марьиной Роще.

1937—первое стихотворение «Я проснулся рано-рано...» [\[10\]](#).

1940— учеба в московской школе № 254.

1941, осень — эвакуация в Зиму. Мать, ставшая певицей, отправляется с концертами на фронт.

1943, декабрь — приезд матери в Сибирь; ее тяжелая болезнь (тиф). К этому времени родители будущего поэта расстались.

1944— бабушка Мария Байковская меняет внуку фамилию отца на материнскую.

Конец июля— возвращение с матерью в Москву; для упрощения въезда в столицу год рождения сына переименован на 1933-й.

1945—учится в школе «неисправимых» № 607.

Весна— мать возвращается с фронта. Рождение сестры Елены.

1947—занимается в поэтической студии Дома пионеров Дзержинского района.

1948—посещает литературную консультацию издательства «Молодая гвардия».

Осень— исключен из школы с «волчьим паспортом». Уезжает на работу в геолого-разведочную партию отца в Казахстане.

1949, весна — лето— начало дружбы с поэтом и спортивным журналистом Н. Тарасовым. Знакомство с критиком Вл. Барласом.

2 июня — первая публикация: стихотворение «Два спорта» в газете «Советский спорт».

9 октября— первое упоминание имени Евгения Евтушенко как поэта в обзоре стихов, присланных в редакцию газеты «Московский комсомолец».

1950, осень— присутствует на чтении Б. Пастернаком перевода «Фауста» Гёте в Центральном доме литераторов. Первая встреча с Я.

Смеляковым.

Рубеж 1940–1950-х— активные публикации в газетах.

1951— стихотворение «Мне мало всех щедростей мира...».

1952, апрель — первая книга стихов «Разведчики грядущего» (издательство «Советский писатель»).

Август— поступление (без аттестата зрелости) в Литературный институт им. А. М. Горького. Начало дружбы с В. Соколовым, Р. Рождественским, В. Морозовым, Ю. Казаковым, М. Рощиным, М. Тарасовым.

Вступление в Союз писателей СССР.

1953, 13 марта— стихотворение «Похороны Сталина».

Роман с Н. Апрелевой.

Лето — поездка в Сибирь (Зима, Иркутск); попытка издать в Иркутске сборник стихов; участие в конференции по творчеству Маяковского; начало работы над поэмой «Станция Зима».

Осень— знакомство с Беллой Ахмадулиной; встреча с нею Нового года в ЦДЛ.

1954, 1 апреля — читает стихотворение «Мать Маяковского» на похоронах матери В. Маяковского.

Стихи, посвященные Н. Апрелевой («Дворец», «Пришло без спросу...» и др.).

1955, 12 февраля — стихотворение «Окно выходит в белые деревья...».

29 июля — стихотворение «На велосипеде».

11 сентября — участие в первом Дне поэзии.

2 октября— стихотворение «Свадьбы».

Женитьба на Белле Ахмадулиной.

Книга лирики «Третий снег» (издательство «Советский писатель»).

1956, 14–25 февраля— XX съезд КПСС.

Лето — осень— выход книги стихов «Шоссе Энтузиастов» (издательство «Московский рабочий»); поездки в Грузию и Абхазию. Завершение и публикация поэмы «Станция Зима» (журнал «Октябрь», № 10).

1957, 8 марта— выступление на собрании писателей, посвященном обсуждению романа В. Дудинцева «Не хлебом единым».

Май — исключен из Литературного института.

Июнь — июль — поездка на Дальний Восток и в Сибирь.

Июль — август — участие в работе VI Московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Знакомство с Паоло Пазолини.

1 сентября — стихотворение «О, нашей молодости споры...».

Книга стихов «Обещание» (издательство «Советский писатель»).

1958, весна — участие в Декаде литературы и искусства в Грузии.

Июнь — июль — вторая поездка на Дальний Восток и в Сибирь. Поэма «Откуда вы?».

Конец октября — отказ от участия в осуждении Б. Пастернака из-за публикации романа «Доктор Живаго» за рубежом.

1959, начало года — первая проза: рассказ «Четвертая Мещанская»; стихотворение «Одиночество».

3 мая — личное знакомство с Б. Пастернаком; напутственный автограф старшего поэта на книге «Сестра моя — жизнь».

1960, 9 января — статья Вл. Барласа «Всегда ли верить вдохновенью?» («Литературная газета»).

Расставание с Беллой Ахмадулиной.

Начало совместной жизни с Галиной Сокол.

В течение года — первые поездки за рубеж: Франция, Англия, Испания, Дания, Болгария, Того, Либерия, Гана.

Парижский цикл стихотворений.

Первое посещение США в составе делегации советских писателей. Начало дружбы с Альбертом Тоддом, профессором славистики Квинс Колледжа (НьюЙорк).

Стихотворение «Ограда» (журнал «Юность», № 12) — памяти Б. Пастернака с мистифицированным посвящением «Памяти В. Луговского».

1961, август — посещение Бабьего Яра в обществе Анатолия Кузнецова.

19 сентября — публикация в «Литературной газете» стихотворения «Бабий Яр».

Пребывание на Кубе, работа над киносценарием и фильмом «Я — Куба». Общение с Фиделем Кастро и Че Геварой. Знакомство с Юрием Гагариным.

Кубинский цикл.

Написана песня «Хотят ли русские войны?..» с композитором Э. Колмановским; исполнена М. Бернесом.

Посещение М. Шолохова в станице Вёшенской.

1962, март — звонок Д. Шостаковича с предложением сотрудничества. Начало работы над Тринадцатой симфонией на стихи Евг. Евтушенко.

Лето — книга «Взмах руки» (издательство «Молодая гвардия»): первый 100-тысячный тираж.

В издательстве «Фольк унд вельт» (ГДР) выходит первая зарубежная

книга Евг. Евтушенко «Со мною вот что происходит» (Mit mir ist folgendes geschehen. Russisch / Deutsch. Übers.: Franz Leschnitzer. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1 962 166 S).

Июль — август— VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. Стихотворение «Сопливый фашизм».

Попытка основать журнал «Лестница» («Мастерская»).

29 августа — 8 сентября— приезд в СССР американского поэта Роберта Фроста и знакомство с ним Евтушенко.

21 октября— публикация стихотворения «Наследники Сталина» (газета «Правда»).

Ноябрь — съемки в фильме М. Хуциева «Застава Ильича».

Входит вместе с В. Аксеновым в состав редколлегии журнала «Юность».

18 декабря— исполнение Тринадцатой симфонии Д. Шостаковича в Московской консерватории.

1963, начало года— знакомство в Париже с поэтом и ведущим критиком первой волны русской эмиграции Г. Адамовичем.

Конец февраля — публикация эссе «Преждевременная автобиография» в «Штерне» (ФРГ) и «Экспрессе» (Париж).

30 марта — «Комсомольская правда» печатает памфлет Г. Оганова, Б. Панкина и В. Чикина «Куда ведет хлестаковщина» в связи с публикацией «Преждевременной автобиографии».

Выходит обличительная антиевтушенковская брошюра «Во весь голос».

Апрель — слухи о самоубийстве Евтушенко.

25–26 апреля— стихотворение «Баллада о штрафном батальоне».

Июнь — поездка с Ю. Казаковым на Русский Север. Северный цикл.

Июль— Московский кинофестиваль. Знакомство с Федерико Феллини.

Август — сентябрь— поездка в Сибирь.

Сентябрь— начало работы над «Братской ГЭС».

29 сентября— стихотворение «Граждане, послушайте меня...».

31 декабря— вместе с женой встречает Новый год в Кремле (по приглашению Н. С. Хрущева).

1964, 12 апреля — инцидент в Звездном городке: запрет выступления перед космонавтами.

Июль— вторая поездка на Север с Ю. Казаковым. Новые северные стихи («Долгие крики», «Комаров по лысине размазав...» и др.).

14 октября — отстранение от власти Н. С. Хрущева.

28 декабря — премьера вокально-симфонической поэмы Д.

Шостаковича «Казнь Степана Разина» в Большом зале Московской консерватории.

1965, 18 января — стихотворение «Идут белые снега...».

Начало многолетней дружбы с Ю. С. Нехорошевым.

Апрель — публикация «Братской ГЭС» в журнале «Юность» и выдвижение поэмы на соискание Ленинской премии.

Лето — поездка в Италию. Итальянские стихи.хлопоты о возвращении И. Бродского из ссылки. Встреча с П. Пазолини.

Сентябрь — на военных сборах в Закавказском военном округе (рядовой).

3 октября — в Колонном зале Дома союзов пишет и читает со сцены стихотворение «Письмо Есенину»; всесоюзное телевидение прерывает прямую трансляцию.

Октябрь — приглашает И. Бродского читать стихи на своем авторском вечере в МГУ.

5 ноября — гибель Евгения Урбанского на съемках. Стихотворение его памяти.

28 декабря — статья о В. Соколове «Потому что не до шуток» в «Литературной газете».

1965, осень — 1966, февраль — процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем. Евтушенко присутствует в зале суда.

1966, начало года — стихотворение «Эстрада».

5 марта — смерть Анны Ахматовой. Стихотворение ее памяти. *Март* — поездка по Австралии с успешными выступлениями.

Май — поездки в Испанию, на Ближний Восток, в Сенегал.

Июнь — у Евтушенко в гостях И. Бродский и В. Аксенов. *Сентябрь — октябрь* — участие в торжествах по случаю 800-летия Шота Руставели в Грузии.

Ноябрь — пребывание в США. Встреча с Робертом Кеннеди и Жаклин Кеннеди. Месячная поездка по Америке (включая Аляску и Гонолулу) с А. Тоддом. Выступления в Медисон-сквер-гарден, Карнеги-холле и пр.

1967, апрель — июнь — поэма «Коррида».

Май — повесть «Пирл-Харбор» в журнале «Юность».

Лето — экспедиция по реке Лене на карбасе «Микешкин» во главе с Леонидом Шинкаревым. Ленский цикл.

Осень — постановка в Театре на Малой Бронной спектакля «Братская ГЭС».

Октябрь — стихотворение «Краденые яблоки».

Конец года — стихотворения «Нью-Йоркская элегия» и «Елабужский

гвоздь».

1968, весна — большая поездка по Латинской Америке (12 стран). Давид Сикейрос пишет портрет Евтушенко. Встреча с Луи Армстронгом. Дружба с Пабло Нерудой и Франсиско Колоане. Знакомство с Сальвадором Альенде и генералом Пиночетом. Роман с колумбийской фотомodelью Дорой Франко. Авантюрное посещение Таити. Пражская весна — события в Чехословакии, их развитие в течение года.

6 июня— убийство Роберта Кеннеди. Стихотворение «Свобода убивать». Посещение вместе с И. Бродским и Е. Рейном американского посольства в знак соболезнования.

22 августа— посылает протестную телеграмму на имя Л. И. Брежнева (и А. Н. Косыгина) в связи с вводом советских войск в Чехословакию.

23 августа— стихотворение «Танки идут по Праге».

Сентябрь— посещение Испании и Португалии.

Усыновление мальчика Пети из детдома.

Ноябрь— антиевтушенковская кампания в английской прессе: обвинения в сервилизме. Выдвижение на звание профессора в Оксфорде забаллотировано.

Конец года— поэма «Под кожей статуи Свободы».

1969, 10 февраля — становится жильцом высотки на Котельнической набережной.

Март — получает орден «Знак Почета».

Выходит книга избранного «Идут белые снега...» (Гослитиздат). Стихотворение «Серебряный бор».

Приглашен Эльдаром Рязановым на роль Сирано де Бержерака.

Май— пребывание в Казани.

Евг. Евтушенко и В. Аксенов выведены из редколлегии журнала «Юность».

Июль — побег А. Кузнецова в Англию.

Участие Евтушенко (вместе с О. Целковым) в экспедиции Л. Шинкарева по реке Витим.

Август — Министерство кинематографии закрывает проект фильма Э. Рязанова о Сирано де Бержераке.

1970— борьба с чиновниками за спектакль «Под кожей статуи Свободы» («Протест — оружие безоружных») в Театре на Таганке.

Апрель — стихотворение «Приходите ко мне на могилу...».

Весна — лето — пребывание в Казани. Поэма «Казанский университет».

Июль— двухнедельное плавание по Байкалу с иркутскими

ихтиологами.

Конец лета— поездка в Сибирь.

Ноябрь— приезд в Иркутск на 50-летие Л. Шинкарева.

1971, январь — февраль — поездка в Приморье.

Лето— в качестве спецкора «Литературной газеты» посещает Перу, Эквадор, Боливию и Чили.

1972, январь — пребывание во Вьетнаме.

3 февраля— принят президентом США Ричардом Никсоном.

Весна — нападение на Евтушенко отпрысков бандеровцев во время выступления на стадионе в городе Сан-Пол (штат Миннесота). В США выходит однотомник поэта «Краденые яблоки» (Stolen Apples. Anchor Books, Doubleday, N.Y., 1972). Американские стихи («Гранд-Каньон», «Дом волка» и др.). Арест багажа (книги) на таможне по возвращении из Америки.

Май — встреча с И. Бродским в доме Евтушенко.

Лето— решение московской писательской организации об исключении из партии Б. Окуджавы.хлопоты Евтушенко в его защиту.

1 июля — председатель КГБ Ю. Андропов докладывает Секретариату ЦК КПСС: «Комитет госбезопасности располагает данными об идейно-ущербной направленности спектакля «Под кожей статуи Свободы» по мотивам произведений Евтушенко, готовящегося к постановке Ю. Любимовым в Московском театре драмы и комедии».

3–4 июля — стихотворение «Когда мужчине 40 лет...».

18 июля— инцидент с космонавтом В. Севастьяновым и К. Симоновым во время празднования 40-летия Евтушенко в Переделкине.

6 августа— выступление в Шахматове. Стихотворение «Блоковский валун».

18 октября — премьера спектакля «Протест — оружие безоружных».

Декабрь— стихотворение «Похороны Смелякова».

1973, февраль — май — поэма «В полный рост».

Июнь— поездка в Японию, на Филиппины и Гавайи. Стихотворение «Токио».

Август — участие Евтушенко (вместе с О. Целковым) в экспедиции Л. Шинкарева по реке Виллой. Сибирские стихи.

23 августа— стихотворение «Отцовский слух».

24 августа — стихотворение «Родной сибирский говорок».

30 сентября — публикация статьи Роберта Конквеста «Печальный случай Евгения Евтушенко» в «НьюЙорк таймс».

1974, начало года— поэма «Снег в Токио».

12 февраля — арестован А. И. Солженицын.
13 февраля — его высылка из страны. Звонок Евтушенко Ю. Андропову и телеграмма Л. Брежневу с протестом.
Март — апрель — командировка в Набережные Челны. Поэма «КамАЗ начинается».
3–4 июня — стихотворение «Плач по брату».
Лето — болезнь сердца; госпитализирован в больнице МПС. Большой цикл стихов.
Знакомство с Джан Батлер.
9 августа — отзыв на книгу А. Кушнера «Письмо» в «Литературной России».
17 ноября — творческий вечер (ранее, в начале года, отмененный) в Колонном зале Дома союзов.
1975 — выход двухтомника «Избранные произведения» (издательство «Художественная литература»).

Февраль — поездка с Джан Батлер в Северную Ирландию.
Апрель — стихотворение «Ольховая сережка» с посвящением Дж. Батлер.
2-я декада июня — поездка на Русский Север.
Август — участие Евтушенко (вместе с О. Целковым) в экспедиции Л. Шинкарева по реке Алдан. Поездка по БАМу.
Август — декабрь — поэма «Пресека».
20 ноября — опубликован пасквиль В. Максимова «Осторожно — «Евтушенко»!» в журнале «Континент».

1976, начало года — поэма «Ивановские ситцы».
28 декабря — кончина Александра Рудольфовича Гангнуса, отца поэта.
1977, март — стихотворение «Однажды мы спали валетом...».
Май — в Иркутске учрежден «союз евтушенковедов»: В. Артемов, Е. Кручинин, В. Комин, В. Прищепа, И. Соловьев.
Июнь — выходит поэма «Северная надбавка» в журнале «Юность». Поездка по Колыме. Начало дружбы с В. Тумановым.
Июнь — июль — экспедиция по реке Колыме во главе с Л. Шинкаревым.
Посещение Иркутска, Улан-Удэ, Зимы, Ангарска, Нижнеудинска.
Октябрь — «поэтическая сборная СССР» во главе с К. Симоновым в Париже (Евг. Евтушенко, В. Коротич, Б. Окуджава, Р. Рождественский, О. Сулейменов плюс В. Высоцкий).
16 ноября — в «Литературной газете» опубликован отзыв Евтушенко на первую книгу О. Чухонцева «Из трех тетрадей».

1978, 8 января— публикация статьи «За великое дело любви» к 100-летию со дня смерти Н. А. Некрасова в «Комсомольской правде».

Статья «Огромность и беззащитность» к 85-летнему юбилею В. Маяковского в «Литературной учебе» (№ 2).

28 июня — 8 июля— поездка по Италии.

Середина года — развод с Галиной Евтушенко и женитьба на Джан Батлер.

Начало работы над ролью К. Циолковского в кинофильме С. Кулиша «Взлет».

Поэма «Голубь в Сантьяго» в «Новом мире» (№ 11).

1979— начало профессиональных занятий фотографией.

31 января— в «Литературной газете» опубликован материал «Фотоискусство — осмысление познанного» (запись беседы с Евг. Евтушенко).

Выход книги «Тяжелее земли»: стихи о Грузии и переводы из грузинской поэзии (Тбилиси, издательство «Мерани»).

Первые выставки фоторабот Евтушенко.

Лето— фильм «Взлет» получает Серебряный приз на девятом Международном кинофестивале в Москве.

Осень— недельное пребывание в Лондоне.

Родился сын Саша.

Декабрь— избран членом правления и председателем Совета по грузинской литературе Союза писателей СССР.

1980— рождение сына Антона.

Фотовыставки в Москве, Вильнюсе, Лондоне, Тбилиси, Баку, Ереване, Иркутске, Ангарске.

Выход книги статей «Талант есть чудо неслучайное».

Публикация повести «Ардабиола» в журнале «Юность» (№ 3).

Май— вечер, посвященный 70-летию Ольги Берггольц. Стихотворение «У Победы лицо не девчоночье...».

Июль— поездка по пустыне Гоби.

Июль — август— участие в совместной советско-монгольской экспедиции газет «Известия» и «Унэн» во главе с Л. Шинкаревым по реке Селенге.

Август— посещение Зимы в связи с похоронами дяди, Андрея Ивановича Дубинина.

Август — сентябрь— премьера рок-поэтории Глеба Мая «Исповедь» на стихи Евтушенко в ангарском ДК «Современник»; встречи и выступления в Ангарске и Иркутске.

3 сентября— публикация поэмы «Непрядва» в «Литературной газете».
Декабрь— стихотворение «Афганский муравей».

Выход двухтомника «Избранные произведения» (издательство «Художественная литература»).

1981, начало года— едет в Италию получать премию «Фреджене». Присуждение премии им. Галактиона Табидзе.

Май— трехнедельное пребывание в Париже.

Выход книг — «Ардабиола»; «Ягодные места»; «Точка опоры» (литературно-публицистические работы).

Восточно-Сибирская студия кинохроники выпускает киноочерк «Поэт со станции Зима».

Сентябрь— участвует в массовом марше мира «Перуджа — Ассизи» (Италия).

Конец года— в Челябинске выходит первый (научно-вспомогательный) библиографический указатель Ю. Нехорошева и А. Шитова «Евгений Евтушенко».

1982, январь — первое публичное чтение поэмы «Мама и нейтронная бомба» в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

Поэма «Мама и нейтронная бомба» в журнале «Новый мир» (№ 7). Работа над кинофильмом «Детский сад».

Публикация сценария фильма в журнале «Искусство кино» (№ 3).

17 марта — в «Литературной газете» выходит статья-интервью «Работа над фильмом — это путешествие. Федерико Феллини, режиссер и писатель».

2 июня— творческий вечер в Иркутске.

18 июля— празднует свое 50-летие в Гульрипше (Абхазия).

Сентябрь— съемки фильма «Детский сад» в Иркутске.

10 ноября — смерть Л. И. Брежнева.

15–16 ноября— стихотворение «Хранительница очага».

1983, середина февраля— финские журналисты снимают телеочерк «Портрет поэта на станции Зима».

Июль— 50-летний юбилей поэта (официальный).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

18 июля— концерт в спорткомплексе «Олимпийский» (12 тысяч зрителей).

Торжества по случаю 50-летия Евтушенко в Абхазии.

Август— премьера «Детского сада».

Поездки в Италию и Китай.

1984, апрель — поездка по Латинской Америке. Замысел поэмы

«Фуку!». Выход первого тома трехтомного «Собрания сочинений» (издательство «Художественная литература»).

Премия Академии Симба (Италия).

7 ноября— Государственная премия за поэму «Мама и нейтронная бомба».

1985, 11 марта— приход к власти М. С. Горбачева.

Евтушенко публикует произведения авторов будущей поэтической антологии в журнале «Огонек».

Премия Яна Райниса (Латвия).

14 мая— статья «Возвращение стихов Гумилёва» в «Литературной газете».

Август — сентябрь— Венецианский фестиваль: получение «Золотого льва».

1986— прокат кинофильма «Детский сад» в Нью-Йорке и Париже.

Выход книги Е. Сидорова «Евгений Евтушенко. Личность и творчество» (издательство «Художественная литература»).

Март— фото звездной четверки на обложке «Огонька» (Евг. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Р. Рождественский).

Весна — лето— разрыв с Джан Батлер. Поездка в Карелию. Встреча с Марией Новиковой. Стихотворение «Последняя попытка стать счастливым...».

Канун Нового года — свадьба с Марией.

1987, январь — свадебная поездка в Париж. Концерт в Кремлевском дворце съездов памяти жертв сталинизма.

Книга «Завтрашний ветер» (издательство «Правда»).

Июнь— избран почетным членом Американской академии искусств и литературы. Выход И. Бродского из академии в знак протеста. Письмо Евг. Евтушенко М. С. Горбачеву о политической реабилитации Н. И. Бухарина.

Конец года— вояжи по Карелии и Чукотке.

1988—публикация киносценария «Конец мушкетеров» в журнале «Искусство кино» (№ 8, 9).

Август— поездка с Альбертом Тоддом в Зиму.

1989—в США выходит фотоальбом Евг. Евтушенко в соавторстве с Бойдом Нортонем «Разделенные близнецы. Аляска и Сибирь» (издательство «Викинг»).

Создание общества «Мемориал»: сопредседатели — А. Адамович, Ю. Афанасьев, Евг. Евтушенко, А. Сахаров.

Создание общества «Апрель» («Писатели в защиту перестройки»). Избран в руководство «Апреля».

Май— участвует в избирательной кампании в Харькове по выборам в союзный парламент; побеждает с девятнадцатикратным перевесом.

14 декабря — смерть А. Д. Сахарова. Стихотворение его памяти. Рождение сына Жени.

1990, 30 октября— открывает памятник Соловецкий камень на Лубянке.

14 ноября— окончание съемок фильма «Похороны Сталина».

25 ноября— первый показ фильма в Харькове, перед своими избирателями.

27 ноября— премьера «Похорон Сталина» в Москве, во Дворце спорта «Лужники».

Декабрь— выпуск книги В. П. Прищепы «Поэма в творчестве Е. А. Евтушенко и А. А. Вознесенского (1960–1965)» в издательстве Красноярского университета.

1991—кинофильм «Похороны Сталина» выходит в массовый прокат. Рождение сына Мити.

1991, 19–21 августа — августовская революция. Выступление на балконе Белого дома со стихотворением «19 августа».

23 августа— распад Союза писателей СССР. Образование Содружества писательских союзов; сопредседательство в новой структуре. *Осень*— приглашен в США для чтения лекций.

Выход книги «Избранное» в США.

Венчание с Марией в церкви Святого Андрея Первозванного в Филадельфии.

1992, 18 июля— стихотворение «Нет лет», написанное на станции Зима. Празднование 60-летнего юбилея в Иркутске. Благодарность Билла Клинтона за подаренную книгу «Избранное» (выпущенную в США). Евтушенко становится почетным гражданином Зимы.

15 ноября — сожжение чучела поэта во дворе Дома Ростовых (офис правления Содружества писательских союзов).

1993, 2 апреля— закончен роман «Не умирай прежде смерти».

Выход антологии «20 Century Russian Poetry» (США).

Июль— празднование официального 60-летия: вечера в Москве, Петербурге, Зиме, Иркутске.

Награждение орденом Дружбы народов (отказ принять его).

Выход романа «Не умирай прежде смерти» в США и России.

1994—именем поэта названа Minor Planet Circular № 23 351 — малая планета Солнечной системы 4234 Evtushenko (диаметр 12 километров, минимальное расстояние от Земли — 247 миллионов километров).

Лето— приезд на Брянщину, путешествие по Десне. Стихотворение об А. Межирове «Автор стихотворения «Коммунисты, вперед!».

Октябрь— премьера романа «Не умирай прежде смерти» на Франкфуртской книжной ярмарке.

Выступления в Германии, Австрии и Скандинавских странах.

1995— выход антологии «Строфы века» (Минск — Москва, издательство «Полифакт»).

23 мая— презентация сигнального экземпляра антологии «Строфы века» в Политехническом музее.

Лето— начало работы с Ю. Нехорошевым над Первым собранием сочинений в восьми томах.

«Не умирай прежде смерти» признан лучшим иностранным романом в Италии. Премия Дж. Боккаччо.

Август— запись на телевидении пятидесяти двух еженедельных передач «Поэт в России — больше, чем поэт». Осенью проект закрыт.

1996, 1 февраля— присутствует на отпевании Иосифа Бродского в нью-йоркской церкви Благодати.

Февраль— выход монографии В. В. Артемова и В. П. Прищепы о Евг. Евтушенко «Человек, которого не победили» (издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова).

Май — закончена поэма «Тринадцать» (начата в октябре 1993-го).

1997, 24 января— смерть Владимира Соколова. Евтушенко прилетает из США на похороны. Стихотворение «На смерть друга».

Лето— поездка по Уралу и Сибири.

1998— премия ТЭФИ за цикл передач «Поэт в России — больше, чем поэт».

Декабрь— поездка по маршруту НьюЙорк — Франкфурт — Тель-Авив.

1999, март— поездка в Кельн.

Август— путешествует с сыном Сашей по Десне до Новгорода-Северского.

Премия Уитмена (США).

Почетный знак Йельского университета за заслуги.

2001, начало года— получает диплом об окончании Литературного института им. А. М. Горького.

18 июля— вечер в Политехническом музее.

22 июля— поездка в Сибирь: станция Зима, Иркутск, Братск, Ангарск. Сибирский международный фестиваль поэзии. Открытие дома-музея Евг. Евтушенко в Зиме.

Начат переклад «Слова о полку Игореве» (закончен 31 декабря 2001–17 января 2002).

Декабрь— убийство издателя и мецената Виктора Яковлева на Патриарших прудах.

2002, 11 января— кончина Зинаиды Ермолаевны Евтушенко, матери поэта.

Ноябрь— интернациональная премия Aquila (Италия). Госпитализирован в Талсе (США). Цикл стихов.

Декабрь— золотая медаль Люмьеров за выдающийся вклад в культуру и популяризацию российского кино.

2003, май— награжден общественным орденом «Живая легенда» (Украина) и орденом Петра Великого (Россия).

Июль — награжден грузинским орденом Чести. Юбилейный концерт в Кремлевском дворце съездов.

Август — поездка на Дальний Восток.

Звание «Поэт года» (США).

Отмечен Почетным знаком основателя Центра реабилитации детей в России.

2004, 16 марта— награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Май— становится почетным доктором Брянского государственного университета.

Декабрь — читает лекцию «Ко всякому удару молитва» в Брянском государственном университете.

2005, 22 января — получает премию Гринцане Кавур в Турине.

10 февраля— стихотворение «Белла Первая».

14 декабря — концерт в Зале им. П. И. Чайковского.

2006— выходит книга А. Межирова «Артиллерия бьет по своим» (издательство «Зебра Е»). Выхлопотал издание, составил и написал предисловие Евг. Евтушенко.

Награжден медалью Рауля Валленберга.

Становится почетным гражданином Петрозаводска.

2007, 16 января— вечер в Большом зале Центрального дома литераторов. Выход однотомника «Весь Евтушенко: Стихи и поэмы 1937–2007» (издательство «Слово / Slovo»); переиздан в 2010 году.

Июнь— «зигзагообразный тур с чтением стихов по земному шару — в США, Гватемале, Сальвадоре, Венесуэле, где выступал и на русском, и на испанском, а затем в новосибирском Академгородке, в Петрозаводске, Сартавале, в Сургуте, Ханты-Мансийске».

12 декабря— рок-опера Г. Мая на стихи Евтушенко «Идут белые снеги...» в спорткомплексе «Олимпийский».

2008, 5 февраля — выступление на открытии мемориальной доски Ю. Казакова на Арбате, дом 30.

15 апреля— участие в вечере памяти В. Маяковского в Малом зале Центрального дома литераторов.

10 июня— рок-опера Г. Мая на стихи Евтушенко «Идут белые снеги...» в Большом концертном зале «Октябрьский» (Петербург). Выход первого тома антологии «В начале было Слово...» (издательство «Слово / Slovo»).

Выход восьмого тома Первого собрания сочинений в восьми томах.

2009, март— однотомник «Весь Евтушенко» побеждает в номинации «Поэзия» на конкурсе «Книга года» за 2008 год.

Август— посещение Брянска.

Октябрь — прием в честь Евг. Евтушенко в Фонде русско-американского сотрудничества.

Награжден орденом О'Хиггинса в Чили.

2010, 4 июня — участвует в гражданской панихиде по Андрею Вознесенскому.

Июнь — присуждение Государственной премии России.

17 июля — открытие в Переделкине музея-галереи, переданной Евгением Евтушенко в дар государству.

29 ноября — кончина Беллы Ахмадулиной.

2011, 12 сентябрь — в петербургском театре «Балтийский дом» премьера спектакля «Возвращение в любовь», в основе которого цикл песен Р. Паулса на стихи Евг. Евтушенко.

Октябрь — ноябрь — поэма «Дора Франко. Доисповедь».

2012, 29 апреля— публикация статьи В. Новодворской «Поэт-на-договоре» (журнал «Новое время» / «The New Times»).

27 декабря— выступление в Политехническом музее.

Конец года— поездка в Петербург. Госпитализация в московской Центральной клинической больнице. По выписке из больницы — многочасовые встречи с читателями.

2013, январь — поездка в Киев: выступление во Дворце культуры и искусств «Украина» совместно с джазовым «РадиоБендом» А. Фокина. Поездка в Париж: встреча с О. Целковым, О. Рабиным и М. Шемякиным. Выступления в зале ЮНЕСКО и клубе российского посольства.

Отлет в США.

Помещен в госпиталь Hillcrest; операция на ноге отложена.

16 апреля— жюри российской национальной премии «Поэт» объявляет о победе Евгения Евтушенко.

24–25 апреля— премьера спектакля «Нет лет» по стихам Евг. Евтушенко в постановке В. Смехова в Театре на Таганке.

14 мая — кончина Галины Евтушенко.

21 мая— церемония награждения Евгения Евтушенко премией «Поэт» в отсутствие лауреата.

18 июля —80-летие поэта: получает поздравления от В. В. Путина, Д. А. Медведева и патриарха Кирилла. Выход первого тома антологического пятитомника «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» (издательство «Русский мир»), книг «Счастья и расплаты» (издательство «Эксмо») и «Сто стихотворений» (издательство «Прогресс-Плеяда»).

7 августа— госпиталь Hillcrest: ампутация правой ноги до колена.

4 сентября— первый том пятитомной антологии «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» получает Гран-при российского ежегодного национального конкурса «Книга года».

5 сентября— открытие юбилейного пятидесятого сезона Театра на Таганке спектаклем «Нет лет» по стихам Евг. Евтушенко.

21–23 октября— премьера документального фильма «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (автор сценария и режиссер А. Нельсон) по Первому каналу российского телевидения.

Октябрь — имя Евгения Евтушенко внесено в Зал славы высшего образования Оклахомы.

8 ноября— опубликована персоналия С. Липкина для антологии «Поэт в России — больше, чем поэт» (очерк и стихотворение Евг. Евтушенко, стихи С. Липкина) в газете «Новые известия».

11 ноября— новый рассказ Евг. Евтушенко «Берингов туннель» помещен на сайте медийного проекта «Сноб».

13 ноября— новые стихи в «Новых известиях».

26 ноября— объявлен лауреатом специальной номинации «За честь и достоинство» в рамках премии «Большая книга».

27 ноября— презентация первого и второго томов антологии «Поэт в России — больше, чем поэт» на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction в Центральном доме художника (Москва).

Биография продолжается...

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ [\[11\]](#)

Произведения Е. А. Евтушенко: стихи, проза, критика, публицистика, мемуары, переводы

- Разведчики грядущего. М.: Советский писатель, 1952.
Шоссе энтузиастов. М.: Московский рабочий, 1956.
Обещание. М.: Советский писатель, 1957.
Взмах руки. М.: Молодая гвардия, 1962.
Нежность. М.: Советский писатель, 1962.
Идут белые снега... / Предисл. Евг. Винокурова. М.: Художественная литература, 1969.
Избранные произведения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1975 (переиздание в 1980 г.).
Талант есть чудо неслучайное. Книга статей. М.: Советский писатель, 1980.
Ягодные места: Роман. М.: Советский писатель, 1982.
Собрание сочинений: В 3 т. / Предисл. Е. Сидорова. М.: Художественная литература, 1983–1984.
Мама и нейтронная бомба и другие поэмы. М.: Советский писатель, 1986.
Стихотворения и поэмы: В 3 т. / Предисл. Ч. Айтматова. М.: Художественная литература, 1987.
Завтрашний ветер. М.: Правда, 1987.
Последняя попытка: Стихотворения. Из старых и новых тетрадей. Петрозаводск: Карелия, 1988.
Граждане, послушайте меня...: Стихотворения и поэмы. М.: Художественная литература, 1989.
Детский сад: Режиссерский сценарий. М.: Первое творческое объединение «Мосфильм», 1982.
Детский сад: Лит<ературный> сценарий. М.: Искусство. Библиотека кинодраматургии, 1989.
Зеленая калитка: Стихотворения. Поэмы. Переводы. Проза. Тбилиси: Мерани, 1990.
Политика — привилегия всех: Книга публицистики. М.: Изд-во АПН, 1990.

Похороны Сталина: Режиссерский сценарий. М.: Студия «Слово» ГТПО «Мосфильм», 1990.

Пропасть — в два прыжка? Публицистика, поэзия. Харьков: Прапор, 1990.

Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. А. Межирова. М.: Молодая гвардия, 1990.

Не умирай прежде смерти: Русская сказка. М.: Московский рабочий, 1993.

Волчий паспорт. М.: Вагриус, 1998. Серия «Мой 20 век».

Я прорвусь в двадцать первый век... М.: Время, 2001.

Ардабиола. Ранняя проза. М.: Зебра Е, 2006.

Шестидесантник: Мемуарная проза. М.: АСТ; Зебра Е, 2006.

Окно выходит в белые деревья... Избранное / Сост. М. Евтушенко; авт. предисл. Л. Аннинский. М.: Прогресс-Плеяда, 2007.

Не умирай прежде смерти. Ягодные места. М.: АСТ; Зебра Е, 2008 (Золотой фонд мировой классики).

Весь Евтушенко. Стихи и поэмы 1937–2007. 2-е изд., доп. М.: Слово/Slovo, 2007, 2010. «Книга года»-2008 в номинации «Поэзия» ежегодного национального конкурса.

Великие поэты. Т. 34. М.: Комсомольская правда, 2012.

Первое собрание сочинений: В 8 т. М.: NEVA group; АО «Х.Г.С.»; ООО «Издательство АСТ»; ООО «Харвест», 1997–2008; Т. 9 (дополнительный). М.: ООО «Издательство Астрель», 2012.

Счастья и расплаты. Стихи 2011–2012 годов. М.: Эксмо, 2012.

Я пришел к тебе, Бабий Яр... М.: Текст, 2012 (Биографии и Мемуары).

Не умею прощаться... Стихотворения. Поэмы. М.: Эксмо, 2013. Серия «Библиотека всемирной литературы».

Сто стихотворений / Послел. Ст. Лесневского. М.: Прогресс-Плеяда, 2013.

Mit mir ist folgendes geschehen. Russisch/Deutsch. Übers.: Franz Leschnitzer. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1962.

Stolen Apples. Anchor Books, Doubleday, N. Y., 1972.

The Collected Poems 1952–1990 by Yevgeny Yevtushenko. Edited by Albert C. Todd with the author and James Ragan. N.Y.: Henry Holt and Company, 1991.

2 °Century Russian Poetry. N.Y.: Doubleday, 1993.

Строфы века. Антология русской поэзии / Науч. ред. Евг. Витковский. Минск; М.: Полифакт, 1995; 1999. Серия «Итоги века. Взгляд из России».

В начале было Слово... 10 веков русской поэзии / Науч. ред. В. В. Радзишевский. Т. 1. М.: Слово / Slovo, 2008.

Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии / Науч. ред. В. В. Радзишевский. Т. 1. М.: «Русский мир», 2013.

Литература о Е. А. Евтушенко

Барлас В. Всегда ли верить вдохновенью? // Литературная газета. 1960. 9 января.

Оганов Г., Панкин Б., Чикин В. Куда ведет хлестаковщина // Комсомольская правда. 1962. 30 марта.

Рунин Б. Уроки одной поэтической биографии // Вопросы литературы. 1963. № 2.

Карлайл (Андреева) О. Искусство поэзии // Paris Review. НьюЙорк, 1965.

Шинкарев Л. «Микешкин» идет в Арктику; Евтушенко Евг. Стихи из бортжурнала (Библиотека «Известий»). М.: Известия, 1970.

Нехорошев Ю. С., Шитов А. П. Евгений Евтушенко: Научно-вспомогательный библиографический указатель. Челябинск: Изд-во Челябинского государственного педагогического института, 1981.

Нехорошев Ю. С. Пунктир // Евтушенко Евг. Первое собрание сочинений: В 8 т. М.: NEVA group; АО «Х.Г.С.»; ООО «Издательство АСТ»; ООО «Харвест», 1997–2008; Т. 9 (дополнительный): ООО «Издательство Астрель», 2012.

Распутин В. Слово о романе // Евтушенко Е. Ягодные места // Москва. 1981. № 10, 11.

Сидоров Е. Евгений Евтушенко. Личность и творчество. М.: Художественная литература, 1987; 1995.

Прищепа В. Л. Поэма в творчестве Е. А. Евтушенко и А. А. Вознесенского (1960–1965). Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1988.

Прищепа В. П. Российского Отечества поэт (Е. А. Евтушенко: 1965–1995 гг.). Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 1996.

Гаспаров М. Л. Книга для чтения // Новый мир. 1996. № 2.

Комин В. В., Прищеп В. П. Он пришел в XXI век. Творческий путь Евгения Евтушенко. 2-е изд., доп. и дораб. Новосибирск: ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ», 2005.

Трескин Э. Как стать кинозвездой. Прага: Olga Krylova, 2006.

Использованная литература

Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950–1980-е: В 3 т. / Под общ. ред. В. В. Игрунова; сост. М. Ш. Барбакадзе. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005.

Аверинцев С. С. Так почему же все-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6.

Адамович Г. Собрание сочинений: Стихи, проза, переводы / Вступ. ст., сост. и прим. О. А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1999.

Аксенов В. Таинственная страсть (роман о шестидесятниках). Журнальный вариант. М.: Семь дней, 2009.

Аннинский Л. Ядро ореха: критические очерки. М.: Советский писатель, 1965.

Антокольский П. Дневник. 1964–1968. СПб., 2002.

Ахмадулина Б. Уроки музыки. М.: Советский писатель, 1969.

Ахмадулина Б. Сны о Грузии. Тбилиси: Мерани, 1977, 1979.

Ахмадулина Б. Избранное. М.: Советский писатель, 1988.

Ахматова А. Бег времени. М.; Л.: Советский писатель, 1965.

Быков Д. Булат Окуджава. М.: Молодая гвардия, 2009 (Серия «ЖЗЛ»).

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1998.

Владимирова З. Лидия Сухаревская. М.: Искусство, 1977.

Вознесенский А. Мозаика. Владимир: Владимирское книжное изд-во, 1960.

Вознесенский А. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Вагриус, 2000–2006.

Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2002.

Высоцкий В. Избранное / Предисл. Б. Окуджавы; сост. Н. Крымовой. М.: Советский писатель, 1988.

Гандлевский С. Праздник: Книга стихов. СПб.: Пушкинский фонд, 1995.

Гандлевский С. Трепанация черепа: Повесть. СПб.: Пушкинский фонд, 1996.

Глазков Н. Хихимора. М.: Время, 2007.

- Глазунов И. Россия распятая. Книга 1. М.: Роман-газета, 1996.
- Голубков Д. Это было совсем не в Италии... Изборник / Авт. — сост. М. Д. Голубкова. М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2013.
- Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino, 1996.
- Иванов В. В. Голубой зверь // Звезда. 1995. № 2.
- Кабо Л. Правденка. М.: Издательская фирма «КРУК», 1999.
- Казаков Ю. По дороге домой. М.: Советский писатель, 1961.
- Казаков Ю. Долгие крики. Иркутск: Издатель Сапронов, 2008.
- Каменский В. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подг. текста и прим. Н. Л. Степанова. М.; Л.: Советский писатель, 1966 (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.).
- Кедрин Д. Соловьиный манок. М.: Книга, 1990.
- Кибиров Т. Сантименты: Восемь книг. Белгород, 1994.
- Кирсанов С. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Художественная литература, 1974–1976.
- Кожин В. Стихи и поэзия. М.: Советская Россия, 1980.
- Кожин В. Лаврентий Берия, последние репрессии, сталинский культ [Гл. 6] // Кожин В. Россия век XX: 1901–1939. М.: Алгоритм; Крымский мост; Эксмо, 1999.
- Коржавин Н. Время дано: Стихи и поэмы / Послесл. Б. Сарнова. М.: Художественная литература, 1992.
- Красовицкий С. Избранное. Тверь, 2002.
- Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия. М.: Наш современник, 2001.
- Кушнер А. Времена не выбирают: Пять десятилетий. СПб.: Азбука-классика, 2007.
- Лосев Л. Тайный советник. Tenaflly, N.J.: Эрмитаж, 1987.
- Лосев Л. Иосиф Бродский. М.: Молодая гвардия, 2006 (Серия «ЖЗЛ»).
- Лосев Л. Меандр. М.: Новое издательство, 2010.
- Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. / Сост. А. Г. Мец. М.: Прогресс-Плеяда, 2009–2011.
- Мартынов Л. Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1976–1977.
- Межиров А. Дорога далека. М.: Советский писатель, 1947.
- Межиров А. Коммунисты, вперед! М.: Молодая гвардия, 1952.
- Межиров А. Прощание со снегом. М.: Советский писатель, 1964.
- Межиров А. Подкова. М.: Советский писатель, 1967.
- Межиров А. Проза в стихах. М.: Советский писатель, 1986.
- Межиров А. Поземка. Стихотворения и поэма / Сост. Т. Бек. М.: Глагол, 1997.

Межиров А. Артиллерия бьет по своим. Избранное / Сост., авт. предисл. Е. Евтушенко. М.: Зебра Е, 2006.

Морозов В. Избранное. Стихи и поэмы. Петрозаводск: Карелия, 1970.

Национальная премия «Поэт»: Визитные карточки / Сост., авт. предисл. С. И. Чупринин. М.: Время, 2010.

Новиков В. Высоцкий / 7-е изд., доп. М.: Молодая гвардия, 2013 (Серия «ЖЗЛ»).

Окуджава Б. Март великодушный. М.: Советский писатель, 1967.

Окуджава Б. Арбат, мой Арбат. М.: Советский писатель, 1976.

Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. М.: Советский писатель, 1960.

Окуджава Б. Март великодушный. М.: Советский писатель, 1967.

Пастернак Б. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. А. Д. Синявского; сост., подг. текста и прим. Л. А. Озерова. М.; Л.: Советский писатель, 1965 (Библиотека поэта. Большая серия).

Плисецкий Г. От Омара Хайама до Экклезиаста: Стихотворения, переводы, дневники, письма / Сост. Д. Г. Плисецкий. М.: Фортуна Лимитед, 2001.

Рейн Е. После нашей эры. М.: Время, 2004.

Рейн Е. Заметки марафонца: Неканонические мемуары. Екатеринбург: У-Фактория, 2003.

Рождественский Р. Удостоверение личности / Сост. К. Рождественская. М.: ООО «Эстепона», 2002.

Румарчук Л. Воздушные шары моей юности. М., 2000.

Рязанов Э. 24 часа на размышление. Глава из новой книги // Советский экран. 1990. № 10.

Ряшенцев Ю. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Оренбург: ООО «Оренбургское книжное издательство», 2011.

Самойлов Д. Избранное. М.: Художественная литература, 1980.

Сергеев А. Omnibus. М.: Новое литературное обозрение, 1997.

Слуцкий Б. Стихи разных лет. Из неизданного. М.: Советский писатель, 1988.

Слуцкий Б. Собрание сочинений: В 3 т. / Вступ. ст., сост. с науч. подг. текста, коммент. Ю. Болдырева. М.: Художественная литература, 1991.

Слуцкий Б. О других и о себе / Сост., подгот. текста, прим. П. Горелика; вступ. ст. Н. Елисеева. М.: Вагриус, 2005 (Серия «Мой 20 век»).

Смеяков Я. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. Б. И. Соловьева. М.; Л.: Советский писатель, 1979 (Библиотека поэта. Большая серия).

Соколов В. Неповторимый венец; Стихотворения и поэмы / Сост., подг. текста, библиогр. М. Е. Роговской-Соколовой, Н. С. Аришиной; вступ. ст. Евг.

Евтушенко. М.: Новый ключ, 1999.

Соколов В. Это вечное стихотворенье... Книга лирики / Предисл. М. Е. Роговской-Соколовой; сост., подг. текста И. З. Фаликова. М.: Издательский дом «Литературная газета», 2007.

Сухарев Д. Много чего. М.: Время, 2008.

Тарасов Н. Стихотворения. М.: Советский писатель, 1985.

Турбина Н. Черновик. М.: Молодая гвардия, 1984.

Уткин И. Избранные стихи. М.: Гослитиздат, 1935.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997.

Чуковский К. Ахматова и Маяковский // Дом искусств [Пг.], 1921. № 1.

Чуковский К. Дневник: В 3 кн. М.: ПРОЗАиК, 2000.

Чухонцев О. Из сих пределов. М.: ОГИ, 2005.

Энциклопедии, справочники, стенограмма

Русские советские писатели. Поэты. Т. 7. М.: Книга, 1984.

Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917. М.: РИК «Культура», 1996.

Всемирный биографический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. М.: Просвещение, 1998.

Русские писатели 20 века. Биографический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия; Рандеву-АМ, 2000 (Серия биографических словарей).

Кто есть кто в современной культуре; Эксклюзивные биографии. Вып. 1–2. М.: МК-Периодика, 2006–2007.

Стенограмма дискуссии «Премия «Поэт»: внешний аудит», прошедшей 22 декабря 2010 г. в ресторане «Август», www/poet-premium.ru

Об авторе

Илья Фаликов, поэт, автор десяти сборников лирики, прозаик, критик, известен как человек независимых взглядов. Его книги эссеистики «Прозапростихи», «Фактор фонаря» свидетельствуют о редкой сегодня широте творческих любопытств и привязанностей.

Его жизнеописание Евгения Евтушенко — не только биография. Это

своего рода литературная энциклопедия эпохи, отраженной в
жизнетворчестве самого, может быть, отзывчивого на события поэта.

ИЛЮСТРАЦИИ



Е. Е. Е. Е. Е.



Зинаида Ермолаевна Евтушенко и Александр Рудольфович Гангнус с сыном Женей. 1932 г.



На даче в Клязьме: будущий поэт с мамой, бабушкой Марией Иосифовной и прабабушкой Марией Михайловной. 1935 г.



Дед поэта Ермолай Наумович Евтушенко. 1930-е гг.



Сестра Лёля, Елена Евтушенко. 1950-е гг.



Дед Рудольф Вильгельмович Гангнус, один из авторов учебника по геометрии, и «любимая тетя Ра», Ирина Рудольфовна Козинцева, архитектор. 1930-е гг.



Женя-скрипач. 1936 г.



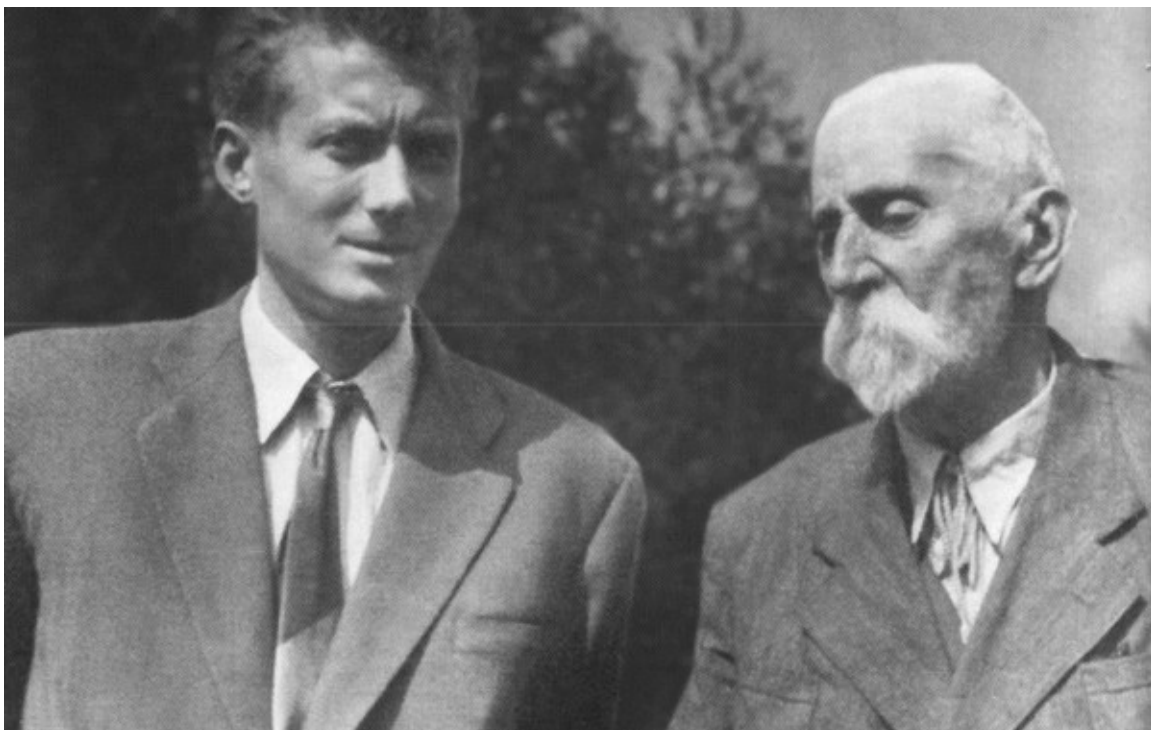
Зиминский первоклассник Евгений Евтушенко (третий слева в верхнем ряду). 1941 г.



«По снегу белому на лыжах я бегу...» С Николаем Тарасовым, поэтом и спортивным журналистом (слева). 1960-е гг.



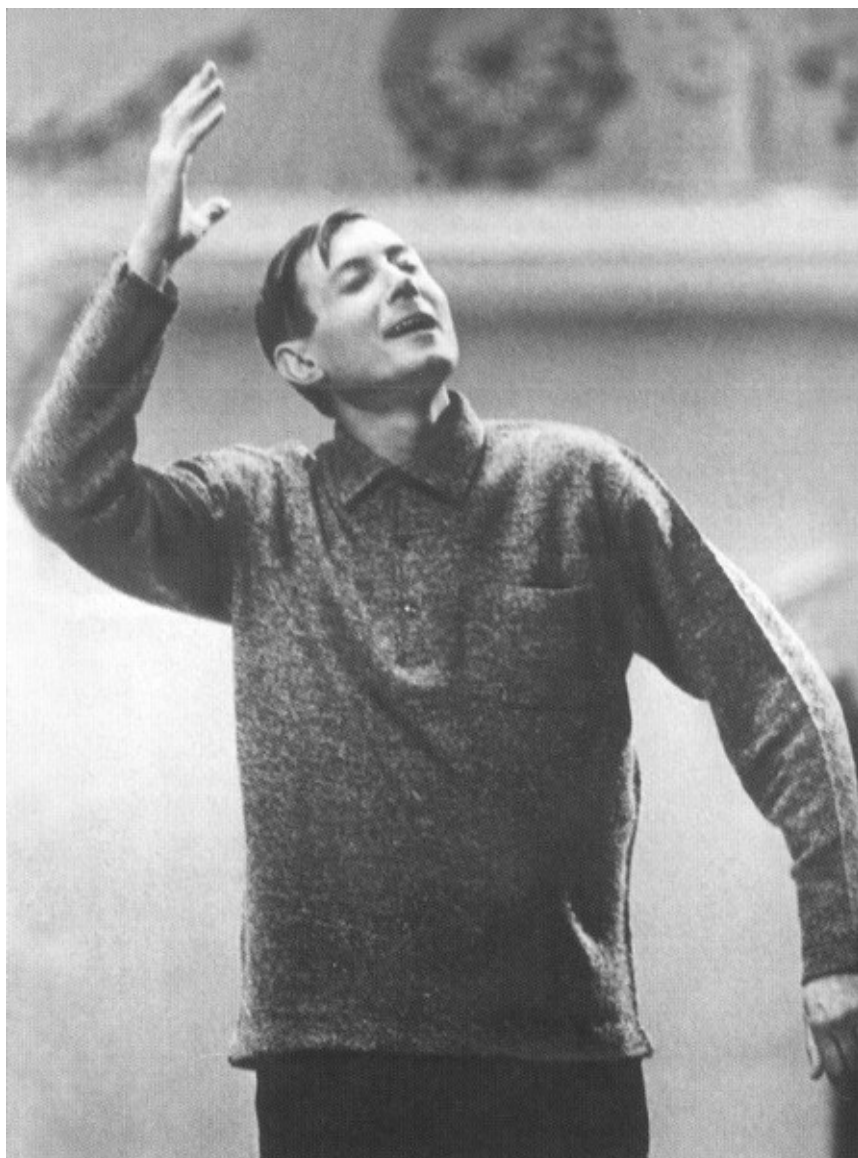
Белла Ахмадулина. 1955 г.



Евгений Евтушенко, самый молодой член Союза писателей СССР, со старейшим — Николаем Телешовым, организатором знаменитого литературного кружка «Среда» в дореволюционной Москве. 1954 г.



*Белла Ахмадулина на сцене Политехнического музея. На втором плане
— Евгений Евтушенко. Москва. Начало 1960-х гг.*



«Будем великими!» 1957 г.



«В рубашке пестрой, в шляпе войлочной...» — с Ярославом Смеляковым (крайний слева) и абхазским писателем Иваном Тарба. Сухуми. 1956 г.



Поэт у родного зиминского дома. 1954 г.



С Владимиром Соколовым во дворе Литературного института. 1953 г.



Дмитрий Сухарев. 1956 г.



*После посещения Бабьего Яра с Анатолием Кузнецовым (слева). Киев.
1961 г.*



Песня «Хотят ли русские войны?..» написана! Композитор Эдуард Колмановский, исполнитель Марк Бернес, автор текста Евгений Евтушенко. 1963 г.



Поэт в мастерской у Пабло Пикассо. Париж. 1962 г.



С Юрием Гагариным и командиром отряда космонавтов Николаем Каманиным. Куба. 1961.



Американский поэт Роберт Фрост в московском аэропорту: среди встречающих Александр Твардовский (слева) и Евгений Евтушенко. 1963 г.



С женой Галей. 1962 г.



*Поэт с сыном Петей в гостях у главного режиссера Театра на Таганке
Юрия Любимова. Начало 1970-х гг.*



С итальянским режиссером Федерико Феллини. 1960-е гг.



Дмитрий Шостакович и Евгений Евтушенко на премьере Тринадцатой симфонии в Большом зале Московской консерватории. 18 декабря 1962 г.



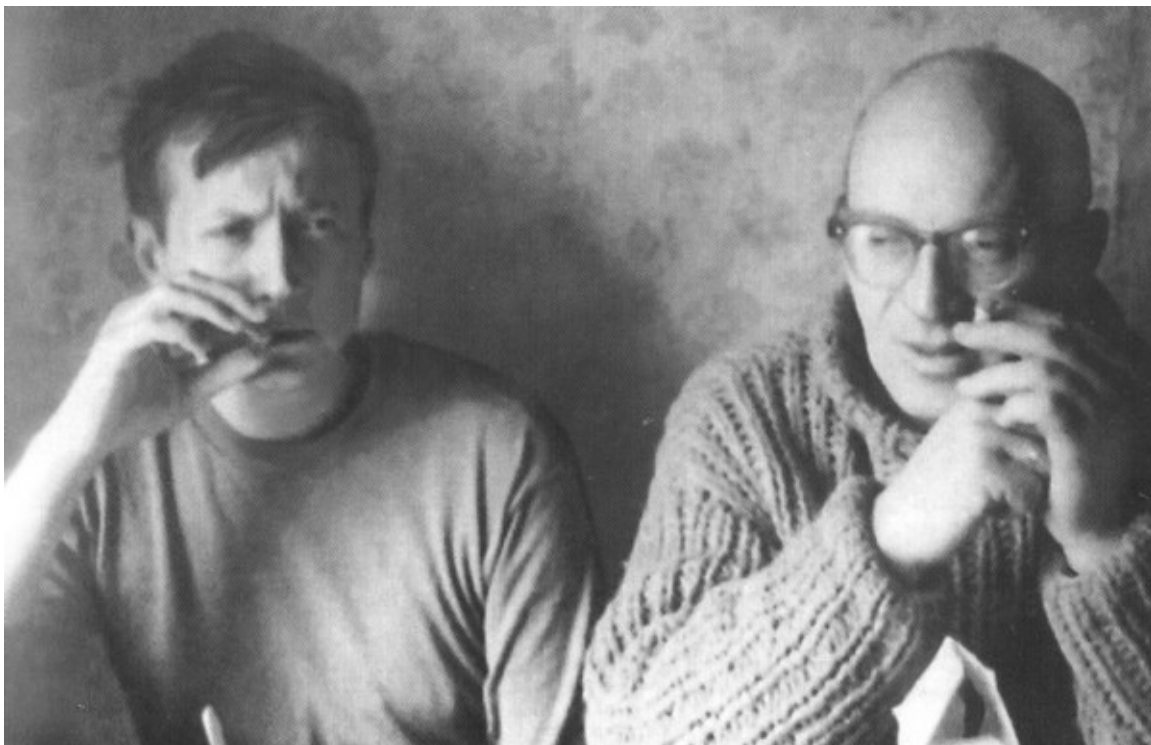
Во время выступления на стадионе «Лужники» перед десяти тысячной аудиторией. Слева направо: Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Юрий Кузнецов, Николай Старшинов. 1970-е гг.



Юрий Нехорошев, «Евтушенковед Номер Один». 1964 г.



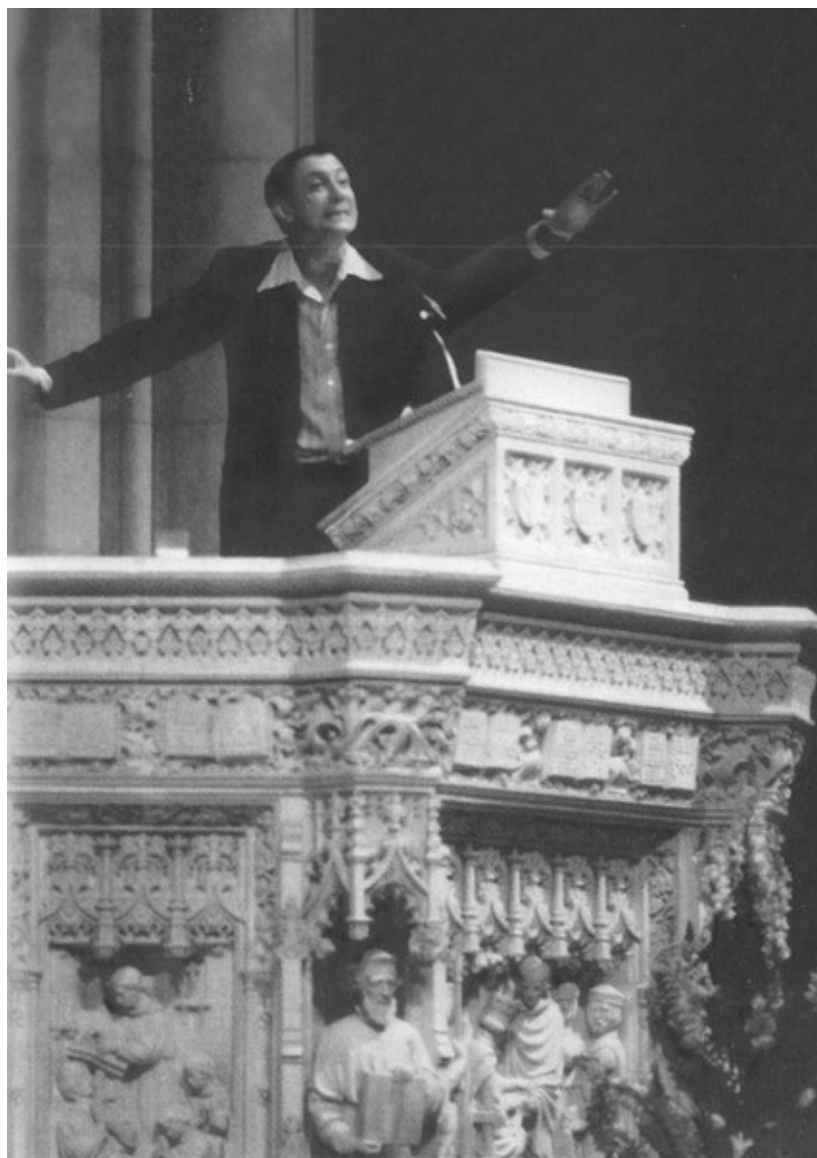
С Александром Межировым. 1960-е гг.



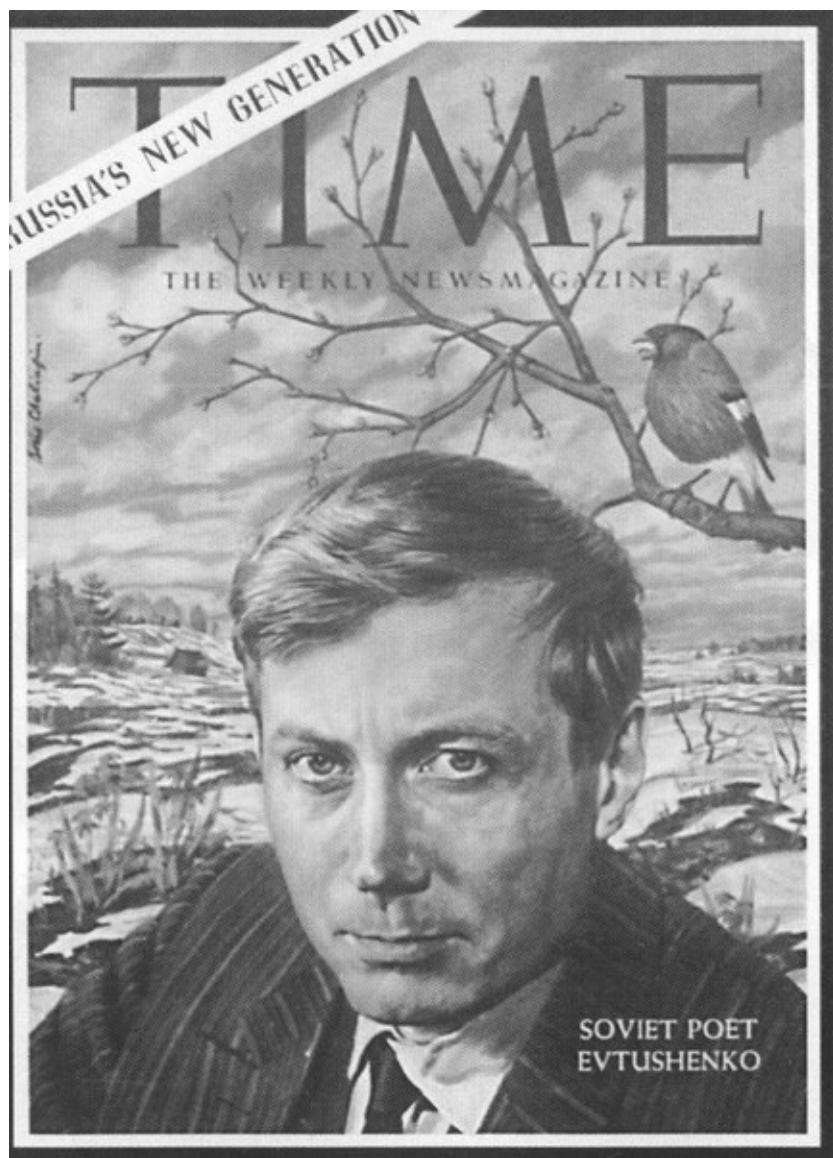
Евгений Евтушенко и Юрий Казаков во время поездки по Северу. 1963 г.



*Экипаж карбаса «Микешкин» в экспедиции по реке Лене: слева направо
— Э. Зоммер, Л. Шинкарев, Т. Коржановский, А. Андреев, Евг.
Евтушенко. 1967 г.*



Поэтическая проповедь с кентерберийской кафедры кафедрального собора Святых Петра и Павла. Вашингтон



Евгений Евтушенко на обложке журнала «Тайм». Портрет работы Бориса Шаляпина, сына великого певца. Апрель 1962 г.



*Евгений Евтушенко и мексиканский художник Давид Сикейрос в
Театре на Таганке. 1972 г.*



С сенатором Робертом Кеннеди. НьюЙорк. Ноябрь 1966 г.



В Овальном кабинете Белого дома с президентом США Ричардом Никсоном и госсекретарем Генри Киссинджером. Вашингтон. Февраль 1972 г.



*На 329-м километре Колымской трассы: Евг. Евтушенко, Н. Шинкарев,
В. Туманов, Л. Шинкарев. 1977 г.*



Евгений Евтушенко в образе Константина Циолковского и Сергей Бондарчук на съемках фильма «Взлет». 1977 г.



Режиссерский показ во время работы над фильмом «Детский сад». 1982
г.



На съемках «Детского сада». Евгений Евтушенко (в центре) с актерами массовки, среди которых писатели Владимир Крупин, Владимир Орлов, поэт Владимир Леонович, критик Евгений Сидоров и другие известные лица. 1982 г.



Три башни. Фото Евг. Евтушенко



*Евтушенко-фотограф. Красная площадь: выбор ракурса. Фото И.
Гутчина. 1979 г.*



Женщина и ее тень. Фото Евг. Евтушенко



Поэт с легендарным вратарем Алексеем Хомичем, «Тигром»



С Евгением Рейном. 1970-е гг.



*Евгений Евтушенко с женой Джан, сыновьями Сашей и Тошей и
четвероногими друзьями Нелли и Бимом*



Евг. Евтушенко, Г Балакшин, В. Шукин, Л. Шинкарев, О. Целков во время экспедиции по реке Вилуй. Красноярский край. Август 1973 г.



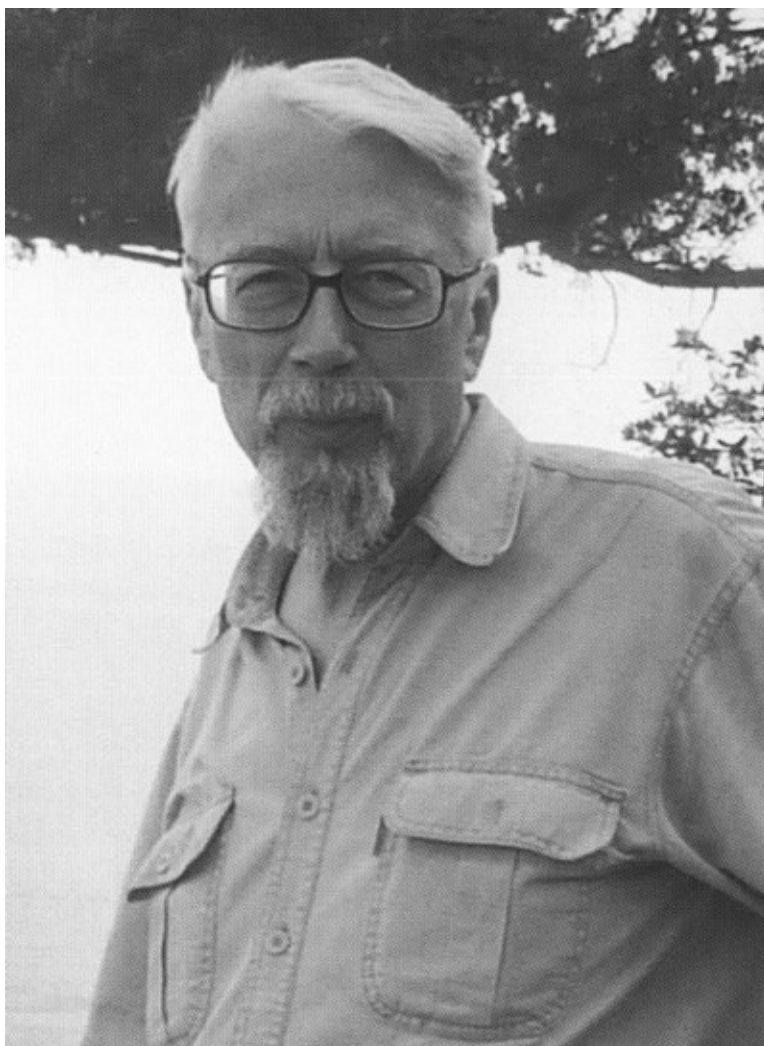
С художником Юрием Васильевым. 1970-е гг.



Виктор Яковлев, издатель поэта, убитый на Патриарших прудах в 2001 году



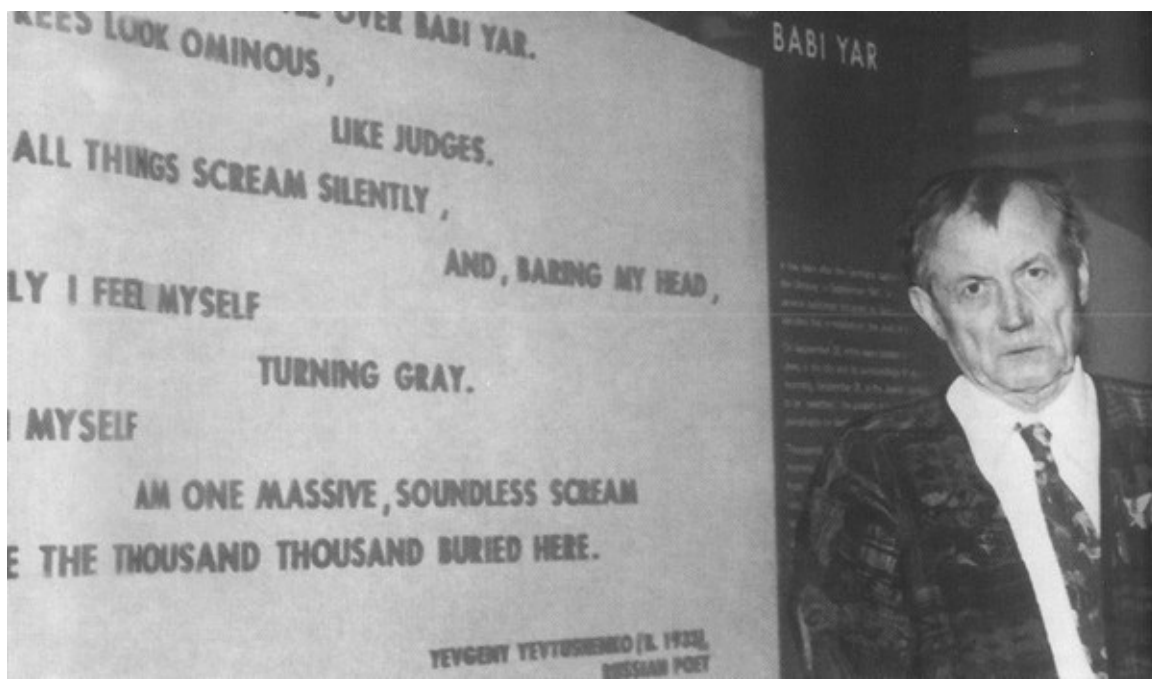
Евгений Сидоров, критик, друг и исследователь творчества поэта



***Владимир Радзишевский, писатель, литературовед, научный редактор
антологии «Поэт в России — больше, чем поэт». Фото М.
Радзишевской***



Евгений Витковский, поэт, научный редактор антологии «Строфы века». Фото С. Кавериной



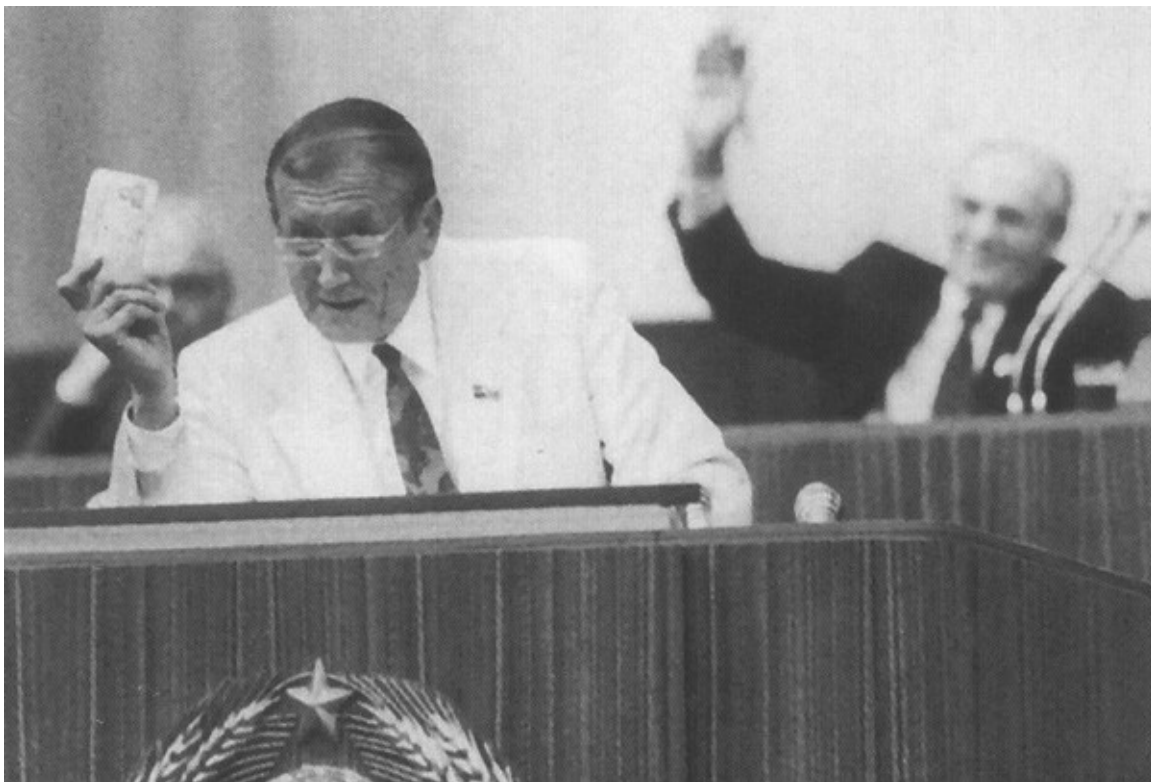
*Поэт в вашингтонском Музее холокоста у стены с текстом «Бабьего
Яра» на английском языке*



*Счастливые новобрачные. Евгений Евтушенко и Маша за свадебным
столом. 31 декабря 1986 г.*



Звездная четверка на обложке мартовского «Огонька» (1987. № 9): Евг. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Р. Рождественский. Фото Д. Бальтерманца



Евгений Евтушенко на трибуне Первого съезда народных депутатов СССР. М. С. Горбачев — «За!». 1 июня 1989 г.



*Мама поэта на рабочем месте, в газетно-журнальном киоске у
Рижского вокзала. Москва. 1990-е гг.*



С сыновьями Митей, Женей, Сашей и Тошей. Переделкино. 1991 г.



*С сыном Сашей в Новгороде-Северском на холме, где располагался
детинец князя Игоря. 5 августа 1999 г. Фото В. Лазарева*



Открытие Музея-галереи Евгения Евтушенко. В первом ряду слева направо: Леонид Шинкарев (с фотоаппаратом), посол Болгарии в России Пламен Грозданов, болгарский художник Светлин Русев, народный художник СССР Зураб Церетели. Переделкино. 17 июля 2010 г. Фото Е. Потунова



**«Идут белые снеги...» На даче в Переделкине 7 января 2013 года. Фото
Е. Потупова**

INFO

Фаликов И. З.

Ф 19 Евтушенко: Love story / Илья Фаликов. — М.: Молодая гвардия, 2017. — 718[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1658).

ISBN 978-5-235-04015-1

УДК 821.161.1.0(092)

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

знак информационной продукции 16+

Фаликов Илья Зиновьевич
ЕВТУШЕНКО: LOVE STORY

Редактор *Л. С. Калюжная*

Художественные редакторы *А. В. Никитин, И. И. Суслов*

Технический редактор *М. П. Качурина*

Корректоры *Т. И. Маляренко, Г. В. Платова*

Сдано в набор 11.04.2017. Подписано в печать 20.04.2017.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Newton». Ус л. печ. л. 37,8+1,68 вкл. Тираж 5000 экз.
Заказ № 1708200.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:
127055, Москва, Суцевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

arvato

BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета в ООО

«Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль,
ул. Свободы, 97

notes

Примечания

1

По преимуществу (*фр.*).

Мир мал (*ит.*).

Ошибка Евтушенко. Это был Екатерининский зал, в ту пору — Свердловский.

Обращение — прежде всего к армии — группы политиков и деятелей культуры в газете «Советская Россия» 23 июля 1991 года. После августа 1991 года стало квалифицироваться как идеологическая платформа ГКЧП. Среди двенадцати лиц, подписавших письмо, были писатели Юрий Бондарев, Александр Проханов, Валентин Распутин.

Цветы кабачков (*ит.*).

«Это я. Твой не получившийся Христос...»

В нынешнем написании Пёрл-Харбор. — *Прим. ред.*

Мне очень приятно отправиться в Сибирь (*исп.*).

Спасибо! До свиданья! (нем.).

Здесь и далее фиксируется дата создания, а не публикации произведения. Публикация оговаривается особо.

Перечень литературы дан в хронологическом порядке, кроме раздела «Использованная литература», который составлен по алфавитному принципу.